А Р К А Д И Й

СТРУГАЦКИЙ

Б О Р И С

СТРУГАЦКИЙ

Annotation

В шестой том собрания сочинений включены произведения, написанные в период с 1969 по 1973 годы: "Дело об убийстве, или Отель "У погибшего альпиниста", "Малыш", "Пикник на обочине", "Парень из преисподней".

Том дополняют комментарии Б.Стругацкого к данным произведениям.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ ШЕСТОЙ
1969-1973

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ, или ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» Еще одна отходная детективному жанру

«Как сообщают, в округе Винги, близ города Мюр, опустился летательный аппарат, из которого вышли желто-зеленые человечки о трех ногах и восьми глазах каждый. Падкая на сенсации бульварная пресса поспешила объявить их пришельцами из космоса...»

(Из газет.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я остановил машину, вылез и снял черные очки. Здесь все было именно так, как рассказывал Згут. Отель был двухэтажный, желтый с зеленым, над крыльцом красовалась траурная вывеска: «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Высокие ноздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами — я насчитал семь штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной с руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо, и тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. Тяжелой медлительной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алек Сневар, владелец отеля, долины и Бутылочного Горлышка.

— Там... — произнес он неестественно низким и глухим голосом. — Вон там это произошло. — Он простер указующую руку. В руке был штопор. — На той вершине...

Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую, жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину с запада, на бледные языки снега, на иззубренный гребень, четкий, словно нарисованный на сочно-синей поверхности неба.

— Лопнул карабин, — все тем же глухим голосом продолжал владелец. — Двести метров он летел по вертикали вниз, к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его. Может быть, он молился. Его слышал только Бог. Потом он достиг склона, и мы здесь услышали лавину, рев разбуженного зверя, жадный голодный рев, и земля дрогнула, когда он грянулся об нее вместе с сорока двумя тысячами тонн кристаллического снега...

— Чего ради его туда понесло? — спросил я, разглядывая зловещую стену.

— Позвольте мне погрузиться в прошлое, — проговорил владелец, склонил голову и приложил кулак со штопором к лысому лбу.

Все было совершенно так, как рассказывал Згут. Только вот собаки нигде не было видно, но я заметил множество ее визитных карточек на

снегу возле крыльца и вокруг лыж. Я полез в машину и достал корзину с бутылками.

— Привет от инспектора Згута, — сказал я, и владелец тут же вынырнул из прошлого.

— Вот достойный человек! — сказал он с живостью и весьма обыкновенным голосом. — Как он поживает?

— Неплохо, — ответил я, вручая ему корзину.

— Я вижу, он не забыл вечера, которые провел у моего камина.

— Он только о них и говорит, — сказал я и снова повернулся было к машине, но хозяин схватил меня за руку.

— Ни шагу назад! — строго произнес он. — Этим займется Кайса. Кайса! — трубно взревел он.

На крыльцо выскочила собака — великолепный сенбернар, белый с желтыми пятнами, могучее животное ростом с теленка. Как я уже знал, это было все, что осталось от Погибшего Альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере-музее. Я был не прочь посмотреть, как этот кобель с женским именем станет разгружать мой багаж, но хозяин твердой рукой уже направлял меня в дом.

Мы прошли через сумрачный холл, где ощущался теплый запах погасшего камина и тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой «Контора». Я был усажен в уютное кресло, позвякивающая и булькающая корзинка водворилась в углу, и хозяин распахнул на столе громоздкий гроссбух.

— Прежде всего разрешите представиться, — сказал он, сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера. — Алек Сневар, владелец отеля и механик. Вы, конечно, заметили ветряки на выезде из Бутылочного Горлышка?

— Ах, это были ветряки?..

— Да. Ветряные двигатели. Я сам сконструировал их и сам построил. Вот этими руками.

— Что вы говорите... — пробормотал я.

— Да. Сам. И еще многое.

— А куда нести? — спросил у меня за спиной пронзительный женский голос.

Я обернулся. В дверях, с моим чемоданом в руке, стояла этакая кубышечка, пышечка этакая лет двадцати пяти, с румянцем во всю щеку, с широко расставленными и широко раскрытыми голубыми глазками.

— Это Кайса, — сообщил мне хозяин. — Кайса! Этот господин привез

нам привет от господина Згута. Ты помнишь господина Згута, Кайса? Ты должна его помнить.

Кайса немедленно залилась краской и, поведя плечами, закрылась ладонью.

— Помнит, — объяснил мне хозяин. — Запомнила... Н-ну-с... Так я помещу вас в номер четыре. Это лучший номер в отеле. Кайса, отнеси чемодан господина... м-м...

— Глебски, — сказал я.

— Отнеси чемодан господина Глебски в четвертый номер... Поразительная дура, — сообщил он с какой-то даже гордостью, когда кубышечка скрылась. — В своем роде феномен... Итак, господин Глебски? — Он выжидательно взглянул на меня.

— Петер Глебски, — продиктовал я. — Инспектор полиции. В отпуске. На две недели. Один.

Хозяин прилежно записывал все эти сведения огромными корявыми буквами, а пока он писал, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошел сенбернар. Он поглядел на меня, подмигнул и вдруг с грохотом, словно обрушилась вязанка дров, пал около сейфа, уронив морду на лапу.

— Это Лель, — сказал хозяин, завинчивая колпачок авторучки. — Сапиенс. Все понимает на трех европейских языках. Блох нет, но линяет.

Лель вздохнул и переложил морду на другую лапу.

— Пойдемте, — сказал хозяин, вставая. — Я провожу вас в номер.

Мы снова пересекли холл и стали подниматься по лестнице.

— Обедаем мы в шесть, — рассказывал хозяин. — Но перекусить можно в любое время, а равно и выпить чего-нибудь освежающего. В десять вечера — легкий ужин. Танцы, бильярд, картишки, собеседования у камина.

Мы вышли в коридор второго этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился.

— Здесь, — произнес он прежним глухим голосом. — Прошу.

Он распахнул передо мною дверь, и я вошел.

— С того самого незабываемого страшного дня... — начал он и вдруг замолчал.

Номер был неплохой, хотя и несколько мрачноватый. Шторы были приспущены, на кровати почему-то лежал альпеншток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла посередине комнаты висела чья-то брезентовая куртка, на полу рядом с креслом валялась газета.

— Гм... — сказал я озадаченно. — По-моему, здесь уже кто-то живет.

Хозяин безмолвствовал. Взгляд его был устремлен на стол. На столе

ничего особенного не было, только большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком. Кажется, «данхилл». Из трубки поднимался дымок.

— Живет... — произнес наконец хозяин. — Живет ли?.. Впрочем, почему бы и нет?

Я не нашелся, что ответить ему, и ждал продолжения. Чемодана моего нигде не было видно, но зато в углу стоял клетчатый саквояж с многочисленными гостиничными ярлыками. Не мой саквояж.

— Здесь, — окрепшим голосом продолжал хозяин, — вот уже шесть лет, с того самого незабываемого страшного дня, все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением...

Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку.

— Да! — сказал хозяин с вызовом. — Это ЕГО трубка. Это вот — ЕГО куртка. А вот это — ЕГО альпеншток. «Возьмите с собой альпеншток», — сказал я ему в то утро. Он только улыбнулся и покачал головой. «Но не хотите же вы остаться там навсегда!» — воскликнул я, холодея от страшного предчувствия. «Пуркуа па?» — ответствовал он мне по-французски. Мне до сих пор так и не удалось выяснить, что это означало...

— Это означало «почему бы и нет?», — заметил я.

Хозяин горестно покивал.

— Я так и думал... А вот это — ЕГО саквояж. Я не разрешил полиции копаться в его вещах...

— А вот это — ЕГО газета, — сказал я. Я отчетливо видел, что это позавчерашний «Мюрский Вестник».

— Нет, — сказал хозяин. — Газета, конечно, не его.

— У меня тоже такое впечатление, — согласился я.

— Газета, конечно, не его, — повторил хозяин. — И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой.

Я пробормотал что-то о недостатке уважения к памяти усопших.

— Нет, — задумчиво возразил хозяин, — здесь все сложнее. Здесь все гораздо сложнее, господин Глебски. Но мы поговорим об этом позже. Пойдемте в ваш номер.

Однако, прежде чем мы вышли, он заглянул в туалетную комнату, открыл и снова закрыл дверцы стенного шкафа и, подойдя к окну, похлопал ладонями по портьерам. По-моему, ему очень хотелось заглянуть также и под кровать, но он сдержался. Мы вышли в коридор.

— Инспектор Згут как-то рассказывал мне, — произнес хозяин после короткого молчания, — что его специальность — так называемые медвежатники. А у вас какая специальность, если это, конечно, не секрет?

Он распахнул передо мною дверь четвертого номера.

— У меня скучная специальность, — ответил я. — Должностные преступления, растраты, подлоги, подделка государственных бумаг...

Номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистотой, воздух был свеж, на столе — ни пылинки, за промытым окном — снежная равнина и сиреневые горы.

— Жаль, — сказал хозяин.

— Почему? — спросил я рассеянно и заглянул в спальню. Здесь еще хозяйничала Кайса. Чемодан мой был раскрыт, вещи аккуратно разложены, а Кайса взбивала подушки.

— А впрочем, и не жаль нисколько, — заявил хозяин. — Вам не приходилось, господин Глебски, замечать, насколько неизвестное интереснее познанного? Неизвестное будоражит мысль, заставляет кровь быстрее бежать по жилам, рождает удивительные фантазии, обещает, манит. Неизвестное подобно мерцающему огоньку в черной бездне ночи. Но, ставши познанным, оно становится плоским, серым и неразличимо сливается с серым фоном будней.

— Вы поэт, господин Сневар, — заметил я еще рассеяннее. Я смотрел на Кайсу и понимал Згута. Пышечка-кубышечка на фоне постели выглядела необычайно заманчиво. Было в ней что-то неизвестное, что-то еще не познанное...

— Ну вот вы и дома, — сказал хозяин. — Располагайтесь, отдыхайте, делайте что хотите. Лыжи, мази, снаряжение — все к вашим услугам внизу, обращайтесь при необходимости прямо ко мне. Обед в шесть, а если вздумаете перекусить прямо сейчас или освежиться — я имею в виду напитки, — обращайтесь к Кайсе. Приветствую вас.

И он ушел.

Кайса все трудилась над постелью, доводя ее до немыслимого совершенства, а я достал сигарету, закурил и подошел к окну. Я был один. Благословенное небо, всеблагий Господи, наконец-то я был один! Я знаю — нехорошо так говорить и даже думать, но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в одиночестве! Нет, я люблю своих детей, я люблю свою жену, у меня нет никаких злых чувств к моим родственникам, и большинство моих друзей и знакомых вполне тактичные и приятные в общении люди. Но когда изо дня в день, из часа в час они непрерывно толкутся возле меня, сменяя друг друга, и нет никакой, ни малейшей возможности прекратить эту толчею, отделить себя от всех, запереться, отключиться... Сам я этого не читал, но вот сын мой

утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки, либо такой уж я невезучий человек. Во всяком случае, для меня две недельки отчужденности и одиночества — это как раз то, что нужно. И чтобы не было ничего такого, что я обязан делать, а было бы только то, что мне хочется делать. Сигарета, которую я закурю, потому что мне хочется, а не потому, что мне суют под нос пачку. И которую я не закурю, если мне не хочется, именно потому, что мне не хочется, а вовсе не потому, что мадам Зельц не выносит табачного дыма... Рюмка бренди у горящего камина — это хорошо. Это действительно будет неплохо. Вообще мне здесь, кажется, будет неплохо. И это просто прекрасно. Мне хорошо с самим собой, с моим собственным телом, еще сравнительно нестарым, еще крепким, которое можно будет поставить на лыжи и бросить вон туда, через всю равнину, к сиреневым отрогам, по свистящему снегу, и вот тогда станет совсем уж превосходно...

— Принести что-нибудь? — спросила Кайса. — Угодно?

Я посмотрел на нее, и она опять повела плечом и закрылась ладонью. Была она в пестром платье в обтяжку, которое топорщилось на ней спереди и сзади, в крошечном кружевном фартуке, руки у нее были голые, сдобные, и голую сдобную шею охватывало ожерелье из крупных деревянных бусин. Носки она держала несколько внутрь и не была похожа ни на одну из моих знакомых, и это тоже было хорошо.

— Кто у вас тут сейчас живет? — спросил я.

— Где?

— У вас. В отеле.

— В отеле? У нас тут? Да живут здесь...

— Кто именно?

— Ну — кто? Господин Мозес живут с женой. В первом и втором. И в третьем тоже. Только там они не живут. А может, с дочерью. Не разобрать. Красавица, всё глазами смотрит...

— Так-так, — сказал я, чтобы ее подбодрить.

— Господин Симонэ живут. Тут вот, напротив. Ученые. Все на бильярде играют и по стенам ползают. Шалуны они, только унылые. На психической почве. — Она снова закраснелась и принялась поводить плечами.

— А еще кто? — спросил я.

— Господин дю Барнстокр, гипнотизеры из цирка...

— Барнстокр? Тот самый?

— Не знаю, может, и тот. Гипнотизеры... и Брюн...

— Кто это — Брюн?

— Да с мотоциклом они, в штанах. Тоже шалуны, хоть и молоденькие совсем.

— Так, — сказал я. — Все?

— Еще кто-то живет. Недавно вроде бы приехали. Только они просто так... Стоят просто. Не спят, не едят, только на постое стоят...

— Не понимаю, — признался я.

— А и никто не понимает. Стоят, и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина дю Барнстокра утащили. Ищем, ищем везде — нет туфлей. А они их в музей занесли, да там и оставили. И еще следы оставляют...

— Какие? — Очень мне хотелось ее понять.

— Мокрые. Так по всему коридору и идут. А еще манеру взяли мне звонить. То из одного номера, то из другого. Приду, а там никого нет.

— Ну ладно, — сказал я со вздохом. — Не понять мне тебя, Кайса. И не надо. Пойду-ка я лучше в душ.

Я раздавил окурок в девственно-чистой пепельнице и отправился в спальню за бельем. Там я сложил на столике в изголовье стопку книг, подумав мельком, что зря я их, пожалуй, сюда тащил, сбросил ботинки, сунул ноги в шлепанцы и, захватив купальное полотенце, отправился в душ. Кайса уже ушла, пепельница на столе снова сияла девственной чистотой. В коридоре было пустынно, откуда-то доносилось постукивание бильярдных шаров — должно быть, развлекался унылый шалун на психической почве. Как его... Симонэ, кажется.

Дверь в душевую я обнаружил на лестничной площадке, и дверь эта оказалась заперта. Некоторое время я стоял в нерешительности, осторожно крутя пластмассовую ручку. Кто-то неторопливо, грузным шагом прошел по коридору. Можно, конечно, спуститься в душевую на первом этаже, подумал я. А можно и не спускаться. Можно сначала пробежаться на лыжах. Я рассеянно уставился на деревянную лестницу, ведущую, видимо, на крышу. Или, например, подняться на крышу и полюбоваться видом. Говорят, здесь неописуемо хороши восходы и закаты. А все-таки свинство, что душ заперт. Или там кто-то засел? Да нет, тихо... Я еще раз подергал ручку. А, ладно. Бог с ним, с душем. Успеется. Я повернулся и пошел к себе.

Что-то изменилось в моем номере, я почувствовал это сразу. Через секунду я понял: пахло трубочным табаком, совсем как в номере-музее. Я немедленно взглянул на пепельницу. Курящейся трубки там не было — была горка пепла вперемешку с табачными крошками. На постое стоят, вспомнилось мне. Не пьют, не едят, только следы оставляют...

И тут рядом кто-то протяжно и громко зевнул. Из спальни, стуча когтями, лениво вышел сенбернар Лель, с ухмылкой посмотрел на меня и потянулся.

— Ах, так это ты здесь курил? — сказал я.

Лель подмигнул и помотал головой. Словно муху отгонял.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Судя по следам на снегу, кто-то здесь уже пытался ходить на лыжах, — отъехал метров на пятьдесят, падая на каждом шагу, а затем возвратился, проваливаясь по колено, таща лыжи и палки в охапке, роняя их, подбирая и снова роняя, — казалось, над этими скорбными голубыми рытвинами и шрамами в снегу до сих пор не осели замерзшие проклятия. Но в остальном снежный покров долины был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня.

Я попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения... унылые заслякощенные улицы, провонявшие сургучом коридоры, пустые пасти угрюмых, как подбитые танки, сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой, и выцветшие розовенькие обои в спальне, и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской... с каждым выдохом освобождаясь от самого себя — казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человечка со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе, и как же это здорово, что я сюда приехал... молодец Згут, умница Згут, спасибо тебе, Згут, хоть ты и лупишь, говорят, своих «медвежатников» по мордам во время допросов... и какой же я еще крепкий, ловкий, сильный — могу вот так, по идеальной прямой, сто тысяч километров по идеальной прямой, а могу вот так, круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега... а ведь я уже три года не бегал на лыжах, с тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик, и на кой черт мы это сделали, снабдились приютом на старость, всю жизнь работаешь на старость... а, черт с ним со всем, не хочу я об этом сейчас думать, черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петер, Петер Глебски, законолюбивый чиновник, спаси тебя Бог...

Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задыхающийся, с ног до головы запорошенный

снежной пылью. Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками, а восторг приходит — и тут же уходит, и ничего от него не остается, кроме неловкости, мокрой спины и дрожащих от миновавшего возбуждения мышц. Вот и уши ветром заложило... Я снял перчатку, сунул мизинец в ухо, повертел и вдруг услышал трескучий грохот, словно по соседству шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня — не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих, новых, которые пробивают стены и губят больше жизней, чем все насильники, грабители и убийцы вместе взятые. Он обдал меня ошметками снега, очки снова залепило, но я все-таки заметил тощую согнутую фигуру, развевающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа. За езду без шлема, подумал я автоматически, пятьдесят крон штрафа и лишение водительского удостоверения на месяц... Впрочем, не могло быть и речи о том, чтобы разглядеть номер — я не мог разглядеть даже отель и половину долины в придачу — снежное облако поднялось до неба. А, какое мне дело! Я навалился на палки и побежал вдоль дороги вслед за мотоциклом к отелю.

Когда я подъехал, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. До чего все-таки зловещая машина. Так и чудится, что в следующем году отель станет называться «У Погибшего Мотоциклиста». Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену: «Сюда. Сюда он врезался на скорости сто двадцать миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собой четыреста тридцать два кирпича...» Хорошая вещь — реклама, подумал я, поднимаясь по ступенькам. Приду вот сейчас к себе в номер, а за моим столом расселся скелет с дымящейся трубкой в зубах, и перед ним фирменная настойка на мухоморах, три кроны за литр.

Посредине холла стоял невообразимо длинный и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему гибкому существу неопределенного пола, изящно развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф.

Когда я закрыл за собой дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическими брыльями и не менее

аристократическим носом феноменальной формы. Такой нос мог быть только у одного человека, и этот человек не мог не быть той самой знаменитостью. Секунду он разглядывал меня, словно бы в недоумении, затем сложил губы куриной гузкой и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь.

— Дю Барнстокр, — почти пропел он. — К вашим услугам.

— Неужели тот самый дю Барнстокр? — с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку.

— Тот самый, сударь, тот самый, — произнес он. — С кем имею честь?

Я отрекомендовался, испытывая какую-то дурацкую робость, которая нам, полицейским чиновникам, вообще-то не свойственна. Ведь с первого же взгляда было ясно, что такой человек не может не скрывать доходов и налоговые декларации заполняет туманно.

— Какая прелесть! — пропел вдруг дю Барнстокр, хватая меня за лацкан. — Где вы это нашли? Брюн, дитя мое, взгляните, какая прелесть!

В пальцах у него оказалась синенькая фиалка. И запахло фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник.

— Из рукава, — заявило оно хриплым басом. — Хилая работа, дядя.

— Из рукава! — грустно повторил дю Барнстокр. — Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа. Хилая и недостойная такого знатока, как господин Глебски.

Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел на нее, задрав брови, и фиалка пропала. Я закрыл рот и потряс головой. У меня не было слов.

— Вы мастерски владеете лыжами, господин Глебски, — сказал дю Барнстокр. — Я следил за вами из окна. И, надо сказать, получил истинное наслаждение.

— Ну что вы, — пробормотал я. — Так, бегал когда-то...

— Дядя, — воззвало вдруг существо из недр кресла. — Сотворите лучше сигаретку.

Дю Барнстокр, казалось, спохватился.

— Да! — сказал он. — Позвольте представить вам, господин Глебски: это Брюн, единственное дитя моего дорогого покойного брата... Брюн, дитя мое!

Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него

были богатые, женские, а впрочем, может быть, и не женские, а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а впрочем, может быть, совсем наоборот — стройные девичьи. Куртка же была размера на три больше, чем требовалось. Одним словом, я бы предпочел, чтобы дю Барнстокр представил чадо своего дорогого покойника просто как племянницу или племянника. Дитя равнодушно улыбнулось мне розовым нежным ртом и протянуло обветренную исцарапанную руку.

— Хорошо мы вас шуганули? — осведомилось оно сипло. — Там, на дороге...

— Мы? — переспросил я.

— Ну, не мы, конечно. Буцефал. Он это умеет... Все очки ему залепил, — сообщило оно дяде.

— В данном случае, — любезно пояснил дю Барнстокр, — Буцефал не есть легендарный конь Александра Македонского. В данном случае Буцефал — это мотоцикл, безобразная и опасная машина, которая медленно убивает меня на протяжении двух последних лет и в конце концов, как я чувствую, вгонит меня в гроб.

— Сигаретку бы, — напомнило чадо.

Дю Барнстокр удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета, и он протянул ее чаду. Чадо затянулось и капризно буркнуло:

— Опять с фильтром...

— Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска, — сказал мне дю Барнстокр. — Скоро обед...

— Да, — сказал я. — Конечно. Прошу прощения.

Для меня было большим облегчением удрать от этой компании. Я не чувствовал себя в форме. Меня застали врасплох. Все-таки знаменитый фокусник на арене — это одно, а знаменитый фокусник в частной жизни — это, оказывается, совсем другое. Я кое-как откланялся и пошел шагать через три ступеньки на свой этаж.

В коридоре по-прежнему было пусто, где-то в отдалении по-прежнему сухо пощелкивали бильярдные шары. Проклятый душ был по-прежнему заперт. Я кое-как умылся у себя в номере, переоделся и, взяв сигаретку, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то взвизг и зловещий рыдающий хохот в коридоре. Я подскочил. В ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайсы промяукал: «Кушать, пожалуйста!» Я откликнулся в том смысле, что да-да, сейчас иду, и спустил ноги с дивана, нашаривая туфли. «Кушать,

пожалуйста!» — донеслось издали, а потом еще раз: «Кушать, пожалуйста!», — а потом снова короткий визг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряканье ржавых цепей.

Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание; мужественная замкнутость профессионала; простодушная готовность к решительно любым знакомствам и ухмылка типа «гы». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел.

Дверь номера напротив была распахнута. В проеме, у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной — в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась, однако же, вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте, — сказал я, помолчав. — Вам помочь?

Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и, продолжая отдавать честь, встал передо мною во фрунт.

— Честь имею, инспектор, — сказал он. — Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симонэ.

— Вольно, — сказал я, и мы пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик, — сообщил он. — Но «от кибернетики» звучит почти так же плавно, как «от инфантерии». Получается смешно. — И он неожиданно разразился тем самым ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах.

— Что вы там делали наверху? — спросил я, преодолевая оторопь.

— Тренировался, — ответствовал он. — Я ведь альпинист...

— Погибший? — сострил я и сейчас же пожалел об этом, потому что он снова обрушил на меня лавину своего замогильного хохота.

— Неплохо, неплохо для начала, — проговорил он, вытирая глаза. — Нет, я еще живой. Я приехал сюда полазать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег. Вот я и лазаю по дверям, по стенам... — Он вдруг замолчал и взял меня под руку. — Собственно говоря, — сказал он, — я приехал сюда проветриться. Переутомление. Проект «Мидас», слыхали? Совершенно секретно. Четыре года без отпуска. Вот врачи и прописали мне курс чувственных удовольствий. — Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски. — Держитесь за мной, инспектор, — гаркнул он на бегу. — Торопитесь, а не то друзья и близкие Погибшего съедят всю

икру...

Столовая была большая, в пять окон. Посередине стоял огромный овальный стол персон на двадцать; роскошный, почерневший от времени буфет сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками; скатерть на столе была крахмальная, посуда — прекрасного фарфора, приборы — серебряные, с благородной чернью. Но при всем при том порядки здесь, видимо, были самые демократические. На столике для закусок красовались закуски — хватай что успеешь. На другой столик, поменьше, Кайса водружала фаянсовые лохани с овощным супом и бульоном — сам выбирай, сам наливай. Для желающих освежиться существовала буфетная батарея — бренди, ирландский джин, пиво и фирменная настойка (на лепестках эдельвейса, утверждал Згут).

За столом уже сидели дю Барнстокр и чадо его покойного брата. Дю Барнстокр изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, уплетало овощной суп.

Во главе стола царила незнакомая мне дама ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то двадцать, не то сорок, нежные смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные, высоко взбитые волосы, бесценная диадема — это была, несомненно, госпожа Мозес, и ей, несомненно, было не место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах да еще, пожалуй, в супербоевиках.

Хозяин, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносиком в руке. На подносике в хрустальной граненой рюмке жутко голубела настойка.

— Боевое крещение! — объявил хозяин, приблизившись. — Набирайте закуску поострее.

Я повиновался. Я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух (еще пару затхлых кабинетов и коридоров) и вылил настойку в рот. Я содрогнулся. Все смотрели на меня, поэтому я содрогнулся только мысленно и откусил половину пикуля. Хозяин крякнул. Симонэ тоже крякнул. Госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: «О! Это настоящий мужчина». Я улыбнулся и засунул в рот вторую половину пикуля, горько сожалея, что не бывает пикулей величиной с дыню. «Дает!» — отчетливо произнесло чадо.

— Госпожа Мозес! — произнес хозяин. — Разрешите представить вам

инспектора Глебски.

Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, поднялись и опустились чудные ресницы.

— Господин Глебски! — сказал хозяин. — Госпожа Мозес.

Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам, так у меня пекло в животе, но госпожа Мозес улыбнулась, и мне сразу полегчало. Скромно отвернувшись, я покончил с закуской и отправился за супом. Хозяин усадил меня напротив Барнстокров, так что справа от меня, к сожалению, слишком далеко, оказалась госпожа Мозес, а слева, к сожалению, слишком близко, — унылый шалун Симонэ, готовый в любую минуту разразиться жутким хохотом.

Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее — о том, что в отеле происходят в последние дни странные вещи. Меня как новичка посвятили в подробности. Дю Барнстокр подтвердил, что действительно два дня назад у него пропали туфли, которые обнаружились только к вечеру в номере-музее. Симонэ, похохатывая, сообщил, что кто-то читает его книги — по преимуществу специальную литературу — и делает на полях пометки — по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то несомненно бродит по дому. Он слышал это своими ушами и один раз даже видел белую фигуру, скользнувшую от входной двери через холл по направлению к лестнице. Госпожа Мозес, нисколько не чинясь, охотно подтвердила эти сообщения и добавила, что вчера ночью кто-то заглянул к ней в окно. Дю Барнстокр тоже подтвердил, что кто-то ходит, но он лично считает, что это всего лишь наша добрая Кайса, так ему, во всяком случае, показалось. Хозяин заметил, что это совершенно исключено, а Симон Симонэ похвастался, будто он вот спит по ночам как мертвый и ничего такого не слышал. Но он уже дважды замечал, что лыжные ботинки его постоянно пребывают в мокром состоянии, как будто кто-то ночью бегает в них по снегу. Я, потешаясь про себя, рассказал про случай с пепельницей и сенбернаром, а чадо хрипло объявило — к сведению всех присутствующих, — что оно, чадо, в общем ничего особенного против этих штучек-дрючек не имеет, оно к этим фокусам-покусам привыкло, но совершенно не терпит, когда посторонние валяются на его, чадиной, постели. При этом оно свирепо целилось в меня своими окулярами, и я порадовался, что приехал только сегодня.

Атмосферу сладкой жути, воцарившуюся за столом, нарушил господин физик.

— Приезжает как-то один штабс-капитан в незнакомый город, — объявил он. — Останавливается в гостинице и велит позвать хозяина...

Внезапно он замолчал и огляделся.

— Пардон, — произнес он. — Я не уверен, что в присутствии дам, — тут он поклонился в сторону госпожи Мозес, — а также юно... э-э... юношества, — он посмотрел на чадо, — э-э...

— А, дурацкий анекдот, — сказало чадо с пренебрежением. — «Все прекрасно, но не делится пополам». Этот, что ли?

— Именно! — воскликнул Симонэ и разразился хохотом.

— Делится пополам? — улыбаясь, спросила госпожа Мозес.

— Не делится! — сердито поправило чадо.

— Ах, не делится? — удивилась госпожа Мозес. — А что именно не делится?

Дитя открыло было рот, но дю Барнстокр сделал неуловимое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого дитя тут же сочно откусило.

— В конце концов, удивительное происходит не только в нашем отеле, — сказал дю Барнстокр. — Достаточно вспомнить, например, о знаменитых летающих неопознанных объектах...

Чадо с грохотом отодвинуло стул, поднялось и, продолжая хрустеть яблоком, направилось к выходу. Черт знает что! То вдруг чудилась в этой стройной ладной фигуре молоденькая прелестная девушка. Но стоило смягчиться душою, и девушка пропадала, а вместо нее самым непристойным образом появлялся расхлябанный нагловатый подросток — из тех, что разводят блох на пляжах и накачивают себя наркотиками в общественных уборных. Я все размышлял, у кого бы спросить, мальчик это, черт его возьми, или девочка, а дю Барнстокр продолжал журчать:

— ...Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. Вопрос лишь в плотности распределения разума во Вселенной. По оценкам различных ученых — господин Симонэ поправит меня, если я ошибаюсь, — только в нашей Галактике может существовать до миллиона обитаемых солнечных систем. Если бы я был математиком, господа, я бы на основании этих данных попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чьего-то научного внимания...

Самого дю Барнстокра спрашивать как-то неловко, размышлял я. К тому же он, пожалуй, и сам толком не знает. Откуда ему знать? Дитя и дитя... Любезному хозяину наверняка наплевать. Кайса глупа. У Симонэ спросить — пережить лишний вал загробного веселья... Впрочем, что это

я? Мне-то какое до этого дело?.. Жаркого еще взять, что ли?.. Кайса, без сомнения, глупа, но в кулинарии, без всякого сомнения, толк знает...

— ...Согласитесь, — журчал дю Барнстокр, — мысль о том, что чужие глаза внимательно и прилежно изучают нашу старушку-планету через бездны Космоса, — эта мысль уже сама по себе способна занимать воображение...

— Подсчитал, — сказал Симонэ. — Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных и наблюдают только населенные, то это будет единица минус «е» в степени минус единица.

— Неужели так и будет? — сдержанно ужаснулась госпожа Мозес, одаряя Симонэ восхищенной улыбкой.

Симонэ заржал, словно дворняга загавкала. Он даже на стуле задвигался. Глаза его увлажнились.

— Сколько же это будет в численном выражении? — осведомился дю Барнстокр, переждав сей акустический налет.

— Приблизительно две трети, — ответил Симонэ, вытирая глаза.

— Но это же огромная вероятность! — с жаром сказал дю Барнстокр. — Я понимаю это так, что мы почти наверняка являемся объектом наблюдения!

Тут дверь в столовую за моей спиной загрохотала и задребезжала, как будто ее толкали плечом с большой силой.

— На себя! — крикнул хозяин. — На себя, пожалуйста!

Я обернулся, и в ту же секунду дверь распахнулась. На пороге появилась удивительная фигура. Массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожьим лицом, облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги, с полами до колен. Под камзолом виднелись форменные брюки с золотыми генеральскими лампасами. Одну руку он держал за спиной, а другой сжимал высокую металлическую кружку.

— Ольга! — прорычал он, глядя перед собой мутными глазами. — Супу!

Возникла короткая суета. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столику с супами, хозяин отвалился от буфета и принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить, Симонэ поспешно набил рот картофелем и выкатил глаза, чтобы не загоготать, а господин Мозес — ибо, несомненно, это был он, — торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и там уселся, едва не промахнувшись мимо сиденья.

— Погода, господа, нынче — снег, — объявил он. Он был совершенно

пьян. Госпожа Мозес поставила перед ним суп, он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки. — О чем речь? — осведомился он.

— Мы обсуждали здесь возможность посещения Земли визитерами из космического пространства, — пояснил дю Барнстокр, приятно улыбаясь.

— Что это вы имеете в виду? — спросил господин Мозес, с огромным подозрением уставясь поверх кружки на дю Барнстокра. — Не ожидал этого от вас, Барн... Барл... дю!

— О, это чистая теория! — легко воскликнул дю Барнстокр. — Господин Симонэ подсчитал нам вероятность...

— Вздор, — сказал господин Мозес. — Чепуха. Математика — это не наука... А это кто? — спросил он, выкатывая на меня правый глаз. Мутный какой-то глаз, нехороший.

— Позвольте представить, — поспешно сказал хозяин. — Господин Мозес — господин инспектор Глебски. Господин Глебски — господин Мозес.

— Инспектор... — проворчал Мозес. — Фальшивые квитанции, подложные паспорта... Так вы имейте в виду, Глебски, у меня паспорта не подложные. Память хорошая?

— Не жалуюсь, — сказал я.

— Ну так вот, не забывайте. — Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки. — Хороший суп сегодня, — сообщил он. — Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. Но что же вы замолчали, господа? Продолжайте, продолжайте, я слушаю.

— По поводу мяса, — сейчас же сказал Симонэ. — Некий чревоугодник заказал в ресторане филе...

— Филе. Так! — одобрительно сказал господин Мозес, пытаясь разрезать жаркое одной рукой. Другую руку он не отнимал от кружки.

— Официант принял заказ, — продолжал Симонэ, — а чревоугодник в ожидании любимого блюда разглядывает девиц на эстраде...

— Смешно, — сказал господин Мозес. — Очень смешно пока. Соли маловато. Ольга, подай сюда соль. Ну-с?

Симонэ заколебался.

— Пардон, — сказал он нерешительно. — У меня тут появились сильнейшие опасения...

— Так. Опасения, — удовлетворенно констатировал господин Мозес. — А дальше?

— Всё, — сказал с унынием Симонэ и откинулся на спинку стула.

Мозес воззрился на него.

— Как — все? — спросил он с негодованием. — Но ему принесли

филе?

— М-м... Собственно... Нет, — сказал Симонэ.

— Это наглость, — сказал Мозес. — Надо было вызвать метрдотеля. — Он с отвращением отодвинул от себя тарелку. — На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симонэ.

— Уж какая есть, — сказал Симонэ, бледно улыбаясь.

Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину.

— Сневар, — сказал он, — вы нашли негодяя, который крадет туфли?.. Инспектор, вот вам работа. Займитесь-ка на досуге. Все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна.

Я хотел было ответить, что займусь обязательно, но тут чадо завело под самыми окнами своего Буцефала. Стекла в столовой задребезжали, разговаривать стало затруднительно. Все уткнулись в тарелки, а дю Барнстокр, прижав растопыренную пятерню к сердцу, расточал направо и налево немые извинения. Потом Буцефал взревел совсем уж невыносимо, за окнами взлетело облако снежной пыли, рев стремительно удалился и превратился в едва слышное жужжание.

— Совершенно как на Ниагаре, — прозвенел хрустальный голосок госпожи Мозес.

— Как на ракетодроме! — возразил Симонэ. — Зверская машина.

Кайса на цыпочках приблизилась к господину Мозесу и поставила перед ним графин с ананасным сиропом. Мозес благосклонно посмотрел на графин и отхлебнул из кружки.

— Инспектор, — произнес он, — а что вы думаете по поводу этих краж?

— Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих, — ответил я.

— Странная мысль, — неодобрительно сказал Мозес.

— Нисколько, — возразил я. — Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои.

— О да! — произнес хозяин глухим голосом. — Конечно, в доме только свои. Но ОН был для Леля не просто своим. ОН был для него богом, господа!

Мозес уставился на него.

— Кто это — ОН? — спросил он строго.

— ОН. Погибший.

— Как интересно! — прощебетала госпожа Мозес.

— Не забивайте мне голову, — сказал Мозес хозяину. — А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте — настоятельно

посоветуйте! — ему прекратить. Вы меня понимаете? — Он обвел нас налитыми глазами. — Иначе я тоже начну шутить! — рявкнул он.

Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если господин Мозес начнет шутить. Не знаю, как у других, а у меня лично картина получилась на редкость безотрадная. Мозес разглядывал каждого из нас по очереди, не забывая прихлебывать из кружки. Совершенно невозможно было понять, кто он таков и что здесь делает. И почему на нем этот шутовской лапсердак? (Может быть, он уже начал шутить?) И что у него в кружке? И почему она у него все время словно бы полна, хотя он на моих глазах уже прикладывался к ней раз сто и весьма основательно?..

Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила:

— Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!

Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо:

— Благодарю вас, господа. До ужина.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Представления не имею, кто он такой, — произнес хозяин, разглядывая стакан на свет. — Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности. Но он не коммерсант. Полоумный алхимик, волшебник, изобретатель... но только не коммерсант.

Мы сидели в каминной. Жарко пылал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный. Полутьма была уютная, красноватая, совершенно домашняя. На дворе начиналась пурга, в каминной трубе посвистывало. В доме было тихо, только временами издалека, как с кладбища, доносились взрывы рыдающего хохота да резкие, как выстрелы, трески удачных клапштосов. На кухне Кайса позвякивала кастрюлями.

— Коммерсанты обычно скупы, — продолжал хозяин задумчиво. — А господин Мозес не скуп, нет. «Могу ли я осведомиться, — спросил я его, — чьей рекомендации обязан я честью вашего посещения?» Вместо ответа он вытащил из бумажника стокроновый билет, поджег его зажигалкой, раскурил от него сигарету и, выпустив дым мне в лицо, ответил: «Я — Мозес, сударь. Альберт Мозес! Мозес не нуждается в рекомендациях. Мозес везде и всюду дома». Что вы на это скажете?

Я подумал.

— У меня был знакомый фальшивомонетчик, который вел себя примерно так же, когда у него спрашивали документы, — сказал я.

— Отпадает, — с удовольствием сказал хозяин. — Билеты у него настоящие.

— Значит, взбесившийся миллионер.

— То, что он миллионер, это ясно, — сказал хозяин. — А вот кто он такой? Путешествует по собственной надобности... По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лазят по скалам. Здесь тупик. Отсюда никуда нет дороги.

Я совсем лег в кресло и скрестил ноги. Было необычайно приятно расположиться таким вот образом и с самым серьезным видом размышлять, кто такой господин Мозес.

— Ну хорошо, — сказал я. — Тупик. А что делает в этом тупике знаменитый господин дю Барнстокр?

— О, господин дю Барнстокр — это совсем другое дело. Он приезжает ко мне ежегодно вот уже тринадцатый год подряд. Впервые он приехал еще

тогда, когда отель назывался просто «Шалаш». Он без ума от моей настойки. А господин Мозес, осмелюсь заметить, постоянно навеселе, а между тем за все время не взял у меня ни бутылки.

Я значительно хмыкнул и сделал хороший глоток.

— Изобретатель, — решительно сказал хозяин. — Изобретатель или волшебник.

— Вы верите в волшебников, господин Сневар?

— Алек, если вам будет угодно. Просто Алек.

Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алека.

— Тогда зовите меня просто Петер, — сказал я.

Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петера.

— Верю ли я в волшебников? — сказал он. — Я верю во все, что могу себе представить, Петер. В волшебников, в Господа Бога, в дьявола, в привидения... в летающие тарелки... Раз человеческий мозг может все это вообразить, значит, все это где-то существует, иначе зачем бы мозгу такая способность?

— Вы философ, Алек.

— Да, Петер, я философ. Я поэт, философ и механик. Вы видели мои вечные двигатели?

— Нет. Они работают?

— Иногда. Мне приходится часто останавливать их, слишком быстро изнашиваются детали... Кайса! — заорал он вдруг так, что я вздрогнул. — Еще стакан горячего портвейна господину инспектору!

Вошел сенбернар, обнюхал нас, с сомнением поглядел на огонь, отошел к стене и с грохотом обрушился на пол.

— Лель, — сказал хозяин. — Иногда я завидую этому псу. Он многое, очень многое видит и слышит, когда бродит ночами по коридорам. Он мог бы многое рассказать, если бы умел. И если бы захотел, конечно.

Появилась Кайса, очень румяная и слегка растрепанная. Она подала мне стакан портвейна, сделала книксен, хихикнула и удалилась.

— Пышечка, — пробормотал я машинально. Все-таки это был уже третий стакан. Хозяин добродушно хохотнул.

— Неотразима, — признал он. — Даже господин дю Барнстокр не удержался и ущипнул ее вчера за зад. А уж что делается с нашим физиком...

— По-моему, наш физик имеет в виду прежде всего госпожу Мозес, — возразил я.

— Госпожа Мозес... — задумчиво произнес хозяин. — А вы знаете, Петер, у меня есть довольно веские основания предполагать, что никакая она не госпожа и вовсе не Мозес.

Я не возражал. Подумаешь...

— Вы, вероятно, уже заметили, — продолжал хозяин, — что она гораздо глупее Кайсы. И потом... — Он понизил голос. — По-моему, Мозес ее бьет.

Я вздрогнул.

— Как — бьет?

— По-моему, плеткой. У Мозеса есть плетка. Арапник. Едва я его увидел, как сразу задал себе вопрос: зачем господину Мозесу арапник? Вы можете ответить на этот вопрос?

— Ну, знаете, Алек... — сказал я.

— Я не настаиваю, — сказал хозяин. — Я ни на чем не настаиваю. И вообще о господине Мозесе заговорили вы, я бы никогда не позволил себе первым коснуться такого предмета. Я говорил о нашем великом физике.

— Ладно, — согласился я. — Поговорим о великом физике.

— Он гостит у меня не то третий, не то четвертый раз, — сказал хозяин, — и с каждым разом приезжает все более великим.

— Подождите, — сказал я. — Кого вы, собственно, имеете в виду?

— Господина Симонэ, разумеется. Неужели вы никогда раньше не слыхали этого имени?

— Никогда, — сказал я. — А что, он попадался на подлогах багажных квитанций?

Хозяин посмотрел на меня укоризненно.

— Героев национальной науки надо знать, — строго сказал он.

— Вы серьезно? — осведомился я.

— Абсолютно.

— Этот унылый шалун — герой национальной науки?

Хозяин покивал.

— Да, — сказал он. — Я понимаю вас... Конечно: прежде всего манеры, а потом уже все остальное... Впрочем, вы правы. Господин Симонэ служит для меня неиссякаемым источником размышлений о разительном несоответствии между поведением человека, когда он отдыхает, и его значением для человечества, когда он работает.

— Гм... — произнес я. Это было почище арапника.

— Я вижу, вы не верите, — сказал хозяин. — Но должен вам заметить...

Он замолчал, и я почувствовал, что в каминной появился еще кто-то. Пришлось повернуть голову и скосить глаза. Это было единственное дитя покойного брата господина дю Барнстокра. Оно возникло совершенно неслышно и теперь сидело на корточках рядом с Лелем и гладило собаку по

голове. Багровые блики от раскаленных углей светились в огромных черных очках. Дитя было какое-то очень уж одинокое, всеми забытое и маленькое. И от него исходил едва заметный запах пота, хороших духов и бензина.

— Метель какая... — сказало оно тоненьким жалобным голоском.

— Брюн, — сказал я. — Дитя мое. Снимите на минутку ваши ужасные очки.

— Зачем? — жалобно спросило чадо.

Действительно, зачем? — подумал я и сказал:

— Я хотел бы увидеть ваше лицо.

— Это совершенно не нужно, — сказало чадо, вздохнуло и попросило: — Дайте, пожалуйста, сигаретку.

Ну конечно же, это была девушка. Очень милая девушка. И очень одинокая. Это ужасно — в таком возрасте быть одиноким. Я поднес ей пачку с сигаретами, я щелкнул зажигалкой, я поискал, что сказать, и не нашел. Конечно, это была девушка. Она и курила как девушка — короткими нервными затяжками.

— Как-то мне страшно, — сказала она. — Кто-то трогал ручку моей двери.

— Ну-ну, — сказал я. — Наверное, это был ваш дядя.

— Нет, — возразила она. — Дядя спит. Уронил книжку на пол и лежит с открытым ртом. И мне почему-то вдруг показалось, что он умер...

— Рюмку бренди, Брюн? — сказал хозяин глухим голосом. — Рюмка бренди не помешает в такую ночь, а, Брюн?

— Не хочу, — сказала Брюн и передернула плечами. — Вы еще долго будете здесь сидеть?

У меня не стало сил слушать этот жалобный голос.

— Черт возьми, Алек, — сказал я. — Вы хозяин или нет? Неужели нельзя приказать Кайсе провести ночь с бедной девушкой?

— Гм... — сказал хозяин с сомнением, и мне почудилось, будто дитя хихикнуло.

— Или что-нибудь в этом роде... — добавил я с уже меньшим энтузиазмом.

— Эта идея мне нравится, — сказало дитя, оживившись. — Кайса — это как раз то, что надо. Кайса или что-нибудь в этом роде.

Я в замешательстве опорожнил стакан, а дитя вдруг выпустило в камин длинный точный плевок и отправило следом окурок.

— Машина, — сказало оно сиплым басом. — Не слышите, что ли?

Хозяин поднялся, подхватил меховой жилет и направился к выходу. Я

устремился за ним.

На дворе бушевала настоящая метель. Перед крыльцом стояла большая черная машина, возле нее в отсветах фар размахивали руками и ругались.

— Двадцать крон! — вопили фальцетом. — Двадцать крон и ни грошом меньше! Черт бы вас подрал, вы что, не видели, какая дорога?

— Да за двадцать крон я куплю тебя вместе с твоим драндулетом! — визжали в ответ.

Хозяин ринулся с крыльца.

— Господа! — загудел его мощный голос. — Это все пустяки!..

— Двадцать крон! Мне еще назад возвращаться!..

— Пятнадцать и ни гроша больше! Вымогатель! Дай мне твой номер, я запишу!

— Скупердяй ты, вот и все! Из-за пятерки удавиться готов!..

— Господа! Господа!..

Мне стало холодно, и я вернулся к камину. Ни собаки, ни чада здесь уже не было. Это меня огорчило. Я взял свой стакан и направился в буфетную. В холле я задержался — входная дверь распахнулась, и на пороге появился громадный, залепленный снегом человек с чемоданом в руке. Он сказал «бр-р-р», мощно встряхнулся и оказался светловолосым румяным викингом. Лицо у него было мокрое, на бровях белым пухом лежали снежинки. Заметив меня, он коротко улыбнулся, показав ровные чистые зубы, и произнес приятным баритоном:

— Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф.

Я тоже представился. Дверь снова распахнулась, появился хозяин с двумя баулами, а за ним — маленький, закутанный до глаз человечек, тоже весь залепленный снегом и очень недовольный.

— Проклятые хапуги! — говорил он с истерическим надрывом. — Подрядились за пятнадцать. Ясно, кажется, — по семь с половиной с носа. Почему двадцать? Что за чертовы порядки в этом городишке? Я, черт побери, в полицию его сволоку!..

— Господа, господа!.. — приговаривал хозяин. — Все это пустяки... Прошу вас сюда, налево... Господа!..

Маленький человечек, продолжая кричать про разбитые в кровь морды и про полицию, дал себя увлечь в контору, а викинг Олаф пробасил: «Скряга...» — и принялся оглядываться с таким видом, словно ожидал здесь обнаружить толпу встречающих.

— Кто он такой? — спросил я.

— Не знаю. Взяли одно такси. Другого не оказалось.

Он замолчал, глядя через мое плечо. Я оглянулся. Ничего особенного

там не было. Только портьера, закрывающая вход в коридор, который вел в каминную и к номерам Мозеса, слегка колыхалась. Наверное, от сквозняка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

К утру метель утихла. Я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на крыльцо и, крякая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие трех стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта на востоке, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что третье окно справа на втором этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то даже ночью пожелал вдыхать целебный горный воздух.

Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и сбежал в буфетную, прыгая через ступеньку. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она поднесла мне чашку какао и сандвич, и я уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. Только бы никого не встретить, подумал я. Утро слишком хорошо для двоих... Думая об этом утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний, закутанный до бровей в шубу человечишко, закативший скандал из-за пяти крон. (Хинкус, ходатай по делам несовершеннолетних, в отпуске по болезни.) И я никого не встретил, кроме сенбернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепления, и утро, ясное небо, золотое солнце, пушистая белая долина — все это досталось мне одному.

Когда, совершив десятимильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже била ключом. Все население вывалилось погреться на солнышке. Чадо со своим Буцефалом на радость зрителям вспарывало и потрошило свежие сугробы — от обоих валил пар. Ходатай по делам несовершеннолетних, оказавшийся вне шубы жилистым остролицым типчиком лет тридцати пяти, гикая, описывал на лыжах сложные восьмерки вокруг отеля, не удаляясь, впрочем, слишком далеко. Сам господин дю Барнстокр взгромоздился на лыжи и был уже весь вывалян в снегу, как неимоверно длинная и истощенная снежная баба. Что же касается викинга Олафа, то он демонстрировал танцы на лыжах, и я почувствовал себя несколько уязвленным, когда понял, что это — настоящий умелец. С плоской крыши на все это взирали госпожа Мозес в изящной меховой пелерине, господин Мозес в своем камзоле и с неизменной кружкой в руке и хозяин, что-то им обоим втолковывающий. Я поискал глазами господина Симонэ. Великий физик тоже должен был где-

то здесь наличествовать — ржание и лай его я услышал мили за три от отеля. И он здесь наличествовал — висел на верхушке совершенно гладкого телефонного столба и отдавал мне честь.

Меня вообще приветствовали очень тепло. Господин дю Барнстокр поведал мне, что у меня появился достойный соперник, а госпожа Мозес с крыши прозвенела подобно серебряному колокольчику о том, что господин Олаф прекрасен, как возмужалый бог. Это меня кольнуло, и я не замедлил свалять дурака. Когда чадо, которое сегодня, несомненно, было парнем, этаким диким ангелом без манер и без морали, предложило гонки на лыжах за мотоциклом, я бросил вызов судьбе и викингу и первым подхватил конец троса.

Десяток лет назад я занимался этим видом спорта, однако тогда мировая промышленность, по-видимому, не выпускала еще Буцефалов, да и сам я был покрепче. Короче говоря, минуты через три я снова оказался перед крыльцом, и вид у меня, вероятно, был неважный, потому что госпожа Мозес испуганно спросила, не следует ли меня растереть, господин Мозес ворчливо посоветовал растереть этого горе-лыжника в порошок, а хозяин, мигом очутившийся внизу, заботливо подхватил меня под мышки и стал уговаривать немедленно глотнуть чудодейственной фирменной настойки — «ароматной, крепкой, утоляющей боль и восстанавливающей душевное равновесие». Господин Симонэ издевательски рыдал и гукал с вершины телефонного столба, господин дю Барнстокр, извиняясь, прижимал к сердцу растопыренную пятерню, а подъехавший ходатай Хинкус, азартно толкаясь и вертя головой, спрашивал у всех, много ли переломов и «куда его унесли».

Пока меня отряхивали, ощупывали, массировали, вытирали мне лицо, выгребали у меня из-за шиворота снег и искали мой шлем, конец троса подхватил Олаф Андварафорс, и меня тут же бросили, чтобы упиться новым зрелищем — действительно, довольно эффектным. Всеми покинутый и забытый, я все еще приводил себя в порядок, а изменчивая толпа уже восторженно приветствовала нового кумира. Но фортуне, знаете ли, безразлично, кто вы — белокурый бог снегов или стареющий полицейский чиновник. В апогее триумфа, когда викинг уже возвышался у крыльца, картинно опершись на палки и посылая ослепительные улыбки госпоже Мозес, фортуна слегка повернула свое крылатое колесо. Сенбернар Лель деловито подошел к победителю, пристально его обнюхал и вдруг коротким, точным движением поднял лапу прямо ему на пьексы. О большем я и мечтать не мог. Госпожа Мозес взвизгнула, разразился многоголосый взрыв возмущения, и я ушел в дом. По натуре я человек не

злорадный, я только люблю справедливость. Во всем.

В буфетной я не без труда выяснил у Кайсы, что душ в отеле работает, оказывается, только на первом этаже, поспешил за свежим бельем и полотенцем, но как я ни спешил, а все-таки опоздал. Душ оказался уже занят, из-за двери доносился плеск струй и неразборчивое пение, а перед дверью стоял Симонэ, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за ним, а за мной сейчас же пристроился господин дю Барнстокр. Мы закурили. Симонэ, давясь от смеха и оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. Но тут, к счастью, появилась госпожа Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин дю Барнстокр галантно и пространно ответил ей, что, увы, нет. Симонэ, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение с явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю де Шанель у них две ванны — одна золотая, а другая, кажется, платиновая, и, когда мы не нашлись, что на это ответить, сообщила, что пойдет поищет господина Мозеса в другом месте. Симонэ тут же вызвался сопровождать ее, и мы с дю Барнстокром остались вдвоем. Дю Барнстокр, понизив голос, осведомился, видел ли я досадную сцену, имевшую место между сенбернаром Лелем и господином Андварафорсом. Я доставил себе маленькое удовольствие, ответивши, что нет, не видел. Тогда дю Барнстокр описал мне эту сцену со всеми подробностями и, когда я кончил всплескивать руками и сокрушенно цокать языком, скорбно добавил, что наш добрый хозяин совершенно распустил своего пса, ибо не далее как позавчера сенбернар точно так же обошелся в гараже с самой госпожой Мозес. Я снова всплеснул руками и зацокал языком, на этот раз уже вполне искренне, но тут к нам присоединился Хинкус, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут как с двоих, а душ вот работает только один. Господин дю Барнстокр ловко успокоил его: извлек из его полотенца двух леденцовых петушков на палочке. Хинкус немедленно замолчал и даже, бедняга, переменился в лице. Он принял петушков, засунул их себе в рот и уставился на великого престидижитатора с ужасом и недоверием. Тогда господин дю Барнстокр, чрезвычайно довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел.

А в душе все шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись

неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и опозоренный невоспитанной собакой кумир дня Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря лишнего слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше десяти минут.

Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось наверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой.

— Давно стоите? — осведомился Олаф.

— Да, довольно давно, — отозвался дю Барнстокр.

Хинкус вдруг неразборчиво что-то пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл.

— Послушайте, — сказал я. — Кто-нибудь еще приехал сегодня утром?

— Только вот эти господа, — сказал дю Барнстокр. — Господин Андварафорс и господин... э-э... вот этот маленький господин, который только что ушел...

— Мы приехали вчера вечером, — возразил Олаф.

Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песенки под горячими струями и моющего у себя под мышками. Я рассердился и толкнул дверь. И конечно же, дверь открылась. И конечно же, в душевой никого не оказалось. Шумела пущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка Погибшего Альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник.

— Кэ дьябль! — воскликнул дю Барнстокр. — Хозяин! Подите сюда!

Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симонэ. Перегнулось через перила чадо с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасливо выглянул Хинкус.

— Это невероятно! — возбужденно говорил дю Барнстокр. — Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа, не правда ли, инспектор?

— А у меня опять кто-то на постели валялся, — сообщило чадо сверху. — И полотенце все мокрое.

В глазах Симонэ прыгало дьявольское веселье.

— Господа, господа... — приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он нырнул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он

снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное. — Господа! — произнес он глухим голосом. — Я могу только засвидетельствовать факты. Это ЕГО приемник, господа. И это ЕГО куртка.

— А, собственно, чья... — спокойно начал Олаф.

— ЕГО. Погибшего.

— Я хотел спросить, чья, собственно, очередь? — по-прежнему спокойно сказал Олаф.

Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав с себя одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симонэ, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, наверное, подумал я со злостью. Пусть-ка теперь постоит. Герой национальной науки. Сколько воды зря пропало... Нет, этих шутников надо ловить. И наказывать. Я вам покажу, как со мной шутки шутить...

Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадо, по-прежнему висящее на перилах. «Сумасшедший дом!» — сказало оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер.

Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора — солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я спросонок подумал, что это, должно быть, великий физик Симонэ прыгает там с трубы на трубу и гогочет на всю долину. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек — один, по-видимому, сидел, другой стоял перед ним. Загорают, подумал я и отправился умываться. Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо бы выпить чашечку кофе для бодрости, да и перекусить не мешало бы слегка. Я закурил и вышел в коридор. Было уже что-то около трех.

На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота, лицо у него при этом было белое до зелени, глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды.

Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился.

— Загораете? — спросил я из вежливости. — Не сгорите там. Вид у

вас нездоровый.

Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом.

— Захотелось вот выпить, — проговорил он хрипловато.

— Жарко? — спросил я, не оборачиваясь.

— Д-да... Жарковато.

— Смотрите, — сказал я. — Мартовское солнце в горах — злое.

— Да ничего... Выпью вот, и ничего.

Мы спустились в холл.

— Вы бы все-таки оделись, — посоветовал я. — Вдруг там госпожа Мозес...

— Да, — сказал он. — Натурально. Совсем забыл.

Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку, а я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал чего-нибудь покрепче.

— Симонэ тоже там? — спросил я. Мне пришло в голову скоротать время за бильярдом.

— Где? — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Нет. Никого там нет.

Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку.

— Странно, — сказал я. — Мне почему-то показалось, что Симонэ тоже там, на крыше.

— А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось, — грубо ответил ходатай по делам и выпил. И тут же налил снова.

— Что это с вами? — спросил я.

Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку.

— Так, — сказал он наконец, — неприятности. Могут быть у человека неприятности?

Было в нем что-то жалкое, и я смягчился.

— Да, конечно, — сказал я. — Извините, если я нечаянно...

Он опрокинул третью рюмку и вдруг сказал:

— Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?

— Да нет, спасибо, — ответил я. — Боюсь сгореть. Кожа

чувствительная.

— И никогда не загораете?

— Нет.

Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок.

— Воздух там хорош, — произнес он. — И вид прекрасный. Вся долина как на ладони. Горы...

— Пойдемте сыграем на бильярде, — предложил я. — Вы играете?

Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими больными глазками.

— Нет, — сказал он. — Я уж лучше воздухом подышу.

Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свое бренди.

— Смотрите не свалитесь с крыши, — сказал я ему.

Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симонэ. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симонэ там тоже не было. Дю Барнстокр и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Посредине стола высилась кучка смятых банкнот. Увидев меня, дю Барнстокр сделал широкий жест и воскликнул:

— Заходите, заходите, инспектор! Дорогой Олаф, вы, конечно, приглашаете господина инспектора?

— Да, — сказал Олаф, не отрываясь от карт. — С радостью. — И объявил пики.

Я извинился и закрыл дверь. Куда же запропастился этот хохотун? И не видно его и, что самое удивительное, не слышно. А впрочем, что мне он? Погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет. Даже еще приятнее. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес. Увидев меня, она улыбнулась совершенно обворожительно.

— И вы тоже загорали? — ляпнул я, потерявшись.

— Загорала? Я? Что за странная мысль. — Она пересекла площадку и приблизилась ко мне. — Какие странные предположения вы высказываете, инспектор!

— Не называйте меня, пожалуйста, инспектором, — попросил я. — Мне до такой степени надоело это слышать на службе... а теперь еще от вас...

— Я о-бо-жаю полицию, — произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза. — Эти герои, эти смельчаки... Вы ведь смельчак, не правда ли?

Как-то само собой получилось, что я предложил ей руку и повел ее в бильярдную. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная.

— Сударыня, — сказал я. — Да вы совсем замерзли...

— Нисколько, инспектор, — ответила она и тут же спохватилась. — Простите, но как же мне вас называть теперь?

— Может быть, Петер? — предложил я.

— Это было бы прелестно. У меня был друг Петер, барон фон Готтескнехт. Вы не знакомы?.. Однако тогда вам придется звать меня Ольгой. А если услышит Мозес?

— Переживет, — пробормотал я. Я искоса глядел на ее чудные плечи, на царственную шею, на гордый профиль, и меня бросало то в жар, то в холод. Ну, глупа, лихорадочно неслось у меня в голове, ну и что же? И пусть. Мало ли кто глуп!

Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симонэ. Почему-то он лежал на полу в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, волосы взлохмачены.

— Симон! — воскликнула госпожа Мозес и прижала ладони к щекам. — Что с вами?

В ответ Симонэ заклекотал и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку.

— Боже мой, да вы убьетесь! — закричала госпожа Мозес.

— В самом деле, Симонэ, — сказал я с досадой. — Бросьте эти дурацкие штучки, вы сломаете себе шею.

Однако шалун и не думал убиваться и ломать себе шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом легко и мягко спрыгнул вниз и отдал нам честь. Госпожа Мозес зааплодировала.

— Вы просто чудо, Симон, — сказала она. — Как муха!

— Ну что, инспектор, — сказал Симонэ, чуть задыхаясь. — Сразимся во славу прекрасной дамы? — Он схватил кий и сделал фехтовальный выпад. — Я вас вызываю, инспектор Глебски, защищайтесь!

С этими словами он повернулся к бильярдному столу и, не целясь, с таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступать было некуда. Я угрюмо взял кий.

— Сражайтесь, господа, сражайтесь, — сказала госпожа Мозес. — Прекрасная дама оставляет залог победителю. — Она бросила на середину стола кружевной платочек. — А я вынуждена покинуть вас. Боюсь, мой

Мозес уже вне себя. — Она послала нам воздушный поцелуй и удалилась.

— Чертовски завлекательная женщина, — заявил Симонэ. — С ума можно сойти. — Он подцепил кием платочек, погрузил нос в кружева и закатил глаза. — Прелесть!.. У вас, я вижу, тоже без всякого успеха, инспектор?

— Вы бы побольше путались под ногами, — мрачно сказал я, собирая шары в треугольник. — Кто вас просил торчать здесь, в бильярдной?

— А зачем вы, голова садовая, повели ее в бильярдную? — резонно возразил Симонэ.

— Не в номер же к себе мне ее вести... — огрызнулся я.

— Не умеете — не беритесь, — посоветовал Симонэ. — И поставьте шары ровнее, вы имеете дело с гроссмейстером... Вот так. Что играем? Лондонскую?

— Нет. Давайте что-нибудь попроще.

— Попроще так попроще, — согласился Симонэ.

Он аккуратно положил платочек на подоконник, задержался на секунду, склонив голову и заглядывая сквозь стекло куда-то вбок, потом вернулся к столу.

— Вы помните, что сделал Ганнибал с римлянами при Каннах? — спросил он.

— Давайте, давайте, — сказал я. — Начинайте.

— Сейчас я вам напомню, — пообещал Симонэ. Он элегантнейшим образом покатал кием биток, установил его, прицелился и положил шар. Потом он положил еще шар и при этом разбил пирамиду. Затем, не давая мне времени извлекать его добычу из луз, он закатил подряд еще два шара и наконец скиксовал.

— Ваше счастье, — сообщил он, меля кий. — Реабилитируйтесь.

Я пошел вокруг стола, выбирая шар полегче.

— Глядите-ка, — сказал Симонэ. Он снова стоял у окна и заглядывал куда-то вбок. — Какой-то дурак сидит на крыше... Пардон! Два дурака. Один стоит, я принял его за печную трубу. Положительно, мои лавры не дают кому-то покоя.

— Это Хинкус, — проворчал я, пристраиваясь поудобнее для удара.

— Хинкус — это такой маленький и все время брюзжит, — сказал Симонэ. — Ерундовый человечек. Вот Олаф — это да. Если бы вы видели, как он прижал Кайсу — прямо на кухне, среди кипящих кастрюль и скворчащих омлетов... Это истый потомок древних конунгов, вот что я вам скажу, инспектор Глебски.

Я наконец ударил. И промазал. Совсем несложный шар промазал.

Обидно. Я осмотрел конец кия, потрогал накладку.

— Не разглядывайте, не разглядывайте, — сказал Симонэ, подходя к столу. — Нет у вас никаких оправданий.

— Что вы собираетесь бить? — спросил я недоуменно, следя за ним.

— От двух бортов в середину, — с невинным видом сообщил он.

Я застонал и пошел к окну, чтобы не видеть этого. Симонэ ударил. Потом еще раз ударил. Хлестко, с треском, с лязгом. Потом еще раз ударил и сказал:

— Пардон. Действуйте, инспектор.

Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это Хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. А кто это, собственно, стоит?..

— Вы будете бить или нет? — спросил Симонэ. — Что там такое?

— Хинкус надирается, — сказал я. — Ох, свалится он сегодня с крыши.

Хинкус основательно присосался, а затем принял прежнюю позу. Угощать стоявшего он не стал. Кто же это такой? А, так это же чадо, наверное... Интересно, о чем чадо может разговаривать с Хинкусом? Я вернулся к столу, выбрал шар полегче и опять промазал.

— Вы читали мемуар Кориолиса о бильярдной игре? — спросил Симонэ.

— Нет, — сказал я мрачно. — И не собираюсь.

— А я вот читал, — сказал Симонэ. Он в два удара кончил партию и наконец разразился своим жутким хохотом. Я положил кий поперек стола.

— Вы остались без партнера, Симонэ, — сказал я мстительно. — Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве.

Симонэ взял платочек и торжественно сунул его в нагрудный карман.

— Прекрасно, — сказал он. — Чем мы теперь займемся?

Я подумал.

— Пойду-ка я побреюсь. Обед скоро.

— А я? — спросил Симонэ.

— А вы играйте сами с собой в бильярд, — посоветовал я. — Или ступайте в номер к Олафу. У вас есть деньги? Если есть, то вас там примут с распростертыми объятиями.

— А, — сказал Симонэ. — Я уже.

— Что — уже?

— Уже просадил Олафу двести крон. Играет как машина, ни одной ошибки. Даже неинтересно. Тогда я взял и напустил на него Барнстокра. Фокусник есть фокусник, пусть-ка он его пощиплет...

Мы вышли в коридор и сразу же наткнулись на чадо любимого покойного брата господина дю Барнстокра. Чадо загородило нам дорогу и, нагло поблескивая вытаращенными черными окулярами, потребовало сигаретку.

— Как там Хинкус? — спросил я, доставая пачку. — Здорово надрался?

— Хинкус? Ах, этот... — Чадо закурило и, сложив губы колечком, выпустило дым. — Ну, надраться не надрался, но зарядился основательно и еще взял бутылку с собой.

— Ого, — сказал я. — Это уже вторая...

— А что здесь еще делать? — спросило чадо.

— А вы тоже с ним заряжались? — спросил Симонэ с интересом.

Чадо пренебрежительно фыркнуло.

— Черта с два! Он меня и не заметил. Ведь там была Кайса...

Тут мне пришло в голову, что пора наконец выяснить, парень это или девушка, и я раскинул сеть.

— Значит, вы были в буфетной? — спросил я вкрадчиво.

— Да. А что? Полиция не разрешает?

— Полиция хочет знать, что вы там делали.

— И научный мир тоже, — добавил Симонэ. Кажется, та же мысль пришла в голову и ему.

— Кофе пить полиция разрешает? — осведомилось чадо.

— Да, — ответил я. — А еще что вы там делали?

Вот сейчас... Сейчас она... оно скажет: «Я закусывал» или «закусывала». Не может же оно сказать: «Я закусывало»...

— А ничего, — хладнокровно сказало чадо. — Кофе и пирожки с кремом. Вот и все мои занятия в буфетной.

— Сладкое перед обедом вредно, — с упреком сказал Симонэ. Он был явно разочарован. Я тоже.

— Ну а надираться среди бела дня — это не по мне, — закончило чадо, торжествуя победу. — Пусть этот ваш Хинкус надирается.

— Ладно, — пробормотал я. — Пойду побреюсь.

— Может быть, есть еще вопросы? — спросило чадо нам вслед.

— Да нет, бог с вами, — сказал я.

Хлопнула дверь — чадо удалилось в свой номер.

— Схожу-ка и я перекушу, — сказал Симонэ, останавливаясь возле лестничной площадки. — Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним...

— Знаю я, как вы там будете перекусывать, — сказал я. — Ступайте

сами, я человек семейный, меня Кайса не интересует.

Симонэ хохотнул и сказал:

— Раз уж вы человек семейный, вы можете мне сказать, парень это или девчонка? Никак не разберу.

— Занимайтесь Кайсой, — сказал я. — Оставьте эту загадку полиции... Скажите лучше, это вы учинили шуточку с душем?

— И не думал, — возразил Симонэ. — Если хотите знать, по-моему, это сам хозяин.

Я пожал плечами, и мы разошлись. Симонэ застучал ботинками по ступенькам, а я направился в свой номер. В тот момент, когда я проходил мимо номера-музея, там послышался треск, что-то с грохотом повалилось, разбилось что-то стеклянное и послышалось недовольное ворчание. Не теряя ни секунды, я рванул дверь, влетел в номер и едва не сшиб с ног самого господина Мозеса. Господин Мозес, высоко задрав одной рукою край ковра, а в другой сжимая свою неизменную кружку, с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и на черепки разбитой вазы.

— Проклятый притон, — прохрипел он при виде меня. — Грязное логово.

— Что вы тут делаете? — спросил я свирепо.

Господин Мозес немедленно взвинтился.

— Что я тут делаю? — взревел он, изо всех сил рванув ковер на себя. При этом он чуть не потерял равновесие и повалил кресло. — Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене! Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский?

Он отшвырнул ковер и повернулся ко мне. Я даже попятился.

— Может быть, я должен объявить награду? — продолжал он, взвинчивая себя все круче. — Проклятая полиция ведь и пальцем не шевельнет, пока ей не пообещают награду! Извольте, объявляю. Сколько вам нужно, вы, инспектор? Пятьсот? Тысячу? Извольте: полторы тысячи крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы! Две тысячи крон!

— У вас пропали часы? — спросил я, нахмурившись.

— Да!

— Когда вы обнаружили пропажу?

— Только что!

Шутки кончились. Золотые часы — это вам не войлочные туфли и не занятый привидением душ.

— Когда вы видели их в последний раз?

— Сегодня рано утром.

— Где вы их обычно храните?

— Я не храню часы! Я ими пользуюсь! Они лежали у меня на столе!

Я подумал.

— Советую вам, — сказал я наконец, — написать формальное заявление. Тогда я вызову полицию.

Мозес уставился на меня, и некоторое время мы молчали. Потом он отхлебнул из кружки и сказал:

— На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Я же объявил награду. Хотите задаток?

— Мне неудобно вмешиваться в это дело, — возразил я, пожав плечами. — Я не частный сыщик, я государственный служащий. Существует профессиональная этика, и кроме того...

— Ладно, — сказал он вдруг. — Я подумаю... — Он помолчал. — Может быть, они сами найдутся. Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу вам это заявление.

На том мы и порешили. Мозес пошел к себе, а я — к себе.

Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя в номере. У меня новенького было полно. Во-первых, на двери косо висел лозунг: «Когда я слышу слово «культура», я вызываю мою полицию». Лозунг я, конечно, содрал, но это было только начало. Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гуммиарабиком — поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же, — и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка. Совершенно дурацкая записка. Корявыми печатными буквами было написано: «Господина инспектора Глебски извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филин. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господина инспектора убедительно просят принять какие-нибудь меры».

Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Потом я закурил и оглядел номер. Следов, конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно — это была, конечно, чадова работа. Просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французы писали на своей Сорбонне. С запиской же дело обстояло значительно хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь, мог воткнуть ее в замочную скважину, просто

положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно быть полным кретином или дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Кретинов здесь полно, это верно... но не до такой же степени! Я еще раз перечитал записку, изо всех сил затянулся и подошел к окну. Вот тебе и отпуск, подумал я. Вот тебе и долгожданная свобода...

Солнце было уже совсем низко, тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист господин Хинкус. Он был один.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был как всегда пуст. Из бильярдной доносился треск шаров — там был Симонэ. Дю Барнстокр продолжал чистить Олафа в номере у Олафа. Чадо возилось с мотоциклом. Мозесы были у себя. Хинкус сидел на крыше. Пять минут назад он спустился в буфетную, взял еще бутылку, зашел в номер, облачился в шубу и теперь намерен, судя по всему, дышать чистым воздухом по крайней мере до обеда. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок. Конечно, я не имел ни малейшего права вторгаться в чужой номер и производить там обыск или даже просто осмотр без ордера. Но я чувствовал, что это необходимо сделать, иначе я не смогу спокойно спать и вообще жить в ближайшее время.

Пятый или шестой ключ мягко щелкнул, и я проскользнул в номер. Я сделал это так, как обычно делают герои шпионских боевиков, — других способов я не знал. Солнце уже почти зашло за хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста, а оба баула стояли прямо посредине комнаты. Никак не подумаешь, что человек собирается прожить здесь две недели.

Содержимое первого, более тяжелого баула насторожило меня еще сильнее. Это был типичный фальшивый багаж: какое-то тряпье, драные простыни и наволочки и пачка книг, подобранных самым нелепым образом. Ясно было, что Хинкус валил в этот баул все, что подвертывалось под руку. Настоящий багаж содержался во втором бауле. Здесь было три смены белья, пижама, несессер, набор авторучек, пачка денег — солидная пачка, побольше моей — и две дюжины носовых платков. Была там также небольшая серебряная фляжка — пустая, футляр с темными очками и бутылка с иностранной наклейкой, полная. А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы со сложным циферблатом и маленький дамский браунинг.

Я сел на пол и прислушался. Пока все было тихо, но времени на размышление у меня оставалось крайне мало. Я оглядел часы. На крышке была выгравирована какая-то сложная монограмма. Золото было настоящее, червонное, с красноватым отблеском, циферблат был украшен знаками зодиака. Это были, несомненно, пропавшие часы господина

Мозеса. Потом я оглядел пистолет. Безделушка с перламутровой рукояткой, никелированный ствол, калибр 0,25, оружие для рукопашного боя и, строго говоря, вообще не оружие... Вздор, все это вздор. Гангстеры не обременяют себя такой чепухой. И если на то пошло, гангстеры не воруют часов, даже таких старинных и массивных, — настоящие гангстеры, с именем и репутацией. Тем более в гостинице, в первый же день, с риском немедленно засыпаться.

Так-так-так... Давай-ка быстренько сформулируем самую суть. Никаких доказательств, что Хинкус — опасный гангстер, маньяк и садист, и сколько угодно доказательств, что кому-то очень хочется выдать его за такового. Правда, фальшивый багаж... Ладно, с этим я разберусь потом. Что делать с пистолетом и часами? Если изъять их, а Хинкус действительно вор (хотя и не гангстер), тогда он выходит сухим из воды... Если их ему подбросили... Черт, никак не соображу... Опыта не хватает. Тоже мне, Эркюль Пуаро... Если их изъять, то, во-первых, куда я их дену? Таскать при себе? Еще обвинят в воровстве... И в номере прятать нельзя...

Я снова прислушался. В столовой звенели посудой — Кайса уже накрывала на стол. Кто-то протопал мимо дверей. Голос Симонэ зычно осведомился: «А где же инспектор? Где он, наш храбрец?» Пронзительно взвизгнула Кайса, леденящий хохот сотряс этаж. Пора было удирать.

Так ничего и не придумав, я торопливо разрядил обойму, сунул патроны в карман, а пистолет и часы вернул на дно баула. Я едва успел выскочить и повернуть ключ, как в другом конце коридора появился дю Барнстокр. Обратив ко мне аристократический профиль, он говорил кому-то, по-видимому, Олафу:

— Дорогой мой, о чем может быть речь? Когда это дю Барнстокры отказывались от реванша? Сегодня же, если вам будет угодно! Скажем, в десять часов вечера, у вас...

Я принял непринужденную позу (то есть вытащил зубочистку и стал ею орудовать), а дю Барнстокр повернулся и, увидев меня, приветливо помахал рукой.

— Дорогой инспектор! — провозгласил он. — Победа, слава, богатство! Таков всегдашний удел дю Барнстокров.

Я пошел ему навстречу, и мы сблизились возле дверей его номера.

— Обчистили Олафа? — спросил я.

— Представьте себе, да! — сказал он, счастливо улыбаясь. — Наш милый Олаф слишком уж методичен, играет как машина, никакой фантазии. Даже скучно... Минуточку, что это у вас? — Он ловко выдернул у меня из нагрудного кармана игральную карту. — А, это тот самый туз

червей, которым я окончательно сразил нашего беднягу Олафа...

Бедняга Олаф вышел из своего номера, огромный, румяный, легкий, прошел мимо нас и добродушно улыбнулся, буркнув: «Выпить перед обедом...» Дю Барнстокр, улыбаясь, проводил его глазами и вдруг, словно что-то вспомнив, схватил меня за рукав.

— Кстати, милый инспектор. Вы знаете, какую новую шутку учинил наш дорогой покойник? Зайдемте-ка на минуточку ко мне...

Он втащил меня к себе в номер, пихнул в кресло и предложил сигару.

— Где же она? — пробормотал он, похлопывая себя по карманам. — Ага! Вот, извольте взглянуть, что я получил сегодня. — Он протянул мне смятый клочок бумаги.

Это опять была записка. Корявыми печатными буквами, с орфографическими ошибками, там было написано: «Мы вас нашли. Я держу вас на мушке. Не пытайтесь бежать и не делайте глупостей. Стрелять буду без предупреждения. Ф.»

Стиснув зубами сигару, я перечитал это послание дважды и трижды.

— Прелестно, не правда ли? — сказал дю Барнстокр, охорашиваясь перед зеркалом. — Даже подпись есть. Надо бы спросить хозяина, как звали Погибшего...

— Как она к вам попала?

— Ее подбросили в номер к Олафу, когда мы играли. Олаф отправился в буфет за спиртным, а я сидел и курил сигару. Раздался стук в дверь, я сказал: «Да-да, войдите», но никто не вошел. Я удивился, и вдруг я увидел, что у двери лежит эта записка. Видимо, ее подсунули под дверь.

— Вы, конечно, выглянули в коридор и, конечно, никого не увидели, — сказал я.

— Ну, мне пришлось довольно долго выкарабкиваться из кресла, — сказал дю Барнстокр. — Пойдемте? Откровенно говоря, я основательно проголодался.

Я положил записку в карман, и мы отправились в столовую, захватив по дороге чадо и так и не сумев уговорить его помыть руки.

— Какой-то у вас озабоченный вид, инспектор, — заметил дю Барнстокр, когда мы подошли к столовой.

Я посмотрел в его ясные старческие глаза, и мне вдруг пришло в голову, что всю историю с этими записками устроил он. На секунду меня охватило холодное бешенство, мне захотелось затопать ногами и заорать: «Оставьте меня в покое! Дайте мне спокойно кататься на лыжах!» Но я, конечно, сдержался.

Мы вошли в столовую. Кажется, все уже были в сборе. Госпожа Мозес

обслуживала господина Мозеса, Симонэ и Олаф топтались возле стола с закусками, хозяин разливал настойку. Дю Барнстокр и чадо отправились на свои места, а я присоединился к мужчинам. Симонэ зловещим шепотом читал Олафу лекцию о воздействии эдельвейсовой настойки на человеческие внутренности. Упоминались: лейкемия, желтуха, рак двенадцатиперстной кишки. Олаф, добродушно хмыкая, поедал икру. Тут вошла Кайса и принялась тарахтеть, обращаясь к хозяину:

— Они не желают идти, они сказали, раз не все собрались, так и они не пойдут. А когда все соберутся, тогда они и придут. Они так и сказали... И две бутылки пустые...

— Так пойди и скажи ему, что все уже собрались, — приказал хозяин.

— Они мне не верят, я и так сказала, что все собрались, а они мне...

— О ком речь? — отрывисто вопросил господин Мозес.

— Речь идет о господине Хинкусе, — откликнулся хозяин. — Он все еще пребывает на крыше, а я хотел бы...

— Чего там — на крыше! — сиплым басом сказало чадо. — Вон он — Хинкус! — И оно указало вилкой с нанизанным пикулем на Олафа.

— Дитя мое, вы заблуждаетесь, — мягко произнес дю Барнстокр, а Олаф добродушно осклабился и прогудел:

— Олаф Андварафорс, к вашим услугам, детка. Можно просто Олаф.

— А почему тогда он?.. — Вилка с пикулем протянулась в мою сторону.

— Господа, господа! — вмешался хозяин. — Не надо спорить. Все это сущие пустяки. Господин Хинкус, пользуясь той свободой, которую гарантирует каждому администрация нашего отеля, пребывает на крыше, и Кайса сейчас приведет его сюда.

— Да не идут они... — заныла Кайса.

— Какого дьявола, Сневар! — сказал Мозес. — Не хочет идти — пусть торчит на морозе.

— Уважаемый господин Мозес, — произнес хозяин с достоинством, — именно сейчас весьма желательно, чтобы все мы были в сборе. Я имею сообщить моим уважаемым гостям весьма приятную новость... Кайса, быстро!

— Да не хотят они...

Я поставил тарелку с закуской на столик.

— Погодите, — сказал я. — Сейчас я его приведу.

Выходя из столовой, я услыхал, как Симонэ сказал: «Правильно! Пусть-ка полиция наконец займется своим делом», после чего залился кладбищенским хохотом, сопровождавшим меня до самой чердачной

лестницы.

Я поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками для отдыха вдоль стен. Здесь было холодно, странно пахло снегом и пылью, горой громоздились сложенные шезлонги. Фанерная дверь, ведущая наружу, была приоткрыта.

Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега, вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше, к покосившейся антенне, вела тропинка, и в конце этой тропинки неподвижно сидел в шезлонге закутанный в шубу Хинкус. Левой рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазухой, должно быть, отогревал. Лица его почти не было видно, оно было скрыто воротником шубы и козырьком меховой шапки, только настороженные глаза поблескивали оттуда — словно тарантул глядел из норки.

— Пойдемте, Хинкус, — сказал я. — Все собрались.

— Все? — хрипло спросил он.

Я выдохнул клуб пара, приблизился и сунул руки в карманы.

— Все до одного. Ждем вас.

— Значит, все... — повторил Хинкус.

Я кивнул и огляделся. Солнце скрылось за хребтом, снег в долине казался лиловатым, в темнеющее небо поднималась бледная луна.

Краем глаза я заметил, что Хинкус внимательно следит за мной.

— А чего меня ждать? — спросил он. — Начинали бы... Зачем людей зря беспокоить?

— Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз, и ему нужно, чтобы мы все собрались.

— Сюрприз... — сказал Хинкус и покашлял. — Туберкулез у меня, — сообщил он вдруг. — Врачи говорят, мне все время надо на свежем воздухе... и мясо черномясой курицы, — добавил он, помолчав.

Мне стало его жалко.

— Черт возьми, — сказал я искренне, — сочувствую вам. Но обедать-то все-таки тоже нужно...

— Нужно, конечно, — согласился он и встал. — Пообедаю и опять сюда вернусь. — Он поставил бутылку в снег. — Как вы думаете, врут доктора или нет? Насчет свежего воздуха...

— Думаю, что нет, — сказал я. Я вспомнил, какой бледно-зеленый он спускался днем по лестнице, и спросил: — Послушайте, зачем вы так глушите водку? Ведь вам это, должно быть, вредно.

— Э-э! — произнес он с тихим отчаянием. — Разве мне можно без

водки? — Он замолчал. Мы спускались по лестнице. — Без водки мне нельзя, — сказал он решительно. — Страшно. Я без водки с ума сойти могу.

— Ну-ну, Хинкус, — сказал я. — Туберкулез теперь лечат. Это вам не девятнадцатый век.

— Да, наверное, — вяло согласился он. Мы свернули в коридор. В столовой звенела посуда, гудели голоса. — Вы идите, я шубу сброшу, — сказал он, останавливаясь у своей двери.

Я кивнул и вошел в столовую.

— А где арестованный? — громогласно вопросил Симонэ.

— Я же говорю, они не идут... — пискнула Кайса.

— Все в порядке, — сказал я. — Сейчас придет.

Я сел на свое место, затем, вспомнив о здешних правилах, вскочил и пошел за супом. Дю Барнстокр что-то рассказывал о магии чисел. Госпожа Мозес ахала. Симонэ отрывисто похохатывал. «Бросьте, Бардл... Дюбр... — гудел Мозес. — Все это — средневековый вздор». Я наливал себе суп, когда в столовой появился Хинкус. Губы у него дрожали, и опять он был какой-то зеленоватый. Его встретил взрыв приветствий, а он, торопливо обведя стол глазами, как-то неуверенно направился к своему месту — между мною и Олафом.

— Нет-нет! — вскричал хозяин, набегая на него с рюмкой настойки. — Боевое крещение!

Хинкус остановился, поглядел на рюмку и что-то сказал, неслышное за общим шумом.

— Нет-нет! — возразил хозяин. — Это — лучшее лекарство. От всех скорбей! Так сказать, панацея. Прошу!

Хинкус не стал спорить. Он выплеснул в рот зелье, поставил рюмку на поднос и сел за стол.

— Ах, какой мужчина! — восхищенно прозвенела госпожа Мозес. — Господа, вот истинный мужчина!

Я вернулся на свое место и принялся за еду. Хинкус за первым не пошел, он только положил себе немного жаркого. Теперь он выглядел не так дурно и, казалось, о чем-то сосредоточенно размышлял. Я стал слушать разглагольствования дю Барнстокра, и в это время хозяин постучал ножом о край тарелки.

— Господа! — торжественно провозгласил он. — Прошу минуточку внимания! Теперь, когда мы все собрались здесь, я позволю себе сообщить вам приятную новость. Идя навстречу многочисленным пожеланиям гостей, администрация отеля приняла решение устроить сегодня

праздничный бал Встречи Весны. Конца обеду не будет! Танцы, господа, вино, карты, веселая беседа!

Симонэ с треском ударил в костлявые ладони. Госпожа Мозес тоже зааплодировала. Все оживились, и даже неуступчивый господин Мозес, сделав основательный глоток из кружки, просипел: «Ну, карты — это еще куда ни шло...» А дитя стучало вилкой о стол и показывало мне язык. Розовый такой язычок, вполне приятного вида. И в самый разгар этого шума и оживления Хинкус вдруг придвинулся ко мне и зашептал в ухо:

— Слушайте, инспектор, вы, я слышал, полицейский... Что мне делать? Полез я сейчас в баул... за лекарством. Мне велено пить перед обедом микстуру какую-то... А у меня там... ну, одежда кое-какая теплая, жилет меховой, носки там... Так ничего этого у меня не осталось. Тряпки какие-то — не мои, белье рваное... и книжки...

Я осторожно опустил ложку на стол и посмотрел на него. Глаза у него были круглые, правое веко подергивалось, и в глазах был страх. Крупный гангстер. Маньяк и садист.

— Ну, хорошо, — сказал я сквозь зубы. — А чего вы от меня хотите?

Он сразу как-то увял и втянул голову в плечи.

— Да нет... ничего... Я только не понимаю, это шутка или как... Если кража, так ведь вы — полицейский... А может быть, конечно, и шутка, как вы полагаете?

— Да, Хинкус, — сказал я, отведя глаза и снова принимаясь за суп. — Тут, знаете ли, все шутят. Считайте, что это шутка, Хинкус.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызений совести. У меня даже возникла идея снова забраться к нему в номер и извлечь все-таки из баула эти проклятые часы. Шутки шутками, а из-за этих часов у него могут случиться серьезные неприятности. Хватит с него неприятностей, подумал я. Хватит с меня этих неприятностей, хватит с меня этих шуток и моей собственной глупости... Напьюсь, решил я, и мне сразу стало легче. Я пошарил глазами по столу и переменил рюмку на стакан. Какое мне до всего этого дело? Я в отпуске. И я вообще не полицейский. Мало ли как я там зарегистрировался... На самом деле, я отставной учитель физкультуры... нет, на самом деле, если хотите знать, я торговый агент. Торгую подержанными умывальниками. И унитазами... Мельком я подумал, что для ходатая по делам, даже по делам несовершеннолетних, у Хинкуса слишком уж убогий лексикон. Я отогнал эту мысль и старательно загоготал вместе с Симонэ над какой-то его очередной суконной остротой, которую не расслышал. Я залпом проглотил полстакана бренди и налил еще. В голове у меня зашумело.

Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и дю Барнстокр, делая друг другу приглашающие жесты, проследовали к карточному столику с зеленым сукном, появившемуся вдруг в углу столовой. Хозяин включил оглушительную музыку. Олаф и Симонэ одновременно устремились к госпоже Мозес, и, поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем. Чадо снова показало мне язык. Правильно! Я вылез из-за стола и, ступая по возможности твердо, понес к этой разбойнице... к этому разбойнику бутылку и стакан. Сейчас или никогда, думал я. Такое расследование во всяком случае интереснее, чем кража часов и иного барахла. Впрочем, я ведь торговец. Хорошо и прямо-таки чудом сохранившиеся умывальники...

— Танец, мадм'зель? — произнес я, плюхнувшись на стул рядом с чадом.

— Я не танцую, сударыня, — лениво ответило чадо. — Бросьте трепаться и дайте сигаретку.

Я дал ему сигаретку, хватил еще бренди и принялся объяснять этому существу, что его поведение — по-ве-де-ние! — аморально, что так нельзя. Что я когда-нибудь его выпорю, дайте мне только срок. Или, добавил я, подумав, привлеку за ношение неподобающей одежды в местах общественного пользования. Развешивание лозунгов, сказал я. Нехорошо. На дверях. Шокирует и будирует... Будирует! Я честный торговец, и я не позволю никому... Блестящая мысль осенила меня. Я пожалуюсь на вас в полицию, сказал я, заливаясь счастливым смехом. Со своей же стороны могу предложить вам... нет, не унитаз, конечно, это было бы неприлично, тем более за столом... но... прекрасный умывальник. Дивно сохранившийся, несмотря ни на что. Фирмы «Павел Буре». Не угодно ли? Отдыхать так отдыхать!..

Чадо отвечало мне что-то, и довольно остроумно, то хрипловатым мальчишеским баском, то нежным девичьим альтом. Голова у меня пошла кругом, и скоро мне стало казаться, что разговариваю я сразу с двумя собеседниками. Где-то тут обретался испорченный, вставший на дурной путь подросток, который все время хлобыстал мое бренди и за которого я нес определенную ответственность как работник полиции, опытный торговый агент и старший по чину. И где-то тут же пребывала очаровательная пикантная девушка, которая, слава богу, ну совершенно не походила на мою старуху и к которой я, кажется, начинал испытывать чувства более нежные, нежели отеческие. Отпихивая все время ввязывавшегося в разговор подростка, я изложил девушке свои взгляды на брак как на добровольный союз двух сердец, взявших на себя определенные моральные обязательства. И никаких велосипедов-мотоциклов, добавил я строго. Условимся об этом сразу же. Моя старуха этого не выносит... Мы условились и выпили — сначала с подростком, потом с девушкой, моей невестой. Почему бы, черт возьми, молодой совершеннолетней девице не выпить немножко хорошего коньяку? Трижды повторив не без вызова эту мысль, показавшуюся мне самому несколько спорной, я откинулся на стуле и оглядел зал.

Все шло прекрасно. Ни законы, ни моральные нормы не нарушались. Никто не вывешивал лозунгов, не писал записок и не крал часов. Музыка гремела. Дю Барнстокр, Мозес и хозяин резались в тринадцать без ограничения ставок. Госпожа Мозес лихо отплясывала с Симонэ что-то совершенно современное, Кайса убирала посуду. Тарелки, вилки и Олафы так и вились вокруг нее. Вся посуда на столе находилась в движении — я едва успел подхватить убегающую бутылку и облил себе брюки.

— Брюн, — сказал я проникновенно, — не обращайте внимания. Это

все идиотские шутки. Всякие там золотые часы, пододеяльники... — Тут меня осенила новая мысль. — А что, парень, — сказал я, — не поучить ли мне тебя стрелять из пистолета?

— Я не парень, — грустно сказала девушка. — Мы же с вами обручились.

— Тем более! — воскликнул я с энтузиазмом. — У меня есть дамский браунинг...

Некоторое время мы с нею беседовали о пистолетах, обручальных кольцах и почему-то о телекинезе. Потом мною овладело сомнение.

— Нет! — сказал я решительно. — Так я не согласен. Сначала снимите очки. Я не желаю покупать кота в мешке.

Это была ошибка. Девушка обиделась и куда-то пропала, а подросток остался и принялся хамить. Но тут ко мне подошла госпожа Мозес и пригласила меня на танец, и я с удовольствием согласился. Через минуту у меня появилась твердая уверенность в том, что я болван, что судьбу свою мне надлежит связать с госпожой Мозес, и только с нею. С моей Ольгой. У нее были божественно мягкие ручки, нисколько не обветренные и совсем без цыпок, и она охотно мне позволяла целовать их, и у нее были прекрасные, хорошо различимые глаза, не скрытые никакой оптикой, и от нее очаровательно пахло, и у нее не было родственника-брата, грубого разбитного юнца, не дающего слова сказать. Правда, кругом все время почему-то оказывался Симонэ, унылый шалун и великий физик, но с этим вполне можно было мириться, поскольку он не был родственником. Мы с ним были пожилые опытные люди, мы предавались чувственным удовольствиям по совету врача и, наступая друг другу на ноги, мужественно и честно признавались: «Извини, старик, это я виноват...»

Потом я как-то внезапно протрезвел и обнаружил, что нахожусь с госпожой Мозес за портьерой у окна. Я держал ее за талию, а она, склонив голову мне на плечо, говорила:

— Посмотри, какой очаровательный вид!..

Это неожиданное обращение на «ты» смутило меня, и я принялся тупо рассматривать вид, раздумывая, как бы это поделикатнее убрать руку с талии, пока нас тут не застукали. Впрочем, вид действительно не был лишен очарования. Луна, наверное, уже поднялась высоко, вся долина казалась голубой в ее свете, а близкие горы словно висели в неподвижном воздухе. Тут я заметил унылую тень несчастного Хинкуса, сгорбившегося на крыше, и пробормотал:

— Бедняга Хинкус...

Госпожа Мозес слегка отстранилась и удивленно посмотрела на меня

снизу вверх.

— Бедняга? — спросила она. — Почему — бедняга?

— Он тяжело болен, — объяснил я. — У него туберкулез, и он страшно боится.

— Да-да, — подхватила она. — Вы тоже заметили? Он все время чего-то боится. Какой-то подозрительный и очень неприятный господин. И совсем не нашего круга...

Я горестно покачал головой и вздохнул.

— Ну вот, и вы туда же, — сказал я. — Ничего подозрительного в нем нет. Просто несчастный одинокий человечек. Очень жалкий. Вы бы посмотрели, как он поминутно зеленеет и покрывается потом... А тут еще все над ним шутки шутят...

Она вдруг засмеялась своим чудесным хрустальным смехом.

— Граф Грэйсток тоже, бывало, поминутно зеленел. До того забавный!

Я не нашелся, что на это ответить, и, с облегчением сняв наконец руку с ее талии, предложил ей сигарету. Она отказалась и принялась рассказывать что-то о графах, баронах, виконтах и князьях, а я смотрел на нее и все пытался вспомнить, каким это ветром занесло меня с нею за эту портьеру. Потом портьера с треском раздвинулась, и перед нами возникло чадо. Не глядя на меня, оно неуклюже шаркнуло ногой и сипло произнесло:

— Пермете ву...

— Битте, мой мальчик, — очаровательно улыбаясь, отозвалась госпожа Мозес, подарила мне очередную ослепительную улыбку и, обхваченная чадом, заскользила по паркету.

Я отдулся и вытер лоб платком. Стол был уже убран. Тройка картежников в углу продолжала резаться. Симонэ лупил шарами в бильярдной. Олаф и Кайса испарились. Музыка гремела вполсилы, госпожа Мозес и Брюн демонстрировали незаурядное мастерство. Я осторожно обошел их стороной и направился в бильярдную.

Симонэ приветствовал меня взмахом кия и, не теряя ни секунды драгоценного времени, предложил мне пять шаров форы. Я снял пиджак, засучил рукава, и игра началась. Я проиграл огромное количество партий и был за это наказан огромным количеством анекдотов. На душе у меня стало совсем легко. Я хохотал над анекдотами, которых почти не понимал, ибо речь в них шла о каких-то кварках, левожующих коровах и профессорах с экзотическими именами, я пил содовую, не поддаваясь на уговоры и насмешки партнера, я преувеличенно стонал и хватался за сердце, промахиваясь, я исполнялся неумеренного торжества, попадая, я придумывал новые правила игры и с жаром их отстаивал, я распоясался до

того, что снял галстук и расстегнул воротник сорочки. По-моему, я был в ударе. Симонэ тоже был в ударе. Он клал невообразимые и теоретически невозможные шары, он бегал по стенам и даже, кажется, по потолку, в промежутках между анекдотами он во все горло распевал песни математического содержания, он постоянно сбивался на «ты» и говорил при этом: «Пардон, старина! Проклятое демократическое воспитание!..»

Через раскрытую дверь бильярдной я мельком видел то Олафа, танцующего с чадом, то хозяина, несущего к карточному столику поднос с напитками, то раскрасневшуюся Кайсу. Музыка все гремела, игроки азартно вскрикивали, то объявляя пики, то убивая черви, то козыряя бубнами. Время от времени слышалось хриплое: «Послушайте, Драбл... Бандрл... дю!..», и негодующий стук кружки по столу, и голос хозяина: «Господа, господа! Деньги — это прах...», и раздавался хрустальный смех госпожи Мозес и ее голосок: «Мозес, что вы делаете, ведь пики уже прошли...» Потом часы пробили половину чего-то, в столовой задвигали стульями, и я увидел, как Мозес хлопает дю Барнстокра по плечу рукой, свободной от кружки, и услышал, как он гудит: «Как вам угодно, господа, но Мозесам пора спать. Игра была хороша, Барн... дю... Вы — опасный противник. Спокойной ночи, господа! Пойдемте, дорогая...» Потом, помнится, у Симонэ вышел, как он выразился, запас горючего, и я сходил в столовую за новой бутылкой бренди, решивши, что и мне пора пополнить кладовые веселья и беззаботности.

В зале все еще играла музыка, но уже никого не было, только дю Барнстокр, сидя спиною ко мне за карточным столиком, задумчиво творил чудеса с двумя колодами. Он плавным движением узких белых рук извлекал карты из воздуха, заставлял их исчезать с раскрытых ладоней, пускал колоды из руки в руку мерцающей струей, веером рассыпал их в воздухе перед собой и отправлял в небытие. Меня он не заметил, а я не стал его отвлекать. Я просто взял с буфета бутылку и на цыпочках вернулся в бильярдную.

Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу два шара и порвал сукно на бильярде. Симонэ пришел в восхищение, но я понял, что с меня достаточно.

— Все, — сказал я и положил кий. — Пойду подышу свежим воздухом.

Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо. Почему-то мне было грустно, что вечеринка кончилась, а ничего интересного не произошло, что я упустил шанс с госпожой Мозес и, кажется, наговорил какой-то ерунды чаду покойного брата господина дю

Барнстокра, и что луна яркая, маленькая и ледяная, и что вокруг на много миль только снег да скалы. Я поговорил с сенбернаром, совершавшим ночной обход, и он согласился, что ночь действительно излишне тиха и пустынна и что одиночество — это действительно при всех его огромных преимуществах паршивая вещь, но он наотрез отказался огласить долину воем или в крайнем случае лаем вместе со мной. В ответ на мои уговоры он только помотал головой, отошел недовольный и лег у крыльца.

Я прошелся взад-вперед по расчищенной дорожке перед отелем, поглазел на залитый голубой луной фасад. Светилось желтым окно кухни, светилось розовым окно в спальне госпожи Мозес, горел свет у дю Барнстокра и за портьерами в столовой, а остальные окна были темны, и окно в номере Олафа было раскрыто настежь, как и утром. На крыше одиноко торчал закутанный с головой в шубу страдалец Хинкус, такой же одинокий, как и мы с Лелем, но еще более несчастный, согнутый под бременем своей болезни и своего страха.

— Хинкус! — тихонько позвал я, но он не шевельнулся. Может быть, дремал, а может быть, не слышал сквозь теплые наушники и поднятый воротник.

Я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время закрепить наметившуюся добрую традицию и выпить горячего портвейна.

— Пойдем, Лель, — сказал я, и мы вернулись в холл. Там мы встретили хозяина, и я посвятил его в свой замысел. Я встретил полное понимание.

— Сейчас можно отлично посидеть в каминной, — сказал он. — Ступайте туда, Петер, а я пойду распоряжусь.

Я последовал его приглашению и, устроившись перед огнем, принялся греть озябшие руки. Я слышал, как хозяин ходит по холлу, как он что-то бубнит Кайсе и опять ходит по холлу, щелкая выключателями, потом шаги его затихли, а наверху в столовой смолкла музыка. Грузно ступая по ступенькам лестницы, он снова спустился в холл, негромко выговаривая Лелю: «Нет-нет, Лель, не приставай, — говорил он строго. — Ты опять совершил это безобразие. На этот раз прямо в доме. Господин Олаф жаловался мне, и это позор. Где это видано, чтобы добропорядочная собака...»

Итак, викинга опозорили вторично, подумал я с некоторым злорадством. Я вспомнил, как лихо Олаф отплясывал в столовой с чадом, и мое злорадство усилилось. Поэтому, когда Лель с виновато опущенной головой подошел ко мне, цокая когтями, и сунул холодный нос мне в кулак, я потрепал его по шее и шепнул: «Молодец, собака, так ему и надо!»

В этот самый момент пол слегка дрогнул под моими ногами, жалобно задребезжали стекла, и я услышал отдаленный мощный грохот. Лель вскинул голову и приподнял уши. Я машинально поглядел на часы — было десять часов две минуты. Я ждал, весь напрягшись. Грохот не повторялся. Где-то наверху с силой хлопнула дверь, звякнули кастрюли на кухне. Кайса громко сказала: «Ой, господи!» Я поднялся, но тут раздались шаги, и в каминную вошел хозяин с двумя стаканами горячего пойла.

— Слыхали? — спросил он.

— Да. Что это было?

— Обвал в горах. И не очень далеко... Подождите-ка, Петер.

Он поставил стаканы на каминную полку и вышел. Я взял стакан и снова уселся в свое кресло. Я был совершенно спокоен. Обвалы меня не пугали, а портвейн, вскипяченный с лимоном и корицей, был превыше всяческих похвал. «Хорошо!» — подумал я, устраиваясь поудобнее.

— Хорошо! — сказал я вслух. — Правда, Лель?

Лель не возражал, хотя у него и не было горячего портвейна.

Вернулся хозяин. Он взял свой стакан, сел рядом и некоторое время молча смотрел на раскаленные угли.

— Дело швах, Петер, — глухо и торжественно произнес наконец он. — Мы отрезаны от внешнего мира.

— То есть как? — спросил я.

— До которого числа у вас отпуск, Петер? — продолжал он тем же глухим голосом.

— Скажем, до двадцатого. А в чем дело?

— До двадцатого, — медленно повторил он. — Больше двух недель... Да, у вас, пожалуй, есть шанс вовремя вернуться на службу.

Я поставил стакан на колено и саркастически посмотрел на этого мистификатора.

— Говорите прямо, Алек, — сказал я. — Не щадите меня. Что случилось? Вернулся наконец ОН?

Хозяин довольно осклабился.

— Нет. До этого, к счастью, пока не дошло. Должен вам сказать — между нами, — что ОН был на редкость сварливый и капризный тип, и если бы ОН вернулся... Впрочем, о мертвых либо ничего, либо хорошо. Поговорим о живых. Я рад, что у вас есть две недели в запасе, потому что раньше нас, может быть, и не откопают.

Я понял.

— Завалило дорогу?

— Да. Сейчас я попробовал связаться с Мюром. Телефон не действует.

Это может означать только то, что означало уже несколько раз за последние десять лет: обвалом забило Бутылочное Горлышко, вы его проезжали, единственный проход в мою долину.

Он отпил из стакана.

— Я сразу понял, что к чему, — продолжал он. — Грохот донесся с севера. Теперь нам остается только ждать. Пока о нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду...

— Воды у нас хватит с избытком, — задумчиво сказал я. — А вот не впадем ли мы в людоедство?

— Нет, — сказал хозяин с видимым сожалением. — Разве что вам захочется разнообразить меню. Только я заранее предупреждаю: Кайсу я вам не отдам. Можете обгладывать господина дю Барнстокра. Он выиграл у меня сегодня семьдесят крон, старый мошенник.

— А как насчет топлива? — спросил я.

— У нас всегда есть в резерве мои вечные двигатели.

— Гм... — сказал я. — Они деревянные?

Хозяин взглянул на меня с упреком. Потом он сказал:

— Почему вы не спросите, Петер, как у нас с выпивкой?

— А как?

— С выпивкой, — гордо сказал хозяин, — у нас особенно хорошо. Одной только фирменной настойки у нас сто двадцать бутылок.

Некоторое время мы молча смотрели на угли, спокойно прихлебывая из стаканов. Мне было хорошо как никогда. Я обдумывал возникшие только что перспективы, и чем больше я их обдумывал, тем больше они мне нравились. Потом хозяин вдруг сказал:

— Одно меня беспокоит, Петер, если говорить серьезно. У меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов.

— Каким образом? — спросил я. — Наоборот, восемь жирных мух запутались в вашей паутине, и у них теперь нет никаких шансов выбраться раньше, чем через две недели. А какая реклама! Все они потом будут рассказывать, как были погребены заживо и чуть не съели друг друга...

— Это так, — самодовольно признался хозяин. — Об этом я уже подумал. Но ведь мух могло быть и больше, сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса...

— Друзья Хинкуса? — удивился я. — Он сказал вам, что ждет друзей?

— Нет, не то чтобы сказал... Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму.

— Ну и что?

Хозяин поднял палец и торжественно продекламировал:

— «Мюр, отель «У Погибшего Альпиниста». Жду, поторопитесь». Примерно вот так.

— Вот уж никогда бы не подумал, — пробормотал я, — что у Хинкуса есть друзья, которые согласны разделить с ним его одиночество. Хотя... почему бы и нет? Пуркуа па, так сказать...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

К полуночи мы с хозяином прикончили кувшин горячего портвейна, обсудили, как бы поэффектнее оповестить остальных гостей о том, что они замурованы заживо, и решили несколько мировых проблем, а именно: обречено ли человечество на вымирание (да, обречено, однако нас к тому времени уже не будет); существует ли в природе нечто недоступное познавательным усилиям человека (да, существует, однако нам этого никогда не познать); является ли сенбернар Лель разумным существом (да, является, однако убедить в этом дураков ученых не представляется возможным); угрожает ли Вселенной так называемая тепловая смерть (нет, не угрожает, ввиду наличия у хозяина в сарае вечных двигателей как первого, так и второго рода); какого пола Брюн (здесь я доказать ничего не сумел, а хозяин высказал и обосновал странную идею, будто Брюн — это зомби, то есть оживленный магией мертвец, пола не имеющий)...

Кайса прибрала в столовой, перемыла всю посуду и явилась за разрешением ложиться спать. Мы ее отпустили. Глядя ей вслед, хозяин пожаловался мне на одиночество и на то, что от него ушла жена. То есть не то чтобы ушла... тут все не так просто... но, одним словом, жены у него теперь нет. Я ответил, что не советую ему жениться на Кайсе. Во-первых, это повредило бы заведению. А во-вторых, Кайса слишком любит мужчин, чтобы сделаться хорошей женой. Хозяин согласился, что все это верно, он сам много думал об этом и пришел к точно таким же выводам. Но, сказал он, на ком же ему тогда жениться, если мы теперь навеки замурованы в этой долине. Я оказался не в силах что-либо ему посоветовать. Я только покаялся, что женат уже вторично и таким образом, вероятно, исчерпал его, хозяина, лимит. Это была страшная мысль, и хотя хозяин тут же простил мне все, я все же ощутил себя эгоистом и ущемителем интересов ближнего. И чтобы хоть как-то скомпенсировать эти свои отвратительные качества, я решил посвятить хозяина во все технические тонкости подделки лотерейных билетов. Хозяин слушал внимательно, но мне этого показалось мало, и я потребовал, чтобы он все записал. «Забудете ведь! — повторял я с отчаянием. — Протрезвеете и забудете...» Хозяин страшно перепугался, что он действительно все забудет, и потребовал практических занятий. Кажется, именно в эту минуту сенбернар Лель вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него.

— Не понял! — строго сказал он.

Лель гавкнул два раза подряд и направился в холл.

— Ага, — сказал хозяин, поднимаясь. — Кто-то пожаловал.

Мы последовали за Лелем. Мы были исполнены гостеприимства. Лель стоял перед парадной дверью. Из-за двери доносились странные скребущие и скулящие звуки. Я схватил хозяина за руку.

— Медведь! — прошептал я. — Гризли! Ружье есть? Быстро!

— Боюсь, что это не медведь, — глухим голосом произнес хозяин. — Боюсь, что это наконец ОН. Надо отпереть.

— Не надо! — возразил я.

— Надо. Он заплатил за две недели, а прожил всего одну. Мы не имеем права. У меня отберут лицензию.

За дверью скреблись и поскуливали. Лель вел себя странно: он стоял к двери боком и смотрел на нее с вопросительным выражением, то и дело шумно потягивая воздух носом. Именно так, по-моему, должны вести себя собаки, впервые встретившись с привидением. Пока я мучительно подыскивал законные основания не отпирать дверей, хозяин принял самостоятельное решение. Он смело протянул руку и отодвинул засов.

Дверь отворилась, и к нашим ногам медленно сползло облепленное снегом тело. Мы все трое бросились к нему, втащили в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел.

Хозяин, не теряя ни секунды, развил бешеную деятельность. Он разбудил Кайсу, велел ей греть воду, влил в рот незнакомцу стакан горячего портвейна, растер ему лицо шерстяной рукавицей, а затем объявил, что нужно отнести его в душевую. «Берите его под мышки, Петер, — распорядился он, — а я возьму за ноги...» Я выполнил приказание и ощутил некоторый шок — оказалось, что незнакомец был однорукий, правой руки у него не было до самого плеча. Мы перетащили беднягу в душевую, уложили на скамью, а затем прибежала Кайса в одной рубашке, и хозяин объявил мне, что дальше справится сам.

Я вернулся в каминную и допил свой портвейн. Голова у меня была совершенно ясная, я был способен анализировать и сопоставлять с необыкновенной быстротой. Одет незнакомец был явно не по сезону. На нем был кургузый пиджачок, брюки дудочкой и модельные туфли. В здешних местах так мог быть одет только человек, едущий на автомобиле. Значит, у него что-то случилось с автомобилем, и он был вынужден добираться до отеля пешком. И видимо, издалека, раз он так обессилел и замерз. Тут я понял. Совершенно ясно: он ехал сюда на автомобиле и попал под лавину в Бутылочном Горлышке. Это был приятель Хинкуса, вот кто!

Надо разбудить Хинкуса... Может быть, в машине остались еще люди, искалеченные так, что они не могут двигаться. Может быть, уже есть жертвы... Хинкус должен знать...

Я выскочил из каминной и побежал на второй этаж. Пробегая мимо душевой, я слышал, как там обильно лилась вода и хозяин свирепым шепотом разносил Кайсу за глупость. Свет в коридоре был погашен, я довольно долго искал выключатель, а потом еще дольше стучал в дверь к Хинкусу. Хинкус не отзывался. Да ведь он все еще на крыше! — ужаснулся я. Неужели дрыхнет там? А вдруг он замерз? Я стремглав помчался к чердачной лестнице... Так и есть, — сидит на крыше. Он сидел в прежней своей позе, нахохлившись, уйдя головой в огромный воротник и сунув руки в рукава.

— Хинкус! — гаркнул я.

Он не пошевелился. Тогда я подбежал к нему и потряс за плечо. Я обалдел. Хинкус вдруг как-то странно осел, мягко подавшись у меня под рукой.

— Хинкус! — растерянно закричал я, непроизвольно подхватывая его.

Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, свалилась меховая шапка, и только тогда я понял, что Хинкуса нет, а есть только снежное чучело, облаченное в его шубу. Вот в этот момент я протрезвел уже окончательно. Я быстро огляделся. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, и все было видно как днем. На крыше было множество следов, и все они были совершенно одинаковые, не разберешь чьи. Рядом с шезлонгом снег был промят, разбросан и разрыт — то ли здесь боролись, то ли просто собирали снег для чучела. Снежная долина, на сколько хватал глаз, была пуста и чиста, темная полоса дороги уходила на север и терялась в серо-голубой дымке, скрывающей устье Бутылочного Горлышка.

Стоп, подумал я, стараясь держать себя в руках. Попробуем сообразить, зачем Хинкусу понадобилась вся эта бутафория. Несомненно, чтобы мы думали, будто он сидит на крыше. А он в это время находился совсем в другом месте и обделывал какие-то свои делишки... лже-туберкулезник, лже-бедняга... Какие же делишки и где? Я снова внимательно осмотрел крышу, попытался разобраться в следах, ничего не понял, поискал в снегу, нашел две бутылки — одна была пустая, в другой еще оставалось бренди. Вот это самое недопитое бренди доконало меня. Я понял, что с того момента, как Хинкус счел возможным выбросить коту под хвост бренди на сумму не менее пяти крон, события приняли действительно серьезный оборот. Я медленно спустился на второй этаж,

снова постучался к Хинкусу, и снова никто не отозвался. На всякий случай я нажал на ручку. Дверь отворилась. Готовый ко всяким неожиданностям, вытянув перед собой руку, чтобы предупредить возможное нападение из темноты, я вошел и, быстро нашарив выключатель, зажег свет. В комнате все было как будто по-прежнему, и баулы стояли на прежних местах, но оба они были раскрыты. Хинкуса, конечно, в номере не было, да я и не ожидал его здесь найти. Я присел над баулами и снова тщательно обследовал их. В них тоже все было по-прежнему, за одним маленьким исключением: исчезли и золотые часы, и браунинг. Если бы Хинкус бежал, он захватил бы деньги. Хорошая пачка, увесистая. Значит, он не бежал. Значит, он здесь. А если и отлучился, то намерен вернуться.

Одно мне было ясно: готовилось какое-то преступление. Какое? Убийство? Ограбление? Мысль об убийстве я торопливо прогнал от себя. Я просто не мог себе представить, кого здесь могут убить и зачем. Но потом я вспомнил записку, которую подбросили дю Барнстокру, и мне сделалось нехорошо. Впрочем, из записки явствовало, что дю Барнстокра убьют лишь в том случае, если он попытается бежать...

Я выключил свет и вышел в коридор, прикрыв за собой дверь. Я подошел к номеру дю Барнстокра и потрогал ручку. Дверь была заперта. Тогда я постучал. Никто не откликнулся. Я постучал вторично и приложил ухо к замочной скважине. Невнятный, явно со сна, голос дю Барнстокра отозвался: «Одну минуточку, я сейчас...» Старик был жив, и старик не собирался бежать. Объясняться с ним мне не хотелось, я выскочил на лестничную площадку и прижался к стене под чердачной лестницей. Через минуту щелкнул ключ, скрипнула дверь. Голос дю Барнстокра с изумлением произнес: «Странно, однако...» Снова скрипнула дверь, и снова щелкнул ключ. Здесь все было в порядке — по крайней мере пока.

Нет, решительно подумал я. Убийство — это, конечно, чепуха, и записку ему подбросили либо в шутку, либо для отвода глаз. А вот как насчет ограбления? Кого здесь имеет смысл грабить? Насколько я понимаю, в отеле два богатых человека: Мозес и хозяин. Так. Прекрасно. Оба на первом этаже. Номера Мозеса в южном крыле, сейф хозяина — в северном. Их разделяет холл. Если я засяду в холле... Впрочем, в контору к хозяину можно попасть и сверху, спустившись из столовой в кухню и пройдя потом через буфетную. Если припереть снаружи дверь буфетной... Решено, проведем ночь в холле, а завтра видно будет. Вдруг я вспомнил об одноруком незнакомце. Гм... Судя по всему, он приятель Хинкуса и, следовательно, сообщник. Может быть, он действительно попал в аварию, а может быть, все это комедия, вроде снежной бабы на крыше... Нет, на этом

нас не поймаешь, господа!

Я спустился в холл. В душевой уже никого не было, а посредине холла стояла с ошалелым видом Кайса в ночной рубашке с мокрым подолом и держала в охапке мокрую мятую одежду незнакомца. В коридоре южного крыла горел свет, из пустовавшего номера, что напротив каминной, доносился приглушенный бас хозяина. Незнакомца, по-видимому, устроили там, а ему, может быть, только того и надо было. Хороший расчет: не потащат же полуживого человека на второй этаж...

Кайса, очнувшись наконец, двинулась было на хозяйскую половину, но я ее остановил. Я отобрал у нее одежду и обыскал карманы. К моему огромному изумлению, в карманах не оказалось ничего. Решительно ничего. Ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка — ничего.

— Что на нем сейчас? — спросил я.

— Как это? — спросила Кайса, и я оставил ее в покое.

Я вернул ей одежду и пошел посмотреть сам. Незнакомец лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим, приговаривая: «Надо, сударь, надо... пропотеть надо... хорошенько пропотеть...» Вид у незнакомца, надо сказать, был ужасный. Лицо было синее, кончик острого носа — белый как снег, один глаз болезненно сощурен, а другой и вовсе закрыт. Он слабо постанывал при каждом вздохе. Если это и был чей-нибудь сообщник, то он ни к черту не годился. Но несколько вопросов я должен был ему задать. В любом случае.

— Вы один? — спросил я.

Он молча смотрел на меня сощуренным глазом и тихонько стонал.

— Кто-нибудь еще остался в машине? — спросил я раздельно. — Или вы ехали один?

Незнакомец приоткрыл рот, подышал немного и снова закрыл рот.

— Слаб, — сказал хозяин. — У него все тело как тряпка.

— Черт возьми, — пробормотал я. — А ведь придется сейчас кому-нибудь ехать к Бутылочному Горлышку.

— Да, — согласился хозяин. — Вдруг там еще кто-нибудь остался... Я думаю, они попали под обвал.

— Придется вам поехать, — сказал я решительно, и в этот момент незнакомец заговорил.

— Олаф, — сказал он без выражения. — Олаф Анд-ва-ра-форс... Позовите.

Я испытал очередной шок.

— Ага, — сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол. — Сейчас позову.

— Олаф... — повторил незнакомец.

Хозяин вышел, и я сел на его место. Я чувствовал себя идиотом. В то же время у меня немного отлегло от сердца: мрачная при всей ее убедительности схема, которую я построил, развалилась сама собой.

— Вы были один? — снова спросил я. — Кто-нибудь еще пострадал?

— Один... — простонал незнакомец. — Авария... Позовите Олафа... Где Олаф Андварафорс?

— Здесь, здесь, — сказал я. — Сейчас придет.

Он закрыл глаза и затих. Я откинулся на спинку стула. Ну ладно. А куда все-таки девался Хинкус? И как там хозяйский сейф? В голове у меня была каша.

Вернулся хозяин, брови у него были высоко задраны, губы поджаты. Он наклонился к моему уху и прошептал:

— Странное дело, Петер. Олаф не отзывается. Дверь заперта, оттуда несет холодом. И мои запасные ключи куда-то пропали...

Я молча извлек из кармана связку, которую стащил у него в конторе, и протянул ему.

— Ага, — сказал хозяин. Он взял ключи. — Ну все равно. Вы знаете, Петер, пойдемте-ка вместе. Что-то мне все это не нравится...

— Олаф... — простонал незнакомец. — Где Олаф?

— Сейчас, сейчас, — сказал я ему. Я чувствовал, что у меня начала подергиваться щека. Мы с хозяином вышли в коридор. — Вот что, Алек, — сказал я. — Позовите сюда Кайсу. Пусть сидит возле этого парня и не трогается с места, пока мы не вернемся.

— Ага, — снова произнес хозяин, играя бровями. — Вот, значит, как дела обстоят... То-то я смотрю...

Он трусцой побежал на свою половину, а я медленно направился к лестнице. Я уже поднялся на несколько ступенек, когда хозяин позади строго произнес:

— Иди сюда, Лель. Сиди здесь... Сидеть. Никого не впускать. Никого не выпускать.

Он нагнал меня уже в коридоре второго этажа, и мы вместе подошли к номеру Олафа. Я постучал и в ту же секунду увидел на двери перед самым носом записку. Записка была приколота кнопкой на уровне глаз. «В соответствии с договоренностью, был, не застал. Если по-прежнему жаждете реванша, до одиннадцати часов к Вашим услугам. Дю Б.»

— Это вы видели? — быстро спросил я хозяина.

— Да. Только не успел вам сказать.

Я снова постучался и, уже не ожидая ответа, отобрал у хозяина связку

ключей.

— Который? — спросил я.

Хозяин показал. Я сунул ключ в замочную скважину. Черта с два — дверь была заперта изнутри, и в скважине уже был один ключ. Пока я возился, выталкивая его, отворилась дверь соседнего номера, и, затягивая пояс халата, в коридор вышел дю Барнстокр, заспанный, но благодушный.

— Что происходит, господа? — осведомился он. — Почему постояльцам не дают спать?

— Тысяча извинений, господин дю Барнстокр, — сказал хозяин, — но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий.

— Ах, вот как? — произнес дю Барнстокр с интересом. — Надеюсь, я не помешаю?

Я расчистил путь для ключа и выпрямился. Из-под двери несло зимним холодом, и я был совершенно уверен, что комната окажется пуста, как и номер Хинкуса. Я повернул ключ и распахнул дверь. Волна морозного воздуха окатила меня, но я почти не почувствовал этого. Номер не был пуст. На полу лежал человек. Света из коридора было недостаточно, чтобы узнать его. Я видел только огромные подошвы на пороге прихожей. Я шагнул в прихожую и зажег свет.

Это был Олаф Андварафорс, истый потомок конунгов и возмужалый бог. Он был явно и безнадежно мертв.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал меня с клеем и полосками бумаги. Дю Барнстокр не ушел, он стоял тут же, прислонившись плечом к стене, и выглядел постаревшим лет на двадцать. Аристократические брылья его обвисли и жалко подрагивали.

— Какой ужас! — бормотал он, с отчаянием глядя на меня. — Какой кошмар!..

Я запер дверь, опечатал ее пятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске.

— Какой ужас!.. — бормотал дю Барнстокр у меня за спиной. — И ни реванша теперь... и ничего...

— Идите к себе в номер, — сказал я ему. — Запритесь и сидите, пока я вас не позову... Да, одну минуту. Записка ваша?

— Моя, — сказал дю Барнстокр. — Я...

— Ладно, потом, — сказал я. — Идите. — Я повернулся к хозяину. — Оба ключа я забираю себе. Больше ключей нет? Хорошо. У меня к вам просьба, Алек. Ничего пока не сообщайте этому... однорукому. Соврите что-нибудь, если он станет очень уж беспокоиться. Посмотрите гараж — все ли машины на месте... Теперь вот что. Если увидите Хинкуса, задержите его, хотя бы силой. Пока все. Я буду у себя в номере. И никому ни слова, поняли?

Хозяин молча кивнул и отправился вниз.

У себя в номере я поставил чемодан Олафа на загаженный стол и раскрыл его. Здесь тоже все оказалось не как у людей. Еще даже хуже, чем фальшбагаж Хинкуса. Там, по крайней мере, были тряпки и книжки. А здесь, в этом плоском элегантном чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор — черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью... какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры... Ни белья, ни пижамы, ни мыльницы... Я закрыл чемодан, повалился в кресло и закурил.

Ладно. Что же мы имеем, инспектор Глебски? Вместо того чтобы лежать между свежими простынями и сладко спать. Вместо того чтобы встать пораньше, обтереться снегом и обежать на лыжах всю долину по периметру. Вместо того чтобы потом весело пообедать, сгонять партию в бильярд, пофлиртовать с госпожой Мозес, а вечером уютно устроиться у

камина со стаканом горячего портвейна. Вместо того чтобы наслаждаться каждым днем первого настоящего отпуска за четыре года... Что мы имеем вместо всего этого? Мы имеем свежий труп. Зверское убийство. Тоскливую уголовную неразбериху.

Ладно. В ноль часов двадцать четыре минуты третьего марта сего года мною, полицейским инспектором Глебски, в присутствии добрых граждан Алека Сневара и дю Барнстокра обнаружен труп некоего Олафа Андвараформса. Труп находился в номере упомянутого Андвараформса, каковой номер был закрыт изнутри, но имел настежь раскрытое окно. Тело лежало ничком, вытянувшись на полу. Голова мертвого была зверским и неестественным образом вывернута на сто восемьдесят градусов, так что, хотя тело лежало ничком, лицо было обращено к потолку. Руки мертвого были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, каковой чемодан был единственным багажом, принадлежавшим убитому. В правой руке убитый сжимал ожерелье из деревянных бус, принадлежащее, как достоверно известно, доброй гражданке Кайсе. Черты лица убитого искажены, глаза широко раскрыты, рот оскален. Вблизи рта ощущается слабый, но явственный запах какого-то едкого химического вещества, то ли карболки, то ли формалина. Определенные и недвусмысленные следы борьбы в номере отсутствуют. Покрывало застеленной кровати смято, дверцы стенного шкафа приотворены, сильно сдвинуто тяжелое кресло, предназначенное стоять в подобных номерах у стола. Следов на подоконнике, а также на покрытом снегом карнизе обнаружить не удалось. Следов на бородке ключа (я достал из кармана ключ и еще раз внимательно осмотрел его)... следов на бородке ключа при визуальном осмотре также не обнаружено. Ввиду отсутствия специалистов, инструментов и лаборатории, медицинское, дактилоскопическое и всякое иное специальное исследование провести не представляется возможным (и не представится). Судя по всему, смерть последовала в результате того, что Олафу Андвараформсу с чудовищной силой и жестокостью свернули шею.

Непонятен странный запах изо рта и непонятно, какой же гигантской силой должен обладать убийца, чтобы свернуть шею этому великану без длительной, шумной и оставляющей множество следов борьбы. Впрочем, два минуса, как известно, иногда дают плюс. Можно предположить, что Олаф был сначала отравлен, приведен в беспомощное состояние каким-то ядом, после чего его и прикончили таким злодейским способом, который, между прочим, сам по себе тоже требует немалой силы. Да, такое предположение кое-что объясняет, хотя сразу же возникают новые вопросы. Зачем было добивать ослабевшего таким зверским и трудным способом?

Почему его попросту не ткнули ножом или не придушили веревкой, на худой конец? Ярость, бешенство, ненависть, месть?.. Садизм?.. Хинкус? Может быть, и Хинкус, хотя Хинкус на вид, пожалуй, жидковат для таких упражнений... А может быть, не Хинкус, а тот, кто подбросил мне записку о Хинкусе?..

Нет, так у меня не пойдет. Ну почему это не фальшивый лотерейный билет и не подчищенная бухгалтерская книга? Там бы я быстро разобрался... Вот что мне надо сделать: сесть в автомобиль и гнать по дороге до самого завала, а там попытаться перейти завал на лыжах, добраться до Мюра и вернуться сюда с ребятами из отдела убийств. Я даже приподнялся было, но снова сел. Хороший, конечно, это был выход, но уж больно плохой. Оставить здесь все на произвол судьбы, дать убийце время и разные возможности... оставить дю Барнстокра, которому грозили... Да и как я переберусь через завал? Можно себе представить, что это такое: лавина в Бутылочном Горлышке.

В дверь постучали. Вошел хозяин, неся на подносе чашку с горячим кофе и сандвичи.

— Машины все на месте, — объявил он, ставя передо мною поднос. — Лыжи тоже. Хинкуса нигде не нашел. На крыше валяются его шуба и шапка, но это вы, наверное, видели.

— Да, это я видел, — проговорил я, отхлебывая кофе. — А что однорукий?

— Спит, — сказал хозяин. Он поджал губы и потрогал пальцем натеки клея на столе. — Н-да... Так вот, он спит. Странный тип. Уже порозовел и выглядит вполне прилично. Я там держу Леля. Так, на всякий случай.

— Спасибо, Алек, — сказал я. — Идите пока, и пусть все будет тихо. Пусть все спят.

Хозяин покачал головой.

— Уже не выйдет. Мозес уже встал, у него свет... Ладно, я пойду. А Кайсу я запру, она у меня дура. Хотя она еще ничего не знает.

— И пусть не знает, — сказал я.

Хозяин вышел. Я с наслаждением выпил кофе, отодвинул тарелку с сандвичами и снова закурил. Когда я видел Олафа последний раз? Я играл на бильярде, он танцевал с чадом. Это было еще до того, как разошлись картежники. А они разошлись, когда пробило половину чего-то. Сразу после этого Мозес объявил, что ему пора спать. Ну, это время нетрудно будет установить. Но вот насколько раньше этого времени я в последний раз видел Олафа? А ведь, пожалуй, незадолго. Ладно, мы это установим. Теперь так: ожерелье Кайсы, записка дю Барнстокра, слышали ли что-

нибудь соседи Олафа — дю Барнстокр и Симонэ...

Я только-только начал чувствовать, что у меня вырисовывается какой-то план расследования, как вдруг услышал глухие и довольно сильные удары в стену — из номера-музея. Я даже тихонько застонал от бешенства. Я сбросил пиджак, поддернул рукава и осторожно, на цыпочках вышел в коридор. По физиономии, по щекам, мельком подумал я. Я ему покажу шуточки, кто бы это ни был...

Я распахнул дверь и пулей влетел в номер-музей. Там было темно, и я быстро включил свет. Номер был пуст, и стук вдруг прекратился, но я чувствовал, что здесь кто-то есть. Я сунулся в туалет, в шкаф, за портьеры. Позади меня глухо замычали. Я подскочил к столу и отшвырнул тяжелое кресло.

— Вылезай! — яростно приказал я.

В ответ снова раздалось глухое мычание. Я присел на корточки и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревкой и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и таращил на меня из сумрака слезящиеся мученические глаза. Я выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп.

— Что это значит? — спросил я.

В ответ он принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением, он отплевывался во все стороны, он охал и хрипел. Я заглянул в туалетную, взял бритву Погибшего Альпиниста и разрезал на Хинкусе веревки. Бедняга так затек, что не мог даже поднять руку и вытереть физиономию. Я дал ему воды. Он жадно выпил и наконец подал голос: сложно и скверно выругался. Я помог ему встать и усадил его в кресло. Бормоча ругательства, плачевно сморщив лицо, он принялся ощупывать себе шею, запястья, бока.

— Что с вами случилось? — спросил я. Глядя на него, я испытывал определенное облегчение: оказывается, мысль о том, что где-то за кулисами убийства прячется невидимый Хинкус, очень беспокоила меня.

— Что случилось... — бормотал он. — Сами видите, что случилось! Связали, как барана, и сунули под стол...

— Кто?

— Почем я знаю? — сказал он мрачно, и вдруг его всего передернуло. — Бог ты мой! — пробормотал он. — Выпить бы... У вас нет чего-нибудь выпить, инспектор?

— Нет, — сказал я. — Но будет. Как только вы ответите на мои вопросы.

Он с трудом поднял левую руку и отогнул рукав.

— А, черт, часы раздавил, сволочь... — пробормотал он. — Сколько сейчас времени, инспектор?

— Час ночи, — ответил я.

— Час ночи... — повторил он. — Час ночи... — Глаза у него остановились. — Нет, — сказал он и поднялся. — Надо выпить. Схожу в буфетную и выпью.

Легким толчком в грудь я усадил его снова.

— Успеется, — сказал я.

— А я вам говорю, что хочу выпить! — сказал он, повышая голос и снова делая попытку встать.

— А я вам говорю, что успеется! — сказал я, снова пресекая эту попытку.

— Кто вы такой, чтобы здесь распоряжаться? — уже в полный голос взвизгнул он.

— Не орите, — сказал я. — Я — полицейский инспектор. А вы на подозрении, Хинкус.

— На каком еще подозрении? — спросил он, сразу сбавив тон.

— Сами знаете, — ответил я. Я старался выиграть время, чтобы сообразить, как действовать дальше.

— Ничего я не знаю, — угрюмо заявил он. — Что вы мне голову морочите? Ничего я не знаю и знать не хочу. А вы за ваши штучки ответите, инспектор.

Я и сам чувствовал, что мне придется отвечать за мои штучки.

— Слушайте, Хинкус, — сказал я. — В отеле произошло убийство. Так что лучше отвечайте на мои вопросы, потому что, если вы будете финтить, я изуродую вас, как бог черепаху. Мне терять нечего, семь бед — один ответ.

Некоторое время он молча смотрел на меня, приоткрыв рот.

— Убийство... — повторил он как бы разочарованно. — Вот те на! А только я-то здесь при чем? Меня самого без малого укокошили... А кто убит?

— А вы думаете — кто?

— Откуда мне знать? Когда я из столовой уходил, все вроде были живы. А потом... — Он замолчал.

— Ну? — сказал я. — Что было потом?

— А ничего не было. Я сидел себе на крыше, задремал. Вдруг чувствую, душат, валят, а больше ничего не помню. Очнулся под этим паршивым столом, чуть с ума не сошел: думал, заживо похоронили.

Принялся стучать. Стучал-стучал, никто не идет. Потом вы пришли. Вот и все.

— Вы можете сказать, когда примерно вас схватили?

Он задумался и некоторое время сидел молча. Потом он вытер ладонью рот, посмотрел на пальцы, его снова передернуло, и он вытер ладонь о штанину.

— Ну? — сказал я.

Он поднял на меня тусклые глаза.

— Что?

— Я спрашиваю, когда примерно вас...

— А... Да что-то около девяти. Последний раз, когда я смотрел на часы, было восемь сорок.

— Дайте сюда ваши часы, — сказал я.

Он послушно отстегнул часы и протянул мне. Я заметил, что запястье у него покрыто сине-багровыми пятнами.

— Разбиты они, — сообщил он.

Часы были не разбиты, они были раздавлены. Часовая стрелка отломилась, а минутная показывала сорок три минуты.

— Кто это был? — снова спросил я.

— Откуда мне знать? Я же говорю, что задремал.

— И не проснулись, когда вас схватили?

— Меня схватили сзади, — угрюмо произнес он. — Нет у меня глаз на заду.

— А ну, поднимите подбородок!

Он мрачно смотрел на меня исподлобья, и я понял, что я на верном пути. Я взял его двумя пальцами за челюсть и толчком вздернул его голову. Бог знает, что означали эти синяки и царапины на его худой жилистой шее, но я уверенно сказал:

— Перестаньте лгать, Хинкус. Вас душили спереди, и вы его видели. Кто это был?

Дернув головой, он освободился.

— Идите к черту, — прохрипел он. — К дьяволу. Не ваше собачье дело. Кого бы здесь ни стукнули, я к этому отношения не имею, а на остальное мне наплевать... И мне нужно выпить! — заорал он вдруг. — У меня все болит, понимаете вы это, полицейская балда?

По-видимому, он был прав. В чем бы он ни был замешан, к убийству он отношения не имел, во всяком случае, прямого. Однако и я не имел права отступать.

— Как угодно, — холодно сказал я. — Тогда я запру вас в кладовку, и

вы не получите ни бренди, ни сигарет, пока не скажете все, что знаете.

— Да что вам от меня нужно?.. — простонал он. Я видел, что он вот-вот заплачет. — Чего вы ко мне привязались?

— Кто вас схватил?

— Ч-черт! — прошипел он в отчаянии. — Да не желаю я об этом говорить, можете вы это понять? Видел, да, видел, кто это был! — Его снова передернуло, прямо-таки перекосило на сторону. — Врагу своему не пожелаю такое увидеть!.. Вам, черт бы вас подрал, не пожелаю такого! Вы бы сдохли от страха!

Он был не в себе.

— Ладно, — сказал я и поднялся. — Пойдемте.

— Куда?

— За выпивкой, — сказал я.

Мы вышли в коридор. Он пошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как он отреагирует, увидев наклейки на двери Олафа, но он ничего не заметил, ему явно было не до того. Я привел его в бильярдную, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшиеся с вечера, и подал ему. Он жадно схватил бутылку и надолго присосался к горлышку.

— Господи, — прохрипел он, утираясь. — Смачно-то как!..

Я смотрел на него. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей, что все это задумано для отвода глаз, тем более что он приехал вместе с Олафом, можно было даже предположить, что он и есть убийца и что сообщники потом связали его для создания алиби, но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть с ним явно было не все в порядке: никакой он не туберкулезник, и никакой он, видимо, не ходатай по делам несовершеннолетних, и остается открытым вопрос, для чего он торчал на крыше... Меня вдруг осенило. Что бы он ни делал на крыше, это кому-то мешало, возможно, как-то мешало покончить с Олафом, и его убрали. Его убрали, а тот, кто его убирал, внушал почему-то Хинкусу невыносимый ужас, а значит, не был постояльцем отеля, ибо никого в отеле Хинкус, по-видимому, не боялся. Чепуха какая-то... И тут я вспомнил все эти истории с душем, с трубкой, с таинственными записками... и вспомнил, каким зеленым и напуганным был Хинкус, когда днем спускался с крыши...

— Слушайте, Хинкус, — мягко сказал я. — Тот, кто вас схватил... вы ведь видели его и раньше, днем?

Он дико взглянул на меня и снова присосался к бутылке.

— Так, — сказал я. — Ну, пойдемте. Я запру вас в номере. Бутылку

можете взять с собой.

— А вы? — хрипло спросил он.

— Что — я?

— Вы уйдете?

— Естественно, — сказал я.

— Послушайте, — сказал он. — Послушайте, инспектор... — Глаза у него бегали, он искал, что сказать. — Вы... Я... Вы... вы заглядывайте ко мне, ладно? Я, может быть, вспомню еще что-нибудь... Или, может быть, я побуду с вами? — Он умоляюще глядел на меня. — Я не убегу, и... ничего... клянусь вам...

— Вы боитесь остаться один в номере? — спросил я.

— Да, — ответил он.

— Но ведь я вас запру, — сказал я. — И ключ унесу с собой...

В каком-то отчаянии он махнул рукой.

— Это не поможет, — пробормотал он.

— Ну-ну, Хинкус, — строго сказал я. — Будьте мужчиной! Что вы раскисли, как старая баба?

Он ничего не ответил и только нежно прижал бутылку к груди обеими руками. Я отвел его в номер и, еще раз пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанная жила и что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу. Я постоял несколько минут у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Слышно было, как булькает жидкость, потом скрипнула кровать, потом раздались частые прерывистые звуки. Я не сразу догадался, что это, а потом понял: Хинкус плакал.

Я оставил его наедине с его совестью и направился к дю Барнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Комната была полна сигарного дыма.

— Мой дорогой инспектор! — немедленно начал он, выделывая фантастические вещи с сигарой, которую он держал двумя пальцами в приподнятой руке. — Мой уважаемый друг! Я чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности...

— Что вы убили Олафа Андварафорса, — мрачно сказал я, опускаясь в кресло.

Он содрогнулся и всплеснул руками.

— О боже! Нет! Я в жизни своей никого не тронул пальцем! Кэль идэ! Нет! Я хочу только чистосердечно признаться в том, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле... — Он прижал руки к груди,

обсыпая халат сигарным пеплом. — Поверьте, поймите меня правильно: это были просто шутки! Пусть не бог весть какие изящные и остроумные, но совершенно невинные... Это у меня профессиональное, я обожаю атмосферу таинственности, мистификации, всеобщего недоумения... Никакого злого умысла, уверяю вас! Никакой корысти...

— Какие именно шутки вы имеете в виду? — спросил я сухо. Я был зол и разочарован. Я не ожидал, что этим занимается именно дю Барнстокр. Я был о старике лучшего мнения.

— Н-ну... Все эти маленькие розыгрыши по поводу тени Погибшего Альпиниста. Ну, там, туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать... Шутка с душем... Вас я немножко помистифицировал — помните, пепел из трубки?.. Ну и тому подобное, я уж не упомню всего...

— Стол у меня испоганили тоже вы? — спросил я.

— Стол? — Он растерянно посмотрел на меня, потом оглянулся на свой собственный стол.

— Да, стол. Залили клеем, безнадежно испортили хорошую вещь...

— Н-нет, — испуганно сказал он. — Клеем... стол... Нет-нет, это не я, клянусь вам! — Он снова прижал руки к груди. — Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно, я никому не причинял ни малейшего ущерба... Мне даже казалось, что это всем нравится, а наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал...

— Хозяин был с вами в сговоре?

— Нет, что вы! — Он замахал на меня руками. — Я имею в виду, что он... что ему это, в общем, нравилось, он же и сам немножко мистификатор, вы заметили? Как он говорит, знаете, таким особенным голосом, и это его знаменитое «позвольте мне погрузиться в прошлое...».

— Понятно, — сказал я. — А следы в коридорах?

Лицо дю Барнстокра сделалось сосредоточенным и серьезным.

— Нет-нет, — сказал он. — Это не я. Но я знаю, о чем вы говорите. Я это видел однажды. Это было еще до вашего приезда. Мокрые следы босых ног, они шли с лестничной площадки и вели, как это ни глупо, в номер-музей... Тоже шутка, конечно, но не моя...

— Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Еще один вопрос. Записка, которую вам якобы подбросили, это тоже ваш розыгрыш, как я понимаю?

— Тоже не мой, — сказал дю Барнстокр с достоинством. — Передавая вам эту записку, я рассказывал чистую правду.

— Минуточку, — сказал я. — Значит, дело было так. Олаф вышел, вы остались сидеть. Кто-то постучал в дверь, вы откликнулись, потом глянули и увидели на полу у дверей записку. Так?

— Так.

— Минуточку, — повторил я. Я ощутил приближение новой мысли. — Позвольте, господин дю Барнстокр, а почему вы, собственно, решили, что это угрожающее послание адресовано именно вам?

— Совершенно с вами согласен, — сказал дю Барнстокр. — Уже потом я понял, уже прочитав, что, будь записка адресована мне, ее, наверное, подсунули бы под мою дверь. Но в тот момент я действовал как-то подсознательно, что ли... Ведь тот, кто постучал, слышал мой голос, то есть знал, что я здесь... Вы меня понимаете? Во всяком случае, когда наш бедный Олаф вернулся, я немедленно показал ему эту записку, чтобы вместе посмеяться над нею...

— Так, — сказал я. — И что же Олаф? Смеялся?

— Н-нет, он не смеялся... У него, знаете ли, чувство юмора... В общем, он прочел, пожал плечами, и мы тут же продолжили игру. Он оставался совершенно спокоен, флегматичен и больше ни разу не вспомнил об этой записке... А я, как вы знаете, решил, что это чья-то мистификация, и, откровенно говоря, продолжаю думать так же и сейчас... Вы знаете, в узком кругу отдыхающих, скучающих людей всегда найдется человек...

— Знаю, — сказал я.

— Вы полагаете, эта записка действительно?..

— Все может быть, — сказал я. Мы помолчали. — А теперь расскажите, что вы делали с того момента, как Мозесы ушли спать.

— Извольте, — сказал дю Барнстокр. — Я ожидал этого вопроса и специально восстановил в памяти всю последовательность своих действий. Дело было так. Когда все разошлись, а было это примерно в половине десятого, я некоторое время...

— Одну минуту, — прервал я его. — Это было в половине десятого, говорите вы?

— Да, примерно.

— Хорошо. Тогда расскажите сначала мне вот что. Не можете ли вы припомнить, кто находился в столовой между половиной девятого и половиной десятого?

Дю Барнстокр взялся за лоб длинными белыми пальцами.

— М-м-м... — произнес он. — Это будет посложнее. Я ведь был занят игрой... Ну, естественно, Мозес, хозяин... Время от времени карту брала госпожа Мозес... Это у нас за столиком. Брюн и Олаф танцевали, а потом... нет, пардон, еще до этого... танцевали госпожа Мозес и Брюн... Но вы понимаете, мой дорогой инспектор, я совершенно не в состоянии установить, когда это было — в половине девятого, в девять... О! Часы

пробили девять, и я, помнится, оглядел зал и подумал, как мало народу осталось. Играла музыка, и зал был пуст, танцевали только Брюн с Олафом... Вы знаете, это, пожалуй, единственное ясное впечатление, которое осталось у меня в памяти, — закончил он с сожалением.

— Так, — сказал я. — А хозяин и господин Мозес хоть раз выходили из-за стола?

— Нет, — сказал он уверенно. — Оба они оказались чрезвычайно азартными партнерами.

— То есть в девять часов в зале было только трое игроков, Брюн и Олаф?

— Именно так. Это я помню совершенно отчетливо.

— Хорошо, — сказал я. — Теперь вернемся к вам. Итак, после того как все разошлись, вы посидели еще некоторое время за карточным столиком, упражняясь в карточных фокусах...

— Упражняясь в фокусах?.. А, вполне возможно. Иногда в задумчивости я, знаете ли... даю волю своим пальцам, это происходит неосознанно. Да. Затем я решил выкурить сигару и направился сюда, к себе в номер. Я выкурил сигару, сел в это кресло и, признаться, вздремнул. Проснулся я словно бы от какого-то толчка — я вдруг вспомнил, что в десять часов обещал реванш бедному Олафу. Я взглянул на часы. Точного времени не помню, но было самое начало одиннадцатого, и я с облегчением понял, что опоздаю ненамного. Я наскоро привел себя в порядок перед зеркалом, взял пачку ассигнаций, сигары и вышел в коридор. В коридоре, инспектор, было пусто, это я помню. Я постучал в дверь к Олафу — никто не отозвался. Я постучал вторично, и снова без всякого успеха. Я понял, что господин Олаф сам забыл о реванше и занят какими-нибудь более интересными делами. Однако в таких вопросах я страшно щепетилен. Я написал известную вам записку и приколол ее к двери. Затем я честно прождал до одиннадцати, читая вот эту книгу, и в одиннадцать лег спать. И вот что интересно, инспектор. Незадолго до того, как вы с хозяином принялись шуметь и стучать в коридоре, меня разбудил стук в мою дверь. Я открыл, но никого не оказалось. Я лег снова и больше уже не смог заснуть.

— Угу, — сказал я. — Понятно. Значит, с того момента, как вы прикололи записку, и до одиннадцати часов, когда вы легли спать, не произошло больше ничего существенного... не было никакого шума, движения?

— Нет, — сказал дю Барнстокр. — Ничего.

— А где вы были? Здесь или в спальне?

— Здесь, сидел в этом кресле.

— Угу, — сказал я. — И последний вопрос. Вчера до обеда вы не разговаривали с Хинкусом?

— С Хинкусом?.. А, это такой маленький, жалкий... Постойте, мой милый друг... Да, конечно! Мы же все вместе стояли возле душа, помните? Господин Хинкус был раздражен ожиданием, и я успокоил его каким-то маленьким фокусом... Ах да, леденцы! Он очень забавно растерялся тогда. Обожаю такие мистификации.

— А после этого вы с ним не разговаривали?

Дю Барнстокр задумчиво сложил губы куриной гузкой.

— Нет, — сказал он. — Насколько мне помнится — нет.

— И не поднимались на крышу?

— На крышу? Нет. Нет-нет. На крышу я не поднимался.

Я встал.

— Благодарю вас, господин дю Барнстокр. Вы оказали следствию помощь. Я надеюсь, вы понимаете, насколько неуместны были бы сейчас новые мистификации. (Он молча замахал на меня руками.) Ну, вот и хорошо. Я очень советую вам принять таблетку снотворного и лечь спать. На мой взгляд, это лучшее, что вы можете сейчас сделать.

— Я попытаюсь, — с готовностью сказал дю Барнстокр.

Я пожелал ему спокойной ночи и вышел. Я направился разбудить чадо, но тут я увидел, как в конце коридора быстро и бесшумно захлопнулась приоткрытая дверь номера Симонэ. Я немедленно повернул туда.

Я вошел, не постучавшись, и сразу понял, что поступил правильно. Через открытую дверь спальни я увидел, как великий физик, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки. Это было тем более глупо, что в обеих комнатах номера горел свет.

— Не трудитесь, Симонэ, — произнес я угрюмо. — Все равно вы не успеете развязать галстук.

Симонэ обессиленно опустился на кровать. Челюсть у него тряслась, глаза вылезли из орбит. Я вошел в спальню и остановился перед ним, засунув руки в карманы. Некоторое время мы молчали. Я не сказал больше ни слова, я просто смотрел на него, давая ему время осознать, что он пропал. А он под моим взглядом все более сникал, голова его все глубже уходила в плечи, волнистый унылый нос становился все более унылым. Наконец он не выдержал.

— Я буду говорить только в присутствии своего адвоката, — объявил он надтреснутым голосом.

— Бросьте, Симонэ, — сказал я с отвращением. — А еще физик. Какие вам тут, в задницу, адвокаты?

Он вдруг схватил меня за полу пиджака и, заглядывая мне в глаза снизу вверх, просипел:

— Думайте что хотите, Петер, но я вам клянусь: я не убивал ее.

Наступила моя очередь присесть. Я нащупал за собой стул и сел.

— Подумайте сами, зачем это мне? — страстно продолжал Симонэ. — Ведь должны же быть мотивы... Никто же не убивает просто так... Конечно, существуют садисты, но они ведь сумасшедшие, а я... Правда, врачи... Но вы сами понимаете, нервное переутомление, чувственные удовольствия... Это же совсем, совсем другое!.. Тем более такое зверство, такой кошмар... Клянусь вам! Она была уже совсем холодная, когда я обнял ее!

На несколько секунд я закрыл глаза. Так. В доме был еще один труп. На этот раз — женщина.

— Вы же отлично знаете, — горячечно бормотал Симонэ, — преступлений просто так не бывает. Правда, Андре Жид писал... Но это все так, игра интеллекта... Нужен мотив... Вы же меня знаете, Петер! Посмотрите на меня: разве я похож на убийцу?

— Стоп, — сказал я. — Заткнитесь на минуту. Подумайте хорошенько и расскажите все по порядку.

Он не стал думать.

— Пожалуйста, — с готовностью сказал он. — Но вы должны поверить мне, Петер. Все, что я расскажу, будет истинная правда, и только правда. Дело было так. Еще во время этого проклятого бала... Да она и раньше давала мне понять, только я не решался... А в этот раз вы накачали меня бренди, и я решился. Почему бы нет? Ведь это же не преступление, не правда ли? Н-ну, и вот часов в одиннадцать, когда все угомонились, я вышел и тихонько спустился вниз. Вы с хозяином несли какую-то чепуху в каминной, что-то там о познании природы, обычная ерунда... Я тихонько прошел мимо каминной — я был в носках — и прокрался к ее номеру. У старика света не было, у нее — тоже. Дверь ее, как я и ожидал, была не заперта, это сразу придало мне бодрости. Темно было — хоть глаз выколи, но я различил ее силуэт. Она сидела на кушетке прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул, она не ответила. Тогда, сами понимаете, я сел рядом с ней и, сами понимаете, обнял... Бр-р-р-р!.. Я даже поцеловать ее не успел! Она была совершенно мертвая... твердая, окоченевшая... Лед! Окаменевшая, как дерево! И этот оскал... Я не помню, как оттуда вылетел. По-моему, я там всю мебель поломал... Я клянусь вам, Петер, поверьте честному человеку, когда я дотронулся до нее, она была уже совершенно мертвая, холодная и окоченевшая... И потом, я не зверь...

— Наденьте брюки, — сказал я с тихим отчаянием. — Приведите себя

в порядок и следуйте за мной.

— Куда? — спросил он с ужасом.

— В тюрьму! — гаркнул я. — В карцер! В башню пыток, идиот!

— Сейчас, — сказал он. — Сию минуту. Я просто не понял вас, Петер.

Мы спустились в холл навстречу вопрошающему взгляду хозяина. Хозяин сидел за журнальным столиком, положив перед собой тяжелый многозарядный винчестер. Я знаком предложил ему оставаться на месте и свернул в коридор на половину Мозесов. Лель, лежавший на пороге комнаты незнакомца, проворчал нам что-то неприязненное. Симонэ семенил за мною следом, время от времени судорожно вздыхая.

Я решительно толкнул дверь в номер госпожи Мозес и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване прямо напротив двери в позе мадам Рекамье возлежала в шелковой пижаме очаровательная госпожа Мозес и читала книгу. Увидев меня, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симонэ за моей спиной издал странный звук — что-то вроде «а-ап!».

— Прошу прощения, — еле ворочая языком, проговорил я и со всей возможной стремительностью закрыл двери. Затем я повернулся к Симонэ и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук.

— Клянусь! — одними губами произнес Симонэ. Он был на грани обморока.

Я отпустил его.

— Вы ошиблись, Симонэ, — сухо сказал я. — Вернемся в ваш номер.

Прежним порядком мы проследовали в обратном направлении. Впрочем, по дороге я передумал и повел его в свой номер. Я вдруг сообразил, что номер мой не заперт, а там у меня вещественное доказательство. И кстати, не мешает показать это самое доказательство великому физику.

Войдя, Симонэ бросился в мое кресло, на секунду закрыл лицо руками, а затем принялся стучать себя по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе.

— Спасен! — бормотал он с идиотской улыбкой. — Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура!..

Потом он положил руки на край стола, уставился на меня круглыми глазами и произнес шепотом:

— Но ведь она была мертва, Петер! Клянусь вам. Она была мертва, она была убита, и мало того...

— Ерунда, — сказал я холодно. — Просто вы были омерзительно пьяны.

— Нет-нет, — возразил Симонэ, мотая головой. — Я был пьян, это верно, но тут что-то нечисто, тут что-то не так... Скорее уж это был кошмар, бред... почудилось... Может быть, я и на самом деле немножко того, а, Петер?

— Может быть, — согласился я.

— Не знаю, просто не знаю... Я глаз не сомкнул все это время, то раздевался, то одевался... хотел даже бежать... особенно когда услышал, как вы там ходите и говорите придушенными голосами...

— Где вы находились в это время?

— Я находился... В какое, собственно, время?

— Пока мы говорили придушенными голосами.

— У себя. Я не выходил из номера.

— В какой именно комнате вашего номера вы находились?

— То в одной, то в другой... Честно говоря, пока вы допрашивали Олафа, я пытался подслушивать и сидел в спальне... — Глаза его вдруг снова выкатились. — Постойте-ка, — сказал он. — Но если она жива... тогда из-за чего вся эта суета? Что случилось? Заболел кто-нибудь?

— Отвечайте на мои вопросы, — сказал я. — Что вы делали после того, как я ушел из бильярдной?

Некоторое время он молчал, глядя на меня круглыми глазами и покусывая нижнюю губу.

— Понятно, — сказал он наконец. — Значит, все-таки что-то случилось. Ну, ладно... Что я делал после того, как вы ушли? Сыграл сам с собой на бильярде и пошел к себе. Было уже около десяти, а я назначил свое предприятие на одиннадцать, надо было привести себя в порядок, освежиться, побриться, то-се... Этим я и занимался примерно до половины одиннадцатого. А потом ждал, смотрел на часы, смотрел в окошко... Остальное вы знаете... Вот так...

— Вы вернулись в номер около десяти. А точнее? Ведь вы собирались на свидание и наверняка часто поглядывали на часы.

Симонэ тихонько свистнул.

— Ого! — сказал он. — Кажется, это следствие по всем правилам. Может быть, вы все-таки скажете мне, что произошло?

— Убит Олаф, — сказал я.

— Как — убит? Вы же только что были у него в номере... Я сам слышал, как вы с ним там разговаривали...

— Я разговаривал не с ним, — сказал я. — Олаф мертв. Поэтому постарайтесь поточнее вспомнить все, о чем я вас спрашиваю. Когда вы вернулись в свой номер?

Симонэ вытер покрытый испариной лоб. Лицо у него сделалось несчастным.

— Безумие какое-то, — пробормотал он. — Сумасшедший бред... Сначала то, теперь это...

Я применил старый испытанный прием. Пристально глядя на Симонэ, я сказал:

— Перестаньте крутить. Отвечайте на мои вопросы.

Симонэ мгновенно ощутил себя подозреваемым, и все его эмоции тут же испарились. Он перестал думать о госпоже Мозес. Он перестал думать о бедном Олафе. Теперь он думал только о себе.

— Что вы этим хотите сказать? — пробормотал он. — Что это значит — «перестаньте крутить»?..

— Это значит, что я жду ответа, — сказал я. — Когда — точно — вы вернулись в свой номер?

Симонэ преувеличенно оскорбленно пожал плечами.

— Извольте, — сказал он. — Смешно, конечно, и дико, но... пожалуйста. Извольте. Из бильярдной я вышел без десяти десять. С точностью плюс-минус одна минута. Я посмотрел на часы и понял, что мне пора. Было без десяти десять.

— Что вы сделали, когда вошли в номер?

— Извольте. Я прошел в спальню, разделся... — Он вдруг остановился. — А знаете, Петер... Я ведь понимаю, что вам нужно. В это время Олаф был еще жив. Впрочем, откуда мне знать, может быть, это был уже не Олаф.

— Рассказывайте по порядку, — приказал я.

— Да тут нечего рассказывать по порядку... За стеной спальни двигали мебель. Голосов я не помню. Не было голосов. Но что-то там двигалось. Помнится, я показал стене язык и подумал: вот так-то, белокурая бестия, ты ляжешь баиньки, а я пойду к моей Ольге... Или что-то в этом духе. Это было, следовательно, примерно без пяти десять. Плюс-минус три минуты.

— Так. Дальше.

— Дальше... Дальше я пошел в туалетную комнату. Я тщательно вымылся до пояса. Я тщательно вытерся махровым полотенцем... Я тщательно побрился электрической бритвой... Я тщательно оделся... — В голосе унылого шалуна стремительно нарастала язвительность. Впрочем, он тут же почувствовал неуместность такого тона и спохватился. — Короче говоря, в следующий раз я посмотрел на часы, когда вышел из туалетной. Было около половины одиннадцатого. Без двух-трех минут.

— Вы остались в спальне?

— Да, одевался я в спальне. Но больше я уже ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимания. Одевшись, я вышел в гостиную и стал ждать. И клятвенно утверждаю, что после вечеринки я Олафа в глаза не видел.

— Вы уже утверждали клятвенно, что госпожа Мозес мертва, — заметил я.

— Ну, это я не знаю... Это я не понимаю. Уверяю вас, Петер...

— Верю, — сказал я. — Теперь скажите, когда вы последний раз разговаривали с Хинкусом?

— Гм... Да я, пожалуй, вообще с ним никогда не разговаривал. Ни разу. Не представляю, о чем бы я мог с ним разговаривать.

— А когда вы его в последний раз видели?

Симонэ прищурился, вспоминая.

— Около душа? — произнес он с вопросительной интонацией. — Да нет, что это я! Он же обедал вместе со всеми, вы его тогда привели с крыши. А потом... куда-то он испарился, что ли... А что с ним случилось?

— Ничего особенного, — небрежно сказал я. — Еще один вопрос. Кто, по-вашему, разыгрывал все эти штучки? С душем, с пропавшими туфлями...

— Понимаю, — сказал Симонэ. — По-моему, начал это дю Барнстокр, а поддерживали его все кому не лень. Хозяин в первую очередь.

— А вы?

— И я. Я заглядывал в окна к госпоже Мозес. Обожаю такие шутки... — Он заржал было своим могильным смехом, но тут же спохватился и поспешно сделал серьезное лицо.

— И больше ничего? — спросил я.

— Ну, почему же ничего? Я звонил Кайсе из пустых номеров и устраивал «посещения утопленника»...

— То есть?

— То есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами. Потом я собирался соорудить небольшое привидение, да так и не собрался.

— Нам повезло, — сухо сказал я. — А часы Мозеса — ваша работа?

— Какие часы Мозеса? Золотые такие? Луковица?

Мне захотелось его ударить.

— Да, — сказал я. — Луковица. Вы их сперли?

— За кого вы меня принимаете? — возмутился Симонэ. — Что я вам — форточник какой-нибудь?

— Нет-нет, не форточник, — сказал я, сдерживаясь. — Вы их утащили в шутку. Устроили «посещение Багдадского Вора».

— Слушайте, Петер, — сказал Симонэ очень серьезно. — Я вижу, что с этими часами тоже что-то произошло. Так вот — я их не трогал. Но я их видел. Да и все, наверное, видели. Здоровенная такая луковица, Мозес однажды при всем народе уронил ее в свою кружку...

— Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Теперь у меня к вам вопрос как к специалисту. — Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку. — Что это может быть, как по-вашему?

Симонэ быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и так же осторожно вложил обратно в чемодан.

— Не моя область, — сказал он. — Судя по тому, как это компактно и добротно сделано, это что-то либо военное, либо космическое. Не знаю. Даже догадаться не могу. Где вы это взяли? У Олафа?

— Да, — сказал я.

— Подумать только! — пробормотал он. — У этой дубины... Впрочем, пардон. На кой черт здесь верньеры?.. Ну, это-то, вероятно, гнезда подключения... Очень странный агрегат... — Он посмотрел на меня. — Если хотите, Петер, я могу понажимать здесь клавиши и покрутить колесики и винтики. Я человек рисковый. Но имейте в виду, это очень нездоровое занятие.

— Не надо, — сказал я. — Дайте сюда. — Я закрыл чемодан.

— Правильно, — одобрил Симонэ, откидываясь в кресле. — Это надо отдать экспертам. Я даже знаю — кому... Между прочим, — сказал он, — что это вы всем этим занимаетесь? Вы что — энтузиаст своего дела? Почему вы не вызовете специалистов?

Я коротко объяснил ему про обвал.

— Все одно к одному, — уныло произнес он. — Мне можно идти?

— Да, — сказал я. — И сидите в своем номере. Лучше всего ложитесь спать.

Он ушел. Я взял чемодан и поискал, куда его можно спрятать. Спрятать было некуда. Военное или космическое, подумал я. Только этого мне и не хватало. Политическое убийство, шпионаж, диверсия... Тьфу, глупость! Если бы убили из-за этого чемодана, чемодан бы унесли... Куда же мне его деть? Тут я вспомнил про хозяйский сейф и, взяв чемодан под мышку — для верности, — спустился вниз.

Хозяин расположился за столиком с бумагами и допотопным арифмометром. Винчестер был у него под рукой — прислонен рядом к стене.

— Что новенького? — спросил я.

Он поднялся мне навстречу.

— Да ничего особенно хорошего, — ответил он с виноватым лицом. — Пришлось мне все-таки объяснить Мозесу, что произошло.

— Зачем?

— Он с бешеной силой рвался к вам наверх, шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и объяснил ему, что к чему. Я решил, что так будет меньше шуму.

— Плохо, — сказал я. — Но это я сам виноват. А он что?

— А ничего. Выкатил на меня свои глазищи, отхлебнул из кружки, помолчал с полминуты, а потом стал орать — кого это я поселил на его территории да как посмел... Еле-еле я от него отбился.

— Ну ладно, — сказал я. — Вот что, Алек. Дайте мне ключ от вашего сейфа, я спрячу туда вот этот чемодан, а ключ — вы уж извините — оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно допросить Кайсу. Приведите ее в вашу контору. А в-третьих, я очень хотел бы кофе.

— Пойдемте, — сказал хозяин.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Я выпил большую чашку кофе и допросил Кайсу. Кофе был прекрасный. Но от Кайсы я почти ничего не добился. Во-первых, она все время засыпала на стуле, а когда я ее будил, немедленно спрашивала: «Чего это?» Во-вторых, она, казалось, совершенно неспособна была говорить об Олафе. Каждый раз, когда я произносил это имя, она заливалась краской, принималась хихикать, совершать сложные движения плечом и закрываться ладонью. У меня осталось определенное впечатление, что Олаф успел здесь нашалить и что произошло это почти сразу после обеда, когда Кайса сносила вниз и мыла посуду. «А бусы они у меня забрали, — рассказала Кайса, хихикая и жеманясь. — Сувенир, говорят, на память то есть. Шалуны они...» В общем, я отправил ее спать, а сам вышел в холл и принялся за хозяина.

— Что вы об этом думаете, Алек? — спросил я.

Он с удовольствием отодвинул арифмометр и с хрустом расправил могучие плечи.

— Я думаю, Петер, что в самом скором времени мне придется дать отелю другое название.

— Вот как? — сказал я. — И что это будет за название?

— Еще не знаю, — ответил хозяин. — И это меня несколько беспокоит. Через несколько дней моя долина будет кишеть репортерами, и к этому времени я должен быть во всеоружии. Конечно, многое будет зависеть от того, к каким выводам придет официальное следствие, но ведь и к частному мнению владельца пресса не может не прислушаться...

— У владельца уже есть частное мнение? — удивился я.

— Ну, может быть, не совсем правильно называть это мнением... Но, во всяком случае, у меня есть некое ощущение, которого у вас, по-моему, пока еще нет. Но оно будет, Петер. Оно обязательно появится и у вас, когда вы копнете это дело поглубже. Просто мы с вами по-разному устроены. Я все-таки механик-самоучка, поэтому ощущения мои, как правило, возникают вместо выводов. А вы — полицейский инспектор. У вас ощущения возникают в результате выводов, когда выводы вас не удовлетворяют. Когда они вас обескураживают. Так-то вот, Петер... А теперь задавайте ваши вопросы.

И тут неожиданно для себя — уж очень я отчаялся и устал — я рассказал ему о Хинкусе. Он слушал, кивая лысой головой.

— Да, — сказал он, когда я кончил. — Вот видите, и Хинкус тоже...

Обронив это таинственное замечание, он обстоятельно и без всякого понуждения рассказал, что делал после окончания карточной игры. Впрочем, знал он очень мало. Олафа в последний раз он видел примерно тогда же, когда и я. В половине десятого он спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леля, выпустил его погулять, задал трепку Кайсе за нерасторопливость, и тут появился я. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Он отдал распоряжение Кайсе и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет.

— ...Конечно, я мог бы тогда же зайти к Олафу и свернуть ему шею, хотя я вовсе не уверен, что Олаф позволил бы мне это сделать. Но я и пытаться не стал, а просто пошел вниз и погасил свет в холле. Насколько я помню, все было в порядке. Все двери на верхнем этаже были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал: пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что дело швах. Позвонив, я вернулся к вам в каминную, и больше мы не разлучались.

Я разглядывал его сквозь прикрытые веки. Да, он был очень крепким мужчиной. И вероятно, у него хватило бы силы свернуть шею Олафу, особенно если Олаф был предварительно отравлен. И он, хозяин отеля, как никто другой, располагал реальной возможностью отравить любого из нас. Более того, у него мог быть запасной ключ от номера Олафа. Третий ключ... Все это он мог. Но кое-чего он не мог. Он не мог выйти из номера через дверь и запереть ее изнутри. Он не мог выскочить через окно, не оставив следов на подоконнике, не оставив следов на карнизе и не оставив следов — очень глубоких и очень заметных следов — внизу под окном... Между прочим, этого никто не смог бы сделать. Оставалось предположить существование потайного люка, ведущего из номера Олафа в номер, который сейчас занимает однорукий. Но тогда преступление становится изощренно сложным, это означало бы, что его запланировали давно, тщательно и с совершенно непонятной целью... А, черт, я же своими ушами слышал, как он, выключив музыку, спускался по лестнице и делал выговор Лелю. Через минуту после этого случился обвал, а потом...

— Вы мне разрешите полюбопытствовать, — сказал хозяин, — зачем вы с Симонэ заходили к госпоже Мозес?

— А, пустяки, — сказал я. — Великий физик слегка перебрал, и ему почудилось бог знает что...

— Вы не скажете мне, что именно?

— Да вздор это все! — сказал я с досадой, пытаясь ухватить за хвостик какую-то любопытную мысль, проскользнувшую у меня в сознании за несколько секунд до этого. — Вы меня сбили, Алек, со своими глупостями... Ну ладно, потом вспомню... Давайте насчет Хинкуса. Попытайтесь вспомнить, кто выходил из столовой между половиной девятого и девятью.

— Я, конечно, могу попытаться, — мягко сказал хозяин, — но ведь вы сами обратили мое внимание на тот факт, что Хинкус безумно напуган этим, скажем, существом, которое его связало.

Я впился в него глазами.

— Ну, и что вы об этом думаете?

— А вы? — спросил он. — Я бы на вашем месте подумал об этом самым серьезным образом.

— Вы шутите или нет? — сказал я раздраженно. — Я не могу сейчас заниматься мистикой, фантастикой и прочей философией. Я просто склонен думать, что Хинкус того... — Я постучал себя по темени. — Я не могу представить себе, чтобы в отеле кто-то прятался, кого мы не знаем.

— Ну хорошо, хорошо, — произнес хозяин примирительно. — Не будем спорить об этом. Итак, кто выходил из зала между половиной девятого и девятью? Во-первых, Кайса. Она приходила и уходила. Во-вторых, Олаф. Он тоже приходил и уходил. В-третьих, ребенок дю Барнстокра... Впрочем, нет. Ребенок исчез позже, вместе с Олафом...

— Когда это было? — быстро спросил я.

— Точного времени я, естественно, не помню, но хорошо помню, что мы тогда играли и продолжали играть еще некоторое время после их ухода.

— Это очень интересно, — сказал я. — Но об этом после. Так. Кто еще выходил?

— Да, собственно, остается одна только госпожа Мозес... Гм... — Он сильно поскреб ногтями обширную щеку. — Нет, — сказал он решительно. — Не помню. Я, как хозяин, в общем, следил за гостями и поэтому, как видите, кое-что помню довольно хорошо. Но вы знаете, был такой момент, когда мне чертовски везло. Это длилось недолго, всего два-три круга, но что было во время этой полосы удач... — Хозяин развел руками. — Я хорошо помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком, и хорошо помню, что потом она подсела к нам и даже играла. Но выходила ли она... Нет, я не видел. К сожалению.

— Ну что ж, и на том спасибо, — сказал я рассеянно. Я уже думал о другом. — А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так?

— Так.

— И было это до половины десятого, когда вы поднялись из-за карт?

— Именно так.

— Спасибо, — сказал я и встал. — Пойду, пожалуй. Да, еще один вопрос. Вы видели Хинкуса после обеда?

— После обеда? Нет.

— Ах да, вы же играли... А до обеда?

— До обеда я его видел несколько раз. Я видел его утром, когда он завтракал, потом на дворе, когда все мы играли и резвились... Потом он из моей конторы давал телеграмму в Мюр, потом... Да! Потом он спросил меня, как пройти на крышу, и сказал, что будет загорать... Ну и все, кажется. Нет, еще раз я видел его днем в буфетной, он забавлялся с бутылкой бренди. Больше я его днем не видел.

Тут мне показалось, что я поймал ускользнувшую было мысль.

— Слушайте, Алек, я совсем забыл, — сказал я. — Как записался у вас Олаф?

— Принести вам книгу? — спросил хозяин. — Или так сказать?

— Так скажите.

— Олаф Андварафорс, государственный служащий, в отпуск на десять дней, один.

Нет, это была не та мысль.

— Спасибо, Алек, — сказал я и снова сел. — Теперь займитесь своими делами, а я буду сидеть и думать.

Я охватил голову руками и стал думать. Что же у меня есть? Мало, чертовски мало. Я узнал, что Олаф ушел из столовой между девятью и половиной десятого и больше в зал не возвращался. Теперь так. Выяснилось, что вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, чадо — это последний человек, который видел Олафа живым. Если не считать убийцы, конечно. И если считать, что все допрошенные говорят правду. Значит, Олаф убит где-то между началом десятого и началом первого. Ничего себе промежуточек. Впрочем, Симонэ утверждает, будто без пяти десять в комнате Олафа было слышно какое-то движение, а примерно в десять минут одиннадцатого никто в номере не отзывался на стук дю Барнстокра. Но это еще ничего не значит, Олаф мог в это время выйти. Я с досадой дернул себя за волосы. Олафа вообще могли убить не в номере... Нет, рано, рано делать выводы. У меня еще остается Брюн по делу Олафа и госпожа Мозес по делу Хинкуса... Хотя что она мне может сказать? Ну, вышла на крышу, ну, увидела Хинкуса... Минуточку, а зачем она выходила на крышу? Одна, без

мужа, декольте... Ладно. Вопрос: с кого начать? Поскольку убит Олаф, а не Хинкус, и поскольку госпожа Мозес уже наверняка знает об убийстве от супруга, начнем с чада. Спросонок люди говорят иногда интересные вещи. Заодно, может быть, удастся определить, какого оно пола, мельком подумал я, поднимаясь.

Стучать в номер к чаду пришлось долго и громко. Потом за дверью зашлепали босые ноги, и сердитый сипловатый голос осведомился: какого дьявола?

— Откройте, Брюн, это я, Глебски, — сказал я.

Последовало короткое молчание. Затем голос испуганно спросил:

— Вы что, свихнулись? Три часа ночи!..

— Откройте, вам говорят! — прикрикнул я.

— А в чем дело?

— Вашему дядюшке плохо, — сказал я наугад.

— Ну да?.. Постойте, дайте штаны надеть...

Шлепанье босых ног удалилось. Я ждал. Потом ключ в замке повернулся, дверь распахнулась, и чадо шагнуло через порог.

— Не так быстро, — сказал я, придерживая его за плечо. — Ну-ка, зайдемте в номер...

Чадо явно еще не проснулось до конца и поэтому не проявило особенной строптивости. Оно позволило вернуть себя в номер и усадить на разоренную кровать. Я сел в кресло напротив. Несколько секунд чадо смотрело на меня сквозь свои огромные черные очки, и вдруг пухлые розовые губы его задрожали.

— Так плохо? — шепотом спросило оно. — Да не молчите же, скажите что-нибудь наконец!

С некоторым удивлением я был вынужден признать, что это дикое существо, по-видимому, любит своего дядю и боится за него. Я достал сигарету и сказал, закуривая:

— Нет, ваш дядя жив и здоров. Речь пойдет о другом.

— Но вы же сказали...

— Ничего я не говорил, вам приснилось. Вот что: быстро и немедленно говорите. Когда вы расстались с Олафом? Ну, живо!

— С каким Олафом? Чего вам от меня надо?

— Когда и где вы в последний раз видели Олафа?

Чадо помотало головой.

— Ничего не понимаю. При чем здесь Олаф? Что с дядей?

— Дядя спит. Дядя жив и здоров. Когда и где вы в последний раз виделись с Олафом?

— Да что вы затвердили одно и то же? — возмутилось чадо. Оно постепенно приходило в себя. — И чего вы вообще вперлись ко мне посреди ночи?

— Я вас спрашиваю...

— А мне на вас плевать! Убирайся отсюда, а то я дядю позову! Фараон чертов!

— Вы танцевали с Олафом, а потом ушли. Куда? Зачем?

— А вам-то что? Невесту приревновал?

— Хватит болтать, скверная девчонка! — гаркнул я. — Олаф убит! Я знаю, что ты — последняя, кто видел его живым! Когда это было? Где? Живо! Ну?

Наверное, я был страшен. Чадо отшатнулось и, словно защищаясь, вытянуло руки ладонями вперед.

— Нет! — прошептало оно. — Что вы? Что вы?..

— Отвечайте, — сказал я спокойно. — Вы вышли с ним из столовой и направились... Куда?

— Н-никуда... просто вышли в коридор...

— А потом?

Чадо молчало. Я не видел его глаз, и это было непривычно и неудобно.

— А потом? — повторил я.

— Позовите дядю, — сказало чадо твердо. — Я хочу, чтобы здесь был дядя.

— Дядя вам не поможет, — возразил я. — Вам поможет только одно — правда. Говорите правду.

Чадо молчало. Оно сидело, съежившись, на кровати под большим рукописным плакатом «Будем жестокими!» и молчало. Потом из-под черных очков по щекам потекли слезы.

— Слезы тоже не помогут, — сказал я холодно. — Говорите правду. Если вы будете лгать и изворачиваться, — я сунул руку в карман, — я надену на вас наручники и отправлю в Мюр. Там с вами будут говорить совсем уже посторонние люди. Дело идет об убийстве, вы понимаете это?

— Я понимаю... — едва слышно пролепетало чадо. — Я скажу...

— Правильное решение, — одобрил я. — Итак, вы с Олафом вышли в коридор. Что было дальше?

— Мы вышли в коридор... — повторило чадо механически. — А дальше... дальше... Я плохо помню, память у меня паршивая... Он что-то сказал, а я... Он что-то сказал и ушел, а я... это...

— Никуда не годится, — сказал я, покачав головой. — Попробуйте снова.

Чадо с хлюпаньем утерло нос и полезло рукой под подушку. За носовым платком.

— Ну? — сказал я.

— Это... это стыдно, — прошептало чадо. — И противно. А Олаф мертвый.

— Полиция, как и медицина, — наставительно произнес я, ощущая огромную неловкость, — не признает таких понятий, как «стыдно».

— Ну ладно, — сказало вдруг чадо, гордо вздернув голову. — Хрен с вами. Дело было так. Сначала шутки: жених или невеста, мальчик или девочка... ну, вроде как вы со мной обращались... Он тоже, наверное, принял меня неизвестно за что... А потом, когда мы вышли, он принялся меня лапать. Мне стало противно, и пришлось дать ему по морде... по лицу...

— Ну? — сказал я, не глядя на него.

— Ну, он обиделся, обругал меня и ушел. Может быть, я, конечно, зря, может, и не надо было давать волю рукам, но он тоже был хорош...

— Куда он ушел?

— Да откуда мне знать? Стану я смотреть, куда да зачем... Ушел по коридору... — Чадо махнуло рукой. — Не знаю куда.

— А вы?

— А я... А что — я? Все настроение пропало, противно, скукотища... Одно и оставалось — пойти к себе, запереться и напиться до чертиков...

— И вы напились? — спросил я, осторожно потягивая носом и исподволь оглядывая номер. Кавардак в номере был страшный, все было разбросано, все валялось кое-как, а стол был завален длинными полосами бумаги — лозунгами, как я понял. Вешать на дверях у полицейских чиновников... Спиртным действительно попахивало, а на полу у изголовья постели я заметил бутылку.

— Ну натурально, я же говорю вам!

Я наклонился и взял бутылку. Бутылка была основательно почата.

— Драть вас некому, молодой человек, — сказал я, ставя бутылку на стол, прямо на лозунг «Долой обобщения! Да здравствует мгновение!». — Вы потом все время сидели здесь?

— Да. А что делать? — Чадо по-прежнему, видимо по старой привычке, старательно избегало родовых окончаний.

— А когда вы легли спать?

— Не помню.

— Ну хорошо, предположим, — сказал я. — А теперь подробно опишите все ваши действия с того момента, как вы вышли из-за стола, и до

того момента, как вы с Олафом удалились в коридор.

— Подробно? — спросило чадо.

— Да, со всеми подробностями.

— Ладно, — согласилось чадо, показав мелкие, острые, до голубизны белые зубы. — Значит, доедаю я десерт. Тут подсаживается ко мне в дрезину бухой инспектор полиции и начинает мне вкручивать, как я ему нравлюсь и насчет немедленного обручения. При этом он то и дело пихает меня в плечо своей лапищей и приговаривает: «А ты иди, иди, я не с тобой, а с твоей сестрой...»

Я скушал эту тираду, не моргнув глазом. Надеюсь, лицо у меня было достаточно каменное.

— Тут, на мое счастье, — продолжало чадо злорадно, — подплывает Мозесиха и хищно тащит инспектора танцевать. Они пляшут, а я смотрю, и все это похоже на портовый кабак в Гамбурге. Потом он хватает Мозесиху пониже спины и волочет за портьеру, и это уже похоже на совсем другое заведение в Гамбурге. А я смотрю на эту портьеру, и ужасно мне этого инспектора жалко, потому что парень он, в общем, неплохой, просто пить не умеет, а старый Мозес тоже уже хищно поглядывает на ту же портьеру. Тогда я встаю и приглашаю Мозесиху на пляс, причем инспектор рад-радешенек — видно, что за портьерой он протрезвел...

— Кто в это время был в зале? — сухо спросил я.

— Все были. Олафа не было, Кайсы не было, а Симонэ наяривал в бильярд. С горя, что его инспектор отшил.

— Так, продолжайте, — сказал я.

— Ну, пляшу я с Мозесихой, она ко мне хищно прижимается — ей ведь все равно кто, лишь бы не Мозес, — и тут у нее что-то лопается в туалете. Ах, говорит она, пардон, у меня авария. Ну, мне плевать, она со своей аварией уплывает в коридор, а на меня набегает Олаф...

— Постойте, когда это было?

— Ну, знаете! Часы мне были ни к чему.

— Значит, госпожа Мозес вышла в коридор?

— Ну, я не знаю, в коридор, или к себе пошла, или в пустой номер — там рядом два пустых номера... Я же не знаю, какая у нее была авария, может быть, вы ей за портьерой весь корсет разнесли... Дальше рассказывать?

— Да.

— Пляшем мы с Олафом, он отсыпает мне разные комплименты — фигура, мол, осанка, мол, походка... а потом говорит: пойдемте, говорит, я вам что-то интересненькое покажу. А мне что? Пожалуйста, можно и

пойти... Тем более что в зале ничего интересненького я не вижу...

— А госпожу Мозес вы в зале видите в это время?

— Нет, она у себя в сухом доке, заделывает пробоины... Ну, выходим мы в коридор... а дальше вам уже рассказано.

— И госпожу Мозес вы больше не видели?

И тут произошла заминка. Крошечная такая заминочка, но я ее уловил.

— Н-нет, — сказало чадо. — Откуда? Мне было не до того. Только и оставалось — от тоски глушить водку.

Очень, очень мне мешали черные очки, и я твердо решил, что при втором допросе я эти очки сниму. Хотя бы и силой.

— Что вы делали днем на крыше? — спросил я резко.

— На какой еще крыше?

— На крыше отеля. — Я ткнул пальцем в потолок. — И не врите, я вас там видел.

— Идите-ка вы знаете куда? — ощетинилось чадо. — Что я вам — лунатик какой-нибудь по крышам бегать?

— Значит, это были не вы, — примирительно сказал я. — Ну, хорошо. Теперь насчет Хинкуса. Помните, такой маленький, вы его сначала спутали с Олафом...

— Ну, помню, — сказало чадо.

— Когда вы его видели в последний раз?

— В последний?.. В последний раз это было, пожалуй, в коридоре, когда мы с Олафом вышли из столовой.

Я так и подскочил.

— Когда? — спросил я.

Чадо встревожилось.

— А что такого? — спросило оно. — Ничего такого не было... Только это мы выскочили из зала, смотрю — Хинкус сворачивает на лестницу...

Я судорожно соображал. Они выскочили из столовой не раньше девяти часов, в девять они еще танцевали, их помнит дю Барнстокр. Но в восемь сорок три у Хинкуса раздавили часы, и, значит, в девять он уже лежал связанный под столом...

— Вы уверены, что это был Хинкус?

Чадо пожало плечами.

— Мне показалось, что Хинкус... Правда, он сразу свернул налево, на лестничную площадку... но все равно — Хинкус, кому же еще быть? С Кайсой или с Мозесихой его не спутаешь... да и ни с кем другим. Маленький такой, сутулый...

— Стоп! — сказал я. — Он был в шубе?

— Да... в этой своей дурацкой шубе до пят, и на ногах что-то белое... А что такое? — Чадо перешло на шепот. — Это он убил, да? Хинкус?

— Нет-нет, — сказал я. Неужели Хинкус врал? Неужели это все-таки инсценировка? Часы раздавили, переведя стрелки назад... а Хинкус сидел под столом и хихикал, а потом ловко разыграл меня и сейчас хихикает у себя в номере... а его сообщник хихикает где-то в другом месте. Я вскочил.

— Сидите здесь, — приказал я. — Не смейте выходить из номера. Имейте в виду, я с вами еще не закончил.

Я пошел к выходу, потом вернулся и забрал со стола бутылку.

— Это я конфискую. Мне не нужны пьяные свидетели.

— А можно, я пойду к дяде? — спросило чадо дрожащим голосом.

Я поколебался, потом махнул рукой.

— Идите. Может быть, он сумеет убедить вас, что надо говорить правду.

Выскочив в коридор, я свернул к номеру Хинкуса, отпер дверь и ворвался внутрь. Везде горел свет: в прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посредине комнаты валялся сломанный стул, и Хинкус сжимал в руках одну из ножек.

— Это вы? — сказал он хрипло и выпрямился.

— Да! — сказал я. Вид его и какое-то безумное выражение налитых кровью глаз снова поколебали мое убеждение, что он врет и притворяется. Нужно быть великим артистом, чтобы так играть свою роль. Но я все-таки сказал свирепо: — Мне надоело слушать вранье, Хинкус! Вы мне соврали! Вы сказали, что вас схватили в восемь сорок. Но вас видели в коридоре после девяти! Вы будете мне говорить правду или нет?

На его лице промелькнула растерянность.

— Меня? После девяти?

— Да! Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку.

— Я? — Он вдруг судорожно хихикнул. — Я шел по коридору? — Он снова хихикнул, и еще раз, и еще, и вдруг весь затрясся от визгливого истерического хохота. — Я?.. Меня?.. Вот то-то и оно, инспектор! Вот то-то и оно! — проговорил он, захлебываясь. — Меня видели в коридоре... и я тоже видел меня... И я схватил меня... и я связал меня... и я замуровал меня в стену! Я — меня... Понимаете, инспектор? Я — меня!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Спустившись в холл, я мрачно сказал хозяину:

— Там Хинкус совсем свихнулся. Есть у вас какое-нибудь успокаивающее посильнее?

— У меня всё есть, — ответил хозяин, нисколько не удивившись.

— Инъекцию сделать сумеете?

— Я всё умею.

— Вот и займитесь, — сказал я, протягивая ему ключ.

Голова у меня гудела. Было без пяти четыре. Я устал, осатанел и, главное, не испытывал никакого охотничьего азарта. Я слишком отчетливо понимал, что это дело мне не по плечу. Ни малейшего просвета, даже наоборот — чем дальше, тем хуже. Может быть, в отеле кто-то прячется, похожий на Хинкуса? Может быть, у Хинкуса действительно есть двойник — опасный гангстер, маньяк и садист? Это кое-что объяснило бы... убийство, страх Хинкуса, его истерику... Но зато тогда пришлось бы решить вопрос, как он сюда попал, где и как ему удается прятаться. У нас же здесь все-таки не Лувр и не Зимний дворец — у нас здесь «маленький уютный отель на двенадцать номеров; гарантируется полная приватность и совершенно домашний уют»... Ладно, займусь-ка я Мозесами.

Старик Мозес не пустил меня к себе в номер. Он вышел на стук в огромном восточном халате, с неизменной кружкой в руке и буквально выпер меня в коридор своим толстым брюхом.

— Вы намерены беседовать здесь? — устало спросил я.

— Да, намерен, — с вызовом ответил он, густо дохнув мне в лицо сложной и непонятной смесью запахов, — именно здесь. Полицейскому нечего делать в доме Мозеса.

— Тогда лучше пойдемте в контору, — предложил я.

— Н-ну... В контору... — Он отхлебнул из кружки. — В контору — еще куда ни шло. Хотя я не вижу, о чем нам с вами разговаривать. Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве — меня, Мозеса?

— Нет, — сказал я. — Упаси бог. Но ваши показания могут оказать неоценимую помощь следствию.

— Следствию! — Он презрительно фыркнул и снова отхлебнул из кружки. — Ну ладно, пойдемте... — Пока мы шли, он брюзжал: — Часы не могли найти, обыкновенные украденные часы, а туда же — убийство, следствие...

В конторе я усадил его в кресло, а сам сел за стол.

— Значит, ваши часы так и не нашлись? — спросил я.

Он негодующе воззрился на меня.

— А вы что, господин полицейский, надеялись, что они сами собой как-нибудь обнаружатся?

— Была у меня такая надежда, — признался я. — Но раз не обнаружились, ничего не поделаешь.

— Мне не нравится наша полиция, — заявил Мозес, пристально глядя на меня. — Мне не нравится этот отель. Какие-то убийства, какие-то обвалы... собаки, воры, шум среди ночи... Кого это вы поселили в моей комнате? Я же ясно сказал: весь коридор мой, за исключением каминной. Мне не нужна каминная. Как вы осмелились нарушить договор? Что это за бродяга расположился у меня в номере третьем?

— Он попал под обвал, — сказал я. — Он искалечен, обморожен. Было бы жестоко тащить его наверх.

— Но я вам заплатил за номер третий! Вы были обязаны спросить у меня разрешения!

Я не мог с ним спорить, у меня сил не было объяснять ему, что он с пьяных глаз перепутал меня с хозяином. Поэтому я просто сказал:

— Администрация отеля приносит вам свои извинения, господин Мозес, и обязуется завтра же восстановить статус-кво.

— Нищеброды! — прорычал господин Мозес и припал к кружке. — Но он, по крайней мере, приличный человек, этот бродяга из третьего номера? Или он тоже какой-нибудь вор?

— Это совершенно приличный человек, — успокоительно сказал я.

— Почему же в таком случае его сторожит этот ваш омерзительный пес?

— Это чистая случайность, — ответил я, закрывая глаза. — Завтра же все вернется в нормальное состояние, уверяю вас.

— Может быть, и покойник воскреснет? — ядовито осведомился паршивый старик. — Может быть, вы мне и это пообещаете? Я — Мозес, сударь! Альберт Мозес! Я не привык ко всем этим покойникам, собакам, божедомам, обвалам и нищебродам...

Я сидел с закрытыми глазами и ждал.

— Я не привык, чтобы к моей жене врывались среди ночи, — продолжал Мозес. — Я не привык проигрывать по триста крон за вечер каким-то заезжим фокусникам, выдающим себя за аристократов... Этот Барл... Бралд... Он же просто шулер! Мозес не садится за стол с шулерами! Мозес — это Мозес, сударь!..

Он еще долго бурчал, скворчал, брюзжал, шумно отхлебывая, рыгал и отдувался, и я на всю жизнь усвоил себе, что Мозес — это Мозес, что это Альберт Мозес, сударь, что он не привык к тому-то, тому-то и проклятому снегу по колено, а привык он к тому-то, тому-то и хвойным ваннам, сударь... Я сидел с закрытыми глазами и, чтобы отвлечься, старался представить себе, как он ложится спать, не выпуская из рук своей кружки, как он, храпя и посвистывая, бережно держит ее на весу и время от времени отхлебывает, не просыпаясь... Потом стало тихо.

— Вот так-то, инспектор, — сказал он нравоучительно и поднялся. — Запомните хорошенько то, что я вам сейчас сказал, и пусть это послужит вам уроком на всю жизнь. Это многому научит вас, сударь. Спокойной ночи.

— Одну минуточку, — сказал я. — Два пустяковых вопроса. — Он в негодовании открыл было рот, но я был начеку и не дал ему говорить. — Когда примерно вы покинули зал, господин Мозес?

— Примерно? — хрюкнул он. — И таким манером вы надеетесь раскрыть преступление? Примерно!.. Я могу дать вам самые точные сведения. Мозес ничего не делает примерно, иначе он бы не стал Мозесом... Может быть, вы все-таки разрешите мне сесть? — осведомился он ядовито.

— Да, простите, прошу вас.

— Благодарю вас, инспектор, — произнес он еще более ядовито и сел. — Так вот, я с госпожой Мозес, в номер которой вы столь неприличным образом ворвались нынешней ночью, не имея на то никакого права, да еще не один, да еще без стука, я уже не говорю об ордере или о чем-нибудь подобном, — я, естественно, не вправе ожидать от современной полиции соблюдения таких тонкостей закона, как бережное отношение к праву каждого честного человека пребывать в своем доме как в своей крепости, и в особенности, сударь, когда речь идет о супруге Мозеса, Альберта Мозеса, инспектор!..

— Да-да, это было опрометчиво, — сказал я. — Я приношу вам и госпоже Мозес самые искренние извинения.

— Я не могу принять ваши извинения, инспектор, до тех пор, пока не уясню себе с полной отчетливостью, что за человек поселен в номере третьем, принадлежащем мне, на каком основании он расположился в помещении, граничащем со спальней моей супруги, и почему его сторожит собака.

— Мы еще сами не уяснили себе с полной отчетливостью, кто этот человек, — сказал я, снова закрывая глаза. — Он потерпел аварию на

автомобиле, он — калека, без руки, сейчас спит. Как только будет выяснена его личность, мы вам немедленно доложим, господин Мозес. — Я открыл глаза. — А теперь вернемся к тому моменту, когда вы с госпожой Мозес покинули столовую. Когда это было точно?

Он поднес кружку к губам и грозно посмотрел на меня.

— Меня удовлетворили ваши объяснения, — заявил он. — Выражаю надежду, что вы сдержите ваше обещание и доложите немедленно. — Он отхлебнул. — Итак, мы с госпожой Мозес встали из-за стола и покинули зал примерно... — Он прищурился с большой язвительностью и повторил: — Примерно, инспектор, в двадцать один час тридцать три минуты с секундами по местному времени. Это вас удовлетворяет? Отлично. Переходите к вашему второму, и, я надеюсь, последнему вопросу.

— Мы еще не совсем покончили с первым, — возразил я. — Итак, вы вышли из зала в двадцать один тридцать три. А дальше?

— Что дальше? — злобно спросил Мозес. — Что вы хотите этим сказать, молодой человек? Уж не хотите ли вы узнать, чем я занимался, когда вернулся в свой номер?

— Следствие было бы благодарно вам, сударь, — сказал я с чувством.

— Следствие? Мне нет дела до благодарности вашего следствия! Впрочем, мне нечего скрывать. Вернувшись в свой номер, я немедленно разделся и лег спать. И спал до тех пор, пока не поднялся этот отвратительный шум и возня в принадлежащем мне третьем номере. Только природная сдержанность и сознание того, что я — Мозес, не позволили мне нагрянуть немедленно и разогнать весь этот сброд с полицией во главе. Но имейте в виду, сдержанность моя имеет пределы, никаким бездельникам я не позволю...

— Да-да, и будете совершенно правы, — поспешно сказал я. — Еще один, последний вопрос, господин Мозес.

— Последний! — сказал он, угрожающе потрясая указательным пальцем.

— Не заметили ли вы, в какое примерно время госпожа Мозес покидала столовую?

Наступила жуткая пауза. Мозес, наливаясь синевой, глядел на меня вытаращенными мутными глазами.

— Кажется, вы осмеливаетесь предположить, что супруга Мозеса причастна к убийству? — сдавленным голосом произнес он. Я отчаянно замотал головой, но это не помогло. — И вы, кажется, осмеливаетесь рассчитывать на то, что Мозес в этой ситуации будет давать вам какие бы то ни было показания? Или вы, быть может, полагаете, что имеете дело не с

Мозесом, сударь? Может быть, вы позволили себе вообразить, будто имеете дело с каким-нибудь одноруким бродягой, укравшим у меня драгоценные золотые часы? Или, быть может...

Я закрыл глаза. На протяжении последующих пяти минут я услыхал массу самых чудовищных предположений относительно своих намерений и своих замыслов, направленных против чести, достоинства, имущества, а также физической безопасности Мозеса, сударь, не какого-нибудь мерзкого пса, служащего очевидным рассадником блох, а Мозеса, Альберта Мозеса, сударь, вы способны понять это или нет?.. К концу этой речи я уже не надеялся получить сколько-нибудь вразумительный ответ. Я только с отчаянием думал, что уж до госпожи Мозес мне теперь не добраться никогда. Но получилось иначе. Мозес вдруг остановился, подождал, пока я открою глаза, и произнес с невыразимым презрением:

— Впрочем, это смешно — приписывать такой обыкновенной личности столь хитроумные замыслы. Смешно и недостойно Мозеса. Конечно, мы имеем здесь дело с элементарной чиновничье-полицейской бестактностью, обусловленной низким уровнем культурного и умственного развития. Я принимаю ваши извинения, сударь, и честь имею откланяться. Мало того. Взвесив все обстоятельства... Я же понимаю, что у вас недостанет благородства оставить в покое мою жену и избавить ее от ваших нелепых вопросов. Поэтому я разрешаю вам задать эти вопросы — не больше двух вопросов, сударь! — в моем присутствии. Немедленно. Следуйте за мной.

Внутренне ликуя, я последовал за ним. Он постучался в дверь госпожи Мозес и, когда она откликнулась, скрипуче проворковал:

— К вам можно, дорогая? Я не один...

К дорогой было можно. Дорогая в прежней позе возлежала под торшером, теперь уже полностью одетая. Она встретила нас своей чарующей улыбкой. Старый хрыч подсеменил к ней и поцеловал ей руку — тут я почему-то вспомнил, что он, по словам хозяина, лупит ее плеткой.

— Это инспектор, дорогая, — проскрипел Мозес, валясь в кресло. — Вы помните инспектора?

— Ну как я могла забыть нашего милого господина Глебски? — откликнулась красавица. — Садитесь, инспектор, сделайте одолжение. Чудная ночь, не правда ли? Столько поэзии!.. Луна...

Я сел на стул.

— Инспектор делает нам честь, дорогая, — объявил Мозес, — подозревая нас с вами в убийстве этого Олафа. Вы помните Олафа? Так вот, его убили.

— Да, я уже слыхала об этом, — сказала госпожа Мозес. — Это ужасно. Милый Глебски, неужели вы действительно подозреваете нас в этом кошмарном злодеянии?

Мне все это надоело. Хватит, подумал я. К чертовой матери.

— Сударыня, — сказал я сухо. — Следствием установлено, что вчера примерно в половине девятого вечера вы покидали столовую. Вы, конечно, подтверждаете это?

Старик негодующе заворочался в кресле, но госпожа Мозес опередила его.

— Ну разумеется, подтверждаю, — сказала она. — С какой стати я буду это отрицать? Мне понадобилось отлучиться, и я отлучилась.

— Насколько я понимаю, — продолжал я, — вы спустились сюда, в ваш номер, а в начале десятого вновь вернулись в столовую. Это так?

— Да, конечно. Правда, я не совсем уверена относительно времени, я не смотрела на часы... Но скорее всего, это было именно так.

— Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, сударыня, видели ли вы кого-нибудь на пути из столовой и обратно в столовую.

— Да... кажется... — сказала госпожа Мозес. Она наморщила лобик, и я весь так и напрягся. — Ну конечно! — воскликнула она. — Когда я уже возвращалась, я увидела в коридоре парочку...

— Где? — быстро спросил я.

— Ну... сразу налево от лестничной площадки. Это был наш бедный Олаф и это забавное существо... я не знаю, юноша или девушка... Кто он, Мозес?

— Минуточку, — сказал я. — Вы уверены, что они стояли слева от лестничной площадки?

— Совершенно уверена. Они стояли, держась за руки, и очень мило ворковали. Я, конечно, сделала вид, будто ничего не заметила...

Вот она, заминочка Брюн, подумал я. Чадо вспомнило, что их могли видеть перед номером Олафа, и не успело ничего сообразить, а потом принялось врать в надежде, что как-нибудь да пронесет.

— Я — женщина, инспектор, — продолжала госпожа Мозес, — и я никогда не вмешиваюсь в дела окружающих. При других обстоятельствах вы бы не услышали от меня ни слова, но сейчас, мне кажется, я обязана быть вполне откровенной... Не правда ли, Мозес?

Мозес из своего кресла пробурчал что-то неопределенное.

— И еще, — продолжала госпожа Мозес. — Но это уже, наверное, не имеет особенного значения... Когда я спускалась по лестнице, мне повстречался этот маленький несчастный человек...

— Хинкус, — просипел я и откашлялся. У меня что-то застряло в горле.

— Да, Финкус... его, кажется, так зовут... Вы знаете, инспектор, ведь у него туберкулез. А ведь никогда не подумаешь, правда?

— Прошу прощения, — сказал я. — Когда вы встретили его, он поднимался по лестнице из холла?

— Даже полицейскому должно быть ясно, — раздраженно прорычал Мозес. — Моя жена ясно сказала вам, что она встретила этого Фикуса, когда спускалась по лестнице. Следовательно, он поднимался ей навстречу...

— Не сердитесь, Мозес, — ласково произнесла госпожа Мозес. — Инспектор просто интересуется деталями. Наверное, это ему важно... Да, инспектор, он поднимался мне навстречу и, по-видимому, именно из холла. Он шел не спеша и, кажется, глубоко задумавшись, потому что не обратил на меня никакого внимания. Мы разминулись и пошли каждый своей дорогой.

— Как он был одет?

— Ужасно! Какая-то кошмарная шуба... как это называется... овчина! От него даже, простите, пахло... мокрой шерстью, псиной... Не знаю, как вы, инспектор, но я думаю: если у человека нет средств прилично одеваться, ему следует сидеть дома и изыскивать эти средства, а не выезжать в места, где бывает приличное общество.

— Я бы многим здесь посоветовал, — прорычал Мозес поверх кружки, — сидеть дома и не выезжать в места, где бывает приличное общество. Ну что, инспектор, вы наконец закончили?

— Нет, не совсем, — проговорил я медленно. — Еще один вопрос... Вернувшись к себе после окончания бала, вы, сударыня, наверное, легли спать и крепко заснули?

— Крепко заснула?.. Да как вам сказать... Так, подремала немножко, я чувствовала себя возбужденной — вероятно, выпила немного больше, чем следовало...

— Но, вероятно, вас что-то разбудило? — сказал я. — Ведь когда я позже так неловко ворвался в ваш номер — я приношу вам глубочайшие извинения, — вы не спали...

— Ах, вот вы о чем... Не спала... Да, действительно не спала, но я не могу сказать, инспектор, чтобы меня что-то разбудило. Просто я чувствовала, что сегодня мне как следует не заснуть, и решила почитать немного. И вот, как видите, читаю до сих пор... Впрочем, если вы хотели узнать, слышала ли я ночью какой-нибудь подозрительный шум, то я могу

твердо сказать: нет, не слышала.

— Никакого шума? — удивился я.

Она посмотрела на Мозеса с какой-то, как мне показалось, растерянностью. Я не спускал с нее глаз.

— По-моему, никакого, — сказала она неуверенно. — А вы, Мозес?

— Абсолютно никакого, — решительно сказал Мозес. — Если не считать отвратительной возни, поднятой этими господами вокруг нищеброда...

— И никто из вас не слышал даже шума обвала? Не ощутил сотрясения?

— Какого обвала? — удивилась госпожа Мозес.

— Не волнуйтесь, дорогая, — сказал Мозес. — Ничего страшного. Неподалеку в горах случился обвал, я расскажу вам об этом после... Ну что, инспектор? Теперь уже, может быть, достаточно?

— Да, — сказал я. — Теперь достаточно. — Я встал. — Еще один, самый последний вопрос.

Господин Мозес зарычал — совсем как рассерженный Лель, — но госпожа Мозес благосклонно кивнула.

— Пожалуйста, инспектор.

— Сегодня днем, незадолго до обеда, вы поднимались на крышу, госпожа Мозес...

Она рассмеялась и перебила меня:

— Нет, я не поднималась на крышу. Я поднималась из холла на второй этаж и по рассеянности, в задумчивости, пошла дальше по этой ужасной чердачной лестнице. Я почувствовала себя очень глупо, когда увидела вдруг перед собой дверь, какие-то доски... я даже не сразу поняла, куда я попала...

Мне очень хотелось спросить ее, зачем это она поднималась на второй этаж. Я представления не имел, что ей могло понадобиться на втором этаже, хотя и можно было предположить, что речь шла об амурах с Симонэ, в которые я случайно вмешался. Но тут я посмотрел на старика, и все это вылетело у меня из головы. Потому что на коленях у Мозеса лежала плетка — мрачный черный арапник с толстой рукояткой и с многочисленными витыми хвостами, в которых поблескивал металл. Я ужаснулся и отвел глаза.

— Благодарю вас, сударыня, — пробормотал я. — Вы оказали большую помощь следствию, сударыня.

Чувствуя себя безнадежно усталым, я дотащился до холла и присел отдохнуть рядом с хозяином. Жуткое видение арапника все еще стояло у

меня перед глазами, и, помотав головой, я с трудом отогнал его. Это не мое дело. Это дело семейное, меня это не касается... Глаза у меня резало, как от песка. Наверное, мне следовало бы поспать — хотя бы часа два. Мне предстояло еще допросить незнакомца, и вторично допросить чадо, и вторично допросить Кайсу, для всего этого мне понадобятся силы, и поэтому мне надо поспать. Но я чувствовал, что мне сейчас не заснуть. По отелю бродят двойники Хинкуса. Чадо дю Барнстокра врет. Да и с госпожой Мозес тоже не все ладно. Либо она спала мертвым сном, и тогда непонятно, почему она проснулась и почему врет, что почти не спала. Либо она не спала, и тогда непонятно, почему она не слышала ни обвала, ни возни в соседней комнате. И совсем непонятно, что все-таки произошло с Симонэ... Слишком много сумасшедших в этом деле, подумал я вяло. Сумасшедших, пьяных и дур... И вообще я, наверное, действую неправильно. Как бы поступил на моем месте Згут? Он немедленно отобрал бы всех, у кого хватит силы свернуть шею двухметровому викингу, и работал бы только с ними. А я вожусь с этим слабосильным чадом, с плюгавым шизофреником Хинкусом, со старым алкоголиком Мозесом... Да и не в этом дело. Ну, найду я убийцу. А дальше? Это же типичный случай убийства в закрытой комнате. Мне сроду не доказать, как убийца туда вошел и как он оттуда вышел... Эх, беда. Кофе, что ли, выпить?

Я посмотрел на хозяина. Хозяин прилежно нажимал клавиши арифмометра и что-то записывал в счетоводную книгу.

— Послушайте, Алек, — сказал я. — Может в вашем отеле укрыться, оставаясь незамеченным, двойник Хинкуса?

Хозяин поднял голову и посмотрел на меня.

— Именно двойник Хинкуса? — деловито спросил он. — Не кто-нибудь еще?

— Да. Именно двойник Хинкуса, Алек. В вашем отеле живет двойник Хинкуса. Он не платит за постой, Алек. Он, должно быть, ворует продукты, подумайте об этом, Алек!

Хозяин подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Ничего такого я не заметил. Я чувствую только одно, Петер. Вы заблуждаетесь. Вы идете по самому естественному пути, и именно поэтому вы заблуждаетесь особенно сильно. Вы исследуете алиби, вы собираете улики, вы ищете мотивы. А мне кажется, что в этом деле обычные понятия вашего искусства теряют свой смысл, как понятие времени при сверхсветовых скоростях...

— Это и есть ваше ощущение? — горько спросил я.

— Что вы имеете в виду?

— Да всю эту вашу философию насчет алиби при сверхсветовых скоростях. У меня голова пухнет, а вы черт знает что городите. Принесите уж лучше кофе.

Хозяин встал.

— Вы все-таки еще не созрели, Петер, — сказал он. — А я жду, когда вы наконец созреете.

— Зачем это вам надо? Я уже перезрел, я скоро упаду.

— Не упадете! — успокоил меня хозяин. — И вы еще далеко не созрели. А вот когда вы созреете, когда я увижу, что вы готовы, тогда я вам кое-что расскажу.

— Расскажите сейчас, — вяло попросил я.

— Сейчас рассказывать бессмысленно. Вы отмахнетесь и забудете. А я хочу дождаться момента, когда мои слова покажутся вам единственным ключом к пониманию всего этого дела.

— Господи, — пробормотал я. — Могу себе представить, что это за слова!

Хозяин снисходительно улыбнулся и направился к кухне. На пороге он остановился и предложил:

— А хотите, я сейчас расскажу вам, что именно почудилось нашему великому физику?

— Ну, попробуйте, — сказал я.

— Наш великий физик залез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен. Куклу, Петер, холодную куклу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Он стоял на пороге и, ухмыляясь, глядел на меня.

— Ну-ка, подите сюда, — сказал я. — Рассказывайте.

— А кофе?

— Черт с ним, с кофе! Я же вижу, что вы что-то знаете. Не морочьте мне голову, выкладывайте все как есть.

Он вернулся к столику, но садиться не стал.

— Я не знаю, как все есть, — сказал он. — Я могу только кое-что предполагать.

— Откуда вы знаете, что обнаружил Симонэ?

— Ага, значит, я угадал... — Он сел и удобно развалился. — Впрочем, это и так было ясно по вашему обалделому виду, Петер. Согласитесь, это вышло у меня довольно эффектно...

— Слушайте, Алек, — сказал я. — Я не стану скрывать: вы мне нравитесь.

— Вы мне тоже, — сказал он.

— Заткнитесь. Вы мне нравитесь. Но это еще ничего не значит. Я не подозреваю вас, Алек. У меня, к сожалению, нет никаких оснований вас подозревать. Но в этом отношении вы ничем не отличаетесь от остальных... Я никого не подозреваю. А мне надо, мне уже пора кого-то подозревать.

— Не давайте себе воли! — сказал хозяин, подняв толстый палец.

— Я вам сказал: заткнитесь. Так вот, если вы будете морочить мне голову, то я начну вас подозревать. У вас будут неприятности, Алек. Я очень неопытен в такого рода делах, и потому у вас могут быть очень большие неприятности. Вы представить себе не можете, сколько неприятностей может причинить доброму гражданину неопытный полицейский.

— Ну, раз так, — сказал он, — тогда конечно. Значит, откуда я знаю, что увидел господин Симонэ в спальне госпожи Мозес...

— Да, — сказал я. — Откуда?

Он сидел в своем кресле, широкий, кряжистый, жовиальный, невыносимо довольный собой.

— Значит, так. Начнем с теории. Колдуны и знахари некоторых малоисследованных племен Центральной Африки издревле владеют искусством возвращать видимость жизни своим умершим соплеменникам...

Я застонал, и хозяин повысил голос:

— Такое явление реального мира — мертвый человек, имеющий внешность живого и совершающий, на первый взгляд, вполне осмысленные и самостоятельные действия, — носит название зомби. Строго говоря, зомби не есть мертвец. Можно сказать, что зомби — это третье состояние живого организма. А если использовать терминологию современной науки, то зомби функционально представляет собой очень точный биологический механизм, выполняющий...

— Слушайте, Алек, — утомленно сказал я. — Я смотрю телевизор и время от времени хожу в кино. Все эти чудовища Франкенштейна, Серые Девы, Джоны Кровавые Пузыри, Дракулы...

— Все это порождения невежественного воображения, — с достоинством возразил хозяин. — А Дракула — это вообще...

— Мне все это неинтересно. Я понимаю: вы репетируете свою речь перед газетчиками. Но мне-то все это неинтересно! Вы обещали рассказать что-то насчет госпожи Мозес и Симонэ. Вот и рассказывайте! Вы что, тоже залезали к ней в постель? И тоже претерпели, мягко выражаясь, разочарование?

Некоторое время он грустно смотрел на меня.

— Да, — сказал он наконец с сожалением. — Так я и думал. Вы еще не созрели... Ну, хорошо. — Он вздохнул. — Пусть будут факты без теории. Шесть дней тому назад, когда мой отель осчастливили посещением господин и госпожа Мозес, со мною имело место следующее происшествие. Произведя все необходимые отметки в паспортах указанных господ, я отправился в номер господина Мозеса с целью вернуть ему эти паспорта. Я постучался. Я был несколько рассеян и потому, не дожидаясь разрешения, отворил дверь. Я был немедленно наказан за нарушение элементарных норм приличия. Я увидел в кресле посередине комнаты то, что при желании можно было бы назвать госпожой Мозес. Но это не была госпожа Мозес. Это была большая, в натуральную величину, красивая кукла, очень похожая на госпожу Мозес и одетая в точности как она. Сейчас вы спросите меня, почему я уверен, что это была кукла, а не госпожа Мозес. В ответ я мог бы перечислить вам некие конкретности: неестественность позы, остекленелый взгляд, абсолютная неподвижность черт и так далее. Но в этом, по-моему, нет никакой необходимости. Всякий нормальный человек, как мне кажется, способен в течение нескольких секунд сообразить, что перед ним: манекенщица или манекен. Эти несколько секунд у меня были. А затем я был грубо схвачен за плечо и выдворен в коридор. Это грубое, но вполне оправданное действие произвел надо мною господин Мозес, который в это время, по-видимому, осматривал

апартаменты своей супруги и набросился на меня сзади...

— Кукла... — сказал я задумчиво.

— Зомби, — мягко поправил меня хозяин.

— Кукла... — повторил я, не обращая на него внимания. — Какой у него багаж?

— Несколько обычных чемоданов, — сказал хозяин. — И гигантский, окованный железом, старинный дорожный сундук. Он привез с собой четверых носильщиков, и бедняги измучились, затаскивая сундук в дом. Разворотили мне весь косяк...

— Ну что ж, — сказал я, подумав. — В конце концов, это его личное дело. Я слыхал о миллионере, который повсюду таскал за собой свою коллекцию ночных горшков... Если человеку нравится иметь манекен своей супруги в натуральную величину... что ж, денег у него много, делать ему явно нечего... Между прочим, вполне возможно, что он заметил поползновения нашего Симонэ, понял все и подсунул ему вместо жены эту самую куклу... Черт побери, может быть, он возит с собой эту куклу именно для таких вот случаев! Судя по поведению госпожи Мозес... — Я представил себя на месте Симонэ и содрогнулся. — Ей-богу, славная шутка, — сказал я.

— Ну вот вы все и объяснили, — сказал хозяин негромко.

Тон его мне не понравился. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Он все еще был мне симпатичен. Но черт его побери, зачем ему это нужно — забивать мне мозги всей этой африканской чепухой? Я же все-таки не репортер, и рекламе этого заведения в ущерб собственной репутации я способствовать не намерен... Нет, хватит с меня. Больше я с господином Алеком Сневаром на эти темы не разговариваю. Если у него и есть цель сбить меня с толку, это ему не удастся. Он только ухудшит свое собственное положение. Ему не следовало бы обращать на себя слишком много моего внимания...

— Вот что, — сказал я. — Вы мне мешаете, Алек. Сидите здесь, а я, пожалуй, пойду в каминную. Я должен хорошенько подумать.

— Уже без четверти пять, — напомнил хозяин.

— Ну и что? Спать сегодня все равно не придется. Имейте в виду, Алек, у меня вовсе нет впечатления, будто события закончились. Поэтому оставайтесь здесь в холле и будьте наготове.

— Ну что ж, надо — значит надо, — сказал хозяин.

Я прошел в каминную (Лель опять поворчал на меня), взял кочергу и принялся мешать тлеющие угли. Итак, происшествие с Симонэ более или менее объяснилось, и его можно выкинуть из головы. Или наоборот, нельзя

выкидывать ни в коем случае, потому что если в одиннадцать часов вечера в номере госпожи Мозес была кукла, то где была сама госпожа Мозес? Шутка, конечно, на славу... но есть в ней что-то чрезмерно громоздкое... Шутка ли? Может быть, попытка устроить алиби?.. Да нет, какое, к черту, алиби — ночь, темно, установить это алиби можно только на ощупь, а на ощупь получается не алиби, а шутка. Возможно, расчет был на то, что у бедняги Симонэ сдадут нервы, что он в ужасе заорет, поднимет всех на ноги, начнется скандал, тарарам, переполох... а что дальше? И главное, при чем здесь кукла? Все это можно было устроить без всякой куклы... Собственно, что меня здесь смущает? Только одно: комната Симонэ находится рядом с комнатой Олафа. Можно предположить, например, следующее: Мозесам нужно было, чтобы комната Симонэ, начиная с одиннадцати часов и в течение некоторого времени, была пуста. Вот что меня смущает. Но чтобы отвлечь господина Симонэ, совсем не нужна кукла. Конечно, рассуждая гипотетически, кукла могла бы повергнуть Симонэ в глубокий и долгий обморок, но чтобы отвлечь Симонэ, достаточно было самой госпожи Мозес. Это был бы самый естественный и надежный способ отвлечь. И раз прибегают к такому неестественному и ненадежному способу, как кукла, значит, надо было, чтобы госпожа Мозес находилась где-то в другом месте. Госпожа Мозес... хрупкая, изнеженная, до кретинизма светская госпожа Мозес... Нет, все это никуда меня не ведет. Окончательно выбрасывать из головы славную шутку не стоит, но и пользы от этой истории пока не видно...

То есть на редкость мерзкая ситуация: все нити никуда не ведут. Во-первых, нет ни одного подозреваемого. Во-вторых, абсолютно непонятно, как произошло преступление. Непонятно самое главное. Бог с ним, с убийцей! Объясните мне, как он убил! Как? Окно открыто, но никаких следов на подоконнике, никаких следов на снегу, на карнизе. Ни снизу, ни справа, ни слева к окну подобраться нельзя. Остается одно — сверху. С крыши по веревке. Но тогда были бы следы на краю крыши. Можно, конечно, сходить и посмотреть снова, но я точно помню: снег разрыт только рядом с шезлонгом Хинкуса. Теперь уже ничего больше не остается, кроме Карлсона с пропеллером в заднице. Влетел, свернул соотечественнику шею и вылетел... Так что в запасе у меня только два паршивеньких предположеньица. Первое — это всякие потайные люки, замаскированные дверцы и двойные стены. А второе — какой-то гений изобрел новое техническое приспособление, позволяющее поворачивать ключ снаружи, не оставляя на нем никаких следов...

Оба предположения указывают, между прочим, прямо на владельца

дома и механика-изобретателя. Так. Ну-с, а как выглядит у нас алиби этого человека? До половины десятого он безвылазно сидит за карточным столом. Начиная примерно с без пяти десять и до момента обнаружения трупа он фактически либо у меня на глазах, либо где-то в пределах слышимости. У него остается на убийство примерно двадцать — двадцать пять минут, когда его не видит никто либо видит только Кайса, которой он, по его словам, задает трепку. Таким образом, теоретически он может быть убийцей, если знает потайной ход или владеет средством поворачивать ключ снаружи, не оставляя следов... Непонятны мотивы (не для рекламы же!), психологически совершенно неоправданно всё его поведение, но, повторяю, теоретически он мог убить. Запомним это и пойдем дальше.

Дю Барнстокр. Алиби не имеет. Но он хилый старик, у него просто не хватит сил свернуть человеку шею... Симонэ. Алиби не имеет. Шею свернуть мог бы — парень крепкий, к тому же слегка не в себе. Непонятно, как попал в комнату к Олафу. А если попал, то непонятно, как оттуда ушел. Теоретически, конечно, мог случайно обнаружить пресловутую потайную дверь. Непонятны мотивы, непонятно все поведение после убийства. Ничего не понятно. Хинкус... Двойник Хинкуса... Хорошо бы выпить еще кофе. Хорошо бы плюнуть на все и завалиться спать...

Брюн. Да, это единственная ниточка, которая пока не оборвалась. Этот ребенок мне солгал. Ребенок видел госпожу Мозес, но сказал, что не видел. Ребенок любезничал с Олафом у дверей его номера, но сказал, что дал ему пощечину у дверей столовой... И тут я вдруг вспомнил. Я сидел вот здесь, в этом кресле. Пол дрогнул, послышался гул обвала. Я посмотрел на часы, было две минуты одиннадцатого, и тут наверху громко хлопнула дверь. Именно наверху. Кто-то с силой захлопнул дверь. Кто? Симонэ в это время брился. Дю Барнстокр спал и, возможно, проснулся именно от этого стука. Хинкус лежал связанный под столом. Хозяин и Кайса были в кухне. Мозесы были у себя. Значит, дверью могли хлопнуть либо Олаф, либо Брюн, либо убийца. Например, двойник Хинкуса... Я бросил кочергу и побежал наверх.

Номер чада был пуст, и я постучался к дю Барнстокру. Чадо, подперев кулаками щеки, уныло сидело за столом. Дю Барнстокр, закутавшись в шотландский плед, клевал носом в кресле у окна. Оба они так и вскинулись, когда я вошел.

— Снимите очки! — резко приказал я чаду, и чадо немедленно повиновалось.

Да, это была девушка. И прехорошенькая, хотя глаза у нее опухли и покраснели от слез. Подавив вздох облегчения, я сел напротив и сказал:

— Вот что, Брюн. Перестаньте запираться. Лично вам ничего не грозит. Я не считаю вас убийцей, так что можете не врать. В девять часов десять минут госпожа Мозес видела вас с Олафом здесь... в коридоре, у дверей его номера. Вы сказали мне неправду. Вы расстались с Олафом не у дверей столовой. Где вы с ним расстались? Где, когда и при каких обстоятельствах?

Некоторое время она смотрела на меня, губы ее дрожали, покрасневшие глаза снова наполнились слезами. Потом она закрыла лицо ладонями.

— Мы были у него в номере, — сказала она.

Дю Барнстокр жалобно застонал.

— Нечего стонать, дядя! — сказала Брюн, немедленно рассвирепев. — Ничего непоправимого не произошло. Мы целовались, и было довольно весело, только холодно, потому что у него все время было открыто окно. Я не помню, сколько времени все это продолжалось. Помню, он вытащил из кармана что-то вроде ожерелья, какие-то бусы, и все хотел надеть мне на шею, но тут раздался грохот, и я сказала: «Слушайте — лавина!» И он вдруг отпустил меня и схватился за голову, как будто что-то вспомнил... Знаете, как люди хватаются за голову, когда что-то вспоминают, что-то важное... Это длилось буквально несколько секунд. Он бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выкинул в коридор. Я чуть не грохнулась, а он сразу же с силой захлопнул за мной дверь. При этом он ничего не говорил, только выругался шепотом, и еще я помню, как он повернул ключ в замке. Больше я его не видела. Я дико разозлилась, потому что он поступил по-хамски, да еще обругал меня, и поэтому я сразу пошла к себе и напилась...

Дю Барнстокр снова застонал.

— Так, — сказал я. — Он схватился за голову, словно что-то вспомнил, и кинулся к окну... Может быть, его кто-нибудь позвал?

Брюн затрясла головой.

— Нет. Я ничего не слышала, только шум обвала.

— И ушли вы сразу же? Не задерживались у дверей ни на секунду?

— Сразу же. Я дико разозлилась.

— Хорошо. А как развивались действия после того, как вы с ним вышли из столовой? Повторите снова.

— Он сказал, что хочет мне что-то показать, — заговорила она, нагнув голову. — Мы вышли в коридор, и он потянул меня к себе в номер. Я, конечно, сопротивлялась... ну, в общем, мы дурачились. Потом, когда мы уже стояли у его дверей...

— Стоп. В прошлый раз вы сказали, что видели Хинкуса.

— Да, видели. Сразу, как только мы вышли в коридор. Он как раз в этот момент сворачивал из коридора на лестницу.

— Так. Продолжайте.

— Когда мы уже стояли у дверей Олафа, появилась эта Мозесиха. Она, конечно, сделала вид, что нас не заметила, но мне стало неловко... Противно, когда шляются вокруг и пялят на тебя глаза. Н-ну... и мы зашли в номер к Олафу.

— Понятно. — Я покосился на Барнстокра. Старик сидел, возведя очи горе. Так ему и надо. Вечно эти дядюшки воображают, будто у них под крылышком произрастают ангелочки. А эти ангелочки тем временем векселя подделывают. — Ну, ладно. Вы что-нибудь пили у Олафа?

— Я?

— Меня интересует, что пил Олаф.

— Ничего. Мы не пили — ни он, ни я.

— Теперь так... гм... Вы не заметили... м-м... Вы не заметили какого-нибудь странного запаха?

— Нет. Там был очень чистый, свежий воздух.

— Я не о комнате. Черт возьми, когда вы целовались, вы не заметили чего-нибудь странного? Странного запаха, я имею в виду...

— Ничего я такого не заметила, — сказала Брюн сердито.

Некоторое время я пытался поделикатнее сформулировать следующий вопрос, потом отчаялся и спросил напрямик:

— Есть предположение, что Олафа перед убийством отравили медленно действующим ядом. Вы не заметили ничего такого, что подтверждало бы это предположение?

— А что такого я могла заметить?

— Обычно заметно, когда человек плохо себя чувствует, — пояснил я. — Особенно это заметно, если на ваших глазах он чувствует себя все хуже и хуже.

— Ничего такого не было, — решительно сказала Брюн. — Он чувствовал себя прекрасно.

— Свет вы не зажигали?

— Нет.

— А из того, что он говорил, вы не помните ничего странного?

— Я вообще ничего не помню, что он там говорил, — ответила Брюн тихо. — Это был обычный треп. Шуточки, остроты, хохмы... Про мотоциклы мы с ним говорили, про лыжи. По-моему, он был хороший механик. Во всех двигателях разбирался...

— И он не показал вам ничего интересного? Он ведь собирался вам что-то показать...

— Да нет, конечно. Вы что — не понимаете? Это было просто так сказано... ну, для трепа...

— Когда случился обвал, вы сидели или стояли?

— Стояли.

— Где?

— У самых дверей. Мне уже надоело, и я собиралась уходить. И тут он стал напяливать на меня это ожерелье...

— А вы уверены, что он кинулся от вас именно к окну?

— Н-ну, как вам сказать... Он схватился за голову, повернулся ко мне спиной, сделал шаг или два к окну... в сторону окна... ну, я не знаю, как вам еще сказать, может быть не к окну, конечно, но я просто ничего в комнате больше не видела, кроме окна...

— Вам не кажется, что, кроме вас, в комнате мог быть кто-нибудь еще? Может быть, вы сейчас вспомните какие-нибудь шорохи, странные звуки, на которые тогда не обратили внимания...

Она задумалась.

— Да нет, было тихо... Какой-то небольшой шум слышался, но за стеной. Олаф еще сострил, что это Симонэ у себя в номере бродит по стенам... А больше ничего не было.

— А шум действительно доносился от Симонэ?

— Да, — уверенно сказала Брюн. — Мы тогда уже стояли, и шум шел слева. Ну, самый обычный шум. Шаги, вода из крана...

— Олаф при вас передвигал какую-нибудь мебель?

— Мебель?.. А, да, было. Это он заявил, что не выпустит меня, и придвинул к двери кресло... Ну, потом, конечно, отодвинул.

Я встал.

— На сегодня — всё, — сказал я. — Ложитесь спать. Больше я вас сегодня не буду беспокоить.

Дю Барнстокр тоже поднялся и двинулся ко мне с протянутыми руками.

— Дорогой инспектор! Вы, конечно, понимаете, что я и понятия не имел...

— Да, дю Барнстокр, — сказал я. — Дети растут, дю Барнстокр. Все дети. В том числе и дети покойников. Впредь никогда не позволяйте ей носить черные очки, дю Барнстокр. Глаза — это зеркало души.

Я оставил их поразмыслить над этими сокровищами полицейской мудрости, а сам спустился в холл.

— Вы реабилитированы, Алек, — объявил я хозяину.

— А разве я был осужден? — удивился он, поднимая глаза от арифмометра.

— Я хочу сказать, что снимаю с вас все подозрения. Теперь у вас стопроцентное алиби. Но не воображайте, что это дает вам право опять забивать мне голову зомбизмом-момбизмом... Не перебивайте меня. Сейчас вы останетесь здесь и будете сидеть, пока я не разрешу вам встать. Имейте в виду, что с этим одноруким парнем первым должен говорить я.

— А если он проснется раньше вас?

— Я не собираюсь спать, — сказал я. — Я хочу обыскать дом. Если этот бедняга проснется и позовет кого-нибудь, даже маму, немедленно пошлите за мной.

— Слушаюсь, — сказал хозяин. — Один вопрос. Распорядок дня в отеле остается прежним?

Я подумал.

— Да, пожалуй. В девять часов завтрак. А там видно будет... Кстати, Алек, когда, по-вашему, можно ожидать здесь кого-нибудь из Мюра?

— Трудно сказать. Раскапывать завал они, может быть, начнут даже завтра. Я помню примеры такой оперативности... Но в то же время они прекрасно знают, что нам здесь ничего не грозит... Возможно, дня через два прилетит на вертолете Цвирик, наш горный инспектор... если у него в других местах все благополучно. Вся беда в том, что им сначала нужно узнать откуда-то про сам факт обвала... Короче говоря, на завтрашний день я бы не рассчитывал...

— То есть на сегодняшний?

— Да, на сегодняшний... Но завтра кто-нибудь может прилететь.

— Передатчика у вас нет?

— Ну, откуда? И главное, зачем? Это мне не выгодно, Петер.

— Понимаю, — сказал я. — Значит, завтра...

— За завтра я тоже не ручаюсь, — возразил хозяин.

— Одним словом, в ближайшие два-три дня... Хорошо. Теперь вот что, Алек. Предположим, вам понадобилось спрятаться в этом доме. Надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались?

— Гм... — сказал хозяин с сомнением. — Вы все-таки думаете, что в доме есть посторонний человек?

— Где бы вы спрятались? — повторил я.

Хозяин покачал головой.

— Обманывают вас, — сказал он. — Честное слово, обманывают. Здесь негде спрятаться. Двенадцать номеров, из них только два пустуют, но

Кайса убирает их каждый день, она бы заметила. Человек всегда оставляет после себя всякий мусор, а у нее бзик — чистота... Подвал — он у меня закрыт снаружи на висячий замок... Чердака нет, в пространство между крышей и потолком едва руку просунешь... Служебные помещения тоже все закрываются снаружи, и, кроме того, мы там целый день крутимся, то я, то Кайса. Вот, собственно, и все.

— А верхняя душевая? — спросил я.

— Правильно. Верхняя душевая имеет место, и туда мы давно не заглядывали. И еще, может быть, стоит заглянуть в генераторную — туда я тоже нечасто наведываюсь. Посмотрите, Петер, поищите...

— Давайте ключи, — сказал я.

Я посмотрел и поискал. Я облазил подвал, заглянул в душевую, обследовал гараж, котельную, генераторную, влез даже в подземный склад солярки — я нигде ничего не обнаружил. Естественно, я и не ожидал ничего обнаружить, это было бы слишком просто, но проклятая чиновничья добросовестность не позволила мне оставлять в тылу белые пятна. Двадцать лет беспорочной службы — это двадцать лет беспорочной службы: в глазах начальства, да и в глазах подчиненных тоже всегда лучше выглядеть добросовестным болваном, чем блестящим, но хватающим вершки талантом. И я шарил, ползал, пачкался, дышал пылью и дрянью, жалел себя и ругал дурацкую судьбу.

Когда я, злой и грязный, выбрался из подземного склада, уже рассветало. Луна побледнела и склонилась к западу. Серые громады скал подернулись сиреневой дымкой. И какой же свежий, сладкий, морозный воздух наполнял долину! Пропади оно все пропадом!..

Я уже подходил к дому, когда дверь распахнулась и на крыльцо вышел хозяин.

— Ага, — произнес он, увидев меня. — А я как раз за вами. Этот бедняга проснулся и зовет маму.

— Иду, — сказал я, отряхивая пиджак.

— Собственно, он зовет не маму, — сказал хозяин, — он зовет Олафа Андвафорса.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Увидев меня, незнакомец живо наклонился вперед и спросил:

— Вы — Олаф Андварафорс?

Такого вопроса я не ожидал. Совсем не ожидал. Я поискал глазами стул, придвинул стул к кровати, неторопливо уселся и только тогда посмотрел на незнакомца. Был большой соблазн ответить утвердительно и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не контрразведчик и не сыщик. Я честный полицейский чиновник. Поэтому я ответил:

— Нет. Я не Олаф Андварафорс. Я инспектор полиции, и зовут меня Петер Глебски.

— Да? — сказал он удивленно, но без всякого беспокойства. — Но где же Олаф Андварафорс?

По-видимому, он вполне оправился после вчерашнего. Тощее лицо его порозовело, кончик длинного носа, такой белый вчера, теперь был красен. Он сидел на кровати, закрывшись до пояса одеялом, ночная рубашка Алека была ему явно велика, ворот висел хомутом и обнажал острые ключицы и бледную безволосую кожу на груди. И на лице его не было растительности — только несколько волосков на месте бровей да редкие белесые ресницы. Он сидел, наклонившись вперед, и рассеянно наматывал на левую руку пустой рукав правой.

— Прошу прощения, — сказал я, — но предварительно я должен задать вам несколько вопросов.

На эти мои слова незнакомец не ответил ничего. Лицо его приняло странное выражение — до того странное, что я не сразу понял, в чем дело. А дело было в том, что одним глазом он уставился на меня, а другой глаз закатил под лоб, так что его почти не стало видно. Некоторое время мы молчали.

— Так вот, — сказал я. — Прежде всего хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут.

— Луарвик, — сказал он быстро.

— Луарвик... А имя?

— Имя? Луарвик.

— Господин Луарвик Луарвик?

Он снова помолчал. Я боролся с неловкостью, какую всегда испытываешь, разговаривая с сильно косоглазыми людьми.

— Приблизительно да, — сказал он наконец.

— В каком смысле — приблизительно?

— Луарвик Луарвик.

— Хорошо. Допустим. Кто вы такой?

— Луарвик, — сказал он. — Я — Луарвик. — Он помолчал. — Луарвик Луарвик. Луарвик Л. Луарвик.

Он выглядел достаточно здоровым и совершенно серьезным, и это удивляло больше всего. Впрочем, я не врач.

— Я хотел узнать, чем вы занимаетесь.

— Я механик, — сказал он. — Механик-водитель.

— Водитель чего? — спросил я.

Тут он уставился на меня обоими глазами. Он явно не понимал вопроса.

— Хорошо, оставим это, — поспешно сказал я. — Вы иностранец?

— Очень, — сказал он. — В большой степени.

— Вероятно, швед?

— Вероятно. В большой степени швед.

Что он — издевается надо мной? — подумал я. Непохоже. Скорее, у него вид человека, припертого к стене.

— Зачем вы сюда приехали? — спросил я.

— Здесь есть Олаф Андварафорс. Он вам все расскажет. Я не могу.

— Вы ехали к Олафу Андварафорсу?

— Да.

— Попали под обвал?

— Да.

— Ехали на автомобиле?

Он подумал.

— Машина, — сказал он.

— Зачем вам нужен Андварафорс?

— Я имею с ним дело.

— Какое именно?

— Я имею с ним дело, — повторил он. — С ним. Он расскажет.

Дверь за моей спиной скрипнула. Я обернулся. На пороге, держа кружку на отлете, стоял Мозес.

— Сюда нельзя, — сказал я резко.

Мозес из-под нависших бровей разглядывал незнакомца. На меня он не обратил никакого внимания. Я вскочил и пошел на него грудью.

— Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес!

— Не орите на меня, — неожиданно миролюбиво предложил Мозес. — Могу же я полюбопытствовать, кого вы поселили в моем помещении.

— Не сейчас, позже... — Я стал постепенно, но настойчиво закрывать дверь.

— Извольте, извольте... — бурчал Мозес, вытесняемый в коридор. — Я, конечно, мог бы протестовать...

Я закрыл дверь и снова повернулся к Луарвику Л. Луарвику.

— Это был Олаф Андварафорс? — спросил Луарвик.

— Нет, — сказал я. — Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.

— Убит, — повторил Луарвик. В голосе его не было никаких эмоций. Ни удивления, ни страха, ни горя. Как будто я сообщил ему, что Олаф на минутку вышел и сейчас вернется. — Мертвый? Олаф Андварафорс?

— Да.

— Нет, — сказал Луарвик. — Вы неточно знаете.

— Я знаю совершенно точно. Я видел его мертвым. Сам.

— Я хочу посмотреть.

— Зачем это вам? Я понял так, что вы не знаете его в лицо.

— Я имею с ним дело, — сказал Луарвик.

— Но я же говорю вам: он убит. Умер. Его убили.

— Хорошо. Я хочу посмотреть.

Меня вдруг осенило — я вспомнил про чемодан.

— Он должен был вам что-нибудь передать?

— Нет, — ответил он равнодушно. — Мы должны говорить. Я — с ним.

— О чем?

— Я — с ним. С ним.

— Слушайте, господин Луарвик, — сказал я. — Олаф Андварафорс мертв. Его убили. Я расследую убийство. Ищу убийцу. Понимаете? Мне надо знать как можно больше об Олафе Андварафорсе. Прошу вас быть откровенным. Рано или поздно вам обязательно придется рассказать все. Лучше рано, чем поздно.

Он вдруг заполз под одеяло до самого носа. Глаза у него снова глядели в разные стороны.

— Я ничего не могу сказать вам, — невнятно проговорил он сквозь одеяло.

— Почему?

— Я могу сказать только Олафу Андварафорсу.

— Откуда вы ехали? — спросил я.

Он молчал.

— Где вы живете?

Молчание. Тихое посапывание. Один глаз смотрит на меня, другой —

в потолок.

— Вы выполняете чье-нибудь поручение?

— Да.

— Чье именно?

— Зачем вы хотите это знать? — спросил он. — Я имею дело не с вами. Вы имеете дело не с нами.

— Прошу вас понять, — сказал я проникновенно. — Если мы узнаем хоть что-нибудь об Олафе, мы узнаем, кто его убийца. Ну, хорошо. Вы, по-видимому, не знаете Олафа. Но те, кто вас к нему послал, они могут что-то знать.

— Они не знают Олафа тоже, — сказал он.

— То есть как?

— Они не знают Олафа. Зачем?

Я потер обросшие щетиной щеки.

— У вас концы с концами не сходятся, — сказал я угрюмо. — Люди, которые не знают Олафа, посылают вас, который тоже не знает Олафа, с каким-то поручением к Олафу. Как это может быть?

— Это может быть. Это так.

— Кто эти люди?

Молчание.

— Где они находятся?

Молчание.

— Господин Луарвик, у вас могут быть большие неприятности.

— Зачем? — спросил он.

— При расследовании убийства каждый добрый гражданин обязан давать полиции требуемые показания, — сказал я строго. — Отказ может быть рассмотрен как соучастие.

Луарвик Л. Луарвик не реагировал.

— Не исключено, что придется вас арестовать, — добавил я. Это была явно незаконная угроза, и я поспешил поправиться: — Во всяком случае, ваше упорное запирательство очень повредит вам во время суда.

— Я хочу одеть одежду, — вдруг сказал Луарвик. — Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса.

— С какой целью? — спросил я.

— Я хочу его видеть.

— Но вы же не знаете его в лицо.

— Я не хочу его лицо, — сказал Луарвик.

— А что же вам нужно?

Луарвик вылез из-под одеяла и снова сел.

— Я хочу видеть Олафа Андварафорса! — сказал он очень громко. Правый глаз его дергался и вращался. — Зачем вопросы? Зачем опять вопросы? Очень много вопросов. Почему я не вижу Олафа Андварафорса?

Я тоже потерял терпение.

— Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?

— Опознать... Узнать?

— Да! Узнать!

— Хочу. Хочу видеть.

— Как вы можете его узнать, — сказал я, — если вы не знаете его в лицо?

— Какое лицо? — заорал Луарвик. — Зачем лицо? Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс, что это есть другой!

— Почему вы думаете, что это — другой? — быстро спросил я.

— Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? — возразил он.

Мы уставились друг на друга. Я был вынужден признать, что этот странный человек в известном смысле прав. Я не мог бы присягнуть, что викинг со свернутой шеей наверху — это тот самый Олаф Андварафорс, которого ищет Луарвик Л. Луарвик. Это мог быть не тот Олаф Андварафорс, и это мог быть вообще не Олаф Андварафорс. С другой стороны, я не понимал, какой толк показывать труп человеку, который не знает Олафа в лицо. В лицо... А действительно, почему обязательно — в лицо? Может быть, он должен был узнать его по одежде, или по какому-нибудь там перстню... или, скажем, по татуировке...

В дверь постучали, и голос Кайсы пропищал: «Одеваться, пожалуйста...» Я открыл дверь и принял у Кайсы высушенный и выглаженный костюм незнакомца.

— Одевайтесь, — сказал я, положив костюм на постель.

Потом я встал к окну и принялся смотреть на зубчатую скалу Погибшего Альпиниста, уже озаренную розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую синеву неба. За спиной у меня раздавалось шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигали стулом: по-видимому, это нелегкое дело — одеваться при помощи одной руки и при таком косоглазии вдобавок. Дважды меня так и подмывало повернуться и предложить помощь, но я сдерживался. Потом Луарвик сказал: «Я одел».

Я обернулся. Я удивился. Я очень удивился, но тут же вспомнил, что этот человек пережил ночью, и перестал удивляться. Я подошел к нему, поправил и застегнул воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы хозяина. Пока я все это делал, он покорно

стоял, отставив единственную руку. Пустой правый рукав я засунул ему в карман. Он посмотрел на шлепанцы и сказал с сомнением:

— Это не мое. У меня не так.

— Ваши туфли еще не высохли, — сказал я. — Обувайте это, и пошли.

Можно было подумать, что он никогда в жизни не имел дело со шлепанцами. Дважды он с размаху попытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахивался, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием — видно, ему здорово досталось, и он далеко еще не пришел в себя. Я его хорошо понимал: со мной тоже бывало такое...

Наверное, все это время какая-то машинка неслышно крутилась у меня в подсознании, потому что меня вдруг осенила на мгновение дивная мысль: что если Олаф — не Олаф, а Хинкус... А Хинкус — не Хинкус, а Олаф, и послал он телеграмму, чтобы вызвать вот этого странного человечка. Но от перестановки имен ничего в конечном итоге не прояснилось, и я выбросил эту мысль из головы.

Рука об руку мы вышли в холл и двинулись на второй этаж. Хозяин, по-прежнему сидевший на своем посту, проводил нас задумчивым взглядом. Луарвик же на хозяина внимания не обратил совсем. Все свое внимание он сосредоточил на ступеньках лестницы. Я на всякий случай придерживал его за локоть.

Перед дверью номера Олафа мы остановились. Я внимательно осмотрел свои наклейки — все было в порядке. Тогда я достал ключ и распахнул дверь. Резкий неприятный запах ударил мне в нос — очень странный запах, похожий на запах дезинфекции. Я задержался на пороге, мне стало не по себе. Впрочем, в комнате все осталось без изменений. Только лицо мертвеца показалось мне более темным, чем накануне, возможно, из-за освещения, и пятна кровоподтеков были теперь почти не видны. Луарвик довольно чувствительно толкнул меня между лопаток. Я шагнул в прихожую и посторонился, пропуская его посмотреть.

Можно было подумать, что он не механик-водитель, а служитель морга. С совершенно равнодушным видом он остановился над трупом и низко наклонился, закинув единственную руку за спину. Ни брезгливости, ни страха, ни благоговения — деловой осмотр. И тем более странными показались мне его слова.

— Я удивлен, — произнес он совершенно бесцветным голосом. — Это есть Олаф Андварафорс на самом деле. Я не понимаю.

— Как вы его узнали? — сейчас же спросил я.

Он, не выпрямляясь, повернул голову и посмотрел на меня одним

глазом. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на меня снизу вверх и молчал. Это продолжалось так долго, что у меня заныла шея. Как это он может оставаться в такой нелепой позе? В поясницу ему вступило, что ли?.. Наконец он произнес:

— Вспомнил. Видел раньше. Тогда не знал, что Олаф Андварафорс.

— А где вы его видели раньше? — спросил я.

— Там. — Он, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно. — Это не есть главное.

Вдруг он разогнулся и заковылял по комнате, смешно вертя головой. Я весь подобрался, не спуская с него глаз. Он явно искал что-то, и я уже догадывался — что именно.

— Олаф Андварафорс умер не здесь? — спросил он, останавливаясь передо мною.

— Почему вы так думаете? — спросил я.

— Я не думаю. Я сделал вопрос.

— Вы что-нибудь ищете?

— Олаф Андварафорс имел предмет, — сказал он. — Где?

— Вы ищете чемодан? — спросил я. — Вы за ним приехали?

— Где он? — повторил Луарвик.

— Чемодан у меня, — сказал я.

— Это хорошо, — похвалил он. — Я хочу иметь его здесь. Принесите.

Я пропустил мимо ушей его тон и сказал:

— Я мог бы отдать вам чемодан, но сначала вы должны ответить на мои вопросы.

— Зачем? — с огромным изумлением спросил он. — Зачем снова вопросы?

— А затем, — терпеливо ответил я, — что вы получите чемодан только в том случае, если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право.

— Не понимаю, — сказал он.

— Я не знаю, — сказал я, — ваш это чемодан или нет. Если он ваш, если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам.

Глаза у него разъехались и снова съехались к переносице.

— Не надо, — сказал он. — Не хочу. Устал. Пойдем.

Несколько озадаченный, я вышел вслед за ним из номера. Воздух в коридоре показался на удивление свежим и чистым. Откуда в номере эта аптечная вонь? Может быть, там и раньше было что-то разлито, только при открытом окне не чувствовалось? Я запер дверь. Пока я ходил к себе за клеем и бумагой и занимался опечатыванием, Луарвик оставался на месте,

погруженный, казалось, в глубокую задумчивость.

— Ну что? — спросил я. — Вы будете отвечать на вопросы?

— Нет, — решительно ответил он. — Не хочу вопросов. Хочу лежать. Где можно лежать?

— Ступайте в свою комнату, — вяло сказал я. Мною овладела апатия. Вдруг зверски разболелась голова. Потянуло лечь, расслабиться, закрыть глаза. Все это нелепое, ни на что не похожее, уродливо-бессмысленное дело словно бы воплотилось в нелепом, ни на кого не похожем, уродливо-бессмысленном Луарвике Л. Луарвике.

Мы спустились в холл, и он проковылял к себе в комнату, а я сел в кресло, вытянулся и наконец закрыл глаза. Где-то шумело море, играла громкая неразборчивая музыка, приплывали и уплывали какие-то туманные пятна. Во рту было такое ощущение, как будто я много часов подряд жевал сырое сукно. Потом кто-то обнюхал мне ухо мокрым носом, и тяжелая голова Леля дружески прижалась к моему колену.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Наверное, мне все-таки удалось вздремнуть минут пятнадцать, а больше дремать мне не дал Лель. Он облизывал мне уши и щеки, теребил штанину, толкался и, наконец, легонько укусил за руку. Тогда я не выдержал и подскочил, готовый разорвать его на куски, бессвязные проклятия и жалобы теснились в моей глотке, но тут взгляд мой упал на столик, и я замер. На блестящей лакированной поверхности, рядом с бумагами и счетами хозяина, лежал огромный черный пистолет.

Это был люгер калибра 0,45 с удлиненной рукоятью. Он лежал в лужице воды, и комочки нерастаявшего снега еще облепляли его; и пока я смотрел, разинув рот, один комочек сорвался с курка и упал на поверхность стола. Тогда я оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом со столиком и, наклонив голову набок, серьезно-вопросительно смотрел на меня. Из кухни доносились обычные кухонные звуки, слышался негромкий басок хозяина и тянуло запахом кофе.

— Это ты принес? — спросил я Леля шепотом.

Он наклонил голову на другой бок и все продолжал смотреть на меня. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Я осторожно взял пистолет.

Вот это было настоящее гангстерское оружие. Дальность прицельного боя — двести метров, приспособление для установки оптического прицела, рамка для приставного приклада, рычажок перевода на автоматическую стрельбу и прочие удобства... Ствол был забит снегом. Пистолет был холодный, тяжелый, рубчатая рукоять ладно лежала в ладони. Почему-то я вспомнил, что не обыскал Хинкуса. Багаж его обыскал, шубу обыскал, а самого его — забыл. Должно быть, потому, что он представлялся мне жертвой.

Я извлек из рукояти обойму — обойма была полна. Я оттянул затвор, и на стол выскочил патрон. Я взял его, чтобы вставить в обойму, и вдруг обратил внимание на странный цвет пули. Она была не желтая и не тускло-серая, как обычно. Она сверкала, как никелированная, только это был не никель, а скорее серебро. Никогда в жизни не видел таких пуль. Я стал торопливо, один за другим выщелкивать патроны из обоймы. Все они были с такими же серебряными пулями. Я облизал пересохшие губы и снова посмотрел на Леля.

— Где ты это взял, старик? — спросил я.

Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери.

— Понятно, — сказал я. — Понимаю. Подожди минутку.

Я собрал патроны в обойму, загнал обойму в рукоять и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, пошел к выходу. За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль фасада. Я был почти уверен, что он остановится под окном Олафа, но он не остановился. Он обогнул дом, исчез на секунду и снова появился, нетерпеливо выглядывая из-за угла. Я схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побежал следом.

Мы обогнули гостиницу, затем Лель устремился прочь от дома и остановился метрах в пятидесяти. Я подъехал к нему и огляделся. Все это было как-то странно. Я видел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, я видел след своих лыж позади, видел борозды, которые оставил Лель, прыгая через сугробы, а в остальном пелена снега вокруг была не тронута. Это могло означать только одно: пистолет зашвырнули сюда либо с дороги, либо из отеля. И в любом случае это был хороший бросок. Я не был уверен, что сам сумел бы забросить такую тяжелую и неудобную для броска штуку столь далеко. Потом я понял. Пистолет бросили с крыши. Пистолет отобрали у Хинкуса и забросили подальше. Может быть, впрочем, и сам Хинкус забросил его подальше. Может быть, он боялся, что его застукают с этим пистолетом. А может быть, конечно, это сделал и не Хинкус, а кто-то другой... но почти наверняка — с крыши. С дороги такой бросок мог сделать разве что хороший гранатометчик, а из окна какого-нибудь номера это сделать и вообще было бы невозможно.

— Что ж, Лель, — сказал я сенбернару, — ты молодец. А я вот — нет. Хинкуса надо было трясти поосновательней, на манер старины Згута. Правильно? К счастью, это еще не поздно сделать.

И, не дожидаясь ответа Леля, я побежал обратно. Лель, разбрасывая снег, проваливаясь и размахивая ушами, скакал рядом.

Я намеревался сразу же отправиться к Хинкусу, разбудить этого сукина сына и вытрясти из него душу, даже если это будет стоить мне выговора в послужной формуляр. Мне было теперь предельно ясно, что дело Олафа и дело Хинкуса связаны между собой самым непосредственным образом, что Олаф и Хинкус приехали сюда вместе отнюдь не случайно, что Хинкус сидел на крыше, вооружившись дальнобойным пистолетом, только с одной целью: держать под прицелом ближайшие окрестности и не дать кому-то уйти из отеля; что это именно он предупреждал кого-то запиской, подписанной «Ф» (тут он, правда, напутал, и записка попала явно не по адресу — дю Барнстокр не вызывает ни малейших подозрений); что он

кому-то здесь страшно мешал и, вероятно, продолжает мешать, и будь я проклят, если я сейчас же не выясню — кому и почему. В этой версии была, конечно, масса противоречий. Если Хинкус, скажем, был телохранителем Олафа и мешал его убийце, то почему с ним, Хинкусом, обошлись так мягко? Почему ему тоже не свернули шею? Почему его противник пользовался такими исключительно гуманными средствами борьбы, как донос и пленение?.. Впрочем, это как раз было бы нетрудно объяснить: Хинкус, видимо, наемный человек, и об него просто не хотели пачкать руки... Да! И надо выяснить, кому он посылал телеграмму. Я все время упускаю это из виду...

Хозяин окликнул меня из буфетной и, не говоря больше ни слова, предложил чашку горячего кофе и громадный треугольный бутерброд со свежей ветчиной. Это было как раз то, что нужно. Пока я торопливо жевал, он разглядывал меня прищуренными глазами и наконец спросил:

— Что-нибудь новенькое?

Я кивнул.

— Да. Пистолет. Только это не я, а Лель. А я — идиот.

— Гм... Да. Лель — умная собака. А что за пистолет?

— Интересный пистолет, — сказал я. — Профессиональный... Между прочим, вы слыхали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?

Некоторое время хозяин молчал, выпячивая челюсть.

— Этот ваш пистолет заряжен серебряными пулями? — медленно произнес он.

Я кивнул.

— М-да, я читал об этом... — сказал хозяин. — Оружие заряжается серебряными пулями, когда человек собирается стрелять по призракам.

— Опять зомбизм-момбизм, — проворчал я. Но теперь я и сам вспомнил об этом.

— Да, опять. Вурдалака не убьешь обычной пулей. Вервольф... лисица-кицунэ... жабья королева... Я вас предупреждал, Петер! — Он поднял толстый палец. — Я уже давно жду чего-нибудь вроде. А теперь оказывается, что не только я...

Я дожевал бутерброд и допил кофе. Нельзя сказать, что слова хозяина так уж совсем не задели меня. Почему-то всё время так получалось, что версия хозяина — единственная и безумная — все время находила подтверждение, а все мои версии — многочисленные и реалистические — нет... Вурдалаки, призраки, привидения... Тут вся беда была в том, что тогда мне осталось бы только сложить оружие: как сказал какой-то писатель,

потусторонний мир — это ведомство церкви, а не полиции...

— Вы узнали, чей это пистолет? — спросил хозяин.

— Да есть тут у нас один охотник за вурдалаками, Хинкус его фамилия, — сказал я и вышел.

Посреди холла, весь какой-то корявый и неестественный, торчал покосившимся чучелом господин Луарвик Л. Луарвик. Одним глазом он смотрел на меня, а другим — на лестницу. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли, пустой рукав болтался и имел такой вид, словно его жевала корова. Я кивнул ему и хотел пройти мимо, но он быстро заковылял мне наперерез и загородил дорогу.

— Да? — сказал я, приостановившись.

— Один небольшой, но важный разговор, — объявил он.

— Я занят. Давайте через полчаса.

Он поймал меня за локоть.

— Очень прошу выделить. Немедленно.

— Не понимаю. Что выделить?

— Выделить несколько минут. Это важно для меня.

— Это важно для вас... — повторил я, продолжая продвигаться к лестнице. — Если это важно только для вас, то для меня это не важно совсем.

Он тащился за мной, как привязанный, как-то странно ставя ноги — одну носком наружу, другую — носком внутрь.

— Для вас тоже важно, — сказал он. — Вы будете довольны. Вы получите все желаемое.

Мы уже поднимались по лестнице.

— А в чем, собственно, дело? — спросил я.

— Это дело относительно чемодана.

— Вы готовы отвечать на мои вопросы?

— Давайте остановимся и поговорим, — попросил он. — Ноги ходят плохо.

Ага, припекает, подумал я. Это хорошо, это мне нравится.

— Через полчаса, — сказал я. — И отпустите меня, пожалуйста, вы мне мешаете.

— Да, — согласился он. — Мешаю. Я хочу мешать. Мой разговор срочный.

— Какая там срочность, — возразил я. — Успеется. Через полчаса. Или, скажем, через час.

— Нет-нет, очень прошу вас немедленно. Многое зависит. И это быстро. Я — вам, вы — мне. Всё.

Мы были уже в коридоре второго этажа, и я сжалился.

— Хорошо, пойдемте ко мне. Только давайте побыстрее.

— Да-да, это будет быстро.

Я привел его в свой номер и, присев на край стола, сказал:

— Выкладывайте.

Но он начал не сразу. Сначала он огляделся, надеясь, вероятно, что чемодан лежит где-нибудь здесь, на виду.

— Нету здесь чемодана, — сказал я. — Давайте скорее.

— Тогда я сяду, — сказал он и сел в мое кресло. — Мне очень нужен чемодан. Что вы хотите за?

— Ничего не хочу. Докажите, что вы имеете на него права, и он — ваш.

Луарвик Л. Луарвик покачал головой и сказал:

— Нет. Доказывать не буду. Чемодан не мой. Сначала я ничего не понимал. Теперь я долго думал и все понял. Олаф украл чемодан. Мне было приказано найти Олафа и сказать ему: «Отдай то, что взял. Комендант двести двадцать четыре». Я не знаю, что это значит. Не знал, что он взял. И потом, вы все время говорите — чемодан. Это меня обмануло. Не чемодан. Футляр. Внутри — прибор. Раньше я не знал. Когда увидел Олафа — догадался. Теперь я знаю: Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный. Угроза для всех. Все будут как Олаф, или может быть взрыв. Тогда все будут еще хуже. Понимаете, почему надо быстро? Олаф — дурак, он умер. Мы — умные, мы не умрем. Скорее давайте чемодан.

Все это он протараторил своим бесцветным голосом, глядя на меня по очереди то правым, то левым глазом и немилосердно терзая пустой рукав. Лицо его оставалось неподвижным, только время от времени поднимались и опускались реденькие брови. Я смотрел на него и думал, что манеры и грамматика у него остались прежние, а вот запас слов за последние полчаса основательно увеличился. Разговорился Луарвик.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Я эмигрант, иностранный специалист. Изгнанник. Жертва политики.

Да, разговорился Луарвик. И откуда что берется!

— Эмигрант откуда? — спросил я.

— Не надо таких вопросов. Не могу сказать. Честь. Никакого вреда вашей стране.

— Но вы мне уже сказали, что вы швед.

— Швед? Не говорил. Эмигрант, политический изгнанник.

— Прошу прощения, — сказал я. — Час назад вы сказали мне, что вы

швед. Что вы даже в большой степени швед. А теперь отказываетесь?

— Не знаю... не помню... — забормотал он. — Плохо себя чувствую. Боюсь. Надо скорее чемодан.

Чем больше он меня торопил, тем меньше я был склонен спешить. Мне все было ясно: он врал, и врал страшно неумело.

— Где вы живете? — спросил я.

— Не могу сказать.

— На чем вы ехали сюда?

— Машина.

— Какой марки?

— Марки?.. Черный, большой.

— Вы не знаете марки своего автомобиля?

— Не знаю, он не мой.

— Но вы же механик, — сказал я со злорадством. — Какой же вы, к черту, механик, да еще водитель, если вы не разбираетесь в автомобилях?

— Дайте мне чемодан, иначе будет несчастье.

— А что вы будете делать с этим чемоданом?

— Быстро увезу.

— Куда? Вы же знаете, лавина завалила дорогу.

— Это все равно. Увезу подальше. Попробую разрядить. Если не сумею, убегу. Пусть лежит там.

— Хорошо, — сказал я и соскочил со стола. — Поехали.

— Как?

— На моей машине. У меня хорошая машина, марки «Москвич». Возьмем чемодан. Отвезем подальше, посмотрим.

Он не двинулся с места.

— Вам не надо. Очень опасно.

— Ничего. Я рискну. Ну?

Он сидел неподвижно и молчал.

— Чего же вы сидите? — спросил я. — Ведь опасно, надо скорее.

— Не годится, — сказал он наконец. — Попробуем по-другому. Не хотите отдать чемодан, тогда продайте. А?

— То есть? — сказал я, снова присаживаясь на край стола.

— Я даю деньги, много денег. Вы даете мне чемодан. Никто ничего не узнает, все довольны. Вы нашли чемодан, я его купил. Все.

— И сколько же вы мне дадите? — спросил я.

— Много. Сколько хотите. Вот.

Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. В натуре я видел такие пачки только один раз — в Государственном банке, когда вел

там дело о подлоге.

— Сколько здесь? — спросил я.

— Мало? Тогда еще вот.

Он полез в боковой карман и вытащил еще одну такую же пачку и тоже бросил ее на стол рядом со мной.

— Сколько здесь денег? — спросил я.

— Какая разница? — удивился он. — Всё — ваше.

— Очень большая разница. Вы знаете, сколько здесь денег?

Он молчал, глаза его то съезжались, то разъезжались.

— Так. Не знаете. А где вы их взяли?

— Это мои.

— Бросьте, Луарвик. Кто вам их дал? Вы же явились сюда с пустыми карманами. Мозес, больше некому. Так?

— Вы не хотите деньги?

— Вот что, — сказал я. — Эти деньги я конфискую, а вас привлекаю за попытку подкупа должностного лица. Вы вляпались в очень нехорошую историю, Луарвик. Вам остается одно: говорите все начистоту. Кто вы такой?

— Вы взяли деньги? — осведомился Луарвик.

— Я их конфисковал.

— Конфисковал... Хорошо, — сказал он. — А где чемодан?

— Вы не понимаете, что такое «конфисковал»? — спросил я. — Спросите у Мозеса... Итак, кто вы такой?

Не говоря ни слова, он встал и направился к двери. Я сгреб деньги и пошел за ним следом. Мы прошли по коридору и стали спускаться по лестнице.

— Вы напрасно не отдаете чемодан, — сказал Луарвик. — Это не будет вам полезно.

— Не угрожайте, — напомнил я.

— Вы будете причиной большого несчастья.

— Хватит врать, — сказал я. — Не хотите говорить правду — дело ваше. Но вы уже влипли по уши, Луарвик, и утянули за собой Мозеса. Теперь вы легко не отделаетесь. С часу на час сюда приедет полиция, и вам все равно придется рассказать правду... Стоп! Не туда. Идите за мной.

Я взял его за пустой рукав и отвел в контору. Потом я позвал хозяина и в его присутствии пересчитал деньги и написал протокол. Хозяин тоже пересчитал деньги — денег оказалось больше восьмидесяти тысяч, мое жалованье за восемь лет беспорочной службы, — и подписал протокол.

Все это время Луарвик стоял поодаль, неуклюже переминаясь с ноги

на ногу, как человек, которому хочется уйти как можно скорее.

— Подпишите, — сказал я, протягивая ему авторучку.

Он взял ручку, внимательно оглядел ее и осторожно положил на стол.

— Нет, — сказал он. — Я пойду.

— Как хотите, — сказал я. — Вашего положения это не изменит.

Он сейчас же повернулся и вышел, задев плечом за косяк. Мы с хозяином посмотрели друг на друга.

— Зачем он хотел вас подкупить? — спросил хозяин. — Что ему было надо?

— Чемодан, — сказал я.

— Какой чемодан?

— Чемодан Олафа, который стоит у вас в сейфе... — Я достал ключ и открыл сейф. — Вот этот вот.

— Он стоит восемьдесят тысяч? — спросил хозяин с уважением.

— Он стоит, наверное, гораздо больше. Тут какая-то темная история, Алек. — Я сложил деньги в сейф, снова запер тяжелую дверцу, а протокол положил в карман.

— Кто же этот Луарвик? — задумчиво сказал хозяин. — Откуда у него столько денег?

— У Луарвика не было ни гроша. Деньги ему дал Мозес, больше некому.

Хозяин поднял было толстый палец, чтобы что-то сказать, но раздумал. Вместо этого он энергично потер толстый подбородок, гаркнул: «Кайса!» — и вышел. Я остался сидеть за конторкой. Я принялся вспоминать. Я тщательно перебрал в памяти самые мелкие подробности, самые незначительные происшествия, свидетелем которых я был в этом отеле. Выяснилось, что запомнил я довольно много.

Оказывается, я помнил, что при первой нашей встрече Симонэ был одет в серый костюм, а на вчерашней вечеринке он был в бордовом, и запонки у него были с желтыми камешками. Я помнил, что, когда Брюн клянчила у своего дяди сигарету, он всегда доставал их из-за правого уха. Я помнил, что у Кайсы есть маленькая черная родинка на правой ноздре; что дю Барнстокр, орудуя вилкой, элегантно отставляет мизинец; что ключ моего номера похож на ключ от номера Олафа; и еще много подобной же дребедени. Во всей этой навозной куче я обнаружил только две жемчужины. Во-первых, я вспомнил, как позавчера вечером Олаф, весь в снегу, стоял посередине холла со своим черным чемоданом и оглядывался, словно ожидал торжественной встречи, и как он посмотрел мимо меня на закрытый портьерой вход на половину Мозесов, и как мне показалось, что

портьера колышется — надо полагать, от сквозняка. Во-вторых, я вспомнил, что, когда стоял в очереди у душа, сверху спустились рука об руку Олаф и Мозес...

Все это упорно наводило меня на мысль, что Олаф, Мозес, а теперь и Луарвик — все это одна компания, причем эта компания отнюдь не стремится афишировать, что она — одна компания. И если вспомнить, что я обнаружил Мозеса в номере-музее рядом со своим номером за пять минут до того, как нашел у себя на загаженном столе записку насчет гангстера и маньяка; и если вспомнить, что золотые часы Мозеса были подброшены (явно подброшены, а потом снова изъяты) в баул Хинкуса... и если вспомнить, что госпожа Мозес была единственным человеком, не считая, может быть, Кайсы, который отсутствовал в зале именно тогда, когда Хинкуса скрутили в бараний рог и засунули под стол... если вспомнить все это, то картина получается прелюбопытная.

В эту картину неплохо укладывается и заявление Хинкуса о том, что один из его баулов ловко превратился в фальшбагаж, и то обстоятельство, что госпожа Мозес была единственным человеком, который видел двойника Хинкуса в лицо. Ведь о Брюн никак нельзя было сказать, что она видела двойника Хинкуса: она видела только шубу Хинкуса, а кто был в этой шубе, неизвестно.

Конечно, в картине оставалось еще много белых и совершенно непонятных пятен. Но по крайней мере теперь была ясна расстановка сил: Хинкус с одной стороны, а Мозесы, Олаф и Луарвик — с другой. Впрочем, судя по совершенно нелепым действиям Луарвика и той откровенности, с которой Мозес снабдил его деньгами, дело близилось к какому-то кризису... И тут мне пришло в голову, что я, пожалуй, напрасно держу Хинкуса взаперти. В надвигающийся схватке неплохо было бы обзавестись союзником, пусть даже таким сомнительным и явно преступным, как Хинкус.

Так я и сделаю, подумал я. Напущу-ка я на них гангстера и маньяка. Мозес небось думает, что Хинкус до сих пор валяется под столом. Посмотрим, как он себя поведет, когда Хинкус вдруг объявится в столовой за завтраком. О том, как и кто скрутил Хинкуса, о том, кто и как убил Олафа, я решил пока не думать. Я смял свои заметки, положил в пепельницу и поджег.

— Кушать, пожалуйста... — пропищала где-то наверху Кайса. — Кушать, пожалуйста.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Хинкус уже поднялся. Он стоял посередине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем.

— Доброе утро, — сказал я. — Как вы себя чувствуете?

Он настороженно глядел на меня исподлобья, лицо его несколько опухло, но в общем он выглядел вполне прилично. Ничего в нем не осталось от того сумасшедшего затравленного хорька, каким я видел его несколько часов назад.

— Более или менее, — буркнул он. — Чего это меня здесь заперли?

— У вас был нервный припадок, — объяснил я. Лицо у него немного перекосилось. — Ничего страшного. Хозяин сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете?

— Пойду, — сказал он. — Позавтракаю и смотаюсь отсюда к чертовой матери. И задаток отберу. Тоже мне — отдых в горах... — Он скомкал и отшвырнул полотенце. — Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери. Без всякого туберкулеза... Шуба моя где, не знаете? И шапка...

— На крыше, наверное, — сказал я.

— На крыше... — пробурчал он, надевая подтяжки. — На крыше...

— Да, — сказал я. — Не повезло вам. Можно только посочувствовать... Ну, мы еще поговорим об этом.

Я повернулся и пошел к двери.

— Нечего мне об этом разговаривать! — со злостью крикнул он мне вслед.

В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сандвичами. Я поздоровался с нею, отнаблюдал серию ужимок, выслушал серию хихиканий и выбрал себе новое место — спиной к буфету и лицом к двери, рядом со стулом дю Барнстокра. Едва я уселся, как вошел Симонэ — в толстом пестром свитере, свежевыбритый, с красными припухшими глазами.

— Ну и ночка, инспектор, — сказал он. — Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой. Аптечный такой запах, знаете ли, вроде формалина... — Он сел, выбрал сандвич, потом посмотрел на меня. — Нашли?.. — спросил он.

— Смотря что, — ответил я.

— Ага, — сказал он и неуверенно хохотнул. — Вид у вас неважный.

— У каждого тот вид, которого он достоин, — отозвался я, и в ту же

секунду вошли Барнстокры. Эти были как огурчики. Дядюшка щеголял астрой в петлице, благородные седые кудри пушисто серебрились вокруг лысой маковки, а Брюн была по-прежнему в очках, и нос у нее был по-прежнему нахально задран. Дядюшка, потирая руки, двинулся к своему месту, искательно поглядывая на меня.

— Доброе утро, инспектор, — нежно пропел он. — Какая ужасная ночь! Доброе утро, господин Симонэ. Не правда ли?

— Привет, — буркнуло чадо.

— Коньяку бы выпить, — сказал Симонэ с какой-то тоской. — Но ведь неприлично, а? Или ничего?

— Не знаю, право, — сказал Барнстокр. — Я бы не рискнул.

— А, инспектор? — сказал Симонэ.

Я помотал головой и отхлебнул кофе, который поставила передо мной Кайса.

— Жаль, — сказал Симонэ. — А то я бы выпил.

— А как наши дела, дорогой инспектор? — искательно спросил дю Барнстокр.

— Следствие напало на след, — сообщил я. — В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка.

Симонэ снова загоготал было, но сразу же сделал серьезное лицо.

— Вероятно, нам придется провести весь день в доме, — сказал дю Барнстокр. — Выходить, вероятно, не разрешается...

— Почему же? — возразил я. — Сколько угодно. И чем больше, тем лучше.

— Удрать все равно не удастся, — добавил Симонэ. — Обвал. Мы здесь заперты — и надолго. Идеальная ситуация для полиции. Я бы, конечно, мог удрать через скалы...

— Но? — спросил я.

— Во-первых, из-за этого снега мне не добраться до скал. А во-вторых, что я там буду делать?.. Послушайте, господа, — сказал он. — Давайте прогуляемся по дороге — посмотрим, как там в Бутылочном Горлышке...

— Вы не возражаете, инспектор? — осведомился дю Барнстокр.

— Нет, — сказал я, и тут вошли Мозесы. Они тоже были как огурчики. То есть мадам была как огурчик... как персик... как ясное солнышко. Что касается Мозеса, то эта старая брюква так и осталась старой брюквой. Прихлебывая на ходу из кружки и не здороваясь, он добрался до своего стула, плюхнулся на сиденье и строго посмотрел на сандвичи перед собой.

— Доброе утро, господа! — хрустальным голоском произнесла госпожа Мозес.

Я покосился на Симонэ. Симонэ косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за свой кофе.

— Прелестное утро, — продолжала госпожа Мозес. — Так тепло, солнечно! Бедный Олаф, он не дожил до этого утра!

— Все там будем, — провозгласил вдруг Мозес хрипло.

— Аминь, — вежливо закончил дю Барнстокр.

Я покосился на Брюн. Девочка сидела нахохлившись, уткнувшись носом в чашку. Дверь снова отворилась, и появился Луарвик Л. Луарвик в сопровождении хозяина. Хозяин скорбно улыбался.

— Доброе утро, господа, — произнес он. — Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в нашем гостеприимстве.

Судя по виду господина Луарвика Луарвика, постигшая его катастрофа была чудовищной, и он очень нуждался в гостеприимстве. Хозяин был вынужден взять его за локоть и буквально впихнуть на мое старое место рядом с Симонэ.

— Очень приятно, Луарвик! — прохрипел господин Мозес. — Здесь все свои, Луарвик, будьте как дома.

— Да, — сказал Луарвик, глядя одним глазом на меня, а другим на Симонэ. — Прекрасная погода. Совсем зима...

— Это все чепуха, Луарвик, — сказал Мозес. — Поменьше разговаривайте, побольше ешьте. У вас истощенный вид... Симонэ, напомните-ка, что там было с этим метрдотелем? Кажется, он съел чье-то филе...

И тут наконец появился Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Симонэ пустился вновь рассказывать про метрдотеля, и пока он объяснял, что названный метрдотель не ел никакого филе, а все было как раз наоборот, Хинкус стоял на пороге, а я смотрел на него, стараясь при этом не упускать из виду и Мозесов. Я смотрел и ничего не понимал. Госпожа Мозес кушала сливки с сухариками и восхищенно слушала унылого шалуна. Господин Мозес, правда, покосился на Хинкуса кровавым глазом, но — с полнейшим равнодушием и сразу же снова обратился к своей кружке. А вот Хинкус с лицом своим совладать не сумел.

Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили веслом по голове. Затем на лице явственно проступила радость, исступленная какая-то, он даже заулыбался вдруг, совершенно по-детски. А потом злобно оскалился и шагнул вперед, сжимая кулаки. Но смотрел он, к

моему величайшему удивлению, не на Мозесов. Он смотрел на Барнстокров: сначала в полнейшем обалдении, потом с облегчением и радостью, а потом со злобой и с каким-то злорадством. Тут он перехватил мой взгляд, расслабился и, потупившись, направился к своему месту.

— Как вы себя чувствуете, господин Хинкус? — участливо наклоняясь вперед, осведомился дю Барнстокр. — Здешний воздух...

Хинкус вскинул на него бешеные желтые глазки.

— Я-то себя ничего чувствую, — ответствовал он, усаживаясь. — А вот каково вы себя чувствуете, а?

Дю Барнстокр в изумлении откинулся на спинку стула.

— Я? Благодарю вас... — Он посмотрел сначала на меня, потом на Брюн. — Может быть, я как-то задел... затронул... В таком случае я приношу...

— Не выгорело дельце! — продолжал Хинкус, с остервенением запихивая себе за воротник салфетку. — Сорвалось, а, старина?

Дю Барнстокр был в совершенном смущении. Разговоры за столом прекратились, все смотрели на него и на Хинкуса.

— Право же, я боюсь... — Старый фокусник явно не знал, как себя вести. — Я имел в виду исключительно ваше самочувствие, никак не более того...

— Ладно, ладно, замнем для ясности... — ответствовал Хинкус.

Он обеими руками взял большой сандвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся вовсю работать челюстями.

— А хамить-то не надо бы! — сказала вдруг Брюн.

Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел взгляд.

— Брюн, дитя мое... — сказал дю Барнстокр.

— Р-распетушился! — сказала Брюн, постукивая ножом о тарелку. — Пьянствовать меньше надо...

— Господа, господа! — сказал хозяин. — Все это пустяки!

— Не беспокойтесь, Сневар, — поспешно сказал дю Барнстокр. — Это какое-то маленькое недоразумение... Нервы напряжены... События этой ночи...

— Понятно, что я говорю? — грозно спросила Брюн, наставив на Хинкуса черные окуляры.

— Господа! — решительно вмешался хозяин. — Господа, я прошу внимания! Я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю — да, нервы напряжены. Но, с одной стороны, расследование судьбы несчастного Олафа Андвараформа находится сейчас в надежных руках инспектора Глебски, который по счастливому стечению

обстоятельств оказался в нашей среде. С другой же стороны, нас вовсе не должно нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира...

Хинкус перестал жевать и поднял голову.

— Наши погреба полны, господа! — торжественно продолжал хозяин. — Все мыслимые и даже некоторые немыслимые припасы к вашим услугам. И я убежден, что, когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал, она застанет нас...

— Какой такой обвал? — громко спросил Хинкус, обводя всех круглыми глазами. — Что за чертовщина?

— Да, простите, — сказал хозяин, поднося ладонь ко лбу. — Я совсем забыл, что некоторые гости могут не знать об этом событии. Дело в том, что вчера в десять часов вечера снежная лавина завалила Бутылочное Горлышко и разрушила телефонную связь.

За столом воцарилось молчание. Все жевали, глядя в тарелки. Хинкус сидел, отвесив нижнюю губу, — вид у него опять был ошарашенный. Луарвик Л. Луарвик меланхолично жевал лимон, откусывая от него вместе с кожурой. По узкому подбородку его стекал на пиджак желтоватый сок. У меня свело скулы, я отхлебнул кофе и объявил:

— Имею добавить следующее. Две небольшие банды каких-то мерзавцев избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Как лицо неофициальное, я могу предпринять лишь немногие меры. Например, я могу собрать материал для официальных представителей мюрской полиции. Таковой материал в основном уже собран, хотя я был бы очень благодарен каждому гражданину, который сообщит следствию какие-нибудь новые сведения. Далее я хочу поставить в известность всех добрых граждан о том, что они могут чувствовать себя в полной безопасности и свободно вести себя так, как им заблагорассудится. Что же касается лиц, составляющих упомянутые банды, то я призываю их прекратить всякую деятельность, дабы не ухудшать и без того безнадежное свое положение. Я напоминаю, что наша отрезанность от внешнего мира является лишь относительной. Кое-кто из присутствующих уже знает, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Сневара и отправил с почтовым голубем донесение в Мюр. Теперь я с часу на час ожидаю полицейский самолет, а потому напоминаю лицам, замешанным в преступлении, что своевременное признание и раскаяние могут значительно улучшить их участь. Благодарю за внимание, господа.

— Как интересно! — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. — Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните! Мы

поймем!

Я покосился на хозяина. Алек Сневар, повернувшись к гостям обширной спиной, старательно перетирал рюмки, стоящие на буфете.

Разговор не возобновился. Тихонько звякали ложечки в стаканах, да шумно сопел над своей кружкой господин Мозес, сверля глазами каждого по очереди. Никто не выдал себя, но все, кому пора было подумать о своей судьбе, думали. Я запустил в этот курятник хорошего хорька, и теперь надо было ожидать событий.

Первым поднялся дю Барнстокр.

— Дамы и господа! — сказал он. — Я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться на небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть да будут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдемте.

Задвигались стулья, гости один за другим вставали из-за стола и покидали зал. Симонэ предложил руку госпоже Мозес — очевидно, все его ночные впечатления в значительной степени развеялись под действием солнечного утра и жажды чувственных удовольствий. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика Л. Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками.

За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться впрок и надолго. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей.

— Ну что, Хинкус? — сказал я. — Поговорим?

— Это насчет чего? — угрюмо проворчал он, поедая яйцо с перцем.

— Да насчет всего, — сказал я. — Как видите, смотаться у вас не получится. И на крыше вам больше торчать незачем. Верно?

— Не о чем нам говорить, — сказал Хинкус мрачно. — Ничего я по этому делу не знаю.

— По какому делу? — спросил я.

— Про убийство! По какому еще...

— Есть еще дело Хинкуса, — сказал я. — Вы кончили? Тогда пойдемте. Вот сюда, в бильярдную. Там сейчас солнышко, и нам никто не помешает.

Он ничего не ответил. Дожевал яйцо, проглотил, утерся салфеткой и поднялся.

— Алек, — сказал я хозяину. — Будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле, где вы вчера сидели, понимаете?

— Понимаю, — сказал хозяин. — Будет сделано.

Он торопливо вытер руки полотенцем и вышел. Я распахнул дверь в

бильярдную и пропустил Хинкуса вперед. Он вошел и остановился, засунув руки в карманы и жуя спичку. Я взял у стены один из стульев, поставил на самое солнце и сказал: «Сядьте». Помедлив секунду, Хинкус сел и сразу сощурился — солнце било ему в лицо.

— Полицейские штучки... — проворчал он с горечью.

— Служба такая, — сказал я и присел перед ним на край бильярда в тени. — Ну, Хинкус, что там у вас произошло с Барнстокром?

— С каким еще Барнстокром? Что у нас может произойти? Ничего у нас не произошло. Я его и знать не знаю.

— Записку угрожающую вы ему писали?

— Никаких записок я никому не писал. А вот жалобу я напишу. За истязание больного человека...

— Слушайте, Хинкус. Через час-другой прилетит полиция. Прилетят эксперты. Записка ваша у меня в кармане. Определить, что написали ее именно вы, ничего не стоит. Зачем же вы запираетесь?

Он быстрым движением перебросил изжеванную спичку из одного угла рта в другой. В зале брякала тарелками Кайса, напевая что-то тонким фальшивым голоском.

— Ничего не знаю про записку, — сказал наконец Хинкус.

— Хватит врать, Филин! — гаркнул я. — Мне все о тебе известно! Ты влип, Филин. И если ты хочешь отделаться семьдесят второй, тяни на пункт «д»! Чистосердечное признание до начала официального следствия... Ну?

Он выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался.

— Ну? — повторил я.

— Путаете вы что-то, — ответил Хинкус. — Филин какой-то. Я не Филин, я — Хинкус.

Я соскочил с бильярда и сунул ему под нос пистолет.

— А это узнаешь? А? Твоя машинка? Говори!

— Ничего не знаю, — угрюмо сказал он. — Чего вы ко мне привязались?

Я вернулся на стол, положил пистолет рядом с собой на сукно и закурил.

— Думай, думай, — сказал я. — Быстрей думай, а то поздно будет. Ты подсунул Барнстокру записку, а он отдал ее мне — этого ты, конечно, никак не ожидал. Пистолет у тебя отобрали, а я его нашел. Ребятам своим ты дал телеграмму, а они не поспели, потому что случился обвал. А полиция будет

часа через два самое большее. Понял, какая картина?

В дверь просунулась Кайса и пропищала:

— Подать чего-нибудь? Угодно?

— Идите, идите, Кайса, — сказал я. — Ступайте.

Хинкус молчал, сосредоточенно шаря в кармане, потом извлек коробок спичек и закурил. Солнце пекло. На его лице выступил пот.

— Маху ты дал, Филин, — сказал я. — Перепутал божий дар с яичницей. Чего ты привязался к Барнстокру? Напугал бедного старика до полусмерти... Разве его приказали тебе держать на мушке? Мозеса! Мозеса надо было держать! Олух ты царя небесного, я бы тебя в дворники не взял, не то что такое поручение давать... И твоя шпана тебе это еще припомнит! Так что теперь, Филин, тебе только одно и остается...

Он не дал мне закончить поучение. Я сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, покуривал себе и при этом, дурак этакий, самодовольно разглядывал струйки дыма в солнечном луче. А Хинкус сидел на стуле в двух шагах от меня, и он вдруг наклонился вперед, поймал меня за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и круто повернул. Недооценил я Хинкуса, прямо скажем, недооценил. Меня снесло с бильярда, и я всеми своими девяноста килограммами, плашмя, мордой, животом, коленями грохнулся об пол.

О том, что случилось дальше, я могу только догадываться. Коротко говоря, примерно через минуту я пришел в себя окончательно и обнаружил, что сижу на полу, прислонясь к бильярду, подбородок у меня разбит, два зуба шатаются, со лба на глаза течет кровь, а правое плечо ломит совершенно невыносимо. Хинкус валялся тут же неподалеку, скорчившись и обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным Змием, возвышался осклабившийся героический Симонэ, держа в руке обломок самого длинного и самого тяжелого кия. Я утер кровь со лба и поднялся. Меня пошатывало. Хотелось лечь в тень и забыться. Симонэ нагнулся, поднял с пола пистолет и подал его мне.

— Вам повезло, инспектор, — сказал он, сияя. — Еще секунду, и он проломил бы вам голову. Куда вам попало? По плечу?

Я кивнул. У меня перехватило дыхание, и говорить я не мог.

— Подождите-ка, — сказал Симонэ и выскочил в столовую, бросив обломок кия на бильярд.

Я обошел стол и присел в тени так, чтобы видеть Хинкуса. Хинкус все еще лежал неподвижно. Экий дьявол, а ведь посмотришь на него — соплей перешибить можно... Да, джентльмены, это настоящий ганмен в лучших чикагских традициях. И откуда, непонятно, они берутся в нашей

добропорядочной стране? И подумать только — ведь у Згута такой же оклад, как у меня. Да его же озолотить надо!.. Я достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу.

Хинкус застонал, заворочался и попытался встать. Он все еще держался за голову. Симонэ вернулся с графином воды. Я взял у него графин, кое-как добрался до Хинкуса и полил ему на лицо. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Физиономия у него опять была зеленоватая, но теперь это объяснялось вполне понятными причинами. Симонэ присел на корточки рядом с ним.

— Надеюсь, я не перестарался? — озабоченно сказал он. — Времени разбираться у меня, сами понимаете, не было.

— Ничего, старина, все будет в порядке... — Я поднял руку, чтобы похлопать его по плечу, и застонал от боли. — Сейчас я его возьму в оборот.

— Мне уйти? — спросил Симонэ.

— Нет уж, вы лучше останьтесь. А то как бы он не взял в оборот меня. Принесите еще воды... на случай обмороков...

— И бренди! — с энтузиазмом сказал Симонэ.

— Правильно, — сказал я. — Мы его живо приведем в порядок. Только никому не говорите, что случилось.

Симонэ принес еще воды и початую бутылку коньяку. Я разжал Хинкусу рот и влил в него полстакана чистого. Еще полстакана чистого выпил я сам. Симонэ, предусмотрительно запасшийся вторым стаканом, выпил с нами за компанию. Потом мы оттащили Хинкуса к стенке, прислонили его спиной, я снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Он открыл глаза и громко задышал.

— Еще коньяку? — спросил я.

— Да... — сипло выдохнул он.

Я дал ему еще коньяку. Он облизнулся и решительно произнес:

— Что вы там говорили насчет семьдесят второй «д»?

— Там видно будет, — сказал я.

Он помотал головой и сморщился.

— Нет, так не пойдет. Мне бессрочная и так обеспечена.

— Wanted and listed? — сказал я.

— В точности так. У меня теперь только один интерес: уклониться от галстука. И между прочим, все шансы у меня есть — к Олафу я отношения не имею, сами знаете, а тогда что остается? Незаконное ношение оружия? Ерунда, это еще доказать надо, что я его носил...

— А нападение на инспектора полиции?

— Так об этом и речь!.. — сказал Хинкус, осторожно ощупывая макушку. — По-моему, так никакого нападения и не было, а было одно только сплошное чистосердечное признание до начала официального следствия. Как ваше мнение, шеф?

— Признания пока не было, — напомнил я.

— Сейчас будет, — сказал Хинкус. — Но вот в присутствии этого физика-химика обещаете, шеф? Семьдесят вторую «д» — обещаете?

— Ладно, — сказал я. — Для начала будем считать, что имела место драка на личной почве в состоянии опьянения. То есть это ты был в состоянии опьянения, а я тебя урезонивал.

Симонэ заржал.

— А я что? — спросил он.

— А вы помогли мне справиться... Ладно, хватит болтать. Рассказывай, Филин. И смотри, если ты хоть слово соврешь. Ты мне два зуба расшатал, сволочь!..

Он только глянул на меня своими желтенькими глазками и заговорил:

— Значит, так, — начал он. — Меня намылил сюда Чемпион. Слыхали про Чемпиона? Еще бы не слыхали... Так вот, в позапрошлый месяц откопал Чемпион где-то одного типа. Где он его откопал, чем его на крючок взял, я не знаю, и настоящего его имени я тоже не знаю. У нас его звали Вельзевулом. Правильно звали, жуткий тип... Сработал он нам всего два дела, но зато дела были для простого человека ну никак не подъемные, и сработал он их чисто, красиво... да вы и сами знаете. Второй Национальный банк — раз, броневик с золотыми слитками — два. Знакомые дела, шеф, а? То-то! Дела эти вы не раскрыли, а кого вы посажали, те в полной мере ни при чем, это вам самим хорошо известно. В общем, сработал он нам эти два дела и вдруг решил завязать. Почему — это вопрос особый, но Вельзевул наш рванул когти, и нас намылили кого куда ему наперехват. Засечь его, взять на мушку и свистнуть Чемпиону... Ну, а в крайнем случае было велено кончать Вельзевула на месте. Вот я его и засек, и тут все мое чистосердечное признание.

— Так, — сказал я. — Ну, а кто у нас здесь в отеле Вельзевул?

— Тут я, как вы правильно сказали, дал маху, шеф. Это вы мне глаза открыли, а я-то грешил на этого фокусника, на Барнстокра. Во-первых, вижу — магические штучки, разные фокусы. А во-вторых, подумал: если Вельзевул захочет под кого-нибудь замаскироваться, то под кого? Чтобы без лишнего шума... Ясно — под фокусника!

— Что-то ты тут путаешь, — сказал я. — Фокусы — ладно. Но ведь Барнстокр и Мозес — это небо и земля. Один — тощий, длинный, другой

— толстый, приземистый...

Хинкус махнул рукой.

— Я его в разных видах видал, и толстым, и тонким. Никто не знает, какой вид у него натуральный... Это вам надо понять, шеф. Вельзевул — он ведь не простой человек. Он — колдун, оборотень! У него власть над нечистой силой...

— Понес, понес, — сказал я предостерегающе.

— Правильно, — согласился Хинкус. — Конечно, никто не поверит, кто сам не видел... А вот, например, баба эта, с которой он разъезжает, кто это, по-вашему, шеф? Я ведь своими глазами видел, как она сейф в две тонны весом выворотила и несла по карнизу. Под мышкой несла. Была она тогда маленькая, щупленькая, ни дать ни взять — ребенок, подросточек, вроде Барнстокровой этой девчонки... а ручищи — во, метра два... да что там — метра три длиной...

— Филин, — сказал я строго. — Хватит врать.

Хинкус снова махнул рукой и приуныл было, но, впрочем, тут же оживился.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Пускай я вру. Но вот я, извиняюсь, вас голыми руками положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый, умелый... Так сами подумайте, кто мог меня таким манером скрутить, как младенца, и засунуть под стол?

— Кто? — спросил я.

— Она! Теперь-то я усек, как все это случилось. Он меня, гад, узнал, запомнил. И когда он увидел, что я сижу на крыше и живьем его из дома не выпущу, он и наслал на меня свою бабу. Под моим же видом наслал... — В глазах у Хинкуса всплеснулся пережитый ужас. — Матерь пресвятая, сижу я там, а оно стоит передо мной, то есть я сам и стою — голый, покойник, и глаза вытекли... Как я там со страха не подох, как с ума не сошел — не понимаю. Три раза в отключку уходил, ей-богу... И главное, пью и ведь не пьянею, как на землю лью... Это надо же, — проник, значит, он, что у меня в черепушке не того, не все в порядке, наследственное это у меня, от папаши досталось. Тому, бывало, тоже всякое чудилось — как схватит ружье, как начнет палить... Вот Вельзевул и решил: либо с ума меня свести, либо запугать до потери сознания, чтобы я слинял у него с глаз долой. А когда увидел, что не получается, ну, делать нечего, тут он силу и применил...

— А почему он тебя попросту не прихлопнул? — спросил я.

Хинкус затряс головой.

— Нет, этого он не может. Ведь, если правду вам сказать, почему он

завязал? Когда броневик брали, сами знаете, охрану нам пришлось убрать. Ребята погорячились, а получается вроде бы, что кровь-то на нем, на Вельзевуле... А у него вся чародейская сила пропасть может, если он человеческую жизнь погубит. Чемпион нам так и сказал. А то разве кто-нибудь посмел бы его выслеживать? Да упаси бог!

— Ну, допустим, — проговорил я неуверенно.

Я опять ничего не понимал. Хинкус, как он и сам признался, был несомненно психом. Но в его сумасшествии была своя логика. В рамках этого сумасшествия все концы сходились с концами, и даже серебряные пули находили свое место в общей картине. И все это каким-то странным образом переплеталось с реальной действительностью. Сейф из Второго Национального и в самом деле исчез удивительно, загадочно и необъяснимо — «растворился в воздухе», разводили руками эксперты, и единственные следы, которые вели из помещения, вели как раз на карниз. А свидетели ограбления броневика, словно сговорившись, упорно твердили под присягой, будто все началось с того, что какой-то человек ухватил броневик под днище и перевернул эту махину набок... Черт его знает, как все это понимать.

— Ну, а серебряные пули? — на всякий случай спросил я. — Почему пистолет заряжен серебряными пулями?

— Потому и заряжен, — снисходительно пояснил Хинкус. — Свинцовой пулей оборотня не возьмешь. Чемпион с самого начала на всякий случай подготовил серебряные бананчики, подготовил и Вельзевулу показал: вот, мол, смерть-то твоя, имей, мол, в виду, не рыпайся.

— А почему же они остались в отеле? — сказал я. — Тебя связали, а сами остались...

— Этого я не знаю, — признался Хинкус. — Этого я сам не понимаю. Я как утром увидел Барнстокра, так прямо обалдел. Я ведь думал, их тут давным-давно и след простыл... Тьфу, не Барнстокра, конечно... Но я-то думал тогда, что Барнстокр... В общем, Вельзевул здесь, а почему он здесь остался, этого я не знаю. Может быть, тоже не может через завал перебраться?.. Он хоть и колдун, но не господь же бог. Летать, например, он не умеет, это уж точно известно. Через стены проходить — тоже... Правда, ежели подумать, баба эта его — или кто она там есть — любой завал могла бы расковырять в два счета. Присобачил бы он ей вместо рук ковши, как у экскаватора, и готово дело...

Я повернулся к Симонэ.

— Ну, — сказал я, — а что скажет по этому поводу наука?

Лицо Симонэ меня удивило. Физик был очень серьезен.

— В рассуждениях господина Хинкуса, — произнес он, — есть по крайней мере одна очень интересная деталь. Вельзевул у него не всемогущ. Чувствуете, инспектор? Это очень важно. И очень странно. Казалось бы, в фантазиях этих темных невежественных людей никаких законов и ограничений быть не должно. Но они есть... А как, собственно, был убит Олаф?

— Этого я не знаю, — решительно сказал Хинкус. — Об Олафе ничегошеньки не знаю, шеф. Как на духу говорю. — Он прижал руку к сердцу. — Могу только сказать, что Олаф — не наш, и ежели его действительно прикончил Вельзевул, то не понимаю — зачем... Тогда вообще получается, что Олаф не человек, а какая-нибудь погань, вроде самого Вельзевула... Я же говорю, нельзя Вельзевулу людей убивать. Что он — враг себе, что ли?

— Так-так-так, — сказал Симонэ. — А как же все-таки был убит Олаф, инспектор?

Я коротко изложил ему факты: про запертую изнутри дверь, про свернутую шею, про пятна на лице, про аптечный запах. Рассказывая, я, не скрываясь, наблюдал за Хинкусом. Хинкус дергался, ежился, бегал глазами и, наконец, умоляюще попросил еще глоточек. Ясно было, что все это ему внове и пугает это его до содрогания. А Симонэ совсем нахмурился. Глаза у него стали отсутствующими, обнажились желтоватые зубы-лопаты. Дослушав, он тихонько выругался. Больше он ничего не сказал.

Я хлебнул коньяку и угостил Хинкуса — оба мы чувствовали себя неважно. Не знаю, как я, а Хинкус был совсем зеленый и время от времени осторожно ощупывал голову. Потом я оставил физика размышлять и снова взялся за Хинкуса.

— А как же ты его, Филин, выследил? Ты же не знал заранее, в каком он обличье...

Несмотря на свою зеленоватость, Хинкус самодовольно усмехнулся.

— Это мы тоже умеем, — сказал он. — Не хуже вас, шеф. Во-первых, Вельзевул хоть и колдун, но дурак. Всюду за собой таскает свой кованый сундук. Таких во всем свете больше ни у кого нет. Мне одно и оставалось — расспрашивать, куда этот сундук поехал. Второе — деньгам счету не знает... Сколько из кармана достанет, столько и платит. Такие люди, сами понимаете, нечасто попадаются. Где он проехал, там одни только о нем и разговоры. Не фокус. В общем, выследил я его, я свое дело знаю... Ну, а что с Барнстокром осечка получилась — ничего не скажешь: напылил мне в глаза старикашка, чтоб ему пусто было. Леденцы эти его проклятые... А потом — захожу я в холл, сидит он там один, думает, что никто его не

видит, и в руках у него куколка какая-то деревянная. Так что он с этой куколкой делал, господи!.. Да, осечка тут у меня вышла, конечно...

— И потом он все время с этой женщиной... — сказал я задумчиво.

— Нет, — сказал Хинкус. — Женщина — это, шеф, не обязательно. Она не всегда при нем. Это когда на дело надо идти, он ее откуда-то раздобывает... Да и не женщина она вовсе, а тоже вроде оборотня... Куда она девается, когда ее нет, этого никто не знает.

Тут я поймал себя на том, что я, солидный, опытный полицейский, немолодой уже человек, сижу здесь и с полной серьезностью обсуждаю с полупомешанным бандитом всякие сказки насчет оборотней, чародеев и колдунов... Я виновато оглянулся на Симонэ и обнаружил, что физик исчез, а вместо него в дверях, прислонившись к косяку, стоит хозяин с винчестером под мышкой, и я вспомнил все его намеки, все эти его разговорчики насчет зомби, и его толстый указательный палец, совершающий многозначительные движения перед моим носом. Еще более устыдившись, я раскурил сигарету и с нарочитой строгостью сказал Хинкусу:

— Так. Хватит об этом. Ты видел когда-нибудь раньше этого однорукого?

— Какого однорукого?

— Ты сидел с ним рядом за столом.

— А, это который лимон жрал... Нет, в первый раз. А что?

— Ничего, — сказал я. — Когда должен был прибыть Чемпион?

— Вечером я его ждал. Не приехал. Теперь-то я понимаю — лавина.

— На что же ты, дурак, рассчитывал, когда напал на меня?

— А куда мне было деваться? — сказал Хинкус с тоской. — Сами посудите, шеф. Полицию мне было дожидаться ни к чему. Я человек известный, пожизненная мне обеспечена. Вот я и решил: отберу пистолет, шлепну кого надо, а сам подамся к завалу... либо сам как-нибудь переберусь, либо Чемпион меня подберет. Чемпион ведь сейчас тоже не спит, не думайте. Самолеты не только у полиции есть...

— Сколько человек должно прибыть с Чемпионом?

— Не знаю. Не меньше трех. Ну, конечно, самые отборные...

— Ладно, вставай, — сказал я и не без труда поднялся сам. — Пойдем, я тебя запру.

Хинкус, постанывая и кряхтя, тоже встал. Мы с хозяином повели его вниз, по черной лестнице, чтобы ни с кем не встречаться. В кухне мы все-таки встретили Кайсу, и, увидев меня, она взвизгнула и спряталась за плиту.

— Не визжи, дура, — строго сказал ей хозяин. — Горячую воду приготовь, бинты, йод... Сюда, Петер, в чулан его.

Я осмотрел чулан, и он мне понравился. Дверь закрывалась снаружи висячим замком и была крепкая, надежная. Других выходов и даже окон в чулане не было.

— Будешь сидеть здесь, — сказал я Хинкусу на прощание, — пока полиция не прилетит. И не вздумай проявлять какую-нибудь активность — пристрелю на месте.

— Ну да! — заныл Хинкус. — Филина под замок, а этот ходит на свободе, с него все как с гуся вода... Нехорошо, шеф. Несправедливо получается... И раненый я, башка болит...

Я не стал с ним разговаривать, запер дверь и сунул ключ в карман. Огромное количество ключей скопилось у меня в кармане. Еще пара часов, подумал я, и все ключи, какие есть в отеле, мне придется таскать на себе.

Потом мы пошли в контору, Кайса принесла воду и бинты, и хозяин принялся меня обрабатывать.

— Какое оружие есть в отеле? — спросил я у него.

— Винчестер, два охотничьих дробовика. Пистолет. Оружие есть, а вот кто из него будет стрелять?

— Н-да, — сказал я. — Тяжеловато.

Дробовики против пулеметов. Дю Барнстокр против отборных головорезов. Да и не будут они перестрелками заниматься, знаю я этого Чемпиона — сбросит с самолета какую-нибудь зажигательную пакость и перещелкает нас всех в чистом поле, как куропаток...

— Пока вы были наверху, — сообщил хозяин, ловко обмывая мне лоб вокруг ссадины, — сюда ко мне заявился Мозес. Положил на стол мешок с деньгами — именно мешок, я не преувеличиваю, Петер, — и потребовал, чтобы я все это тут же при нем положил в сейф. Он, видите ли, считает, что при таком положении дел его имущество находится в серьезной опасности.

— А вы? — спросил я.

— Тут я немного промахнулся, — признался хозяин. — Не сообразил и ляпнул ему, что ключи от сейфа у вас.

— Спасибо, Алек, — сказал я с горечью. — Вот теперь начнется охота на полицейского инспектора...

Мы помолчали. Хозяин обкручивал меня бинтами, мне было больно, прямо тошнило от боли. Должно быть, этот подонок все-таки сломал мне ключицу. Радиоприемник хрипел и потрескивал, передавали местные новости. О лавине в Бутылочном Горлышке не было сказано ни слова. Потом хозяин отступил на шаг и критически оглядел дело рук своих.

— Ну, вот так будет достаточно прилично, — сказал он.

— Спасибо, — сказал я.

Он взял таз и деловито осведомился:

— Кого вам прислать?

— К чертям, — сказал я. — Спать хочу. Возьмите винчестер, сядьте в холле и стреляйте в каждого, кто приблизится к этой двери. Мне нужно хоть часок поспать, иначе я сейчас упаду. Проклятые вурдалаки. Вонючие оборотни.

— У меня нет серебряных пуль, — кротко заметил хозяин.

— Так стреляйте свинцовыми, черт бы вас подрал! И прекратите разводить здесь ваши суеверия! Эта банда водит меня за нос, а вы им помогаете... Ставни у вас здесь есть на окне?

Хозяин поставил таз, молча подошел к окну и опустил железную штору.

— Так, — сказал я. — Хорошо... Нет, свет включать не надо... И вот еще что, Алек... Поставьте кого-нибудь... Симонэ или эту девчонку... Брюн... пусть следят за небом. Объясните им, что дело идет о жизни и смерти. Как только появится какой-нибудь самолет, пусть поднимают тревогу...

Хозяин кивнул, взял таз и пошел к двери. На пороге он остановился.

— Хотите мой совет, Петер? — сказал он. — Последний.

— Ну?

— Отдайте вы им чемодан, и пусть они убираются с ним прямо в свой ад, откуда они вышли. Неужели вы не понимаете: единственное, что их здесь держит, — это чемодан...

— Понимаю, — сказал я. — Уж это-то я понимаю очень хорошо. И именно поэтому я буду спать здесь на жестких стульях, упираясь головой в ваш проклятый сейф, и расстреляю серебряными пулями любую сволочь, которая попытается отобрать у меня чемодан. Если увидите Мозеса, передайте все это ему слово в слово. Выражений можете не смягчать. И скажите ему, что на стрелковых соревнованиях я брал призы именно с люгером калибра 0,45. Идите и оставьте меня в покое.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Наверное, это был служебный проступок. Помощи мне было ждать не от кого, а гангстеры могли налететь с минуты на минуту. Я мог рассчитывать только на то, что Чемпиону сейчас не до Вельзевула. Наткнувшись вчера вечером на завал, он наверняка растерялся и впопыхах вполне мог наделать глупостей — вроде попытки захватить вертолет на Мюрском аэродроме. Я знал, что полиция давно следит за этим бандитом, и надежда моя имела некоторые основания. А кроме того, я больше просто не держался на ногах. Проклятый Филин меня доконал. Я расстелил газеты и какую-то отчетность перед сейфом, придвинул конторку к двери, а сам улегся, положив люгер рядом с собою. Заснул я мгновенно, а когда проснулся, было уже начало первого.

В дверь негромко, но настойчиво стучали.

— Кто там? — гаркнул я, торопливо нащупывая рукоять люгера.

— Это я, — отозвался голос Симонэ. — Откройте, инспектор.

— Что, самолет?

— Нет. Но надо поговорить. Открывайте. Сейчас не время спать.

Он был прав. Спать было не время. Хрустя зубами от боли, я поднялся — сначала на четвереньки, а потом, упираясь в сейф, на ноги. Плечо болело ужасно. Бинт сполз на глаза, подбородок распух. Я включил свет, оттащил конторку от двери и повернул ключ. Затем я отступил, держа люгер наготове.

Вид у Симонэ был непривычно торжественный и деловой, хотя чувствовалось в нем и какое-то скрытое возбуждение.

— Ого! — сказал он. — Вы тут как в крепости. И совершенно напрасно: никто на вас не собирается нападать.

— Этого я не знаю, — сказал я угрюмо.

— Да вы здесь ничего не знаете, — сказал Симонэ. — Пока вы дрыхли, инспектор, я выполнил за вас всю вашу работу.

— Да что вы говорите? — произнес я язвительно. — Неужели Мозес уже в наручниках, а его сообщница арестована?

Симонэ нахмурился. Куда девался унылый шалун, еще вчера беспечно бегавший по стенам?

— В этом нет никакой необходимости, — сказал он. — Мозес ни в чем не виновен. Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, инспектор.

— Только не рассказывайте мне о вурдалаках, — попросил я,

усаживаясь на стул рядом с сейфом.

Симонэ усмехнулся.

— Никаких вурдалаков. Никакой мистики. Сплошная научная фантастика. Мозес — не человек, инспектор. Тут наш хозяин оказался прав. Мозес и Луарвик — это не земляне.

— Они прибыли к нам с Венеры, — сказал я понимающе.

— Этого я не знаю. Может быть, с Венеры, может быть, из другой планетной системы, может быть, из соседствующего пространства... Этого они не говорят. Важно то, что они — не люди. Мозес находится на Земле уже давно, больше года. Примерно полтора месяца назад он попал в лапы к гангстерам. Они его шантажировали, непрерывно держали на мушке. Ему еле-еле удалось вырваться и бежать сюда. Луарвик — что-то вроде пилота, он ведает переброской. Отсюда туда. Они должны были отбыть вчера в полночь. Но в десять часов вечера случилась какая-то авария, что-то у них там взорвалось в аппаратуре. В результате — обвал, и Луарвику пришлось добираться сюда на своих двоих... Им надо помочь, инспектор. Это просто наша обязанность. Если гангстеры поспеют сюда раньше полиции, они их убьют.

— Нас тоже, — сказал я.

— Возможно, — согласился он. — Но это наше, земное дело. А если мы допустим убийство инопланетников, это будет позор.

Я смотрел на него и уныло думал: нет, слишком много все-таки сумасшедших в этом отеле. Вот вам и еще один псих.

— Короче, что вам от меня надо? — спросил я.

— Отдайте им аккумулятор, Петер, — сказал Симонэ.

— Какой аккумулятор?

— В чемодане — аккумулятор. Энергия для обоих роботов. Олаф не убит. Он вообще не живое существо. Он — робот, и госпожа Мозес тоже. Это роботы, им нужна энергия для того, чтобы они могли функционировать. В момент взрыва погибла их энергетическая станция, прекратилась подача энергии, и все их роботы в радиусе ста километров оказались, так сказать, обесточены. Некоторые, наверное, успели подключиться к своим портативным аккумуляторам. Госпожу Мозес подключил к аккумулятору сам Мозес... а я, если помните, принял ее за мертвую. А вот Олаф почему-то подключиться не успел...

— Ага, — сказал я. — Не успел он подключиться, упал, да так ловко, что свернул себе шею. Вывернул ее, понимаете ли, на сто восемьдесят градусов...

— Вы совершенно напрасно язвите, — сказал Симонэ. — Это у них

квазиагонические явления. Выворачиваются суставы, несимметрично напрягаются псевдомышцы... Я ведь так и не успел вам сказать: у госпожи Мозес тоже была свернута шея...

— Ну ладно, — сказал я. — Квазимышцы, псевдосвязки... Вы же не мальчик, Симонэ, вы должны понимать: если пользоваться арсеналом мистики да фантастики, можно объяснить любое преступление, и всегда это будет очень логично. Но разумные люди в такую логику не верят.

— Я ожидал этого возражения, Петер, — сказал Симонэ. — Все это очень легко проверить. Отдайте им аккумулятор, и они в вашем присутствии снова включат Олафа. Ведь хотите же вы, чтобы Олаф снова был жив...

— Не пойдет, — сказал я сразу.

— Почему? Вы не верите — вам предлагают доказательства. В чем дело?

Я взялся за свою бедную забинтованную голову.

Действительно, в чем дело? Для чего я слушаю этого болтуна? Дать ему в руки винтовку и погнать на крышу как доброго гражданина, обязанного содействовать закону. А Мозесов запереть в подвале. И Луарвика туда же. Подвал бетонированный, прямое попадание выдержит... И Барнстокров туда же, и Кайсу. И будем держаться. А в самом крайнем случае я этих Мозесов выдам. С Чемпионом шутки плохи. Дай бог, чтобы он согласился на переговоры...

— Ну, что же вы молчите? — сказал Симонэ. — Сказать нечего?

Но мне было что сказать.

— Я не ученый, — медленно проговорил я. — Я — полицейский чиновник. Слишком много вранья накручено вокруг этого чемодана... Погодите, не перебивайте. Я вас не перебивал... Я готов во все это поверить. Пожалуйста. Пусть Олаф и эта баба — роботы. Тем хуже. Госпожа Мозес уже совершила... то есть ее руками уже совершено несколько преступлений. Такие страшные орудия в руках гангстеров — слуга покорный. Если бы я мог, я бы с удовольствием выключил и госпожу Мозес тоже. А вы предлагаете мне, полицейскому, вернуть гангстерам орудия преступления! Понимаете, что у вас получается?

Симонэ в затруднении похлопал себя по темени.

— Слушайте, — сказал он. — Если налетят гангстеры, нам всем конец. Ведь вы наврали насчет почтовых голубей? На полицию ведь рассчитывать не приходится, так? А если мы поможем бежать Мозесу и Луарвику, у нас хоть совесть будет чиста.

— Это у вас она будет чиста, — сказал я. — А у меня она будет

замарана по самые уши. Полицейский своими руками помогает бежать бандитам.

— Они не бандиты! — сказал Симонэ.

— Они бандиты! — сказал я. — Они самые настоящие гангстеры. Вы же сами слышали показания Хинкуса. Мозес был членом банды Чемпиона. Мозес организовал и произвел несколько преступно дерзких нападений, нанеся государству и частным лицам огромный урон. Если вам угодно знать, Мозесу полагается не менее двадцати пяти лет каторжной тюрьмы, и я обязан сделать все, чтобы он получил эти двадцать пять лет.

— Черт возьми, — сказал Симонэ. — Вы что, не понимаете? Его запутали! Его шантажом втянули в эту банду! У него не было никакого выхода!

— В этом будет разбираться суд, — сказал я холодно.

Симонэ откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня прищурившись.

— А вы, однако, порядочная дубина, Глебски, — сказал он. — Не ожидал.

— Придержите язык, — сказал я. — Идите и занимайтесь своими делами. Что там у вас в программе? Чувственные удовольствия?

Симонэ покусал губу.

— Вот тебе и первый контакт, — пробормотал он. — Вот тебе и встреча двух миров.

— Не капайте мне на мозги, Симонэ, — сказал я зло. — И уходите отсюда. Вы мне надоели.

Он поднялся и пошел к двери. Голова его была опущена, плечи ссутулились. На пороге он остановился и сказал, полуобернувшись:

— А ведь вы пожалеете об этом, Глебски. Вам будет стыдно, очень стыдно.

— Возможно, — сказал я сухо. — Это мое дело... Кстати, вы стрелять умеете?

— Да.

— Это хорошо. Возьмите у хозяина винтовку и идите на крышу. Возможно, нам всем скоро придется стрелять.

Он молча вышел. Я осторожно погладил вспухшее плечо. Ну и отпуск. И чем все это кончится — неясно. Черт побери, неужели это действительно пришельцы? Уж больно здорово все совпадает... «Вам будет стыдно, Глебски»... Что ж, может быть, и будет. А что делать? Хотя в общем-то, какая мне разница, пришельцы они или нет? Где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки? Землянам, видите ли, не

разрешается, а пришельцам — можно... Ладно. Что же мне все-таки делать? Того и гляди начнется осада, а гарнизон у меня совершенно ненадежный.

На всякий случай я снял телефонную трубку. Ничего. Мертвая тишина. Все-таки скотина этот Алек. Не мог запастись аварийной сигнализацией. А вдруг сейчас бы у кого-нибудь приступ аппендицита? Торгаш несчастный, только бы ему деньги тянуть с клиентов...

В дверь снова постучали, и я снова поспешно схватился за люгер. На этот раз меня почтил вниманием сам господин Мозес, собственной персоной, — он же оборотень, он же венерианец, он же старая брюква с неизменной кружкой в руке.

— Сядьте у двери, — сказал я. — Вон стул.

— Я могу и постоять, — пророкотал он, глядя на меня исподлобья.

— Дело ваше, — сказал я. — Что вам нужно?

Все так же вызверяясь, он отхлебнул из кружки.

— Какие вам еще нужны доказательства? — спросил он. — Вы губите нас. Все это понимают. Все, кроме вас. Что вам от нас нужно?

— Кто бы вы ни были, — сказал я, — вы совершили ряд преступлений. И вы за них будете отвечать.

Он шумно потянул носом, подошел к стулу и сел.

— Конечно, мне, наверное, уже давно нужно было обратиться к вам, — сказал он. — Но я все время надеялся, что как-нибудь обойдется и мне удастся избежать контакта с официальными лицами. Если бы не эта проклятая авария, меня бы здесь уже давно не было. Не было бы никакого убийства. Вы нашли бы связанного Филина и размотали бы клубок всех преступлений, которые совершил Чемпион с моей помощью. Я клянусь, что все убытки, которые принесло вам мое пребывание здесь, будут возмещены. Частично я возмещаю их немедленно — я готов вручить вам ассигнации государственного банка общей суммой на миллион крон. Остальное ваше государство получит золотом, чистым золотом. Что вам еще нужно?

Я смотрел на него, и мне было нехорошо. Мне было нехорошо, потому что я ему сочувствовал. Я сидел лицом к лицу с явным преступником, слушал его и сочувствовал ему. Это было какое-то наваждение, и, чтобы избавиться от этого наваждения, я сухо спросил:

— Это вы изгадили мой стол и наклеили записку?

— Да. Я боялся, что иначе записку сдует сквозняком. А главное, я хотел, чтобы вы сразу поняли, что это не мистификация.

— Золотые часы?..

— Тоже я. И браунинг. Мне нужно было, чтобы вы поверили, чтобы

заинтересовались Хинкусом и арестовали его.

— Это было очень неуклюже сделано, — сказал я. — Все получилось наоборот. Я понял это так, что Хинкус — никакой не гангстер, а просто кому-то выгодно выдать его за гангстера.

— Да? — сказал Мозес. — Вот, значит, в чем дело... Ну что ж, этого следовало ожидать. Не умею я такие вещи... не для того я здесь...

Я снова ощутил прилив сочувствия и снова попытался взвинтить себя.

— Все у вас как-то неуклюже получается, господин Вельзевул, — сказал я. — Ну, какой же вы к чертовой матери пришелец? Вы просто негодяй. Богатый, развратный, до предела обнаглевший негодяй. И притом еще пьяница...

Мозес отхлебнул из кружки.

— И роботы ваши... — продолжал я. — Самка из светского салона... Спортсмен-викинг... Роботы у вас не роботы, а какие-то, понимаете, половые неврастеники. Неужели вы хоть на секунду можете себе вообразить, что я поверю, будто это роботы?

— То есть вы хотите сказать, что наши роботы слишком похожи на людей? — спросил Мозес. — Но согласитесь, нам иначе нельзя. Это довольно точные копии людей, которые существуют на самом деле. Почти двойники... — Он снова отхлебнул из кружки. — А что касается меня, инспектор, то я, к сожалению, не могу показаться вам в своем истинном обличье. К сожалению — потому что тогда бы вы сразу поверили мне.

— Рискните, — сказал я. — Покажитесь. Я как-нибудь переживу.

Он покачал головой.

— Во-первых, вряд ли вы так уж легко это переживете, — грустно сказал он. — А во-вторых, вряд ли я это переживу. Господин Мозес, которого вы видите, это скафандр. Господин Мозес, которого вы слышите, это трансляционное устройство. Но может быть, мне придется рискнуть — я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется, что убедить вас иначе совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он-то здесь совсем ни при чем...

И тут я наконец рассвирепел.

— Куда отпущу? — заорал я. — Разве я вас держу? Что вы мне все врете? Если вам нужно было уйти, вы бы давно ушли! Перестаньте врать, говорите правду: что это за чемодан? Что в нем? Вы мне долбите, что вы пришельцы. А я склонен полагать, что вы просто банда иностранных шпионов, укравших ценную аппаратуру...

— Нет! — сказал Мозес. — Нет! Все совсем не так. Наша станция

разрушена, ее может починить только Олаф. Он — робот-смотритель этой станции, понимаете? Конечно, мы бы ушли давным-давно, но куда нам идти? Без Олафа мы совершенно беспомощны, а Олаф выключен, и вы не даете нам аккумулятор!

— И опять вранье! — сказал я. — Госпожа Мозес ведь тоже робот, как я понял! У нее, как я понял, тоже есть аккумулятор...

Он закрыл глаза и замотал головой, так что затряслись землистые его щеки.

— Ольга — простое рабочее устройство. Носильщик, землекоп, телохранитель... Ну неужели вы не понимаете, что нельзя одним и тем же горючим питать... ну, я не знаю... грубый трактор, например, и телевизор... Это же принципиально разные системы...

— У вас на все готов ответ, — угрюмо сказал я. — Но я не эксперт. Я простой полицейский. Я не уполномочен вести переговоры с вурдалаками и пришельцами. Я обязан передать вас в руки закона, вот и все. Кто бы вы ни были на самом деле, вы находитесь на территории моей страны и подлежите ее юрисдикции. — Я встал. — С этой минуты считайте себя арестованным, Мозес. Я не намерен запирать вас, я догадываюсь, что это бессмысленно. Но если вы попытаетесь бежать, я буду стрелять. И напоминаю: все, что вы с этой минуты скажете, может быть обращено против вас на суде.

— Так, — сказал он, помолчав. — Со мной вы решили. Пусть будет так. — Он отхлебнул из кружки. — Ну, а Луарвик-то в чем виноват? Против него-то вы ничего не можете иметь... Заприте меня и отдайте чемодан Луарвику. Пусть по крайней мере хоть он спасется...

Я снова сел.

— Спасется... При чем здесь — спасется? Почему это вы так уверены, что Чемпион настигнет вас? Может быть, он давным-давно лежит под обвалом... может быть, его уже сцапали... да и самолет достать не так-то легко... Если вы действительно невиновны, то почему вы так паникуете? Подождите сутки-другие. Прибудет полиция, я сдам вас на руки властям, власти соберут экспертов, специалистов...

Он затряс щеками.

— Плохо, не годится. Во-первых, мы не имеем права входить в организованный контакт. Я здесь всего-навсего наблюдатель. Я наделал ошибок, но все это поправимые ошибки... Неподготовленный контакт может иметь и для вашего, и для нашего мира самые ужасные последствия... Но даже не это сейчас самое главное, инспектор. Я боюсь за Луарвика. Он не кондиционирован для ваших условий, никогда не

предполагалось, что ему потребуется провести на вашей планете более суток. А у него вдобавок поврежден скафандр, вы же видите — нет руки... Он уже отравлен... он слабеет с каждым часом...

Я стиснул зубы. Да, у него на все был готов ответ. Мне не за что зацепиться. Мне ни разу не удалось поймать его. Все было безукоризненно логично. Я был вынужден признать, что, если бы речь не шла обо всех этих скафандрах, контактах и псевдомышцах, такие показания удовлетворили бы меня полностью. Я испытывал жалость и был склонен идти навстречу, я терял непредубежденность...

В самом-то деле. Юридические претензии у меня были только к Мозесу. Луарвик был формально чист. Конечно, он тоже мог быть сообщником, но... Настоящий уголовник никогда не предложит себя в заложники. Мозес предлагал. Ну хорошо, запереть Мозеса и... Что «и»? Отдать Луарвику аппарат? Что я знаю про этот аппарат? Только то, что мне сказал Мозес. Да, все, что говорит Мозес, звучит правдоподобно. А если это просто удачная интерпретация совершенно иных обстоятельств? Если я просто не нашел вопроса, который бы разрушил эту удачную интерпретацию?..

Если отбросить все слова, правдивы они или нет, — налицо два несомненных факта. Закон требует, чтобы я задержал этих людей впредь до выяснения обстоятельств. Вот факт номер один. А вот факт номер два: эти люди хотят уйти. Неважно, от чего они в действительности хотят уйти — от закона, от гангстеров, от преждевременного контакта или еще от чего-нибудь... Они хотят уйти.

Вот два факта, и они абсолютно противостоят друг другу...

— Что там у вас вышло с Чемпионом? — угрюмо спросил я.

Он исподлобья взглянул на меня, лицо его перекосилось. Потом он опустил глаза и стал рассказывать.

Если отвлечься от зомбизма-момбизма и всяких там псевдосвязок, это была совершенно банальная история вполне заурядного шантажа. Примерно два месяца назад господин Мозес, у которого были достаточно веские основания скрывать от официальных лиц не только свои истинные занятия, но и самый факт своего существования, начал ощущать признаки назойливого и пристального внимания к своей особе. Он попытался переменить местожительство. Это не помогло. Он попытался отпугнуть преследователей. Это тоже не помогло. В конце концов, как это всегда бывает, к нему явились и предложили полюбовную сделку. Он окажет посильное содействие в ограблении Второго Национального, ему заплатят за это молчанием. Разумеется, его заверили, что беспокоят его в первый и

последний раз. Как водится, он отказывался. Как водится, они настаивали. Как водится, он в конце концов согласился.

Мозес утверждал, что иного выхода у него не было. Смерти как таковой он не боялся: они там все умеют преодолевать страх смерти. На этом этапе он мог даже не особенно опасаться попыток разоблачения: свернуть свои мастерские и остаться просто богатым бездельником ему ничего не стоило, а свидетельства агентов Чемпиона, пострадавших при столкновении с роботами, вряд ли были бы приняты всерьез. Но и смерть, и разоблачение грозили надолго приостановить громадную работу, которая была успешно начата несколько лет назад. Короче говоря, он рискнул уступить Чемпиону, тем более что убытки, понесенные Вторым Национальным, ему нетрудно было бы впоследствии возместить чистым золотом.

Дельце провернули, и Чемпион действительно исчез с горизонта. Впрочем, всего на месяц. Через месяц он объявился вновь. На этот раз шла речь о броневике с золотом. Но теперь положение существенно изменилось. Мудрый Чемпион предъявил злосчастной жертве показания восьми свидетелей, исключавшие для Мозеса хоть какую-нибудь возможность алиби, плюс кинопленку, на которой была запечатлена вся процедура ограбления банка, — не только три или четыре гангстера, готовых пойти на отсидку за приличный гонорар, но и Ольга с сейфом под мышкой, и сам Мозес с неким аппаратом («форсаж-генератором») в руках. В случае отказа Мозесу грозила уже не дешевая газетная шумиха. Теперь ему грозило формальное судебное преследование, а значит, и полное разоблачение всех его тайн, а значит, преждевременный контакт на чудовищно невыгодных для его стороны условиях. Как и многие другие жертвы шантажа, уступая в первый раз, Мозес всего этого не предусмотрел.

Положение было ужасно. Отказ означал преступление перед своими. Согласие ничего не меняло в его положении, потому что теперь-то он понимал, какая железная рука держит его за горло. Бежать в другой город, в другую страну не имело смысла: он уже убедился, что рука у Чемпиона не только железная, но и длинная. Немедленно бежать с Земли он тоже не мог: подготовка транспорта требовала десяти-двенадцати земных суток. Тогда он связался со своими и потребовал эвакуации в кратчайшие сроки. Да, он был вынужден совершить еще одно преступление — теперь это означало только увеличение долга, лишние триста тридцать пять килограммов золота, стоимость необходимой отсрочки. Когда подошло время, он бежал, обманув агентуру Чемпиона своим двойником. Он знал, что за ним будет

погоня, он знал, что Хинкусы рано или поздно нападут на его след, — он только надеялся, что ему удастся опередить их...

— Вы можете верить или не верить, инспектор, — закончил Мозес. — Но я хочу, чтобы вы поняли: есть всего две возможности. Либо вы отдаете нам аккумулятор, и тогда мы попытаемся спастись. Повторяю, в этом случае все убытки, понесенные вашими согражданами, будут полностью возмещены. Либо... — Он отхлебнул из кружки. — Постарайтесь, пожалуйста, это понять, инспектор. Я не имею права попасть живым в руки официальных лиц. Понимаете, это мой долг. Я не могу рисковать будущим наших миров. Это будущее еще только начинается. Я провалился, но я ведь первый, а не последний наблюдатель на вашей Земле. Это вы понимаете, инспектор?

Я понимал только одно: дело мое дрянь.

— Чем вы, собственно, здесь занимаетесь? — спросил я.

Мозес покачал головой.

— Я не могу вам этого сказать, инспектор. Я исследовал возможности контакта. Я его готовил. А конкретно... Да это к тому же и очень сложно, инспектор. Вы ведь не специалист.

— Идите, — сказал я. — И позовите сюда Луарвика.

Мозес грузно поднялся и вышел. Я оперся локтями на стол и положил голову на руки. Люгер приятно холодил правую щеку. Мельком я подумал, что таскаюсь теперь с этим люгером, как Мозес со своей кружкой. Я был смешон. Я был жалок. Я ненавидел себя. Я ненавидел Згута с его дружескими советами. Я ненавидел всю эту банду, собравшуюся здесь. Верить или не верить... В том-то и дело, черт возьми, что я верил. Я не первый год работаю, я чувствую, когда люди говорят правду. Но ведь люди же, люди! А если я поверил, то они для меня уже не люди!.. Да я просто не имею права верить. Это просто самоубийство — верить! Это значит — взять на себя такую ответственность, на которую я не имею никакого права, которой я не хочу, не хочу, не хочу... Она раздавит меня, как клопа! Представить было страшно, что станут говорить в Управлении об этой истории. Ловец Привидений, Охотник за Пришельцами... Ладно, Хинкуса я, во всяком случае, поймал. И Мозеса я тоже не выпущу! Пусть будет что будет, а тайна Второго Национального и тайна золотого броневика раскрыты. Вот так-то. А если здесь замешана межпланетная политика, так я — простой полицейский, пусть политикой занимается тот, кому это положено... В обморок бы сейчас брякнуться, подумал я с тоской. И пусть делают что хотят...

Дверь скрипнула, и я встрепенулся. Но это был не Луарвик. Вошли

Симонэ и хозяин. Хозяин поставил передо мной чашку кофе, а Симонэ взял у стены стул и уселся напротив меня. Мне показалось, что он сильно осунулся и даже как-то пожелтел.

— Ну, что вы надумали, инспектор? — спросил он.

— Где Луарвик? Я вызывал Луарвика.

— Луарвику совсем плохо, — сказал Симонэ. — Мозес делает ему какие-то процедуры. — Он неприятно оскалился. — Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок. Я знаю вас, правда, всего два дня, но никак не мог ожидать, что вы окажетесь всего-навсего чучелом с золотыми пуговицами.

Свободной рукой я взял чашку, поднес ее ко рту и поставил обратно. Не мог я больше пить кофе. Меня уже тошнило от кофе.

— Отстаньте вы от меня. Все вы болтуны. Алек заботится только о своем заведении, а вы, Симонэ, просто интеллектуал на отдыхе...

— А вы-то? — сказал Симонэ. — Вы-то о чем заботитесь? Бляху лишнюю вам захотелось на мундир?

— Да, — холодно сказал я. — Бляху. Люблю, знаете ли, бляхи.

— Вы мелкая полицейская сошка, — сказал Симонэ. — В кои-то веки судьба вам бросила кусок. В первый и последний раз в жизни. Звездный час инспектора Глебски! В ваших руках оказалось действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый...

— Заткнитесь, — сказал я устало. — Перестаньте болтать и хоть минуту просто подумайте. Оставим в стороне то, что Мозес — обыкновенный преступник. Вы, я вижу, ни черта не смыслите в законе. Вы, кажется, воображаете, будто существует один закон для людей и другой закон для вурдалаков. Но оставим в стороне все это. Пусть они пришельцы. Пусть они жертвы шантажа. Великий контакт... — Я вяло помахал рукой с люгером. — Дружба миров и так далее... Вопрос: что они делают у нас на Земле? Мозес сам признался, что он наблюдатель. За чем он, собственно, наблюдает? Что им здесь понадобилось?.. Не скальтесь, не скальтесь... Мы здесь с вами занимаемся фантастикой, а в фантастических романах, насколько я помню, пришельцы на Земле занимаются шпионажем и готовят вторжение. Как, по вашему мнению, в такой ситуации должен поступать я, чиновник с золотыми пуговицами? Должен я исполнить свой долг или нет? А вы сами, Симонэ, как землянин, что вы думаете о своем долге?

Симонэ молча щерился, уставясь на меня. Хозяин прошел к окну и поднял штору. Я оглянулся на него.

— Зачем вы это сделали?

Хозяин ответил не сразу. Прижимаясь лицом к стеклу, он оглядывал

небо.

— Да вот все посматриваю, Петер, — медленно сказал он, не оборачиваясь. — Жду, Петер, жду... Вы бы приказали девочке вернуться в дом. Там, на снегу, она прямо готовая мишень... Меня она не слушает...

Я положил люгер на стол, взял чашку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. Готовая мишень... Все мы здесь — готовые мишени... И вдруг я ощутил, как сильные руки взяли меня сзади за локти. Я открыл глаза и дернулся. Боль в ключице была такой острой, что я едва не потерял сознание.

— Ничего, Петер, ничего, — ласково сказал хозяин. — Потерпите.

Симонэ с озабоченным и виноватым видом уже засовывал люгер к себе в карман.

— Предатели!.. — сказал я с удивлением.

— Нет-нет, Петер, — сказал хозяин. — Надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая.

Симонэ, осторожно зайдя сбоку, похлопал меня по карману. Ключи звякнули. Заранее покрывшись потом в ожидании жуткой боли, я рванулся изо всех сил. Это ничем не кончилось, и, когда я опомнился, Симонэ уже выходил из комнаты с чемоданом в руке. Хозяин, все еще придерживая меня за локти, тревожно говорил ему вслед:

— Поторапливайтесь, Симонэ, поторапливайтесь, ему плохо...

Я хотел заговорить, но у меня перехватило горло, и я только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился надо мной.

— Господи, Петер, — проговорил он, — на вас лица нет...

— Бандиты... — прохрипел я. — Арестанты...

— Да, да, конечно, — покорно согласился хозяин. — Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь... ведь вам же очень больно, а я вас пока все равно не выпущу...

Да, не выпустит. Я и раньше видел, что он здоровый медведь, но такой хватки все-таки не ожидал. Я откинулся на спинку стула и перестал сопротивляться. Меня мутило, тупое безразличие овладело мною. И где-то на самом донышке души слабо тлело чувство облегчения — ситуация больше не зависела от меня, ответственность взяли на себя другие. По-видимому, я снова потерял сознание, потому что оказался вдруг на полу, а хозяин стоял рядом со мной на коленях и смачивал мне лоб мокрой ледяной тряпкой. Едва я открыл глаза, он поднес к моим губам горлышко бутылки. Он был очень бледен.

— Помогите мне сесть, — сказал я.

Он беспрекословно повиновался. Дверь была распахнута настежь, по

полу тянуло холодом, слышались возбужденные голоса, потом что-то грохнуло, затрещало. Хозяин болезненно сморщился.

— Проклятый сундук, — произнес он сдавленным голосом. — Опять они мне косяк разворотили...

Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой:

— Готовы? Вперед!.. Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!..

Голос Симонэ прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клекота и свиста. И стало тихо. Я поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом, широкое лицо его было белое и рыхлое, как вата, по лбу стекал пот. Он беззвучно шевелил губами — наверное, молился.

Мы вышли в пустой холл, по которому гулял ледяной ветер, и хозяин пробормотал: «Давайте выйдем, Петер, вам надо подышать свежим воздухом...» Я оттолкнул его и двинулся к лестнице. Мимоходом я с глубоким злорадством отметил, что входная дверь снесена начисто. На лестнице, на первых же ступеньках, мне стало дурно, и я вцепился в перила. Хозяин попытался поддержать меня, но я снова отпихнул его здоровым плечом и сказал: «Убирайтесь к черту, слышите?..» Он исчез. Я медленно пополз по ступенькам, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и побрел в свой номер. Дверь номера Олафа была распахнута настежь, там было пусто, резкий аптечный запах расползался по коридору. Добраться бы до дивана, думал я. Только бы добраться до дивана и лечь... И тут я услышал крик.

— Вот они!.. — завопил кто-то. — Поздно! Будь оно все проклято, поздно!..

Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилось, и вдруг я услышал ровное далекое гудение. Тогда я повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице.

Вся широкая снежная долина распахнулась передо мной. Я зажмурился от солнечного блеска, а потом различил две голубоватые, совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, я увидел четкие, словно нарисованные на белом, фигурки беглецов. У меня отличное зрение, я хорошо видел их, и это было самое дикое и нелепое зрелище, какое я помню.

Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским черным сундуком под мышкой, а на плечах ее грузно восседал сам старый Мозес. Правее и чуть отставая, ровным финским шагом несся Олаф с Луарвиком на спине. Билась по ветру широкая юбка госпожи Мозес, вился пустой рукав

Луарвика, и старый Мозес, не останавливаясь ни на секунду, страшно и яростно работал многохвостой плетью. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку, им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет.

Вся долина была наполнена мощным ровным гулом, вертолет медленно, словно бы неторопливо, снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, спускаясь все ниже, а они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша, и тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук, злобный отрывистый треск, и беглецы заметались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, а потом кубарем покатился по снегу Мозес, а Симонэ рвал на мне воротник и рыдал мне в ухо: «Видишь? Видишь? Видишь?..» А потом вертолет повис над неподвижными телами и медленно опустился, скрыв от нас и тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто еще пытался ползти... Снег закрутился вихрем от его винтов, сверкающая белая туча горбом встала на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и Алек сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симонэ все рыдал, все кричал мне: «Добился! Добился своего, дубина, убийца!..»

Вертолет так же медленно поднялся из снежной тучи и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель.

ЭПИЛОГ

С тех пор прошло более двадцати лет. Вот уже год, как я в отставке. У меня внуки, и я иногда рассказываю младшенькой эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно: пришельцы благополучно отбывают домой в своей прекрасной сверкающей ракете, а банду Чемпиона благополучно захватывает подоспевшая полиция. Сначала пришельцы отбывали у меня на Венеру, а потом, когда на Венере высадились первые экспедиции, мне пришлось перенести господина Мозеса в созвездие Волопаса. Впрочем, не об этом речь.

Сначала факты. Бутылочное Горлышко расчистили через два дня. Я вызвал полицию и передал ей Хинкуса, миллион сто пятнадцать тысяч крон и свой подробный отчет. Но следствие, надо сказать, кончилось ничем. Правда, в разрытом снегу было найдено более пятисот серебряных пуль, однако вертолет Чемпиона, забравший все трупы, исчез бесследно. Через несколько недель супружеская чета туристов-лыжников, путешествовавших неподалеку от нашей долины, сообщила, что они видели, как какой-то вертолет прямо у них на глазах упал в озеро Трех Тысяч Дев. Были организованы розыски, однако ничего интересного обнаружить не удалось. Глубина этого озера, как известно, достигает местами четырехсот метров, дно его ледяное, и рельеф дна постоянно меняется. Чемпион, по-видимому, погиб — во всяком случае на уголовной сцене он больше не появлялся. Банда его, благодаря Хинкусу, который торопился спасти свою шкуру, была частично отловлена, а частично рассеялась по всей Европе. Гангстеры, попавшие под следствие, ничего существенного к показаниям Хинкуса не добавили — все они были убеждены, что Вельзевул был колдуном или даже самим дьяволом и что их бывший главарь погиб, откусив кусок не по глотке. Симонэ считал, что один из роботов, уже в вертолете, очнулся и в последней вспышке активности сокрушил все, до чего мог дотянуться. Очень может быть, и если это так, то не завидую я Чемпиону в его последние минуты...

Симонэ сделался тогда главным специалистом по этому вопросу. Он создавал какие-то комиссии, писал в газеты и журналы, выступал по телевидению. Оказалось, что он и в самом деле был крупным физиком, но это нисколько ему не помогло. Ни огромный его авторитет не помог, ни прошлые заслуги. Не знаю, что о нем говорили в научных кругах, но никакой поддержки там он, по-моему, не получил. Комиссии, правда,

функционировали, всех нас, даже Кайсу, вызывали в качестве свидетелей, однако ни один научный журнал, насколько мне известно, не опубликовал по этому поводу ни строчки. Комиссии распадались, снова возникали, то объединялись с Обществом исследования летающих тарелок, то отмежевывались от него, материалы комиссий то засекречивались властями, то вдруг начинали широко публиковаться, десятки и сотни халтурщиков вились вокруг этого дела, вышло несколько брошюр, написанных фальшивыми свидетелями и подозрительными очевидцами, и кончилось все это тем, что Симонэ остался один с кучкой энтузиастов — молодых ученых и студентов. Они совершили несколько восхождений на скалы в районе Бутылочного Горлышка, пытаясь обнаружить остатки разрушенной станции. Во время одного из этих восхождений Симонэ погиб. Найти так ничего и не удалось.

Все остальные участники описанных выше событий живы до сих пор. Недавно я прочитал о чествовании дю Барнстокра в Международном обществе иллюзионистов — старику исполнилось девяносто лет. На чествовании «присутствовала очаровательная племянница юбиляра Брюнхилд Канн с супругом, известным космонавтом Перри Канном». Хинкус отсиживает свою бессрочную и ежегодно пишет прошение об амнистии. В начале срока на него было сделано два покушения, он был ранен в голову, но как-то вывернулся. Говорят, он пристрастился вырезать по дереву и неплохо прирабатывает. Тюремная администрация им довольна. Кайса вышла замуж, у нее четверо детей. В прошлом году я ездил к Алеку и видел ее. Она живет в пригороде Мюра и очень мало изменилась — все так же толста, все так же глупа и смешлива. Я убежден, что вся трагедия прошла совершенно мимо ее сознания, не оставив никаких следов.

С Алеком мы большие друзья. Отель «У Межзвездного Зомби» процветает — в долине теперь уже два здания, второе построено из современных материалов, изобилует электронными удобствами и совсем мне не нравится. Когда я приезжаю к Алеку, я всегда поселяюсь в своем старом номере, а вечера мы проводим, как встарь, в каминной, за стаканом горячего портвейна со специями. Увы, одного стакана теперь хватает на весь вечер. Алек сильно высох и отпустил бороду, нос у него стал бордовый, но он по-прежнему любит говорить глухим голосом и не прочь подшутить над гостями. Он, как и раньше, увлекается изобретательством и даже запатентовал новый тип ветряного двигателя. Диплом на изобретение он держит под стеклом над своим старым сейфом в старой конторе. Вечные двигатели обоих родов все еще не запущены; впрочем, дело за деталями.

Насколько я понял, для того, чтобы его вечные двигатели работали действительно вечно, необходимо изобрести вечную пластмассу. Мне всегда очень хорошо у Алека — так спокойно, уютно. Но однажды он шепотом признался мне, что постоянно держит теперь в подвале пулемет Брена — на всякий случай.

Я совсем забыл упомянуть о сенбернаре Леле. Лель умер. Просто от старости. Алек любит рассказывать, что этот удивительный пес незадолго до смерти научился читать.

А теперь обо мне. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос: прав я был или нет? Формально я был прав, начальство признало мои действия соответствующими обстановке, только начальник статского управления слегка побранил меня за то, что я не отдал чемодан сразу и тем самым подвергнул свидетелей излишнему риску. За поимку Хинкуса и за спасение миллиона с лишним крон я получил премию, а в отставку вышел в чине старшего инспектора — предел, на который я только и мог рассчитывать. Мне пришлось немало помучиться, пока я писал отчет об этом странном деле. Я должен был исключить из официальной бумаги всякий намек на мое субъективное отношение, и в конце концов это мне, по-видимому, удалось. Во всяком случае, я не стал ни посмешищем, ни человеком с репутацией фантазера. Конечно, в отчете многого не было. Как можно было описать в полицейской бумаге эту жуткую гонку на лыжах через снежную равнину? Когда при простуде у меня поднимается температура, я снова и снова вижу в бреду это дикое, нечеловеческое зрелище и слышу леденящий душу свист и клекот... Нет, формально все обошлось. Правда, товарищи иногда посмеивались надо мной под веселую руку, однако чисто дружески, без зла и язвительности. Згуту я рассказал больше, чем другим. Он долго размышлял, скреб железную свою щетину, вонял трубкой, но так ничего путного и не сказал, только пообещал мне, что дальше него эта история не пойдет. Неоднократно я заводил разговор на эту тему с Алеком. Каждый раз он отвечал мне односложно и только однажды, пряча глаза, признался, что тогда его больше всего интересовала целость отеля и жизнь клиентов. Мне кажется, потом он стыдился этих слов и жалел о своем признании. А Симонэ до самой своей гибели так и не сказал мне ни слова.

Наверное, они все-таки действительно были пришельцами. Никогда и нигде я не выражал своего личного мнения по этому поводу. Выступая перед комиссиями, я всегда строго придерживался сухих фактов и того отчета, который представил своему начальству. Но теперь я почти не

сомневаюсь. Раз люди высадились на Марсе и Венере, почему бы не высадиться кому-нибудь и у нас, на Земле? И потом, просто невозможно придумать другую версию, которая объясняла бы все темные места этой истории. Но разве дело в том, что они были пришельцами? Я много думал об этом и теперь могу сказать: да, дело только в этом. Они, бедняги, попались как кур в ощип, и обойтись с ними так, как обошелся я, было, пожалуй, слишком жестоко. Наверное, все дело в том, что они прилетели не вовремя и встретились не с теми людьми, с которыми им следовало бы встретиться. Они встретились с гангстерами и с полицией... Ну, ладно. А если бы они встретились с контрразведкой или военными? Было бы им лучше? Вряд ли...

Совесть у меня болит, вот в чем дело. Никогда со мной такого не было: поступал правильно, чист перед Богом, законом и людьми, а совесть болит. Иногда мне становится совсем плохо, и мне хочется найти кого-нибудь из них и просить, чтобы они простили меня. Мысль о том, что кто-то из них, может быть, еще бродит среди людей, замаскированный, неузнаваемый, мысль эта не дает мне покоя. Я даже вступил было в Общество имени Адама Адамского, и они вытянули из меня массу денег, прежде чем я понял, что все это только болтовня и что никогда не помогут они мне найти друзей Мозеса и Луарвика...

Да, они пришли к нам не вовремя. Мы не были готовы их встретить. Мы не готовы к этому и сейчас. Даже сейчас и даже я, тот самый человек, который все это пережил и передумал, снова столкнувшись с подобной ситуацией, прежде всего спрошу себя: а правду ли они говорят, не скрывают ли чего-нибудь, не таится ли в их появлении какая-то огромная беда? Я-то старый человек, но у меня, видите ли, есть внучки...

Когда мне становится совсем уж плохо, жена садится рядом и принимается утешать меня. Она говорит, что, если бы я даже не чинил препятствий Мозесу и всем им удалось бы уйти, это все равно привело бы к большой трагедии, потому что тогда гангстеры напали бы на отель и, вероятно, убили бы всех нас, оставшихся в доме. Все это совершенно правильно. Я сам научил ее говорить так, только теперь она уже забыла об этом, и ей кажется, что это ее собственная мысль. И все-таки от ее утешений мне становится немножко легче. Но ненадолго. Только до тех пор, пока я не вспоминаю, что Симон Симонэ до самой своей смерти так и не сказал мне ни одного слова. Ведь мы не раз встречались с ним — и на суде Хинкуса, и на телевидении, и на заседаниях многих комиссий, и он так и не сказал мне ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного.

МАЛЫШ

Глава первая ПУСТОТА И ТИШИНА

— Знаешь, — сказала Майка, — предчувствие у меня какое-то дурацкое...

Мы стояли возле глайдера, она смотрела себе под ноги и долбила каблуком промерзший песок.

Я не нашелся, что ответить. Предчувствий у меня не было никаких, но мне, в общем, здесь тоже не нравилось. Я прищурился и стал смотреть на айсберг. Он торчал над горизонтом гигантской глыбой сахара, слепяще-белый иззубренный клык, очень холодный, очень неподвижный, очень цельный, без всех этих живописных мерцаний и переливов, — видно было, что как вломился он в этот плоский беззащитный берег сто тысяч лет назад, так и намеревается проторчать здесь еще сто тысяч лет на зависть всем своим собратьям, неприкаянно дрейфующим в открытом океане. Пляж, гладкий, серо-желтый, сверкающий мириадами чешуек инея, уходил к нему, а справа был океан, свинцовый, дышащий стылым металлом, подернутый зябкой рябью, у горизонта черный, как тушь, противоестественно мертвый. Слева над горячими ключами, над болотом, лежал серый слоистый туман, за туманом смутно угадывались щетинистые сопки, а дальше громоздились отвесные темные скалы, покрытые пятнами снега. Скалы эти тянулись вдоль всего побережья, на сколько хватало глаз, а над скалами в безоблачном, но тоже безрадостном ледяном серо-лиловом небе всходило крошечное негреющее лиловатое солнце.

Вандерхузе вылез из глайдера, немедленно натянул на голову меховой капюшон и подошел к нам.

— Я готов, — сообщил он. — Где Комов?

Майка коротко пожала плечами и подышала на застывшие пальцы.

— Сейчас придет, наверное, — рассеянно сказала она.

— Вы куда сегодня? — спросил я Вандерхузе. — На озеро?

Вандерхузе слегка запрокинул лицо, выпятил нижнюю губу и сонно посмотрел на меня поверх кончика носа, сразу сделавшись похожим на пожилого верблюда с рысьими бакенбардами.

— Скучно тебе здесь одному, — сочувственно произнес он. — Однако придется потерпеть, как ты полагаешь?

— Полагаю, что придется.

Вандерхузе еще сильнее запрокинул голову и с той же верблюжьей надменностью поглядел в сторону айсберга.

— Да, — сочувственно произнес он. — Это очень похоже на Землю, но это не Земля. В этом вся беда с землеподобными мирами. Все время чувствуешь себя обманутым. Обворованным чувствуешь себя. Однако и к этому можно привыкнуть, как ты полагаешь, Майка?

Майка не ответила. Совсем она что-то загрустила сегодня. Или наоборот — злилась. Но с Майкой это вообще-то бывает, она это любит.

Позади, легонько чмокнув, лопнула перепонка люка, и на песок соскочил Комов. Торопливо, на ходу застегивая доху, он подошел к нам и отрывисто спросил:

— Готовы?

— Готовы, — сказал Вандерхузе. — Куда мы сегодня, Геннадий? Опять на озеро?

— Так, — сказал Комов, возясь с застежкой на горле. — Насколько я понял, Майя, у вас сегодня квадрат шестьдесят четыре. Мои точки: западный берег озера, высота семь, высота двенадцать. Расписание уточним в дороге. Попов, вас я попрошу отправить радиограммы, я оставил их в рубке. Связь со мной через глайдер. Возвращение в восемнадцать ноль-ноль по местному времени. В случае задержки предупредим.

— Понятно, — сказал я без энтузиазма: не понравилось мне это упоминание о возможной задержке.

Майка молча пошла к глайдеру. Комов справился наконец с застежкой, провел ладонью по груди и тоже пошел к глайдеру. Вандерхузе пожал мне плечо.

— Поменьше глазей на все эти пейзажи, — посоветовал он. — Сиди по возможности дома и читай. Береги цветы своей селезенки.

Он неспешно забрался в глайдер, устроился в водительском кресле и помахал мне рукой. Майка наконец позволила себе улыбнуться и тоже помахала мне рукой. Комов, не глядя, кивнул, фонарь задвинулся, и я перестал их видеть. Глайдер неслышно тронулся с места, стремительно скользнул вперед и вверх, сразу сделался маленьким и черным и исчез, словно его не было. Я остался один.

Некоторое время я стоял, засунув руки глубоко в карманы дохи, и смотрел, как трудятся мои ребятишки. За ночь они поработали на славу, поосунулись, отощали и теперь, развернув энергозаборники на максимум, жадно глотали бледный бульончик, который скармливало им хилое лиловое светило. И ничто иное их не заботило. И ничего больше им было не нужно, даже я им был не нужен — во всяком случае, до тех пор, пока не исчерпается их программа. Правда, неуклюжий толстяк Том каждый раз, когда я попадал в поле его визиров, зажигал рубиновый лобовой сигнал, и

при желании это можно было принимать за приветствие, за вежливо-рассеянный поклон, но я-то знал, что это просто означает: «У меня и у остальных все в порядке. Выполняем задание. Нет ли новых указаний?» У меня не было новых указаний. У меня было много одиночества и много, очень много мертвой тишины.

Это не была ватная тишина акустической лаборатории, от которой закладывает уши, и не та чудная тишина земного загородного вечера, освежающая, ласково омывающая мозг, которая умиротворяет и сливает тебя со всем самым лучшим, что есть на свете. Это была тишина особенная — пронзительная, прозрачная, как вакуум, взводящая все нервы, — тишина огромного, совершенно пустого мира.

Я затравленно огляделся. Вообще-то, наверное, нельзя так говорить о себе; наверное, следовало бы сказать просто: «Я огляделся». Однако на самом деле я огляделся не просто, а именно затравленно. Бесшумно трудились киберы. Бесшумно слепило лиловое солнце. С этим надо было как-то кончать.

Например, можно было собраться наконец и сходить к айсбергу. До айсберга было километров пять, а стандартная инструкция категорически запрещает дежурному удаляться от корабля дальше, чем на сто метров. Наверное, при других обстоятельствах чертовски соблазнительно было бы рискнуть и нарушить инструкцию. Но только не здесь. Здесь я мог уйти и на пять километров, и на сто двадцать пять, и ничего бы не случилось ни со мной, ни с моим кораблем, ни с десятком других кораблей, рассаженных сейчас по всем климатическим поясам планеты к югу от меня. Не выскочит из этих корявых зарослей кровожаждущее чудовище, чтобы пожрать меня, — нет здесь никаких чудовищ. Не налетит с океана свирепый тайфун, чтобы вздыбить корабль и швырнуть на эти угрюмые скалы, — не замечено здесь ни тайфунов, ни прочих землетрясений. Не будет здесь сверхсрочного вызова с базы с объявлением биологической тревоги — не может здесь быть биологической тревоги, нет здесь ни вирусов, ни бактерий, опасных для многоклеточных существ. Ничего здесь нет, на этой планете, кроме океана, скал и карликовых деревьев. Неинтересно здесь нарушать инструкцию.

И выполнять ее здесь неинтересно. На любой порядочной биологически активной планете фига с два я стоял бы вот так, руки в карманах, на третий день после посадки. Я бы мотался сейчас как угорелый. Наладка, запуск и ежесуточный контроль настройки сторожа-разведчика. Организация вокруг корабля — и вокруг строительной площадки, между прочим, — Зоны Абсолютной Биологической

Безопасности. Обеспечение упомянутой ЗАББ от нападения из-под почвы. Каждые два часа контроль и смена фильтров — внешних бортовых, внутренних бортовых и личных. Устройство могильника для захоронения всех отходов, в том числе и использованных фильтров. Каждые четыре часа стерилизация, дегазация и дезактивация управляющих систем кибермеханизмов. Контроль информации роботов медслужбы, запущенных за пределы ЗАББ. Ну и всякие мелочи: метеозонды, сейсмическая разведка, спелеоопасность, тайфуны, обвалы, сели, карстовые сбросы, лесные пожары, вулканические извержения...

Я представил себе, как я, в скафандре, потный, невыспавшийся, злой и уже слегка отупевший, промываю нервные узлы толстяку Тому, а сторож-разведчик мотается у меня над головой и с настойчивостью идиота в двадцатый раз сообщает о появлении вон под той корягой страшной крапчатой лягушки неизвестного ему вида, а в наушниках верещат тревожные сигналы ужасно взволнованных роботов медслужбы, обнаруживших, что такой-то местный вирус дает нестандартную реакцию на пробу Балтерманца и, следовательно, теоретически способен прорвать биоблокаду. Вандерхузе, который, как и подобает врачу и капитану, сидит в корабле, озабоченно ставит меня в известность, что возникла опасность провалиться в трясину, а Комов с ледяным спокойствием сообщает по радио, что двигатель глайдера, насколько он понимает, съеден маленькими насекомыми вроде муравьев и что муравьи эти в настоящий момент пробуют на зуб его скафандр... Уф! Впрочем, на такую планету меня бы, конечно, не взяли. Меня взяли именно на такую планету, для которой инструкции не писаны. За ненадобностью.

Перед люком я задержался, отряхнул с подошв приставшие песчинки, постоял немного, положив ладонь на теплый дышащий борт корабля, и ткнул пальцем в перепонку. В корабле тоже было тихо, но это все-таки была домашняя тишина, тишина пустой и уютной квартиры. Я сбросил доху и прошел прямо в рубку. У своего пульта я задерживаться не стал — я и так видел, что все хорошо, — а сразу сел за рацию. Радиограммы лежали на столике. Я включил шифратор и стал набирать текст. В первой радиограмме Комов сообщал на базу координаты трех предполагаемых стойбищ, отчитывался за мальков, которые были вчера запущены в озеро, и советовал Китамуре не торопиться с пресмыкающимися. Все это было более или менее понятно, но вот из второй радиограммы, адресованной в Центральный информаторий, я понял только, что Комову позарез нужны данные относительно игрек-фактора для двунормального гуманоида с четырехэтажным индексом, состоящим в общей сложности из девяти цифр

и четырнадцати греческих букв. Это была сплошная и непроницаемая высшая ксенопсихология, в которой я, как и всякий нормальный гуманоид индекса ноль, не разбирался абсолютно. И не надо.

Набрав текст, я включил служебный канал и передал все сообщения в одном импульсе. Потом я зарегистрировал радиограммы, и тут мне пришло в голову, что пора бы и мне послать первый отчет. То есть, собственно, что значит — отчет... «Группа ЭР-2, строительные работы по стандарту 15, выполнение столько-то процентов, дата, подпись». Все. Мне пришлось встать и подойти к своему пульту, чтобы взглянуть на график выполнения, и я сразу понял, почему это меня вдруг потянуло на отчет. Не в отчете здесь было дело, а просто я, наверное, уже достаточно опытный кибертехник и почуял перебой, даже ничего не видя и не слыша: Том опять остановился, совсем как вчера, ни с того ни с сего. Как и вчера, я раздраженно ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова: «В чем дело?» Как и вчера, сигнал задержки сейчас же погас — и вспыхнул рубиновый огонек: «У нас все в порядке, выполняем задание. Нет ли новых указаний?» Я дал ему указание возобновить работу и включил видеоэкран. Джек и Рекс усердно работали, и Том тоже двинулся, но в первые секунды как-то странно, чуть ли не боком, однако тут же выровнялся.

— Э, брат, — сказал я вслух, — видно, ты у меня переутомился и надобно тебя, брат, почистить. — Я заглянул в рабочий дневник Тома. Профилактику ему надлежало делать сегодня вечером. — Ладно, до вечера мы с тобой как-нибудь дотянем, как ты полагаешь?

Том не возражал. Некоторое время я смотрел, как они работают, а потом выключил видеоэкран: айсберг, туман над болотом, темные скалы... Хотелось без этого обойтись.

Отчет я все-таки послал и тут же связался с ЭР-6. Вадик откликнулся немедленно, словно только того и ждал.

— Ну, что там у вас? — спросили мы друг друга.

— У нас ничего, — ответил я.

— У нас ящерицы передохли, — сообщил Вадик.

— Эх, вы, — сказал я. — Предупреждает же вас Комов, любимый ученик доктора Мбоги: не торопитесь вы с пресмыкающимися.

— А кто с ними торопится? — возразил Вадик. — Если ты хочешь знать мое мнение, они здесь просто не выживут. Жарища же!

— Купаетесь? — спросил я с завистью.

Вадик помолчал.

— Окунаемся, — сказал он с неохотой. — Время от времени.

— Что так?

— Пусто, — сказал Вадик. — Вроде кошмарно большой ванны... Ты этого не поймешь. Нормальный человек такую невероятную ванну представить себе не может. Я здесь заплыл километров на пять, сначала все было хорошо, а потом вдруг как представил себе, что это же не бассейн — океан! И, кроме меня, нет в нем ни единой живой твари... Нет, старик, ты этого не поймешь. Я чуть не потонул.

— Н-да, — проговорил я. — Значит, у вас тоже...

Мы поболтали еще несколько минут, а потом Вадика вызвала база, и мы торопливо распрощались. Я вызвал ЭР-9. Ганс не откликнулся. Можно было бы, конечно, вызвать ЭР-1, ЭР-3, ЭР-4 и так далее — до ЭР-12, поговорить о том, что, мол, пусто, безжизненно, мол, но какой от этого прок? Если подумать, никакого. Поэтому я выключил рацию и переселился к себе за пульт. Некоторое время я сидел просто так — глядел на рабочие экраны и думал о том, что дело, которое мы делаем, это вдвойне хорошее дело: мы не только спасаем пантиан от неминуемой и поголовной гибели, мы еще и эту планету спасаем — от пустоты, от мертвой тишины, от бессмысленности. Потом мне пришло в голову, что пантиане, наверное, довольно странная раса, если наши ксенопсихологи считают, что эта планета им подходит лучше всего. Странный, должно быть, образ жизни у них на Панте. Вот доставят их сюда — сначала, конечно, не всех, а по два, по три представителя от каждого племени, — увидят представители этот промерзший пляж, этот айсберг, пустой ледяной океан, пустое лиловое небо, увидят и скажут: «Прекрасно! Совсем как дома!» Не верится что-то. Правда, к их приезду здесь уже не будет так пусто. В озерах будет рыба, в зарослях — дичь, на отмелях — съедобные ракушки. Может быть, и ящерицы как-нибудь приживутся, а наш айсберг засидят какие-нибудь птички... А потом, надо сказать, в положении пантиан не приходится особенно выбирать. Если бы, например, стало известно, что наше Солнце вот-вот взорвется и слизнет с Земли все живое, я, наверное, тоже не был бы таким уж привередливым. Наверное, сказал бы себе: ничего, проживем как-нибудь. Впрочем, пантиан никто и не спрашивает. Они все равно ничего не понимают, космографии у них еще нет, даже самой примитивной. Так и не узнают они, что переселились на другую планету...

И вдруг я обнаружил, что слышу нечто. Какое-то шуршание, будто ящерица пробежала. Ящерица вспомнилась мне, должно быть, из-за недавнего разговора с Вадиком, на самом-то деле звук был еле слышный и совершенно неопределенный. Потом в дальнем конце рубки что-то тикнуло — и сейчас же где-то пролилась струйкой вода. На самом пределе слышимости билась и зудела муха, попавшая в паутину, скороговоркой

бормотали раздраженные голоса. И снова по коридору пробежала ящерица. Я почувствовал, что у меня свело шею от напряжения, и встал. При этом я задел справочник, лежавший на краю пульта, и он со страшным грохотом обрушился на пол. Я поднял его и со страшным грохотом швырнул обратно на пульт. Я задудел бодрый марш и, печатая шаг, вышел в коридор.

Это все тишина. Тишина и пустота. Вандерхузе каждый вечер объясняет нам это с предельной ясностью. Человек — не природа, он не терпит пустоты. Оказавшись в пустоте, он стремится ее заполнить. Он заполняет ее видениями и воображаемыми звуками, если не в состоянии заполнить ее чем-нибудь реальным. Воображаемых звуков я за эти три дня наслышался предостаточно. Надо полагать, скоро начнутся видения...

Я маршировал по коридору мимо пустых кают, мимо библиотеки, мимо арсенала, а когда проходил мимо медицинского отсека, почувствовал слабый запах — свежий и одновременно неприятный, вроде нашатырного спирта. Я остановился и принюхался. Знакомый запах. Хотя что это такое — непонятно. Я заглянул в хирургическую. Постоянно включенный и готовый к действию киберхирург — огромный белый спрут, подвешенный к потолку, — холодно глянул на меня зеленоватыми глазищами и с готовностью приподнял манипуляторы. Запах здесь был гуще. Я включил аварийную вентиляцию и замаршировал дальше. Надо же, до чего у меня все чувства обострились. Уж что-что, а обоняние у меня всегда было негодным...

Свой дозорный марш я закончил на кухне. Здесь тоже было полно запахов, но против этих запахов я ничего не имел. Что бы там ни говорили, а на кухне должно пахнуть. На других кораблях что на кухне, что в рубке — одно и то же. У меня этого нет и не будет. У меня свои порядки. Чистота чистотой, а на кухне должно хорошо пахнуть. Вкусно. Возбуждающе. Мне здесь надлежит четырежды в день составлять меню, и это, заметьте, при полном отсутствии аппетита, потому что аппетит и пустота-тишина — вещи, по-видимому, несовместные...

На составление меню мне потребовалось не менее получаса. Это были трудные полчаса, но я сделал все, что мог. Потом я включил повара, втолковал ему меню и пошел взглянуть, как работают мои ребятишки.

Уже с порога рубки я увидел, что имеет место ЧП. Все три рабочих экрана на моем пульте показывали полный останов. Я подбежал к пульту и включил видеоэкран. Сердце у меня екнуло: строительная площадка была пуста. Такого у меня еще никогда не случалось. Я даже не слыхивал, что такое вообще может случиться. Я помотал головой и бросился к выходу. Киберов кто-то увел... Шальной метеорит... стукнул Тома в крестец...

Взбесилась программа... Невозможно, невозможно! Я влетел в кессон и схватил доху. Руки не попадали в рукава, куда-то пропали застежки, и пока я сражался с дохой, как барон Мюнхгаузен со своей взбесившейся шубой, перед глазами моими стояла жуткая картина: кто-то неведомый и невозможный ведет моего Тома, как собачонку, и киберы покорно ползут прямо в туман, в курящуюся топь, погружаются в бурую жижу и исчезают навсегда... Я с размаху пнул ногой в перепонку и выскочил наружу.

У меня все поплыло перед глазами. Киберы были здесь, у корабля. Они толпились у грузового люка, все трое, легонько отталкивая друг друга, как будто каждый пытался первым попасть в трюм. Это было невозможно, это было неприлично, это было страшно. Они словно стремились поскорее спрятаться в трюме, укрыться от чего-то, спастись... Известно такое явление второй природы — взбесившийся робот, оно бывает очень редко, а о взбесившемся строительном роботе я не слышал никогда. Однако нервы у меня были так взвинчены, что сейчас я был готов к этому. Но ничего не произошло. Заметив меня, Том перестал ерзать и включил сигнал «жду указаний». Я решительно показал ему руками: «Вернуться на место, продолжать выполнение программы». Том послушно включил задний ход, развернулся и покатил обратно на площадку. Джек и Рекс, естественно, последовали за ним. А я все стоял возле люка, в горле у меня пересохло, колени ослабели, и мне очень хотелось присесть.

Но я не присел. Я принялся приводить себя в порядок. Доха на мне была застегнута вкривь и вкось, уши мерзли, на лбу и на щеках быстро застывал пот. Медленно, стараясь контролировать все свои движения, я вытер лицо, застегнулся как следует, надвинул на глаза капюшон и натянул перчатки. Стыдно признаться, конечно, но я испытывал страх. Собственно, это уже был не сам страх, это были остатки пережитого страха, смешанные со стыдом. Кибертехник, который испугался собственных киберов... Мне стало совершенно ясно, что об этом случае я никогда и никому не расскажу. Елки-палки, у меня же ноги тряслись, они у меня и сейчас какие-то дряблые, и больше всего на свете мне сейчас хочется вернуться в корабль, спокойно, по-деловому обдумать происшествие, разобраться. Справочники кое-какие просмотреть. А на самом деле я, наверное, просто боюсь приближаться к моим ребятишкам...

Я решительно засунул руки в карманы и зашагал к стройплощадке. Ребятишки трудились как ни в чем не бывало. Том, как всегда, предупредительно запросил у меня новые указания. Джек обрабатывал фундамент диспетчерской, как ему и было положено по программе. Рекс зигзагами ходил по готовому участку посадочной полосы и занимался

расчисткой. Да, что-то у них не в порядке все-таки с программой. Камней каких-то на полосу накидали... Не было этих камней, да и не нужны они тут, хватает строительного материала и без камней. Да, как Том тогда остановился, так с тех пор весь последний час они тут делали что-то не то. Сучья какие-то валяются на полосе... Я наклонился, поднял сучок и прошелся взад-вперед, похлопывая себя этим сучком по голенищу. А не остановить ли мне их подобру-поздорову прямо сейчас, не дожидаясь срока профилактики? Неужели же, елки-палки, я где-то напахал в программе? Уму непостижимо... Я бросил сучок в кучу камней, собранных Рексом, повернулся и пошел к кораблю.

Глава вторая ТИШИНА И ГОЛОСА

Следующие два часа я был очень занят, так занят, что не замечал ни тишины, ни пустоты. Для начала я посовещался с Гансом и Вадиком. Ганса я разбудил, и спросонок он только мычал и мямлил какую-то несусветицу про дождь и низкое давление. Толку от него не получилось никакого. Вадика мне пришлось долгое время убеждать, что я не шучу и не разыгрываю. Это было тем более трудно, что меня все время душил нервный смех. В конце концов я убедил его, что мне не до шуток и что для смеха у меня совсем другие основания. Тогда он тоже сделался серьезным и сообщил, что у него у самого старший кибер время от времени спонтанно останавливается, но в этом как раз нет ничего удивительного: жара, работа идет на пределе технических норм, и система еще не успела аккомодироваться. Может быть, все дело в том, что у меня здесь холод? Может быть, все дело было в этом, я еще не знал. Я, собственно, надеялся выяснить это у Вадика. Тогда Вадик вызвал головастую Нинон с ЭР-8, мы обсудили эту возможность втроем, ничего не придумали, и головастая Нинон посоветовала мне связаться с главным киберинженером базы, который зубы съел именно на этих строительных системах, чуть ли не их создатель. Ну, это-то я и сам знал, однако мне совсем не улыбалось лезть к главному за консультацией уже на третий день самостоятельной работы, да еще не имея за душой ни одного, буквально ни одного толкового соображения.

В общем, я сел за свой пульт, развернул программу и принялся ее вылизывать — команду за командой, группу за группой, поле за полем. Надо сказать, никаких дефектов я не обнаружил. За эту часть программы, которую составлял я сам, я и раньше готов был отвечать головой, а теперь готов был отвечать и своим добрым именем вдобавок. Со стандартными полями дело обстояло хуже. Многие из них были мне знакомы мало, и если бы я взялся каждое такое стандартное поле контролировать заново, обязательно бы сорвал график работ. Поэтому я решился на компромисс. Я временно выключил из программы все поля, которые пока не были нужны, упростил программу до наивозможнейшего предела, ввел ее в систему управления и положил было палец на пусковую клавишу, как вдруг до меня дошло, что уже в течение некоторого времени я опять слышу нечто — нечто совсем уже странное, совершенно неуместное и невероятно знакомое.

Плакал ребенок. Где-то далеко, на другом конце корабля, за многими дверями отчаянно плакал, надрываясь и захлебываясь, какой-то ребеночек. Маленький, совсем маленький. Годик, наверное. Я медленно поднял руки и прижал ладони к ушам. Плач прекратился. Не опуская рук, я встал. Точнее сказать, я обнаружил, что уже некоторое время стою на ногах, зажимая уши, что рубашка у меня прилипла к спине и что челюсть у меня отвисла. Я закрыл рот и осторожно отвел ладони от ушей. Плача не было. Стояла обычная проклятая тишина, только звенела в невидимом углу муха, запутавшаяся в паутине. Я достал из кармана платок, неторопливо развернул его и тщательно вытер лоб, щеки и шею. Затем, так же неторопливо сворачивая платок, я прошелся перед пультом. Мыслей у меня не было никаких. Я постучал костяшками пальцев по кожуху вычислителя и кашлянул. Все было в порядке, я слышал. Я шагнул обратно к креслу, и тут ребенок заплакал снова.

Не знаю, сколько времени я стоял столбом и слушал. Самым страшным было то, что я слышал его совершенно ясно. Я даже отдавал себе отчет в том, что это не бессмысленное мяуканье новорожденного и не обиженный рев карапуза лет четырех-пяти, — вопил и захлебывался младенец, еще не умеющий ходить и разговаривать, но уже не грудной. У меня племянник такой есть — год с небольшим...

Оглушительно грянул звонок радиовызова, и у меня от неожиданности едва не выскочило сердце. Придерживаясь за пульт, я подобрался к рации и включил прием. Ребеночек все плакал.

— Ну, как у тебя дела? — осведомился Вадик.

— Никак, — сказал я.

— Ничего не придумал?

— Ничего, — сказал я. Я поймал себя на том, что прикрываю микрофон рукой.

— Что-то тебя плохо слышно, — сказал Вадик. — Так что же ты думаешь делать?

— Как-нибудь, — пробормотал я, плохо соображая, что говорю. Ребенок продолжал плакать. Теперь он плакал тише, но все так же явственно.

— Ты что это, Стась? — озабоченно сказал Вадик. — Я тебя разбудил, что ли?

Больше всего мне хотелось сказать: «Слушай, Вадька, у меня здесь все время плачет какой-то ребенок. Что мне делать?» Однако у меня хватило ума сообразить, как это может быть воспринято. Поэтому я откашлялся и сказал:

— Ты знаешь, я с тобой через часок свяжусь. Здесь у меня кое-что наклевывается, но я еще не вполне уверен...

— Ла-а-адно, — озадаченно протянул Вадик и отключился.

Я еще немного постоял у рации, затем вернулся к своему пульту. Ребенок несколько раз всхлипнул и затих. А Том опять стоял. Опять этот испорченный сундук остановился. И Джек с Рексом тоже стояли. Я изо всех сил ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова. Никакого эффекта. Мне захотелось заплакать самому, но тут я сообразил, что система выключена. Я же ее и выключил два часа назад, когда взялся за программу. Ну и работничек из меня теперь! Может быть, сообщить на базу и попросить приготовить замену? Обидно-то как, елки-палки... Я поймал себя на том, что в страшном напряжении жду, когда все это начнется снова. И я понял, что если останусь здесь, в рубке, то буду прислушиваться и прислушиваться, ничего не смогу делать, только прислушиваться, и я, конечно, услышу, я здесь такое услышу!..

Я решительно включил профилактику, вытащил из стеллажа футляр с инструментами и почти бегом ринулся вон из рубки. Я старался держать себя в руках и с дохой управился на этот раз довольно быстро. Ледяной воздух, опаливший лицо, подтянул меня еще больше. Хрустя каблуками по песку, я, не оглядываясь, зашагал к строительной площадке, прямо к Тому. По сторонам я тоже не глядел. Айсберги, туманы, океаны — все это меня отныне не интересовало. Я берег цветы своей селезенки для своих непосредственных обязанностей. Не так уж много у меня этих цветов оставалось, а обязанностей было столько же, сколько раньше, и, может быть, даже больше.

Прежде всего я проверил Тому рефлексы. Рефлексы у Тома оказались в превосходном состоянии. «Отлично!» — сказал я вслух, извлек из футляра скальпель и одним движением, как на экзаменах, вскрыл Тому заднюю черепную коробку.

Я работал с упоением, даже с остервенением каким-то, быстро, точно, расчетливо, как машина. Одно могу сказать: никогда в жизни я так не работал. Мерзли пальцы, мерзло лицо, дышать приходилось не как попало, а с умом, чтобы иней не оседал на операционном поле, но я и думать не хотел о том, чтобы загнать киберов в корабельную мастерскую. Мне становилось все легче и легче, ничего неподобающего я больше не слышал, я уже забыл о том, что могу услышать неподобающее, и дважды сбегал в корабль за сменными узлами для координационной системы Тома. «Ты у меня будешь как новенький, — приговаривал я. — Ты у меня больше не будешь бегать от работы. Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги

поставлю, в люди выведу. Хочешь, небось, выйти в люди? Еще бы! В людях хорошо, в людях тебя любить будут, холить будут, лелеять. Но ведь что я тебе скажу? Куда тебе в люди с таким блоком аксиоматики? С таким блоком аксиоматики тебя не то что в люди — в цирк тебя не возьмут. Ты с таким блоком аксиоматики все подвергнешь сомнению, задумываться станешь, научишься в носу ковырять глубокомысленно. Стоит ли, мол? Да зачем все это нужно? Для чего все эти посадочные полосы, фундаменты? А сейчас я тебя, голубчик...»

— Шура... — простонал совсем рядом хриплый женский голос. — Где ты, Шура... Больно...

Я замер. Я лежал в брюхе Тома, стиснутый со всех сторон колоссальными буграми его рабочих мышц, только ноги мои торчали наружу, и мне вдруг стало невероятно страшно, как в самом страшном сне. Я просто не знаю, как я сдержался, чтобы не заорать и не забиться в истерике. Может быть, я потерял сознание на некоторое время, потому что долго ничего не слышал и ничего не соображал, а только пялил глаза на озаренную зеленоватым светом поверхность обнаженного нервного вала у себя перед лицом.

— Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура... — хрипела женщина, корчась от невыносимой боли. — Здесь кто-то есть... Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу...

Она хрипела и плакала, и повторяла снова и снова одно и то же, и мне уже мерещилось, что я вижу ее искаженное лицо, залитое смертным потом, и в хрипе ее была уже не только мольба, не только боль, в нем были ярость, требование, приказ. Я почти физически ощутил, как ледяные цепкие пальцы тянутся к моему мозгу, чтобы вцепиться, стиснуть его и погасить. Уже в полубеспамятстве, сжимая до судороги зубы, я нащупал левой рукой пневматический клапан и изо всех сил надавил на него. С диким воющим ревом ринулся наружу сжатый аргон, а я все нажимал и нажимал на клапан, сметая, разбивая в пыль, уничтожая хриплый голос у себя в мозгу, я чувствовал, что глохну, и чувство это доставляло мне невыразимое облегчение.

Потом оказалось, что я стою рядом с Томом, холод прожигает меня до костей, а я дую на окоченевшие пальцы и повторяю, блаженно улыбаясь: «Звуковая завеса, понятно? Звуковая завеса...» Том стоял, сильно накренившись на правый бок, а мир вокруг меня был скрыт огромным неподвижным облаком инея и мерзлых песчинок. Зябко пряча ладони под мышками, я обошел Тома и увидел, что струя аргона выбила на краю площадки огромную яму. Я немного постоял над этой ямой, все еще

повторяя про звуковую завесу, но я уже чувствовал, что пора бы прекратить повторять, и догадался, что стою на морозе без дохи, и вспомнил, что доху я сбросил как раз на то место, где сейчас яма, и стал вспоминать, не было ли у меня в карманах чего-нибудь существенного, ничего не вспомнил, легкомысленно махнул рукой и нетвердой трусцой побежал к кораблю.

В кессоне я прежде всего взял себе новую доху, потом пошел в свою каюту, кашлянул у входа, как бы предупреждая, что сейчас войду, вошел и сейчас же лег на койку лицом к стене, накрывшись дохой с головой. При этом я прекрасно понимал, что все эти мои действия лишены какого бы то ни было смысла, что в каюту к себе я направлялся с вполне определенной целью, но цель эту я запамятовал, а лег и укрылся, словно бы для того, чтобы показать кому-то: вот это именно и есть то, зачем я сюда пришел.

Все-таки, наверное, это было что-то вроде истерики, и, немного придя в себя, я только порадовался, что истерика моя приняла вот такие, совершенно безобидные формы. В общем, мне было ясно, что с моей работой здесь покончено. И вообще в космосе работать мне, вероятно, больше не придется. Это было, конечно, безумно обидно, и — чего там говорить! — стыдно было, что вот не выдержал, на первом же практическом деле сорвался, а уж, казалось бы, послали для начала в самое что ни на есть безопасное и спокойное место. И еще было обидно, что оказался я такой нервной развалиной, и стыдно, что когда-то испытывал самодовольную жалость к Каспару Манукяну, когда тот не прошел по конкурсу проекта «Ковчег» из-за какой-то там повышенной нервной возбудимости. Будущее представлялось мне в самом черном свете — тихие санатории, медосмотры, процедуры, осторожные вопросы психологов и целые моря сочувствия и жалости, сокрушительные шквалы сочувствия и жалости, обрушивающиеся на человека со всех сторон...

Я рывком отшвырнул доху и сел. Ладно, сказал я тишине и пустоте, ваша взяла. Горбовского из меня не вышло. Переживем как-нибудь... Значит, так. Сегодня же я расскажу обо всем Вандерхузе, и завтра, наверное, пришлют мне замену. Елки-палки, а у меня на площадке что творится! Том демобилизован, график сломался, ямища эта дурацкая рядом с полосой... Я вдруг вспомнил, зачем сюда пришел, выдвинул ящик стола, нашел кристаллофон с записью ируканских боевых маршей и аккуратно подвесил его к мочке правого уха. Звуковая завеса, сказал я себе в последний раз. Взявши доху под мышку, я снова вышел в кессон, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы совершенно уже успокоиться, включил кристалл и шагнул наружу.

Теперь мне было хорошо. Вокруг меня и внутри меня ревели

варварские трубы, лязгала бронза, долбили барабаны; покрытые оранжевой пылью телемские легионы, тяжело печатая шаг, шли через древний город Сэтэм; пылали башни, рушились кровли, и страшно, угнетая рассудок врага, свистели боевые драконы-стенобитчики. Окруженный и огражденный этими шумами тысячелетней давности, я снова забрался во внутренности Тома и теперь без всякой помехи довел профилактику до конца.

Джек и Рекс уже заравнивали яму, а в потроха Тома нагнетались последние литры аргона, когда я увидел над пляжем стремительно растущее черное пятнышко. Глайдер возвращался. Я взглянул на часы — было без двух минут восемнадцать по местному времени. Я выдержал. Теперь можно было выключить литавры и барабаны и заново обдумать вопрос: стоит ли беспокоить Вандерхузе, беспокоить базу, ведь сменщика найти будет не так-то просто, да и ЧП все-таки, работа на всей планете может из-за этого задержаться, набегут всякие комиссии, начнутся контрольные проверки и перепроверки, дело остановится, Вадик будет ходить злой как черт, а если вдобавок представить себе, как глянет на меня доктор ксенопсихологии, член КОМКОНа, специальный уполномоченный по проекту «Ковчег» Геннадий Комов, восходящее светило науки, любимый ученик доктора Мбоги, новый соперник и новый соратник самого Горбовского... Нет, все это надо тщательно продумать. Я глядел на приближающийся глайдер и думал: все это надо продумать самым тщательнейшим образом. Во-первых, у меня еще целый вечер впереди, а во-вторых, у меня есть предчувствие, что все это мы временно отложим. В конце концов, переживания мои касаются меня одного, а отставка моя касается уже не только меня, но и, можно сказать, всех. Да и звуковая завеса себя превосходно показала. Так что, пожалуй, все-таки отложим. Да. Отложим...

Все эти мысли разом вылетели у меня из головы, едва я увидел лица Майки и Вандерхузе. Комов — тот выглядел как обычно и, как обычно, озирался с таким видом, словно все вокруг принадлежит ему персонально, принадлежит давно и уже порядком надоело. А вот Майка была бледна прямо-таки до синевы, как будто ей было дурно. Уже Комов соскочил на песок и коротко осведомился у меня, почему я не откликался на радиовызовы (тут глаза его скользнули по кристаллофону на моем ухе, он пренебрежительно усмехнулся и, не дожидаясь ответа, прошел в корабль). Уже Вандерхузе неторопливо вылез из глайдера и подходил ко мне, почему-то грустно кивая, более чем когда-либо похожий на занемогшего пожилого верблюда. А Майка все неподвижно сидела на своем месте, нахохлившись,

спрятав подбородок в меховой воротник, и глаза у нее были какие-то стеклянные, а рыжие веснушки казались черными.

— Что случилось? — испуганно спросил я.

Вандерхузе остановился передо мной. Голова его задралась, нижняя челюсть выдвинулась. Он взял меня за плечо и легонько потряс. Сердце у меня ушло в пятки, я не знал, что и подумать. Он снова тряхнул меня за плечо и сказал:

— Очень грустная находка, Стась. Мы нашли погибший корабль.

Я судорожно глотнул и спросил:

— Наш?

— Да. Наш.

Майка выползла из глайдера, вяло махнула мне рукой и направилась к кораблю.

— Много жертв? — спросил я.

— Двое, — ответил Вандерхузе.

— Кто? — с трудом спросил я.

— Пока не знаем. Это старый корабль. Авария произошла много лет назад.

Он взял меня под руку, и мы вместе пошли следом за Майкой. У меня немного отлегло от сердца. Поначалу я, естественно, решил, что разбился кто-нибудь из нашей экспедиции. Но все равно...

— Никогда мне эта планета не нравилась, — вырвалось у меня.

Мы вошли в кессон, разделись, и Вандерхузе принялся обстоятельно очищать свою доху от приставших репьев и колючек. Я не стал его дожидаться и пошел к Майке. Майка лежала на койке, подобрав ноги, повернувшись лицом к стене. Эта поза мне сразу кое-что напомнила, и я сказал себе: а ну-ка, поспокойнее, без всяких этих соплей и сопереживаний. Я сел за стол, побарабанил пальцами и осведомился самым деловым тоном:

— Слушай, корабль действительно старый? Вандер говорит, что он разбился много лет назад. Это так?

— Так, — не сразу ответила Майка в стену.

Я покосился на нее. Острые кошачьи когти пробороздили по моей душе, но я продолжал все так же деловито:

— Сколько это — много лет? Десять? Двадцать? Чепуха какая-то получается. Планета-то открыта всего два года назад...

Майка не ответила. Я снова побарабанил пальцами и сказал тоном ниже, но все еще по-деловому:

— Хотя, конечно, это могли быть первопроходцы... Какие-нибудь вольные исследователи... Двое их там, как я понял?

Тут она вдруг взметнулась над койкой и села лицом ко мне, упершись ладонями в покрывало.

— Двое! — крикнула она. — Да! Двое! Коряга ты бесчувственная! Дубина!

— Подожди, — сказал я ошеломленно. — Что ты...

— Ты зачем сюда пришел? — продолжала она почти шепотом. — Ты к роботам своим иди, с ними вот обсуждай, сколько там лет прошло, какая чепуха получается, почему их там двое, а не трое, не семеро...

— Да подожди, Майка! — сказал я с отчаянием. — Я же совсем не то хотел...

Она закрыла лицо руками и невнятно проговорила:

— У них все кости переломаны... Но они еще жили... Пытались что-то делать... Слушай, — попросила она, отняв руки от лица, — уйди, пожалуйста. Я скоро выйду. Скоро.

Я осторожно поднялся и вышел. Мне хотелось ее обнять, сказать что-то ласковое, утешительное, но утешать я не умел. В коридоре меня вдруг затрясло. Я остановился и подождал, пока это пройдет. Ну и денек выдался! И ведь никому не расскажешь. Да и не надо, наверное. Я разжмурил глаза и увидел, что в дверях рубки стоит Вандерхузе и смотрит на меня.

— Как там Майка? — спросил он негромко.

Наверное, по моему лицу было видно — как, потому что он грустно кивнул и скрылся в рубке. А я поплелся на кухню. Просто по привычке. Просто так уж повелось, что сразу после возвращения глайдера все мы садились обедать. Но сегодня, видно, все будет по-другому. Какой тут может быть обед... Я накричал на повара, потому что мне показалось, будто он переврал меню. На самом деле он ничего не переврал, обед был готов, хороший обед, как обычно, но сегодня должно быть не как обычно. Майка, наверное, вообще ничего не станет есть, а надо, чтобы поела. И я заказал для нее повару фруктовое желе со сбитыми сливками — единственное ее любимое лакомство, которое я знал. Для Комова я решил ничего дополнительно не заказывать, для Вандерхузе, подумавши, — тоже, но на всякий случай ввел в общую часть меню несколько стаканов вина — вдруг кто-нибудь захочет подкрепить свои душевные силы... Потом я отправился в рубку и уселся за свой пульт.

Ребятишки мои работали как часы, Майки в рубке не было, а Вандерхузе с Комовым составляли экстренную радиограмму на базу. Они спорили.

— Это не информация, Яков, — говорил Комов. — Вы же лучше меня

знаете: существует определенная форма — состояние корабля, состояние останков, предполагаемые причины крушения, находки особого значения... Ну и так далее.

— Да, конечно, — отвечал Вандерхузе. — Но согласитесь, Геннадий, вся эта проформа имеет смысл только для биологически активных планет. В данной конкретной ситуации...

— Тогда лучше вообще не посылать ничего. Тогда давайте сядем в глайдер, слетаем туда сейчас же и сегодня же составим полный акт...

Вандерхузе покачал головой.

— Нет, Геннадий, я категорически против. Комиссии такого рода должны состоять из трех человек как минимум. А потом, сейчас уже стемнело, у нас не будет возможности произвести детальный осмотр окружающей местности... И вообще такие вещи надо делать на свежую голову, а не после полного рабочего дня. Как вы полагаете, Геннадий?

Комов, сжав тонкие губы, легонько постучал кулаком по столу.

— Ах, как это некстати, — произнес он с досадой.

— Такие вещи всегда некстати, — утешил его Вандерхузе. — Ничего, завтра утром мы отправимся туда втроем...

— Может быть, тогда сегодня вообще ничего не сообщать? — перебил его Комов.

— А вот на это я не имею права, — сказал с сожалением Вандерхузе. — Да и зачем нам это — не сообщать?

Комов встал и, заложив руки за спину, посмотрел на Вандерхузе сверху вниз.

— Как вы не понимаете, Яков, — уже с откровенным раздражением произнес он. — Корабль старого типа, неизвестный корабль, бортжурнал почему-то стерт... Если мы пошлем донесение в таком виде, — он схватил со стола листок и помахал им перед лицом Вандерхузе, — Сидоров решит, что мы не хотим или не способны самостоятельно провести экспертизу. Для него это еще одна забота — создавать комиссию, искать людей, отбиваться от любопытствующих бездельников... Мы поставим себя в смешное и глупое положение. И потом, во что превратится наша работа, Яков, если сюда явится толпа любопытствующих бездельников?

— Гм, — сказал Вандерхузе. — То есть, иначе говоря, вы не хотите скопления посторонних на нашем участке. Так?

— Именно так, — произнес Комов твердо.

Вандерхузе пожал плечами.

— Ну что ж... — Он подумал немного, отобрал у Комова листок и приписал к тексту несколько слов. — А в таком вот виде пойдет? «ЭР-два

базе, — скороговоркой прочитал он. — Экстренная. В квадрате сто два обнаружен потерпевший крушение земной корабль типа «Пеликан», регистрационный номер такой-то, в корабле останки двух человек, предположительно мужчины и женщины, бортжурнал стерт, подробную экспертизу... — тут Вандерхузе повысил голос и значительно поднял палец, — начинаем завтра». Как вы полагаете, Геннадий?

Несколько секунд Комов в задумчивости покачивался с носка на пятку.

— Ну что ж, — проговорил он наконец, — пусть будет так. Что угодно, лишь бы нам не мешали. Пусть будет так.

Он вдруг сорвался с места и вышел из рубки. Вандерхузе повернулся ко мне.

— Передай, Стась, пожалуйста. И пора уже обедать, как ты полагаешь? — Он поднялся и задумчиво произнес одну из своих загадочных фраз: — Было бы алиби, а трупы найдутся.

Я зашифровал радиограмму и послал ее в экстренном импульсе. Мне было как-то не по себе. Что-то совсем недавно, буквально минуту назад, вонзилось в подсознание и мешало там, как заноза. Я посидел перед рацией, прислушиваясь. Да, это совсем другое дело — прислушиваться, когда знаешь, что в корабле полно народа. Вот по кольцевому коридору быстро прошагал Комов. У него всегда такая походка, словно он куда-то спешит, но вместе с тем знает, что мог бы и не спешить, потому что без него ничего не начнется. А вот гудит что-то неразборчивое Вандерхузе. Майка отвечает ему, и голос у нее обыкновенный — высокий и независимый, видимо, она уже успокоилась или, по крайней мере, сдерживается. И нет ни тишины, ни пустоты, ни мух в паутине... И я вдруг понял, что это за заноза: голос умирающей женщины в моем бреду и умершая женщина в разбитом звездолете... Совпадение, конечно... Страшненькое совпадение, что и говорить.

Глава третья ГОЛОСА И ПРИЗРАКИ

Сколь это ни удивительно, но спал я как убитый. Утром я, по обыкновению, поднялся на полчаса раньше остальных, сбегал на кухню посмотреть, как там с завтраком, сбегал в рубку посмотреть, как там мои ребятишки, а потом выскочил наружу делать зарядку. Солнце еще не поднялось над горами, но было уже совсем светло и очень холодно. Ноздри слипались, ресницы смерзались, я изо всех сил размахивал руками, приседал и вообще спешил поскорее отделаться и вернуться на корабль. И тут я заметил Комова. Сегодня он, как видно, встал даже раньше меня, сходил куда-то и теперь возвращался со стороны стройплощадки. Шел он, против обыкновения, неторопливо, словно бы задумавшись, и в рассеянности похлопывал себя по ноге какой-то веточкой. Я уже заканчивал зарядку, когда он подошел ко мне вплотную и поздоровался. Я, естественно, тоже поздоровался и вознамерился было нырнуть в люк, но он остановил меня вопросом:

— Скажите, Попов, когда вы остаетесь здесь один, вы отлучаетесь куда-нибудь от корабля?

— То есть? — Я удивился даже не столько его вопросу, сколько самому факту, что Геннадий Комов снизошел заинтересоваться моим времяпрепровождением. У меня к Геннадию Комову отношение сложное. Я его недолюбливаю.

— То есть ходите вы куда-нибудь? К болоту, например, или к сопкам...

Ненавижу эту манеру, когда с человеком разговаривают, а сами смотрят куда угодно, только не на человека. Причем сами в теплой дохе с капюшоном, а человек в спортивном костюмчике на голое тело. Но при всем при том Геннадий Комов есть Геннадий Комов, и я, обхватив руками плечи и приплясывая на месте, ответил:

— Нет. У меня и так времени не хватает. Не до прогулок.

Тут он наконец соизволил заметить, что я замерзаю, и вежливо указал мне веточкой на люк, сказав: «Прошу вас. Холодно». Но в кессоне он меня остановил снова.

— А роботы от стройплощадки удаляются?

— Роботы? — Никак я не мог понять, куда он клонит. — Нет. Зачем?

— Ну, я не знаю... Например, за строительными материалами.

Он аккуратно прислонил свою веточку к стене и стал расстегивать доху. Я начал злиться. Если он каким-нибудь образом пронюхал о

неполадках в моей строительной системе, то, во-первых, это не его дело, а во-вторых, мог бы сказать об этом прямо. Что это за допрос, в самом деле...

— Строительным материалом для киберсистемы данного типа, — как можно суше сказал я, — является тот материал, который у киберсистемы под ногами. В данном случае — песок.

— И камни, — добавил он небрежно, вешая доху на крючок.

Этим он меня уел. Но это было решительно не его дело, и я с вызовом откликнулся:

— Да! Если попадутся, то и камни.

Он впервые посмотрел мне в глаза.

— Боюсь, что вы неправильно меня поняли, Попов, — с неожиданной мягкостью произнес он. — Я не собираюсь вмешиваться в вашу работу. Просто у меня возникли кое-какие недоумения, и я обратился к вам, поскольку вы — единственный человек, который может их разрешить.

Ну что ж, когда со мной по-хорошему, тогда и я по-хорошему.

— В общем-то, конечно, камни им ни к чему, — сказал я. — Вчера у меня система немножко барахлила, и машины разбросали эти камни по всей стройплощадке. Кто их знает, зачем это им понадобилось. Потом, конечно, убрали.

Он кивнул.

— Да, я заметил. А какого рода была неполадка?

Я в двух словах рассказал ему о вчерашнем дне, не касаясь, конечно, интимных подробностей. Он слушал, кивал, а потом подхватил свою веточку, поблагодарил за разъяснения и удалился. И только в кают-компании, поедая гречневую кашу с холодным молоком, я сообразил, что мне так и осталось непонятным, какие такие недоумения одолевали любимца доктора Мбоги и насколько мне удалось их разрешить. И удалось ли вообще. Я перестал есть и посмотрел на Комова. Нет, видимо, не удалось.

Геннадий Комов вообще, как правило, имеет вид человека не от мира сего. Вечно он высматривает что-то за далекими горизонтами и думает о чем-то своем, дьявольски возвышенном. На землю он спускается в тех случаях, когда кто-то или что-то, случайно или с умыслом, становится препятствием для его изысканий. Тогда он недрогнувшей рукой, зачастую совершенно беспощадно, устраняет препятствие и вновь взмывает к себе на Олимп. Так, во всяком случае, о нем рассказывают, и, в общем-то, ничего такого-эдакого тут нет. Когда человек занимается проблемой инопланетных психологий, причем занимается успешно, дерется на самом переднем крае и себя совершенно не жалеет, когда при этом он, как говорят,

является одним из выдающихся «футурмастеров» планеты, тогда ему можно многое простить и относиться к его манерам с определенным снисхождением. В конце концов, не всем быть такими обаятельными, как Горбовский или доктор Мбога.

С другой стороны, последние дни я все чаще и чаще с удивлением и горечью вспоминал восторженные рассказы Татьяны, которая проработала с Комовым целый год, была, по-моему, в него влюблена и отзывалась о нем как о человеке редкостной общительности, тончайшего остроумия и все такое прочее. Она прямо так и называла его: душа общества. Что это за общество, у которого такая душа, я представить себе не могу.

Да, так вот, Геннадий Комов всегда производил на меня впечатление человека не от мира сего. Но сегодня за завтраком он превзошел самого себя. Еду свою он обильно посыпал солью. Посыплет, попробует и рассеянно спровадит тарелку в мусоропровод. Горчицу путал с маслом. Намажет сладкий гренок, попробует и рассеянно спровадит вслед за тарелкой. Якову Вандерхузе на вопросы не отвечал, зато, как пиявка, привязался к Майке, добиваясь, все ли время они с Вандером на съемке ходят вдвоем или иногда расстаются. И еще он время от времени вдруг принимался озираться нервно, а один раз вдруг вскочил, выбежал в коридор, отсутствовал несколько минут и вернулся как ни в чем не бывало — опять мазать гренки горчицей, пока эту злосчастную горчицу не убрали от него вовсе.

Майка тоже нервничала. Отвечала отрывисто, глядела в тарелку и за весь завтрак ни разу не улыбнулась. Впрочем, что делается с ней — я как раз понимал. Я бы на ее месте тоже нервничал перед таким предприятием. В конце концов, Майка — моя ровесница, хотя опыт работы у нее значительно больше, но это совсем не тот опыт, который сегодня ей понадобится.

Одним словом, Комов явно нервничал, Майка нервничала, Вандерхузе тоже, глядя на них, стал обнаруживать некоторые признаки беспокойства, и мне стало ясно, что поднимать сейчас вопрос о моем участии в предстоящей экспертизе решительно неуместно. Я понял, что сегодня мне опять предстоит целый рабочий день тишины и пустоты, и тоже стал нервничать. Атмосфера за столом сделалась прямо-таки напряженной. И тогда Вандерхузе как командир корабля и врач решил эту атмосферу разрядить. Он задрал голову, выдвинул челюсть и длинно посмотрел на нас поверх носа. Рысьи бакенбарды его растопырились. Для начала он рассказал несколько анекдотов из быта звездолетчиков. Анекдоты были старые, заезженные, я заставлял себя улыбаться, Майка никак не

реагировала, а Комов реагировал как-то странно. Слушал он внимательно и серьезно, в ударных местах кивал, а потом задумчиво оглядел Вандерхузе и произнес внушительно:

— А знаете, Яков, к вашим бакенбардам очень пошли бы кисточки на ушах.

Это было хорошо сказано, и при других обстоятельствах я порадовался бы острому словцу, но сейчас мне это показалось совершенно бестактным. Впрочем, сам Вандерхузе был, очевидно, противоположного мнения. Он самодовольно ухмыльнулся, согнутым пальцем взбил свои бакенбарды — сначала левый, а затем правый — и поведал нам следующую историю.

Является на некую цивилизованную планету один землянин, входит он в контакт и предлагает аборигенам свои услуги в качестве крупнейшего на Земле специалиста по конструированию и эксплуатации вечных двигателей первого рода. Аборигены, натурально, смотрят этому посланцу сверхразума в рот и, следуя его указаниям, немедленно принимаются строить. Построили. Не работает вечный двигатель. Землянин крутит колеса, ползает среди стержней и всяких шестеренок и бранится, что все сделано не так. «Технология, — говорит, — у вас отсталая, вот эти узлы надо решительно переделать, а вон те так и вообще заменить, как вы полагаете?» Аборигенам деваться некуда. Принимаются они переделывать и решительно заменять. И только они это закончили, как вдруг прибывает с Земли ракета «скорой помощи», санитары хватают изобретателя и делают ему надлежащий укол, врач приносит аборигенам свои извинения, и ракета отбывает. Аборигены в тоске и смущении, стыдясь глядеть друг другу в глаза, начинают расходиться и тут замечают, что двигатель-то заработал. Да, друзья мои, двигатель заработал и продолжает работать до сих пор, вот уже полтораста лет.

Мне эта незамысловатая история понравилась. Сразу видно, что Вандерхузе выдумал ее сам и, скорее всего, только что. К моему огромному удивлению, Комову история понравилась тоже. Уже на середине рассказа он перестал блуждать взглядом по столу в поисках горчицы, уставился на Вандерхузе и не спускал с него прищуренных глаз до самого конца, а потом высказался в том смысле, что идея невменяемости одного из партнеров по контакту представляется ему теоретически любопытной. «Во всяком случае, до сих пор общая теория контакта не учитывала такой возможности, хотя еще в начале двадцать первого века некий Штраух выдвигал предложение включать шизоидов в состав экипажей космических кораблей. Уже тогда было известно, что шизоидные типы обладают ярко выраженной способностью непредвзятого ассоциирования. Там, где

нормальный человек в хаосе невиданного волей-неволей стремится углядеть знакомое, известное ранее, стереотипное, шизоид, напротив, не только видит все так, как оно есть, но способен создавать новые стереотипы, прямо вытекающие из сокровенной природы рассматриваемого хаоса. Между прочим, — продолжал Комов, понемножку разгораясь, — это свойство оказывается чрезвычайно общим для шизоидных представителей разумов самых различных типов. А поскольку теоретически совершенно не исключена возможность, что объектом контакта окажется именно шизоидный индивидуум, и поскольку своевременно не разгаданная шизоидность может в ходе контакта привести к тяжелейшим последствиям, проблема, затронутая вами, Яков, кажется достойной определенного научного внимания».

Вандерхузе, ухмыляясь, объявил, что дарит Комову эту идею, и сказал, что пора трогаться. При этих словах Майка, заинтересовавшаяся было и слушавшая Комова с полуоткрытым ртом, сразу увяла. Я тоже сразу увял: все эти разговоры о шизоидах навели меня на неприятные размышления. И вот что тогда произошло.

Вандерхузе и Майка уже вышли из кают-компании, а Комов замешкался в дверях, повернулся вдруг, крепко взял меня за локоть и, как-то жутковато-пристально шаря по моему лицу своими холодными серыми глазами, тихо и быстро проговорил:

— Что это вы приуныли, Стась? Что-нибудь случилось?

Я обалдел. Меня наповал сразила поистине сверхъестественная проницательность этого специалиста по шизоидам. Но мне все-таки удалось мгновенно взять себя в руки. Слишком многое для меня решалось в этот момент. Я отстранился и с безмерным изумлением спросил:

— О чем вы, Геннадий Юрьевич?

Взгляд его продолжал бегать по моему лицу, и он спросил еще тише и еще быстрее:

— Вы боитесь остаться один?

Но я уже прочно сидел в седле.

— Боюсь? — переспросил я. — Ну, это слишком сильно сказано, Геннадий Юрьевич. Я не ребенок все-таки...

Он отпустил мой локоть.

— А может быть, полетите с нами?

Я пожал плечами.

— Я бы с удовольствием. Но ведь вчера у меня были неполадки. Пожалуй, мне все-таки лучше остаться.

— Ну-ну! — произнес он с неопределенным выражением, резко

повернулся и вышел.

Я постоял еще в кают-компании, окончательно приводя себя в порядок. В голове у меня была сумятица, но чувствовал я себя как после хорошо сданного экзамена.

Они помахали мне на прощанье и улетели, а я даже не стал провожать их взглядом. Я сразу же вернулся в корабль, выбрал стереопару кристаллофонов, вооружил оба уха и завалился в кресло перед своим пультом. Я следил за работой своих ребятишек, читал, принимал радиограммы, беседовал с Вадиком и Нинон (было утешительно обнаружить, что у Вадика тоже вовсю играет музыка), я затеял уборку помещения, я составил роскошное меню с расчетом на необходимость подкрепления душевных сил — и все это в громе, в звоне, в завывании флейт и в мяуканье нэкофонов. В общем, я старательно, безжалостно и с пользой для себя и окружающих убивал время. И все это убиваемое время меня неотступно грызла терзающая мысль: откуда Комов узнал о моей слабости и что он в связи с этим намерен предпринять. Комов ставил меня в тупик. Эти его недоумения, возникшие после похода на стройплощадку, этот разговор о шизоидах, эта странная интерлюдия в дверях кают-компании... Елки-палки, ведь он предложил мне лететь с ними, он явно опасался оставить меня одного! Неужели это все-таки так заметно? Но ведь Вандерхузе вот ничего не заметил...

В таких примерно подспудных мыслях прошла большая часть моего рабочего дня. В пятнадцать часов, гораздо раньше, чем я ожидал, глайдер вернулся. Я едва успел сорвать с ушей и спрятать кристаллофоны, как вся компания ввалилась в корабль. Я встретил их в кессоне с тщательно продуманной сдержанной приветливостью, не стал задавать никаких вопросов по существу и только осведомился, нет ли желающих подкрепиться. Боюсь, правда, что после шестичасового грома и звона я говорил немножко слишком громко, так что Майка, которая, к вящей моей радости, выглядела вполне удовлетворительно, воззрилась на меня с некоторым удивлением, а Комов быстро оглядел меня с ног до головы и, не сказав ни слова, сейчас же скрылся в своей каюте.

— Подкрепиться? — раздумчиво проговорил Вандерхузе. — Знаешь ли, Стась, я сейчас пойду в рубку писать экспертное заключение, так что если бы ты как-нибудь мимоходом занес мне стаканчик тонизирующего, это было бы уместно, как ты полагаешь?

Я сказал, что принесу, Вандерхузе удалился в рубку, а мы с Майкой пошли в кают-компанию, где я нацедил два стаканчика тонизирующего — один отдал Майке, а второй отнес Вандерхузе. Когда я вернулся, Майка со

стаканчиком в руке бродила по кают-компании. Да, она была значительно спокойнее, чем утром, но все равно чувствовалась в ней какая-то напряженность, натянутость какая-то, и, чтобы помочь ей разрядиться, я спросил:

— Ну, что там с кораблем?

Майка сделала хороший глоток, облизала губы и, глядя куда-то мимо меня, произнесла:

— Знаешь, Стась, все это неспроста.

Я подождал продолжения, но она молчала.

— Что — неспроста? — спросил я.

— Все! — Она неопределенно повела рукой со стаканом. — Кастрированный мир. Бледная немочь. Помяни мое слово: и корабль этот здесь разбился не случайно, и нашли мы его не случайно, и вообще вся эта наша затея, весь проект — все провалится на этой планетке! — Она допила вино и поставила стакан на стол. — Элементарные правила безопасности не соблюдаются, большинство работников здесь — мальки вроде тебя, да и меня тоже... И все только потому, что планета биологически пассивна. Да разве в этом дело! Ведь любой человек с элементарным чутьем в первый же час чует здесь неладное. Была здесь жизнь когда-то, а потом вспыхнула звезда — и в один миг все кончилось... Биологически пассивная? Да! Но зато активная некротически. Вот и Панта будет такой через сколько-то там лет. Корявые деревца, чахлая травка, и все вокруг пропитано древними смертями. Запах смерти, понимаешь? Даже хуже того — запах бывшей жизни! Нет, Стась, помяни мое слово, не приживутся здесь пантиане, не узнают они здесь никакой радости. Новый дом для целого человечества? Нет, не новый дом, а старый замок с привидениями...

Я вздрогнул. Она заметила это, но поняла неправильно.

— Ты не беспокойся, — сказала она, печально улыбаясь. — Я в полном порядке. Просто пытаюсь выразить свои ощущения и свои предчувствия. Ты меня, я вижу, понять не можешь, но сам посуди, что это за предчувствия, если мне на язык лезут все эти словечки: некротический, привидения...

Она опять прошлась по кают-компании, остановилась передо мной и продолжала:

— Конечно, с другой стороны, параметры у планеты прекрасные, редкостные. Биологическая активность почти нулевая, атмосфера, гидросфера, климат, термический баланс — все как по заказу для проекта «Ковчег». Но даю тебе голову на отсечение, никто из организаторов этой затеи здесь не был, а если и был кто-нибудь, то чутья у него, нюха на

жизнь, что ли, ни на грош не оказалось... Ну понятно, это все старые волки, все в шрамах, все прошли через разнообразные ады... Чутье на материальную опасность у них великолепное! Но вот на _это_... — Она пощелкала пальцами и даже, бедняжка, сморщилась от бессилия выразить. — А впрочем, откуда я знаю, может быть, кто-нибудь из них и почуял неладное, а как это объяснишь тем, кто здесь не был? Но ты-то меня хоть немножко понимаешь?

Она смотрела на меня в упор зелеными глазами, а я колебался и, поколебавшись, соврал:

— Не совсем. То есть, конечно, в чем-то ты права... Тишина, пустота...

— Вот видишь, — сказала она, — даже ты не понимаешь. Ну ладно, хватит об этом. — Она села на стол напротив меня и вдруг, ткнув меня пальцем в щеку, засмеялась. — Выговорилась, и как-то легче стало. С Комовым, сам понимаешь, не разговоришься, а к Вандеру лучше с этим не соваться — сгноит в медотсеке...

Напряжение, сковывавшее ее, да и меня тоже, сразу же спало, и разговор превратился в легкий треп. Я пожаловался ей на вчерашние неприятности с роботами, рассказал, как Вадик купался один в целом океане, и спросил, как продвигаются квартирьерские дела. Майка ответила, что они наметили четыре места для стойбищ, места вообще-то хорошие, и при прочих равных условиях любой пантианин с удовольствием провел бы здесь всю свою жизнь, но, поскольку вся эта затея все равно обречена, говорить особенно не о чем. Я напомнил Майке, что она всегда отличалась природным скептицизмом и что скептицизм этот далеко не всегда оправдывался. Майка возразила, что речь сейчас идет уже не о природном скептицизме, а о скептицизме природы и что я вообще салага, малек и, по сути, должен был бы стоять перед нею, опытной Майкой, по стойке «смирно». Тогда я сказал ей, что настоящий опытный человек никогда не станет спорить с кибертехником, ибо кибертехник является на корабле той осью, вокруг которой, собственно, происходит все коловращение жизни. Майка заметила, что большинство осей вращения является, по сути, понятием воображаемым, не более чем геометрическими местами точек... Потом мы затеяли спор, есть ли разница между понятиями «ось вращения» и «ось коловращения», в общем, мы трепались, и со стороны, вероятно, это выглядело довольно мило, но не знаю, о чем там в это время думала Майка, а я лично вторым планом все время прикидывал, не заняться ли мне прямо сейчас профилактикой всех систем обеспечения безопасности. Правда, системы эти были рассчитаны на опасность биологическую, и невозможно было сказать, годятся ли они против опасности некротической, но при всем

при том береженого бог бережет, под лежачий камень вода не течет, и вообще: тише едешь — дальше будешь.

Словом, когда Майка стала позевывать и жаловаться на недосып, я отослал ее вздремнуть перед обедом, а сам прежде всего полез в библиотеку, отыскал толковый словарь и посмотрел, что такое «некротический». Толкование произвело на меня тяжелое впечатление, и я решил начать профилактику немедленно. Предварительно, правда, я забежал в рубку посмотреть, как работают мои ребятишки, и застал там Вандерхузе как раз в тот момент, когда он складывал аккуратной стопочкой свое экспертное заключение. «Сейчас отнесу это Комову, — объявил он, увидев меня, — потом дам посмотреть Майке, а потом устроим обсуждение, как ты полагаешь? Позвать тебя?» Я сказал, что позвать, и сообщил, что буду в отсеке обеспечения безопасности. Он с любопытством посмотрел на меня, но ничего не сказал и вышел.

Меня позвали часа через два. Вандерхузе по интеркому объявил, что заключение прочитали все члены комиссии, и спросил, не хочу ли прочесть и я. Я, конечно, хотел бы, но профилактика у меня была в самом разгаре, сторож-разведчик наполовину выпотрошен, имела место запарка, так что я ответил в том смысле, что читать, пожалуй, не стану, а на обсуждение явлюсь непременно, как только покончу с делами. «У меня еще на час работы, — сказал я, — так что обедайте без меня».

В общем, когда я явился в кают-компанию, обед кончился, и обсуждение началось. Я взял себе супу, сел в сторонке и стал есть и слушать.

— Не могу я принять метеоритную гипотезу совсем без оговорок, — укоризненно говорил Вандерхузе. — «Пеликаны» прекрасно защищены от метеоритного удара, Геннадий. Он бы просто уклонился.

— Не спорю, — отвечал Комов, глядя в стол и брезгливо морщась. — Однако предположите, что метеоритная атака произошла в момент выхода корабля из подпространства...

— Да, конечно, — согласился Вандерхузе. — В этом случае — конечно. Но вероятность...

— Вы меня удивляете, Яков. У корабля абсолютно разрушен рейсовый двигатель. Огромная сквозная дыра со следами сильного термического воздействия. По-моему, каждому нормальному человеку ясно, что это может быть только метеорит.

У Вандерхузе был очень несчастный вид.

— Ну... Хорошо, — сказал он. — Ну, пусть будет по-вашему... Вы просто не понимаете, Геннадий, вы не звездолетчик... Вы просто не

понимаете, насколько это маловероятно. Именно в момент выхода из подпространства огромный метеорит огромной энергии... Я просто не знаю, с чем это сравнить по невероятности!

— Хорошо. Что вы предлагаете?

Вандерхузе оглядел всех в поисках поддержки и, поддержки не обнаружив, сказал:

— Хорошо, пусть будет так. Но я все-таки буду настаивать, чтобы формулировка имела сослагательный оттенок. Скажем: «Указанные факты заставляют предположить...»

— «Сделать вывод», — поправил Комов.

— «Сделать вывод»? — Вандерхузе нахмурился. — Да нет, Геннадий, какой тут может быть вывод? Именно предположение! «...заставляют предположить, что корабль был поражен метеоритом высокой энергии в момент появления из подпространства». Вот так. Предлагаю согласиться.

Несколько секунд Комов думал, шевеля желваками на скулах, потом сказал:

— Согласен. Перехожу к следующей поправке.

— Минуточку, — сказал Вандерхузе. — А ты, Майка?

Майка пожала плечами.

— Честно говоря, не ощущаю разницы. В общем, согласна.

— Следующая поправка, — нетерпеливо произнес Комов. — Нам не надо запрашивать мнение базы, как поступить с останками. Вообще этому вопросу не место в экспертном заключении. Надо дать специальную радиограмму, что останки пилотов помещены в контейнеры, залиты стеклопластом и в ближайшее время будут переправлены на базу.

— Однако... — с растерянным видом начал Вандерхузе.

— Я займусь этим завтра, — прервал его Комов. — Сам.

— Может быть, следовало бы похоронить их здесь? — негромко сказала Майка.

— Не возражаю, — сейчас же сказал Комов. — Но, как правило, в таких случаях останки пересылаются на Землю... Что? — повернулся он к Вандерхузе.

Вандерхузе, открывший было рот, помотал головой и сказал:

— Ничего.

— Короче говоря, — сказал Комов, — этот вопрос из заключения я предлагаю выбросить. Согласны, Яков?

— Пожалуй, — сказал Вандерхузе. — А ты, Майка?

Майка колебалась, и я понял ее. Как-то все это происходило слишком по-деловому. Правда, я не знаю, как это должно происходить, но, по-моему,

такие вопросы нельзя решать голосованием.

— Прекрасно, — произнес Комов как ни в чем не бывало. — Теперь относительно причин и обстоятельств смерти пилотов. Акт о вскрытии и фотоматериалы меня вполне удовлетворяют, а формулировку я предлагаю такую: «Положение трупов свидетельствует о том, что смерть пилотов наступила вследствие удара корабля о поверхность планеты. Мужчина погиб раньше женщины, успев только стереть бортжурнал. Выбраться из кресла пилота он был уже не в состоянии. Женщина, напротив, была жива еще некоторое время и пыталась покинуть корабль. Смерть застигла ее уже в кессонной камере». Ну а дальше — по вашему тексту.

— Гм... — сказал Вандерхузе с большим сомнением. — Не слишком ли все это категорично, как вы полагаете, Геннадий? Ведь если придерживаться того самого акта о вскрытии, против которого вы не возражаете, бедняжка была просто не в состоянии доползти до кессона.

— Тем не менее она оказалась там, — холодно произнес Комов.

— Но ведь именно это обстоятельство... — проникновенно начал Вандерхузе, прижимая руки к груди.

— Слушайте, Яков, — сказал Комов. — Никто не знает, на что способен человек в критических условиях. И особенно женщина. Вспомните историю Марты Пристли. Вспомните историю Колесниченко. И вспомните вообще историю, Яков.

Наступило молчание. Вандерхузе сидел с несчастным видом и безжалостно таскал себя за бакенбарды.

— А меня как раз не удивляет, что она оказалась в кессоне, — подала голос Майка. — Я другого не понимаю. Почему он стер бортжурнал? Ведь был же удар, человек умирает...

— Ну это как раз... — неуверенно проговорил Вандерхузе. — Это может быть. Агония, шарил руками по пульту, зацепил ключ...

— Вопрос о бортжурнале, — сказал Комов, — вынесен в раздел фактов особого значения. Лично я думаю, что эта загадка никогда не будет разрешена... Если, впрочем, это загадка, а не случайное стечение обстоятельств. Продолжаем. — Он быстро перебрал разбросанные перед ним листки. — Собственно, у меня, пожалуй, больше нет замечаний. Земная микрофлора и микрофауна, по-видимому, погибла, следов ее, во всяком случае, нет... Так... Личные бумаги. Разбирать их — дело не наше, кроме того, они в таком состоянии, что мы можем только напортить. Завтра я их законсервирую и привезу сюда... Да! Попов, тут есть кое-что по вашей части. Вам известно кибернетическое оборудование кораблей типа «Пеликан»?

— Да, конечно, — сказал я, поспешно отодвигая тарелку.

— Будьте добры, — он перебросил мне листок бумаги, — вот опись всех обнаруженных кибермеханизмов. Проверьте, все ли на месте.

Я взял опись. Все выжидательно глядели на меня.

— Да, — проговорил я, — пожалуй, все на месте. Даже инициаторные разведчики на месте, обычно их всегда некомплект... А вот этого я не понимаю. Что такое: «Ремонтный робот, переоборудованный в шьющее устройство»?

— Яков, объясните, — распорядился Комов.

Вандерхузе задрал голову и выпятил челюсть.

— Понимаешь ли, Стась, — как бы в задумчивости произнес он. — Трудно тут что-либо объяснить. Просто ремонтный кибер, превращенный в шьющее устройство. В устройство, которое шьет, понимаешь? У кого-то из них, видимо, у женщины, было несколько необычное хобби.

— Ага, — сказал я, удивившись. — Но это точно — ремонтный кибер?

— Несомненно, — уверенно сказал Вандерхузе.

— Тогда здесь полный комплект, — сказал я, возвращая Комову опись. — Просто на редкость полный. Наверное, они ни разу не высаживались на тяжелых планетах.

— Спасибо, — сказал Комов. — Когда будет готов чистовик заключения, я попрошу вас подписать раздел об утечке выжившей кибертехники.

— Но ведь утечки нет, — возразил я.

Комов не обратил на меня внимания, а Вандерхузе объяснил:

— Это просто название раздела: «Утечка выжившей кибертехники». Ты подпишешь, что утечки нет.

— Так... — проговорил Комов, собирая в пачку разбросанные листы. — Теперь я очень прошу вас, Яков, привести все это в окончательный порядок, мы подпишемся, и уже сегодня можно будет радировать. А теперь, если ни у кого нет дополнительных соображений, я пойду.

Дополнительных соображений не было, и он ушел. Вандерхузе с тяжким вздохом поднялся, взвесил на ладони пачку листов заключения, посмотрел на нас, откинув голову, и тоже удалился.

— Вандер явно недоволен, — заметил я, накладывая на тарелку жаркое.

— Я тоже недовольна, — сказала Майка. — Как-то недостойно все это получилось. Я не умею объяснить, может быть, это я по-детски, наивно... Но должно же быть... Должна же быть минута молчания какая-то... А тут — раз-два, завертели-закрутили колесо: положение останков, утечка

кибертехники, топографические параметры... Тьфу! Как будто в школе на практических занятиях...

Я был полностью с нею согласен.

— Ведь Комов никому рта не дает раскрыть! — продолжала она со злостью. — Все ему ясно, все ему очевидно, а на самом деле не так все это ясно. И с метеоритом неясно, и особенно с этим бортжурналом. И не верю я, что ему все ясно! По-моему, у него что-то на уме, и Вандер это тоже понимает, только не знает, как его зацепить... а может быть, считает, что это несущественно...

— Может быть, это и в самом деле несущественно... — пробормотал я неуверенно.

— А я и не говорю, что существенно! — возразила Майка. — Мне просто не нравится, как Комов себя ведет. Не понимаю я его. И вообще он мне не нравится! Мне о нем все уши прожужжали, а я теперь хожу и считаю дни, сколько мне с ним работать осталось... В жизни больше никогда с ним работать не буду!

— Ну, не так уж много и осталось, — примирительно сказал я, — всего-то еще дней двадцать...

На том мы и расстались. Майка пошла приводить в порядок свои измерения и квартирьерские кроки, а я отправился в рубку, где меня ожидал маленький сюрприз: Том сообщал, что закладка фундамента закончена, и предлагал принять работу. Я накинул доху и побежал на стройплощадку.

Солнце уже зашло, сумерки сгустились. Странные здесь сумерки — темно-фиолетовые, как разведенные чернила. Луны нет, зато в изобилии северное сияние, да еще какое! Гигантские полотнища радужного света бесшумно развеваются над черным океаном, сворачиваются и разворачиваются, трепещут и вздрагивают, словно под ветром, переливаются белым, зеленым, розовым и вдруг мгновенно гаснут, оставив в глазах смутные цветные пятна, а потом вновь возникают, и тогда исчезают звезды, исчезают сумерки, все вокруг окрашивается в неестественные, но чистейшие цвета — туман над болотом становится красно-синим, айсберг вдали мерцает, как глыба янтаря, а по пляжу стремительно несутся зеленоватые тени.

Яростно растирая мерзнущие щеки и нос, я осматривал в этом чудном свете готовые фундаменты. Том, неотступно следовавший за мной по пятам, услужливо сообщал необходимые цифры, а когда сияние гасло — не менее услужливо включал прожекторы. И было, как всегда, мертвенно-тихо, только похрустывал у меня под каблуками смерзшийся песок. Потом я услышал голоса: Майка и Вандерхузе вышли подышать свежим воздухом

и полюбоваться небесным спектаклем. Майке очень нравилось северное сияние — единственное, что ей нравилось на этой планете. Я был довольно далеко от корабля, метрах в ста, и не видел их, но голоса слышал совершенно отчетливо. Впрочем, сначала я слушал их вполуха. Майка говорила что-то о поврежденных верхушках деревьев, а Вандерхузе гудел об эрозии бортовой квазиорганики — по-видимому, они снова обсуждали причины и обстоятельства гибели «Пеликана».

Была в их беседе какая-то странность. Повторяю: я вначале не очень-то прислушивался и только потом понял, в чем дело. Они разговаривали, словно не слушая друг друга. Например, Вандерхузе говорил: «Один планетарный двигатель у них уцелел, иначе они бы просто не могли маневрировать в атмосфере...» А Майка долбила свое: «Нет, Яков, не менее десяти-пятнадцати лет. Посмотрите на эти наплывы...»

Я спустился в один из фундаментов, чтобы осмотреть дно, а когда вылез, разговор сделался более связным, но зато менее понятным. Они словно репетировали какую-то пьесу.

— А это еще что такое? — спрашивала Майка.

— Я бы сказал, что это игрушка, — отвечал Вандерхузе.

— Я бы тоже так сказала. Но зачем?

— Хобби. Ничего удивительного, весьма распространенное хобби.

В общем, это было похоже, как мы развлекались на базе в ожидании формировки. Вадим, скажем, ни с того ни с сего орал на всю столовую: «Капитан! Принимаю решение сбросить хвостовую часть и уходить в подпространство!» — на что какой-нибудь другой остряк немедленно откликался: «Ваше решение одобряю, капитан! Не забудьте головную часть, капитан!» — и так далее.

Впрочем, странный этот разговор скоро прекратился. Явственно чмокнула перепонка люка, и снова наступила тишина. Я осмотрел последний фундамент, похвалил Тома за хорошую работу и приказал ему переключить Джека на следующий этап. Сполохи погасли, и в наступившей тьме ничего не было видно, кроме бортовых огней моих киберов. Чувствуя, что кончик носа у меня вот-вот отвалится, я рысцой побежал к кораблю, нашарил перепонку и вскочил в кессон. Кессон — это прекрасно. Это одно из самых чудесных помещений корабля. Наверное, это потому, что кессон — первое помещение корабля, которое дарует тебе сладостное ощущение дома: вернулся домой, в родное, теплое, защищенное, из чужого, ледяного, угрожающего. Из тьмы в свет. Я сбросил доху и, на ходу покрякивая и растирая ладони, направился в рубку.

Вандерхузе уже сидел там, обложенный своими бумажками, и, скорбно

склонив голову, переписывал начисто очередную страницу заключения. Шифрующая машинка бойко стрекотала под его пальцами.

— А мои ребятки уже фундамент закончили, — похвастался я.

— Угу, — отозвался Вандерхузе.

— А что у вас там за игрушки? — спросил я.

— Игрушки... — рассеянно повторил Вандерхузе. — Игрушки? — переспросил он, не переставая стрекотать машинкой. — Ах, игрушки... — Он отложил готовый листок и взял другой.

Я подождал немного и напомнил:

— Так что это за игрушки?

— Что это за игрушки... — со значительностью в голосе повторил Вандерхузе и, задрав голову, поглядел на меня. — Ты так ставишь вопрос? Это, видишь ли... А впрочем, кто его знает, что это за игрушки. Там, на «Пеликане»... Извини, Стась, я сначала закончу, как ты полагаешь?

Я на цыпочках прошел к своему пульту, последил немного за работой Джека, который принялся уже возводить стены метеостанции, а потом, так же на цыпочках, вышел из рубки и отправился к Майке.

Все мыслимое освещение в каюте Майки было включено, а сама она восседала по-турецки на койке и тоже была очень занята. На столе, на койке, на полу расстилались простыни-склейки, карты, кроки, раздвинутые гармошки аэрофотографий, наброски и записи, и Майка по очереди все это просматривала, делала какие-то пометки, иногда хватала лупу, а иногда — бутылку с соком, стоявшую на стуле рядом. Понаблюдав за ней некоторое время, я выбрал момент, когда бутылка с соком покинула стул, и уселся на стул сам, так что когда Майка, не глядя, сунула бутылку обратно, то попала мне прямо в протянутую руку.

— Спасибо, — сказал я и отхлебнул.

Майка приподняла голову.

— А, это ты? — произнесла она с неудовольствием. — Ты чего?

— Просто так зашел, — сказал я благодушно. — Нагулялась?

— И не думала, — возразила она, отбирая у меня бутылку. — Сижу как проклятая, вчера вечером не работала, накопилось тут всякого... Какое тут гулянье!

Она вернула мне бутылку, я машинально отхлебнул, ощущая смутное беспокойство, и тут у меня словно пелена с глаз упала: Майка была одета по-домашнему, в свою любимую пушистую кофту и шорты, на голове у нее был платок, и волосы под платком были влажные.

— В душе была? — тупо спросил я.

Она что-то ответила, но я и так уже все понял. Я встал. Я аккуратно

поставил бутылку на сиденье. Я пробормотал что-то, не помню — что. Я каким-то образом очутился в коридоре, потом у себя в каюте, погасил зачем-то верхний свет, включил зачем-то ночничок, лег на койку и повернулся лицом к стене. Меня опять трясло. Помню, в голове моей крутились какие-то обрывочные мысли, вроде: «Теперь-то уж все пропало, все напрасно, теперь-то уж окончательно и бесповоротно». Я поймал себя на том, что опять прислушиваюсь. И я опять что-то слышал, что-то неподобающее. Тогда я рывком поднялся, полез в ночной столик, взял таблетку снотворного и положил под язык. Потом я снова лег. По стенам топотали ящерицы, затененный потолок медленно поворачивался, ночник то совсем меркнул, то разгорался нестерпимо ярко, погибающие мухи отчаянно зудели по углам. Кажется, приходила Майка, смотрела на меня с беспокойством, чем-то укрыла и исчезла, а потом появился Вадик, уселся у меня в ногах и сказал сердито: «Что же ты валяешься? Целая комиссия тебя ждет, а ты разлегся». — «Да ты громче говори, — сказала ему Нинон, — у него же что-то с ушами, он не слышит». Я сделал каменное лицо и сказал, что все это чепуха. Я встал, и все вместе мы вошли в разбитый «Пеликан», вся органика в нем распалась, и стоял острый нашатырный запах, как тогда в коридоре. Но это был не совсем «Пеликан», скорее уж это была стройплощадка, копошились мои ребятишки, посадочная полоса изумительно сверкала под солнцем, и я все боялся, что Том наедет на две мумии, которые лежали поперек, то есть это все думали, что мумии, а на самом деле это были Комов и Вандерхузе, только надо было, чтобы этого никто не заметил, потому что они разговаривали и слышал их только я. Но от Майки не скроешься. «Разве вы не видите, что ему плохо?» — сердито сказала она и положила мне на рот и нос сырой платок, смоченный в нашатырном спирте. Я чуть не задохнулся, замотал головой и сел на койке.

Глаза у меня были открыты, и в свете ночника я сразу увидел перед собой человека. Он стоял возле самой койки и, наклонившись, внимательно смотрел мне прямо в лицо. В слабом свете он казался темным, почти черным — бредовая скособоченная фигура без лица, зыбкая, без четких очертаний, и такой же зыбкий, нечеткий отблеск лежал у него на груди и на плече.

Уже точно зная, чем это кончится, я протянул к нему руку, и рука моя прошла сквозь него, как сквозь воздух, а он заколыхался, начал таять и через несколько секунд исчез без следа. Я откинулся на спину и закрыл глаза. А вы знаете, что у алжирского дея под самым носом шишка? Под самым носом... Я был мокрый как мышь, и мне было невыносимо душно, я почти задыхался.

Глава четвертая ПРИЗРАКИ И ЛЮДИ

Я проснулся поздно, с тяжелой головой и с твердым намерением сразу же после завтрака уединиться где-нибудь с Вандерхузе и выложить ему все. Кажется, никогда еще в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. Все было кончено для меня, поэтому я не стал даже делать зарядку, а просто принял усиленный ионный душ и побрел в кают-компанию. Уже на пороге я сообразил, что вчера вечером за всеми своими неприятностями я начисто забыл отдать повару распоряжение насчет завтрака, и это меня окончательно доконало. Пробормотав какое-то невнятное приветствие и чувствуя, что от горя и стыда я красен как вареный рак, я уселся на свое место и уныло оглядел стол, стараясь ни с кем не встречаться глазами. Трапеза была, прямо скажем, монастырская, послушническая была трапеза. Все питались черным хлебом и молоком. Вандерхузе посыпал свой ломоть солью. Майка помазала свой ломоть маслом. Комов жевал хлеб всухомятку, не прикасаясь даже к молоку.

У меня аппетита не было никакого — подумать было страшно жевать что-нибудь. Я взял себе стакан молока, отхлебнул. Боковым зрением я видел, что Майка смотрит на меня и что ей очень хочется спросить, что со мной и вообще. Однако она ничего не спросила, а Вандерхузе принялся многословно рассуждать, какая это с медицинской точки зрения полезная вещь — разгрузочный день, и как хорошо, что у нас сегодня именно такой завтрак, а не какой-нибудь другой. Он подробно объяснил нам, что такое пост и что такое великий пост, и не без уважения отозвался о ранних христианах, которые дело свое знали туго. Заодно он рассказал нам, что такое масленица, но скоро, впрочем, почувствовал, что слишком увлекается описанием блинов с икрой, с балыком, с семгой и другими вкусными вещами, оборвал себя и принялся в некотором затруднении расправлять бакенбарды. Разговор не завязывался. Я беспокоился за себя, Майка беспокоилась за меня. А что касается Комова, то он опять, как и вчера, был явно не в своей тарелке. Глаза у него были красные, он большей частью смотрел в стол, но время от времени вскидывал голову и озирался, как будто его окликали. Хлеба он накрошил вокруг себя ужасно и продолжал крошить, так что мне захотелось дать ему по рукам, как маленькому. Так мы и сидели унылой компанией, а бедный Вандерхузе из сил выбивался, стараясь нас рассеять.

Он как раз мыкался с какой-то длиннющей заунывной историей,

которую придумывал на ходу и никак не мог придумать до конца, как вдруг Комов издал странный сдавленный звук, словно сухой кусок хлеба встал ему наконец поперек горла. Я взглянул на него через стол и испугался. Комов сидел прямой, вцепившись обеими руками в край столешницы, красные глаза его вылезли из орбит, он смотрел куда-то мимо меня и стремительно бледнел. Я обернулся. Я обмер. У стены, между фильмотекой и шахматным столиком, стоял мой давешний призрак.

Теперь я видел его совершенно отчетливо. Это был человек, во всяком случае — гуманоид, маленький, тощий, совершенно голый. Кожа у него была темная, почти черная, и блестела, словно покрытая маслом. Лица его я не разглядел или не запомнил, но мне сразу бросилось в глаза, как и в ночном моем кошмаре, что человечек этот был весь какой-то скособоченный и словно бы размытый. И еще — глаза: большие, темные, совершенно неподвижные, слепые, как у статуи.

— Да вот же он! Вот он! — гаркнул Комов.

Он указывал пальцем совсем в другую сторону, и там у меня на глазах прямо из воздуха возникла новая фигура. Это был все тот же застывший лоснящийся призрак, но теперь он застыл в стремительном рывке, на бегу, как фотография спринтера на старте. И в ту же секунду Майка бросилась ему в ноги. С грохотом полетело в сторону кресло, Майка с воинственным воплем проскочила сквозь призрак и врезалась в экран видеофона, я еще успел заметить, как призрак заколебался и начал таять, а Комов уже кричал:

— Дверь! Дверь!

И я увидел: кто-то маленький, белый и матовый, как стена кают-компании, согнувшись в неслышном беге, скользнул в дверь и исчез в коридоре. И тогда я рванулся за ним.

Теперь об этом стыдно вспоминать, но тогда мне было совершенно безразлично, что это за существо, откуда оно, почему оно здесь и зачем, — я испытывал только безмерное облегчение, уже понимая, что с этой минуты бесповоротно кончились все мои кошмары и страхи, и еще я испытывал страстное желание догнать, схватить, скрутить и притащить.

В дверях я столкнулся с Комовым, сбил его с ног, споткнулся о него, пробежал по коридору на четвереньках, коридор был уже пуст, только резко и знакомо пахло нашатырным спиртом, позади что-то кричал Комов, стучали дробно каблуки, я вскочил, промчался через кессон, нырнул в люк, еще не успевший зарасти перепонкой, и вылетел наружу, в лиловатое сияние солнца.

Я сразу увидел его. Он бежал к стройплощадке, бежал легко, едва касаясь босыми ногами мерзлого песка, он был все такой же

скособоченный и как-то странно двигал на бегу разведенными локтями, но теперь он был не темный и не матово-белый, а светло-лиловый, и солнце отсвечивало на его тощих плечах и боках. Он бежал прямо на моих киберов, и я замедлил бег, ожидая, что сейчас он испугается и свернет вправо или влево, но он не испугался, он проскочил в десяти шагах от Тома, и я глазам своим не поверил, когда этот величественный дурак вежливо просигналил ему обычное «жду приказаний».

— К болоту! — кричал позади задыхающийся голос Майки. — Отжимай его к болоту!

Маленький абориген и без этого бежал по направлению к болоту. Бегать, надо сказать, он умел, и расстояние между нами сокращалось очень медленно. Ветер свистел у меня в ушах, издалека что-то кричал Комов, но его решительно заглушала Майка.

— Левее, левее бери! — азартно вопила она.

Я взял левее, выскочил на посадочную полосу, на уже готовый участок, ровный, с удобнейшей рубчатой поверхностью, и здесь дело у меня пошло лучше — я стал нагонять. «Не уйдешь, — твердил я про себя, — нет, брат, теперь не уйдешь. Ты мне за все ответишь...» Я глядел не отрываясь на его быстро работающие лопатки, на мелькающие голые ноги, на клочья пара, взлетающие из-за его плеча. Я нагонял и испытывал ликование. Полоса кончалась, но до серой пелены над болотом оставалось всего шагов сто, и я нагонял.

Добежав до края трясины, до унылых зарослей карликового тростника, он остановился. Несколько секунд он стоял как бы в нерешительности, потом посмотрел на меня через плечо, и я снова увидел его большие темные глаза, никакие не застывшие, а, напротив, очень живые и вроде бы смеющиеся, и вдруг он присел на корточки, обхватил руками колени и покатился. Я даже не сразу понял, что произошло. Только что стоял человек, странный человек, наверное, и не человек вовсе, но по обличью все-таки человек, и вдруг человека не стало, а по трясине, через непроходимую бездонную топь, катится, разбрызгивая грязь и мутную воду, какой-то нелепый серый колобок. Да еще как катится! Я не успел добежать до берега, а он уже исчез за клочьями тумана, и только слышались оттуда, из-за сероватой пелены, затихающие шорохи, плески и тоненький пронзительный свист.

С топотом набежала Майка и остановилась рядом, тяжело дыша.

— Ушел, — констатировала она с досадой.

— Ушел, — сказал я.

Несколько секунд мы стояли, вглядываясь в мутные клубы тумана.

Потом Майка вытерла со лба пот и проговорила:

— Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...

— А от тебя, квартирьер, и подавно уйду, — добавил я и огляделся.

Так. Дураки, значит, бегали, а умные, сами понимаете, стояли и смотрели. Мы с Майкой были вдвоем. Маленькие фигурки Комова и Вандерхузе темнели рядом с кораблем.

— А ничего себе пробежка получилась, — проговорила Майка, тоже глядя в сторону корабля. — Километра три, не меньше, как вы полагаете, капитан?

— Согласен с вами, капитан, — отозвался я.

— Слушай, — задумчиво сказала Майка. — А может быть, это все нам почудилось?

Я сгреб ее за плечи. Чувство свободы, здоровья, восторга, ощущение огромных сияющих перспектив с новой силой взорвалось во мне.

— Что ты в этом понимаешь, салажка! — гаркнул я, чуть не плача от счастья и тряся ее изо всех сил. — Что ты понимаешь в галлюцинациях! И не надо тебе ничего понимать! Живи счастливо и ни о чем таком не задумывайся!

Майка растерянно хлопала на меня глазами, пыталась вырваться, а я тряхнул ее напоследок хорошенько, обхватил за плечи и потащил к кораблю.

— Подожди, — слабо отбивалась ошеломленная Майка. — Что ты, в самом деле... Да отпусти ты меня, что за телячьи нежности?

— Идем, идем, — приговаривал я. — Идем! Сейчас нам любимец доктора Мбоги вломит — чует мое сердце, что зря мы эту беготню устроили, не надо было нам ее устраивать...

Майка рывком освободилась, постояла секунду, потом присела на корточки, нагнула голову и, обхватив колени руками, качнулась вперед.

— Нет, — сказала она, снова выпрямляясь. — Этого я не понимаю.

— И не надо, — сказал я. — Комов нам все объяснит. Сначала выволочку даст, ведь мы ему контакт сорвали, а потом все-таки объяснит...

— Слушай, холодно! — сказала Майка, подпрыгнув на месте. — Бежим?

И мы побежали. Первые мои восторги утихли, и я стал соображать, что же все-таки произошло. Получалось, что планета-то на самом деле обитаемая! Да еще как обитаемая — крупные человекообразные существа, может быть, даже разумные, может быть, даже цивилизованные...

— Стась, — сказала Майка на бегу, — а может быть, это пантианин?

— Откуда? — удивился я.

— Ну... Мало ли откуда... Мы же не знаем всех деталей проекта. Может, переброска уже началась.

— Да нет, — сказал я. — Не похож он на пантианина. Пантиане рослые, краснокожие... Потом они одеты, елки-палки, а этот совсем голый!

Мы остановились перед люком, и я пропустил Майку вперед.

— Бр-р-р! — произнесла она, растирая плечи. — Ну что, пойдем фитиль получать?

— Полуметровый, — сказал я.

— Хорошо смазанный, — сказала Майка.

— Семьдесят пять миллиметров в диаметре, — сказал я.

Мы крадучись проникли в рубку, но остаться незамеченными нам не удалось. Нас ждали. Комов расхаживал по рубке, заложив руки за спину, а Вандерхузе, глядя в пространство и выпятив челюсть, наматывал свои бакенбарды: правый на палец правой руки, а левый — на палец левой. Увидев нас, Комов остановился, но Майка не дала ему заговорить.

— Ушел, — деловито доложила она. — Ушел прямо через трясину, причем совершенно необычным способом...

— Помолчите, — прервал ее Комов.

«Сейчас начнется», — подумал я, заранее настраиваясь на отбрыкивание и отругивание. И не угадал. Комов приказал нам сесть, уселся сам и обратился прямо ко мне:

— Я вас слушаю, Попов. Рассказывайте все. До мельчайших подробностей.

Интересно, что я даже не удивился. Такая постановка вопроса показалась мне совершенно естественной. И я рассказал все — о шорохах, о запахах, о детском плаче, о криках женщины, о странном диалоге вчера вечером и о черном призраке сегодня ночью. Майка слушала меня, приоткрыв рот, Вандерхузе хмурился и укоризненно качал головой, а Комов не отрываясь глядел мне в лицо — прищуренные глаза его вновь были пристальны и холодны, лицо затвердело, он покусывал нижнюю губу и время от времени напряженно сплетал пальцы, похрустывая суставами. Когда я закончил, воцарилось молчание. Потом Комов спросил:

— Вы уверены, что это плакал ребенок?

— Д-да... Во всяком случае, очень похоже...

Вандерхузе шумно перевел дух и похлопал ладонью по подлокотнику кресла.

— И ты все это вытерпел! — проговорила Майка с испугом. — Бедный Стасик!

— Должен тебе сказать, Стась... — внушительно начал Вандерхузе, но

Комов перебил его.

— А камни? — спросил он.

— Что — камни? — не понял я.

— Откуда взялись камни?

— Это на стройплощадке? Киберы натаскали, наверное. При чем это здесь?

— Откуда киберы могли взять камни?

— Н-ну... — начал я и замолчал. Действительно, откуда?

— Кругом песчаный пляж, — продолжал Комов. — Ни одного камешка. Киберы с площадки не отлучались. Откуда же на полосе булыжники и откуда на полосе сучья? — Он оглядел нас и усмехнулся. — Все это риторические вопросы, разумеется. Могу добавить, что у нас за кормой, прямо под маяком, целая россыпь булыжников. Очень любопытная россыпь. Могу также добавить... Простите, вы кончили, Стась? Спасибо. А теперь послушайте, что было со мной.

Комову, оказывается, тоже пришлось нелегко. Правда, испытания его были несколько иного рода. Испытания интеллекта. На второй день после прибытия, запуская в озеро пантианских рыб, он заметил в двадцати шагах от себя необычное ярко-красное пятно, которое расплылось и исчезло, прежде чем он решился приблизиться. На следующий день он обнаружил на самой макушке высоты 12 дохлую рыбу, явно одну из запущенных накануне. Под утро четвертого дня он проснулся с явственным ощущением, что в каюте находится кто-то посторонний. Постороннего не оказалось, но Комову послышался щелчок лопнувшей перепонки люка. Выйдя из корабля, он обнаружил, во-первых, россыпь камней у кормы, а во-вторых, камни и охапки сучьев на стройплощадке. После разговора со мной он окончательно утвердился в мысли, что в окрестностях корабля происходит неладное. Он уже был почти уверен, что поисковые группы проглядели какой-то чрезвычайно важный фактор, действующий на планете, и только глубокая убежденность в том, что разумную жизнь проглядеть было бы невозможно, удерживала его от самых решительных шагов. Он только принял все меры, чтобы район действия нашей группы не стал объектом нашествия «любопытствующих бездельников». Именно поэтому он изо всех сил старался сформулировать экспертное заключение таким образом, чтобы оно не вызывало ни малейших сомнений. Между тем мое возбужденно-подавленное состояние прекрасно подтверждало его предварительный вывод о том, что неизвестные существа способны проникать в корабль. Он стал ждать этого проникновения и дождался его сегодня утром.

— Резюмирую, — объявил он, словно читая лекцию. — По крайней мере этот район планеты, вопреки данным предварительных исследований, обитаем крупными позвоночными, причем есть все основания предполагать, что существа эти разумны. По-видимому, это троглодиты, приспособившиеся к жизни в подземных пустотах. Судя по тому, чему мы были свидетелями, средний абориген анатомически напоминает человека, обладает ярко выраженной способностью к мимикрии, а также и, вероятно, в связи с этим — способностью к воспроизводству защитно-отвлекающих фантомов. Должен сказать, что для крупных позвоночных такая способность была до сих пор отмечена только у некоторых грызунов на Пандоре, на Земле же этой способностью обладают некоторые виды головоногих моллюсков. А теперь я хотел бы особенно подчеркнуть, что, несмотря на эти нечеловеческие и вообще негуманоидные способности, здешний абориген не только в анатомическом, но и в физиологическом и, в частности, в нейрологическом отношении необычайно, небывало близок к земному человеку. Я кончил.

— Как — кончили? — вскричал я, испугавшись. — А мои голоса? Значит, галлюцинации были?

Комов усмехнулся.

— Успокойтесь, Стась, — сказал он. — С вами все в порядке. Ваши «голоса» легко объясняются, если предположить, что устройство их голосового аппарата идентично нашему. Сходство голосового аппарата плюс развитая способность к имитации, плюс гипертрофированная фонетическая память...

— Стойте, — сказала Майка. — Я понимаю, они могли подслушать наши разговоры, но как же женский голос?

Комов кивнул.

— Да, приходится предположить, что они присутствовали при агонии.

Майка присвистнула.

— Слишком замысловато, — пробормотала она с сомнением.

— Предложите другое объяснение, — холодно возразил Комов. — Впрочем, вероятно, мы скоро узнаем имена погибших. Если пилота звали Александром...

— Ну хорошо, — сказал я. — А ребенок плакал?..

— А вы уверены, что это плакал ребенок?

— А с чем это можно спутать?

Комов уставился на меня, плотно прижал пальцем верхнюю губу и вдруг приглушенно залаял. Именно залаял — другого слова я не подберу.

— Что это было? — спросил он. — Собака?

— Похоже, — сказал я с уважением.

— Так вот, это я произнес фразу на одном из наречий Леониды.

Я был сражен. Майка тоже. Некоторое время все молчали. Все было несомненно так, как он говорил. Все объяснялось, все получалось очень изящно, но... Было, конечно, очень приятно сознавать, что все страхи остались позади и что именно нашей группе повезло открыть еще одну гуманоидную расу. Однако вместе с тем это означало самую решительную перемену в наших судьбах. Да и не только в наших. Во-первых, невооруженным глазом было видно, что проекту «Ковчег» конец. Планета занята, придется искать для пантиан другую. Во-вторых, если окончательно выяснится, что аборигены разумны, нас, наверное, сейчас же попрут отсюда, а вместо нас прибудет сюда Комиссия по контактам. Все эти соображения были очевидны не только мне, конечно, но и остальным. Вандерхузе расстроенно рванул себя за бакенбарды и сказал:

— Почему же именно разумные? По-моему, пока совершенно ниоткуда не следует, что они непременно разумные, как вы полагаете, Геннадий?

— Я не утверждаю, что они непременно разумные, — возразил Комов. — Я сказал только: есть все основания предполагать, что это так.

— Ну какие же это такие все основания? — продолжал расстраиваться Вандерхузе. Очень ему не хотелось покидать насиженное место. Известна была за ним такая слабость — любовь к насиженным местам. — Что это за все основания? Внешний облик разве что...

— Дело не только в анатомии, — сказал Комов. — Камни под маяком расположены в явном порядке, это какие-то знаки. Камни и ветки на посадочной полосе... Я не хочу ничего утверждать категорически, но все это очень похоже на попытку войти в контакт, осуществляемую гуманоидами с первобытной культурой. Тайная разведка и одновременно не то дары, не то предупреждение...

— Да, похоже на то, — пробормотал Вандерхузе и впал в прострацию.

Снова последовало молчание, затем Майка тихонько спросила:

— А откуда следует, что они так уж особенно близки нам по своей физиологической и нервной организации?

Комов удовлетворенно покивал.

— Здесь мы тоже располагаем только косвенными соображениями, — сказал он. — Но это достаточно веские соображения. Во-первых, аборигены способны проникать в корабль. Корабль их впускает. Для сравнения напомню, что ни тагорцу, ни даже пантианину, при всем их огромном сходстве с человеком, люковую перепонку не преодолеть. Люк просто не раскроется перед ним...

Тут я хлопнул себя по лбу.

— Елки-палки! Значит, все мои киберы были в полном порядке! Просто аборигены, наверное, бегали перед Томом, и он останавливался, потому что боялся наехать на человека... А потом они, наверное, считали Тома за живое существо, размахивали руками и случайно подали ему сигнал: «Опасность! Немедленно в корабль!» Это же очень простой сигнал... — Я показал. — Ну, мои ребятишки и полезли в трюм наперегонки... Конечно, так оно все и было... Да я и сейчас своими глазами видел: Том реагировал на аборигена как на человека.

— То есть? — быстро спросил Комов.

— То есть когда абориген появился в поле его визиров, Том просигналил: «Жду приказаний».

— Это очень ценное наблюдение, — произнес Комов.

Вандерхузе тяжело вздохнул.

— Да, — сказала Майка. — Конец «Ковчегу». Жалко.

— Что же теперь будет? — спросил я, ни к кому в особенности не обращаясь.

Мне не ответили. Комов поднял листки со своими записями, под ними обнаружилась коробочка диктофона.

— Прошу прощения, — объявил он, очаровательно улыбаясь. — Чтобы не терять времени зря, я нашу дискуссию записал. Благодарю за точно поставленные вопросы. Стась, я попрошу вас, закодируйте все это и отправьте в экстренном импульсе прямо в Центр, копию на базу.

— Бедный Сидоров, — негромко сказал Вандерхузе. Комов коротко глянул на него и снова опустил глаза на бумаги.

Майка отодвинула кресло.

— Во всяком случае, с моим квартирьерством здесь покончено, — проговорила она. — Пойду собираться.

— Одну минуту, — остановил ее Комов. — Здесь спросили, что же теперь будет. Отвечаю. Как полномочный член Комиссии по контактам я беру командование на себя. Объявляю весь наш район зоной предполагаемого контакта. Яков, прошу вас, составьте соответствующую радиограмму. Все работы по проекту «Ковчег» прекращаются. Роботы демобилизуются и переводятся в трюм. Выход из корабля только с моего личного разрешения. Сегодняшняя охота с борзыми, вероятно, уже создала для контакта определенные трудности. Новые недоразумения были бы крайне нежелательны. Итак, Майя, прошу вас загнать глайдер в ангар. Стась, прошу заняться вашей киберсистемой... — Он поднял палец. — Но сначала отправьте запись дискуссии... — Он улыбнулся и хотел сказать еще

что-то, но в это время затрещал дешифратор рации.

Вандерхузе протянул длинную руку, извлек из приемного кармана карточку радиограммы и пробежал ее глазами. Брови его задрались.

— Гм, — сказал он. — На лету схватывают. Вы, случайно, не индуктор, Геннадий?

Он передал карточку Комову. Комов тоже пробежал ее глазами, и брови его тоже задрались.

— Вот этого я уже не понимаю, — пробормотал он, бросил карточку на стол и прошелся по рубке, заложив руки за спину.

Я взял карточку. Майка возбужденно сопела у меня над ухом. Радиограмма действительно была неожиданная.

ЭКСТРЕННАЯ, НУЛЬ-СВЯЗЬ. ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ, ГОРБОВСКИЙ — НАЧАЛЬНИКУ БАЗЫ «КОВЧЕГ» СИДОРОВУ. НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ВСЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ. ПОДГОТОВИТЬ ВОЗМОЖНУЮ ЭВАКУАЦИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА И ОБОРУДОВАНИЯ. ДОПОЛНЕНИЕ — ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМКОНА КОМОВУ. ОБЪЯВЛЯЮ РАЙОН ЭР-2 ЗОНОЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО КОНТАКТА. ОТВЕТСТВЕННЫМ НАЗНАЧАЕТЕСЬ ВЫ.

ГОРБОВСКИЙ.

— Вот это да! — сказала Майка с восхищением. — Ай да Горбовский!

Комов остановился и исподлобья оглядел нас.

— Прошу всех приступить к выполнению моих распоряжений. Яков, найдите мне, пожалуйста, копию нашего экспертного заключения.

Они с Вандерхузе погрузились в изучение копии, Майка вышла загонять глайдер, а я устроился возле рации и принялся кодировать нашу дискуссию. Однако не прошло и двух минут, как дешифратор заверещал снова. Комов отпихнул Вандерхузе и кинулся к рации. Перегнувшись через мое плечо, он жадно читал строчки, появляющиеся на карточке.

ЭКСТРЕННАЯ, НУЛЬ-СВЯЗЬ. ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ, БАДЕР — КАПИТАНУ ЭР-2 ВАНДЕРХУЗЕ. СРОЧНО ПОДТВЕРДИТЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОСТАНКОВ ДВУХ, ПОВТОРЯЮ, ДВУХ ТЕЛ НА БОРТУ КОРАБЛЯ И СОСТОЯНИЕ БОРТОВОГО ЖУРНАЛА, ОПИСАННОЕ В ВАШЕМ ЭКСПЕРТНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ.

БАДЕР.

Комов перебросил карточку Вандерхузе и покусал ноготь большого пальца.

— Вот, значит, в чем дело, — проговорил он. — Так-так... — Он повернулся ко мне. — Стась, что вы сейчас делаете?

— Кодирую, — ответил я угрюмо. Я ничего не понимал.

— Дайте-ка мне диктофон, — сказал он. — Пока воздержимся. — Он спрятал диктофон в нагрудный карман и аккуратно застегнул клапан. — Значит, так. Яков. Подтвердите то, о чем они вас просят. Стась. Передайте подтверждение. А потом, Яков, я вас попрошу... Вы разбираетесь в этом лучше меня. Окажите мне любезность, поройтесь в нашей фильмотеке и просмотрите всю официальную документацию относительно бортовых журналов.

— Я и так знаю все относительно бортовых журналов, — возразил Вандерхузе недовольно. — Вы мне лучше просто скажите, что вас интересует.

— Я и сам толком не знаю, что меня интересует. Меня интересует, случайно или намеренно был стерт бортжурнал. Если намеренно, то почему. Вы же видите, Бадера это тоже интересует... Не ленитесь, Яков. Существуют же все-таки какие-то правила, предусматривающие уничтожение бортжурнала.

— Не существует таких правил, — проворчал себе под нос Вандерхузе и тем не менее отправился оказывать любезность.

Комов сел писать подтверждение, а я мучительно соображал, что же такое происходит, почему такая паника и как в Центре могли усомниться в совершенно четких формулировках заключения. Не могли же они там подумать, что мы спутали останки землянина с останками какого-нибудь аборигена и добавили лишний труп... И как все-таки, елки-палки, Горбовский умудрился догадаться о том, что у нас здесь происходит? Никакого толку от моих рассуждений не было, и я с тоской смотрел на рабочие экраны, где все было так ясно и понятно, и я с горечью подумал, что туповатый человек самым печальным образом напоминает кибера. Вот я сейчас сижу, тупо выполняю приказания: сказали кодировать — кодировал, сказали прекратить — прекратил, а что происходит, зачем все это, чем все это кончится — ничего не понимаю. Совершенно как мой Том: работает сейчас, бедняга, в поте лица, старается получше выполнить мои распоряжения и ведь знать не знает, что через десять минут я приду, загоню его со всей компанией в трюм, и работа его окажется вся ни к чему, и сам он станет никому не нужным...

Комов передал мне подтверждение, я закодировал текст, отослал его и

хотел было уже пересесть за свой пульт, как вдруг раздался вызов с базы.

— ЭР-два? — осведомился глуховатый спокойный голос. — Сидоров говорит.

— ЭР-два слушает! — откликнулся я немедленно. — Говорит кибертехник Попов. Кого вам, Михаил Альбертович?

— Комова, пожалуйста.

Комов уже сидел в соседнем кресле.

— Я тебя слушаю, Атос, — сказал он.

— Что у вас там произошло? — спросил Сидоров.

— Аборигены, — ответил Комов, помедлив.

— Поподробнее, если можно, — сказал Сидоров.

— Прежде всего, имей в виду, Атос, — сказал Комов, — я не знаю и не понимаю, откуда Горбовский узнал об аборигенах. Мы сами начали понимать, что к чему, всего два часа назад. Я подготовил для тебя информацию, начал уже ее кодировать, но тут все так запуталось, что я вынужден просить тебя потерпеть еще некоторое время. Меня тут старик Бадер на такую идею навел... Одним словом, потерпи, пожалуйста.

— Понятно, — сказал Сидоров. — Но сам факт существования аборигенов достоверен?

— Абсолютно, — сказал Комов.

Было слышно, как Сидоров вздохнул.

— Ну что ж, — сказал он. — Ничего не поделаешь. Начнем все сначала.

— Мне очень жаль, что все так получилось, — произнес Комов. — Честное слово, жаль.

— Ничего, — сказал Сидоров. — Переживем и это. — Он помолчал. — Как ты намерен действовать дальше? Будешь ждать комиссию?

— Нет. Я начну сегодня же. И я очень прошу тебя: оставь ЭР-два с экипажем в моем распоряжении.

— Разумеется, — сказал Сидоров. — Ну, не буду тебе мешать. Если что-нибудь понадобится...

— Спасибо, Атос. И не огорчайся, все еще наладится.

— Будем надеяться.

Они распрощались. Комов покусал ноготь большого пальца, с каким-то непонятным раздражением посмотрел на меня и снова принялся ходить по рубке. Я догадывался, в чем тут дело. Комов и Сидоров были старые друзья, вместе учились, вместе где-то работали, но Комову всегда и во всем везло, а Сидорова за глаза называли Атос-неудачник. Не знаю, почему это так сложилось. Во всяком случае, Комов должен был сейчас испытывать

большую неловкость. А тут еще радиограмма Горбовского. Получалось так, будто Комов информировал Центр, минуя Сидорова...

Я тихонько перебрался к своему пульту и остановил киберов. Комов уже сидел за столом, грыз ноготь и таращился на разбросанные листки. Я попросил разрешения выйти наружу.

— Зачем? — вскинулся было он, но тут же спохватился. — А, киберсистема... Пожалуйста, пожалуйста. Но как только закончите, немедленно возвращайтесь.

Я загнал ребятишек в трюм, демобилизовал их, закрепил на случай внезапного старта и постоял немного около люка, глядя на опустевшую стройплощадку, на белые стены несостоявшейся метеостанции, на айсберг, все такой же идеальный и равнодушный... Планета казалась мне теперь какой-то другой. Что-то в ней изменилось. Появился какой-то смысл в этом тумане, в карликовых зарослях, в скалистых отрогах, покрытых лиловатыми пятнами снега. Тишина осталась, конечно, но пустоты уже не было, и это было хорошо.

Я вернулся в корабль, заглянул в кают-компанию, где сердитый Вандерхузе копался в фильмотеке, чувства меня распирали, и я отправился утешаться к Майке. Майка расстелила по всей каюте огромную склейку и лежала на ней с лупой в глазу. Она даже не обернулась.

— Ничего не понимаю, — сказала она сердито. — Негде им здесь жить. Все мало-мальски годные для обитания точки мы обследовали. Не в болоте же они барахтаются, в самом деле!..

— А почему бы не в болоте? — спросил я, усаживаясь.

Майка села по-турецки и воззрилась на меня через лупу.

— Гуманоид не может жить в болоте, — объявила она веско.

— Почему же, — возразил я. — У нас на Земле были племена, которые жили даже на озерах, в свайных постройках...

— Если бы на этих болотах была хоть одна постройка... — сказала Майка.

— А может быть, они живут как раз под водой, наподобие водяных пауков, в таких воздушных колоколах?

Майка подумала.

— Нет, — сказала она с сожалением. — Он бы грязный был, грязи бы в корабль натащил...

— А если у них водоотталкивающий слой на коже? Водогрязеотталкивающий... Видела, как он лоснится? И удрал он от нас — куда? И такой способ передвижения — для чего?

Дискуссия завязалась. Под давлением многочисленных гипотез,

которые я выдвигал, Майка принуждена была согласиться, что теоретически аборигенам ничто не препятствует жить в воздушных колоколах, хотя лично она, Майка, все-таки склонна полагать, что прав Комов, который считает аборигенов пещерными людьми. «Видел бы ты, какие там ущелья, — сказала она. — Вот бы куда сейчас слазить...» Она стала показывать по карте. Места даже на карте выглядели неприветливо: сначала полоса сопок, поросших карликовыми деревцами, за ней изборожденные бездонными разломами скалистые предгорья, наконец сам хребет, дикий и жестокий, покрытый вечными снегами, а за хребтом — бескрайняя каменистая равнина, унылая, совершенно безжизненная, изрезанная вдоль и поперек глубокими каньонами. Это был насквозь промерзший, стылый мир, мир ощетинившихся минералов, и при одной мысли о том, чтобы здесь жить, ступать босыми ногами по этому каменному крошеву, кожа на спине у меня начинала ежиться.

«Ничего страшного, — утешала меня Майка, — я могу показать тебе инфрасъемки этой местности, под этим плато есть обширные участки подземного тепла, так что если они живут в пещерах, то от холода они во всяком случае не страдают». Я сейчас же вцепился в нее: а что же они едят? «Если есть пещерные люди, — сказала Майка, — могут быть и пещерные животные. А потом — мхи, грибы, и еще можно представить себе растения, которые осуществляют фотосинтез в инфракрасном свете». Я представил себе эту жизнь, жалкую пародию на то, что считаем жизнью мы, упорную, но вялую борьбу за существование, чудовищное однообразие впечатлений, и мне стало ужасно жалко аборигенов. И я объявил, что забота об этой расе — задача тоже достаточно благородная и благодарная. Майка возразила, что это совсем другое дело, что пантиане обречены, и если бы нас не было, они бы просто исчезли, прекратили бы свою историю; а что касается здешнего народа, то это еще бабушка надвое сказала, нужны ли мы им. Может быть, они и без нас процветают.

Это у нас старый спор. По моему мнению, человечество знает достаточно, чтобы судить, какое развитие исторически перспективно, а какое — нет. Майка же в этом сомневается. Она утверждает, что мы знаем ничтожно мало. Мы вошли в соприкосновение с двенадцатью разумными расами, причем три из них — негуманоидные. В каких отношениях мы находимся с этими негуманоидами, сам Горбовский, наверное, не может сказать: вступили мы с ними в контакт или не вступили, а если вступили, то по обоюдному ли согласию или навязали им себя, а может быть, они вообще воспринимают нас не как братьев по разуму, а как редкостное явление природы, вроде необычных метеоритов. Вот с гуманоидами все

ясно: из девяти гуманоидных рас только три согласились иметь с нами что-либо общее, да и то леонидяне, например, охотно делятся с нами своей информацией, а нашу, земную, очень вежливо, но решительно отвергают. Казалось бы, совершенно очевидная вещь: квазиорганические механизмы гораздо рациональнее и экономичнее прирученных животных, но леонидяне от механизмов отказываются. Почему? Некоторое время мы спорили — почему, запутались, незаметно поменялись точками зрения (это у нас с Майкой бывает сплошь и рядом), и Майка наконец заявила, что все это вздор.

— Не в этом дело. Понимаешь ли ты, в чем состоит главная задача всякого контакта? — спросила она. — Понимаешь ли ты, почему человечество вот уже двести лет стремится к контактам, радуется, когда контакты удаются, горюет, когда ничего не получается?

Я, конечно, понимал.

— Изучение разума, — сказал я. — Исследование высшего продукта развития природы.

— Это, в общем, верно, — сказала Майка, — но это только слова, потому что на самом-то деле нас интересует не проблема разума вообще, а проблема нашего, человеческого разума, иначе говоря, нас прежде всего интересуем мы сами. Мы уже пятьдесят тысяч лет пытаемся понять, что мы такое, но, глядя изнутри, эту задачу не решить, как невозможно поднять себя самого за волосы. Надо посмотреть на себя извне, чужими глазами, совсем чужими...

— А зачем это, собственно, нужно? — агрессивно осведомился я.

— А затем, — веско сказала Майка, — что человечество становится галактическим. Вот как ты представляешь себе человечество через сто лет?

— Как представляю? — Я пожал плечами. — Да так же, как ты... Конец биологической революции, преодоление галактического барьера, выход в нуль-мир... ну, широкое распространение контактного видения, реализация П-абстракций...

— Я тебя не спрашиваю, как ты себе представляешь достижения человечества через сто лет. Я тебя спрашиваю, как ты представляешь себе само человечество через сто лет?

Я озадаченно поморгал. Я не улавливал разницы. Майка смотрела на меня победительно.

— Про идеи Комова слыхал? — спросила она. — Вертикальный прогресс и все такое прочее...

— Вертикальный прогресс? — Что-то такое я вспоминал. — Подожди... Это, кажется, Боровик, Микава... Да?

Она полезла в стол и принялась там копаться.

— Вот ты тогда плясал в баре со своей Танечкой, а Комов собирал в библиотеке ребят... На! — Она протянула мне кристаллофон. — Послушай.

Я неохотно нацепил кристаллофон и стал слушать. Это было что-то вроде лекции, читал Комов, и запись начиналась с полуслова. Комов говорил неторопливо, просто, очень доступно, применяясь, по-видимому, к уровню аудитории. Он приводил много примеров, острил. Получалось у него примерно следующее.

Земной человек выполнил все поставленные им перед собой задачи и становится человеком галактическим. Сто тысяч лет человечество пробиралось по узкой пещере, через завалы, через заросли, гибло под обвалами, попадало в тупики, но впереди всегда была синева, свет, цель, и вот мы вышли из ущелья под синее небо и разлились по равнине. Да, равнина велика, есть куда разливаться. Но теперь мы видим, что это — равнина, а над нею — небо. Новое измерение. Да, на равнине хорошо, и можно вволю заниматься реализацией П-абстракций. И казалось бы, никакая сила не гонит нас вверх, в новое измерение... Но галактический человек не есть просто земной человек, живущий в галактических просторах по законам Земли. Это нечто большее. С иными законами существования, с иными целями существования. А ведь мы не знаем ни этих законов, ни этих целей. Так что, по сути, речь идет о формулировке идеала галактического человека. Идеал земного человека строился в течение тысячелетий на опыте предков, на опыте самых различных форм живого нашей планеты. Идеал человека галактического, по-видимому, следует строить на опыте галактических форм жизни, на опыте историй разных разумов Галактики. Пока мы даже не знаем, как подойти к этой задаче, а ведь нам предстоит еще решать ее, причем решать так, чтобы свести к минимуму число возможных жертв и ошибок. Человечество никогда не ставит перед собой задач, которые не готово решить. Это глубоко верно, но ведь это и мучительно...

Заканчивалась запись тоже на полуслове.

Честно говоря, все это до меня как-то не дошло. При чем здесь галактический идеал? По-моему, люди в космосе совсем не становятся какими-то там галактическими. Я бы сказал, наоборот, люди несут в космос Землю — земной комфорт, земные нормы, земную мораль. Если уж на то пошло, то для меня, да и для всех моих знакомых идеалом будущего является наша маленькая планетка, распространившаяся до крайних пределов Галактики, а потом, может быть, и за эти пределы. В таком примерно плане я принялся было излагать Майке свои соображения, но тут

мы заметили, что в каюте, должно быть уже некоторое время, присутствует Вандерхузе. Он стоял, прислонившись к стене, теребил свои рысьи бакенбарды и разглядывал нас с задумчиво-рассеянным верблюжьим выражением на физиономии. Я встал и пододвинул ему стул.

— Спасибо, — произнес Вандерхузе, — но я лучше постою.

— А что вы думаете по этому поводу? — спросила его Майка воинственно.

— По какому поводу?

— По поводу вертикального прогресса.

Вандерхузе некоторое время молчал, затем вздохнул и произнес:

— Неизвестно, кто первый открыл воду, но уж наверняка это сделали не рыбы.

Мы напряженно задумались. Потом Майка просияла, подняла палец и сказала:

— О!

— Это не я, — меланхолично возразил Вандерхузе. — Это очень старый афоризм. Мне он давно нравился, только все не было случая его привести. — Он помолчал минуту, потом сказал: — Насчет бортжурнала. Представляете себе, действительно, было такое правило.

— Какой бортжурнал? — спросила Майка. — При чем здесь бортжурнал?

— Комов попросил меня отыскать правила, предписывающие уничтожать бортжурналы, — грустно объяснил Вандерхузе.

— Ну? — сказали мы одновременно.

Вандерхузе снова помолчал, потом махнул рукой.

— Срам, — сказал он. — Есть, оказывается, одно такое правило. Вернее, было. В старом «Своде инструкций». В новом — нет. Откуда мне было знать? Я же не историк.

Он надолго задумался. Майка нетерпеливо поерзала.

— Да, — сказал Вандерхузе. — Так вот, если ты потерпел крушение на неизвестной планете, населенной разумными существами — негуманоидами либо гуманоидами, но пребывающими в стадии ярко выраженной машинной цивилизации, — ты обязан уничтожить все космографические карты и бортовые журналы.

Мы с Майкой переглянулись.

— Этот бедняга, командир «Пеликана», — продолжал Вандерхузе, — наверное, здорово знал старинные законы. Ведь этому правилу, наверное, лет двести, его выдумали еще на заре звездоплавания, выдумали из головы, стараясь все предусмотреть. Но разве все предусмотришь? — Он вздохнул.

— Конечно, можно было догадаться, почему с бортжурналом произошла такая штука. Вот Комов и догадался... И вы знаете, как он реагировал на мое сообщение?

— Нет, — сказал я. — Как?

— Он кивнул и перешел к другим делам, — сказала Майка.

Вандерхузе посмотрел на нее с восхищением.

— Правильно! — сказал он. — Именно кивнул и именно перешел. Я бы на его месте целый день радовался, что я такой догадливый...

— Что же это, значит, получается? — сказала Майка. — Значит, либо негуманоиды, либо гуманоиды, но на стадии машинной цивилизации. Ничего не понимаю. Ты что-нибудь понимаешь? — спросила она меня.

Меня очень забавляет эта манера Майки с гордостью объявлять, что она ничего не понимает. Я и сам так поступаю частенько.

— Они подъехали к «Пеликану» на велосипедах, — сказал я.

Майка нетерпеливо отмахнулась.

— Машинной цивилизации здесь нет, — пробормотала она. — Негуманоидов здесь тоже нет...

Голос Комова по интеркому провозгласил:

— Вандерхузе, Глумова, Попов! Прошу явиться в рубку.

— Началось! — сказала Майка, вскакивая.

Мы гурьбой ввалились в рубку. Комов стоял у стола и вкладывал в пластиковый чехол портативный транслятор. Судя по положению переключателей, транслятор был подключен к бортовому вычислителю. Лицо у Комова было непривычно озабоченное, какое-то очень человечное, без этой своеобычной, оскомину набившей ледяной сосредоточенности.

— Сейчас я выхожу, — объявил он. — Первый сикурс. Яков, вы остаетесь за старшего. Главное: обеспечить непрерывное круговое наблюдение и бесперебойную работу бортового вычислителя. При появлении аборигенов немедленно известить меня. Рекомендую установить у обзорных экранов трехсменную вахту. Майя, ступайте к экранам прямо сейчас же. Стась, там мои радиограммы. Передайте их как можно быстрее. Я думаю, нет надобности объяснять, почему никто не должен выходить из корабля. Вот и все. Давайте за дело.

Я подсел к рации и принялся за дело. Комов и Вандерхузе о чем-то негромко говорили у меня за спиной. Майка на другом конце рубки настраивала экраны кругового обзора. Я перебрал радиограммы. Да, пока мы решали философские проблемы, Комова здесь здорово теребили. Почти все его радиограммы были ответами. Иерархию срочности, за неимением специальных указаний, я устанавливал сам.

ЭР-2, КОМОВ — ЦЕНТР, ГОРБОВСКОМУ. БЛАГОДАРЮ ЗА ЛЮБЕЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ВПРАВЕ ОТРЫВАТЬ ВАС ОТ БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ЗАНЯТИЙ, БУДУ ДЕРЖАТЬ ВАС В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ.

ЭР-2, КОМОВ — ЦЕНТР, БАДЕРУ. ОТ ПОСТА ГЛАВНОГО КСЕНОЛОГА ПРОЕКТА «КОВЧЕГ-2» ВЫНУЖДЕН ОТКАЗАТЬСЯ. РЕКОМЕНДУЮ АМИРЭДЖИБИ.

ЭР-2, КОМОВ — БАЗА, СИДОРОВУ. УМОЛЯЮ, ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

ЭР-2, КОМОВ — ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР, ДОМБИНИ. ПРИСУТСТВИЕ ЗДЕСЬ ВАШЕГО НАУЧНОГО КОММЕНТАТОРА СЧИТАЮ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ. ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОШУ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР, КОМИССИЯ ПО КОНТАКТАМ.

И так далее, в том же духе. Штук пять радиограмм было в Центральный информаторий. Этих я не понял.

Работа моя была в самом разгаре, когда дешифратор снова заверещал.

— Откуда? — спросил меня Комов с другого конца рубки. Он стоял рядом с Майкой и осматривал окрестности.

— «Центр, исторический отдел...» — прочитал я.

— А, наконец-то! — сказал Комов и направился ко мне.

...ПРОЕКТ «КОВЧЕГ», — читал я. — ЭР-2, ВАНДЕРХУЗЕ, КОМОВУ. ИНФОРМАЦИЯ. ОБНАРУЖЕННЫЙ ВАМИ КОРАБЛЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТАКОЙ-ТО ЕСТЬ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ ЗВЕЗДОЛЕТ «ПИЛИГРИМ». ПРИПИСАН К ПОРТУ ДЕЙМОС, ОТБЫЛ ВТОРОГО ЯНВАРЯ СТО СОРОК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА В СВОБОДНЫЙ ПОИСК В ЗОНУ «Ц». ПОСЛЕДНИЙ ОТЗЫВ ПОЛУЧЕН ШЕСТОГО МАЯ СТО СОРОК ВОСЬМОГО ГОДА ИЗ ОБЛАСТИ «ТЕНЬ». ЭКИПАЖ: СЕМЕНОВА МАРИЯ-ЛУИЗА И СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. С ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО АПРЕЛЯ СТО СОРОК СЕДЬМОГО ГОДА ПАССАЖИР: СЕМЕНОВ ПЬЕР АЛЕКСАНДРОВИЧ. АРХИВ «ПИЛИГРИМА»...

Там было еще что-то, но тут вдруг Комов засмеялся у меня за спиной, и я с изумлением обернулся к нему. Комов смеялся, Комов сиял.

— Так я и думал! — торжествующе сказал он, а мы все смотрели на него, разинув рты. — Так я и думал! Это человек! Вы понимаете, ребята?

Это человек!

Глава пятая ЛЮДИ И НЕЛЮДИ

— Стоять по местам! — весело скомандовал Комов, подхватил футляры с аппаратурой и удалился.

Я посмотрел на Майку. Майка стояла столбом посередине рубки с затуманенным взором и беззвучно шевелила губами — соображала.

Я посмотрел на Вандерхузе. Брови у Вандерхузе были высоко задраны, баки растопырились, впервые на моей памяти он был похож не на млекопитающее, а на черт-рыбу, вытащенную из воды. На обзорном экране Комов, обвешанный аппаратурой, бодро шагал к болоту вдоль строительной площадки.

— Так-так-так! — произнесла Майка. — Вот, значит, почему игрушки...

— Почему? — живо поинтересовался Вандерхузе.

— Он с ними играл, — объяснила Майка.

— Кто? — спросил Вандерхузе. — Комов?

— Нет. Семенов.

— Семенов? — удивленно переспросил Вандерхузе. — Гм... Ну и что?

— Семенов-младший, — нетерпеливо сказал я. — Пассажир. Ребенок.

— Какой ребенок?

— Ребенок Семеновых! — сказала Майка. — Понимаете, зачем у них было это шьющее устройство? Чепчики всякие там, распашоночки, подгузнички...

— Подгузнички! — повторил пораженный Вандерхузе. — Так это у них родился ребенок! Да-да-да-да! Я еще удивился, где они подцепили пассажира, и вдобавок однофамильца! Мне и в голову... Ну конечно!

Запел радиовызов. Я машинально откликнулся. Это оказался Вадик. Говорил он торопливо и вполголоса — видно, боялся, что засекут...

— Что у вас там, Стась? Только быстро, мы сейчас снимаемся...

— Такое быстро не расскажешь, — сказал я недовольно.

— А ты в двух словах. Корабль Странников нашли?

— Каких Странников? — поразился я. — Где?

— Ну, этих... которых Горбовский ищет...

— Кто нашел?

— Вы нашли! Нашли ведь? — Голос его вдруг изменился. — Проверяю настройку, — строго произнес он. — Выключаюсь.

— Что там нашли? — спросил Вандерхузе. — Какой еще корабль?

Я отмахнулся.

— Это так, любопытные... Значит, родился он в апреле сорок седьмого, а отозвались они в последний раз в мае сорок восьмого... Яков, как часто они должны были выходить на отзыв?

— Раз в месяц, — сказал Вандерхузе. — Если корабль находится в свободном поиске...

— Минуточку, — сказал я. — Май, июнь...

— Тринадцать месяцев, — сказала Майка.

Я не поверил и пересчитал сам.

— Да, — сказал я.

— Невероятно, правда?

— Что, собственно, невероятно? — осторожно спросил Вандерхузе.

— В день крушения, — сказала Майка, — младенцу был год и один месяц. Как же он выжил?

— Аборигены, — сказал я. — Семенов стер бортжурнал. Значит, кого-то увидел... И нечего было Комову на меня лаять! Это был настоящий детский плач! Что я, годовалых детей не слышал?.. Они все это записали, а когда он вырос, дали ему прослушать...

— Чтобы записать, нужно иметь технику, — сказала Майка.

— Ну, не записали, так запомнили, — сказал я. — Это неважно.

— Ага, — произнес Вандерхузе. — Он увидел либо негуманоидов, либо гуманоидов, но в стадии машинной цивилизации. И поэтому стер бортжурнал. По инструкции.

— На машинную цивилизацию не похоже, — сказала Майка.

— Значит, негуманоиды... — До меня вдруг дошло. — Ребята, — сказал я, — если здесь негуманоиды, то это такой случай, что я просто не знаю... Человек-посредник, понимаете? Он — и человек и нечеловек, гуманоид и негуманоид! Такого еще никогда не бывало. О таком даже мечтать никто не рискнул бы!

Я был в восторге. Майка тоже была в восторге. Перспективы ослепляли нас. Туманные, неясные, но ослепительно радужные. Дело было не только в том, что впервые в истории становился возможным уверенный контакт с негуманоидами. Человечество получало уникальнейшее зеркало, перед человечеством открывалась дверь в совершенно недоступный ранее, непостижимый мир принципиально иной психологии, и смутные комовские идеи вертикального прогресса обретали наконец экспериментальный фундамент...

— Чего ради негуманоиды станут возиться с человеческим ребенком? — задумчиво произнес Вандерхузе. — Зачем это им и что они в этом

понимают?

Перспективы несколько потускнели, но Майка сейчас же сказала с вызовом:

— На Земле известны случаи, когда негуманоиды воспитывали человеческих детей.

— Так то на Земле! — сказал Вандерхузе грустно.

И он был прав. Все известные разумные негуманоиды отстояли от человека гораздо дальше, чем волки, медведи или даже осьминоги. Утверждал же такой серьезный специалист, как Крюгер, что разумные слизни Гарроты рассматривают человека со всей его техникой не как явление реального мира, а как плод своего невообразимого воображения...

— И тем не менее он уцелел и вырос! — сказала Майка.

И она тоже была права.

Я — человек по натуре скептический. Я не люблю зарываться и чрезмерно фантазировать. Не то что Майка. Но тут больше просто ничего нельзя было предположить. Годовалый ребенок. Ледяная пустыня. Один. Ведь ясно же, что сам по себе он выжить не смог бы. Причем с другой стороны — стертый бортжурнал. Что тут еще можно придумать? Какие-нибудь пришельцы-гуманоиды случайно оказались поблизости, выкормили младенца, а потом улетели... Чепуха ведь...

— А может быть, он не выжил? — сказала Майка. — Может быть, все, что от него осталось, это его плач и голоса его родителей?

На секунду мне показалось, что все рухнуло. Вечно эта Майка что-нибудь выдумает. Но я тут же сообразил.

— А как он проходит в корабль? Как он командует моими киберами? Нет, ребята, либо мы встретили в космосе точную — понимаете? — точную, идеальную реплику человечества, либо это космический маугли. Не знаю, что более невероятно.

— И я не знаю, — сказала Майка.

— И я, — сказал Вандерхузе.

Из репродуктора раздался голос Комова:

— Внимание, на борту! Я вышел на позицию. Смотреть вокруг хорошенько. Мне отсюда видно не много. Радиограммы были?

Я заглянул в приемный карман.

— Целая пачка, — сказал я.

— Целая пачка, — сказал Вандерхузе в микрофон.

— Стась, мои радиограммы вы отправили?

— А... Еще не все, — сказал я, поспешно усаживаясь за рацию.

— Еще не все, — сообщил Вандерхузе в микрофон.

— Хлев на палубе! — объявил Комов. — Хватит философствовать, принимайтесь за дело. Майя, следите за экраном. Забудьте обо всем и следите за экраном. Попов, чтобы последняя моя радиограмма через десять минут была в эфире. Яков, зачитайте, что там пришло на мое имя...

Когда я закончил передачу и осмотрелся, все были заняты своими делами. Майка сидела за пультом обзора — на панорамном экране виднелся Комов, крошечная фигурка у самого берега; над болотом шевелился туман, и больше никакого движения на всех трехстах шестидесяти градусах в радиусе семи километров от корабля не было заметно. Комов сидел к нам спиной: очевидно, он ждал, что наш маугли появится из болота. Майка медленно поворачивала голову из стороны в сторону, озирая окрестности, и время от времени давала на какой-нибудь подозрительный участок максимальное увеличение — тогда на экранах малых мониторов появлялся то поникший куст, то лиловая тень дюны на искрящемся песке, то неопределенное пятно в редкой щетине карликовых деревьев.

Вандерхузе монотонно бубнил в микрофон: «...варианты психотипа двоеточие шестнадцать эн дробь тридцать два дзета или шестнадцать эм... мама... дробь тридцать один эпсилон...» — «Достаточно, — говорил Комов. — Следующую». — «Земля Лондон Картрайт, уважаемый Геннадий, еще раз напоминаю о вашем обещании дать отзыв...» — «Достаточно. Следующую». — «Пресс-центр...» — «Достаточно. Дальше. Яков, читайте только то, что из Центра или с базы». Пауза. Вандерхузе перебирает карточки. «Центр Бадер затребованная вами аппаратура нуль-транспортируется на базу вышлите ваши предварительные соображения по следующим пунктам первое другие вероятные зоны обитания аборигенов...» — «Достаточно. Дальше...»

Тут меня вызвала база. Сидоров спрашивал Комова.

— Комов на контакте, Михаил Альбертович, — сказал я виновато.

— Контакт начался?

— Нет еще. Ждем.

Сидоров кашлянул.

— Ну ладно, я соединюсь с ним попозже. Это не срочно. — Он помолчал. — Волнуетесь?

Я прислушался к своим ощущениям.

— Н-не то что волнуемся... Странно как-то. Как во сне. Как в сказке.

Сидоров вздохнул.

— Не буду мешать, — сказал он. — Желаю удачи.

Я поблагодарил. Затем я оперся локтем на пульт, положил подбородок

на ладонь и снова прислушался к своим ощущениям. Да, странно как-то. Человек — нечеловек. Наверное, на самом деле его нельзя называть человеком. Человеческий детеныш, воспитанный волками, вырастает волком. Медведями — медведем. А если бы человеческого детеныша взялся воспитывать спрут? Не съел бы, а стал воспитывать... Дело даже не в этом. И волк, и медведь, и спрут — все они лишены разума. Во всяком случае, того, что ксенологи называют разумом. А вот если нашего маугли воспитали существа разумные, но в то же время в некотором смысле спруты?.. И даже еще более чужие, чем спруты... А ведь это они научили его выбрасывать защитные фантомы, научили мимикрии, — в человеческом организме нет ничего для таких штучек, значит это искусственное приспособление... Постой, а для чего ему мимикрия? От кого это он приучен защищаться? Планета-то ведь пуста! Значит, не пуста.

Я представил себе огромные пещеры, залитые призрачным лиловым светом, мрачные закоулки, в которых таится смертельная опасность, и маленького мальчика, который крадется вдоль липкой стены, готовый в любую секунду исчезнуть, раствориться в неверном сиянии, оставив врагу свою зыбкую, расплывающуюся тень. Бедный мальчуган. Его надо немедленно вывезти отсюда... Стоп-стоп-стоп! Это все чепуха. Это все не бывает. Не бывает так, чтобы существовала сложная, мудрая, многоопытная жизнь и не кишела бы вокруг нее жизнь попроще, поглупее. Сколько здесь обнаружили видов живых существ? Не то одиннадцать, не то двенадцать — и это во всем диапазоне от вируса до человеческого детеныша. Нет, так не бывает. Тут что-то не то. Ладно, скоро узнаем. Мальчуган нам все расскажет. А если не расскажет? Много ли человеческие волчата рассказали людям о волках? На что же рассчитывает Комов? Мне захотелось сейчас же, немедленно спросить у Комова, на что он рассчитывает.

Вандерхузе дочитал последнюю радиограмму, вытянулся в кресле, заложил руки за голову и произнес задумчиво:

— А ведь я знавал Семеновых. Должен вам сказать, очень были славные и в то же время очень странные люди. Романтики старины. Конечно, Шура знал все старинные законы, он их вечно цитировал. Нам они казались смешными и нелепыми, а он находил в них какую-то прелесть... Катастрофа, агония, страшные чудовища лезут в корабль... Уничтожить бортжурнал, стереть свой след в пространстве — ведь на том конце следа Земля! Да, это очень на него похоже. — Вандерхузе помолчал. — Между прочим, таких, кто ищет уединения, гораздо больше, чем мы с вами думаем. Ведь уединение — не такая уж плохая вещь, как вы

полагаете?

— Не для меня, — коротко сказала Майка, не отрываясь от экрана.

— Это потому, что ты молода, — возразил Вандерхузе. — В твоем возрасте Шура Семенов тоже любил дружить со многими и чтобы многие дружили с ним. И чтобы работать вместе — большой шумной компанией. И чтобы устраивать мозговые атаки, и все время быть в веселом напряжении, и чтобы все время соревноваться, все равно в чем — в прыжках ли с крыльями, в количестве острот на единицу времени, в знании наизусть каких-нибудь таблиц... во всем. А в промежутках во все горло распевать под нэкофон куплеты собственного сочинения. — Вандерхузе вздохнул. — Обычно это проходит с началом настоящей любви... Впрочем, об этом я ничего не знаю. Я знаю только, что с тридцать четвертого года Шурик и Мари ушли в группу свободного поиска. С тех пор я их, собственно, ни разу не видел. Один раз говорил по видео... Я был тогда диспетчером, и Шура запрашивал у меня разрешение на выход с Пандоры. — Вандерхузе снова вздохнул. — Между прочим, у Шуры отец жив и сегодня, Павел Александрович. Надо будет обязательно к нему зайти, когда вернемся... — Он помолчал. — Если хотите знать, — объявил он, — я всегда был против свободного поиска. Архаизм. Бродят по космосу в одиночку, опасно, научный выход ничтожный, а иногда мешают... Помните историю с Каммерером? Они все притворяются, будто мы уже овладели космосом, будто мы в космосе как дома. Неверно это. И никогда это не будет верно. Космос всегда будет космосом, а человек всегда останется всего лишь человеком. Он будет только становиться все более и более опытным, но никакого опыта не хватит, чтобы чувствовать себя в космосе как дома... По-моему, Шурик и Мари так ничего и не нашли в космосе, во всяком случае, ничего такого, о чем стоило бы рассказать хотя бы за столом в кают-компании.

— Но зато они были счастливы, — сказала Майка, не оборачиваясь.

— Почему ты так думаешь?

— Иначе бы они вернулись! Зачем им было что-то искать, если они и без того были счастливы? — Майка сердито посмотрела на Вандерхузе. — Что вообще стоит искать, кроме счастья?

— Я мог бы тебе ответить, что тот, кто счастлив, ничего и не ищет, — сказал Вандерхузе, — но я не подготовлен к такому глубокому спору, да и ты тоже, как ты полагаешь? Рано или поздно мы начнем обобщать понятие счастья на негуманоидов...

— На борту! — раздался голос Комова. — Смотреть внимательно!

— Именно это я и хотел сказать, — проговорил Вандерхузе, и Майка

снова отвернулась к экрану.

Теперь мы смотрели на экран все втроем. Солнце было совсем низко, оно висело над самыми вершинами, и на сопках уже лежали тени. Ярко отсвечивала посадочная полоса, шапка пара над болотом казалась теперь тяжелой и неподвижной, а верхушка ее, через которую пробивался солнечный свет, сделалась пронзительно-фиолетовой. Все вокруг было очень неподвижно, даже Комов.

— Пять часов, — негромко сказал Вандерхузе. — Не пора ли нам обедать? Геннадий, как вы будете есть?

— Мне ничего не надо, — сказал Комов. — Я захватил с собой. А вы поешьте, потом может стать не до того.

Я поднялся.

— Пойду готовить. Какие заказы?

И тут Вандерхузе сказал:

— Вижу!

— Где? — сейчас же спросил Комов.

— Идет к нам по берегу, со стороны айсберга. Градусах в шестидесяти влево от вашего направления на корабль.

— Ага, — сказала Майка. — Я тоже вижу! Действительно, идет.

— Не вижу! — нетерпеливо сказал Комов. — Дайте координаты по дальномеру.

Вандерхузе сунул лицо в нарамник дальномера и продиктовал координаты. Теперь и я увидел: вдоль самой кромки черной воды, не спеша, словно бы нехотя, брела к кораблю зеленоватая, странно скособоченная фигурка.

— Нет, не вижу, — сказал Комов с досадой. — Рассказывайте мне.

— Н-ну, значит, так... — начал Вандерхузе и откашлялся. — Идет медленно, смотрит на нас... В руках охапка каких-то прутьев... Остановился, поковырял ногой в песке... Бр-р-р, по такой холодине — нагишом... Пошел дальше... Смотрит в вашу сторону, Геннадий... Любопытно, анатомия у него не человеческая, точнее, не совсем человеческая... Вот опять остановился и все время смотрит в вашу сторону. Неужели вы его не видите, Геннадий? Он же прямо у вас на траверзе, к вам он сейчас ближе, чем к нам...

Пьер Александрович Семенов, космический маугли, приближался. Сейчас до него было метров двести, и, когда Майка давала на мониторе увеличенное изображение, можно было рассмотреть даже его ресницы. Заходящее солнце как раз проглянуло в промежуток между двумя горными пиками, снова стало совсем светло, длинные тени протянулись вдоль

пляжа.

Это был ребенок, мальчишка лет двенадцати, угловатый подросток, костлявый, длинноногий, с острыми плечами и локтями, но этим сходство с обычным мальчишкой и ограничивалось. Уже лицо у него не было мальчишеское — с человеческими чертами, но совершенно неподвижное, окаменевшее, застывшее, как маска. Только глаза у него были живые, большие, темные, и он стрелял ими налево и направо, словно сквозь прорези в маске. Уши у него были большие, оттопыренные, правое заметно больше левого, а из-под левого уха тянулся по шее до ключицы темный неровный шрам — грубый, неправильно заживший рубец. Рыжеватые свалявшиеся волосы беспорядочными космами спадали на лоб и на плечи, торчали в разные стороны, лихим хохлом вздымались на макушке. Жуткое, неприятное лицо, и вдобавок — мертвенного, синевато-зеленого оттенка, лоснящееся, словно смазанное каким-то жиром. Впрочем, так же лоснилось и все его тело. Он был совершенно голый, и, когда он подошел к кораблю совсем близко и бросил на песок охапку сучьев, стало видно, какой он весь жилистый, без всяких следов этой трогательной детской незащищенности. Он был костлявый, да, но не тощий — удивительно, по-взрослому жилистый, не мускулистый, не атлет, а именно жилистый, и еще стали видны страшные рваные шрамы — глубокий шрам на левом боку через ребра до самого бедра, отчего он и был таким скособоченным, и еще шрам на правой ноге, и глубокая вдавлина посередине груди. Да, видно, нелегко ему здесь пришлось. Планета старательно жевала и грызла человеческого детеныша, но, видимо, привела-таки его в соответствие с собой.

Он был теперь шагах в двадцати, у самого края мертвого пространства. Охапка прутьев лежала у его ног, а он стоял, опустив руки, и смотрел на корабль; он не мог, конечно, видеть объективов, но смотрел он, казалось, прямо нам в глаза. И поза у него была нечеловеческая. Не знаю, как это объяснить. Просто люди не стоят в такой позе. Никогда не стоят. Ни отдыхая, ни в ожидании, ни в напряжении. Левая нога у него была отставлена чуть назад и слегка согнута в колене, но всем весом он опирался именно на нее. И вперед он выставил левое плечо. У человека, готовящегося метнуть диск, можно на мгновенье уловить подобную позу — долго так не простоишь, это неудобно, да и некрасиво, а он стоял, стоял несколько минут, а потом вдруг присел и стал перебирать свои прутья. Я сказал — присел, но это неправильно: он опустился на левую ногу, правую же, не сгибая, вытянул вперед — даже смотреть на него было неудобно, особенно когда он принялся возиться с прутьями, помогая рукам правой

ногой. Потом он поднял к нам лицо, протянул руки — в каждом кулаке по прутику — и тут началось такое, что я вообще не берусь описывать.

Могу только сказать: лицо его ожило, и не просто ожило — оно взорвалось движениями. Не знаю, сколько там на лице у человека мускулов, но у него они все разом пришли в движение, и каждый самостоятельно, и каждый беспрестанно, и каждый необычайно сложно. Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с бегом ряби на воде в солнечном свете, только рябь однообразна и хаотична, однообразна в своей хаотичности, а здесь сквозь фейерверк крошечных движений проглядывал какой-то определенный ритм, какой-то осмысленный порядок, это не была болезненная конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускулов, если можно так выразиться. И начался этот танец с лица, а затем заплясали плечи, грудь, запели руки, и сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках, принялись скрещиваться, сплетаться, бороться — с шорохом, с барабанной дробью, со стрекотом, словно целое поле кузнечиков развернулось под кораблем. Это длилось не больше минуты, но у меня зарябило в глазах и заложило уши. А затем все пошло на убыль. Пляска и пение ушли из палочек в руки, из рук в плечи, затем в лицо, и все кончилось. На нас снова глядела неподвижная маска. Мальчик легко поднялся, шагнул через кучку прутьев и вдруг ушел в мертвое пространство.

— Почему вы молчите? — надрывался Комов. — Яков! Яков! Вы слышите меня? Почему молчите?

Я очнулся и поискал глазами Комова. Ксенопсихолог стоял в напряженной позе, лицом к кораблю, длинная тень тянулась по песку от его ног. Вандерхузе откашлялся и проговорил:

— Слышу.

— Что произошло?

Вандерхузе помедлил.

— Не берусь рассказать, — сказал он. — Может быть, вы, ребята?

— Он разговаривал! — произнесла Майка сдавленным голосом. — Это он разговаривал!..

— Слушайте, — сказал я. — А он не к люку пошел?

— Возможно, — сказал Вандерхузе. — Геннадий, он ушел в мертвое пространство. Возможно, он пошел к люку...

— Следите за люком, — быстро скомандовал Комов. — Если он войдет, сейчас же сообщите мне, а сами запритесь в рубке... — Он помолчал. — Жду вас через час, — проговорил он с какой-то новой интонацией, обычным спокойно-деловым тоном и словно бы отвернувшись

от микрофона. — За час вы управитесь?

— Не понял, — сказал Вандерхузе.

— Запритесь! — раздраженно закричал Комов прямо в микрофон. — Понимаете? Запритесь, если он войдет в корабль!

— Это я понял, — сказал Вандерхузе. — Где вы нас ждете через час?

Наступило молчание.

— Жду вас через час, — снова отвернувшись от микрофона, деловито повторил Комов. — За час вы управитесь?

— Где? — сказал Вандерхузе. — Где ждете?

— Яков, вы меня слышите? — громко спросил Комов с беспокойством.

— Слышу вас отлично, — произнес Вандерхузе и растерянно оглянулся на нас. — Вы сказали, что ждете нас через час. Где?

— Я не говорил... — начал Комов, но тут его прервал голос Вандерхузе, такой же глуховатый, словно в отдалении от микрофона:

— А не пора ли нам обедать? Стась там, наверное, соскучился, как ты полагаешь, Майка?

Майка нервно захихикала.

— Это же он... — проговорила она, тыча пальцем в экран. — Это же он... там...

— Что происходит, Яков? — гаркнул Комов.

Странный голос — я даже не сразу понял чей — произнес:

— Я тебя, старикашечку моего, вылечу, на ноги поставлю, в люди выведу...

Майка, уткнувшись лицом в ладони, икала от нервного хохота, поджимая колени к подбородку.

— Ничего особенного, Геннадий, — произнес Вандерхузе, вытирая платком вспотевший лоб. — Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий.

— Вы его видите?

— Нет... Впрочем, вот он появился.

Мальчик снова стоял возле своих прутьев, уже в другой, но такой же неудобной позе. Он опять глядел нам прямо в глаза. Потом рот его приоткрылся, губы странно искривились, обнажив десны и зубы в левом углу рта, и мы услышали голос Майки:

— В конце концов, если бы у меня были ваши бакенбарды, я бы, может быть, относилась к жизни совсем по-другому...

— Сейчас он говорит голосом Майки, — невозмутимо сообщил Вандерхузе. — А сейчас посмотрел в вашу сторону. Вы его все еще не

видите?

Комов молчал. Мальчик все стоял, повернув голову в его сторону, совершенно неподвижный, словно окаменелый, — странная фигура в сгущающихся сумерках. И вдруг я понял, что это не он. Фигура расплывалась. Сквозь нее проступила темная кромка воды.

— Ага, вижу! — с удовлетворением сказал Комов. — Он стоит шагах в двадцати от корабля, так?

— Так, — сказал Вандерхузе.

— Не так, — сказал я.

Вандерхузе присмотрелся.

— Д-да, пожалуй, не так, — согласился он. — Это, пожалуй... Как вы это называете, Геннадий? Фантом?

— Стойте, — сказал Комов. — Вот теперь я его вижу по-настоящему. Он идет ко мне.

— Ты видишь его? — спросила меня Майка.

— Нет, — ответил я. — Темно уже.

— Не в темноте дело, — возразила Майка.

Наверное, она была права. Солнце, правда, зашло, и сумерки сгустились, но Комова я на экране различал и видел тающий фантом, и взлетную полосу, и айсберг вдали, а вот мальчика я больше не видел.

Потом я увидел, что Комов сел.

— Подходит, — проговорил он вполголоса. — Сейчас я буду занят. Не отвлекайте меня. Продолжайте внимательно следить за окрестностями, но никаких локаторов, никаких активных средств вообще. Попробуйте обойтись инфраоптикой. Все.

— Доброй охоты, — сказал Вандерхузе в микрофон и поднялся. Вид у него был торжественный. Он строго посмотрел на нас поверх носа, привычным плавным движением взбил бакенбарды и произнес: — Стада в хлевах, свободны мы до утренней зари.

Майка судорожно зевнула и проговорила:

— Спать мне хочется, что ли? Или это от нервов?

— Между прочим, спать нам теперь придется мало, — заявил Вандерхузе. — Давайте сделаем так. Пусть Майка идет отдыхать. Я останусь у экрана, а Стась пусть спит у рации. Через четыре часа я его разбужу, как ты полагаешь, Стась?

Я не возражал, хотя и сомневался, что Комов столько высидит на морозе. Майка, продолжая зевать, не возражала тоже. Когда она ушла, я предложил Вандерхузе сварить кофе, но он отказался под каким-то смехотворным предлогом — наверное, он хотел, чтобы я поспал. Тогда я

устроился возле рации, просмотрел новые радиограммы, не обнаружил ничего срочного и передал их Вандерхузе.

Некоторое время мы молчали. Спать совсем не хотелось. Я так и этак прикидывал, какими же должны быть воспитатели Пьера Семенова. Человеческий детеныш, воспитанный волком, бегает на четвереньках и рычит. Медвежий человек — тоже. Вообще воспитание полностью определяет модус вивенди любого существа. То есть не то чтобы полностью, но заметно определяет. Почему, собственно, наш маугли остался человеком прямостоящим? Это наводит на определенные размышления. Он ходит на ногах, он активно пользуется руками, это само по себе не есть что-то врожденное, это воспитывается. Он может говорить. Конечно, он не понимает, что он говорит, но видно, что та часть мозга, которая ведает речью, задействована у него великолепно... И ведь он запоминает все с одного раза! Странно, очень странно. Негуманоиды, о которых я знаю, были бы совершенно не способны так воспитать человеческого детеныша. Прокормить его, приручить — могли бы. Исследовать в своих странных лабораториях, похожих на гигантскую действующую модель кишечника, — тоже могли бы. Но увидеть в нем человека, идентифицировать в нем человека, сохранить в нем человека — вряд ли. Неужели это все-таки гуманоиды? Ничего не понимаю.

— Во всяком случае, — сказал вдруг Вандерхузе, — они гуманны в самом широком смысле слова, какой только можно придумать, раз они спасли жизнь нашему младенцу, и они гениальны, ибо сумели воспитать его похожим на человека, ничего, может быть, не зная о руках и ногах. Как ты полагаешь, Стась?

Я неопределенно хмыкнул, и он замолчал.

В рубке было тихо. База нас не беспокоила, Комов тоже на связь не выходил; на темном экране вспыхивали, переливаясь, радужные полотнища сполохов, и в их призрачном свете был едва виден Комов, сидевший совершенно неподвижно, а мальчика я так и не сумел разглядеть ни разу. Но дело у них явно шло на лад, потому что большой бортовой вычислитель время от времени принимался тихонько чавкать и урчать, переваривая и организуя информацию, получаемую с транслятора. Потом я задремал, и приснились мне, помнится, какие-то хмурые небритые осьминоги в синих спортивных костюмах и с зонтиками, они учили меня ходить, а мне было так смешно, что я все время падал, вызывая их крайнее неудовольствие. Проснулся я от мягкого и неприятного толчка в сердце. Что-то произошло. Что-то тревожное.

Вандерхузе сидел, напряженно пригнувшись к экрану, вцепившись

руками в подлокотники.

— Стась! — окликнул он негромко.

— Да?

— Посмотри на экран.

Я без того уже смотрел на экран, но не видел пока ничего особенного. Как и прежде, полыхали и переливались небесные огни, Комов сидел в прежней позе, далекий айсберг отсвечивал розовым и зеленым. Потом я увидел.

— Над горами? — шепотом спросил я.

— Да. Именно над горами.

— Что это такое?

— Не знаю.

— Давно?

— Не знаю. Я заметил эту штуку минуты две назад. Думал — смерч...

Я сначала тоже подумал, что это смерч. Над бледной иззубренной линией хребта, на фоне радужных полотнищ поднималось что-то вроде длинного тонкого хлыста — черная кривая, словно царапина на экране. Этот хлыст едва заметно вибрировал, гнулся, иногда словно бы проседал и снова распрямлялся, и заметно было, что он не гладкий, а как бы суставчатый, похожий на ствол бамбука. Он торчал над хребтом, до которого было по крайней мере километров десять, словно кто-то высунул из-за вершин исполинское удилище. Он придавал знакомому пейзажу на экране нереальный вид декораций кукольного театра. Смотреть на это было как-то противоестественно и жутко-смешно, как если бы над вершинами появилась неправдоподобно громадная физиономия. В общем, это было что-то вне всяких масштабов, что-то невозможное, вне всяких представлений о пропорциях.

— Они? — спросил я шепотом.

— Невозможно, чтобы это было естественное... — проговорил Вандерхузе. — И невозможно, чтобы это было искусственное.

Я и сам чувствовал то же самое.

— Надо сообщить Комову, — сказал я.

— Комов отключился, — ответил Вандерхузе. Он наводил дальномер. — Расстояние не меняется. Четырнадцать километров. И эта штука страшно вибрирует, вся трясется. Амплитуда не меньше сотни метров... Совершенно невозможная штука.

— Какая же у него высота? — пробормотал я.

— Около шестисот метров.

— Елки-палки, — сказал я.

Он вдруг вскочил и нажал сразу две клавиши: наружного аварийного радиовызова «Всем немедленно вернуться на борт» и внутреннего сигнала «Всем собраться в рубке». Потом он повернулся ко мне и непривычно отрывистым голосом скомандовал:

— Стась! Бегом на пост УАС. Приведи в готовность носовую ПМП. Сиди и жди. Без команды — ничего.

Я выскочил в коридор. Из-за дверей кают слышались приглушенные отрывистые звонки сигнала сбора. Навстречу мне мчалась Майка, на ходу натягивая куртку. Она была в туфлях на босу ногу.

— Что случилось? — сиплым со сна голосом спросила она еще издали.

Я махнул рукой и по трапу ссыпался вниз, в пост управления активными средствами. Меня слегка лихорадило, но в общем я был спокоен. В известном смысле я был даже горд: ситуация складывалась редкостная. Настолько редкостная, что я был уверен: с момента первого старта этого корабля на пост УАС никто еще не заходил — разве что работники космодромов для профилактического осмотра автоматики.

Я повалился в кресло, врубил круговой экран, отключил автоматику ПМП и сразу же заблокировал кормовую установку, чтобы в суматохе не выпалить в надир. Затем я взялся за верньеры ручной наводки, и изображение на экране поползло через черное перекрестие перед моими глазами: прополз клыкастый айсберг, проползла туманная масса над болотами, прополз Комов — теперь он стоял, озаряемый сполохами, спиной к нам и глядел в сторону гор... Еще немного повыше. Вот он. Черный, дрожащий, нелепый, совершенно невозможный. А рядом — второй, он покороче, но растет на глазах, вытягивается, гнется... Елки-палки, да как же они это делают? Какие же это мощности нужны и что это за материал такой? Ну и зрелище!.. Теперь это было так, будто чудовищный таракан прячется за горами и высунул оттуда свои усы. Я прикинул телесный угол поражения и установил перекрестие таким образом, чтобы одним ударом поразить обе цели. Теперь оставалось только толкнуть ногой педаль...

— Пост УАС! — гаркнул Вандерхузе.

— Есть пост УАС! — отозвался я.

— Готовность!

— Есть готовность!

По-моему, это у нас очень лихо получилось. Как в кино.

— Обе цели видишь? — обыкновенным голосом спросил Вандерхузе.

— Да. Накрываю обе одним импульсом.

— Обрати внимание: сорок градусов к востоку — третья цель.

Я взглянул: действительно, еще один гигантский ус гнулся и трепетал в неверном свете сполохов. Это мне не понравилось. Успею или нет? Чего там, должен успеть... Я мысленно прорепетировал, как я выпускаю импульс, а затем двумя движениями разворачиваю пушку на третью цель. Ничего, успею.

— Вижу третью цель, — сказал я.

— Это хорошо, — сказал Вандерхузе. — Но ты, однако, не горячись. Стрелять только по моей команде.

— Вас понял, — буркнул я.

Вот даст он по кораблю каким-нибудь... этим... искривителем пространства каким-нибудь, дождешься тогда от тебя команды. Меня уже заметно трясло. Я стиснул руки, чтобы привести себя в порядок. Потом я посмотрел, как там Комов. Комов был ничего себе. Он снова сидел в прежней позе, повернувшись к гигантскому таракану боком. Я сразу успокоился, тем более что обнаружил наконец рядом с Комовым крошечную черную фигурку. Мне даже стало неловко.

Чего это я вдруг? Какие, собственно, основания для паники? Ну, выставил усы... Большие усы, не спорю, я бы даже сказал — сногсшибательной величины усы. Но, в конце концов, никакие это, вероятно, не усы, а что-нибудь вроде антенн. Может быть, они просто за нами наблюдают. Мы за ними, а они за нами. И даже, собственно, не за нами, наверное, а за своим воспитанником, за Пьером Александровичем Семеновым наблюдают — как, мол, он здесь, не обижают ли его...

Вообще, если подумать, противометеоритная пушка — страшная штука, не хотелось бы ее здесь применять. Одно дело — сровнять с грунтом какую-нибудь скалу, чтобы расчистить посадочную площадку, или, скажем, завалить ущелье, когда нужен пресный водоем, а другое дело — вот так, по живому... А вообще-то применялись когда-нибудь ПМП как средство обороны? Пожалуй, да. Во-первых, был случай, не помню где, грузовой автомат потерял управление и стал валиться прямо на лагерь, — пришлось его сжечь. А потом, помнится, разбирали такой инцидент: на какой-то биологически активной планете корабль-разведчик подвергся «направленному непреодолимому воздействию биосферы»... То есть подвергся он или нет — до сих пор неизвестно, но капитан решил, что подвергся, и ударил из носовой пушки. Выжег он вокруг себя все, до самого горизонта, так что потом при расследовании эксперты только руками разводили. Капитана, помнится, от полетов отстранили надолго... Да, что и говорить, страшное средство — ПМП. Последнее средство.

Чтобы отвлечься от всяких таких мыслей, я произвел замеры расстояний до целей и рассчитал их высоту и толщину. Расстояния оказались: четырнадцать, четырнадцать с половиной и шестнадцать километров. Высота — от пятисот до семисот метров, а толщина у них у всех была примерно одинаковая: у основания около пятидесяти метров, а на самом кончике уса — меньше метра. И все они действительно были суставчатыми, как бамбуковые стволы или катушечные антенны. И еще мне показалось, что я различаю на их поверхности какое-то движение, направленное снизу вверх, этакую перистальтику, но, может быть, это была только игра света. Я попытался прикинуть свойства материала, из которого могут состоять такие вот образования, — получалась какая-то чепуха. Да, пощупать бы их локатором-пробником, но нельзя, конечно. Неизвестно, как они к этому отнесутся. Да и не это главное. Главное — это то, что цивилизация здесь, пожалуй, технологическая. Высокоразвитая цивилизация. Что и требовалось доказать. Непонятно только, чего это они зарылись под землю, почему оставили свою родную планету во власти пустоты и тишины. Впрочем, если подумать, у каждой цивилизации свои представления о благоустроенности. Например, на Тагоре...

— Пост УАС! — гаркнул Вандерхузе над самым ухом, так что я вздрогнул. — Как видишь цели?

— Вижу цели... — откликнулся я машинально, но тут же осекся: усов над горами не было. — Нет целей, — упавшим голосом сказал я.

— Спишь на посту!

— Ничего не сплю... Только что были, своими глазами видел...

— И что ты видел своими глазами? — осведомился Вандерхузе.

— Цели. Три цели.

— А потом?

— А теперь их нет.

— Гм... — сказал Вандерхузе. — Странно это как-то произошло, как ты полагаешь?

— Да, — сочувственно сказал я. — Очень странно. Были — и вдруг нет.

— Комов возвращается, — сообщил Вандерхузе. — Может быть, он что-нибудь понимает?..

Действительно, Комов, обвешанный футлярами, неловкой походкой — очевидно, у него затекли ноги — возвращался к кораблю. Время от времени он оборачивался — надо полагать, прощался с Пьером Александровичем, но самого Пьера Александровича видно не было.

— Отбой, — сказал Вандерхузе. — Оставь все как есть и беги на

камбуз, приготовь что-нибудь горячее и подкрепляющее. Геннадий, наверное, замерз как сосулька. Впрочем, голос у него довольный, как ты полагаешь, Майка?

Я мигом очутился на кухне и принялся торопливо готовить глинтвейн, кофе и легкую закуску. Я очень боялся пропустить хоть слово из того, что будет рассказывать Комов. Но когда я бегом прикатил столик в рубку, Комов еще ничего не рассказывал. Он стоял перед столом, растирая замерзшую щеку, на столе была расстелена самая большая и подробная карта нашего района, и Майка пальцем показывала ему те места, откуда высовывались давешние усы-антенны.

— Здесь ничего нет! — возбужденно говорила Майка. — Здесь мерзлые скалы, каньоны в сто метров глубиной, вулканические пропасти — и ничего живого. Я пролетала здесь десятки раз. Тут даже кустарника нет.

Комов рассеянно-благодарно кивнул мне, взял в обе руки чашу с глинтвейном, погрузил в нее лицо и стал шумно прихлебывать, покряхтывая, обжигаясь и с наслаждением отдуваясь.

— И грунт здесь хрупкий, — продолжала Майка, — он бы не выдержал таких сооружений. Это же десятки, а может быть, и сотни тысяч тонн!

— Да, — произнес Комов и со стуком поставил пустую чашу на стол. — Что и говорить, странно. — Он сильно потер ладони. — Замерз как собака, — сообщил он. Это был опять совсем другой Комов — румяный, красноносый, доброжелательный, с блестящими веселыми глазами. — Странно, странно, ребята. Но это еще не самое странное — мало ли странного бывает на чужих планетах. — Он повалился в кресло и вытянул ноги. — Сегодня меня, знаете ли, трудно удивить. За эти четыре часа я наслышался такого... Кое-что нуждается, конечно, в проверке. Но вот вам два фундаментальных факта, которые, так сказать, уже теперь лежат на поверхности. Во-первых, Малыш... его зовут Малыш... уже научился бегло говорить и понимать практически все, что говорят ему. Это мальчишка, который за всю свою сознательную жизнь ни разу не общался с людьми!

— Что значит — бегло? — недоверчиво спросила Майка. — После четырех часов обучения — бегло?

— Да, после четырех часов обучения — бегло! — торжествующе подтвердил Комов. — Но это во-первых. А во-вторых, Малыш пребывает в совершенной убежденности, что он — единственный обитатель этой планеты.

Мы не поняли.

— Почему же единственный? — спросил я. — Какой же он

единственный?

— Малыш совершенно убежден, — с ударением произнес Комов, — что кроме него на этой планете нет ни одного разумного аборигена.

Воцарилось молчание. Комов поднялся.

— У нас много работы, — сказал он. — Завтра утром Малыш намерен нанести нам официальный визит.

Глава шестая НЕЛЮДИ И ВОПРОСЫ

Мы проработали всю ночь. В кают-компании был оборудован импровизированный диагностер с индикатором эмоций. Мы с Вандерхузе собрали его буквально из ничего. Приборчик получился маломощный, хилый, с безобразной чувствительностью, но кое-какие физиологические параметры он мерил более или менее удовлетворительно, а что касается индикатора, то фиксировал он у нас только три основные позиции: ярко выраженные отрицательные эмоции (красная лампочка на пульте), ярко выраженные положительные эмоции (зеленая лампочка) и вся остальная эмоциональная гамма (белая лампочка). А что было делать? В медотсеке стоял прекрасный стационарный диагностер, но было совершенно ясно, что Малыш не согласится так, ни с того ни с сего, укладываться в матово-белый саркофаг с массивной герметической крышкой. В общем, к девяти часам мы кое-как управились, и тут во весь рост встала проблема дежурства на посту УАС.

Вандерхузе как капитан корабля, отвечающий за безопасность, неприкосновенность и все такое прочее, категорически отказался отменить это дежурство. Майка, просидевшая на посту вторую половину ночи, естественно, льстила себя надеждой, что уж она-то присутствовать при официальном визите будет непременно. Однако она была горько разочарована. Выяснилось, что квалифицированно работать на диагностере может только Вандерхузе. Выяснилось дальше, что поддерживать в рабочем состоянии диагностер, в любую минуту рискующий потерять настройку, могу только я. И наконец, выяснилось, что Комов по каким-то своим высшим ксенопсихологическим соображениям считал нежелательным присутствие женщины на первой беседе с Малышом. Короче говоря, бледная от бешенства Майка снова отправилась на пост, причем сохранивший полное хладнокровие Вандерхузе не преминул проводить ее приемным раструбом диагностера, так что все желающие могли убедиться: индикатор эмоций действует — красная лампочка горела до тех пор, пока Майка не скрылась в коридоре. Впрочем, на посту УАС можно было слышать, что говорится в кают-компании, через интерком с усилителем.

В девять пятнадцать по бортовому времени Комов вышел на середину кают-компании и огляделся. Все было готово. Диагностер был настроен и включен, на столе красовались блюда со сластями, освещение было

отрегулировано под местный дневной свет. Комов коротко повторил инструкцию по поведению при контакте, включил регистрирующую аппаратуру и пригласил нас по местам. Мы с Комовым уселись за стол напротив двери, Вандерхузе втиснулся за панель диагностера, и мы стали ждать.

Он явился в девять сорок по бортовому времени.

Он остановился в дверях, вцепившись левой рукой в косяк и поджав правую ногу. Наверное, целую минуту он стоял так, разглядывая нас по очереди сквозь прорези своей мертвенной маски. Тишина была такая, что я слышал его дыхание — мерное, мощное, свободное, словно работал хорошо отлаженный механизм. Вблизи и при ярком свете он производил еще более странное впечатление. Все в нем было странным: и поза — по-человечески совершенно неестественная и вместе с тем непринужденная, и блестящая, словно лаком покрытая зеленовато-голубая кожа, и неприятная диспропорция в расположении мышц и сухожилий, и необычайно мощные коленные узлы, и удивительно узкие и длинные ступни ног. И то, что он оказался не таким уж маленьким — ростом с Майку. И то, что на пальцах левой руки у него не было ногтей. И то, что в правом кулаке он сжимал горсть свежих листьев.

Взгляд его остановился наконец на Вандерхузе. Он смотрел на Вандерхузе так долго и так пристально, что мне пришла в голову дикая мысль: уж не догадывается ли Малыш о назначении диагностера, — а наш бравый капитан в конце концов с некоторой нервностью взбил согнутым пальцем свои бакенбарды и, вопреки инструкции, слегка поклонился.

— Феноменально! — громко и отчетливо произнес Малыш голосом Вандерхузе. На индикаторе затлела зеленая лампочка.

Капитан снова нервно взбил бакенбарды и искательно улыбнулся. И тотчас же лицо Малыша ожило. Вандерхузе был награжден целой серией ужасающих гримас, мгновенно сменявших друг друга. На лбу у Вандерхузе выступил холодный пот. Не знаю, чем бы все это кончилось, но тут Малыш отлепился наконец от косяка, скользнул вдоль стены и остановился возле экрана видеофона.

— Что это? — спросил он.

— Видеофон, — ответил Комов.

— Да, — сказал Малыш. — Все движется, и ничего нет. Изображения.

— Вот еда, — сообщил Комов. — Хочешь поесть?

— Еда — отдельно? — непонятно спросил Малыш и приблизился к столу. — Это еда? Не похоже. Шарада.

— Не похоже на что?

— Не похоже на еду.

— Все-таки попробуй, — посоветовал Комов, придвигая к нему блюдо с меренгами.

Тогда Малыш вдруг упал на колени, протянул вперед руки и открыл рот. Мы молчали, опешив. Малыш тоже не двигался. Глаза его были закрыты. Это длилось всего несколько секунд, затем он вдруг мягко повалился на спину, сел и резким движением разбросал на полу перед собою смятые листья. По лицу его снова пробежала ритмичная рябь. Быстрыми и какими-то очень точными касаниями пальцев он принялся передвигать листики, время от времени помогая себе ногой. Мы с Комовым, привстав с кресел и вытянув шеи, следили за ним. Листья словно сами собой укладывались в странный узор, несомненно правильный, но не вызывающий решительно никаких ассоциаций. На мгновение Малыш застыл в неподвижности — и вдруг снова одним резким движением сгреб листья в кучку. Лицо его замерло.

— Я понимаю, — объявил он, — это — ваша еда. Я так не ем.

— Смотри, как надо, — сказал Комов.

Он протянул руку, взял меренгу, нарочито медленным движением поднес ее ко рту, откусил осторожно и принялся демонстративно жевать. По мертвенному лицу Малыша пробежала судорога.

— Нельзя! — почти крикнул он. — Ничего нельзя брать руками в рот. Будет плохо!

— А ты попробуй, — снова предложил Комов, взглянул в сторону диагностера и осекся. — Ты прав. Не надо. Что будем делать?

Малыш присел на левую пятку и сочным баритоном произнес:

— Сверчок на печи. Чушь. Объясни мне снова: когда вы отсюда уходите?

— Сейчас объяснить трудно, — мягко ответил Комов. — Нам очень, очень нужно узнать все о тебе. Ты ведь еще ничего о себе не рассказывал. Когда мы узнаем о тебе все, мы уйдем, если ты захочешь.

— Ты знаешь обо мне все, — объявил Малыш голосом Комова. — Ты знаешь, как я возник. Ты знаешь, как я сюда попал. Ты знаешь, зачем я к тебе пришел. Ты знаешь обо мне все.

У меня глаза на лоб полезли, а Комов как будто даже и не удивился.

— Почему ты думаешь, что я все это знаю? — спросил он спокойно.

— Я размышлял. Я понял.

— Это феноменально, — спокойно сказал Комов, — но это не совсем верно. Я ничего не знаю о том, как ты здесь жил до меня.

— Вы уйдете сразу, когда узнаете обо мне все? Это так?

— Да, если ты захочешь.

— Тогда спрашивай, — сказал Малыш. — Спрашивай быстро, потому что я тоже хочу тебя спросить.

Я взглянул на индикатор. Просто так взглянул. И мне стало не по себе. Только что там был нейтральный белый свет, а сейчас ярким рубиновым огнем горел сигнал отрицательных эмоций. Я мельком заметил, что лицо у Вандерхузе встревожено.

— Сначала расскажи мне, — произнес Комов, — почему ты так долго прятался?

— Курвиспат, — отчетливо выговорил Малыш и пересел на правую пятку. — Я давно знал, что люди придут снова. Я ждал, мне было плохо. Потом я увидел: люди пришли. Я стал размышлять и понял — если людям сказать, они уйдут, и тогда будет хорошо. Обязательно уйдут, но я не знал — когда. Людей четыре. Очень много. Даже один очень много. Но лучше, чем четыре. Я входил к одному и разговаривал днем. Я входил к одному и разговаривал ночью. Шарада. Тогда я подумал: один человек говорить не может. Я пришел к четверым. Было очень весело, мы играли с изображениями, мы бежали, как волна. Опять шарада. Вечером я увидел: один сидит отдельно. Ты. Я подумал и понял: ты ждешь меня. Я подошел. Чеширский кот! Вот как было.

Он говорил резко и отрывисто, голосом Комова, и только внесмысловые слова он произносил этим сочным незнакомым баритоном. Руки, пальцы его ни на секунду не оставались в покое, и сам он все время двигался, и движения его были стремительны и неуловимо плавны, он словно переливался из одной позы в другую. Фантастическое это было зрелище: привычные стены кают-компании, ванильный запах от пирожных, все такое домашнее, обычное — только странный лиловатый свет и в этом свете на полу гибкое, плавное и стремительное маленькое чудище. И тревожный рубиновый огонек на пульте.

— Откуда ты знал, что люди придут снова? — спросил Комов.

— Я размышлял и понял.

— А может быть, кто-нибудь рассказал тебе?

— Кто? Камни? Солнце? Кусты? Я один. Я и мои изображения. Но они молчат. С ними можно только играть. Нет. Люди пришли и ушли. — Он быстрым движением передвинул несколько листочков на полу. — Я подумал и понял: они придут снова.

— А почему тебе было плохо?

— Потому что люди.

— Люди никогда никому не вредят. Люди хотят, чтобы всем вокруг

было хорошо.

— Я знаю, — сказал Малыш. — Я ведь уже говорил: люди уйдут, и будет хорошо.

— От каких действий людей тебе плохо?

— От всех. Они есть или они могут прийти — это плохо. Они уйдут навсегда — это хорошо.

Красный огонек на пульте буравил мне душу. Я не удержался и тихонько толкнул Комова ногой под столом.

— Откуда ты узнал, что если людям сказать, то они уйдут? — спросил Комов, не обратив на меня внимания.

— Я знал: люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.

— Но как ты это узнал? Ты же никогда не общался с людьми.

— Я много размышлял. Долго не понимал. Потом понял.

— Когда понял? Давно?

— Нет, недавно. Когда ты ушел от озера, я поймал рыбу. Я очень удивился. Она почему-то умерла. Я стал размышлять и понял, что вы обязательно уйдете, если вам сказать.

Комов покусал нижнюю губу.

— Я заснул на берегу океана, — сказал он вдруг. — Когда я проснулся, то увидел: на мокром песке возле меня — следы человеческих ног. Я поразмыслил и понял: пока я спал, мимо меня прошел человек. Откуда я это узнал? Ведь я не видел человека, я увидел только следы. Я размышлял: раньше следов не было; теперь следы есть; значит они появились, пока я спал. Это человеческие следы — не следы волн, не следы камня, который скатился с горы. Значит, мимо меня прошел человек. Пока я спал, мимо меня прошел человек. Так размышляем мы. А как размышляешь ты? Вот прилетели люди. Ты ничего о них не знаешь. Но ты поразмыслил и узнал, что они обязательно улетят навсегда, если ты поговоришь с ними. Как ты размышлял?

Малыш долго молчал — минуты три. На лице и на груди его вновь начался танец мускулов. Проворные пальцы двигали и перемещали листья. Потом он отпихнул листья ногой и сказал громким сочным баритоном:

— Это вопрос. По бим-бом-брамселям!

Вандерхузе затравленно кашлянул в своем углу, и Малыш сейчас же поглядел на него.

— Феноменально! — воскликнул он все тем же баритоном. — Я всегда хотел узнать: почему длинные волосы на щеках?

Воцарилось молчание. И вдруг я увидел, как рубиновый огонек погас и разгорелся изумрудный.

— Ответьте ему, Яков, — спокойно попросил Комов.

— Гм... — сказал Вандерхузе, порозовев. — Как тебе сказать, мой мальчик... — Он машинально взбил бакенбарды. — Это красиво, это мне нравится... По-моему, это достаточное объяснение, как ты полагаешь?

— Красиво... нравится... — повторил Малыш. — Колокольчик! — сказал он вдруг нежно. — Нет, ты не объяснил. Но так бывает. Почему только на щеках? Почему нет на носу?

— А на носу некрасиво, — наставительно сказал Вандерхузе. — И в рот попадают, когда ешь...

— Правильно, — согласился Малыш. — Но если на щеках и если идешь через кусты, то должен цепляться. Я всегда цепляюсь волосами, хотя они у меня наверху.

— Гм, — сказал Вандерхузе. — Видишь ли, я редко хожу через кусты.

— Не ходи через кусты, — сказал Малыш. — Будет больно. Сверчок на печи!

Вандерхузе не нашелся, что ответить, но по всему видно было, что он доволен. На индикаторе горел изумрудный огонек, Малыш явно забыл о своих заботах, и наш бравый капитан, очень любивший детей, несомненно испытывал определенное умиление. К тому же ему, кажется, льстило, что его бакенбарды, служившие до сих пор только объектом более или менее плоских острот, сыграли такую заметную роль в ходе контакта. Но тут наступила моя очередь. Малыш неожиданно глянул мне в глаза и выпалил:

— А ты?

— Что — я? — спросил я, растерявшись, а потому агрессивно.

Комов немедленно и с явным удовольствием пнул меня в лодыжку.

— У меня вопрос к тебе, — объявил Малыш. — Тоже всегда. Но ты боялся. Один раз чуть меня не погубил — зашипел, заревел, ударил меня воздухом. Я бежал до самых сопок. То большое, теплое, с огоньками, делает ровную землю — что это?

— Машины, — сказал я и откашлялся. — Киберы.

— Киберы, — повторил Малыш. — Живые?

— Нет, — сказал я. — Это машины. Мы их сделали.

— Сделали? Такое большое? И двигается? Феноменально. Но ведь они большие!

— Бывают и больше, — сказал я.

— Еще больше?

— Гораздо больше, — сказал Комов. — Больше, чем айсберг.

— И они тоже двигаются?

— Нет, — сказал Комов. — Но они размышляют.

И Комов принялся рассказывать, что такое кибернетические машины. Мне было очень трудно судить о душевных движениях Малыша. Если исходить из предположения, что душевные движения его так или иначе выражались движениями телесными, можно было считать, что Малыш сражен наповал. Он метался по кают-компании, словно кот Тома Сойера, хлебнувший болеутолителя. Когда Комов объяснил ему, почему моих киберов нельзя считать ни живыми, ни мертвыми, он вскарабкался на потолок и бессильно повис там, прилипнув к пластику ладонями и ступнями. Сообщение о машинах, гигантских машинах, которые размышляют быстрее, чем люди, считают быстрее, чем люди, отвечают на вопросы в миллион раз быстрее, чем люди, скрутило Малыша в колобок, развернуло, выбросило в коридор и через секунду снова швырнуло к нашим ногам, шумно дышащего, с огромными потемневшими глазами, отчаянно гримасничающего. Никогда раньше и никогда после не приходилось мне встречать такого благодарного слушателя. Изумрудная лампа на пульте индикатора сияла, как кошачий глаз, а Комов говорил и говорил, точными, ясными, предельно простыми фразами, ровным, размеренным голосом и время от времени вставлял интригующие: «Подробнее об этом мы поговорим позже» или: «Это на самом деле гораздо сложнее и интереснее, но ведь ты пока еще не знаешь, что такое гемостатика».

Едва Комов закончил, Малыш вскочил на кресло, обхватил себя своими длинными жилистыми руками и спросил:

— А можно сделать так, чтобы я говорил, а киберы слушали?

— Ты это уже делал, — сказал я.

Он бесшумно, как тень, упал на руки на стол передо мной.

— Когда?

— Ты прыгал перед ними, и самый большой — его зовут Том — останавливался и спрашивал тебя, какие будут приказания.

— Почему я не слышал вопроса?

— Ты видел вопрос. Помнишь, там мигал красный огонек? Это был вопрос. Том задавал его по-своему.

Малыш перелился на пол.

— Феноменально! — тихо-тихо сказал он моим голосом. — Это игра. Феноменальная игра. Щелкунчик!

— Что значит «щелкунчик»? — спросил вдруг Комов.

— Не знаю, — сказал Малыш нетерпеливо. — Просто слово. Приятно выговаривать. Ч-чеширский кот. Щ-щелкунчик.

— А откуда ты знаешь эти слова?

— Помню. Два больших ласковых человека. Гораздо больше, чем вы... По бим-бом-брамселям! Щелкунчик... С-сверчок на печи. Мар-ри, Мар-ри! Сверчок кушать хоч-чет!

Честно говоря, у меня мороз пошел по коже, а Вандерхузе побледнел, и бакенбарды его обвисли. Малыш выкрикивал слова сочным баритоном: закрыть глаза — так и видишь перед собой огромного, полного крови и радости жизни человека, бесстрашного, сильного, доброго... Потом в интонации его что-то изменилось, и он тихонько пророкотал с неизъяснимой нежностью:

— Кошенька моя, ласонька... — И вдруг ласковым женским голосом: — Колокольчик!.. Опять мокренький...

Он замолчал, постукивая себя пальцем по носу.

— И ты все это помнишь? — слегка изменившимся голосом произнес Комов.

— Конечно, — сказал Малыш голосом Комова, — а ты разве не помнишь все?

— Нет, — сказал Комов.

— Это потому, что ты размышляешь не так, как я, — уверенно сказал Малыш. — Я помню все. Все, что было вокруг меня когда-нибудь, я уже не забуду. А когда забываю, надо только поразмыслить хорошенько, и все вспоминается. Если тебе интересно обо мне, я потом расскажу. А сейчас ответь мне: что вверху? Ты вчера сказал: звезды. Что такое звезды? Сверху падает вода. Иногда я не хочу, а она падает. Откуда она? И откуда корабли? Очень много вопросов, я очень много размышлял. Так много ответов, что ничего не понимаю. Нет, не так. Много разных ответов, и все они спутаны друг с другом, как листья... — Он сбил листья на полу в беспорядочную кучку. — Закрывают друг друга, мешают друг другу. Ты ответишь?

Комов принялся рассказывать, и Малыш опять заметался, трепеща от возбуждения. У меня зарябило в глазах, я зажмурился и стал думать, как же это аборигены не объяснили Малышу таких простых вещей; и как это они исхитрились так его одурачить, что он даже не подозревает об их существовании; и как это Малыш умудряется помнить так точно все, что слышал в младенчестве; и как это, в сущности, страшно — особенно то, что он ничего не понимает из запомненного.

Тут Комов вдруг замолчал, в нос мне ударил резкий запах нашатырного спирта, и я открыл глаза. Малыша в кают-компании не было, только слабый, совсем прозрачный фантом быстро таял над горстью рассыпанных листьев. В отдалении слабо чмокнула перепонка люка. Голос Майки обеспокоенно осведомился по интеркому:

— Куда это он так почесал? Что-нибудь случилось?

Я взглянул на Комова. Комов с шелестом потирал руки, задумчиво улыбаясь.

— Да, — проговорил он. — Любопытная картина получается... Майя! — позвал он. — Усы эти появлялись?

— Восемь штук, — сказала Майка. — Только сейчас пропали, а то торчали вдоль всего хребта... Причем, цветные — желтые, зеленые... Я сделала несколько снимков.

— Молодец, — похвалил Комов. — Теперь имейте в виду, Майя, при следующей встрече обязательно будете присутствовать вы... Яков, забирайте регистрограммы, пойдемте ко мне. А вы, Стась... — Он встал и направился в угол, где был установлен блок видеофонографов. — Вот вам кассета, Стась, передайте все в экстренных импульсах прямо в Центр. Дубль я возьму себе, надо проанализировать... Где я тут видел проектор? А, вот он. Я думаю, в нашем распоряжении еще часа три-четыре, потом он снова придет... Да, Стась! Поглядите заодно радиограммы. Если есть что-нибудь стоящее... Только из Центра, с базы или лично от Горбовского, или от Мбоги.

— Вы меня просили напомнить, — сказал я, поднимаясь. — Вам еще надо поговорить с Михаилом Альбертовичем.

— Ах, да! — Лицо Комова стало виноватым. — Знаете, Стась, это не совсем законно... Окажите любезность, выдайте запись сразу по двум каналам: не только в Центр, но и на базу, лично и конфиденциально Сидорову. Под мою ответственность.

— Я и под свою могу, — проворчал я уже за дверью.

Придя в рубку, я вставил кассету в автомат, включил передачу и просмотрел радиограммы. На этот раз их было немного — всего три; видимо, Центр принял меры. Одна радиограмма была из информатория и состояла из цифр, букв греческого алфавита и значков, которые я видел, только когда регулировал печатающее устройство. Вторая радиограмма была из Центра: Бадер продолжал настойчиво требовать предварительных соображений относительно других вероятных зон обитания аборигенов, возможных типов предстоящего контакта по классификации Бюлова и тому подобное. Третья радиограмма была с базы, от Сидорова: Сидоров официально запрашивал Комова о порядке доставки заказанного оборудования в зону контакта. Я пораскинул умом и решил, что первая радиограмма Комову может понадобиться; третью не передать неудобно перед Михаилом Альбертовичем; а что касается Бадера — пусть пока полежит. Какие там еще предварительные соображения.

Через полчаса транслирующий автомат просигналил, что передача закончена. Я вынул кассету, забрал две карточки с радиограммами и отправился к Комову. Когда я вошел, Комов и Вандерхузе сидели перед проектором. По экрану взад и вперед молнией проносился Малыш, виднелись наши с Комовым напряженные физиономии. Вандерхузе сидел, весь подавшись к экрану, поставив локти на стол и захватив бакенбарды в сжатые кулаки.

— ...резкое повышение температуры, — бубнил он. — Доходит до сорока трех градусов... И теперь обратите внимание на энцефалограмму, Геннадий... Вот она, волна Петерса, снова появляется...

На столе перед ними были расстелены рулоны регистрограмм нашего диагностера, множество рулонов валялось на полу и на койке.

— Ага... — задумчиво говорил Комов, ведя пальцем по регистрограмме. — Ага... Минуточку, а здесь у нас что было? — Он остановил проектор, повернулся, чтобы взять один из рулонов, и заметил меня. — Да? — сказал он с неудовольствием.

Я положил перед ним радиограммы.

— Что это? — спросил он нетерпеливо. — А... — Он пробежал радиограмму из информатория, усмехнулся и отбросил ее в сторону. — Все не то, — сказал он. — Впрочем, откуда им знать... — Потом он проглядел радиограмму Сидорова и поднял глаза на меня. — Вы отправили ему?..

— Да, — сказал я.

— Хорошо, спасибо. Составьте от моего имени радиограмму, что оборудование пока не нужно. Вплоть до нового запроса.

— Хорошо, — сказал я и вышел.

Я составил и отправил радиограмму на базу и решил посмотреть, как там Майка. Мрачная Майка старательно крутила верньеры. Насколько я понял, она тренировалась в наведении пушки на далеко разнесенные цели.

— Безнадежное дело, — объявила она, заметив меня. — Если все они одновременно в нас плюнут, нам каюк. Просто не успеть.

— Во-первых, можно увеличить телесный угол поражения, — сказал я, подходя. — Эффективность, конечно, уменьшится порядка на три, на четыре, но зато можно охватить четверть горизонта, расстояния здесь небольшие... А во-вторых, ты действительно веришь, что в нас могут плюнуть?

— А ты?

— Да непохоже что-то...

— А если непохоже, то чего ради я здесь сижу?

Я опустился на пол возле ее кресла.

— Честно говоря, не знаю, — сказал я. — Все равно надо вести наблюдение. Раз уж планета оказалась биологически активной, надо выполнять инструкцию. Сторожа-разведчика ведь не разрешают выпускать...

Мы помолчали.

— Тебе его жалко? — спросила вдруг Майка.

— Н-не знаю, — сказал я. — Почему жалко? Я бы сказал — жутко. А жалеть... Почему, собственно, я должен его жалеть? Он бодрый, живой... Совсем не жалкий.

— Я не об этом. Не знаю, как это сформулировать... Вот я слушала, и мне тошно делалось, как Комов себя с ним держит. Ведь ему абсолютно наплевать на мальчишку...

— Что значит — наплевать? Комову надо установить контакт. Он проводит определенную стратегию... Ты ведь понимаешь, что без Малыша в контакт нам не вступить...

— Понимаю. От этого меня, наверное, и тошнит. Малыш-то ничего не знает об аборигенах... Слепое орудие!

— Ну, не знаю, — сказал я. — По-моему, ты здесь впадаешь в сентиментальность. Он ведь все-таки не человек. Он абориген. Мы налаживаем с ним контакт. Для этого надо преодолеть какие-то препятствия, разгадать какие-то загадки... Трезво надо к этому относиться, по-деловому. Чувства здесь ни при чем. Он ведь к нам тоже, прямо скажем, любви не испытывает. И испытывать не может. В конце концов, что такое контакт? Столкновение двух стратегий.

— Ох, — сказала Майка. — Скучно ты говоришь. Суконно. Тебе только программы составлять. Кибертехник.

Я не обиделся. Я видел, что Майке нечего возразить по существу, и я чувствовал, что ее действительно что-то мучает.

— Опять у тебя предчувствия, — сказал я. — Но ведь на самом-то деле ты и сама прекрасно понимаешь, что Малыш — это единственная ниточка, которая связывает нас с этими невидимками. Если мы Малышу не понравимся, если мы его не завоюем...

— Вот-вот, — прервала меня Майка. — В том-то и дело. Что бы Комов ни говорил, как бы он ни поступал, сразу чувствуется: его интересует только одно — контакт. Все для великой идеи вертикального прогресса!

— А как надо? — спросил я.

Она дернула плечом.

— Не знаю. Может быть, как Яков... Во всяком случае, он — единственный из вас — говорил с Малышом по-человечески.

— Ну, знаешь, — сказал я, несколько обидевшись, — контакт на бакенбардном уровне — тоже, в общем...

Мы помолчали, дуясь друг на друга. Майка с преувеличенным старанием крутила верньеры, нацеливая черное перекрестие на заснеженные зубцы хребта.

— В самом деле, Майка, — сказал я наконец, — ты что, не хочешь, чтобы контакт состоялся?

— Да хочу, наверное, — сказала Майка без всякого энтузиазма. — Ты же видел, я очень обрадовалась, когда мы впервые поняли, что к чему... Но вот прослушала я эту вашу беседу... Не знаю. Может быть, это потому, что я никогда не участвовала в контактах... Я все не так себе представляла.

— Нет, — сказал я, — здесь дело не в этом. Я догадываюсь, что с тобой происходит. Ты думаешь, что он — человек...

— Ты уже говорил это, — сказала Майка.

— Нет, ты дослушай. Тебе все время бросается в глаза человеческое. А ты подойди к этому с другой стороны. Не будем говорить про фантомы, про мимикрию — что у него вообще наше? В какой-то степени общий облик, прямохождение. Ну, голосовые связки... Что еще? У него даже мускулатура не наша, а уж это, казалось бы, прямо из генов... Тебя просто сбивает с толку, что он умеет говорить. Действительно, он великолепно говорит... Но и это ведь, в конце концов, не наше! Никакой человек не способен научиться бегло говорить за четыре часа. И тут дело даже не в запасе слов — надо освоить интонации, фразеологию... Оборотень это, если хочешь знать! А не человек. Мастерская подделка. Подумай только: помнить, что было с тобой в грудном возрасте, а может быть — как знать! — и в утробе матери... Разве это человеческое?.. Вот ты видела когда-нибудь роботов-андроидов? Не видела, конечно, а я видел.

— Ну и что? — мрачно спросила Майка.

— А то, что теоретически идеальный робот-андроид может быть построен только из человека. Это будет сверхмыслитель, это будет сверхсилач, сверхэмоционал, все что угодно «сверх», в том числе и сверхчеловек, но только не человек...

— Ты, кажется, хочешь сказать, что аборигены превратили его в робота? — проговорила Майка, криво улыбаясь.

— Да нет же, — сказал я с досадой. — Я только хочу убедить тебя, что все человеческое в нем случайно, это просто свойство исходного материала... и что не нужно разводить вокруг него сантименты. Считай, что ты ведешь переговоры с этими цветными усами...

Майка вдруг схватила меня за плечо и сказала вполголоса:

— Смотри, возвращается!

Я привстал и посмотрел на экран. От болота, прямо к кораблю, быстро семеня ногами, во весь дух чесала скособоченная фигурка. Короткая черно-лиловая тень моталась по земле перед нею, грязный хохол на макушке отсвечивал рыжим. Малыш возвращался, Малыш спешил. Длинными своими руками он обнимал и прижимал к животу что-то вроде большой плетеной корзины, доверху набитой камнями. Тяжеленная, должно быть, была корзина.

Майка включила интерком.

— Пост УАС — Комову, — громко сказала она. — Малыш приближается.

— Понял вас, — сейчас же откликнулся Комов. — Яков, по местам... Попов, смените Глумову на посту УАС. Майя, в кают-компанию.

Майка нехотя поднялась.

— Иди, иди, — сказал я. — Посмотри на него вблизи, сосуд скорби.

Она сердито фыркнула и взбежала по трапу. Я занял ее место. Малыш был уже совсем близко. Теперь он замедлил свой бег и смотрел на корабль, и снова у меня появилось ощущение, будто он глядит мне прямо в глаза.

И тут я увидел: над хребтом в серо-лиловом небе возникли из ничего, словно проявились, чудовищные усы чудовищных тараканов. Как и давеча, они медленно гнулись, вздрагивали, сокращались. Я насчитал их шесть.

— Пост УАС! — окликнул меня Комов. — Сколько усов на горизонте?

— Шесть, — ответил я. — Три белых, два красных, один зеленый.

— Вот видите, Яков, — сказал Комов, — строгая закономерность. Малыш к нам — усы наружу.

Приглушенный голос Вандерхузе отозвался:

— Отдаю должное вашей проницательности, Геннадий, и тем не менее дежурство полагаю пока обязательным.

— Ваше право, — коротко сказал Комов. — Майя, садитесь вот сюда...

Я доложил:

— Малыш скрылся в мертвом пространстве. Тащит с собой здоровенную плетенку с камнями.

— Понятно, — сказал Комов. — Приготовились, коллеги!

Я весь обратился в слух и сильно вздрогнул, когда из интеркома грянул рассыпчатый грохот. Я не сразу сообразил, что это Малыш разом высыпал на пол свои булыжники. Я слышал его мощное дыхание, и вдруг совершенно младенческий голос произнес:

— Мам-ма!.. — И снова: — Мам-ма...

А затем раздался уже знакомый мне захлебывающийся плач

годовалого младенца. По старой памяти у меня что-то съежилось внутри, и в то же мгновение я понял, что это: Малыш увидел Майку. Это продолжалось не больше полуминуты; плач оборвался, снова загремели камни, и голос Комова деловито произнес:

— Вот вопрос. Почему мне все интересно? Все вокруг. Почему у меня все время появляются вопросы? Ведь мне от них нехорошо. Они у меня чешутся. Много вопросов. Десять вопросов в день, двадцать вопросов в день. Я стараюсь спастись: бегаю, целый день бегаю или плаваю, — не помогает. Тогда начинаю размышлять. Иногда приходит ответ. Это — удовольствие. Иногда приходят много ответов, не могу выбрать. Это — неудовольствие. Иногда ответы не приходят. Это — беда. Очень чешется. Ш-шарада. Сначала я думал, вопросы идут изнутри. Но я поразмыслил и понял: все, что идет изнутри, должно делать мне удовольствие. Значит, вопросы идут снаружи? Правильно? Я размышляю, как ты. Но тогда, где они лежат, где они висят, где их точка?

Пауза. Потом снова раздался голос Комова — настоящего Комова. Очень похоже, только настоящий Комов говорил не так отрывисто, и голос его звучал не так резко. В общем, отличить было можно, если знаешь, в чем дело.

— Я мог бы уже сейчас ответить на этот твой вопрос, — медленно проговорил Комов. — Но я боюсь ошибиться. Боюсь ответить неправильно или неточно. Когда я узнаю о тебе все, я смогу ответить без ошибки.

Пауза. Загремели и заскрипели по полу передвигаемые камни.

— Ф-фрагмент, — сказал Малыш. — Вот еще вопрос. Откуда берутся ответы? Ты меня заставил думать. Я всегда считал: есть ответ — это удовольствие, нет ответа — беда. Ты мне рассказал, как размышляешь ты. Я вспоминал и вспомнил, что я тоже часто так размышляю, и часто приходит ответ. Видно, как он приходит. Так я делаю объем для камней. Вот такой. («Корзину», — подсказал Комов.) Да, корзину. Один прут цепляется за второй, второй — за третий, третий — дальше, и получается... корзина. Видно — как. Но гораздо чаще я размышляю, — снова загремели камни, — и ответ получается готовый. Есть куча прутьев, и вдруг — готовая корзина. Почему?

— И на этот вопрос, — сказал Комов, — я смогу ответить, только когда узнаю о тебе все.

— Тогда узнавай! — потребовал Малыш. — Узнавай скорее! Почему не узнаёшь? Я расскажу сам. Был корабль, только больше твоего, теперь он съежился, а был очень большой. Это ты знаешь сам. Потом было так.

Из интеркома донесся раздирающий хруст и треск, и сейчас же

отчаянно, на нестерпимо высокой ноте завизжал ребенок. И сквозь этот визг, сквозь затихающий треск, удары, звон бьющегося стекла прохрипел мужской задыхающийся голос:

— Мари... Мари... Ма... ри...

Ребенок кричал, надрываясь, и некоторое время ничего больше не было слышно. Потом раздался какой-то шорох, сдавленный стон. Кто-то полз по полу, усеянному обломками и осколками, что-то покатилось с дребезгом. До жути знакомый женский голос простонал:

— Шура... Где ты, Шура?.. Больно... Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура... Да отзовись же, Шура! Больно как! Помоги мне, я ничего не вижу...

И все это сквозь непрекращающийся крик младенца. Потом женщина затихла, через некоторое время затих и младенец. Я перевел дух и обнаружил, что кулаки у меня сжаты, а ногти глубоко вонзились в ладони. Челюсти у меня онемели.

— Так было долго, — сказал Малыш торжественно. — Я устал кричать. Я заснул. Когда я проснулся, было темно, как раньше. Мне было холодно. Я хотел есть. Я так сильно хотел есть и чтобы было тепло, что сделалось так.

Целый каскад звуков хлынул из интеркома — совершенно незнакомых звуков. Ровное нарастающее гудение, частое щелканье, какие-то гулы, похожие на эхо; басистое, на пороге слышимости бормотание; писк, скрип, зудение, медные удары, потрескивание... Это продолжалось долго, несколько минут. Потом все разом стихло, и Малыш, чуть задыхаясь, сказал:

— Нет. Так мне не рассказать. Так я буду рассказывать столько времени, сколько я живу. Что делать?

— И тебя накормили? Согрели тебя? — спросил Комов ровным голосом.

— Стало так, как мне хотелось. И с тех пор всегда было так, как мне хотелось. Пока не прилетел первый корабль.

— А что это было? — спросил Комов и, на мой взгляд, очень удачно проимитировал звуковую кашу, которую мы только что слышали.

Пауза.

— А, понимаю, — сказал Малыш. — Ты совсем не умеешь, но я тебя понял. Но я не могу ответить. Ведь у тебя самого нет слова, чтобы назвать. А ты знаешь больше слов, чем я. Дай мне слова. Ты мне дал много ценных слов, но все не те.

Пауза.

— Какого это было цвета? — спросил Комов.

— Никакого. Цвет — это когда смотришь глазами. Там нельзя смотреть глазами.

— Где — там?

— У меня. Глубоко. В земле.

— А как там на ощупь?

— Прекрасно, — сказал Малыш. — Удовольствие. Ч-чеширский кот! У меня лучше всего. Так было, пока не пришли люди.

— Ты там спишь? — спросил Комов.

— Я там всё. Сплю, ем, размышляю. Только играю я здесь, потому что люблю глядеть глазами. И там тесно играть. Как в воде, только еще теснее.

— Но ведь в воде нельзя дышать, — сказал Комов.

— Почему нельзя? Можно. И играть можно. Только тесно.

Пауза.

— Теперь ты все обо мне узнал? — осведомился Малыш.

— Нет, — решительно сказал Комов. — Ничего я о тебе не узнал. Ты же видишь, у нас нет общих слов. Может быть, у тебя есть свои слова?

— Слова... — медленно повторил Малыш. — Это когда двигается рот, а потом слышно ушами. Нет. Это только у людей. Я знал, что есть слова, потому что я помню. По бим-бом-брамселям. Что это такое? Я не знаю. Но теперь я знаю, зачем многие слова. Раньше не знал. Было удовольствие говорить. Игра.

— Теперь ты знаешь, что значит слово «океан», — произнес Комов, — но океан ты видел и раньше. Как ты его называл?

Пауза.

— Я слушаю, — сказал Комов.

— Что ты слушаешь? Зачем? Я назвал. Так нельзя услышать. Это внутри.

— Может быть, ты можешь показать? — сказал Комов. — У тебя есть камни, прутья...

— Камни и прутья не для того, чтобы показывать, — объявил Малыш, как мне показалось, сердито. — Камни и прутья — для того, чтобы размышлять. Если тяжелый вопрос — камни и прутья. Если не знаешь, какой вопрос, — листья. Тут много всяких вещей. Вода, лед — он хорошо тает, поэтому... — Малыш помолчал. — Нет слов, — сообщил он. — Много всяких вещей. Волосы... и много такого, для чего нет слова. Но это там, у меня.

Послышался протяжный тяжкий вздох. По-моему, Вандерхузе. Майка вдруг спросила:

— А когда ты двигаешь лицом? Что это?

— Мам-ма... — сказал Малыш нежным мяукающим голоском. — Лицо, руки, тело, — продолжал он голосом Майки, — это тоже вещи для размышления. Этих вещей много. Долго все называть.

Пауза.

— Что делать? — спросил Малыш. — Ты придумал?

— Придумал, — ответил Комов. — Ты возьмешь меня к себе. Я посмотрю и сразу многое узнаю. Может быть, даже все.

— Об этом я размышлял, — сказал Малыш. — Я знаю, что ты хочешь ко мне. Я тоже хочу, но я не могу. Это вопрос! Когда я хочу, я все могу. Только не про людей. Я не хочу, чтобы они были, а они есть. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, но не могу. Люди — это беда.

— Понимаю, — сказал Комов. — Тогда я возьму тебя к себе. Хочешь?

— Куда?

— К себе. Туда, откуда я пришел. На Землю, где живут все люди. Там я тоже смогу узнать о тебе все, и довольно быстро.

— Но ведь это далеко, — проговорил Малыш. — Или я тебя не понял?

— Да, это очень далеко, — сказал Комов. — Но мой корабль...

— Нет! — сказал Малыш. — Ты не понимаешь. Я не могу далеко. Я не могу даже просто далеко и уж совсем не могу очень далеко. Один раз я играл на льдинах. Заснул. Проснулся от страха. Большой страх, огромный. Я даже закричал. Фрагмент! Льдина уплыла, и я видел только верхушки гор. Я подумал, что океан проглотил землю. Конечно, я вернулся. Я очень захотел, и льдина сразу пошла обратно к берегу. Но теперь я знаю, мне нельзя далеко. Я не только боялся. Мне было худо. Как от голода, только гораздо хуже. Нет, к тебе я не могу.

— Ну хорошо, — произнес Комов натужно-веселым голосом. — Наверное, тебе надоело отвечать и рассказывать. Я знаю, что ты любишь задавать вопросы. Задавай, я буду отвечать.

— Нет, — сказал Малыш, — у меня много вопросов к тебе. Почему падает камень? Что такое горячая вода? Почему пальцев десять, а чтобы считать, нужен всего один? Много вопросов. Но я не буду сейчас спрашивать. Сейчас плохо. Ты не можешь ко мне, я не могу к тебе, слов нет. Значит, узнать все про меня ты не можешь. Ш-шарада! Значит, не можешь уйти. Я прошу тебя: думай, что делать. Если сам не можешь быстро думать, пусть думают твои машины в миллион раз быстрее. Я ухожу. Нельзя размышлять, когда разговариваешь. Размышляй быстрее, потому что мне хуже, чем вчера. А вчера было хуже, чем позавчера.

Загремел и покатился камень. Вандерхузе опять протяжно и тяжко

вздохнул. Я глазом не успел моргнуть, а Малыш уже вихрем мчался к сопкам через строительную площадку. Я видел, как он проскочил взлетную полосу и вдруг исчез, словно его и не было. И в ту же секунду, как по команде, исчезли разноцветные усы над хребтом.

— Так, — сказал Комов. — Ничего не поделаешь. Яков, прошу вас, дайте радиограмму Сидорову, пусть доставит сюда оборудование, я вижу, без ментоскопа мне не обойтись.

— Хорошо, — сказал Вандерхузе. — Но я хотел бы обратить ваше внимание, Геннадий... За весь разговор на индикаторе ни разу не зажегся зеленый огонь.

— Я видел, — сказал Комов.

— Но ведь это не просто отрицательные эмоции, Геннадий. Это ярко выраженные отрицательные эмоции...

Ответа Комова я не расслышал.

Я просидел на посту весь вечер и половину ночи. Ни вечером, ни ночью Малыш больше не появлялся. Усы тоже не появлялись. И Майка тоже.

Глава седьмая ВОПРОСЫ И СОМНЕНИЯ

За завтраком Комов был очень разговорчив. Ночью он, по-моему, совсем не спал, глаза у него были красные, щеки запали, но был он весел и возбужден. Он наливался крепким чаем и излагал нам свои предварительные соображения и выводы.

По его словам, теперь уже не было никакого сомнения в том, что аборигены подвергли организм мальчика самым коренным изменениям. Они оказались удивительно смелыми и знающими экспериментаторами: они изменили его физиологию и, частично, анатомию, невероятно расширили активную область его мозга, а также снабдили его новыми физиологическими механизмами, развить которые на базе обычного человеческого организма с точки зрения современной земной науки представляется пока невозможным. Цель этих анатомо-физиологических изменений лежит, может быть, на поверхности: аборигены попросту стремились приспособить беспомощного человеческого детеныша к совершенно нечеловеческим условиям существования в этом мире. Не совсем ясным представляется вопрос, зачем они так серьезно вмешались в работу центральной нервной. Можно допустить, конечно, что это получилось у них случайно, как побочное следствие анатомо-физиологических изменений. Но можно допустить также, что они использовали резервы человеческого мозга целенаправленно. Тогда возникает веер предположений. Например, они стремились сохранить у Малыша все его младенческие воспоминания и впечатления, с тем чтобы облегчить ему обратную адаптацию, если он вновь попадет в человеческое общество. Действительно, Малыш поразительно легко сошелся с нами, так что мы не кажемся ему ни уродами, ни чудовищами. Но не исключено также, что громадная память Малыша и феноменальное развитие его звуковоспроизводящих центров есть опять же лишь побочный результат работы аборигенов над его мозгом. Возможно, аборигены прежде всего стремились создать между собой и центральной нервной Малыша устойчивую психическую связь. То, что такая связь существует, представляется в высшей степени вероятным. Во всяком случае, трудно иначе объяснить такие факты, как спонтанное — внелогическое — появление у Малыша ответов на вопросы; непременное исполнение всех осознанных и даже неосознанных желаний Малыша; прикованность Малыша к этому району планеты. Сюда же, вероятно, относится и сильное

психическое напряжение, в котором пребывает Малыш в связи с появлением людей. Сам Малыш не в состоянии объяснить, чем, собственно, ему мешают люди. Очевидно, что мы мешаем не ему. Мы мешаем аборигенам. И тут мы вплотную подходим к вопросу о природе аборигенов.

Простая логика заставляет нас предположить, что аборигены являются существами либо микроскопическими, либо гигантскими — так или иначе, несоизмеримыми с физическими размерами Малыша. Именно поэтому Малыш воспринимает их самих и их проявления как стихию, как часть природы, окружающей его с младенчества. («Когда я спросил его про усы, Малыш довольно равнодушно сообщил: усы он видит впервые, но он каждый день видит что-нибудь впервые. Слова же для обозначения подобных явлений мы подобрать не смогли».) Лично он, Комов, склонен предполагать, что аборигены представляют собой некие исполинские сверхорганизмы, чрезвычайно далекие как от гуманоидов, так и от негуманоидных структур, с которыми человек встречался прежде. Мы знаем о них пока ничтожно мало. Мы видели: чудовищные сооружения (или образования?) над горизонтом, появление и исчезновение которых явно связаны с посещениями Малыша. Мы слышали: ни с чем не ассоциируемые звуки, которые воспроизводил Малыш, описывая свой «дом». Мы поняли: аборигены находятся на чрезвычайно высоком уровне теоретического и практического знания, если судить по тому, во что они сумели превратить обыкновенного человеческого младенца. Вот и все. У нас пока даже вопросов не много, хотя вопросы эти, конечно, фундаментальны. Почему аборигены спасли и содержат Малыша, почему они вообще заинтересовались им, какое им до него дело? Откуда они знают людей — знают неплохо, разбираются в основах их психологии и социологии? Почему при всем том они так отталкиваются от общения с людьми? Как совместить очевидно высокий уровень знаний с полным отсутствием следов какой бы то ни было разумной деятельности? Или нынешнее плачевное состояние планеты как раз и есть следствие этой деятельности? Или состояние это является плачевным только с нашей точки зрения? Вот, собственно, и все основные вопросы. У него, Комова, есть кое-какие соображения на этот счет, но он полагает, что высказывать их пока преждевременно.

Во всяком случае, ясно, что сделанное открытие есть открытие первостепенной важности, реализовать его необходимо, но реализация возможна только через посредничество Малыша. Скоро должна прибыть ментоскопическая и прочая спецтехника. Использовать ее на все сто

процентов мы сможем только в том случае, если Малыш нам будет полностью доверять и, более того, будет испытывать достаточно сильную в нас нужду.

— Я решил, что сегодня в контакт с ним не вступаю, — произнес Комов, отодвинув пустой стакан. — Сегодня ваша очередь. Стась, вы покажете ему своего Тома. Майя, вы будете играть с ним в мяч и катать его на глайдере. Не стесняйтесь с ним, ребята, веселее, проще! Представьте себе, что он — ваш младший братишка-вундеркинд... Яков, вам придется побыть на дежурстве. В конце концов, вы сами его учредили... Ну, а если Малыш доберется и до вас, как-нибудь соберитесь с силами и позвольте ему подергать вас за бакенбарды — очень он ими интересуется. А я притаюсь, как паук, буду за всем этим наблюдать и регистрировать. Поэтому, молодежь, извольте экипироваться «третьим глазом». Если Малыш будет спрашивать обо мне, скажите, что я размышляю. Пойте ему песни, покажите ему кино... Покажите ему вычислитель, Стась, расскажите, как он действует, попробуйте считать с ним наперегонки. Думаю, здесь ожидает вас некоторый сюрприз... И пусть он больше спрашивает, как можно больше. Чем больше, тем лучше... По местам, ребята, по местам!

Он вскочил и умчался. Мы посмотрели друг на друга.

— Вопросы есть, кибертехник? — спросила Майка. Холодно спросила, совсем не по-дружески. Это были ее первые слова за все утро. Она даже не поздоровалась со мной сегодня.

— Нет, квартирьер, — сказал я. — Вопросов нет, квартирьер. Вас вижу, но не слышу.

— Все это, конечно, хорошо, — задумчиво проговорил Вандерхузе. — Мне бакенов не жалко. Но!

— Вот именно, — сказала Майка, поднимаясь. — Но.

— Я хочу сказать, — продолжал Вандерхузе, — что вчера вечером была радиограмма от Горбовского. Он самым деликатным образом, но совершенно недвусмысленно просил Комова не форсировать контакт. И он снова намекал, что был бы рад к нам присоединиться.

— А что Комов? — спросил я.

Вандерхузе задрал голову и, лаская левый бакенбард, поглядел на меня поверх носа.

— Комов высказался об этом непочтительно, — сказал он. — Устно, конечно. Ответил же он в том смысле, что благодарит за совет.

— И? — сказал я. Мне очень хотелось поглядеть на Горбовского. Я его толком даже в хронике никогда не видел.

— И все, — сказал Вандерхузе, тоже поднимаясь.

Мы с Майкой отправились в арсенал. Там мы отыскали и нацепили на лбы широкие пластинчатые обручи с «третьим глазом» — знаете, эти портативные телепередатчики для разведчиков-одиночек, чтобы можно было непрерывно передавать визуальную и акустическую информацию, все, что видит и слышит сам разведчик. Простая, но остроумная штука, ее совсем недавно стали включать в комплект оборудования ЭР. Пришлось немножко повозиться, пока мы подгоняли обручи, чтобы они не давили на виски и не сваливались на переносицу и чтобы объектив не экранировался капюшоном. При этом я отпускал отчаянные остроты, всячески провоцировал Майку на шуточки в мой адрес и вообще пускался во все тяжкие, чтобы хоть немножко расшевелить ее. Все втуне — Майка оставалась хмурой, отмалчивалась или отвечала односложно. Вообще с Майкой это бывает, случаются у нее приступы хандры, и в таких случаях лучше всего оставить ее в покое. Но сейчас мне казалось, что Майка не просто хандрит, а злится, и злится именно на меня; почему-то я чувствовал себя виноватым перед нею и совершенно не понимал, как быть.

Потом Майка отправилась к себе в каюту искать мяч, а я выпустил на волю Тома и погнал его на посадочную полосу. Солнце уже поднялось, ночной мороз спал, но было все-таки еще очень холодно. Нос у меня сразу закоченел. Вдобавок легким, но очень злым ветерком тянуло с океана. Малыша нигде видно не было.

Я немного погонял Тома по полосе, чтобы дать ему размяться. Том был польщен таким вниманием и преданно испрашивал приказаний. Потом подошла Майка с мячом, и мы, чтобы не замерзнуть, минут пять постукали — честно говоря, не без удовольствия. Я все надеялся, что Майка, по обыкновению, войдет в азарт, но и здесь — втуне. В конце концов мне это надоело, и я прямо спросил, что случилось. Она поставила мяч на рубчатку, села на него, подобрала доху и пригорюнилась.

— В чем все-таки дело? — повторил я.

Майка посмотрела на меня и отвернулась.

— Может быть, ты все-таки ответишь? — спросил я, повысив голос.

— Ветерок нынче, — произнесла Майка, рассеянно оглядывая небо.

— Что? — спросил я. — Какой ветерок?

Она постучала себя пальцем по лбу рядом с объективом «третьего глаза» и сказала:

— Ба-кал-да-ка. На-кас слы-кы-ша-кат.

— Са-ка-ма-ка ба-кал-да-ка, — ответствовал я. — Та-кам же-ке тра-кан-сля-ка-то-кор...

— И то верно, — сказала Майка. — Вот я и говорю тебе: ветерок, мол.

— Да, — подтвердил я. — Что ветерок, то ветерок.

Я постоял, чувствуя себя чертовски стесненно и пытаясь придумать какую-нибудь нейтральную тему для беседы, ничего, кроме того же ветерка, не придумал, и тут мне пришло в голову, что неплохо бы пройтись. Я ведь ни разу еще не бродил по окрестностям, — без малого неделю здесь нахожусь, а на земле этой так толком и не стоял, только на экранах видел. К тому же был шанс наткнуться где-нибудь в зарослях на Малыша, особенно если он сам этого захочет, и это было бы уже не только приятно, но и полезно для дела: завязать с ним беседу в привычной для него обстановке. Я изложил все эти соображения Майке. Она молча встала и пошла к болоту, а я, погрузив нос в меховой воротник и засунув руки поглубже в карманы, поплелся следом. Том, изнемогая от услужливости, увязался было за мною, но я велел ему оставаться на месте и ждать дальнейших указаний.

В болото мы, конечно, не полезли, а двинулись в обход, продираясь через заросли кустарника. Жалкая была здесь растительность — бледная, худосочная, вялые синеватые листочки с металлическим отливом, хрупкие узловатые веточки, пятнистая оранжевая кора. Кусты редко достигали моего роста, так что вряд ли Вандерхузе рисковал бы здесь своими бакенбардами. Под ногами упруго подавался толстый слой палых листьев, перемешанных с песком. В тени искрился иней. Но при всем при том растительность эта вызывала определенное к себе уважение. Наверное, очень нелегко было ей здесь произрастать: ночью температура падала до минус двадцати, днем редко поднималась выше нуля, а под корнями — сплошной соленый песок. Не думаю, чтобы какое-нибудь земное растение сумело бы приспособиться к таким безрадостным условиям. И странно было представить себе, что где-то среди этих прозябших кустов бродит, ступая босыми пятками по заиндевелому песку, голый человечек.

Мне почудилось какое-то движение в густых зарослях справа. Я остановился, позвал: «Малыш!» — но никто не откликнулся. Мерзлая ледяная тишина окружала нас. Ни шелеста листвы, ни жужжания насекомых — все это вызывало неожиданное ощущение, словно мы плутали среди театральных декораций. Мы обогнули длинный язык тумана, высунувшийся из горячего болота, и стали подниматься по склону холма. Собственно, это была песчаная дюна, схваченная кустами. Чем выше мы поднимались, тем тверже становилась под ногами песчаная поверхность. Взобравшись на гребень, мы огляделись. Корабль скрывали от нас облака тумана, но посадочная полоса была видна хорошо. Весело и ярко блестела под солнцем рубчатка, сиротливо чернел посередине оставленный мяч, и

грузный Том неуверенно топтался вокруг него — явно решал непосильную задачу: то ли убрать с полосы этот посторонний предмет, то ли при случае жизнь положить за эту забытую человеком вещь.

И тут я заметил следы на промерзшем песке — темные влажные пятна среди серебристого инея. Здесь проходил Малыш, проходил совсем недавно. Сидел на гребне, а потом поднялся и пошел вниз по склону, удаляясь от корабля. Цепочка следов тянулась в заросли, забившие дно лощины между дюнами. «Малыш!» — снова позвал я, и снова он не отозвался. Тогда я стал спускаться в лощину.

Я нашел его сразу. Мальчик лежал ничком, вытянувшись во всю длину, прижавшись щекой к земле и обхватив голову руками. Он казался очень странным и невозможным здесь, никак не вписывался он в этот ледяной пейзаж. Противоречил ему. В первую секунду я даже испугался, не случилось ли что-нибудь. Слишком уж здесь было холодно и неприютно. Я присел рядом с ним на корточки, окликнул, а потом, когда он промолчал, легонько шлепнул его по голому поджарому заду. Это я впервые прикоснулся к нему и чуть не заорал от неожиданности: он показался мне горячим, как утюг.

— Он придумал? — спросил Малыш, не поднимая головы.

— Он размышляет, — сказал я. — Трудный вопрос.

— А как я узнаю, что он придумал?

— Ты придешь, и он сразу тебе скажет.

— Мам-ма, — вдруг сказал Малыш.

Я взглянул. Майка стояла рядом.

— Мам-ма, — повторил Малыш, не двигаясь.

— Да, колокольчик, — сказала Майка тихо.

Малыш сел — перелился из лежачего положения в сидячее.

— Скажи еще раз! — потребовал он.

— Да, колокольчик, — сказала Майка. Лицо у нее побелело, резко проступили веснушки.

— Феноменально! — произнес Малыш, глядя на нее снизу вверх. — Щелкунчик!

Я прокашлялся.

— Мы тебя ждали, Малыш, — сказал я.

Он стал смотреть на меня. С большим трудом я удержался, чтобы не отвести глаза. Страшненькое все-таки было у него лицо.

— Зачем ты меня ждал?

— Ну, как зачем... — Я несколько растерялся, но меня тут же осенило. — Мы скучаем без тебя. Нам без тебя плохо. Нет удовольствия,

понимаешь?

Малыш вскочил и сейчас же снова сел. Очень неудобно сел — я бы двух секунд так не просидел.

— Тебе плохо без меня?

— Да, — сказал я решительно.

— Феноменально, — проговорил он. — Тебе плохо без меня, мне плохо без тебя. Ш-шарада!

— Ну почему же — шарада? — огорчился я. — Если бы мы не могли быть вместе, вот тогда бы была шарада. А сейчас мы встретились, можно играть... Вот ты любишь играть, но ты всегда играл один...

— Нет, — возразил Малыш, — только сначала я играл один. А потом я играл на озере и увидел свое изображение в воде. Хотел с ним играть, оно распалось. Тогда я очень захотел, чтобы у меня были изображения, много изображений, чтобы с ними играть. И стало так.

Он вскочил и легко побежал по кругу, оставляя свои диковинные фантомы — черные, белые, желтые, красные, а потом сел посередине и горделиво огляделся. И должен вам сказать, это было зрелище: голый мальчишка на песке, и вокруг него дюжина разноцветных статуй в разных позах.

— Феноменально, — сказал я и посмотрел на Майку, приглашая ее принять хоть какое-нибудь участие в беседе. Мне было неловко, что я все время говорю, а она молчит. Но она ничего не сказала, просто хмуро глядела, а фантомы зыбко колебались и медленно таяли, распространяя запах нашатырного спирта.

— Я всегда хотел спросить, — объявил Малыш, — зачем вы заворачиваетесь? Что это такое? — Он подскочил ко мне и дернул за полу дохи.

— Одежда, — сказал я.

— Одежда, — повторил он. — Зачем?

Я рассказал ему про одежду. Я не Комов. Сроду не читал лекций, особенно об одежде. Но без ложной скромности скажу: лекция имела успех.

— Все люди в одежде? — спросил пораженный Малыш.

— Все, — сказал я, чтобы покончить с этим вопросом. Я не совсем понимал, что его, собственно, поражает.

— Но людей много! Сколько?

— Пятнадцать миллиардов.

— Пятнадцать миллиардов, — повторил он и, выставив перед собой палец без ногтя, принялся сгибать и разгибать его. — Пятнадцать

миллиардов! — сказал он и оглянулся на призрачные остатки фантомов. Глаза его потемнели. — И все в одежде... А еще что?

— Не понимаю.

— Что они еще делают?

Я набрал в грудь побольше воздуху и принялся рассказывать, что делают люди. Странно, конечно, но до сих пор я как-то не задумывался над этим вопросом. Боюсь, что у Малыша создалось впечатление, будто человечество занимается большей частью кибертехникой. Впрочем, я решил, что для начала и это неплохо. Малыш, правда, не метался, как во время лекций Комова, и не скручивался в узел, но слушал все равно, словно завороженный. И когда я кончил, совершенно запутавшись и отчаявшись дать ему представление об искусстве, он немедленно задал новый вопрос.

— Так много дел, — сказал он. — Зачем пришли сюда?

— Майка, расскажи ему, — взмолился я сиплым голосом. — У меня нос замерз...

Майка отчужденно посмотрела на меня, но все-таки принялась вяло и, на мой взгляд, совсем неинтересно рассказывать про блаженной памяти проект «Ковчег». Я не удержался, стал ее перебивать, пытаясь расцветить лекцию живописными подробностями, затеял вносить поправки, и в конце концов вдруг оказалось, что опять говорю я один. Рассказ свой я счел необходимым закончить моралью.

— Ты сам видишь, — сказал я. — Мы начали было большое дело, но как только поняли, что твоя планета занята, мы сразу же отказались от нашей затеи.

— Значит, люди умеют узнавать, что будет? — спросил Малыш. — Но это неточно. Если бы люди умели, они бы давно отсюда ушли.

Я не придумал, что ответить. Тема показалась мне скользкой.

— Знаешь, Малыш, — сказал я бодро, — давай пойдем поиграем. Посмотришь, как интересно играть с людьми.

Малыш молчал. Я свирепо поглядел на Майку: что она, в самом деле, не могу же я один тащить на себе весь контакт!

— Пойдем поиграем, Малыш, — без всякого энтузиазма поддержала меня Майка. — Или хочешь, я покатаю тебя на летательной машине?

— Ты будешь летать в воздухе, — подхватил я, — и все будет внизу — горы, болота, айсберг...

— Нет, — сказал Малыш, — летать — это обычное удовольствие. Это я могу сам.

Я подскочил.

— Как — сам?

По лицу его прошла мгновенная рябь, поднялись и опустились плечи.

— Нет слов, — сказал он. — Когда захочу — летаю...

— Так полети! — вырвалось у меня.

— Сейчас не хочу, — сказал он нетерпеливо. — Сейчас мне удовольствие с вами. — Он вскочил. — Хочу играть! — объявил он. — Где?

— Побежали к кораблю, — предложил я.

Он испустил душераздирающий вопль, и не успело эхо замереть в дюнах, как мы уже наперегонки неслись через кустарник. На Майку я окончательно махнул рукой: пусть делает что хочет.

Малыш скользил меж кустов, как солнечный зайчик. По-моему, он не задел ни одной ветки и вообще ни разу не коснулся земли. Я в своей дохе с электроподогревом ломил напролом, как песчаный танк, только трещало вокруг. Я все время пытался его догнать, и меня все время сбивали с толку его фантомы, которые он поминутно оставлял за собой. На опушке зарослей Малыш остановился, дождался меня и сказал:

— У тебя так бывает? Ты просыпаешься и вспоминаешь, будто сейчас только видел что-то. Иногда это хорошо известное. Например, как я летаю. Иногда — совсем новое, такое, чего не видел раньше.

— Да, бывает, — сказал я, переводя дух. — Это называется сон. Ты спишь и видишь сны.

Мы пошли шагом. Где-то позади трещала кустарником Майка.

— Откуда это берется? — спросил Малыш. — Что это такое — сны?

— Небывалые комбинации бывалых впечатлений, — отбарабанил я.

Он не понял, конечно, и мне пришлось прочесть еще одну небольшую лекцию — о том, что такое сны, как они возникают, зачем они нужны и как было бы плохо человеку, если бы их не было.

— Чеширский кот! Но я так и не понял, почему я вижу во сне то, чего раньше не видел никогда.

Майка нагнала нас и молча пошла рядом.

— Например? — спросил я.

— Иногда мне снится, что я огромный-огромный, что я размышляю, что вопросы приходят ко мне один за другим, очень яркие вопросы, удивительные, и я нахожу ответы, удивительные ответы, и я очень хорошо знаю, как из вопроса образуется ответ. Это самое большое удовольствие, когда знаешь, как из вопроса образуется ответ. Но когда я просыпаюсь, я не помню ни вопросов, ни ответов. Помню только удовольствие.

— М-да, — сказал я уклончиво. — Интересный сон. Но объяснить его я тебе не могу. Спроси у Комова. Может быть, он объяснит.

— У Комова... Что такое — Комов?

Мне пришлось изложить ему нашу систему имен. Мы уже огибали болото, и перед нами открылся корабль и посадочная полоса. Когда я закончил, Малыш вдруг сказал ни с того ни с сего:

— Странно. Никогда со мной так не было.

— Как?

— Чтобы я хотел для себя и не мог.

— А что ты хочешь?

— Я хочу разделиться пополам. Сейчас я один, а чтобы стало два.

— Ну, брат, — сказал я, — тут и хотеть нечего. Это же невозможно.

— А если бы возможно? Плохо или хорошо?

— Плохо, конечно, — сказал я. — Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать... Можно разорваться пополам. Это совсем плохо. Можно заболеть: называется — раздвоение личности. Это тоже плохо, но это можно поправить.

— Больно? — спросил Малыш.

Мы ступили на рубчатку. Том уже катил навстречу, гоня перед собой мяч и радостно мигая сигнальными огоньками.

— Брось об этом, — сказал я. — Ты и в целом виде хорош.

— Нет, не хорош, — возразил Малыш, но тут набежал Том и началась потеха.

Из Малыша градом посыпались вопросы. Я не успевал отвечать. Том не успевал выполнять команды. Мяч не успевал касаться земли. И только Малыш все успевал.

Со стороны это выглядело, наверное, очень весело. Да нам и на самом деле было весело, даже Майка в конце концов разошлась. Наверное, мы были похожи на расшалившихся подростков, которые удрали с уроков на берег океана. Сначала еще была какая-то неловкость, сознание того, что мы не развлекаемся, а работаем, что за каждым нашим движением следят, что между нами и Малышом осталось что-то тяжкое, недоговоренное, а потом все это как-то забылось. Остался только мяч, летящий тебе прямо в лицо, и восторг удачного удара, и злость на неуклюжего Тома, и звон в ушах от удалого гиканья, и резкий отрывистый хохот Малыша — мы впервые услышали тогда его смех, самозабвенный, совсем детский...

Это была странная игра. Малыш придумывал правила на ходу. Он оказался невероятно вынослив и азартен, он не упускал ни единого случая продемонстрировать перед нами свои физические преимущества, он навязал нам соревнование, и как-то само собой получилось, что он стал играть один против нас троих, и мы все время проигрывали. Сначала он выигрывал, потому что мы поддавались. Потом он выигрывал, потому что

мы не понимали его правил. Потом мы поняли правила, но нам с Майкой мешали дохи. Потом мы решили, что Том слишком неуклюж, и прогнали его. Майка вошла в азарт и заиграла в полную силу, я тоже делал все, что мог, но мы проигрывали очко за очком. Мы ничего не могли сделать с этим молниеносным дьяволенком, который перехватывал любые мячи, сам бил очень сильно и точно, негодующе вопил, если мяч задерживался в наших руках дольше секунды, совершенно сбивал нас с толку своими фантомами или, того хуже, манерой мгновенно исчезать из виду и появляться столь же мгновенно совсем в другом месте. Мы не сдавались, конечно, — от нас столбом шел пар, мы задыхались, мы потели, мы орали друг на друга, но мы дрались до последнего. И вдруг все кончилось.

Малыш остановился, проводил взглядом мяч и сел на песок.

— Это было хорошо, — сказал он. — Я никогда не знал, что бывает так хорошо.

— Что? — крикнул я, задыхаясь. — Устал, Малыш?

— Нет. Вспомнил. Не могу забыть. Не помогает. Никакое удовольствие не помогает. Больше не зови меня играть. Мне плохо, а сейчас еще хуже. Скажи ему, чтобы он думал скорее. Я разорвусь пополам, если он быстро не придумает. У меня внутри все болит. Я хочу разорваться, но боюсь. Поэтому не могу. Если будет очень болеть, перестану бояться. Пусть думает быстро.

— Ну что ты, в самом деле, Малыш! — сказал я расстроенно. Я не совсем понимал, что с ним происходит, но я видел, что ему действительно плохо. — Выбрось ты все это из головы! Просто ты не привык к людям. Надо чаще встречаться, больше играть...

— Нет, — сказал Малыш и вскочил. — Больше не приду.

— Ну почему же? — вскричал я. — Ведь было хорошо! Будет еще лучше! Есть другие игры, не только с мячом... С обручем, с крыльями!

Он медленно пошел прочь.

— Есть шахматы! — торопливо говорил я ему в спину. — Ты знаешь, что такое шахматы? Это величайшая игра, ей тысяча лет!..

Он приостановился. Я принялся торопливо и вдохновенно объяснять ему, что такое шахматы — простые шахматы, трехмерные шахматы, эн-мерные шахматы... Он стоял и слушал, глядя в сторону. Я кончил про шахматы и начал про покари. Я судорожно вспоминал все игры, какие знал.

— Да, — произнес Малыш. — Я приду.

И, уже больше не останавливаясь, он побрел, нога за ногу, к болоту. Некоторое время мы молча смотрели ему вслед, потом Майка крикнула: «Малыш!» — сорвалась с места, догнала его и пошла рядом. Я подобрал

свою доху, оделся, отыскал доху Майки и нерешительно двинулся за ними. На душе у меня был какой-то неприятный осадок, и я не понимал, в чем дело. Вроде бы все кончилось хорошо: Малыш обещал вернуться, значит все-таки привязался к нам, значит, без нас ему теперь гораздо хуже, чем с нами... «Привыкнет, — повторял я про себя. — Ничего, привыкнет...» Я увидел, что Майка остановилась, а Малыш побрел дальше. Майка повернулась и, обхватив себя за плечи, побежала мне навстречу. Я подал ей доху и спросил:

— Ну что?

— Все в порядке, — сказала она. Глаза у нее были прозрачные и какие-то отчаянные.

— Я думаю, что в конце концов... — начал я и осекся. — Майка, — сказал я, — ты же «третий глаз» потеряла!

— Я его не потеряла, — сказала Майка.

Глава восьмая СОМНЕНИЯ И РЕШЕНИЯ

Малыш уходил от корабля на запад вдоль береговой линии, прямо через дюны и заросли. Сначала «третий глаз» интересовал его. Он останавливался, снимал обруч, вертел его в руках, и тогда у нас на приемном экране мелькало то бледное небо, то голубовато-зеленое лицо-маска, то заиндевелый песок. Потом он оставил обруч в покое. Не знаю, двигался ли он не так, как обычно, или обруч надел не совсем правильно, но впечатление было такое, словно объектив смотрит не прямо по ходу, а несколько вправо. По экрану, подрагивая, проплывали однообразные дюны, озябшие кусты, иногда возникали сизые горные вершины или появлялся вдруг черный океан со сверкающими айсбергами на горизонте.

По-моему, Малыш двигался без определенной цели — просто брел куда глаза глядят, подальше от нас. Несколько раз он поднимался на гребни дюн и смотрел в нашу сторону. На приемном экране появлялись ослепительно белый конус нашего ЭР-2, серебристая лента посадочной полосы, оранжевый Том, одиноко приткнувшийся к стене недостроенной метеостанции. Но на обзорном экране Малыша мы так и не обнаружили.

Примерно через час Малыш вдруг резко свернул к горам. Теперь солнце било прямо в объектив — и видно стало хуже. Дюны вскоре кончились, Малыш брел по редколесью, перешагивая через сгнившие сучья, среди корявых стволов с отставшей пятнистой корой, по бурой, пропитанной ледяной влагой земле. Раз он вскарабкался на одинокий гранитный валун, постоял, оглядываясь, потом спрыгнул, подобрал с земли два черных осклизлых сучка и пошел дальше, постукивая ими друг о друга. Сначала стук был беспорядочный, потом в нем появился ритм, а к ритму примешивалось не то жужжание, не то гудение. Звук этот, непрерывный и неприятный, становился все громче. Скорее всего, это гудел и жужжал сам Малыш — может быть, это была песня, а может быть, и разговор с самим собой.

Так он брел, стуча, жужжа и гудя, а между деревьев все чаще попадались каменные россыпи, замшелые валуны, громадные обломки скал. Потом на экране вдруг появилось озеро. Малыш, не останавливаясь, вошел в него, на мгновение мы увидели взбаламученную воду, затем изображение потускнело и исчезло — Малыш нырнул.

Под водой он был очень долго, я уже думал, что он утопил передатчик, и мы больше ничего не увидим, но минут через десять изображение

появилось снова, мутное, размытое, струйчатое. Сначала мы почти ничего не различали, но вскоре в правой части экрана появилось изображение ладони, на которой прыгала и извивалась уродливая пантианская рыбка.

Когда объектив «глаза» очистился окончательно, Малыш бежал. Древесные стволы неслись на нас и в последние мгновения стремительно ускользали то вправо, то влево. Он бежал очень быстро, но мы не слышали ни топота, ни дыхания — только шумел ветер и мелькало солнце за путаницей голых ветвей. И вдруг произошло непонятное: Малыш как вкопанный остановился перед серым валуном и погрузил в него руки по локоть. Не знаю, может быть, там было хорошо замаскированное отверстие. По-моему, не было. Когда через несколько секунд Малыш извлек руки, они были черные и блестящие, и это черное и блестящее стекало с кончиков пальцев и тяжело, с отчетливым мокрым стуком капало на землю. Потом руки исчезли из поля зрения и Малыш побежал дальше.

Он остановился перед диковинным сооружением, похожим на покосившуюся башню, и я не сразу понял, что это — разбитый корабль «Пеликан». Теперь я своими глазами увидел, как страшно ему досталось при падении и что с ним сделали долгие годы на этой планете. Зрелище было не из приятных. Между тем Малыш медленно приблизился, заглянул в отверстую дыру люка — на мгновение экран погрузился в непроглядную тьму, — затем так же медленно обошел несчастный корабль кругом. Он снова остановился перед люком, поднял руку и приложил черную ладонь с растопыренными пальцами к изъеденному эрозией борту. Он стоял так с минуту, и мы снова услышали его жужжание и гудение, и мне показалось, что из-под растопыренных пальцев поднимаются струйки синеватого дыма. Наконец он отнял руку и отступил на шаг. На мертвой почернелой обшивке явственно виднелся отчетливый рельефный отпечаток — ладонь с растопыренными пальцами.

— Ух ты мой сверчок на печи, — произнес сочный баритон.

— Колокольчик!.. — откликнулся нежный женский голос.

— Зика! — почти шепотом проговорил баритон. — Зиканька!..

Заплакал младенец.

Отпечаток ладони резко метнулся в сторону и исчез. Теперь на экране виднелся горный склон — изборожденный трещинами гранит, старые осыпи, крошево острых камней, сверкающих изломанными гранями, поросли хилой жесткой травы, глубокие, непроницаемо черные расселины. Малыш поднимался по склону, мы видели его руки, цепляющиеся за выступы, зернистый камень толчками уходил вниз по экрану, стало слышно ровное шумное дыхание, а потом движение стало плавным и быстрым, у

меня зарябило в глазах, склон вдруг отдалился, проваливаясь куда-то в сторону и вниз, и мы услышали резкий, хриплый, сразу же оборвавшийся смех Малыша. Малыш летел — это было несомненно.

На экране сияло серо-лиловое небо, а сбоку пульсировали какие-то мутные полупрозрачные клочья, словно обрывки запылившейся кисеи. Медленно прошло поперек экрана ослепительное лиловое солнце, пыльная кисея закрыла все и тут же исчезла. Мы увидели далеко внизу плоскогорье, затянутое сиреневой дымкой, ужасные шрамы бездонных ущелий, неправдоподобно острые пики, покрытые вечными снегами, — безрадостный ледяной мир, уходящий за горизонт, мертвый, истрескавшийся, ощетиненный. И мы увидели мощное, лаково отсвечивающее колено Малыша, повисшее над бездной, и его черную руку, крепко вцепившуюся в осязаемое ничто.

Честно говоря, в эту минуту я перестал верить своим глазам и посмотрел, ведется ли запись. Запись велась. Но у Вандерхузе вид был тоже озадаченный, а Майка недоверчиво щурилась и вертела шеей, словно ей мешал воротник. Только Комов был совершенно спокоен и неподвижен — сидел, уперев локти в панель и положив подбородок на сплетенные пальцы.

А Малыш уже падал. Каменная пустыня стремительно надвигалась, слегка поворачиваясь вокруг невидимой оси, и ясно было, куда уходила эта ось — в черную трещину, расколовшую бурое поле, загроможденное обломками скал. Трещина росла, ширилась, освещенный солнцем край ее казался гладким и совершенно отвесным, а о том, чтобы увидеть дно, не могло быть и речи, — там царила сплошная тьма. И в эту тьму стремительно ворвался Малыш; изображение исчезло, и Майка, протянув руку, включила усиление, но и с усилением ничего нельзя было разглядеть, кроме струящихся по экрану неопределенных серых полос. Затем Малыш издал пронзительный вопль, и движение остановилось. «Разбился!» — подумал я в ужасе. Майка изо всей силы вцепилась мне в запястье.

На экране виднелись какие-то смутные неподвижные пятна, все было серое и черное, и слышались странные звуки — какое-то бульканье, хриплое курлыканье, шипение. Возник знакомый черный силуэт руки с растопыренными пальцами и скрылся. Смутные пятна поплыли, сменяя друг друга, курлыканье и бульканье становилось то громче, то тише, разгорелся и погас оранжевый огонек, потом еще один, и еще... Что-то коротко взревело и пошло отдаваться многократным эхом. «Дайте инфра», — сквозь зубы проговорил Комов. Майка схватилась за верньер инфракрасного усиления и повернула его до отказа. Экран сразу посветлел,

но я по-прежнему ничего не понимал.

Все пространство было заполнено фосфоресцирующим туманом. Правда, это был не обычный туман, в нем угадывалась какая-то структура — словно срез животной ткани под расфокусированным микроскопом — и в этом структурном тумане угадывались местами более светлые уплотнения и собрания темных пульсирующих зерен, и все это словно бы висело в воздухе, иногда вдруг совсем пропадало и появлялось вновь, а Малыш шел через это, будто на самом деле ничего этого не было, шел, вытянув перед собой светящиеся руки с растопыренными пальцами, и пальцы его вибрировали и содрогались в сложном и очевидном ритме, а вокруг — булькало, хрипело, журчало, звонко тикало.

Так он шел долго, и мы не сразу заметили, что рисунок структуры бледнеет, расплывается, и вот на экране осталось только молочное свечение и едва заметные очертания растопыренных пальцев Малыша. И тогда Малыш остановился. Мы поняли это по тому, что звуки перестали приближаться и удаляться. Те самые звуки. Целая лавина, целый каскад звуков. Хриплые гулы, басистое бормотание, задавленные писки... что-то сочно лопнуло и разлетелось звонкими брызгами... зудение, скрип, медные удары... А потом в ровном сиянии проступили темные пятна, десятки темных пятен, больших и маленьких; сначала смутные, они принимали все более определенные очертания, становились все более похожими на что-то удивительно знакомое, и вдруг я догадался, что это такое. Это было совершенно невозможно, но я уже не мог отогнать от себя эту мысль. Люди. Десятки, сотни людей, целая толпа, выстроенная в правильном порядке и видимая словно бы несколько сверху... И тут что-то произошло. На какую-то долю мгновения изображение сделалось совершенно ясным. Слишком ненадолго, впрочем, чтобы можно было рассмотреть что-либо. Затем раздался отчаянный крик, изображение перевернулось и пропало вовсе. И сейчас же бешеный голос Комова произнес:

— Зачем вы это сделали?

Экран был мертв. Комов стоял, неестественно выпрямившись, сжатые кулаки его упирались в пульт. Он смотрел на Майку. Майка была бледна, но спокойна. Она тоже поднялась и теперь стояла перед Комовым лицо к лицу. Она молчала.

— Что случилось? — осторожно осведомился Вандерхузе. По-видимому, он тоже ничего не понимал.

— Вы либо хулиганка, либо... — Комов остановился. — Исключаю вас из группы контакта. Запрещаю вам выходить из корабля, входить в рубку и на пост УАС. Ступайте отсюда.

Майка, по-прежнему не говоря ни слова, повернулась и вышла. Ни секунды не раздумывая, я двинулся за ней.

— Попов! — резко сказал Комов.

Я остановился.

— Прошу вас немедленно передать эту запись в Центр. Экстренно.

Он смотрел мне прямо в глаза, и я почувствовал себя нехорошо. Такого Комова я еще никогда не видел. Такой Комов имел несомненное право приказывать, сажать под домашний арест и вообще подавлять любой бунт в самом зародыше. У меня было ощущение, что я сейчас разорвусь пополам. «Как Малыш», — мелькнуло у меня в голове.

Вандерхузе произнес, кашлянув:

— Э-э, Геннадий. Может быть, все-таки не в Центр? Горбовский ведь уже на базе. Может быть, все-таки на базу, как вы полагаете?

Комов все смотрел на меня. Суженные глаза его казались льдинками.

— Да, конечно, — проговорил он, совершенно, впрочем, спокойно. — Копию на базу, Горбовскому. Благодарю вас, Яков. Попов, приступайте.

Мне ничего не оставалось делать, кроме как приступить. Но я был недоволен. Если бы мы носили фуражки, как в старину, я бы повернул свою фуражку козырьком назад. Но фуражки на мне не было, и поэтому я, извлекая из рекордера кассету, ограничился тем, что спросил с вызовом:

— А что, собственно, произошло? Что она такого сделала?

Некоторое время Комов молчал. Он уже снова сидел в своем кресле и, покусывая губу, барабанил пальцем по подлокотнику. Вандерхузе, растопырив бакенбарды, тоже смотрел на него с ожиданием.

— Она включила прожектор, — сказал наконец Комов.

Я не сразу понял.

— Какой прожектор?

Комов, не отвечая, показал пальцем на утопленную клавишу.

— А, — произнес Вандерхузе с огорчением.

А я ничего не сказал. Я взял кассету и пошел к рации. Если честно, говорить мне было нечего. Даже за меньшие провинности людей с шумом и позором вышибали из космоса. Майка включила аварийную лампу-вспышку, вмонтированную в обруч. И можно было представить себе, каково пришлось обитателям пещеры, когда в вечном мраке на мгновение вспыхнуло маленькое солнце. Разведчика, потерявшего сознание, по этой вспышке можно обнаружить с орбиты даже на освещенной стороне планеты... даже если он засыпан... Такой прожектор излучает в диапазоне от ультрафиолета до УКВ... Не было еще случая, чтобы разведчику не удалось отпугнуть такой вспышкой самое бешеное, самое кровожадное

животное. Даже тахорги, которые вообще ничего на свете не боятся, тормозят задними ногами, останавливая свой неудержимый разбег... «С ума сошла, — подумал я безнадежно. — Совсем взбесилась...» Но вслух я сказал (усаживаясь за рацию):

— Подумаешь! Нажал человек не на ту клавишу, ошибся...

— Да, действительно, — произнес Вандерхузе. — Наверное, так оно и было. Она, очевидно, хотела включить инфракрасный прожектор... Клавиши рядом... Как вы полагаете, Геннадий?

Комов молчал. Что-то он там делал на пульте. Я не хотел на него смотреть. Я включил автомат и стал демонстративно глядеть в другую сторону.

— Неприятно, конечно, — бормотал Вандерхузе. — Ай-яй-яй-яй... В самом деле, ведь это может отразиться... Активное воздействие... Вряд ли приятное... Гм... У нас у всех несколько напряжены нервы в последнее время, Геннадий. Неудивительно, что девочка ошиблась... Мне самому хотелось, знаете ли, что-нибудь сделать... как-то улучшить изображение... Бедный Малыш. По-моему, это он закричал...

— Вот, — сказал Комов. — Можете полюбоваться. Три с половиной кадра.

Было слышно, как Вандерхузе озабоченно засопел. Я не удержался и оглянулся на них. Ничего не было видно за их сдвинутыми головами, поэтому я встал и подошел. На экране было то самое, что я увидел в последнее мгновение, но не успел воспринять. Изображение было отличное, и все-таки я совершенно не понимал, что это такое. Много людей, множество черных фигурок, абсолютно одинаковых, выстроенных в шахматном порядке. Стояли они как бы на ровной и хорошо освещенной площади. Передние фигурки были больше, задние, в полном соответствии с законами перспективы, меньше. Впрочем, ряды казались бесконечными и где-то вдали сливались в сплошные черные полосы.

— Это Малыш, — проговорил Комов. — Узнаете?

До меня дошло: действительно, это был Малыш, повторенный, как в бесчисленных зеркалах, бесчисленное множество раз.

— Похоже на многократное отражение, — пробормотал Вандерхузе.

— Отражение... — повторил Комов. — А где же тогда отражение лампы? И где у Малыша тень?

— Не знаю, — честно признался Вандерхузе. — Действительно, тень должна быть.

— А вы что думаете, Стась? — спросил Комов, не оборачиваясь.

— Ничего, — коротко сказал я и вернулся на свое место.

На самом-то деле я, конечно, думал, у меня мозги скрипели — так я думал, но придумать ничего не мог. Больше всего мне это напоминало формалистический рисунок пером.

— Да, не много мы узнали, — проговорил Комов. — Даже шерсти клок оказался никудышным...

— Охо-хо-хо-хохонюшки, — проговорил Вандерхузе, тяжело поднялся и вышел.

Мне тоже очень хотелось выйти и посмотреть, как там Майка. Но я взглянул на хронометр — до конца передачи оставалось еще минут десять. Комов шуршал и возился у меня за спиной. Потом рука его протянулась через мое плечо, и на пульт передо мной лег голубой бланк радиограммы.

— Это объяснительная записка, — сказал Комов. — Отправьте сразу же по окончании передачи записи.

Я прочел радиограмму.

ЭР-2, КОМОВ — БАЗА, ГОРБОВСКОМУ. КОПИЯ: ЦЕНТР, БАДЕРУ. НАПРАВЛЯЕТСЯ ВАМ ЗАПИСЬ С ПЕРЕДАТЧИКА ТИПА ТГ. НОСИТЕЛЬ МАЛЫШ. ЗАПИСЬ ВЕЛАСЬ С 13.46 ПО 17.02 БВ. ПРЕРВАНА ВСЛЕДСТВИЕ СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМПЫ-ВСПЫШКИ ПО МОЕЙ НЕБРЕЖНОСТИ. СИТУАЦИЯ НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ.

Я не понял и перечитал радиограмму еще раз. Потом я оглянулся на Комова. Он сидел в прежней позе, положив подбородок на сплетенные пальцы, и смотрел на обзорный экран. Не то чтобы горячая волна благодарности захлестнула меня с головой. Нет, этого не было. Слишком мало симпатии испытывал я к этому человеку. Но должного ему нельзя было не отдать. В такой ситуации не всякий поступил бы столь же решительно и просто. И неважно, собственно, почему он так поступил: потому ли, что пожалел Майку (сомнительно), или устыдился своей резкости (более похоже на правду), или потому, что принадлежит к руководителям того типа, которые совершенно искренне считают проступки подчиненных своими проступками. Во всяком случае, для Майки опасность птичкой вылететь из космоса существенно уменьшилась, а позиция и реноме самого Комова заметно ухудшились. Ладно, Геннадий Юрьевич, при случае это вам зачтется. Такие действия надлежит всячески поощрять. А с Майкой мы еще поговорим. Какого дьявола, в самом деле? Что она — маленькая? В куклы она тут играть решила?

Автомат звякнул и выключился, я взялся за радиограмму. Вошел

Вандерхузе, толкая перед собой столик на колесах. Совершенно бесшумно и с необыкновенной легкостью, которая сделала бы честь самому квалифицированному киберу, он поставил поднос с тарелками у правого локтя Комова. Комов рассеянно поблагодарил. Я взял себе стакан томатного сока, выпил и налил еще.

— А салат? — огорченно спросил Вандерхузе.

Я покачал головой и сказал в спину Комову:

— У меня все закончено. Можно быть свободным?

— Да, — ответил Комов, не оборачиваясь. — Из корабля не выходить.

В коридоре Вандерхузе сообщил мне:

— Майка обедает.

— Истеричка, — сказал я со злостью.

— Напротив. Я бы сказал, что она спокойна и довольна. И никаких следов раскаяния.

Мы вместе вошли в кают-компанию. Майка сидела за столом, ела суп и читала какую-то книжку.

— Здорово, арестант, — сказал я, усаживаясь перед ней со своим стаканом.

Майка оторвалась от книжки и поглядела на меня, прищурив один глаз.

— Как начальство? — осведомилась она.

— В тягостном раздумье, — сказал я, разглядывая ее. — Решает, вздернуть ли тебя на фок-рее немедленно или довезти до Дувра, где тебя повесят на цепях.

— А что на горизонтах?

— Без изменений.

— Да, — сказала Майка, — теперь он больше не придет.

Она сказала это с явным удовлетворением. Глаза у нее были веселые и отчаянные, как давеча. Я отхлебнул томатного сока и покосился на Вандерхузе. Вандерхузе с постным видом поедал мой салат. Мне вдруг пришло в голову: а капитан-то наш рад-радехонек, что не он командует в сей кампании.

— Да, — сказал я, — похоже на то, что контакт ты нам сорвала.

— Грешна, — коротко ответила Майка и снова уткнулась в книгу. Только она не читала. Она ждала продолжения.

— Будем надеяться, что дело обстоит не так плохо, — сказал Вандерхузе. — Будем надеяться, что это просто очередное осложнение.

— Вы думаете, Малыш вернется? — спросил я.

— Думаю, да, — сказал Вандерхузе со вздохом. — Он слишком любит

задавать вопросы. А теперь у него появилась масса новых. — Он доел салат и поднялся. — Пойду в рубку, — сообщил он. — Сказать по правде, это очень некрасивая история. Я понимаю тебя, Майка, но ни в какой степени не оправдываю. Так, знаешь ли, не поступают...

Майка ничего не ответила, и Вандерхузе удалился, толкая перед собою столик. Как только шаги его затихли, я спросил, стараясь говорить вежливо, но строго:

— Ты это сделала нарочно или случайно?

— А ты как полагаешь? — спросила Майка, уставясь в книгу.

— Комов взял вину на себя, — сказал я.

— То есть?

— Лампа-вспышка была включена, оказывается, по его небрежности.

— Очень мило, — произнесла Майка. Она положила книжку и потянулась. — Великолепный жест.

— Это все, что ты можешь мне сказать?

— А что тебе, собственно, нужно? Чистосердечное признание? Раскаяние? Слезы в жилетку?

Я снова отхлебнул соку. Я сдерживался.

— Прежде всего я хотел бы узнать, случайно или нарочно?

— Нарочно. Что дальше?

— Дальше я хотел бы узнать, для чего ты это сделала?

— Я сделала это для того, чтобы раз и навсегда прекратить безобразие. Дальше?

— Какое безобразие? О чем ты говоришь?

— Потому что это было отвратительно! — сказала Майка с силой. — Потому что это было бесчеловечно. Потому что я не могла сидеть сложа руки и наблюдать, как гнусная комедия превращается в трагедию. — Она отшвырнула книжку. — И нечего сверкать на меня глазами! И нечего за меня заступаться! Ах, как он великодушен! Любимец доктора Мбоги! Все равно я уйду. Уйду в школу и буду учить ребят, чтобы они вовремя хватали за руку всех этих фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают!

У меня было благое намерение выдержать вежливый, корректный тон до конца. Но тут терпение мое лопнуло. У меня вообще дело с терпением обстоит неважно.

— Нагло! — сказал я, не находя слов. — Нагло себя ведешь! Нагло!

Я попытался еще раз отхлебнуть соку, но выяснилось, что стакан пуст. Как-то незаметно я успел все выхлебать.

— А дальше? — спросила Майка, презрительно усмехаясь.

— Все, — сказал я угрюмо, разглядывая пустой стакан. Действительно, сказать мне было больше нечего. Расстрелял я весь свой боезапас. Вероятно, я и шел-то к Майке не для того, чтобы разобраться, а просто чтобы обругать ее.

— А если все, — сказала Майка, — то иди в рубку и целуйся со своим Комовым. А заодно со своим Томом и прочей своей кибертехникой. А мы, знаешь ли, просто люди, и ничто человеческое нам не чуждо.

Я отодвинул стакан и встал. Говорить больше было не о чем. Все было ясно. Был у меня товарищ — нет у меня товарища. Ну что ж, перебьемся.

— Приятного аппетита, — сказал я и на негнущихся ногах направился в коридор.

Сердце у меня колотилось, губы отвратительно дрожали. Я заперся у себя в каюте, повалился на постель и уткнулся носом в подушку. В голове у меня в горькой и бездонной пустоте кружились, сталкивались и рассыпались невысказанные слова. Глупо. Глупо!.. Ну ладно, ну не нравится тебе эта затея. Мало ли кому что не нравится! В конце концов, тебя сюда не приглашали, случайно ты здесь оказалась, так уж веди себя как полагается! Ведь не понимаешь же ничего в контактах, квартирьер несчастный... Снимай свои паршивые кроки и делай то, что тебе говорят! Ну что ты смыслишь в абстрактных идеях? И где ты их вообще видела — абстрактные? Ведь сегодня она абстрактная, а завтра без нее история остановится... Ну, хорошо, ну, не нравится тебе. Ну, откажись!.. Ведь так все шло славно, только-только с Малышом сошлись, такой парень чудесный, умница, с ним горы можно было бы своротить! Эх ты, квартирьер... Друг, называется... А теперь вот ни Малыша, ни друга... И Комов тоже хорош: ломится, как вездеход, напролом, ни посоветуется, ни объяснит ничего толком... Не-ет, чтобы я еще когда-нибудь в контактах участвовал — дудки! Кончится вся эта кутерьма, немедленно подаю заявление в проект «Ковчег-2» — с Вадиком, с Таней, с головастой Нинон, в конце концов. Как зверь буду работать, без болтовни, ни на что не отвлекаясь. Никаких контактов!.. Незаметно я заснул и спал так, что только бурболки отскакивали, как говаривал мой прадед. Все-таки за последние двое суток я не проспал и четырех часов. Еле-еле Вандерхузе меня добудился. Пора было на вахту.

— А Майка? — спросил я спросонок, но тут же спохватился. Впрочем, Вандерхузе сделал вид, что не расслышал.

Я принял душ, оделся и пошел в рубку. Давешние неприятные ощущения вновь овладели мною. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось никого видеть. Вандерхузе сдал вахту и ушел спать, сообщив, что

вокруг корабля ничего не происходит и что через шесть часов меня сменит Комов.

Было ровно двадцать два по бортовому времени. На экране играли сполохи над хребтом, дул сильный ветер с океана — рвал в клочья туманную шапку над горячей трясиной, прижимал к промерзшему песку оголенные кусты, швырял на пляж клочья мгновенно замерзающей пены. На посадочной полосе, слегка кренясь навстречу ветру, торчал одинокий Том. Все сигнальные огни его сообщали, что он в простое, никаких заданий не имеет и пребывает в готовности выполнить любое приказание. Очень грустный пейзаж. Я включил внешнюю акустику, с минуту послушал рев океана, свист и завывание ветра, дробный стук ледяных капель по обшивке и снова отключился.

Я попытался представить себе, что сейчас делает Малыш, вспомнил горячий ячеистый туман, размытые сгустки света, а точнее — не света, конечно, а тепла, и это ровное сияние, наполненное кашей странных звуков, и загадочный строй отражений, которые не были отражениями... Ну что ж, ему там, наверное, тепло, уютно, привычно и есть, ох есть, о чем поразмышлять. Забился, наверное, в какой-нибудь каменный угол и тяжко переживает обиду, которую нанесла ему Майка. («Мам-ма...» — «Да, колокольчик», — вспомнил я.) С точки зрения Малыша все это должно выглядеть крайне нечестно. Я бы на его месте больше сюда никогда бы не пришел... А ведь Комов так обрадовался, когда Майка нацепила на Малыша свой обруч. «Молодец, Майя, — сказал он. — Это хороший шанс, я бы не рискнул...» Впрочем, все равно из этой идеи ничего не получилось бы. Все-таки конструкторы ТГ многого не додумали. Объектив, например, надо было делать стерео... Хотя, конечно, ТГ предназначается совсем для других целей... Но кое-что подсмотреть все-таки удалось. Скажем, как Малыш летел. Только — каким образом летел, почему летел, на чем летел?.. И эта сцена у разбитого «Пеликана»... Планета невидимок. Да, наверное, любопытные вещи можно было бы здесь увидеть, если бы Комов разрешил запустить сторожа-разведчика. Может быть, теперь разрешит? Да и сторожа-разведчика не нужно. На первый случай просто пройтись локатором-пробником по горизонту...

Запел радиовызов. Я подошел к рации. Незнакомый голос очень вежливо, я бы даже сказал — робко, попросил Комова.

— Кто вызывает? — осведомился я не очень приветливо.

— Это такой член Комиссии по контактам. Горбовский моя фамилия. — Я сел. — Мне очень нужно поговорить с Геннадием Юрьевичем. Или он, может быть, спит?

— Сейчас, Леонид Андреевич, — забормотал я. — Сию минутку, Леонид Андреевич... — Я торопливо включил интерком. — Комова в рубку, — сказал я. — Срочный вызов с базы.

— Да не такой уж срочный... — запротестовал Горбовский.

— Вызывает Леонид Андреевич Горбовский! — торжественно добавил я в интерком, чтобы Комов там не слишком копался.

— Молодой человек... — позвал Горбовский.

— На вахте Стась Попов, кибертехник! — отрапортовал я. — За время моей вахты никаких происшествий не произошло!

Горбовский помолчал, потом неуверенно произнес:

— Вольно...

Послышался стук торопливых шагов, и в рубку быстро вошел Комов. Лицо у него было осунувшееся, глаза стеклянные, под глазами темные круги. Я поднялся и уступил ему место.

— Комов слушает, — проговорил он. — Это вы, Леонид Андреевич?

— Это я, здравствуйте... — отозвался Горбовский. — Слушайте, Геннадий, а нельзя ли нам сделать так, чтобы мы друг друга видели? Тут какие-то кнопки...

Комов только глянул на меня, и руки мои сами протянулись к пульту и подключили визор. Мы, радисты, обычно держим визор отключенным. По разным причинам.

— Ага, — удовлетворенно сказал Горбовский. — Вот я вас начинаю видеть.

На нашем экранчике тоже появилось изображение — знакомое мне по портретам и описаниям длинное и как бы слегка вдавленное внутрь лицо Леонида Андреевича. Правда, на портретах он обычно выглядел этаким античным философом, а сейчас вид имел несколько унылый, разочарованный, и на широком утином носу его, к моему изумлению, имела место царапина — по-моему, совсем свежая. Когда изображение установилось, я отступил и тихонько уселся на место вахтенного. У меня появилось сильнейшее предчувствие, что я сейчас буду выгнан, поэтому я принялся сосредоточенно озирать терзаемые ураганом окрестности.

Горбовский сказал:

— Во-первых, большое вам спасибо, Геннадий. Я просмотрел все ваши материалы и должен вам сказать, что это нечто совершенно особенное. Безумно интересно. Изобретательно, изящно... молниеносно...

— Польщен, — отрывисто сказал Комов. — Но?

— Почему «но»? — удивился Горбовский. — «И» — вы хотите сказать. И большинство членов Комиссии придерживается того же мнения.

Трудно поверить, что такая колоссальная работа проделана за двое суток.

— Я здесь ни при чем, — сухо сказал Комов. — Благоприятные обстоятельства, только и всего.

— Нет, не говорите, — живо возразил Горбовский. — Согласитесь, вы же заранее знали, с кем имели дело. Это не просто — знать заранее. А потом — ваша решительность, интуиция... энергия...

— Я польщен, Леонид Андреевич, — повторил Комов, чуть повысив голос.

Горбовский помолчал и вдруг очень тихо спросил:

— Геннадий, как вы представляете себе дальнейшую судьбу Малыша?

Ощущение, что меня сейчас же, немедленно, в мгновение ока, с наивозможной быстротой и прямотой попросят из рубки, достигло во мне апогея. Я съежился и перестал дышать.

Комов сказал:

— Малыш будет посредником между Землей и аборигенами.

— Я понимаю, — сказал Горбовский. — Это было бы прекрасно. А если контакт не состоится?

— Леонид Андреевич, — произнес Комов жестко. — Давайте говорить прямо. Давайте выскажем вслух то, о чем мы с вами сейчас думаем, и то, чего мы опасаемся больше всего. Я стремлюсь превратить Малыша в орудие Земли. Для этого я всеми доступными мне средствами и совершенно беспощадно, если так можно выразиться, стремлюсь восстановить в нем человека. Вся трудность заключается в том, что человеческая психика, человеческое, земное отношение к миру в высшей степени, по-видимому, чужды аборигенам, воспитавшим Малыша. Они отталкиваются от нас, они не хотят нас. И этим отношением к нам насквозь пропитано все подсознание Малыша. К счастью или к несчастью, аборигены оставили в Малыше достаточно человеческого, чтобы мы получили возможность завладеть его сознанием. Ситуация, возникшая сейчас, — ситуация критическая. Сознание Малыша принадлежит нам. Подсознание — им. Конфликт очень тяжелый и рискованный, я это прекрасно сознаю, но этот конфликт разрешим. Мне нужно еще буквально несколько дней, чтобы подготовить Малыша. Я раскрою ему истинное положение дел, освобожу его подсознание, и Малыш превратится целиком и полностью в нашего сотрудника. Вы не можете не понимать, Леонид Андреевич, какую ценность представляет для нас такое сотрудничество... Я предвижу множество трудностей. Например, подсознательное отталкивание в принципе может превратиться у Малыша — после того как мы раскроем ему истинное положение дел — в сознательное стремление

защитить от нас свой «дом», своих спасителей и воспитателей. Может быть, возникнут новые опасные напряжения. Но я уверен: мы сумеем убедить Малыша, что наши цивилизации — это равные партнеры со своими достоинствами и недостатками, и тогда он, как посредник между нами, сможет всю жизнь черпать и с той, и с другой стороны, не опасаясь ни за тех, ни за других. Он будет горд своим исключительным положением, жизнь его будет радостна и полна... — Комов помолчал. — Мы должны, мы обязаны рискнуть. Такого случая больше не будет никогда. Вот моя точка зрения, Леонид Андреевич.

— Понимаю, — сказал Горбовский. — Знаю ваши идеи, ценю их. Знаю, во имя чего вы предлагаете рискнуть. Но согласитесь, риск не должен превышать какого-то предела. Поймите, с самого начала я был на вашей стороне. Я знал, что мы рискуем, мне было страшно, но я все думал: а вдруг обойдется? Какие перспективы, какие возможности!.. И еще я все время думал, что мы всегда успеем отступить. Мне и в голову не приходило, что мальчик окажется таким коммуникабельным, что дело зайдет так далеко уже через двое суток. — Горбовский сделал паузу. — Геннадий, контакта ведь не будет. Пора бить отбой.

— Контакт будет! — сказал Комов.

— Контакта не будет, — мягко, но настойчиво повторил Горбовский. — Вы ведь прекрасно понимаете, Геннадий, что мы имеем дело со свернувшейся цивилизацией. С разумом, замкнутым на себя.

— Это не замкнутость, — сказал Комов. — Это квазизамкнутость. Они стерилизовали планету и явно поддерживают ее в таком состоянии. Они почему-то спасли и воспитали Малыша. Они, наконец, очень неплохо осведомлены о человечестве. Это квазизамкнутость, Леонид Андреевич.

— Ну, Геннадий, абсолютная замкнутость — это теоретическая идеализация. Конечно, всегда остается какая-то функциональная деятельность, направленная вовне, например, санитарно-гигиеническая. Что же касается Малыша... Конечно, все это домыслы, но ведь если цивилизация достаточно стара, гуманизм ее мог превратиться в безусловный социальный рефлекс, в социальный инстинкт. Ребенок был спасен просто потому, что в такой акции испытывалась потребность...

— Все это возможно, — сказал Комов. — Не в домыслах сейчас дело. Важно то, что это квазизамкнутость, что лазейки для контакта остаются. Конечно, процесс сближения будет очень длителен. Может быть, понадобится на полтора, на два порядка больше времени, чем для сближения с обычной разомкнутой цивилизацией... Нет, Леонид Андреевич. Обо всем этом я думал, и вы сами хорошо понимаете, что

ничего нового вы мне не сказали. Ваше мнение против моего — и только. Вы предлагаете отступиться, а я хочу использовать этот единственный шанс до конца.

— Геннадий, не только я думаю, что контакта не будет, — тихонько сказал Горбовский.

— Кто же еще? — осведомился Комов с легкой иронией. — Август-Иоганн-Мария Бадер?

— Нет, и не только Бадер. Честно говоря, я скрыл от вас одну козырную карту, Геннадий... Вам никогда не приходило в голову, что Шура Семенов стер бортжурнал не на планете, а еще в космосе; не потому, что увидел разумных чудовищ, а потому, что еще в космосе подвергся нападению и решил, что на планете господствует высокоразвитая агрессивная цивилизация? Нам это в голову пришло. Не сразу, конечно, — вначале мы просто сделали правильные выводы из неверной предпосылки, как и вы. Но как только эта мысль пришла нам в голову, мы принялись обшаривать околопланетное пространство. И вот два часа назад пришло сообщение, что он, наконец, обнаружен. — Горбовский замолчал.

Я прилагал гигантские усилия, чтобы не закричать: «Кто? Кто обнаружен?» По-моему, Горбовский ждал такого возгласа. Но не дождался. Комов безмолвствовал. Горбовский был вынужден продолжать.

— Он великолепно замаскирован. Он поглощает почти все лучи. Мы бы никогда не нашли его, если бы не искали специально, да и то пришлось применить что-то совсем новое — мне объясняли, но я не понял, что именно — какой-то вакуумный концентратор. В общем, мы его нащупали и взяли на абордаж. Спутник-автомат, что-то вроде вооруженного часового. Судя по некоторым деталям конструкции, его установили здесь Странники. Очень давно установили, порядка сотни тысяч лет назад. К счастью для участников проекта «Ковчег», он нес на себе всего два заряда. Первый заряд был выпущен в незапамятные времена, мы уже теперь и не узнаем, наверное, по кому. Второй заряд пришелся на долю Семеновых. Странники считали эту планету запрещенной, иного объяснения я придумать не могу. Вопрос: почему? В свете того, что мы знаем, ответ может быть только один: они на своем опыте поняли, что местная цивилизация некоммуникабельна, более того — она замкнута, более того — контакт грозит серьезными потрясениями для этой цивилизации. Если бы на моей стороне был только Август-Иоганн-Мария Бадер... Но, насколько я помню, вы всегда с большим уважением отзывались о Странниках, Геннадий. — Горбовский снова помолчал. — Однако дело не только в этом. При прочих равных условиях мы, невзирая даже на мнение Странников, могли бы

позволить себе очень осторожные, очень постепенные попытки развернуть этих свернувшихся аборигенов. В худшем случае наш опыт обогатился бы еще одним отрицательным результатом. Мы бы поставили здесь какой-нибудь предупреждающий знак и убрались бы восвояси. Это было бы делом только наших двух цивилизаций... Но дело в том, что между нашими двумя цивилизациями, как между молотом и наковальней, оказалась сейчас третья, и за эту третью, Геннадий, за единственного ее представителя, Малыша, мы вот уже несколько суток несем всю полноту ответственности.

Я услышал, как Комов глубоко вздохнул, и наступило долгое молчание. Когда Комов заговорил снова, голос у него был какой-то необычный, какой-то надломленный. Заговорил он о Странниках: сначала подивился тому, что Странники, поставив охранный спутник, пошли на риск, граничащий с преступлением, но потом сам же вспомнил косвенные данные, согласно которым Странники всегда путешествуют целыми эскадрами и всякий одиночный звездолет в их представлении не может быть ничем иным, кроме автоматического зонда. Поговорил он также о том, что и на Земле приходит к концу полувековая варварская эпоха одиночных полетов в свободный поиск — слишком много жертв, слишком много нелепых ошибок, слишком мало толку. «Да, — соглашался Горбовский, — я тоже об этом думал». Потом Комов вспомнил о случаях загадочного исчезновения автоматических разведчиков, запущенных к некоторым планетам. «У нас все руки не доходили проанализировать эти исчезновения, а ведь теперь они предстают в новом свете». — «И верно! — с энтузиазмом подхватил Горбовский. — Об этом я как раз не подумал, это очень интересная мысль». Поговорили об охранном спутнике, подивились, что он нес только два заряда, попытались прикинуть, каковы же в этом случае должны быть представления Странников об обитаемости Вселенной, нашли, что в конечном счете они не очень отличаются от наших представлений, но сама собой возникает мысль, что Странники, по-видимому, намеревались вернуться сюда, да вот почему-то не вернулись — возможно, прав Боровик, полагая, что Странники вообще покинули Галактику. Комов полушутливо предположил, что аборигены и есть Странники — угомонившиеся, насытившиеся внешней информацией, замкнувшиеся на себя. Горбовский опять намекнул на идеи Комова и тоже в шутку стал его допрашивать, как надлежит оценивать такую эволюцию Странников в свете теории вертикального прогресса.

Потом поговорили о здоровье доктора Мбоги, перескочили внезапно на умиротворение какой-то Островной Империи и о роли в этом умиротворении некоего Рудольфа, которого они почему-то тоже называли

Странником; плавно и как-то неуловимо перешли от Рудольфа к вопросу о пределах компетенции Совета Галактической Безопасности, согласились на том, что в компетенцию эту входят только гуманоидные цивилизации... Очень скоро я перестал понимать, о чем они говорят, а главное — почему они говорят именно об этом.

Потом Горбовский сказал:

— Я вас совсем заморил, Геннадий, извините. Идите отдыхать. Очень приятно было с вами побеседовать. Мы таки давненько не видались.

— Но скоро, конечно, увидимся вновь, — проговорил Комов с горечью.

— Да, думаю, дня через два. Бадер уже в пути, Боровик тоже. Я думаю, что послезавтра весь КОМКОН будет на базе.

— Значит, до послезавтра, — сказал Комов.

— Передайте привет вашему вахтенному... Стасю, кажется. Очень он у вас... такой... строевой, я бы сказал. И Якову, Якову обязательно передавайте привет! Ну, и всем остальным, конечно.

Они попрощались.

Я сидел тихо, как мышь, и продолжал бессмысленно таращиться на обзорный экран, ничего не видя, ничего не понимая. За спиной у меня не было слышно ни звука. Минуты тянулись нестерпимо медленно. От желания обернуться у меня окаменела шея и кололо под лопаткой. Мне было совершенно ясно, что Комов сражен. Во всяком случае, я был сражен наповал. Я искал ответ за Комова, но в голове у меня бессмысленно вертелось только одно: «А что мне Странники? Подумаешь, Странники! Я сам, в некотором роде, Странник...»

Вдруг Комов сказал:

— Ну а ваше мнение, Стась?

Я чуть было не ляпнул: «А что нам Странники?» — но удержался. Посидел секунду в прежней позе для значительности, а потом повернулся вместе с креслом. Комов, положив подбородок на сплетенные пальцы, смотрел на потухший экранчик визора. Глаза его были полузакрыты, рот какой-то скорбный.

— Наверное, придется выждать... — сказал я. — Что ж делать... Да и Малыш, может быть, больше не придет... Во всяком случае, не скоро придет...

Комов усмехнулся краем рта.

— Малыш-то придет, — сказал он. — Малыш слишком любит задавать вопросы. А представляете, сколько у него теперь новых вопросов?

Это было почти слово в слово то, что сказал в кают-компании

Вандерхузе.

— Тогда, может быть... — пробормотал я нерешительно, — может быть, и на самом деле лучше...

Ну что я мог ему сказать? После Горбовского, после самого Комова, что мог сказать незаметный рядовой кибертехник, двадцати лет, стаж практической работы шесть с половиной суток, — парень, может быть, и неплохой, трудолюбивый, интересующийся и все такое, но, прямо надо признать, не великого ума, простоватый, невежественный...

— Может быть, — вяло сказал Комов. Он поднялся, направился, шаркая подошвами, к выходу, но на пороге остановился. Лицо его вдруг исказилось. Он почти выкрикнул: — Неужели же никто из вас не понимает, что Малыш — это случай единственный, случай, по сути дела, невозможный, а потому единственный и последний! Ведь этого больше не случится никогда. Понимаете? Ни-ког-да!

Он ушел, а я остался сидеть лицом к рации и спиной к экрану и старался разобраться не столько даже в мыслях своих, сколько в чувствах. Никогда!.. Конечно, никогда. Как мы все здесь запутались! Бедный Комов, бедная Майка, бедный Малыш... А кто самый бедный? Теперь мы, конечно, отсюда уйдем. Малышу станет полегче, Майка пойдет учиться на педагога, так что, пожалуй, самый бедный — Комов. Это же надо придумать: наткнуться — лично наткнуться! — на уникальнейшую ситуацию, на уникальнейшую возможность подвести наконец под свои идеи экспериментальный базис, и вдруг — все вдребезги! Вдруг тот самый Малыш, который должен был стать верным помощником, неоценимым посредником, главным тараном, сокрушающим все преграды, сам превращается в главное препятствие... Ведь нельзя же ставить вопрос: будущее Малыша или вертикальный прогресс человечества. Тут какая-то логическая каверза, вроде апорий Зенона... Или не каверза? Или на самом деле вопрос так и следует ставить? Человечество все-таки... В задумчивости я повернулся в кресле лицом к экрану, рассеянно оглядел окрестности и ахнул. Великие вопросы мгновенно вылетели у меня из головы.

Урагана как не бывало. Все вокруг было бело от инея и снега, а Том стоял совсем рядом с кораблем, на самой границе мертвой зоны, перед входным люком, и я сразу понял, что это Малыш сидит там на снегу и не решается войти — одинокий, раздираемый между двумя цивилизациями...

Я вскочил и галопом понесся по коридору. В кессоне я машинально схватил было доху, но тут же бросил ее, всем телом ударил в перепонку люка и вывалился наружу. Малыша не было. Глупый Том зажег огонек,

испрашивая приказаний. Все было белое и искрилось в свете сполохов. Но у самого люка, у меня под ногами, чернел какой-то круглый предмет. Я попятился. Черт знает, какая дикость представилась мне на мгновение. Я даже не сразу заставил себя нагнуться.

Это был наш мяч. А на мяч был напялен обруч с «третьим глазом». Объектив был разбит, и вообще обруч выглядел так, словно побывал под обвалом.

И ни одного следа на снежной пелене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Он вызывает меня всякий раз, когда ему хочется побеседовать.

— Здравствуй, Стась, — говорит он. — Побеседуем? Давай?

Для связи выделено четыре часа в сутки, но он никогда не выдерживает расписания. Он его не признает. Он вызывает меня, когда я сплю, когда я сижу в ванне, когда я пишу отчеты, когда я готовлюсь к очередному разговору с ним, когда я помогаю ребятам, которые по винтику перебирают охранный спутник Странников... Я не сержусь. На него нельзя сердиться.

— Здравствуй, Малыш, — отзываюсь я. — Конечно, давай побеседуем.

Он жмурится, как бы от удовольствия, и задает свой стандартный вопрос:

— Ты сейчас настоящий, Стась? Или это твое изображение?

Я уверяю его, что это я, собственной персоной, Стась Попов, лично и без никаких изображений. Уже много раз я объяснял ему, что не умею строить изображения, и он, по-моему, давным-давно это понял, но вопрос остается. Может быть, он так шутит, может быть, без этого вопроса он не представляет себе нормальный обмен приветствиями, а может быть, ему просто нравится слово «изображение». Есть у него любимые слова — «изображение», «феноменально», «по бим-бом-брамселям»...

— Почему глаз видит? — начинает он.

Я объясняю ему, почему видит глаз. Он внимательно слушает, то и дело прикасаясь к своим глазам длинными чуткими пальцами. Он великолепно умеет слушать, и хотя теперь он бросил эту свою манеру — метаться как угорелый, когда его что-нибудь особенно поражает, — я все время чувствую в нем какой-то азарт, скрытую буйную страсть, неописуемый, недоступный мне, к сожалению, всепоглощающий восторг узнавания.

— Феноменально! — хвалит он, когда я заканчиваю. — Щелкунчик! Я это обдумаю, а потом спрошу еще раз...

Между прочим, эти его одинокие размышления над прослушанным (бешеный танец лицевых мускулов, замысловатые узоры из камней, прутьев, листьев) наводят его иногда на очень странные вопросы. Вот и сейчас:

— Как узнали, что люди думают головой? — спрашивает он.

Я слегка ошарашен и начинаю барахтаться. Он слушает меня по-

прежнему внимательно, и постепенно я выплываю, нащупываю твердую почву под ногами, и все идет вроде бы гладко, и оба мы вроде бы довольны, но когда я заканчиваю, он объявляет:

— Нет. Это очень частное. Это не всегда и не везде. Если я думаю только головой, то почему я совсем не могу размышлять без рук?..

Я чувствую, что мы вступаем на скользкую почву. Центр категорически предписал мне любой ценой уклоняться от разговоров, которые могли бы навести Малыша на идею аборигенов. И предписал, надо сказать, правильно. Совсем избежать таких разговоров не удается, и в последнее время я заметил, что Малыш как-то очень болезненно переживает даже собственные ссылки на свой образ жизни. Может быть, начинает догадываться? Кто его знает... Я уже несколько дней жду его прямого вопроса. Хочу этого вопроса и боюсь его...

— Почему вы можете, а я не могу?

— Этого мы еще толком не знаем, — признаюсь я и осторожно добавляю: — Есть предположение, что ты все-таки не совсем человек...

— Тогда что же такое человек? — немедленно осведомляется он. — Что такое человек совсем?

Я очень неважно представляю себе, как можно ответить на такой вопрос, и обещаю рассказать ему об этом в следующую встречу. Он сделал из меня настоящего энциклопедиста. Иногда я круглые сутки глотаю и перевариваю информацию. Главный Информаторий работает на меня, крупнейшие специалисты по самым различным отраслям знания работают на меня, я обладаю правом в любую минуту связаться с любым из них и просить разъяснений — относительно моделирования П-абстракций, обмена веществ у абиссальных форм жизни, методики построения шахматных этюдов...

— У тебя усталый вид, — сочувственно замечает Малыш. — Ты устал?

— Ничего, — говорю я. — Терпеть можно.

— Странно, что ты устаешь, — сообщает он задумчиво. — Я почему-то никогда не устаю. А что такое, собственно, усталость?

Я набираю в грудь побольше воздуху и принимаюсь объяснять ему, что такое усталость. Не переставая слушать, он раскладывает перед собою камешки, которые обработал для него старый добрый Том, придав им форму кубиков, шаров, параллелепипедов, конусов и более сложных фигур. К моменту, когда я заканчиваю, перед Малышом вырастает сложнейшее сооружение, решительно ни на что не похожее, но тем не менее в своем роде гармоническое и странно осмысленное.

— Ты рассказал хорошо, — говорит Малыш. — Скажи мне, наша беседа записывается?

— Да, конечно.

— Изображение хорошее, четкое? Изображение!

— Как всегда.

— Тогда пусть эту фигуру посмотрит дед. Посмотри, дед: узлы остывания здесь, здесь и здесь...

Дед Малыша, Павел Александрович Семенов, работает в области реализации абстракций в смысле Парсиваля. Он довольно рядовой ученый, но большой эрудит, и Малыш поддерживает с ним постоянную творческую связь. Павел Александрович говорил мне, что Малыш мыслит зачастую наивно, но всегда оригинально, и некоторые из его построений представляют определенный интерес для теории Парсиваля.

— Обязательно, — говорю я. — Непременно передам. Сегодня же.

— А может быть, это пустяки, — вдруг заявляет Малыш и одним движением сметает всю свою конструкцию. — Что сейчас делает Лева? — спрашивает он.

Лева — это старший инженер базы, большой шутник и анекдотчик. Когда Лева беседует с Малышом, околопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности. Малыш очень любит Леву и обязательно каждый раз спрашивает о нем. Иногда он спрашивает и о Вандерхузе, и тогда чувствуется, что сладостная тайна бакенбард до сих пор осталась для него неразгаданной и острой. Раз или два он спросил о Комове, и мне пришлось объяснить ему, что такое проект «Ковчег-2», а также зачем этому проекту нужен ксенопсихолог. А вот о Майке он не спросил ни разу. Когда я сам попытался заговорить о ней, когда попытался объяснить, что Майка, если и обманывала, то для его же, Малыша, пользы, что из нас четверых именно Майка первая поняла, как тяжело Малышу и как он нуждается в помощи, — когда я попытался все это ему растолковать, он просто встал и ушел. И точно так же он встал и ушел, когда я однажды, к слову, принялся объяснять ему, что такое ложь...

— Лева спит, — говорю я. — У нас тут сейчас ночь, вернее, ночное время бортовых суток.

— Значит, ты тоже спал? Я тебя опять разбудил?

— Это не страшно, — говорю я искренне. — Мне интереснее с тобою, чем спать.

— Нет. Ты иди и спи, — решительно распоряжается Малыш. — Странные мы все-таки существа. Обязательно нам нужно спать.

Это «мы» подобно бальзаму проливается на мое сердце. Впрочем,

Малыш последнее время часто говорит «мы», и я уже понемножку начал привыкать.

— Иди спать, — повторяет Малыш. — Но только скажи мне сначала: пока ты спишь, никто не придет на этот берег?

— Никто, — говорю я, как обычно. — Можешь не беспокоиться.

— Это хорошо, — говорит он с удовлетворением. — Так ты спи, а я пойду поразмышляю.

— Конечно, иди, — говорю я.

— До свидания, — говорит Малыш.

— До свидания, — говорю я и отключаюсь.

Но я знаю, что будет дальше, и я не иду спать. Мне совершенно ясно, что сегодня я опять не высплюсь.

Он сидит в своей обычной позе, к которой я привык и которая уже не кажется мне мучительной. Некоторое время он всматривается в потухший экран во лбу старины Тома, потом поднимает глаза к небу, как будто надеется увидеть там, на двухсоткилометровой высоте, мою базу, состыкованную со спутником Странников, а за его спиной расстилается знакомый мне пейзаж запрещенной планеты Ковчег — песчаные дюны, шевелящаяся шапка тумана над горячей топью, хмурый хребет вдали, а над ним — тонкие длинные линии колоссальных, по-прежнему и, может быть, навсегда загадочных сооружений, словно гибкие, тревожно трепещущие антенны чудовищного насекомого.

Там у них сейчас весна, на кустах распустились большие, неожиданно яркие цветы, над дюнами струится теплый воздух. Малыш рассеянно озирается, пальцы его перебирают отшлифованные камешки. Он смотрит через плечо в сторону хребта, отворачивается и некоторое время сидит неподвижно, понурив голову. Потом, решившись, он протягивает руку прямо ко мне и нажимает клавишу вызова под самым носом у Тома.

— Здравствуй, Стась, — говорит он. — Ты уже поспал?

— Да, — отвечаю я. Мне смешно, хотя спать хочется ужасно.

— А хорошо было бы сейчас поиграть, Стась. Верно?

— Да, — говорю я. — Это было бы неплохо.

— Сверчок на печи, — говорит он и некоторое время молчит.

Я жду.

— Ладно, — бодро говорит Малыш. — Тогда давай опять побеседуем. Давай?

— Конечно, — говорю я. — Давай.

ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ

Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.

Р. П. Уоррен

Из интервью, которое специальный корреспондент Хармонтского радио взял у доктора Валентина Пильмана по случаю присуждения последнему Нобелевской премии по физике за 19.. год

– ...Вероятно, вашим первым серьезным открытием, доктор Пильман, следует считать так называемый радиант Пильмана?

– Полагаю, что нет. Радиант Пильмана – это не первое, не серьезное и, собственно, не открытие. И не совсем мое.

– Вы, вероятно, шутите, доктор. Радиант Пильмана – понятие, известное всякому школьнику.

– Это меня не удивляет. Радиант Пильмана и был открыт впервые именно школьником. К сожалению, я не помню, как его звали. Посмотрите у Стетсона в его «Истории Посещения» – там все это подробно рассказано. Открыл радиант впервые школьник, опубликовал координаты впервые студент, а назвали радиант почему-то моим именем.

– Да, с открытиями происходят иногда удивительные вещи. Не могли бы вы объяснить нашим слушателям, доктор Пильман...

– Послушайте, земляк. Радиант Пильмана – это совсем простая штука. Представьте себе, что вы раскрутили большой глобус и принялись палить в него из револьвера. Дырки на глобусе лягут на некую плавную кривую. Вся суть того, что вы называете моим первым серьезным открытием, заключается в простом факте: все шесть Зон Посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля – Денеб. Денеб – это альфа созвездия Лебедя, а точка на небесном своде, из которой, так сказать, стреляли, и называется радиантом Пильмана.

– Благодарю вас, доктор. Дорогие хармонтцы! Наконец-то нам толком объяснили, что такое радиант Пильмана! Кстати, позавчера исполнилось ровно тринадцать лет со дня Посещения. Доктор Пильман, может быть, вы скажете своим землякам несколько слов по этому поводу?

– Что именно их интересует? Имейте в виду, в Хармонте меня тогда не было...

– Тем более интересно узнать, что вы подумали, когда ваш родной

город оказался объектом нашествия инопланетной сверхцивилизации...

– Честно говоря, прежде всего я подумал, что это утка. Трудно было себе представить, что в нашем старом маленьком Хармонте может случиться что-нибудь подобное. Восточная Сибирь, Уганда, Южная Атлантика – это еще куда ни шло, но Хармонт!

– Однако в конце концов вам пришлось поверить.

– В конце концов – да.

– И что же?

– Мне вдруг пришло в голову, что Хармонт и остальные пять Зон Посещения... впрочем, виноват, тогда было известно только четыре... Что все они ложатся на очень гладкую кривую. Я сосчитал координаты радианта и послал их в «Нэйчур».

– И вас нисколько не взволновала судьба родного города?

– Видите ли, в то время я уже верил в Посещение, но я никак не мог заставить себя поверить паническим корреспонденциям о горящих кварталах, о чудовищах, избирательно пожирающих стариков и детей, и о кровопролитных боях между неуязвимыми пришельцами и в высшей степени уязвимыми, но неизменно доблестными королевскими танковыми частями.

– Вы были правы. Помнится, наш брат информатор тогда много напутал... Однако вернемся к науке. Открытие радианта Пильмана было первым, но, вероятно, не последним вашим вкладом в знания о Посещении?

– Первым и последним.

– Но вы, без сомнения, внимательно следили все это время за ходом международных исследований в Зонах Посещения...

– Да... Время от времени я листаю «Доклады».

– Вы имеете в виду «Доклады Международного Института Внеземных Культур»?

– Да.

– И что же, по вашему мнению, является самым важным открытием за все эти тринадцать лет?

– Сам факт Посещения.

– Простите?

– Сам факт Посещения является наиболее важным открытием не только за истекшие тринадцать лет, но и за все время существования человечества. Не так уж важно, кто были эти пришельцы. Неважно, откуда они прибыли, зачем прибыли, почему так недолго пробыли и куда девались потом. Важно то, что теперь человечество твердо знает: оно не одиноко во

Вселенной. Боюсь, что Институту Внеземных Культур уже никогда больше не повезет сделать более фундаментальное открытие.

– Это страшно интересно, доктор Пильман, но я, собственно, имел в виду открытия технологического порядка. Открытия, которые могла бы использовать наша земная наука и техника. Ведь целый ряд очень видных ученых полагает, что находки в Зонах Посещения способны изменить весь ход нашей истории.

– Н-ну, я не принадлежу к сторонникам этой точки зрения. А что касается конкретных находок, то я не специалист.

– Однако вы уже два года являетесь консультантом Комиссии ООН по проблемам Посещения...

– Да. Но я не имею никакого отношения к изучению внеземных культур. В КОПРОПО я вместе со своими коллегами представляю международную научную общественность, когда заходит речь о контроле за выполнением решения ООН относительно интернационализации Зон Посещения. Грубо говоря, мы следим, чтобы инопланетными чудесами, добытыми в Зонах, распоряжался только Международный Институт.

– А разве на эти чудеса посягает еще кто-нибудь?

– Да.

– Вы, вероятно, имеете в виду сталкеров?

– Я не знаю, что это такое.

– Так у нас в Хармонте называют отчаянных парней, которые на свой страх и риск проникают в Зону и тащат оттуда все, что им удается найти. Это настоящая новая профессия.

– Понимаю. Нет, это вне нашей компетенции.

– Еще бы! Этим занимается полиция. Но было бы интересно узнать, что именно входит в вашу компетенцию, доктор Пильман...

– Имеет место постоянная утечка материалов из Зон Посещения в руки безответственных лиц и организаций. Мы занимаемся результатами этой утечки.

– Нельзя ли чуточку поконкретней, доктор?

– Давайте лучше поговорим об искусстве. Неужели слушателей не интересует мое мнение о несравненной Гвади Мюллер?

– О, разумеется! Но я хотел бы сначала покончить с наукой. Вас как ученого не тянет самому заняться инопланетными чудесами?

– Как вам сказать... Пожалуй.

– Значит, можно надеяться, что хармонтцы в один прекрасный день увидят своего знаменитого земляка на улицах родного города?

– Не исключено.

1. РЭДРИК ШУХАРТ, 23 ГОДА, ХОЛОСТ, ЛАБОРАНТ ХАРМОНТСКОГО ФИЛИАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ВНЕЗЕМНЫХ КУЛЬТУР

Накануне стоим это мы с ним в хранилище – уже вечером, остается только спецовки сбросить, и можно закатиться в «Боржч», принять в организм капельку-другую крепкого. Я стою просто так, стену подпираю, свое отработал и уже держу наготове сигаретку, курить хочется дико – два часа не курил, а он все возится со своим добром: один сейф загрузил, запер и опечатал, теперь другой загружает – берет с транспортера «пустышки», каждую со всех сторон осматривает (а она тяжелая, сволочь, шесть с половиной кило, между прочим) и с кряхтеньем аккуратненько водворяет на полку.

Сколько уже времени он с этими «пустышками» бьется, и, по-моему, без всякой пользы для человечества. На его месте я давным-давно бы уже плюнул и чем-нибудь другим занялся за те же деньги. Хотя, с другой стороны, если подумать, «пустышка» действительно штука загадочная и какая-то невразумительная, что ли. Сколько я их на себе перетаскал, а все равно, каждый раз как увижу – не могу, поражаюсь. Всего-то в ней два медных диска с чайное блюдце, миллиметров пять толщиной, и расстояние между дисками миллиметров четыреста, и, кроме этого расстояния, ничего между ними нет. То есть совсем ничего, пусто. Можно туда просунуть руку, можно и голову, если ты совсем обалдел от изумления, – пустота и пустота, один воздух. И при всем при том что-то между ними, конечно, есть, сила какая-то, как я это понимаю, потому что ни прижать их, эти диски, друг к другу, ни растащить их никому еще не удавалось.

Нет, ребята, тяжело эту штуку описать, если кто не видел, очень уж она проста на вид, особенно когда приглядишься и поверишь, наконец, своим глазам. Это все равно что стакан кому-нибудь описывать или, не дай бог, рюмку: только пальцами шевелишь и чертыхаешься от полного бессилия. Ладно, будем считать, что вы все поняли, а если кто не понял, возьмите институтские «Доклады» – там в любом выпуске статьи про эти «пустышки» с фотографиями...

В общем, Кирилл бьется с этими «пустышками» уже почти год. Я у него с самого начала, но до сих пор не понимаю толком, чего он от них

добивается, да, честно говоря, и понять особенно не стремлюсь. Пусть он сначала сам поймет, сам разберется, вот тогда я его, может быть, послушаю. А пока мне ясно одно: надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь «пустышку» раскурочить, кислотами ее протравить, под прессом расплющить, расплавить в печи. И вот тогда станет ему все понятно, будет ему честь и хвала, и вся мировая наука аж содрогнется от удовольствия. Но покуда, как я понимаю, до этого еще очень далеко. Ничего он покуда не добился, замучился только вконец, серый какой-то стал, молчаливый, и глаза у него сделались как у больного пса, даже слезятся. Будь на его месте кто еще, напоил бы я его в дым, свел бы к хорошей девке, чтобы расшевелила, а наутро бы снова напоил и снова к девке, к другой, и был бы он у меня через неделю как новенький – уши торчком, хвост пистолетом. Только вот Кириллу это лекарство не подходит – не стоит и предлагать, не та порода.

Стоим, значит, мы с ним в хранилище, смотрю я на него, какой он стал, как у него глаза запали, и жалко мне его стало, сам не знаю как. И тогда я решился. То есть даже не сам я решился, а словно меня кто-то за язык потянул.

– Слушай, – говорю, – Кирилл...

А он как раз стоит, держит на весу последнюю «пустышку», и с таким видом, словно так бы в нее и влез.

– Слушай, – говорю, – Кирилл! А если бы у тебя была полная «пустышка», а?

– Полная пустышка? – переспрашивает он и брови сдвигает, будто я с ним по-тарабарски заговорил.

– Ну да, – говорю. – Эта твоя гидромагнитная ловушка, как ее... объект семьдесят семь-бэ. Только с дерьмом каким-то внутри, с синеньким.

Вижу, начало до него доходить. Поднял он на меня глаза, прищурился, и появился у него там, за собачьей слезой, какой-то проблеск разума, как он сам обожает выражаться.

– Постой, – говорит он. – Полная? Вот такая же штука, только полная?

– Ну да.

– Где?

Все, вылечился мой Кирилл. Уши торчком, хвост пистолетом.

– Пойдем, – говорю, – покурим.

Он живо сунул «пустышку» в сейф, прихлопнул дверцу, запер на три с половиной оборота, и пошли мы с ним обратно в лабораторию. За пустую «пустышку» Эрнест дает четыреста монет наличными, а за полную я бы из него, сукина сына, всю его поганую кровь выпил, но хотите верьте, хотите

нет, а я об этом даже не подумал, потому что Кирилл у меня ну просто ожил, снова стал как струна, аж звенит весь, и по лестнице скачет через четыре ступеньки, закурить человеку не дает. В общем, все я ему рассказал: и какая она, и где лежит, и как к ней лучше всего подобраться. Он сразу же вытащил карту, нашел этот гараж, пальцем его прижал, посмотрел на меня и, ясное дело, сразу все про меня понял, да и чего здесь было не понять...

– Ай да ты! – говорит он, а сам улыбается. – Ну что же, надо идти. Давай прямо завтра утром. В девять я закажу пропуска и «галошу», а в десять благословясь выйдем. Давай?

– Давай, – говорю. – А кто третий?

– А зачем нам третий?

– Э, нет, – говорю. – Это тебе не пикник с девочками. А если что-нибудь с тобой случится? Зона, – говорю. – Порядок должен быть.

Он слегка усмехнулся, пожал плечами:

– Как хочешь! Тебе виднее.

Еще бы не виднее! Конечно, это он свеликодушничал, для меня старался: третий лишний, сбегаем вдвоем, и все будет шито-крыто, никто про тебя не догадается. Да только я знаю, институтские вдвоем в Зону не ходят. У них такой порядок: двое дело делают, а третий смотрит и, когда его потом спросят, – расскажет.

– Лично я бы взял Остина, – говорит Кирилл. – Но ты его, наверное, не захочешь. Или ничего?

– Нет, – говорю. – Только не Остина. Остина ты в другой раз возьмешь.

Остин парень неплохой, смелость и трусость у него в нужной пропорции, но он, по-моему, уже отмеченный. Кириллу этого не объяснишь, но я-то вижу: вообразил человек о себе, будто Зону знает и понимает до конца, – значит, скоро гробанется. И пожалуйста. Только без меня.

– Ну хорошо, – говорит Кирилл. – А Тендер?

Тендер – это его второй лаборант. Ничего мужик, спокойный.

– Староват, – говорю я. – И дети у него...

– Ничего. Он в Зоне уже бывал.

– Ладно, – говорю. – Пусть будет Тендер.

В общем, он остался сидеть над картой, а я поскакал прямиком в «Боржч», потому что жрать хотелось невмоготу и в глотке пересохло.

Ладно. Являюсь я утром, как всегда, к девяти, предъявляю пропуск, а в проходной дежурит этот дылдоватый сержант, которого я в прошлом году отметелил, когда он по пьяному делу стал приставать к Гуте.

– Здорово, – он мне говорит. – Тебя, – говорит, – Рыжий, по всему

Институту ищут...

Тут я его так вежливенько прерываю:

– Я тебе не Рыжий, – говорю. – Ты мне в приятели не набивайся, шведская оглобля.

– Господи, Рыжий! – говорит он в изумлении. – Да тебя же все так зовут.

А я перед Зоной взвинченный, да еще трезвый вдобавок – взял я его за портупею и во всех подробностях выдал, кто он такой есть и почему от своей родительницы произошел. Он плюнул, вернул мне пропуск и уже без всех этих нежностей:

– Рэдрик Шухарт, – говорит, – вам приказано немедленно явиться к уполномоченному отдела безопасности капитану Херцогу.

– Вот то-то, – говорю я. – Это другое дело. Учись, сержант, в лейтенанты выбьешься.

А сам думаю: это что еще за новости? Какого это для понадобился я капитану Херцогу в служебное время? Ладно, иду являться. У него кабинет на третьем этаже, хороший кабинет, и решетки там на окнах, как в полиции. Сам Вилли сидит за своим столом, сипит своей трубкой и разводит писанину на машинке, а в углу копается в железном шкафу какой-то сержантик, новый какой-то, не знаю я его. У нас в Институте этих сержантов больше, чем в дивизии, да все такие дородные, румяные, кровь с молоком, – им в Зону ходить не надо, и на мировые проблемы им наплевать.

– Здравствуйте, – говорю я. – Вызывали?

Вилли смотрит на меня как на пустое место, отодвигает машинку, кладет перед собой толстенную папку и принимается ее листать.

– Рэдрик Шухарт? – говорит.

– Он самый, – отвечаю, а самому смешно – сил нет. Нервное такое хихиканье подмывает.

– Сколько времени работаете в Институте?

– Два года, третий.

– Состав семьи?

– Один я, – говорю. – Сирота.

Тогда он поворачивается к своему сержантику и строго ему приказывает:

– Сержант Луммер, ступайте в архив и принесите дело номер сто пятьдесят.

Сержантик козырнул и смылся, а Вилли захлопнул папку и сумрачно так спрашивает:

– Опять за старое взялся?

– За какое такое старое?

– Сам знаешь, за какое. Опять на тебя материал пришел.

Так, думаю.

– И откуда материал?

Он нахмурился и стал в раздражении колотить своей трубкой по пепельнице.

– Это тебя не касается, – говорит. – Я тебя по старой дружбе предупреждаю: брось это дело, брось навсегда. Ведь во второй раз сцапают – шестью месяцами не отделаешься. А из Института тебя вышибут немедленно и навсегда, понимаешь?

– Понимаю, – говорю. – Это я понимаю. Не понимаю только, какая же это сволочь на меня настучала...

Но он уже опять смотрит на меня оловянными глазами, сипит пустой трубкой и знай себе листает папку. Это, значит, вернулся сержант Луммер с делом номер сто пятьдесят.

– Спасибо, Шухарт, – говорит капитан Вилли Херцог по прозвищу Боров. – Это все, что я хотел выяснить. Вы свободны.

Ну, я пошел в раздевалку, натянул спецовочку, закурил, а сам все время думаю: откуда же это звон идет? Ежели из Института, то ведь это все вранье, никто здесь про меня ничего не знает и знать не может. А если телегу из полиции прислали... опять-таки, что они там могут знать, кроме моих старых дел? Может, Стервятник попался? Эта сволочь, чтобы себя выгородить, кого хочешь утопит. Но ведь и Стервятник обо мне теперь ничего не знает... Думал я, думал, ничего полезного не придумал и решил – наплевать! Последний раз ночью я в Зону ходил три месяца назад, хабар почти весь уже сбыл и деньги почти все растратил. С поличным не поймали, а теперь черта меня возьмешь, я скользкий.

Но тут, когда я уже поднимался по лестнице, меня вдруг осенило, да так осенило, что я вернулся в раздевалку, сел и снова закурил. Получалось, что в Зону-то мне идти сегодня нельзя. И завтра нельзя, и послезавтра. Получалось, что я опять у этих легавых жаб на заметке, не забыли они меня, а если и забыли, то им кто-то напомнил. И теперь уже неважно, кто именно. Никакой же сталкер, если он совсем не свихнулся, на пушечный выстрел к Зоне не подойдет, когда знает, что за ним следят. Мне сейчас в самый темный угол залезть надо. Какая, мол, Зона? Я туда, мол, и по пропускам-то не хожу который месяц! Что вы, понимаешь, привязались к честному лаборанту?

Обдумал я все это и вроде бы даже облегчение почувствовал, что в

Зону мне сегодня идти не надо. Только как это все поделикатнее сообщить Кириллу?

Я ему сказал прямо:

– В Зону не иду. Какие будут распоряжения?

Сначала он, конечно, вылупил на меня глаза. Потом, видно, что-то сообразил: взял меня за локоть, отвел к себе в кабинетик, усадил за свой столик, а сам примостился рядом на подоконнике. Закурили. Молчим. Потом он осторожно так меня спрашивает:

– Что-нибудь случилось, Рэд?

Ну что я ему скажу?

– Нет, – говорю, – ничего не случилось. Вчера вот в покер двадцать монет продул – здорово этот Нунан играет, шельма...

– Подожди, – говорит он. – Ты что, раздумал?

Тут я даже закряхтел от натуги.

– Нельзя мне, – говорю ему сквозь зубы. – Нельзя мне, понимаешь? Меня сейчас Херцог к себе вызывал.

Он обмяк. Опять у него несчастный вид сделался, и опять у него глаза стали как у больного пуделя. Передохнул он этак судорожно, закурил новую сигарету от окурка старой и тихо говорит:

– Можешь мне поверить, Рэд, я никому ни слова не сказал.

– Брось, – говорю. – Разве о тебе речь?

– Я даже Тендеру еще ничего не сказал. Пропуск на него выписал, а самого даже не спросил, пойдет он или нет...

Я молчу, курю. Смех и грех, ничего человек не понимает.

– А что тебе Херцог сказал?

– Да ничего особенного, – говорю. – Настучал кто-то на меня, вот и все.

Посмотрел он на меня как-то странно, соскочил с подоконника и стал ходить по своему кабинетику взад-вперед. Он по кабинетику бегает, а я сижу, дым пускаю и помалкиваю. Жалко мне его, конечно, и обидно, что так по-дурацки получилось: вылечил, называется, человека от меланхолии. А кто виноват? Сам я и виноват. Поманил дитятю пряником, а пряник-то в заначке, а заначку сердитые дяди стерегут... Тут он перестает бегать, останавливается около меня и, глядя куда-то вбок, неловко спрашивает:

– Слушай, Рэд, а сколько она может стоить – полная «пустышка»?

Я сначала его не понял, подумал сначала, что он ее еще где-нибудь купить рассчитывает, да только где ее такую купишь, может быть, она всего одна такая на свете, да и денег у него на это не хватило бы: откуда у него деньги – у иностранного специалиста, да еще русского? А потом меня

словно обожгло: что же это он, поганец, думает – я из-за зелененьких эту бодягу развел? Ах ты, думаю, стервец, да за кого же ты меня принимаешь?.. Я уже рот раскрыл, чтобы обложить его в бога, в сердце, в печень. И осекся. Потому что, действительно, а за кого ему меня еще принимать? Сталкер – он сталкер и есть, ему бы только зелененьких побольше, он за зелененькие жизнью торгует. Вот и получалось, что вчера я, значит, удочку забросил, а сегодня приманку вожу, цену набиваю.

У меня даже язык отнялся от таких мыслей, а он на меня смотрит пристально, глаз не сводит, и в глазах его я вижу не презрение даже, а понимание, что ли. И тогда я спокойно ему объяснил.

– К гаражу, – говорю, – еще никто никогда с пропуском не ходил. Туда еще трасса не провешена, ты это знаешь. Теперь возвращаемся мы назад, и твой Тендер начинает хвастаться, как махнули мы прямо к гаражу, взяли что надо и сразу обратно. Словно бы на склад сходили. И каждому будет ясно, – говорю, – что заранее мы знали, за чем идем. А это значит, что кто-то нас навел. А уж кто из нас троих навел – здесь комментариев не нужно. Понимаешь, чем это для меня пахнет?

Кончил я свою речь, смотрим мы друг другу в глаза и молчим. Потом он вдруг хлопнул ладонью о ладонь, руки потер и бодрячком этаким объявляет:

– Ну что ж, нет так нет. Я тебя понимаю, Рэд, и осуждать не могу. Пойду сам. Авось обойдется. Не в первый раз...

Расстелил он на подоконнике карту, уперся руками, сгорбился над ней, и вся его бодрость прямо-таки на глазах испарилась. Слышу – бормочет:

– Сто двадцать метров... даже сто двадцать два... И что там еще в самом гараже... Нет, не возьму я Тендера. Как ты думаешь, Рэд, может, не стоит Тендера брать? Все-таки у него двое детей...

– Одного тебя не выпустят, – говорю я.

– Ничего, выпустят... – бормочет он. – У меня все сержанты знакомые... и лейтенанты. Не нравятся мне эти грузовики! Тринадцать лет под открытым небом стоят, а все как новенькие... В двадцати шагах бензовоз – ржавый, как решето, а они будто только что с конвейера... Ох уж эта Зона!

Поднял он голову от карты и уставился в окно. И я тоже уставился в окно. Стекла в наших окнах толстые, свинцовые, а за стеклами – Зона-матушка, вот она, рукой подать, вся как на ладони с тринадцатого этажа...

Так вот посмотришь на нее – земля как земля. Солнце на нее как на всю остальную землю светит, и ничего вроде бы на ней не изменилось, все вроде бы как тринадцать лет назад. Папаша, покойник, посмотрел бы и

ничего бы особенного не заметил, разве что спросил бы: чего это завод не дымит, забастовка, что ли?.. Желтая порода конусами, кауперы на солнышке отсвечивают, рельсы, рельсы, рельсы, на рельсах паровозик с платформами... Индустриальный пейзаж, одним словом. Только людей нет. Ни живых, ни мертвых. Вон и гараж виден: длинная серая кишка, ворота нараспашку, а на асфальтовой площадке грузовики стоят. Тринадцать лет стоят, и ничего им не делается. Это он правильно насчет грузовиков отметил – соображает. Упаси бог между двумя машинами сунуться, их надо стороной обходить... Там одна трещина есть в асфальте, если только с тех пор колючкой не заросла... Сто двадцать два метра – это откуда же он считает? А! Наверное, это он от крайней вешки считает. Правильно, оттуда больше и не будет. Все-таки продвигаются очкарики помаленьку... Смотри, до самого отвала дорогу провесили, да как ловко провесили! Вон она, та канавка, где Слизняк гробанулся, всего в двух метрах от ихней дороги... А ведь говорил Мослатый Слизняку: «Держись, дурак, от канав подальше, а то ведь и хоронить нечего будет...» Как в воду глядел – нечего хоронить... С Зоной ведь так: с хабаром вернулся – чудо, живой вернулся – удача, патрульная пуля – везенье, а все остальное – судьба...

Тут я посмотрел на Кирилла и вижу: он за мной искоса наблюдает. И лицо у него такое, что я в этот момент снова все перерешил. Ну их, думаю, всех к черту, что они, в конце концов, жабы, сделать могут? Он бы мог и вообще ничего не говорить, но он сказал.

– Лаборант Шухарт, – говорит. – Из официальных – подчеркиваю: из официальных! – источников я получил сведения, что осмотр гаража может принести большую пользу науке. Есть предложение осмотреть гараж. Премиальные гарантирую. – А сам улыбается что твоя майская роза.

– Из каких же это официальных источников? – спрашиваю я и тоже ему улыбаюсь как дурак.

– Это конфиденциальные источники, – отвечает он. – Но вам я могу сообщить... – Тут он перестал улыбаться и насупился. – Скажем, от доктора Дугласа.

– А, – говорю, – от доктора Дугласа... От какого же это Дугласа?

– От Сэма Дугласа, – говорит он сухо. – Он погиб в прошлом году.

У меня мурашки по коже пошли. Так и так тебя! Кто же перед выходом говорит о таких вещах? Хоть кол им, очкарикам, на голове теши – ничего не соображают... Ткнул я окурок в пепельницу и говорю:

– Ладно. Где твой Тендер? Долго мы его еще ждать будем?

Словом, больше мы на эту тему не говорили. Кирилл позвонил в ППС, заказал «летучую галошу», а я взял карту и посмотрел, что у них там

нарисовано. Ничего себе нарисовано, в норме. Фотографическим путем – сверху и с большим увеличением. Даже рубчики видны на покрышке, которая валяется у ворот гаража. Нашему бы брату сталкеру такую карту... А впрочем, черта от нее толку ночью-то, когда задницу звездам показываешь и собственных рук не видно...

А тут и Тендер заявился. Красный, запыхался. Дочка у него заболела, за доктором бегал. Извиняется за опоздание. Ну, мы ему и поднесли подарочек – в Зону идти. Сперва он даже запыхиваться забыл, сердяга. «Как так в Зону? – говорит. – Почему – я?» Однако, услыхав про двойные премиальные и про то, что Рэд Шухарт тоже идет, оправился и задышал снова.

В общем, спустились мы в «будуар», Кирилл смотался за пропусками, предъявили мы их еще одному сержанту, и выдал нам этот сержант по спецкостюму. Вот это полезная вещь. Перекрасить бы его из красного в какой-нибудь подходящий цвет – любой сталкер за такой костюм пятьсот монет отвалит, глазом не моргнет. Я уж давно поклялся, что изловчусь как-нибудь и сопру один обязательно. На первый взгляд – ничего особенного, костюм такой вроде водолазного и шлем как у водолаза, с большим окном впереди. Даже не вроде водолазного, а скорее как у летчика-реактивщика или, скажем, у космонавта. Легкий, удобный, нигде не жмет, и от жары в нем не потеешь. В таком костюмчике и в огонь можно, и газ через него никакой не проникает. Пуля, говорят, и то не берет. Конечно, и огонь, и иприт какой-нибудь, и пуля – это все земное, человеческое. В Зоне ничего этого нет, в Зоне не этого надо опасаться. В общем, что там говорить, и в спецкостюмах тоже мрут как миленькие. Другое дело, что без них мерли бы, может быть, еще больше. От «жгучего пуха», например, эти костюмы на сто процентов спасают. Или от плевков «чертовой капусты»... Ладно.

Натянули мы спецкостюмы, пересыпал я гайки из мешочка в набедренный карман, и побрели мы через весь институтский двор к выходу в Зону. Так здесь у них это заведено, чтобы все видели: вот, мол, идут герои науки живот свой класть на алтарь во имя человечества, знания и святого духа, аминь. И точно – во все окна аж до пятнадцатого этажа хайла сочувствующие повыставлялись, только что платочками не машут и оркестра нет.

– Шире шаг, – говорю я Тендеру. – Брюхо подбери, слабосильная команда! Благодарное человечество тебя не забудет!

Посмотрел он на меня, и вижу я, что ему не до шуток. И правильно – какие уж тут шутки!.. Но когда в Зону выходишь, то уж одно из двух: либо плачь, либо шути, – а я сроду не плакал. Посмотрел я на Кирилла. Ничего

держится, только губами шевелит, вроде молится.

– Молишься? – спрашиваю. – Молись, – говорю, – молись! Дальше в Зону – ближе к небу...

– Что? – спрашивает он.

– Молись! – кричу. – Сталкеров в рай без очереди пропускают!

А он вдруг улыбнулся и похлопал меня ладонью по спине: не бойся, мол, со мной не пропадешь, а если и пропадешь, то умираем, мол, один раз. Нет, смешной он парень, ей-богу.

Сдали мы пропуска последнему сержанту – на этот раз, в порядке исключения, это лейтенант оказался, я его знаю, у него папаша кладбищенскими оградами в Рексополе торгует, – а «летучая галоша» уже тут как тут, подогнали ее ребята из ППС и поставили у самой проходной. Все уже тут как тут: и «скорая помощь», и пожарники, и наша доблестная гвардия, бесстрашные спасатели, – куча отъевшихся бездельников со своим вертолетом. Глаза б мои на них не глядели!

Поднялись мы на «галошу», Кирилл встал за управление и говорит мне:

– Ну, Рэд, командуй.

Я без всякой торопливости приспустил «молнию» на груди, достал из-за пазухи флягу, хлебнул как следует, крышечку завинтил и сунул флягу обратно за пазуху. Не могу без этого. Который раз в Зону иду, а без этого – нет, не могу. Они оба на меня смотрят и ждут.

– Так, – говорю. – Вам не предлагаю, потому что иду с вами впервые и не знаю, как на вас действует спиртное. Порядок у нас будет такой. Все, что я сказал, выполнять мигом и беспрекословно. Если кто замешкается или там начнет вопросы задавать – буду бить по чему попало, извиняюсь заранее. Вот я, например, тебе, господин Тендер, прикажу: на руки встань и иди. И в тот же момент ты, господин Тендер, должен зад свой толстый задрать и выполнять, что тебе сказано. А не выполнишь – дочку свою больную, может, и не увидишь больше. Понятно? Но уж я позабочусь, чтобы ты увидел.

– Ты, Рэд, главное, приказать не забудь, – сипит Тендер, а сам весь красный, уже потеет и губами шлепает. – Уж я на зубах пойду, не то что на руках. Не новичок.

– Вы для меня оба новички, – говорю. – А уж приказать я не забуду, будь покоен. Кстати, ты «галошу» водить умеешь?

– Умеет, – говорит Кирилл. – Хорошо водит.

– Хорошо так хорошо, – говорю. – Тогда с богом. Опустить забрала! Малый вперед по вешкам, высота три метра! У двадцать седьмой вешки –

остановка.

Кирилл поднял «галошу» на три метра и дал малый вперед, а я незаметно повернул голову и тихонько дунул через левое плечо. Смотрю – гвардейцы-спасатели в свой вертолет полезли, пожарники встали от почтительности, лейтенант в дверях проходной честь нам, дурак, отдает, а над всеми над ними – здоровенный плакат, уже выцветший: «Добро пожаловать, господа пришельцы!» Тендер нацелился было им всем ручкой сделать, но я ему так в бок двинул, что у него сразу эти церемонии из головы вылетели. Я тебе покажу – прощаться. Ты у меня попрощаешься, морда твоя толстозадая!..

Поплыли.

Справа у нас был Институт, слева – Чумной квартал, а мы шли от вешки к вешке по самой середине улицы. Ох и давно же по этой улице никто не ходил и не ездил! Асфальт весь потрескался, трещины проросли травой, но это еще была наша трава, человеческая. А вот на тротуаре по левую руку росла уже черная колючка, и по этой колючке было видно, как четко Зона себя обозначает: черные заросли у самой мостовой словно косой срезало. Нет, пришельцы эти все-таки приличные ребята были. Нагадили, конечно, много, но сами же своему дерьму обозначили ясную границу. Ведь даже «жгучий пух» на нашу сторону из Зоны – ни-ни, хотя, казалось бы, его ветром как попало мотает...

Дома в Чумном квартале облупленные, мертвые, однако стекла в окнах почти везде целы, грязные только и потому как бы слепые. А вот ночью, когда проползаешь мимо, очень хорошо видно, как внутри там светится, словно спирт горит, язычками такими голубоватыми. Это «ведьмин студень» из подвалов дышит. А вообще так вот посмотришь – квартал как квартал, дома как дома, ремонта, конечно, требуют, но ничего особенного в них нет, людей только не видно. Вот в этом кирпичном доме, между прочим, жил наш учитель арифметики по прозвищу Запятая. Зануда он был и неудачник, вторая жена у него ушла перед самым Посещением, а у дочки бельмо на глазу было, так мы ее, помню, до слез задразнивали. Когда паника началась, он со всеми прочими из этого квартала в одном белье до самого моста бежал – все шесть километров без передышки. Потом долго чумкой болел, кожа с него слезла, ногти. Почти все, кто в этом квартале жил, чумкой переболели, поэтому-то квартал и называется Чумным. Некоторые померли, но главным образом старики, да и то не все. Я, например, думаю, что они не от чумки померли, а от страху. Страшно было очень.

А вот в тех трех кварталах люди слепли. Теперь эти кварталы так и

называются: Первый Слепой, Второй Слепой... Не до конца слепли, а так, вроде куриной слепоты. Между прочим, рассказывают, что ослепли они будто бы не от вспышки какой-нибудь там, хотя вспышки, говорят, тоже были, а ослепли они от сильного грохота. Загремело, говорят, с такой силой, что сразу ослепли. Доктора им: да не может этого быть, вспомните хорошенько! Нет, стоят на своем: сильнейший гром, от которого и ослепли. И при этом никто, кроме них, грома не слыхал...

Да, будто здесь ничего не случилось. Вон киоск стоит стеклянный, целехонек. Детская коляска в воротах – даже бельишко в ней вроде бы чистое... Антенны вот только подвели – обросли какими-то волосами наподобие мочала. Очкарики наши на эти антенны давно уже зубы точат: интересно, видите ли, им посмотреть, что это за мочало – нигде такого больше нет, только в Чумном квартале и только на антеннах. А главное – тут же, рядом ведь, под самыми окнами. В прошлом году догадались: спустили с вертолета якорь на стальном тросе, зацепили одну мочалку. Только он потянул – вдруг «пш-ш-ш»! Смотрим – от антенны дым, от якоря дым, и сам трос уже дымится, да не просто дымится, а с ядовитым таким шипением, вроде как гремучая змея. Ну, пилот, даром что лейтенант, быстро сообразил, что к чему, трос выбросил и сам деру дал... Вон он, этот трос, висит, до самой земли почти свисает и весь мочалом оброс...

Так потихоньку-полегоньку доплыли мы до конца улицы, до поворота. Кирилл посмотрел на меня: сворачивать? Я ему махнул: самый малый! Повернула наша «галоша» и пошла самым малым над последними метрами человеческой земли. Тротуар ближе, ближе, вот уже и тень «галоши» на колючки упала... Все, Зона! И сразу такой озноб по коже. Каждый раз у меня этот озноб, и до сих пор я не знаю, то ли это так Зона меня встречает, то ли нервишки у сталкера шалят. Каждый раз думаю: вернусь и спрошу, у других бывает то же самое или нет, и каждый раз забываю.

Ну ладно, ползем потихоньку над бывшими огородами, двигатель под ногами гудит ровно, спокойно – ему-то что, его не тронут. И тут мой Тендер не выдержал. Не успели мы еще до первой вешки дойти, как принялся он болтать. Ну, как обычно новички болтают в Зоне: зубы у него стучат, сердце заходится, себя плохо помнит, и стыдно ему, и удержаться не может. По-моему, это у них вроде поноса, от человека не зависит, а льет себе и льет. И чего только они не болтают! То начнет пейзажем восхищаться, то примется высказывать свои соображения по поводу пришельцев, а то и вообще к делу не относящееся – вот как Тендер сейчас: завел про свой новый костюм и уже остановиться не может. Сколько он заплатил за него, да какая шерсть тонкая, да как ему портной пуговицы

менял...

– Замолчи, – говорю.

Он грустно так на меня посмотрел, губами пошлепал – и опять: сколько шелку на подкладку пошло. А огороды уже кончаются, под нами уже глинистый пустырь, где раньше городская свалка была, и чувствую я – ветерком здесь тянет. Только что никакого ветра не было, а тут вдруг потянуло, пылевые чертики побежали, и вроде бы я что-то слышу.

– Молчи, сволочь! – говорю я Тендеру.

Нет, никак не может остановиться. Теперь про конский волос завел. Ну, тогда извини.

– Стой, – говорю Кириллу.

Он немедленно тормозит. Реакция хорошая, молодец. Беру я Тендера за плечо, поворачиваю его к себе и с размаху – ладонью ему по забралу. Треснулся он, бедняга, носом в стекло, глаза закрыл и замолчал. И как только он замолчал, я услышал: «Тр-р-р... Тр-р-р... Тр-р-р...». Кирилл на меня смотрит, зубы стиснуты, рот оскален. Я рукой ему показываю, – стой, мол, стой, ради бога, не шевелись. Но ведь он тоже этот треск слышит, и, как у всех новичков, у него сразу позыв – действовать, делать что-нибудь.

– Задний ход? – шепчет.

Я ему отчаянно головой мотаю, кулаком перед самым шлемом трясу – нишкни, мол. Эх, мать честная! С этими новичками не знаешь, куда смотреть – то ли в поле смотреть, то ли на них. И тут я про все забыл. Понад кучей старого мусора, над битым стеклом и тряпьем разным поползло этакое дрожание, трепет какой-то, ну как горячий воздух в полдень над железной крышей, перевалило через бугор и пошло, пошло, пошло нам наперерез, рядом с самой вешкой, над дорогой задержалось, постояло с полсекунды – или это мне показалось только? – и утянулось в поле, за кусты, за гнилые заборы, туда, к кладбищу старых машин.

Мать их, очкариков, в чертову душу, надо же, сообразили, где дорогу провесить: по выемке! Ну, и я тоже хорош – куда это мои глаза дурацкие глядели, когда я ихней картой восхищался?

– Давай малый вперед, – говорю я Кириллу.

– А что это было?

– А хрен его знает!.. Было – и нету, и слава богу. И заткнись, пожалуйста. Ты сейчас не человек, понял? Ты сейчас – машина, рычаг мой, шестерня...

Тут я спохватился, что меня, похоже, самого словесный понос одолевать начинает.

– Все, – говорю. – Ни слова больше.

Хлебнуть бы сейчас! Достать из-за пазухи родимую, свинтить колпачок, не торопясь, горлышко на нижние зубы положить и голову задрать, чтобы само полилось, в самую глотку чтобы, продрало бы, слезу выточило... А потом флягу покачать и еще раз приложиться... Барахло эти скафандры, вот что я вам скажу. Без скафандра я, ей-богу, столько прожил и еще столько же проживу, а без хорошего глотка в такой вот момент... Ну да ладно!

Ветерок вроде бы упал, и ничего дурного вокруг не слышно, только двигатель гудит спокойно так, сонно. А вокруг солнце, а вокруг жара... Над гаражом марево... Все вроде бы нормально, вешки одна за другой мимо проплывают. Тендер молчит, Кирилл молчит – шлифуются новички. Ничего, ребята, в Зоне тоже дышать можно, если умеючи... А вот и двадцать седьмая вешка – железный шест и красный круг на нем с номером 27. Кирилл на меня посмотрел, кивнул я ему, и наша «галоша» остановилась.

Цветочки кончились, пошли ягодки. Теперь самое главное для нас – полнейшее спокойствие. Торопиться некуда, ветра нет, видимость хорошая, все как на ладони. Вон канава проходит, где Слизняк гробанулся, – пестрое там что-то виднеется, может, тряпье его. Паршивый был парень, упокой господи его душу, жадный, глупый, грязный, только такие вот со Стервятником и связываются, таких Стервятник Барбридж за версту видит и под себя подгребает... А вообще-то Зона не спрашивает, плохой ты или хороший, и спасибо тебе, выходит, Слизняк: дурак ты был, даже имени настоящего твоего никто не помнит, а умным людям показал, куда ступать нельзя... Так. Конечно, лучше всего добраться бы нам теперь до асфальта. Асфальт ровный, на нем все виднее, и трещина там эта знакомая. Только вот не нравятся мне эти бугорочки! Если по прямой к асфальту идти, проходить придется как раз между ними. Ишь стоят, будто ухмыляются, ожидают. Нет, промежду вами я не пойду. Вторая заповедь сталкера: либо справа, либо слева все должно быть чисто на сто шагов. А вот через левый бугорочек перевалить можно... Правда, не знаю я, что там за ним. На карте как будто ничего не было, но кто же картам верит?..

– Слушай, Рэд, – шепчет мне Кирилл. – Давай прыгнем, а? На двадцать метров вверх и сразу вниз – вот мы и у гаража, а?

– Молчи, дурак, – говорю я. – Не мешай, молчи.

Вверх ему. А долбанет тебя там на двадцати метрах? Костей ведь не соберешь. Или «комариная плешь» где-нибудь здесь объявится – тут не то что костей, мокрого места не останется. Ох уж эти мне рисковые, не терпится ему, видишь ты: давай прыгнем... В общем, как до бугра идти –

ясно, а там постоим посмотрим. Сунул я руку в карман, вытащил горсть гаек. Показал их Кириллу на ладони и говорю:

– Мальчика-с-пальчик помнишь? Проходили в школе? Так вот сейчас будет все наоборот. Смотри! – И бросил я первую гаечку. Недалеко бросил, как положено. Метров на десять. Гаечка прошла нормально. – Видел?

– Ну? – говорит.

– Не ну, а видел, я спрашиваю?

– Видел.

– Теперь самым малым веди «галошу» к этой гаечке и в двух метрах до нее не доходя остановись. Понял?

– Понял. Гравиконцентраты ищешь?

– Что надо, то и ищу. Подожди, я еще одну брошу. Следи, куда упадет, и глаз с нее больше не спускай.

Бросил я еще одну гайку. Само собой, тоже прошла нормально и легла рядом с первой.

– Давай, – говорю.

Тронул он «галошу». Лицо у него спокойное и ясное сделалось: видно, все понял. Они ведь все, очкарики, такие. Им главное – название придумать. Пока не придумал, смотреть на него жалко, дурак дураком. Ну а как придумал какой-нибудь гравиконцентратор – тут ему словно все понятно становится, и сразу ему жить легче.

Прошли мы первую гайку, прошли вторую, третью. Тендер вздыхает, с ноги на ногу переминается и то и дело зевает от нервности с этаким собачьим прискуливанием – томно ему, бедняге. Ничего, это ему на пользу. Пяток кило он сегодня скинет, это лучше всякой диеты... Бросил я четвертую гаечку. Как-то она не так прошла. Не могу объяснить, в чем дело, но чувствую – не так, и сразу хвать Кирилла за руку.

– Стой, – говорю. – Ни с места...

А сам взял пятую и кинул повыше и подальше. Вот она, «плешь комариная»! Гаечка вверх полетела нормально, вниз – тоже вроде нормально было пошла, но на полпути ее словно кто-то вбок дернул, да так дернул, что она в глину ушла и с глаз исчезла.

– Видал? – говорю я шепотом.

– В кино только видел, – говорит, а сам весь вперед подался, того и гляди с «галоши» сверзится. – Брось еще одну, а?

Смех и грех. Одну! Да разве здесь одной обойдешься? Эх, наука!.. Ладно, разбросал я еще восемь гаек, пока «плешь» не обозначил. Честно говоря, и семи хватило бы, но одну я специально для него бросил, в самую середку, пусть полюбуется на свой концентрат. Ахнула она в глину, словно

это не гаечка упала, а пятипудовая гиря. Ахнула – и только дырка в глине. Он даже крякнул от удовольствия.

– Ну ладно, – говорю. – Побаловались, и хватит. Сюда смотри. Кидаю проходную, глаз с нее не спускай.

Короче, обошли мы «комариную плешь» и поднялись на бугорочек. Бугорочек этот – как кот нагадил, я его до сегодняшнего дня вообще не примечал. Да... Ну зависли мы над бугорочком, до асфальта рукой подать, шагов двадцать. Место чистейшее – каждую травинку видно, каждую трещинку. Казалось бы, ну что? Кидай гайку, и с богом.

Не могу кинуть гайку.

Сам не понимаю, что со мной делается, но гайку кинуть никак не решусь.

– Ты что, – говорит Кирилл, – чего мы стоим?

– Подожди, – говорю. – Замолчи, ради бога.

Сейчас, думаю, кину гаечку, спокойненько пройдем, как по маслу проплывем, травинка не шелохнется, – полминуты, а там и асфальт... И тут вдруг потом меня как прошибет! Даже глаза залило, и уже знаю я, что гаечку туда кидать не буду. Влево – пожалуйста, хоть две. И дорога туда длиннее, и камушки какие-то я там вижу не шибко приятные, но туда я гаечку кинуть берусь, а прямо – ни за что. И кинул я гаечку влево. Кирилл ничего не сказал, повернул «галошу», подвел к гайке и только тогда на меня посмотрел. И вид у меня, должно быть, был очень нехорош, потому что он тут же отвел глаза.

– Ничего, – я ему говорю. – Кривой дорогой поближе будет. – И кинул последнюю гаечку на асфальт.

Дальше дело пошло проще. Нашел я свою трещинку, чистая она оказалась, милая моя, никакой дрянью не заросла, цвет не переменила, смотрел я на нее и тихо радовался. И довела она нас до самых ворот гаража лучше всяких вешек.

Я приказал Кириллу снизиться до полутора метров, лег на брюхо и стал смотреть в раскрытые ворота. Сначала с солнца ничего не было видно – черно и черно, потом глаза привыкли, и вижу я, что в гараже с тех пор ничего вроде бы не переменилось. Тот самосвал как стоял на яме, так и стоит, целехонький стоит, без дыр, без пятен, и на цементном полу вокруг все как прежде – потому, наверное, что «ведьмина студня» в яме мало скопилось, не выплескивался он с тех пор ни разу. Одно мне только не понравилось: в самой глубине гаража, где канистры стоят, серебрится что-то. Раньше этого не было. Ну ладно, серебрится так серебрится, не возвращаться же теперь из-за этого! Ведь не как-нибудь особенно

серебрится, а чуть-чуть, самую малость, и спокойно так, вроде бы даже ласково... Поднялся я, отряхнул брюхо и поглядел по сторонам. Вон грузовики на площадке стоят, действительно, как новенькие, – с тех пор как я последний раз здесь был, они, по-моему, еще новее стали, а бензовоз – тот совсем, бедняга, проржавел, скоро разваливаться начнет. Вон и покрышка валяется, которая у них на карте...

Не понравилась мне эта покрышка. Тень от нее какая-то ненормальная. Солнце нам в спину, а тень к нам протянулась. Ну да ладно, до нее далеко. В общем, ничего, работать можно. Только что это там все-таки серебрится? Или это мерещится мне? Сейчас бы закурить, присесть тихонечко и поразмыслить – почему над канистрами серебрится, почему рядом не серебрится... Тень почему такая от покрышки... Стервятник Барбридж про тени что-то рассказывал, диковинное что-то, но безопасное... С тенями здесь бывает. А вот что это там все-таки серебрится? Ну прямо как паутина в лесу на деревьях. Какой же это паучок ее там сплел? Ох, ни разу я еще жучков-паучков в Зоне не видел. И хуже всего, что «пустышка» моя как раз там, шагах в двух от канистр, валяется. Надо мне было тогда же ее и упереть, никаких бы забот сейчас не было. Но уж больно тяжелая, стерва, полная ведь – поднять-то я ее мог, но на горбу тащить, да еще ночью, да на карачках... А кто «пустышек» ни разу не таскал, пусть попробует: это все равно что пуд воды без ведер нести... Так идти, что ли? Надо идти. Хлебнуть бы сейчас... Повернулся я к Тендеру и говорю:

– Сейчас мы с Кириллом пойдем в гараж. Ты остаешься здесь за водителя. К управлению без моего приказа не притрагивайся, что бы ни случилось, хоть земля под тобой загорится. Если струсишь – на том свете найду.

Он серьезно мне покивал – не струшу, мол. Нос у него – что твоя слива, здорово я ему врезал... Ну, спустил я тихонечко аварийные блок-тросы, посмотрел еще раз на это серебрение, махнул Кириллу и стал спускаться. Встал на асфальт, жду, пока он спустится по другому тросу.

– Не торопись, – говорю ему. – Не спеши. Меньше пыли.

Стоим мы на асфальте, «галоша» рядом с нами покачивается, тросы под ногами ерзают. Тендер башку через перила выставил, на нас смотрит, и в глазах у него отчаяние. Надо идти. Я говорю Кириллу:

– Иди за мной шаг в шаг, в двух шагах позади, смотри мне в спину, не зевай.

И пошел. На пороге остановился, огляделся. Все-таки до чего же проще работать днем, чем ночью! Помню я, как лежал вот на этом самом пороге. Темно, как у негра в ухе, из ямы «ведьмин студень» языки

высовывает, голубые, как спиртовое пламя, и ведь что обидно – ничего, сволочь, не освещает, даже темнее из-за этих языков кажется. А сейчас – что! Глаза к сумраку привыкли, все как на ладони, даже в самых темных углах пыль видна. И действительно, серебрится там, нити какие-то серебристые тянутся от канистр к потолку – очень на паутину похоже. Может, паутина и есть, но лучше от нее подальше. Вот тут-то я и напортачил. Мне бы Кирилла рядом с собой поставить, подождать, пока и у него глаза к полутьме привыкнут, и показать ему эту паутину, пальцем в нее ткнуть. А я привык один работать – у самого глаза пригляделись, а про Кирилла я и не подумал.

Шагнул это я внутрь, и прямо к канистрам. Присел над «пустышкой» на корточки, к ней паутина вроде бы не пристала. Взялся я за один конец и говорю Кириллу:

– Ну, берись, да не урони – тяжелая...

Поднял я на него глаза, и горло у меня перехватило: ни слова не могу сказать. Хочу крикнуть: стой, мол, замри! – и не могу. Да и не успел бы, наверное, – слишком уж быстро все получилось. Кирилл шагает через «пустышку», поворачивается задом к канистрам и всей спиной – в это серебрение. Я только глаза закрыл. Все во мне обмерло, ничего не слышу – слышу только, как эта паутина рвется. Со слабым таким сухим треском, словно обыкновенная паутина лопается, но, конечно, погромче. Сижу я с закрытыми глазами, ни рук, ни ног не чувствую, а Кирилл говорит:

– Ну, что? – говорит. – Взяли?

– Взяли, – говорю.

Подняли мы «пустышку» и понесли к выходу, боком идем. Тяжеленная, стерва, даже вдвоем ее тащить нелегко. Вышли мы на солнышко, остановились у «галоши», Тендер к нам уже лапы протянул.

– Ну, – говорит Кирилл, – раз, два...

– Нет, – говорю, – погоди. Поставим сначала.

Поставили.

– Повернись, – говорю, – спиной.

Он без единого слова повернулся. Смотрю я – ничего у него на спине нет. Я и так и этак – нет ничего. Тогда я поворачиваюсь и смотрю на канистры. И там ничего нет.

– Слушай, – говорю я Кириллу, а сам все на канистры смотрю. – Ты паутину видел?

– Какую паутину? Где?

– Ладно, – говорю. – Счастлив наш бог. – А сам про себя думаю: сие, впрочем, пока неизвестно. – Давай, – говорю, – берись.

Взвалили мы «пустышку» на «галошу» и поставили ее на попа, чтобы не каталась. Стоит она, голубушка, – новенькая, чистенькая, на меди солнышко играет, и синяя начинка между медными дисками туманно так переливается, струйчато. И видно теперь, что не «пустышка» это, а именно вроде сосуда, вроде стеклянной банки с синим сиропом. Полюбовались мы на нее, вскарабкались на «галошу» сами и без лишних слов – в обратный путь.

Лафа этим ученым! Во-первых, днем работают. А во-вторых, ходить им тяжело только в Зону, а из Зоны «галоша» сама везет – есть у нее такое устройство, курсограф, что ли, которое ведет «галошу» точно по тому же курсу, по какому она сюда шла. Плывем мы обратно, все маневры повторяем, останавливаемся, повисим немного – и дальше, и над всеми моими гайками проходим, хоть собирай их обратно в мешок.

Новички мои, конечно, сразу воспрянули духом. Головами вертят вовсю, страха у них почти не осталось – одно любопытство да радость, что все благополучно обошлось. Принялись болтать. Тендер руками замахал и грозится, что вот сейчас пообедает – и сразу обратно в Зону, дорогу к гаражу провешивать, а Кирилл взял меня за рукав и принялся мне объяснять про этот свой гравиконцентрат, про «комариную плешь» то есть. Ну, я их не сразу, правда, но укоротил. Спокойненько так рассказал им, сколько дураков гробанулись на радостях на обратном пути. Молчите, говорю, и глядите как следует по сторонам, а то будет с вами как с Линдоном-Коротышкой. Подействовало. Даже не спросили, что случилось с Линдоном-Коротышкой. И хорошо. В Зоне по знакомой дороге сто раз благополучно пройдешь, а на сто первый гробанешься. Плывем в тишине, а я об одном думаю: как буду свинчивать крышечку. Так и этак представляю себе, как первый глоток сделаю, а перед глазами нет-нет да паутинка и блеснет.

Короче говоря, выбрались мы из Зоны, загнали нас с «галошей» вместе в «вошебойку», или, говоря по-научному, в санитарный ангар. Мыли нас там в трех кипятках и трех щелочах, облучали какой-то сволочью, обсыпали чем-то и снова мыли, потом высушили и сказали: «Валяйте, ребята, свободны!» Тендер с Кириллом поволокли «пустышку». Народу набежало смотреть – не протолкнешься, и ведь что характерно: все только смотрят и издают приветственные возгласы, а взяться и помочь усталым людям тащить – ни одного смельчака не нашлось... Ладно, меня это все не касается. Меня теперь ничто не касается...

Стянул я с себя спецкостюм, бросил его прямо на пол – холуи-сержанты подберут, – а сам двинул в душевую, потому что мокрый я был

весь с головы до ног. Заперся в кабинке, вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался к ней, как клоп. Сижу на лавочке, в коленках пусто, в голове пусто, в душе пусто, знай себе глотаю крепкое, как воду. Живой. Отпустила Зона. Отпустила, поганка. Стерва родимая. Подлая. Живой. Ни хрена новичкам этого не понять. Никому, кроме сталкера, этого не понять. И текут у меня по щекам слезы – то ли от крепкого, то ли сам не знаю отчего. Высосал флягу досуха – сам мокрый, фляга сухая. Одного последнего глотка, конечно, не хватило. Ну ладно, это поправимо. Теперь все поправимо. Живой. Закурил сигарету, сижу. Чувствую – отходить начал. Премиальные в голову пришли. Это у нас в Институте поставлено отчетливо. Прямо хоть сейчас иди и получай конвертик. А может, и сюда принесут, прямо в душевую.

Стал я потихоньку раздеваться. Снял часы, смотрю – а в Зоне-то мы пробыли пять часов с минутами, господа мои! Пять часов. Меня аж передернуло. Да, господа мои, в Зоне времени нет. Пять часов... А если разобраться, что такое для сталкера пять часов? Да плюнуть и растереть. А двенадцать часов не хочешь? А двое суток не хочешь? Когда за ночь не успел, целый день в Зоне лежишь рылом в землю и уже не молишься даже, а вроде бы бредишь, и сам не знаешь, живой ты или мертвый... А во вторую ночь дело сделал, подобрался с хабаром к кордону, а там патрули-пулеметчики, жабы, они же тебя ненавидят, им же тебя арестовывать никакого удовольствия нет, они тебя боятся до смерти, что ты заразный, они тебя шлепнуть стремятся, и все козыри у них на руках; иди потом доказывай, что шлепнули тебя незаконно... И значит, снова рылом в землю – молиться до рассвета и опять до темноты, а хабар рядом лежит, и ты даже не знаешь, то ли он просто лежит, то ли он тебя тихонько убивает. Или как Мослатый Исхак – застрял на рассвете на открытом месте, сбился с дороги и застрял между двумя канавами – ни вправо, ни влево. Два часа по нему стреляли, попасть не могли. Два часа он мертвым притворялся. Слава богу, надоело им, поверили, ушли наконец. Я его потом увидел – не узнал, сломали его, как не было человека...

Отер я слезы и включил воду. Долго мылся. Горячей мылся, холодной мылся, снова горячей. Мыла целый кусок извел. Потом надоело. Выключил душ и слышу – барабанят в дверь, и Кирилл весело орет:

– Эй, сталкер, вылезай! Зелененькими пахнет!

Зелененькие – это хорошо. Открыл я дверь, стоит Кирилл голый, в одних трусах, веселый, без никакой меланхолии, и конверт мне протягивает.

– Держи, – говорит, – от благодарного человечества.

– Кашлял я на твое человечество! Сколько здесь?

– В виде исключения и за геройское поведение в опасных обстоятельствах – два оклада!

Да. Так жить можно. Если бы мне здесь за каждую «пустышку» по два оклада платили, я бы Эрнеста давным-давно подальше послал.

– Ну как, доволен? – спрашивает Кирилл, а сам сияет, рот до ушей.

– Ничего, – говорю. – А ты?

Он ничего не сказал. Обхватил меня за шею, прижал к потной своей груди, притиснул, оттолкнул и скрылся в соседней кабине.

– Эй! – кричу я ему вслед. – А Тендер что? Подштанники небось стирает?

– Что ты! Тендера там корреспонденты окружили, ты бы на него посмотрел, какой он важный... Он им так все компетентно излагает...

– Как, – говорю, – излагает?

– Компетентно.

– Ладно, – говорю, – сэр. В следующий раз захвачу словарь, сэр. – И тут меня словно током ударило. – Подожди, Кирилл, – говорю. – Ну-ка выйди сюда.

– Да я уже голый, – говорит.

– Выйди, я не баба!

Ну, он вышел. Взял я его за плечи, повернул спиной. Нет, показалось. Чистая спина. Струйки пота засохли.

– Чего тебе моя спина далась? – спрашивает он.

Отвесил я ему пинка под голую задницу, нырнул к себе в душевую и заперся. Нервы, черт бы их подрал. Там мерещилось, здесь мерещится... К дьяволу все это! Напьюсь сегодня как зюзя. Ричарда бы ободрать, вот что! Надо же, стервец, как играет... Ну ни с какой картой его не возьмешь. Я уж и передергивать пробовал, и карты под столом крестил, и по-всякому...

– Кирилл! – кричу. – В «Боржч» сегодня придешь?

– Не в «Боржч», а в «Борщ», сколько раз тебе говорить...

– Брось! Написано – «Боржч». Ты к нам со своими порядками не суйся. Так придешь или нет? Ричарда бы ободрать...

– Ох, не знаю, Рэд. Ты ведь, простая твоя душа, и не понимаешь, какую мы штуку притащили...

– А ты-то понимаешь?

– Я, впрочем, тоже не понимаю. Это верно. Но теперь, во-первых, понятно, для чего эти «пустышки» служили, а во-вторых, если одна моя идейка пройдет... Напишу статью и тебе ее персонально посвящу: Рэдрику Шухарту, почетному сталкеру, с благоговением и благодарностью

посвящаю.

– Тут-то меня и упекут на два года, – говорю я.

– Зато в науку войдешь. Так эту штуку и будут называть – «банка Шухарта». Звучит?

Пока мы так трепались, я оделся. Сунул пустую флягу в карман, пересчитал зелененькие и пошел себе.

– Счастливо тебе оставаться, сложная твоя душа...

Он не ответил – вода сильно шумела.

Смотрю – в коридоре господин Тендер собственной персоной, красный весь и надутый, что твой индюк. Вокруг него толпа – тут и сотрудники, и корреспонденты, и пара сержантов затесалась (только что с обеда, в зубах ковыряют), а он знай себе болбочет: «Та техника, которой мы располагаем, – болбочет, – дает почти стопроцентную гарантию успеха и безопасности...» Тут он меня увидал и сразу же несколько усох – улыбается, ручкой делает. Ну, думаю, надо удирать. Рванул я когти, однако не успел. Слышу – топочут позади.

– Господин Шухарт! Господин Шухарт! Два слова о гараже!

– Комментариев не имею, – отвечаю я и перехожу на бег. Но черта с два от них оторвешься: один, с микрофоном, – справа, другой, с фотоаппаратом, – слева.

– Видели ли вы в гараже что-нибудь необычное? Буквально два слова!

– Нет у меня комментариев! – говорю я, стараясь держаться к объективу затылком. – Гараж как гараж...

– Благодарю вас. Какого вы мнения о турбоплатформах?

– Прекрасного, – говорю я, а сам нацеливаюсь точнехонько в сортир.

– Что вы думаете о целях Посещения?

– Обратитесь к ученым, – говорю. И раз – за дверь.

Слышу – скребутся. Тогда я им через дверь говорю:

– Настоятельно рекомендую, – говорю, – расспросите господина Тендера, почему у него нос как свекла. Он по скромности умалчивает, а это было наше самое увлекательное приключение.

Как они вдарят по коридору! Как лошади, ей-богу. Я выждал минуту – тихо. Высунулся – никого. И пошел себе, посвистывая. Спустился в проходную, предъявил дылде пропуск, смотрю – он мне честь отдает. Герою дня, значит.

– Вольно, сержант, – говорю. – Я вами доволен.

Он осклабился, как будто я ему бог весть как польстил.

– Ну, ты, Рыжий, молодец, – говорит. – Горжусь, – говорит, – таким знакомством.

– Что, – говорю, – будет тебе в твоей Швеции о чем девкам рассказывать?

– Спрашиваешь! – говорит. – Они ж у меня кипятком будут писать!

Нет, ничего он парень. Я, если честно, таких рослых и румяных не люблю. Девки от них без памяти, а чего, спрашивается? Не в росте ведь дело... Иду это я по улице и размышляю, в чем же тут дело. Солнышко светит, безлюдно вокруг. И захотелось мне вдруг прямо сейчас же Гуту увидеть. Просто так. Посмотреть на нее, за руку подержать. После Зоны человеку только одно и остается – за руку девочку подержать. Особенно когда вспомнишь все эти разговоры про детей сталкеров – какие они получаются... Да уж какая сейчас Гута, мне сейчас для начала бутылку крепкого, не меньше.

Миновал я автомобильную стоянку, а там и кордон. Стоят две патрульные машины во всей своей красе, широкие, желтые, прожекторами и пулеметами, жабы, ощетинились, ну и, конечно, голубые каски – всю улицу загородили, не протолкнешься. Я иду, глаза опустил, лучше мне сейчас на них не смотреть, днем на них мне лучше не смотреть совсем: есть там два-три рыла, так я боюсь их узнать, скандал большой получится, если я их узнаю. Повезло им, ей-богу, что Кирилл меня в Институт сманил, я их, гадов, искал тогда, пришил бы и не дрогнул...

Прохожу я через эту толпу плечом вперед, совсем прошел уже, и тут слышу: «Эй, сталкер!» Ну, это меня не касается, иду дальше, волоку из пачки сигаретку. Догоняет сзади кто-то, берет за рукав. Я эту руку с себя стряхнул и вполоборота вежливенько так спрашиваю:

– Какого дьявола цепляешься, мистер?

– Постой, сталкер, – говорит он. – Два вопроса.

Поднял я на него глаза – капитан Квотерблад. Старый знакомый. Совсем ссохся, желтый стал какой-то.

– А, – говорю, – здравия желаю, капитан. Как ваша печень?

– Ты, сталкер, мне зубы не заговаривай, – говорит он сердито, а сам так и сверлит меня глазами. – Ты мне лучше скажи, почему сразу не останавливаешься, когда тебя зовут?

И уже тут как тут две голубые каски у него за спиной – лапы на кобурах, глаз не видно, только челюсти под касками шевелятся. И где у них в Канаде таких набирают? На племя их нам прислали, что ли?.. Днем я патрулей вообще-то не боюсь, но вот обыскать, жабы, могут, а это мне в данный момент ни к чему.

– Да разве вы меня звали, капитан? – говорю. – Вы же какого-то Сталкера...

– А ты, значит, уже и не сталкер?

– Как по вашей милости отсидел – бросил, – говорю. – Завязал. Спасибо вам, капитан, глаза у меня тогда открылись. Если бы не вы...

– Что в предзоннике делал?

– Как что? Я там работаю. Два года уже.

И, чтобы закончить этот неприятный разговор, вынимаю я свое удостоверение и предъявляю его капитану Квотербладу. Он взял мою книжечку, перелистал, каждую страничку, каждую печать просто-таки обнюхал, чуть ли не облизал. Возвращает мне книжечку, а сам доволен, глаза разгорелись, и даже зарумянился.

– Извини, – говорит, – Шухарт. Не ожидал. Значит, – говорит, – не прошли для тебя мои советы даром. Что ж, это прекрасно. Хочешь – верь, хочешь – не верь, а я еще тогда предполагал, что из тебя толк должен получиться. Не допускал я, чтобы такой парень...

И пошел, и пошел. Ну, думаю, вылечил я еще одного меланхолика себе на голову, а сам, конечно, слушаю, глаза смущенно опускаю, поддакиваю, руками развожу и даже, помнится, ножкой застенчиво этак панель ковыряю. Эти громилы у капитана за спиной послушали-послушали, замутило их, видно, гляжу – потопали прочь, где веселее. А капитан знай мне о перспективах излагает: ученье, мол, свет, неученье – тьма кромешная, Господь, мол, честный труд любит и ценит, – в общем, несет он эту разнузданную тягомотину, которой нас священник в тюрьме каждое воскресенье травил. А мне выпить хочется – никакого терпежу нет. Ничего, думаю, Рэд, это ты, браток, тоже выдержишь. Надо, Рэд, терпи! Не сможет он долго в таком же темпе, вот уже и задыхаться начал... Тут, на мое счастье, одна из патрульных машин принялась сигналить. Капитан Квотерблад оглянулся, крякнул с досадой и протягивает мне руку.

– Ну что ж, – говорит. – Рад был с тобой познакомиться, честный человек Шухарт. С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства. Крепкого, правда, мне нельзя, доктора не велят, но пивка бы я с тобой выпил. Да вот видишь – служба! Ну, еще встретимся, – говорит.

Не приведи господь, думаю. Но ручку ему пожимаю и продолжаю краснеть и делать ножкой – все, как ему хочется. Потом он ушел наконец, а я чуть ли не стрелой – в «Боржч».

В «Боржче» в это время пусто. Эрнест стоит за стойкой, бокалы протирает и смотрит их на свет. Удивительная, между прочим, вещь: как ни придешь – вечно эти бармены бокалы протирают, словно у них от этого зависит спасение души. Вот так и будет стоять хоть целый день – возьмет

бокал, прищурится, посмотрит на свет, подышит на него и давай тереть: потрет-потрет, опять посмотрит, теперь уже через донышко, и опять тереть...

– Здорово, Эрни! – говорю. – Хватит тебе его мучить, дыру протрешь!

Поглядел он на меня через бокал, пробурчал что-то, будто животом, и, не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул. Холодильник пощелкивает, из музыкального автомата доносится какое-то тихое пиликанье, Эрнест сопит в очередной бокал – хорошо, спокойно... Я допил, поставил бокал на стойку, и Эрнест без задержки наливает мне еще на четыре пальца прозрачного.

– Ну что, полегче стало? – бурчит. – Оттаял, сталкер?

– Ты знай себе три, – говорю. – Знаешь, один тёр-тёр и злого духа вызвал. Жил потом в свое удовольствие.

– Это кто же такой? – спрашивает Эрни с недоверием.

– Да был такой бармен здесь, – отвечаю. – Еще до тебя.

– Ну и что?

– Да ничего. Ты думаешь, почему Посещение было? Тёр он, тёр... Ты думаешь, кто нас посетил, а?

– Трепло ты, – говорит мне Эрни с одобрением.

Вышел он на кухню и вернулся с тарелкой – жареных сосисок принес. Тарелку поставил передо мной, пододвинул кетчуп, а сам – снова за бокалы. Эрнест свое дело знает. Глаз у него наметанный, сразу видит, что сталкер из Зоны, что хабар будет, и знает Эрни, чего сталкеру после Зоны надо. Свой человек – Эрни. Благодетель.

Доевши сосиски, я закурил и стал прикидывать, сколько же Эрнест на нашем брате зарабатывает. Какие цены на хабар в Европе – я не знаю, но краем уха слышал, что «пустышка», например, идет там чуть ли не за две с половиной тысячи, а Эрни дает нам всего четыреста. «Батарейки» там стоят не меньше ста, а мы получаем от силы по двадцать. Наверное, и все прочее в том же духе. Правда, переправить хабар в Европу тоже, конечно, денег стоит. Тому на лапу, этому на лапу, начальник станции наверняка у них на содержании... В общем, если подумать, не так уж много Эрнест и заколачивает – процентов пятнадцать-двадцать, не больше, а если попадется – десять лет каторги ему обеспечено...

Тут мои благочестивые размышления прерывает какой-то вежливый тип. Я даже не слыхал, как он вошел. Объявляется он возле моего правого локтя и спрашивает:

– Разрешите?

– О чем речь! – говорю. – Прошу.

Маленький такой, худенький, с востреньким носиком и при галстуке бабочкой. Фотокарточка его вроде мне знакома, где-то я его уже видел, но где – не помню. Залез он на табурет рядом и говорит Эрнесту:

– Бурбон, пожалуйста! – И сразу же ко мне: – Простите, кажется, я вас знаю. Вы в Международном Институте работаете, так?

– Да, – говорю. – А вы?

Он ловко выхватывает из кармашка визитку и кладет передо мной. Читаю: «Алоиз Макно, полномочный агент Бюро эмиграции». Ну, конечно, знаю я его. Пристает к людям, чтобы они из города уехали. Кому-то очень надо, чтобы мы все из города уехали. Нас, понимаешь, в Хармонте и так едва половина осталась от прежнего, так им нужно совсем место от нас очистить. Отодвинул я карточку ногтем и говорю ему:

– Нет, – говорю, – спасибо. Не интересуюсь. Мечтаю, знаете ли, умереть на родине.

– А почему? – живо спрашивает он. – Простите за нескромность, но что вас здесь удерживает?

Так ему прямо и скажи, что меня здесь держит.

– А как же! – говорю. – Сладкие воспоминания детства. Первый поцелуй в городском саду. Маменька, папенька. Как в первый раз пьян надрался в этом вот баре. Милый сердцу полицейский участок... – Тут я достаю из кармана свой засморканный носовой платок и прикладываю к глазам. – Нет, – говорю. – Ни за что!

Он посмеялся, лизнул своего бурбону и задумчиво так говорит:

– Никак я вас, хармонтцев, не могу понять. Жизнь в городе тяжелая. Власть принадлежит военным организациям. Снабжение неважное. Под боком – Зона, живете как на вулкане. В любой момент может либо эпидемия какая-нибудь разразиться, либо что-нибудь похуже... Я понимаю – старики. Им трудно сняться с насиженного места. Но вот вы... Сколько вам лет? Года двадцать два, двадцать три, не больше... Вы поймите, наше Бюро – организация благотворительная, никакой корысти мы не извлекаем. Просто хочется, чтобы люди ушли с этого дьявольского места и включились бы в настоящую жизнь. Ведь мы обеспечиваем подъемные, трудоустройство на новом месте... молодым – таким, как вы, – обеспечиваем возможность учиться... Нет, не понимаю!

– А что, – говорю я, – никто не хочет уезжать?

– Да нет, не то чтобы никто... Некоторые соглашаются, особенно люди с семьями. Но вот молодежь, старики... Ну что вам в этом городе? Это же дыра, провинция...

И тут я ему выдал.

– Господин Алоиз Макно! – говорю. – Все правильно. Городишко наш – дыра. Всегда дырой был и сейчас дыра. Только сейчас, – говорю, – это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир накачаем, что все переменится. Жизнь будет другая, правильная, у каждого будет все, что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звездам полетим, и куда хочешь доберемся. Вот такая у нас здесь дыра...

На этом месте я оборвал, потому что заметил, что Эрнест смотрит на меня с огромным удивлением, и стало мне неловко. Я вообще не люблю чужие слова повторять, даже если эти слова мне, скажем, нравятся. Тем более что у меня это как-то коряво выходит. Когда Кирилл говорит, заслушаться можно, рот забываешь закрывать. А я вроде бы то же самое излагаю, но получается как-то не так. Может быть, потому, что Кирилл никогда Эрнесту под прилавок хабар не складывал. Ну ладно...

Тут мой Эрни спохватился и торопливо налил мне сразу пальцев на шесть: очухайся, мол, парень, что это с тобой сегодня? А востроносый господин Макно снова лизнул своего бурбону и говорит:

– Да, конечно... Вечные аккумуляторы, «синяя панацея»... Но вы и в самом деле верите, что будет так, как вы сказали?

– Это не ваша забота, во что я там на самом деле верю, – говорю я. – Это я про город говорил. А про себя я так скажу: чего я у вас там, в Европе, не видел? Скуки вашей не видел? День вкалываешь, вечер телевизор смотришь, ночь пришла – к постылой бабе под одеяло, ублюдков плодить. Стачки ваши, демонстрации, политика раздолбанная... В гробу я вашу Европу видел, – говорю, – занюханную.

– Ну почему же обязательно Европа?..

– А, – говорю, – везде одно и то же, а в Антарктиде еще вдобавок холодно.

И ведь что удивительно: говорил я ему и всеми печенками верил в то, что говорил. И Зона наша, гадина стервозная, убийца, во сто раз милее мне в этот момент была, чем все ихние Европы и Африки. И ведь пьян еще не был, а просто представилось мне на мгновение, как я весь измочаленный с работы возвращаюсь в стаде таких же кретинов, как меня в ихнем метро давят со всех сторон и как все мне обрыдло и ничего мне не хочется.

– А вы что скажете? – обращается востроносый к Эрнесту.

– У меня дело, – веско отвечает Эрни. – Я вам не сопляк какой-нибудь! Я все свои деньги в это дело вложил. Ко мне иной раз сам комендант заходит, генерал, не хвост собачий. Чего же я отсюда поеду?..

Господин Алоиз Макно принялся ему что-то втолковывать с цифрами, но я его уже не слушал. Хлебнул я как следует из бокала, выгреб из кармана кучу мелочи, слез с табуретки и первым делом запустил музыкальный автомат на полную катушку. Есть там одна такая песенка – «Не возвращайся, если не уверен». Очень она на меня хорошо действует после Зоны... Ну, автомат, значит, гремит и завывает, а я забрал свой бокал и пошел в угол к «однорукому бандиту» старые счеты сводить. И полетело время, как птичка...

Просаживаю это я последний никель, и тут вваливаются под гостеприимные своды Ричард Нунан с Гуталином. Гуталин уже на бровях – вращает белками и ищет, кому бы дать в ухо, а Ричард Нунан нежно держит его под руку и отвлекает анекдотами. Хороша парочка! Гуталин здоровенный, черный, как офицерский сапог, курчавый, ручищи до колен, а Дик – маленький, кругленький, розовенький весь, благостный, только что не светится.

– А! – кричит Дик, увидев меня. – Вот и Рэд здесь! Иди к нам, Рэд!

– Пр-равильно! – ревет Гуталин. – Во всем городе есть только два человека – Рэд и я! Все остальные – свиньи, дети сатаны. Рэд! Ты тоже служишь сатане, но ты все-таки человек...

Я подхожу к ним со своим бокалом, Гуталин сгребает меня за куртку, сажает за столик и говорит:

– Садись, Рыжий! Садись, слуга сатаны! Люблю тебя. Восплачем о грехах человеческих. Горько восплачем!

– Восплачем, – говорю. – Глотнем слез греха.

– Ибо грядет день, – возвещает Гуталин. – Ибо взнуздан уже конь бледный, и уже вложил ногу в стремя всадник его. И тщетны молитвы продавшихся сатане. И спасутся только ополчившиеся на него. Вы, дети человеческие, сатаною прельщенные, сатанинскими игрушками играющие, сатанинских сокровищ взалкавшие, – вам говорю: слепые! Опомнитесь, сволочи, пока не поздно! Растопчите дьявольские бирюльки! – Тут он вдруг замолчал, словно забыл, как будет дальше. – А выпить мне здесь дадут? – спросил он уже другим голосом. – Или где это я?.. Знаешь, Рыжий, опять меня с работы поперли. Агитатор, говорят. Я им объясняю: опомнитесь, сами слепые, в пропасть валитесь и других слепцов за собой тянете! Смеются. Ну, я дал управляющему по харе и ушел. Посадят теперь. А за что?

Подошел Дик, поставил на стол бутылку.

– Сегодня я плачу! – крикнул я Эрнесту.

Дик на меня скосился.

– Все законно, – говорю. – Премию будем пропивать.

– В Зону ходили? – спрашивает Дик. – Что-нибудь вынесли?

– Полную «пустышку», – говорю я. – На алтарь науки. И полные штаны вдобавок. Ты разливать будешь или нет?

– «Пустышку»!.. – горестно гудит Гуталин. – За какую-то «пустышку» жизнью своей рисковал! Жив остался, но в мир принес еще одно дьявольское изделие. А как ты можешь знать, Рыжий, сколько горя и греха...

– Засохни, Гуталин, – говорю я ему строго. – Пей и веселись, что я живой вернулся. За удачу, ребята!

Хорошо пошло за удачу. Гуталин совсем раскис – сидит, плачет, течет у него из глаз, как из водопроводного крана. Ничего, я его знаю. Это у него стадия такая – обливаться слезами и проповедовать, что Зона, мол, есть дьявольский соблазн, выносить из нее ничего нельзя, а что уже вынесли – вернуть обратно и жить так, будто Зоны вовсе нет. Дьяволово, мол, дьяволу. Я его люблю, Гуталина. Я вообще чудаков люблю. У него когда деньги есть, он у кого попало хабар скупает, не торгуясь, за сколько спросят, а потом ночью прет этот хабар обратно, в Зону, и там закапывает... Во ревет-то, господи помилуй! Ну ничего, он еще разойдется.

– А что это такое – «полная пустышка»? – спрашивает Дик. – Просто «пустышку» я знаю, а вот что такое полная? Первый раз слышу.

Я ему объяснил. Он головой покачал, губами почмокал.

– Да, – говорит. – Это интересно. Это, – говорит, – что-то новенькое. А с кем ты ходил? С русским?

– Да, – отвечаю. – С Кириллом и с Тендером. Знаешь, наш лаборант.

– Намучился с ними, наверное...

– Ничего подобного. Вполне прилично держались ребята. Особенно Кирилл. Прирожденный сталкер, – говорю. – Ему бы опыта побольше, торопливость с него эту ребячью сбить, я бы с ним каждый день в Зону ходил.

– И каждую ночь? – спрашивает он с пьяным смешком.

– Ты это брось, – говорю. – Шутки шутками...

– Знаю, – говорит он. – Шутки шутками, а за такое и по морде можно схлопотать. Считай, что я тебе должен две плюхи...

– Кому две плюхи? – встрепенулся Гуталин. – Который здесь?

Схватили мы его за руки, еле усадили. Дик ему сигарету в зубы вставил и зажигалку поднес. Успокоили. А народу тем временем все прибавляется. Стойку уже облепили, многие столики заняты. Эрнест своих девок кликнул, бегают они, разносят кому что – кому пива, кому коктейлей,

кому чистого. Я смотрю, последнее время в городе много незнакомых появилось – все больше какие-то молокососы в пестрых шарфах до полу. Я сказал об этом Дику. Дик кивнул.

– А как же, – говорит. – Начинается большое строительство. Институт три новых здания закладывает, а кроме того, Зону собираются стеной огородить – от кладбища до старого ранчо. Хорошие времена для сталкеров кончаются...

– А когда они у сталкеров были? – говорю. А сам думаю: вот тебе и на, что еще за новости? Значит, теперь не подработаешь. Ну что ж, может, это и к лучшему – соблазна меньше. Буду ходить в Зону днем, как порядочный, – деньги, конечно, не те, но зато куда безопаснее: «галоша», спецкостюм, то-се, и на патрулей наплевать... Прожить можно и на зарплату, а выпивать буду на премиальные. И такая меня тоска взяла! Опять каждый грош считать: это можно себе позволить, это нельзя себе позволить, Гуте на любую тряпку копи, в бар не ходи, ходи в кино... И серо все, серо. Каждый день серо, и каждый вечер, и каждую ночь.

Сижу я так, думаю, а Дик над ухом гудит:

– Вчера в гостинице зашел я в бар принять ночной колпачок – сидят какие-то новые. Сразу они мне не понравились. Подсаживается один ко мне и заводит разговор издалека, дает понять, что он меня знает, знает, кто я, где работаю, и намекает, что готов хорошо оплачивать разнообразные услуги...

– Шпик, – говорю я. Не очень мне интересно было все это, шпиков я здесь навидался и разговоров насчет услуг наслышался.

– Нет, милый мой, не шпик. Ты послушай. Я немножко с ним побеседовал, – осторожно, конечно, дурачка такого состроил. Его интересуют кое-какие предметы в Зоне, и при этом предметы серьезные. Аккумуляторы, «зуда», «черные брызги» и прочая бижутерия ему не нужна. А на то, что ему нужно, он только намекал.

– Так что же ему нужно? – спрашиваю я.

– «Ведьмин студень», как я понял, – говорит Дик и странно как-то на меня смотрит.

– Ах, «ведьмин студень» ему нужен! – говорю я. – А «смерть-лампа» ему, случайно, не нужна?

– Я его тоже так спросил.

– Ну?

– Представь себе, нужна.

– Да? – говорю я. – Ну так пусть сам и добывает все это. Это же раз плюнуть! «Ведьмина студня» вон полные подвалы, бери ведро да

зачерпывай. Похороны за свой счет.

Дик молчит, смотрит на меня исподлобья и даже не улыбается. Что за черт, нанять он меня хочет, что ли? И тут до меня дошло.

– Подожди, – говорю. – Кто же это такой был? «Студень» запрещено даже в Институте изучать...

– Правильно, – говорит Дик неторопливо, а сам все на меня смотрит. – Исследования, представляющие потенциальную опасность для человечества. Понял теперь, кто это?

Ничего я не понимал.

– Пришельцы, что ли? – говорю.

Он расхохотался, похлопал меня по руке и говорит:

– Давай-ка лучше выпьем, простая ты душа!

– Давай, – говорю, но злюсь. Какого хрена – нашли себе простую душу, сукины дети! – Эй, – говорю, – Гуталин! Хватит спать, давай выпьем.

Нет, спит Гуталин. Положил свою черную ряшку на черный столик и спит, руки до полу свесил. Выпили мы с Диком без Гуталина.

– Ну ладно, – говорю. – Простая я там душа или сложная, а про этого типа я бы тут же донес куда следует. Уж на что я не люблю полицию, а сам бы пошел и донес.

– Угу, – говорит Дик. – А тебя бы в полиции спросили: а почему, собственно, оный тип именно к вам обратился? А?

Я помотал головой.

– Все равно. Ты, толстый боров, в городе третий год, а в Зоне ни разу не был, «ведьмин студень» только в кино видел, а посмотрел бы ты его в натуре, да что он с человеком делает – ты бы тут же и обгадился. Это, милок, страшная штука, ее из Зоны выносить нельзя... Сам знаешь, сталкеры – люди грубые, им только капусту подавай, да побольше, но на такое даже покойный Слизняк не пошел бы. Стервятник Барбридж на такое не пойдет... Я даже представить себе боюсь, кому и для чего «ведьмин студень» может понадобиться...

– Что ж, – говорит Дик, – все это правильно. Только мне, понимаешь, не хочется, чтобы в одно прекрасное утро нашли меня в постельке покончившего жизнь самоубийством. Я не сталкер, однако человек тоже грубый и деловой и жить, понимаешь, люблю. Давно живу, привык уже...

Тут Эрнест вдруг заорал из-за стойки:

– Господин Нунан! Вас к телефону!

– Вот дьявол, – говорит Дик злобно. – Опять, наверное, рекламация. Везде найдут. Извини, – говорит, – Рэд.

Встает он и уходит к телефону. А я остаюсь с Гуталином и с бутылкой,

и поскольку от Гуталина проку никакого нет, то принимаюсь я за бутылку вплотную. Черт бы побрал эту Зону, нигде от нее спасения нет. Куда ни пойдешь, с кем ни заговоришь – Зона, Зона, Зона... Хорошо, конечно, Кириллу рассуждать, что из Зоны проистечет вечный мир и благорастворение воздухов. Кирилл – хороший парень, никто его дураком не назовет, наоборот – умница, но ведь он же о жизни ни черта не знает. Он же представить себе не может, сколько всякой сволочи крутится вокруг Зоны. Вот теперь пожалуйста: «ведьмин студень» кому-то понадобился. Нет, Гуталин хоть и пропойца, хоть и психованный он на религиозной почве, но иногда подумаешь-подумаешь, да и скажешь: может, действительно оставить дьяволово дьяволу? Не тронь дерьмо...

Тут усаживается на место Дика какой-то сопляк в пестром шарфе.

– Господин Шухарт? – спрашивает.

– Ну? – говорю.

– Меня зовут Креон, – говорит. – Я с Мальты.

– Ну, – говорю. – И как там у вас на Мальте?

– У нас на Мальте неплохо, но я не об этом. Меня к вам направил Эрнест.

Так, думаю. Сволочь все-таки этот Эрнест. Ни жалости в нем нет, ничего. Вот сидит парнишка – смугленький, чистенький, красавчик, не брился поди еще ни разу и девку еще ни разу не целовал, а Эрнесту все равно, ему бы только побольше народу в Зону загнать, один из трех с хабаром вернется – уже капуста...

– Ну и как поживает старина Эрнест? – спрашиваю.

Он оглянулся на стойку и говорит:

– По-моему, он неплохо поживает. Я бы с ним поменялся.

– А я бы нет, – говорю. – Выпить хочешь?

– Спасибо, я не пью.

– Ну, закури, – говорю.

– Извините, но я и не курю тоже.

– Черт тебя подери! – говорю я ему. – Так зачем тебе тогда деньги?

Он покраснел, перестал улыбаться и негромко так говорит:

– Наверное, – говорит, – это только меня касается, господин Шухарт, правда ведь?

– Что правда, то правда, – говорю я и наливаю себе на четыре пальца. В голове, надо сказать, уже немного шумит, и в теле этакая приятная расслабленность: совсем отпустила Зона. – Сейчас я пьян, – говорю. – Гуляю, как видишь. Ходил в Зону, вернулся живой и с деньгами. Это не часто бывает, чтобы живой, и уж совсем редко, чтобы с деньгами. Так что

давай отложим серьезный разговор...

Тут он вскакивает, говорит «извините», и я вижу, что вернулся Дик. Стоит рядом со своим стулом, и по лицу его я понимаю – что-то случилось.

– Ну, – спрашиваю, – опять твои баллоны вакуум не держат?

– Да, – говорит он. – Опять.

Садится, наливает себе, подливает мне, и вижу я, что не в рекламации дело. На рекламации он, надо сказать, поплевывает – тот еще работничек.

– Давай, – говорит, – выпьем, Рэд. – И, не дожидаясь меня, опрокидывает залпом всю свою порцию и наливает новую. – Ты знаешь, – говорит он, – Кирилл Панов умер.

Сквозь хмель я его не сразу понял. Умер там кто-то и умер.

– Что ж, – говорю, – выпьем за упокой души...

Он глянул на меня круглыми глазами, и только тогда я почувствовал, словно все у меня внутри оборвалось. Помнится, я встал, уперся в столешницу и смотрю на него сверху вниз.

– Кирилл?!. – А у самого перед глазами серебряная паутина, и снова я слышу, как она потрескивает, разрываясь. И через это жуткое потрескивание голос Дика доходит до меня как из другой комнаты:

– Разрыв сердца. В душевой его нашли, голого. Никто ничего не понимает. Про тебя спрашивали, я сказал, что ты в полном порядке...

– А чего тут не понимать? – говорю. – Зона...

– Ты сядь, – говорит мне Дик. – Сядь и выпей.

– Зона... – повторяю я и не могу остановиться. – Зона... Зона...

Ничего вокруг не вижу, кроме серебряной паутины. Весь бар запутался в паутине, люди двигаются, а паутина тихонько потрескивает, когда они ее задевают. А в центре мальтиец стоит, лицо у него удивленное, детское – ничего не понимает.

– Малыш, – говорю я ему ласково, – сколько тебе денег надо? Тысячи хватит? На! Бери, бери! – Сую я ему деньги и уже кричу: – Иди к Эрнесту и скажи ему, что он сволочь и подонок, не бойся, скажи! Он же трус!.. Скажи и сейчас же иди на станцию, купи себе билет и прямиком на свою Мальту! Нигде не задерживайся!..

Не помню, что я там еще кричал. Помню, оказался я перед стойкой, Эрнест поставил передо мной бокал освежающего и спрашивает:

– Ты сегодня вроде при деньгах?

– Да, – говорю, – при деньгах...

– Может, должок отдашь? Мне завтра налог платить.

И тут я вижу – в кулаке у меня пачка денег. Смотрю я на эту капусту зеленую и бормочу:

– Надо же, не взял, значит, Креон Мальтийский... Гордый, значит... Ну, все остальное – судьба.

– Что это с тобой? – спрашивает друг Эрни. – Перебрал малость?

– Нет, – говорю. – Я, – говорю, – в полном порядке. Хоть сейчас в душ.

– Шел бы ты домой, – говорит друг Эрни. – Перебрал ты малость.

– Кирилл умер, – говорю я ему.

– Это который Кирилл? Шелудивый, что ли?

– Сам ты шелудивый, сволочь, – говорю я ему. – Из тысячи таких, как ты, одного Кирилла не сделать. Паскуда ты, – говорю. – Торгаш вонючий. Смертью ведь торгуешь, морда. Купил нас всех за зелененькие... Хочешь, сейчас всю твою лавочку разнесу?

И только я замахнулся как следует, вдруг меня хватают и тащат куда-то. А я уже ничего не соображаю и соображать не хочу. Ору чего-то, отбиваюсь, ногами кого-то пинаю, потом опомнился – сижу в туалетной, весь мокрый, морда разбита. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю, и тик мне какой-то щеку сводит, никогда этого раньше не было. А из зала – шум, трещит там что-то, посуда бьется, девки визжат, и слышу – Гуталин ревет, как белый медведь во время случки: «Покайтесь, паразиты! Где Рыжий? Куда Рыжего дели, дьяволово семя?..» И полицейская сирена завывает.

Как она завыла, тут у меня в мозгу все словно хрустальное сделалось. Все помню, все знаю, все понимаю. И в душе уже больше ничего нет – одна ледяная злоба. Так, думаю, я тебе сейчас устрою вечерочек. Я тебе покажу, что такое сталкер, торгаш ты вонючий. Вытащил я из часового карманчика «зуду», новенькую, ни разу не пользованную, пару раз сжал ее между пальцами для разгона, дверь в зал приоткрыл и бросил ее тихонько в плевательницу. А сам окошко в сортире распахнул – и на улицу. Очень мне, конечно, хотелось посмотреть, как все это получится, но надо было рвать когти. Я эту «зуду» переношу плохо, у меня от нее кровь из носа идет.

Перебежал я через двор и слышу: заработала моя «зуда» на полную катушку. Сначала завыли и залаяли собаки по всему кварталу – они первыми «зуду» чуют. Потом завопил кто-то в кабаке, так что у меня даже уши заложило на расстоянии. Я так и представил себе, как там народишко заметался, – кто в меланхолию впал, кто в дикое буйство, кто от страха не знает, куда деваться... Страшная штука – «зуда». Теперь у Эрнеста не скоро полный кабак наберется. Он, сволочь, конечно, догадается про меня, да только мне наплевать... Все. Нет больше сталкера Рэда. Хватит с меня этого. Хватит мне самому на смерть ходить и других дураков этому делу обучать. Ошибся ты, Кирилл, дружок мой милый. Прости, да только, выходит, не ты прав, а Гуталин прав. Нечего здесь людям делать. Нет в

Зоне добра.

Перелез я через забор и побрел потихоньку домой. Губы кусаю, плакать хочется, а не могу. Впереди пустота, ничего нет. Тоска, будни. Кирилл, дружок мой единственный, как же это мы с тобой? Как же я теперь без тебя? Перспективы мне рисовал, про новый мир, про измененный мир... А теперь что? Заплачет по тебе кто-то в далекой России, а я вот и заплакать не могу. И ведь я во всем виноват, паразит, не кто-нибудь, а я! Как я, скотина, смел его в гараж вести, когда у него глаза к темноте не привыкли? Всю жизнь волком жил, всю жизнь об одном себе думал... И вот в кои-то веки вздумал облагодетельствовать, подарочек поднести. На кой черт я вообще ему про эту «пустышку» сказал?.. И как вспомнил я об этом – взяло меня за глотку, хоть и вправду волком вой. Я, наверное, и завыл – люди от меня что-то шарахаться стали, а потом вдруг словно бы полегчало – смотрю: Гута идет.

Идет она мне навстречу, моя красавица, девочка моя, идет, ножками своими ладными переступает, юбочка над коленками колышется, из всех подворотен на нее глазеют, а она идет как по струночке, ни на кого не глядит, и почему-то я сразу понял, что это она меня ищет.

– Здравствуй, – говорю, – Гута. Куда это ты, – говорю, – направилась?

Она окинула меня взглядом, в момент все увидела – и морду у меня разбитую, и куртку мокрую, и кулаки в ссадинах, но ничего про это не сказала, а говорит только:

– Здравствуй, Рэд. А я как раз тебя ищу.

– Знаю, – говорю. – Пойдем ко мне.

Она молчит, отвернулась и в сторону смотрит. Ах как у нее головка-то посажена, шейка какая – как у кобылки молоденькой, гордой, но покорной уже своему хозяину. Потом она говорит:

– Не знаю, Рэд. Может, ты со мной больше встречаться не захочешь.

У меня сердце сразу сжалось – что еще? Но я спокойно ей так говорю:

– Что-то я тебя не понимаю, Гута. Ты меня извини, я сегодня маленько того, может, поэтому плохо соображаю... Почему это я вдруг с тобой не захочу встречаться?

Беру я ее под руку, и идем мы не спеша к моему дому, и все, кто только что на нее глазел, теперь торопливо рыла прячут. Я на этой улице всю жизнь живу, Рэда Рыжего здесь все прекрасно знают. А кто не знает, тот у меня быстро узнает, и он это чувствует.

– Мать велит аборт делать, – говорит вдруг Гута. – А я не хочу.

Я еще несколько шагов прошел, прежде чем понял, а Гута продолжает:

– Не хочу я никаких абортов, я ребенка хочу от тебя. А ты – как

угодно. Можешь на все четыре стороны, я тебя не держу.

Слушаю я ее, как она понемножку накаляется, сама себя заводит, слушаю и потихоньку балдею. Ничего толком сообразить не могу. В голове какая-то глупость вертится: одним человеком меньше – одним человеком больше.

– Она мне толкует, – говорит Гута, – ребенок, мол, от сталкера, чего тебе уродов плодить? Проходимец он, говорит, ни семьи у вас не будет, ничего. Сегодня он на воле – завтра в тюрьме. А только мне все равно, я на все готова. Я и сама могу. Сама рожу, сама подниму, сама человеком сделаю. И без тебя обойдусь. Только ты ко мне больше не подходи – на порог не пущу...

– Гута, – говорю, – девочка моя! Да подожди ты... – А сам не могу, смех меня разбирает какой-то нервный, идиотский. – Ласточка моя, – говорю, – чего же ты меня гонишь, в самом деле?

Я хохочу как последний дурак, а она остановилась, уткнулась мне в грудь и ревет.

– Как же мы теперь будем, Рэд? – говорит она сквозь слезы. – Как же мы теперь будем?

2. РЭДРИК ШУХАРТ, 28 ЛЕТ, ЖЕНАТ, БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

Рэдрик Шухарт лежал за могильным камнем и, отведя рукой ветку рябины, глядел на дорогу. Прожектора патрульной машины метались по кладбищу и время от времени били его по глазам, и тогда он зажмуривался и задерживал дыхание.

Прошло уже два часа, а на дороге все оставалось по-прежнему. Машина, мерно клокоча двигателем, работающим вхолостую, стояла на месте и все шарила и шарила своими тремя прожекторами по заросшим запущенным могилам, по покосившимся ржавым крестам и плитам, по неряшливо разросшимся кустам рябины, по гребню трехметровой стены, обрывавшейся слева. Патрульные боялись Зоны. Они даже не выходили из машины. Здесь, возле кладбища, они даже не решались стрелять. Иногда до Рэдрика доносились приглушенные голоса, иногда он видел, как из машины вылетал огонек сигаретного окурка и катился по шоссе, подпрыгивая и рассыпая слабые красноватые искры. Было очень сыро, недавно прошел дождь, и даже сквозь непромокаемый комбинезон Рэдрик ощущал влажный холод.

Он осторожно отпустил ветку, повернул голову и прислушался. Где-то справа, не очень далеко, но и не близко, здесь же, на кладбище, был кто-то еще. Там снова прошуршала листва и вроде бы посыпалась земля, а потом с негромким стуком упало тяжелое и твердое. Рэдрик осторожно, не поворачиваясь, пополз задом, прижимаясь к мокрой траве. Снова над головой скользнул прожекторный луч. Рэдрик замер, следя за его бесшумным движением, ему показалось, что между крестами сидит на могиле неподвижный человек в черном. Сидит, не скрываясь, прислонившись спиной к мраморному обелиску, повернув в сторону Рэдрика белое лицо с темными ямами глаз. На самом деле Рэдрик не видел и за долю секунды не мог увидеть всех этих подробностей, но он представлял себе, как это должно было выглядеть. Он отполз еще на несколько шагов, нащупал за пазухой флягу, вытащил ее и некоторое время полежал, прижимая к щеке теплый металл. Затем, не выпуская фляги из руки, пополз дальше. Он больше не прислушивался и не смотрел по сторонам.

В ограде был пролом, и у самого пролома на расстеленном просвинцованном плаще лежал Барбридж. Он по-прежнему лежал на

спине, оттягивая обеими руками воротник свитера, и тихонько, мучительно кряхтел, то и дело срываясь на стоны. Рэдрик сел рядом с ним и отвинтил колпачок у фляги. Потом он осторожно запустил руку под голову Барбриджа, всей ладонью ощущая липкую от пота, горячую лысину, и приложил горлышко фляги к губам старика. Было темно, но в слабых отсветах прожекторов Рэдрик видел широко раскрытые и словно бы остекленевшие глаза Барбриджа, черную щетину, покрывающую его щеки. Барбридж жадно глотнул несколько раз, а затем беспокойно задвигался, ощупывая рукой мешок с хабаром.

– Вернулся... – проговорил он. – Хороший парень... Рыжий... не бросишь старика... подыхать...

Рэдрик, запрокинув голову, сделал хороший глоток.

– Стоит, жаба, – сказал он. – Как приклеенная.

– Это... неспроста... – проговорил Барбридж. Говорил он отрывисто, на выдохе. – Настучал кто-то. Ждут.

– Может быть, – сказал Рэдрик. – Дать еще глоток?

– Нет. Хватит пока. Ты меня не бросай. Не бросишь – не помру. Тогда не пожалеешь. Не бросишь, Рыжий?

Рэдрик не ответил. Он смотрел в сторону шоссе на голубые сполохи прожекторов. Мраморный обелиск был виден отсюда, но непонятно было, сидит там ЭТОТ или сгинул.

– Слушай, Рыжий. Я не треплюсь. Не пожалеешь. Знаешь, почему старик Барбридж до сих пор жив? Знаешь? Боб Горилла сгинул, Фараон Банкер погиб, как не было. Какой был сталкер! А погиб. Слизняк тоже. Норман Очкарик. Каллоген. Пит Болячка. Все. Один я остался. Почему? Знаешь?

– Подлец ты всегда был, – сказал Рэдрик, не отрывая глаз от шоссе. – Стервятник.

– Подлец. Это верно. Без этого нельзя. Но ведь и все так. Фараон. Слизняк. А остался один я. Знаешь почему?

– Знаю, – сказал Рэдрик, чтобы отвязаться.

– Врешь. Не знаешь. Про Золотой Шар слыхал?

– Слыхал.

– Думаешь – сказка?

– Ты бы молчал лучше, – посоветовал Рэдрик. – Силы ведь теряешь!

– Ничего, ты меня вынесешь. Мы с тобой столько ходили! Неужели бросишь? Я тебя вот такого... маленького знал. Отца твоего.

Рэдрик молчал. Очень хотелось курить, он вытащил сигарету, выкрошил табак на ладонь и стал нюхать. Не помогало.

– Ты меня должен вытащить, – проговорил Барбридж. – Это из-за тебя я погорел. Это ты Мальтийца не взял.

Мальтиец очень набивался пойти с ними. Целый вечер угощал, предлагал хороший залог, клялся, что достанет спецкостюм, и Барбридж, сидевший рядом с Мальтийцем, загородившись от него тяжелой морщинистой ладонью, яростно подмигивал Рэдрику: соглашайся, мол, не прогадаем. Может быть, именно поэтому Рэдрик сказал тогда «нет».

– Из-за жадности своей ты погорел, – холодно сказал Рэдрик. – Я здесь ни при чем. Помолчи лучше.

Некоторое время Барбридж только кряхтел. Он снова запустил пальцы за воротник и совсем запрокинул голову.

– Пусть весь хабар твой будет, – прокряхтел он, – только не бросай.

Рэдрик посмотрел на часы. До рассвета оставалось совсем немного, а патрульная машина все не уходила. Прожектора ее продолжали шарить по кустам, и где-то там, совсем рядом с патрулем, стоял замаскированный «лендровер», и каждую минуту его могли обнаружить.

– Золотой Шар, – сказал Барбридж. – Я его нашел. Вранья вокруг него потом наплели. Я и сам плел. Что любое, мол, желание выполняет. Хрена – любое! Если бы любое, меня б здесь давно не было. Жил бы в Европе. В деньгах бы купался.

Рэдрик посмотрел на него сверху вниз. В бегущих голубых отсветах запрокинутое лицо Барбриджа казалось мертвым. Но стеклянные глаза его выкатились и пристально, не отрываясь, следили за Рэдриком.

– Вечную молодость – хрен я получил, – бормотал он. – Денег – хрен. А вот здоровье – да. И дети у меня хорошие. И жив. Ты такого во сне не видел, где я был. И все равно – жив. – Он облизал губы. – Я его только об этом прошу. Жить, мол, дай. И здоровья. И чтобы дети.

– Да заткнись ты, – сказал наконец Рэдрик. – Что ты как баба? Если смогу – вытащу. Дину мне твою жалко – на панель ведь пойдет девка...

– Дина... – прохрипел Барбридж. – Деточка моя. Красавица. Они ж у меня балованные, Рыжий. Отказа не знали. Пропадут. Артур. Арчи мой. Ты ж его знаешь, Рыжий. Где ты еще таких видел?

– Сказано тебе: смогу – вытащу.

– Нет, – упрямо сказал Барбридж. – Ты меня в любом случае вытащишь. Золотой Шар. Хочешь – скажу где?

– Ну, скажи.

Барбридж застонал и пошевелился.

– Ноги мои... – прокряхтел он. – Пощупай, как там.

Рэдрик протянул руку и, ощупывая, провел по его ноге ладонью от

колена и ниже.

– Кости... – хрипел Барбридж. – Кости есть еще?

– Есть, есть, – соврал Рэдрик. – Не суетись.

На самом деле прощупывалась только коленная чашечка. Ниже, до самой ступни, нога была как резиновая палка, ее можно было узлом завязать.

– Врешь ведь, – сказал Барбридж. – Зачем врешь? Что я – не знаю, не видел никогда?

– Колени целы, – сказал Рэдрик.

– Врешь ведь, наверное, – сказал Барбридж с тоской. – Ну, ладно. Ты только меня вытащи. Я тебе всё. Золотой Шар. Карту нарисую. Все ловушки укажу. Всё расскажу...

Он говорил и обещал еще что-то, но Рэдрик уже не слушал его. Он смотрел в сторону шоссе. Прожектора больше не метались по кустам, они замерли, скрестившись на том самом мраморном обелиске, и в ярком голубом тумане Рэдрик отчетливо увидел согнутую фигуру, бредущую среди крестов. Фигура эта двигалась как бы вслепую, прямо на прожектора. Рэдрик увидел, как она налетела на огромный крест, отшатнулась, снова ударилась о крест и только тогда обогнула его и двинулась дальше, вытянув вперед длинные руки с растопыренными пальцами. Потом она вдруг исчезла, словно провалилась под землю, и через несколько секунд появилась опять, правее и дальше, шагая с каким-то нелепым, нечеловеческим упорством, как заведенный механизм.

И вдруг прожектора погасли. Заскрежетало сцепление, дико взревел двигатель, сквозь кусты мелькнули красные и синие сигнальные огни, и патрульная машина, сорвавшись с места, бешено набирая скорость, понеслась к городу и исчезла за стеной. Рэдрик судорожно глотнул и распустил «молнию» на комбинезоне.

– Никак уехали... – лихорадочно забормотал Барбридж. – Рыжий, давай... Давай по-быстрому! – Он заерзал, зашарил вокруг себя руками, схватил мешок с хабаром и попытался подняться. – Ну давай, чего сидишь!

Рэдрик все смотрел в сторону шоссе. Теперь там было темно и ничего не было видно, но где-то там был ЭТОТ – вышагивал, словно заводная кукла, оступаясь, падая, налетая на кресты, путаясь в кустарнике.

– Ладно, – сказал Рэдрик вслух. – Пойдем.

Он поднял Барбриджа. Старик как клещами обхватил его левой рукой за шею, и Рэдрик, не в силах выпрямиться, на четвереньках поволок его через дыру в ограде, хватаясь руками за мокрую траву.

– Давай, давай... – хрипел Барбридж. – Не беспокойся, хабар я держу,

не выпущу... Давай!

Тропа была знакомая, но мокрая трава скользила, ветки рябины хлестали по лицу, грузный старик был неимоверно тяжел, словно мертвец, да еще мешок с хабаром, позвякивая и постукивая, все время цеплялся за что-то, и еще страшно было наткнуться на ЭТОГО, который, может быть, все еще блуждал здесь в потемках.

Когда они выбрались на шоссе, было еще совсем темно, но чувствовалось, что рассвет близок. В лесочке по ту сторону шоссе сонно и неуверенно заговорили птицы, а над черными домами далекой окраины, над редкими желтыми фонарями ночной мрак уже засинел, и потянуло оттуда знобким влажным ветерком. Рэдрик положил Барбриджа на обочину, огляделся и, как большой черный паук, перебежал через дорогу. Он быстро нашел «лендровер», сбросил с капота и кузова маскирующие ветки, сел за руль и осторожно, не зажигая фар, выехал на асфальт. Барбридж сидел, одной рукой держась за мешок с хабаром, а другой ощупывая ноги.

– Быстро! – прохрипел он. – Быстро давай! Колени, целы еще у меня колени... Колени бы спасти!

Рэдрик поднял его и, скрипя зубами от напряжения, перевалил через борт. Барбридж со стуком рухнул на заднее сиденье и застонал. Мешок он так и не выпустил. Рэдрик подобрал с земли и бросил на него сверху просвинцованный плащ. Барбридж ухитрился притащить с собой и плащ.

Рэдрик достал фонарик и прошелся взад-вперед по обочине, высматривая следы. Следов, в общем, не было. Выкатываясь на шоссе, «лендровер» примял высокую густую траву, но трава эта должна была подняться через несколько часов. Вокруг места, где стоял патрульный автомобиль, валялось огромное количество окурков. Рэдрик вспомнил, что давно хочет курить, вытащил сигарету и закурил, хотя больше всего ему сейчас хотелось вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее отсюда. Но гнать было пока нельзя. Все надо было делать медленно и расчетливо.

– Что же ты? – плачущим голосом сказал из машины Барбридж. – Воду не вылил, снасти все сухие... Чего стоишь? Прячь хабар!

– Заткнись! – сказал Рэдрик. – Не мешай! – Он затянулся. – На южную окраину свернем, – сказал он.

– Как на окраину? Да ты что? Колени же мне загубишь, паскудник! Колени!

Рэдрик затянулся последний раз и сунул окурок в спичечный коробок.

– Не пыли, Стервятник, – сказал он. – Прямо через город нельзя. Три заставы, хоть на одной да остановят.

– Ну и что?

– Посмотрят твои копыта – и конец.

– А чего копыта? Рыбу глушили, ноги мне перешибло, вот и весь разговор!

– А если кто-нибудь пощупает?

– Пощупает... Я так заору, что вперед забудет, как щупать.

Но Рэдрик все уже решил. Он поднял водительское сиденье, подсвечивая себе фонариком, открыл потайную крышку и сказал:

– Давай сюда хабар.

Бензобак под сиденьем был фальшивым. Рэдрик принял мешок и затолкал его внутрь, слыша, как в мешке звякает и перекатывается.

– Мне рисковать нельзя, – пробормотал он. – Не имею права.

Он поставил на место крышку, присыпал мусором, навалил поверху тряпок и опустил сиденье. Барбридж кряхтел, постанывал, жалобно требовал поторопиться, опять принялся обещать Золотой Шар, а сам все вертелся на своем сиденье, встревоженно вглядываясь в редеющую тьму. Рэдрик не обращал на него внимания. Он вспорол налитый водой пластиковый пузырь с рыбой, воду вылил на рыболовные снасти, уложенные на дне кузова, а бьющуюся рыбу пересыпал в брезентовый мешок. Пластиковый пузырь он сложил и сунул в карман комбинезона. Теперь все было в порядке: рыбаки возвращались с не слишком удачного лова. Он сел за руль и тронул машину.

До самого поворота он ехал, не включая фар. Слева тянулась могучая трехметровая стена, ограждающая Зону, а справа были кусты, реденькие рощицы, иногда попадались заброшенные коттеджи с заколоченными окнами и облупившимися стенами. Рэдрик хорошо видел в темноте, да и темнота не была уже такой плотной, и, кроме того, он знал, что сейчас будет, поэтому, когда впереди показалась мерно шагающая, согнутая фигура, он даже не сбавил хода. Он только пригнулся пониже к рулю. ЭТОТ вышагивал прямо посередине шоссе – как и все они, он шел в город. Рэдрик обогнал его, прижав машину к обочине, и, обогнав, сильнее нажал на акселератор.

– Матерь божия! – пробормотал сзади Барбридж. – Рыжий, ты видел?

– Да, – сказал Рэдрик.

– Господи!.. Этого нам еще не хватало!.. – бормотал Барбридж и вдруг принялся громко читать молитву.

– Заткнись! – прикрикнул на него Рэдрик.

Поворот должен был быть где-то здесь. Рэдрик замедлил ход, всматриваясь в линию покосившихся домиков и заборов, протянувшихся справа. Старая трансформаторная будка... столб с подпоркой... подгнивший

мостик через кювет... Рэдрик повернул руль. Машину подбросило на колдобине.

– Ты куда?! – дико заорал Барбридж. – Ноги мне загубишь, сволочь!

Рэдрик на секунду повернулся и наотмашь ударил старика по лицу, ощутив тыльной стороной ладони колючую щеку. Барбридж поперхнулся и замолк. Машину подбрасывало, колеса то и дело пробуксовывали в свежей после ночного дождя грязи. Рэдрик включил фары. Белый прыгающий свет озарил заросшие травой старые колеи, огромные лужи, гнилые, покосившиеся заборы по сторонам. Барбридж плакал, всхлипывая и сморкаясь. Он больше ничего не обещал, он жаловался и грозился, но очень негромко и неразборчиво, так что Рэдрику были слышны только отдельные слова. Что-то о ногах, о коленях, о красавчике Арчи... Потом он затих.

Поселок тянулся вдоль западной окраины города. Когда-то здесь были дачи, огороды, фруктовые сады, летние резиденции городского начальства и заводской администрации. Зеленые веселые места, маленькие озера с чистыми песчаными берегами, прозрачные березовые рощи, пруды, в которых разводили карпов. Заводская вонь и заводские едкие дымы сюда никогда не доходили, так же, впрочем, как и городская канализация. Теперь все здесь было покинуто и заброшено, и за все время им попался всего один жилой дом – желто светилось задернутое занавеской окошко, висело на веревках промокшее от дождя белье, и огромный пес, заходясь от ярости, вылетел сбоку и некоторое время гнался за машиной в вихре комьев грязи, летевшей из-под колес.

Рэдрик осторожно переехал еще через один старый перекосившийся мостик и, когда впереди завиднелся поворот на Западное шоссе, остановил машину и заглушил двигатель. Потом он вылез на дорогу, не обернувшись на Барбриджа, и пошел вперед, зябко засунув руки в сырые карманы комбинезона. Было уже совсем светло. Все вокруг было мокрое, тихое, сонное. Он дошел до шоссе и осторожно выглянул из-за кустов. Полицейская застава хорошо была видна отсюда: маленький домик на колесах, три светящихся окошка, дымок из узкой высокой трубы; патрульная машина стояла у обочины, в ней никого не было. Некоторое время Рэдрик стоял и смотрел. На заставе не было никакого движения: видимо, патрульные озябли и измотались за ночь и теперь грелись в домике – дремали с сигареткой, прилипшей к нижней губе.

– Жабы, – негромко сказал Рэдрик.

Он нащупал в кармане кастет, просунул пальцы в овальные отверстия, зажал в кулаке холодный металл и, все так же зябко сутулясь, не вынимая

рук из карманов, пошел обратно. «Лендровер», слегка накренившись, стоял между кустами. Место было глухое, заброшенное – никто сюда, наверное, не заглядывал уже лет десять.

Когда Рэдрик подошел к машине, Барбридж приподнялся и посмотрел на него, приоткрыв рот. Сейчас он выглядел даже старше, чем обычно, – морщинистый, лысый, обросший нечистой щетиной, гнилозубый. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, и вдруг Барбридж сказал невнятно:

– Карту дам... все ловушки, всё... Сам найдешь, не пожалеешь...

Рэдрик слушал его, не двигаясь, потом разжал пальцы, выпуская в кармане кастет, и сказал:

– Ладно. Твое дело – лежать в обмороке, понял? Стони и не давай прикасаться.

Он сел за руль, включил двигатель и тронул машину.

И все обошлось. Никто не вышел из домика, когда «лендровер» в аккуратном соответствии со знаками и указателями медленно прокатил мимо, а затем, все наращивая и наращивая скорость, помчался в город через южную окраину. Было шесть часов утра, улицы были пусты, асфальт мокрый и черный, автоматические светофоры одиноко и ненужно перемигивались на перекрестках. Они миновали пекарню с высокими, ярко освещенными окнами, и Рэдрика обдало волной теплого, необыкновенно вкусного запаха.

– Жрать охота, – сказал Рэдрик и, разминая затекшие от напряжения мышцы, потянулся, упираясь руками в руль.

– Что? – испуганно спросил Барбридж.

– Жрать, говорю, охота... Тебя куда? Домой или прямо к Мяснику?

– К Мяснику, к Мяснику гони! – торопливо забормотал Барбридж, весь подавшись вперед, лихорадочно и горячо дыша Рэдрику в затылок. – Прямо к нему! Прямо давай! Он мне еще семьсот монет должен. Да гони ты, гони, что ты ползешь, как вошь по мокрому месту! – И вдруг принялся ругаться бессильно и злобно, черными, грязными словами, брызгая слюной, задыхаясь и заходясь в приступах кашля.

Рэдрик не отвечал ему. Не было ни времени, ни сил утихомирить расходившегося Стервятника. Надо было скорее кончать со всем этим и хоть часок, хоть полчаса поспать перед свиданием в «Метрополе». Он вывернул на Шестнадцатую улицу, проехал два квартала и остановил машину перед серым двухэтажным особняком.

Мясник открыл ему сам – видимо, только что встал и собирался в ванную. Он был в роскошном халате с золотыми кистями, в руке – стакан

со вставной челюстью. Волосы были взлохмачены, под мутными глазами набрякли темные мешочки.

– А! – сказал он. – Рыший? Што скашешь?

– Надевай зубы и пойдем, – сказал Рэдрик.

– Угу, – отозвался Мясник, приглашающе мотнул головой в глубину холла, а сам, шаркая персидскими туфлями и двигаясь с удивительной быстротой, направился в ванную. – Кто? – спросил он оттуда.

– Барбридж, – ответил Рэдрик.

– Что?

– Ноги.

В ванной полилась вода, раздалось фырканье, плеск, что-то упало и покатилось по кафельному полу. Рэдрик устало присел в кресло, вынул сигарету и закурил, озираясь. Да, холл был ничего себе. Мясник денег не жалел. Он был очень опытным и очень модным хирургом, светилом медицины не только города, но и штата, и со сталкерами он связался, конечно, не из-за денег. Он тоже брал свою долю с Зоны: брал натурой, разным хабаром, который применял в своей медицине; брал знаниями, изучая на покалеченных сталкерах неизвестные ранее болезни, уродства и повреждения человеческого организма; брал славой, славой первого на планете врача – специалиста по нечеловеческим заболеваниям человека. Деньгами он, впрочем, тоже брал с охотой.

– Что именно с ногами? – спросил он, появляясь из ванной с огромным полотенцем на плече. Краем полотенца он осторожно вытирал длинные нервные пальцы.

– Вляпался в «студень», – сказал Рэдрик.

Мясник свистнул.

– Значит, конец Барбриджу, – пробормотал он. – Жалко, знаменитый был сталкер.

– Ничего, – сказал Рэдрик, откидываясь в кресле. – Ты ему протезы сделаешь. Он еще на протезах по Зоне попрыгает.

– Ну, хорошо, – сказал Мясник. Лицо у него сделалось совсем деловое. – Подожди, я сейчас оденусь.

Пока он одевался, пока звонил куда-то, вероятно в свою клинику, чтобы все приготовили для операции, Рэдрик неподвижно полулежал в кресле и курил. Только один раз он пошевелился, чтобы вытащить флягу. Он пил маленькими глотками, потому что во фляге оставалось на донышке, и старался ни о чем не думать. Он просто ждал.

Потом они вместе вышли к машине, Рэдрик сел за руль, Мясник сел рядом и сразу же, перегнувшись через сиденье, стал ощупывать ноги

Барбриджа. Барбридж, притихший, сразу как-то съежившийся, бормотал что-то жалостное, клялся озолотить, поминал снова и снова детей и покойную жену и умолял спасти ему хоть колени. Когда они подъехали к клинике, Мясник выругался, не обнаружив санитаров у подъезда, еще на ходу выскочил из машины и скрылся за дверью. Рэдрик снова закурил, а Барбридж вдруг сказал ясно и раздельно, словно совсем успокоившись:

– Ты меня убить хотел. Я тебе это запомню.

– Не убил ведь, – равнодушно сказал Рэдрик.

– Да, не убил... – Барбридж помолчал. – Это я тоже запомню.

– Запомни, запомни, – сказал Рэдрик. – Ты бы, конечно, меня убивать не стал...

Он обернулся и посмотрел на Барбриджа. Старик неуверенно кривил рот, подергивая пересохшими губами.

– Ты бы меня просто бросил, – сказал Рэдрик. – Оставил бы меня в Зоне, и концы в воду. Как Очкарика.

– Очкарик сам помер, – угрюмо возразил Барбридж. – Я тут ни при чем. Приковало его.

– Сволочь ты, – равнодушно сказал Рэдрик, отворачиваясь. – Стервятник.

Из подъезда выскочили сонные встрепанные санитары и, на ходу разворачивая носилки, подбежали к машине. Рэдрик, время от времени затягиваясь, смотрел, как они ловко выволокли Барбриджа из кузова, уложили на носилки и понесли к подъезду. Барбридж лежал неподвижно, сложив руки на груди и отрешенно глядя в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные «студнем», были странно и неестественно вывернуты.

Он был последним из старых сталкеров, из тех, кто начал охоту за внеземными сокровищами сразу же после Посещения, когда Зона еще не называлась Зоной, когда не было ни институтов, ни стены, ни полицейских сил ООН, когда город был парализован ужасом, а мир хихикал над новой выдумкой газетчиков. Рэдрику было тогда десять лет, а Барбридж был еще крепким и ловким мужчиной – он обожал выпить за чужой счет, подраться, притиснуть в углу зазевавшуюся девчонку. Собственные дети тогда его совершенно не интересовали, а мелкой сволочью он уже был, потому что, напившись, с каким-то гнусным наслаждением избивал свою жену, шумно, всем напоказ... Так и забил до смерти.

Рэдрик развернул «лендровер» и, не обращая внимания на светофоры, погнал его, рявкая сигналом на редких прохожих, срезая углы, прямо к себе домой.

Он остановился перед гаражом, а когда вылез из машины, увидел

управляющего, который шел к нему со стороны скверика. Как всегда, управляющий был не в духе, помятое его личико с запухшими глазами выражало крайнюю брезгливость, словно не по земле он шел, а по навозной жиже.

– Доброе утро, – сказал ему Рэдрик вежливо.

Управляющий, остановившись в двух шагах, ткнул большим пальцем себе через плечо.

– Это ваша работа? – невнятно спросил он. Видно было, что это первые его слова со вчерашнего дня.

– Вы о чем?

– Качели эти... Вы поставили?

– Я.

– Для чего?

Рэдрик, не отвечая, подошел к воротам гаража и принялся отпирать замок. Управляющий последовал за ним и остановился у него за спиной.

– Я спрашиваю, для чего вы эти качели поставили? Кто вас просил?

– Дочка попросила, – сказал Рэдрик очень спокойно. Он откатил ворота.

– Я вас не про дочку спрашиваю! – Управляющий повысил голос. – О дочке разговор особый. Я вас спрашиваю, кто вам разрешил? Кто вам, собственно говоря, позволил в сквере распоряжаться?

Рэдрик повернулся к нему и некоторое время неподвижно стоял, пристально глядя в бледную, с прожилочками переносицу. Управляющий отступил на шаг и произнес тоном пониже:

– И балкон вы не перекрашиваете. Сколько раз я вам...

– Напрасно стараетесь, – сказал Рэдрик. – Все равно я отсюда не съеду.

Он вернулся в машину и включил двигатель. Положив руки на рулевое колесо, он мельком заметил, как побелели костяшки пальцев. И тогда он высунулся из машины и, уже больше не сдерживаясь, сказал:

– Но уж если придется все-таки съехать, сволочь, тогда молись.

Он загнал машину в гараж, включил лампу и закрыл ворота. Потом он извлек из фальшивого бензобака мешок с хабаром, привел машину в порядок, всунул мешок в старую плетеную корзину, сверху положил снасти, еще влажные, с прилипшими травинками и листьями, а поверх всего высыпал уснувшую рыбу, которую Барбридж вчера вечером купил в какой-то лавочке на окраине. Потом он еще раз осмотрел машину со всех сторон, просто по привычке. К заднему правому протектору прилипла расплющенная сигарета. Рэдрик отодрал ее – сигарета оказалась шведская. Рэдрик подумал и сунул ее в спичечный коробок. В коробке уже было три

окурка.

На лестнице он не встретил никого. Он остановился перед своей дверью, и дверь распахнулась, прежде чем он успел достать ключ. Он вошел боком, держа тяжеленную корзину под мышкой, и окунулся в знакомое тепло и знакомые запахи своего дома, а Гута, обхватив его за шею, замерла, прижавшись лицом к его груди. Даже сквозь комбинезон и теплую рубаху он ощущал, как бешено стучит ее сердце. Он не мешал ей – терпеливо стоял и ждал, пока она отойдет, хотя именно в эту минуту почувствовал, до какой степени вымотался и обессилел.

– Ну ладно... – проговорила она наконец низким хрипловатым голосом, отпустила его и включила в прихожей свет, а сама, не оборачиваясь, пошла на кухню. – Сейчас я тебе кофе... – сказала она оттуда.

– Я тут рыбу приволок, – сказал он нарочито бодрым голосом. – Зажарь, да всё сразу жарь, жрать охота – сил нет!

Она вернулась, пряча лицо в распущенных волосах, он поставил корзину на пол, помог ей вынуть сетку с рыбой, и они вместе отнесли сетку на кухню и вывалили рыбу в мойку.

– Иди мойся, – сказала она. – Пока помоешься, все будет готово.

– Как Мартышка? – спросил Рэдрик, усаживаясь и стягивая с ног сапоги.

– Да болтала весь вечер, – отозвалась Гута. – Еле-еле я ее уложила. Пристает все время: где папа, где папа? Вынь да положь ей папу...

Она ловко и бесшумно двигалась по кухне – крепкая, ладная, и уже закипала вода в котелке на плите, и летела чешуя из-под ножа, и скворчало масло на самой большой сковороде, и восхитительно запахло свежим кофе.

Рэдрик поднялся, ступая босыми ногами, вернулся в прихожую, взял корзину и отнес ее в чулан. Потом он заглянул в спальню. Мартышка безмятежно дрыхла, сбитое одеяльце свесилось на пол, рубашонка задралась, и вся она была как на ладони – маленький сопящий зверек. Рэдрик не удержался и погладил ее по спине, покрытой теплой золотистой шерсткой, и в тысячный раз поразился, какая эта шерстка шелковистая и длинная. Ему очень захотелось взять Мартышку на руки, но он побоялся ее разбудить, да и грязен он был как черт, весь пропитан Зоной и смертью. Он вернулся на кухню, снова сел за стол и сказал:

– Налей чашечку кофе. Мыться потом пойду.

На столе лежала пачка вечерней корреспонденции: «Хармонтская газета», журнал «Атлет», журнал «Плейбой» – целая куча журналов подвалила – и толстенькие, в серой обложке «Доклады Международного Института Внеземных Культур», выпуск 56. Рэдрик принял от Гуты кружку

дымящегося кофе и потянул к себе «Доклады». Кривульки, значки какие-то, чертежи... На фотографиях – знакомые предметы в странных ракурсах. Еще одна посмертная статья Кирилла вышла: «Об одном неожиданном свойстве магнитных ловушек типа 77-б». Фамилия «Панов» обведена черной рамкой, внизу мелким шрифтом примечание: «Доктор Кирилл А. Панов, СССР, трагически погиб в процессе проведения эксперимента в апреле 19.. года». Рэдрик отбросил журнал, обжигаясь, хлебнул кофе и спросил:

– Заходил кто-нибудь?

– Гуталин заходил, – сказала Гута, чуточку помедлив. Она стояла у плиты и смотрела на него. – Пьяный был в стельку, я его выпроводила.

– А Мартышка как же?

– Не хотела, конечно, его отпускать. Реветь наладилась. Но я ей сказала, что дядя Гуталин плохо себя чувствует. А она мне так понимающе отвечает: «Опять засосал Гуталин!»

Рэдрик усмехнулся и сделал еще глоток. Потом спросил:

– Соседи как?

И снова Гута чуть помедлила, прежде чем ответить.

– Да как всегда, – сказала она наконец.

– Ладно, не рассказывай.

– А! – сказала она, с отвращением махнув рукой. – Сегодня ночью стучится эта баба снизу. Глаза вот такие, пена так и брызжет. Чего это мы среди ночи пилим в ванной!..

– Зараза, – сказал Рэдрик сквозь зубы. – Слушай, может быть, уедем все-таки? Купим где-нибудь дом на окраине, где никто не живет, дачу какую-нибудь заброшенную...

– А Мартышка?

– Господи, – сказал Рэдрик. – Ну неужели мы вдвоем с тобой не сделаем, чтобы ей было хорошо?

Гута помотала головой:

– Она детишек любит. И они ее любят. Они же не виноваты, что...

– Да, – проговорил Рэдрик. – Они, конечно, не виноваты.

– Что там говорить! – сказала Гута. – Тебе звонил кто-то. Себя не назвал. Я сказала, что ты на рыбалке.

Рэдрик поставил кружку и поднялся.

– Ладно, – сказал он. – Пойду все-таки помоюсь. Куча дел еще у меня.

Он заперся в ванной, бросил одежду в бак, а кастет, оставшиеся гайки, сигареты и прочую мелочь положил на полочку. Он долго крутился под горячим, как кипяток, душем, кряхтя, растирая тело варежкой из жесткой губки, пока кожа не стала багровой, потом выключил душ, сел на край

ванны и закурил. Урчала вода в трубах, Гута на кухне позвякивала посудой; запахло жареной рыбой, потом Гута постучала в дверь и просунула ему чистое белье.

– Давай побыстрее, – приказала она. – Рыба стынет.

Она уже совсем отошла и снова принялась командовать. Усмехаясь, Рэдрик оделся, то есть натянул майку и трусы, и прямо в таком виде вернулся на кухню.

– Вот теперь и поесть можно, – сказал он, усаживаясь.

– Шмотки в бак положил? – спросила Гута.

– Угу, – проговорил он с набитым ртом. – Хороша рыбка!

– Водой залил?

– Не-а... Виноват, сэр, больше не повторится, сэр... Да брось ты, успеешь, посиди!

Он поймал ее за руку и попытался посадить к себе на колени, но она вывернулась и села за стол напротив.

– Пренебрегаешь, значит, мужем, – сказал Рэдрик, снова набивая полный рот. – Брезгуешь, значит.

– Да какой ты сейчас муж, – сказала Гута. – Пустой мешок ты сейчас, а не муж. Тебя сначала набить надо.

– А вдруг? – сказал Рэдрик. – Бывают же на свете чудеса!

– Что-то я таких чудес от тебя еще не видела. Выпьешь, может быть?

Рэдрик нерешительно поиграл вилкой.

– Н-нет, пожалуй, – проговорил он. Он взглянул на часы и поднялся. – Я сейчас пойду. Приготовь мне выходной костюм. По классу «А». Рубашечку там, галстук...

С наслаждением шлепая чистыми босыми ногами по прохладному полу, он прошел в чулан и запер дверь на щеколду. Потом он надел резиновый фартук, натянул резиновые перчатки до локтей и принялся выгружать на стол то, что было в мешке. Две «пустышки». Коробка с «булавками». Девять «батареек». Три «браслета». И один какой-то обруч – тоже вроде «браслета», но из белого металла, полегче и диаметром побольше, миллиметров на тридцать. Шестнадцать штук «черных брызг» в полиэтиленовом пакете. Две великолепной сохранности «губки» с кулак величиной. Три «зуды». Банка «газированной глины». В мешке еще оставался тяжелый фарфоровый контейнер, тщательно упакованный в стекловату, но Рэдрик не стал его трогать. Он достал сигареты и закурил, рассматривая добро, разложенное на столе.

Потом он выдвинул ящик, вынул листок бумаги, огрызок карандаша и счеты. Зажав сигарету в углу рта и щурясь от дыма, он писал цифру за

цифрой, выстраивая все в три столбика, а потом просуммировал первые два. Суммы получились внушительные. Он задавил окурок в пепельнице, осторожно открыл коробку и высыпал «булавки» на бумагу. В электрическом свете «булавки» отливали синевой и только изредка вдруг брызгали чистыми спектральными красками – желтым, красным, зеленым. Он взял одну «булавку» и осторожно, чтобы не уколоться, зажал между большим и указательным пальцами. Потом он выключил свет и подождал немного, привыкая к темноте. Но «булавка» молчала. Он отложил ее в сторону, нашарил другую и тоже зажал между пальцами. Ничего. Он нажал посильнее, рискуя уколоться, и «булавка» заговорила: слабые красноватые вспышки пробежали по ней и вдруг сменились более редкими зелеными. Несколько секунд Рэдрик любовался этой странной игрой огоньков, которая, как он узнал из «Докладов», должна была что-то означать, может быть, что-то очень важное, очень значительное, а потом положил «булавку» отдельно от первой и взял новую...

Всего «булавок» оказалось семьдесят три, из них говорили двенадцать, остальные молчали. На самом деле они тоже должны были разговаривать, но для этого пальцев было мало, а нужна была специальная машина величиной со стол. Рэдрик снова зажег свет и к уже написанным цифрам добавил еще две. И только после этого он решился.

Он засунул обе руки в мешок и, затаив дыхание, извлек и положил на стол мягкий сверток. Некоторое время он смотрел на этот сверток, задумчиво почесывая подбородок тыльной стороной ладони. Потом все-таки взял карандаш, повертел его в неуклюжих резиновых пальцах и снова отбросил. Достал еще одну сигарету и, не отрывая глаз от свертка, выкурил ее всю.

– Кой черт! – сказал он громко, решительно взял сверток и сунул его обратно в мешок. – И все. И хватит.

Он быстро ссыпал «булавки» обратно в коробку и поднялся. Пора было идти. Наверное, с полчасика можно было еще поспать, чтобы голова сделалась яснее, но, с другой стороны, гораздо полезней прийти на место пораньше и посмотреть, как и что. Он сбросил рукавицы, повесил фартук и, не выключив света, вышел из чулана.

Костюм уже был разложен на кровати, и Рэдрик принялся одеваться. Он завязывал галстук перед зеркалом, когда за его спиной тихонько скрипнули половицы, раздалось азартное сопение, и он сделал хмурое лицо, чтобы не рассмеяться.

– У! – крикнул вдруг рядом с ним тоненький голосок, и его схватили за ногу.

– Ах! – воскликнул Рэдрик, падая в обморок на кровать.

Мартышка, хохоча и взвизгивая, немедленно вскарабкалась на него. Его топтали, дергали за волосы и окатывали потоками разных сведений. Соседский Вилли оторвал у куклы ногу. На третьем этаже завелся котенок, весь белый и с красными глазами, – наверное, не слушался маму и ходил в Зону. На ужин была каша с вареньем. Дядя Гуталин опять засосал и был больной, он даже плакал. Почему рыбы не тонут, если они в воде? Почему мама ночью не спала? Почему пальцев пять, а рук две, а нос один?.. Рэдрик осторожно обнимал теплое существо, ползающее по нему, вглядывался в огромные, сплошь темные, без белков глаза, прижимался щекой к пухлой, заросшей золотым шелковистым пушком щечке и повторял:

– Мартышка... Ах ты, Мартышка... Мартышка ты этакая...

Потом над ухом резко зазвонил телефон. Он протянул руку и взял трубку.

– Слушаю.

Трубка молчала.

– Алло! – сказал Рэдрик. – Алло!

Никто не отзывался. Потом в трубке щелкнуло, и раздались короткие гудки. Тогда Рэдрик поднялся, опустил Мартышку на пол и, уже больше не слушая ее, натянул брюки и пиджак. Мартышка тарахтела не умолкая, но он только рассеянно улыбался одним ртом, так что наконец ему было объявлено, что папа язык проглотил, зубами закусил, и он был оставлен в покое.

Он вернулся в чулан, сложил в портфель то, что лежало на столе, сбегал в ванную за кастетом, снова вернулся в чулан, взял портфель в одну руку, корзину с мешком – в другую, вышел, тщательно запер дверь чулана и крикнул Гуте: «Я пошел!»

– Когда вернешься? – спросила Гута, выйдя из кухни. Она уже причесалась и подкрасилась, и на ней был не халат, а домашнее платье, самое его любимое, ярко-синее с большим вырезом.

– Я позвоню, – сказал он, глядя на нее, потом подошел, наклонился и поцеловал в вырез.

– Иди уж, – тихо сказала Гута.

– А я? А меня? – заверещала Мартышка, пролезая между ними. Пришлось наклониться еще ниже. Гута смотрела на него неподвижными глазами.

– Чепуха, – сказал он. – Не беспокойся. Я позвоню.

На лестничной площадке этажом ниже Рэдрик увидел грузного человека в полосатой пижаме, который возился с дверным замком у своей

двери. Из темных недр квартиры тянуло теплой кислятиной. Рэдрик остановился и сказал:

– Добрый день.

Грузный человек опасливо посмотрел на него через могучее плечо и что-то буркнул.

– Ваша супруга ночью к нам заходила, – сказал Рэдрик. – Будто мы что-то пилим. Это какое-то недоразумение.

– А мне-то что, – проворчал человек в пижаме.

– Жена вчера вечером стирала, – продолжал Рэдрик. – Если мы вас побеспокоили, прошу прощения.

– А я ничего не говорил, – сказал человек в пижаме. – Пожалуйста...

– Ну, я очень рад, – сказал Рэдрик.

Он спустился вниз, зашел в гараж, поставил корзину с мешком в угол, навалил на нее старое сиденье, оглядел все напоследок и вышел на улицу.

Идти было недалеко – два квартала до площади, потом через парк и еще один квартал до Центрального проспекта. Перед «Метрополем», как всегда, блестел никелем и лаком разноцветный строй машин, лакеи в малиновых куртках тащили в подъезд чемоданы, какие-то иностранного вида солидные люди группками по двое, по трое беседовали, дымя сигарами, на мраморной лестнице. Рэдрик решил пока не заходить туда. Он устроился под тентом маленького кафе на другой стороне улицы, спросил кофе и закурил. В двух шагах от него сидели за столиком трое чинов международной полиции в штатском, они молча и торопливо насыщались жареными сосисками по-хармонтски и пили темное пиво из высоких стеклянных кружек. По другую сторону, шагах в десяти, какой-то сержант мрачно пожирал жареный картофель, зажав вилку в кулаке. Голубая каска стояла вверх дном на полу рядом с его стулом, ремень с кобурой висел на спинке. Больше в кафе посетителей не было. Официантка, незнакомая пожилая женщина, стояла в сторонке и время от времени зевала, деликатно прикрывая ладонью раскрашенный рот. Было без двадцати девять.

Рэдрик увидел, как из подъезда гостиницы вышел Ричард Нунан, жуя на ходу и нахлобучивая на голову мягкую шляпу. Он бодро ссыпался по лестнице – маленький, толстенький, розовый, весь такой благополучный, благостный, свежевымытый, решительно уверенный, что день не принесет ему никаких неприятностей. Он помахал кому-то рукой, перебросил свернутый плащ через правое плечо и подошел к своему «пежо». «Пежо» у Дика был тоже округлый, коротенький, свежевымытый и тоже как бы уверенный, что никакие неприятности ему не грозят.

Прикрывшись ладонью, Рэдрик смотрел, как Нунан хлопотливо и

деловито устраивается на переднем сиденье за рулем, что-то перекладывает с переднего сиденья на заднее, нагибается за чем-то, поправляет зеркальце заднего вида. Потом «пежо» фыркнул голубоватым дымком, бибикнул на какого-то африканца в бурнусе и бодренько выкатился на улицу. Судя по всему, Нунан направлялся в Институт, а значит должен был обогнуть фонтан и проехать мимо кафе. Вставать и уходить было уже поздно, поэтому Рэдрик только совсем закрыл лицо ладонью и сгорбился над своей чашкой. Однако это не помогло. «Пежо» пробибикал над самым ухом, скрипнули тормоза, и бодрый голос Нунана позвал:

– Э! Шухарт! Рэд!

Выругавшись про себя, Рэдрик поднял голову. Нунан уже шел к нему, на ходу протягивая руку. Нунан приветливо сиял.

– Ты что здесь делаешь в такую рань? – спросил он подойдя. – Спасибо, мамаша, – бросил он официантке. – Ничего не надо... – И снова Рэдрику: – Сто лет тебя не видел. Где пропадаешь? Чем занимаешься?

– Да так... – неохотно сказал Рэдрик. – Больше по мелочам.

Он смотрел, как Нунан с обычной хлопотливостью и основательностью устраивается на стуле напротив, отодвигает пухлыми ручками стакан с салфетками в одну сторону, тарелку из-под сандвичей – в другую, и слушал, как Нунан дружелюбно болтает.

– Вид у тебя какой-то дохлый – недосыпаешь, что ли? Я, знаешь ли, в последнее время тоже замотался с этой новой автоматикой, но спать – нет, брат, сон для меня первое дело, провались она, эта автоматика... – Он вдруг огляделся. – Пардон, может, ты ждешь кого-нибудь? Я не помешал?

– Да нет... – вяло сказал Рэдрик. – Просто время есть, дай, думаю, кофе хоть попью.

– Ну, я тебя надолго не задержу, – сказал Дик и посмотрел на часы. – Слушай, Рэд, брось ты свои мелочи, возвращайся в Институт. Ты же знаешь, там тебя в любой момент возьмут. Хочешь, опять к русскому, прибыл недавно?

Рэдрик покачал головой.

– Нет, – сказал он. – Второй Кирилл на свет еще не народился... Да и нечего мне делать в вашем Институте. У вас там теперь все автоматика, роботы в Зону ходят, премиальные, надо понимать, тоже роботы получают... А лаборантские гроши – мне их и на табак не хватит.

– Брось, все это можно было бы устроить, – возразил Нунан.

– А я не люблю, когда для меня устраивают, – сказал Рэдрик. – Сроду я сам устраивался и дальше намерен сам.

– Гордый ты стал, – произнес Нунан с осуждением.

– Ничего я не гордый. Деньги я не люблю считать, вот что.

– Ну что ж, ты прав, – сказал Нунан рассеянно. Он равнодушно поглядел на портфель Рэдрика на стуле рядом, потер пальцем серебряную пластинку с выгравированными на ней славянскими буквами. – Все правильно: деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать... Кирилл подарил? – спросил он, кивая на портфель.

– В наследство достался, – сказал Рэдрик. – Что это тебя в «Боржче» не видно последнее время?

– Положим, это тебя не видно, – возразил Нунан. – Я-то там почти каждый день обедаю, здесь в «Метрополе» за каждую котлету так дерут... Слушай, – сказал он вдруг, – а как у тебя сейчас с деньгами?

– Занять хочешь? – спросил Рэдрик.

– Нет, наоборот.

– Одолжить, значит...

– Есть работа, – сказал Нунан.

– О господи! – сказал Рэдрик. – И ты туда же!

– А кто еще? – сейчас же спросил Нунан.

– Да много вас таких... работодателей.

Нунан, словно бы только сейчас поняв его, рассмеялся:

– Да нет, это не по твоей основной специальности.

– А по чьей?

Нунан снова посмотрел на часы.

– Вот что, – сказал он, поднимаясь. – Приходи сегодня в «Боржч» к обеду, часам к двум. Поговорим.

– К двум я могу не успеть, – сказал Рэдрик.

– Тогда вечером, часам к шести. Идет?

– Посмотрим, – сказал Рэдрик и тоже взглянул на часы. Было без пяти девять.

Нунан сделал ручкой и покатился к своему «пежо». Рэдрик проводил его глазами, подозвал официантку, спросил пачку «Лаки страйк», расплатился и, взявши портфель, неторопливо пошел через улицу к отелю. Солнце уже изрядно припекало, улица быстро наполнялась влажной духотой, и Рэдрик ощутил жжение под веками. Он сильно зажмурился, жалея, что не хватило времени поспать хотя бы часок перед важным делом. И тут на него накатило.

Такого с ним еще никогда не бывало вне Зоны, да и в Зоне случалось всего раза два или три. Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахов разом обрушились на него – резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как

пылинки, грубых, как булыжники, тонких и сложных, как часовые механизмы. Воздух сделался твердым, в нем объявились грани, поверхности, углы, словно пространство заполнилось огромными шершавыми шарами, скользкими пирамидами, гигантскими колючими кристаллами, и через все это приходилось протискиваться, как во сне через темную лавку старьевщика, забитую старинной уродливой мебелью... Это длилось какой-то миг. Он открыл глаза, и все пропало. Это был не другой мир – это прежний знакомый мир повернулся к нему другой, неизвестной стороной, сторона эта открылась ему на мгновение и снова закрылась наглухо, прежде чем он успел разобраться...

Над ухом рявкнул раздраженный сигнал, Рэдрик ускорил шаги, потом побежал и остановился только у стены «Метрополя». Сердце стучало бешено, он поставил портфель на асфальт, торопливо разорвал пачку сигарет, закурил. Он глубоко затягивался, отдыхая, как после драки, и дежурный полисмен остановился рядом и спросил его озабоченно:

– Вам помочь, мистер?

– Н-нет, – выдавил из себя Рэдрик и прокашлялся. – Душно...

– Может быть, проводить вас?

Рэдрик наклонился и поднял портфель.

– Всё, – сказал он. – Всё в порядке, приятель. Спасибо.

Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отойти, отдышаться, но он уже и без того опаздывал. Он позволил себе только докурить до конца сигарету, разглядывая из-под полуопущенных век людей, которые толклись в вестибюле. Костлявый был уже тут как тут – с раздраженным видом копался в журналах у газетной стойки. Рэдрик бросил окурок в урну и вошел в кабину лифта.

Он не успел закрыть дверь, и вместе с ним втиснулись: какой-то плотный толстяк с астматическим дыханием, крепко надушенная дамочка при мрачном мальчике, жующем шоколад, и обширная старуха с плохо выбритым подбородком. Рэдрика затиснули в угол. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мальчика, у которого по подбородку текли шоколадные слюни, но личико было свежее, чистое, без единого волоска... не видеть его мамашу, скудный бюст которой украшало ожерелье из крупных «черных брызг», оправленных в серебро... и не видеть выкаченных склеротических белков толстяка и устрашающих бородавок на вздутом рыле старухи. Толстяк попытался закурить, но старуха его осадила и продолжала осаживать до пятого этажа, где она выкатилась, а как только она выкатилась, толстяк все-

таки закурил с таким видом, словно отстоял свои гражданские свободы, и тут же принялся кашлять и задыхаться, сипя и хрипя, по-верблюжьи вытягивая губы и толкая Рэдрика в бок мучительно оттопыренным локтем...

На восьмом этаже Рэдрик вышел и, чтобы хоть немного разрядиться, громко, старательно произнес:

– В душу твою небритую, карга, старая ты лягва, кашлюном вонючим, полудохлым в бога трахнутая, пополам с сопляком слюнявым, шоколадным...

Потом он двинулся по мягкому ковру вдоль коридора, озаренного уютным светом скрытых ламп. Здесь пахло дорогим табаком, парижскими духами, сверкающей натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по пятьсот монет за ночь, массивными золотыми портсигарами – всей этой дешевкой, всей этой гнусной плесенью, которая наросла на Зоне, пила от Зоны, жрала, хапала, жирела от Зоны, и на все ей было наплевать, и в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она нажрется, нахапает всласть, а все, что было в Зоне, окажется снаружи и осядет в мире. Рэдрик без стука толкнул дверь номера восемьсот семьдесят четыре.

Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор, нездоровое отдутловатое лицо его было гладко выбрито.

– Ага, – произнес он, не поднимая глаз. – Точность – вежливость королей. Здравствуйте, мой мальчик!

Он кончил отстригать у сигары кончик, взял ее двумя руками, поднес к усам и поводил носом вдоль нее взад и вперед.

– А где же наш старый добрый Барбридж? – спросил он и поднял глаза. Глаза у него были прозрачные, голубые, ангельские.

Рэдрик поставил портфель на диван, сел и достал сигареты.

– Барбридж не придет, – сказал он.

– Старый добрый Барбридж, – проговорил Хрипатый, взял сигару в два пальца и осторожно поднес ее ко рту. – У старого Барбриджа разыгрались нервы...

Он все смотрел на Рэдрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся Костлявый.

– Кто был этот человек, с которым вы разговаривали? – спросил он прямо с порога.

– А, здравствуйте, – приветливо сказал ему Рэдрик, стряхивая пепел на пол.

Костлявый засунул руки в карманы, приблизился, широко переступая огромными, скошенными внутрь ступнями, и остановился перед Рэдриком.

– Мы же с вами сто раз говорили, – укоризненно произнес он. – Никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?

– Я – здороваюсь, – сказал Рэдрик. – А вы?

Хрипатый рассмеялся, а Костлявый раздраженно сказал:

– Здравствуйте, здравствуйте... – Он перестал сверлить Рэдрика укоряющим взглядом и грохнулся рядом на диван. – Нельзя так делать, – сказал он. – Понимаете? Нельзя!

– Тогда назначайте мне свидания там, где у меня нет знакомых, – сказал Рэдрик.

– Мальчик прав, – заметил Хрипатый. – Наша промашка... Так кто был этот человек?

– Это Ричард Нунан, – сказал Рэдрик. – Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для Института. Живет здесь, в отеле.

– Вот видишь, как просто! – сказал Хрипатый Костлявому, взял со стола колоссальную зажигалку, оформленную под Статую Свободы, с сомнением посмотрел на нее и поставил обратно.

– А Барбридж где? – спросил Костлявый уже совсем дружелюбно.

– Накрылся Барбридж, – сказал Рэдрик.

Эти двое быстро переглянулись.

– Мир праху его, – сказал Хрипатый настороженно. – Или, может быть, он арестован?

Некоторое время Рэдрик не отвечал, медленными затяжками докуривая сигарету. Потом он бросил окурок на пол и сказал:

– Не бойтесь, все чисто. Он в больнице.

– Ничего себе – чисто! – сказал Костлявый нервно, вскочил и прошел к окну. – В какой больнице?

– Не бойтесь, – повторил Рэдрик. – В какой надо. Давайте к делу, я спать хочу.

– В какой именно больнице? – уже раздраженно спросил Костлявый.

– Так я вам и сказал, – отозвался Рэдрик. Он взял портфель. – Будем мы сегодня делом заниматься или нет?

– Будем, будем, мой мальчик, – бодро сказал Хрипатый. С неожиданной легкостью он соскочил на пол, быстро придвинул к Рэдрику журнальный столик, одним движением смахнул на ковер кипу журналов и газет и сел напротив, уперев в колени розовые волосатые руки. – Предъявляйте, – сказал он.

Рэдрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на

столик перед Хрипатым. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо.

– Это счет, – сказал Рэдрик.

– Вижу, – отозвался Хрипатый. – Предъявляйте, предъявляйте!

– Деньги, – сказал Рэдрик.

– Что это за «кольцо»? – подозрительно осведомился Костлявый, тыча пальцем в список через плечо Хрипатого.

Рэдрик молчал. Он держал раскрытый портфель на коленях и, не отрываясь, смотрел в голубые ангельские глазки. Хрипатый наконец усмехнулся.

– И за что это я вас так люблю, мой мальчик? – проворковал он. – А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает! – Он театрально вздохнул. – Фил, дружище, как у них здесь выражаются? Отвесь ему капусты, отслюни зелененьких... и дай мне наконец спичку! Ты же видишь... – И он потряс сигарой, все еще зажатой в двух пальцах.

Костлявый Фил проворчал что-то неразборчивое, бросил ему коробок, а сам вышел в соседнюю комнату через дверь, задернутую портьерой. Было слышно, как он с кем-то там разговаривает, раздраженно и невнятно, что-то насчет кота в мешке, а Хрипатый, раскуривая наконец свою сигару, все разглядывал Рэдрика в упор с застывшей улыбкой на тонких бледных губах и словно бы размышлял о чем-то, а Рэдрик, положив подбородок на портфель, тоже смотрел ему в лицо и тоже старался не мигать, хотя веки жгло как огнем и на глаза набегали слезы. Потом Костлявый вернулся, бросил на столик две обандероленные пачки банкнот и, надувшись, сел рядом с Рэдриком. Рэдрик лениво потянулся за деньгами, но Хрипатый жестом остановил его, ободрал с пачек бандероли и сунул эти бандероли себе в карман.

– Теперь прошу, – сказал он.

Рэдрик взял деньги и, не считая, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар. Он делал это медленно, давая возможность им обоим рассмотреть и сверить со списком каждый предмет в отдельности. В комнате было тихо, только тяжело дышал Хрипатый, и еще из-за портьеры доносилось слабое звяканье – вроде бы ложечки о край стакана.

Когда Рэдрик наконец закрыл портфель и защелкнул замки, Хрипатый поднял на него глаза и спросил:

– Ну, а как насчет главного?

– Никак, – ответил Рэдрик. Он помолчал и добавил: – Пока.

– Мне нравится это «пока», – ласково сказал Хрипатый. – А тебе, Фил?

– Темните, Шухарт, – сказал брюзгливо Костлявый Фил. – А чего темнить, спрашивается?

– Специальность такая: темные делишки, – сказал Рэд. – Тяжелая у нас с вами специальность.

– Ну хорошо, – сказал Хрипатый. – А где фотоаппарат?

– А, черт! – проговорил Рэдрик. Он потер пальцами щеку, чувствуя, как краска заливает ему лицо. – Виноват, – сказал он. – Начисто забыл.

– Там? – спросил Хрипатый, делая неопределенное движение сигарой.

– Не помню... Наверное, там... – Рэдрик закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. – Нет. Начисто не помню.

– Жаль, – сказал Хрипатый. – Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?

– Да нет же, – с досадой сказал Рэдрик. – В том-то все и дело. Мы же не дошли до кауперов. Барбридж вляпался в «студень», и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли... Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл...

– Слушай-ка, Хью, посмотри! – испуганным шепотом произнес вдруг Костлявый. – Что это, а?

Он сидел, напряженно вытянув перед собой указательный палец правой руки. Вокруг пальца крутился тот самый белый металлический обруч, и Костлявый глядел на этот обруч, вытаращив глаза.

– Он не останавливается! – громко сказал Костлявый, переводя круглые глаза с обруча на Хрипатого и обратно.

– Что значит – не останавливается? – осторожно спросил Хрипатый и чуть отодвинулся.

– Я надел его на палец и крутанул разок – просто так... И он уже целую минуту не останавливается!

Костлявый вдруг вскочил и, держа вытянутый палец перед собой, побежал за портьеру. Обруч, серебристо поблескивая, мерно крутился перед ним, как самолетный пропеллер.

– Что это вы нам принесли? – спросил Хрипатый.

– Черт его знает! – сказал Рэдрик. – Я и не знал... Знал бы – содрал бы побольше.

Хрипатый некоторое время смотрел на него, затем поднялся и тоже исчез за портьерой. Там сейчас же забубнили голоса. Рэдрик вытащил сигарету, закурил, подобрал с пола какой-то журнал и принялся его рассеянно перелистывать. В журнале было полным-полно крепкозадых красоток, но почему-то сейчас было тошно смотреть на них. Рэдрик

отшвырнул журнал и пошарил глазами по номеру, ища что-нибудь выпить. Потом он извлек из внутреннего кармана пачку и пересчитал бумажки. Все было правильно, но, чтобы не заснуть, он пересчитал и вторую пачку. Когда он прятал ее в карман, вернулся Хрипатый.

– Вам везет, мой мальчик, – объявил он, снова усаживаясь напротив Рэдрика. – Знаете, что такое перпетуум мобиле?

– Нет, – сказал Рэдрик. – У нас этого не проходили.

– И не надо, – сказал Хрипатый.

Он вытащил еще одну пачку банкнот.

– Это цена первого экземпляра, – произнес он, обдирая с пачки бандероль. – За каждый новый экземпляр этого вашего «кольца» вы будете получать по две такие пачки. Запомнили, мой мальчик? По две. Но при условии, что, кроме нас с вами, никто об этих кольцах никогда ничего не узнает. Договорились?

Рэдрик молча засунул пачку в карман и поднялся.

– Я пошел, – сказал он. – Когда и где в следующий раз?

Хрипатый тоже поднялся.

– Вам позвонят, – сказал он. – Ждите звонка каждую пятницу с девяти до девяти тридцати утра. Вам передадут привет от Фила и Хью и назначат свидание.

Рэдрик кивнул и направился к двери. Хрипатый последовал за ним, положив руку ему на плечо.

– Я хотел бы, чтобы вы поняли, – продолжал он. – Все это хорошо, очень мило и так далее, а «кольцо» – так это просто чудесно, но прежде всего нам нужны две вещи: фотографии и полный контейнер. Верните нам наш фотоаппарат, но с заснятой пленкой, и наш фарфоровый контейнер, но не пустой, а полный, и вам больше никогда не придется ходить в Зону...

Рэдрик, шевельнув плечом, сбросил его руку, отпер дверь и вышел. Он, не оборачиваясь, шагал по мягкому ковру и все время чувствовал у себя на затылке голубой ангельский немигающий взгляд. Он не стал ждать лифта и спустился с восьмого этажа пешком.

Выйдя из «Метрополя», он взял такси и поехал на другой конец города. Шофер попался незнакомый, из новичков, носатый прыщавый малец, один из тех, кто валом валил в Хармонт в последние годы в поисках зубодробительных приключений, несметных богатств, всемирной славы, какой-то особенной религии, валили валом, да так и осели шоферами такси, официантами, строительными рабочими, вышибалами в бардаках – алчущие, бесталанные, замученные неясными желаниями, всем на свете недовольные, ужасно разочарованные и убежденные, что здесь их снова

обманули. Половина из них, промыкавшись месяц-другой, с проклятиями возвращалась по домам, разнося великое свое разочарование чуть ли не во все страны света, считанные единицы становились сталкерами и быстро погибали, так и не успев ни в чем разобраться, и посмертно превращались в легендарных героев, некоторым удавалось поступить в Институт, самым толковым и грамотным из них, годным хотя бы на должность препаратора, а остальные насоздавали политических партий, религиозных сект, каких-то кружков взаимопомощи, вечера напролет просиживали в кабаках, дрались из-за расхождений во взглядах, из-за девчонок и просто так, по пьянке. Время от времени они устраивали шествия с какими-то петициями, какие-то демонстрации протеста, какие-то забастовки – сидячие, стоячие и даже лежачие, – совершенно остервенили городскую полицию, комендатуру и старожилов, но чем дальше, тем основательнее успокаивались, смирялись и все меньше и меньше интересовались знать, для чего они здесь.

От прыщавого шофера за версту несло перегаром, глаза у него были красные, как у кролика, но он был страшно возбужден и с ходу принялся рассказывать Рэдрику, как нынче утром на их улицу заявился покойник с кладбища. Пришел, значит, в свой дом, а дом-то уж сколько лет заколочен, все оттуда уехали – и вдова его, старуха, и дочка с мужем, и внуки. Сам-то он, соседи говорят, помер лет тридцать назад, еще до Посещения, а теперь вот – привет! – приперся. Походил-походил вокруг дома, поскребся, потом уселся у забора и сидит. Народу набежало – со всего квартала, смотрят, а подойти, конечно, боятся. Потом кто-то догадался: взломали дверь в его доме, открыли, значит, ему вход. И что вы думаете? Встал и вошел, и дверь за собой прикрыл. Мне на работу надо было бежать, не знаю, чем там дело кончилось, знаю только, что собирались в Институт звонить, чтобы забрали его от нас к чертовой бабушке. Знаете, чего говорят? Говорят, комендатура готовит приказ, чтобы этих покойников, если родственники у них выехали, посылали бы к ним, по новому месту жительства. То-то радости у родственников будет! А уж смердит от него... ну, на то он и покойник...

– Стоп, – сказал Рэдрик. – Останови вот здесь.

Он пошарил в кармане. Мелочи не оказалось, пришлось разменять новую банкноту. Потом он постоял у ворот, подождал, пока такси уедет. Коттеджик у Стервятника был неплохой: два этажа, застекленный флигель с бильярдной, ухоженный садик, оранжерея, белая беседка среди яблонь. И вокруг всего этого узорная железная решетка, выкрашенная светло-зеленой масляной краской. Рэдрик несколько раз нажал кнопку звонка, калитка с легким скрипом отворилась, и Рэдрик неторопливо двинулся по песчаной дорожке, обсаженной розовыми кустами, а на крыльце коттеджа уже стоял

Суслик – скрюченный, черно-багровый, весь азартно трясущийся от желания услужить. В нетерпении он повернулся боком, спустил со ступеньки одну судорожно нащупывающую опору ногу, утвердился, стал тянуть к нижней ступеньке вторую ногу и при этом все дергал, дергал в сторону Рэдрика здоровой рукой: сейчас, мол, сейчас...

– Эй, Рыжий! – позвал из сада женский голос.

Рэдрик повернул голову и увидел среди зелени рядом с белой ажурной крышей беседки голые смуглые плечи, ярко-красный рот, машущую руку. Он кивнул Суслику, свернул с дорожки и напролом через розовые кусты, по мягкой зеленой траве направился к беседке.

На лужайке был расстелен огромный красный мат, а на мате восседала со стаканом в руке Дина Барбридж в почти невидимом купальном костюме, рядом валялась книжка в пестрой обложке, и тут же, в тени под кустом, стояло блестящее ведерко со льдом, из которого торчало узкое длинное горлышко бутылки.

– Здорово, Рыжий! – сказала Дина Барбридж, делая приветственное движение стаканом. – А где же папахен? Неужели опять засыпался?

Рэдрик подошел и, заведя руки с портфелем за спину, остановился, глядя на нее сверху вниз. Да, детей себе Стервятник у кого-то в Зоне выпросил на славу. Вся она была атласная, пышно-плотная, без единого изъяна, без единой лишней складки – полтораста фунтов двадцатилетней лакомой плоти, и еще изумрудные глаза, светящиеся изнутри, и еще большой влажный рот и ровные белые зубы, и еще вороные волосы, блестящие под солнцем, небрежно брошенные на одно плечо, а солнце так и ходило по ней, переливаясь с плеч на живот и на бедра, оставляя тени между почти голыми грудями. Он стоял над нею и откровенно разглядывал ее, а она смотрела на него снизу вверх, понимающе усмехаясь, а потом поднесла стакан к губам и сделала несколько глотков.

– Хочешь? – сказала она, облизывая губы, и, подождав ровно столько, чтобы двусмысленность дошла до него, протянула ему стакан.

Он отвернулся, поискал глазами и, обнаружив в тени шезлонг, уселся и вытянул ноги.

– Барбридж в больнице, – сказал он. – Ноги ему отрежут.

По-прежнему улыбаясь, она смотрела на него одним глазом, другой скрывала плотная волна волос, упавшая на плечо, только улыбка ее сделалась неподвижной – сахарный оскал на смуглом лице. Потом она машинально покачала стакан, словно бы прислушиваясь к звяканью льдинок о стенки, и спросила:

– Обе ноги?

– Обе. Может быть, до колен, а может быть, и выше.

Она поставила стакан и отвела с лица волосы. Она больше не улыбалась.

– Жаль, – проговорила она. – А ты, значит...

Именно ей, Дине Барбридж, он мог бы подробно рассказать, как все это случилось и как все это было. Наверное, он мог бы ей рассказать даже, как возвращался к машине, держа наготове кастет, и как Барбридж просил – не за себя просил даже, за детей, за нее и за Арчи, и сулил Золотой Шар. Но он не стал рассказывать. Он молча полез за пазуху, вытащил пачку ассигнаций и бросил ее на красный мат, прямо к длинным голым ногам Дины. Банкноты разлетелись радужным веером. Дина рассеянно взяла несколько штук и стала их рассматривать, словно видела впервые, но не очень ими интересовалась.

– Последняя получка, значит, – проговорила она.

Рэдрик перегнулся с шезлонга, дотянулся до ведерка и, вытащив бутылку, взглянул на ярлык. По темному стеклу стекала вода, и Рэдрик отвел бутылку в сторону, чтобы не капало на брюки. Он не любил дорогого виски, но сейчас можно было хлебнуть и этого. И он уже нацелился хлебнуть прямо из горлышка, но его остановили невнятные протестующие звуки за спиной. Он оглянулся и увидел, что через лужайку, мучительно переставляя кривые ноги, изо всех сил спешит Суслик, держа перед собой в обеих руках высокий стакан с прозрачной смесью. От усердия пот градом катился по его черно-багровому лицу, налитые кровью глаза совсем вылезли из орбит, и увидев, что Рэдрик смотрит на него, он чуть ли не с отчаянием протянул перед собой стакан и снова не то замычал, не то заскулил, широко и бессильно раскрывая беззубый рот.

– Жду, жду, – сказал ему Рэдрик и сунул бутылку обратно в лед.

Суслик подковылял наконец, подал Рэдрику стакан и с робкой фамильярностью потрепал его по плечу клешнятой рукой.

– Спасибо, Диксон, – серьезно сказал Рэдрик. – Это как раз то самое, чего мне сейчас не хватало. Ты, как всегда, на высоте, Диксон.

И пока Суслик в смущении и восторге тряс головой и судорожно бил себя здоровой рукой по бедру, Рэдрик торжественно поднял стакан, кивнул ему и залпом отпил половину. Потом он посмотрел на Дину.

– Хочешь? – сказал он, показывая ей стакан.

Она не ответила. Она складывала ассигнацию пополам, и еще раз пополам, и еще раз пополам.

– Брось, – сказал он. – Не пропадете. У твоего папаши...

Она перебила его:

– А ты его, значит, тащил, – сказала она. Она его не спрашивала, она утверждала. – Пер его, дурак, через всю Зону, кретин рыжий, пер на хребте эту сволочь, слюнтяй, такой случай упустил...

Он смотрел на нее, забыв о стакане, а она поднялась, подошла, ступая по разбросанным банкнотам, и остановилась перед ним, уперев сжатые кулаки в гладкие бока, загородив от него весь мир своим великолепным телом, пахнущим духами и сладким потом.

– Вот так он всех вас, идиотиков, вокруг пальца... По костям вашим, по вашим башкам безмозглым... Погоди, погоди, он еще на костылях по вашим черепушкам походит, он вам еще покажет братскую любовь и милосердие! – Она уже почти кричала. – Золотой Шар небось тебе обещал, да? Карту, ловушки, да? Болван! Кретин! По роже твоей конопатой вижу, что обещал... Погоди, он тебе еще даст карту, упокой, господи, глупую душу рыжего дурака Рэдрика Шухарта...

Тогда Рэдрик неторопливо поднялся и с размаху залепил ей пощечину, и она смолкла на полуслове, опустилась, как подрубленная, на траву и уткнула лицо в ладони.

– Дурак... рыжий... – невнятно проговорила она. – Такой случай упустил... Такой случай...

Рэдрик, глядя на нее сверху вниз, допил стакан и, не оборачиваясь, ткнул его Суслику. Говорить здесь было больше не о чем. Хороших деток вымолил себе Стервятник Барбридж в Зоне. Любящих и почтительных.

Он вышел на улицу, поймал такси и велел ехать к «Боржчу». Надо было кончать все эти дела, спать хотелось невыносимо, перед глазами все плыло, и он таки заснул, навалившись на портфель всем телом, и проснулся, только когда шофер потряс его за плечо.

– Приехали, мистер.

– Где это мы? – проговорил он, спросонья озираясь. – Я же тебе велел в банк...

– Никак нет, мистер, – осклабился шофер. – Велели к «Боржчу». Вот вам «Боржч».

– Ладно, – проворчал Рэдрик. – Приснилось что-то...

Он расплатился и вылез, с трудом шевеля затекшими ногами. Асфальт уже раскалился под солнцем, стало очень жарко. Рэдрик почувствовал, что он весь мокрый, во рту было гадко, глаза слезились. Прежде чем войти, он огляделся. Улица перед «Боржчом», как всегда в этот час, была пустынной. Заведения напротив еще не открывались, да и сам «Боржч» был, собственно, закрыт, но Эрнест был уже на посту – протирал бокалы, хмуро поглядывая из-за стойки на трех каких-то хмырей, лакавших пиво за

угловым столиком. С остальных столиков еще не были сняты перевернутые стулья, незнакомый негр в белой куртке надраивал пол шваброй, и еще один негр корячился с ящиками пива за спиной у Эрнеста. Рэдрик подошел к стойке, положил на стойку портфель и поздоровался. Эрнест пробурчал в ответ что-то неприветливое.

– Пива налей, – сказал Рэдрик и судорожно зевнул.

Эрнест грохнул на стойку пустую кружку, выхватил из холодильника бутылку, откупорил ее и наклонил над кружкой. Рэдрик, прикрывая рот ладонью, уставился на его руку. Рука дрожала. Горлышко бутылки несколько раз звякнуло о край кружки. Рэдрик взглянул Эрнесту в лицо. Тяжелые веки Эрнеста были опущены, маленький рот искривлен, толстые щеки обвисли. Негр шаркал шваброй под самыми ногами у Рэдрика, хмыри в углу азартно и злобно спорили о бегах, негр, ворочавший ящики, толкнул Эрнеста задом так, что тот покачнулся. Негр принялся бормотать извинения. Эрнест сдавленным голосом спросил:

– Принес?

– Что – принес? – Рэдрик оглянулся через плечо.

Один из хмырей лениво поднялся из-за столика, пошел к выходу и остановился в дверях, раскуривая сигарету.

– Пойдем потолкуем, – сказал Эрнест.

Негр со шваброй теперь тоже стоял между Рэдриком и дверью. Здоровенный такой негр, вроде Гуталина, только в два раза шире.

– Пойдем, – сказал Рэдрик и взял портфель. Сна у него уже не было ни в одном глазу.

Он зашел за стойку и протиснулся мимо негра с пивными ящиками. Негр прищемил, видно, себе палец – облизывал ноготь, исподлобья разглядывая Рэдрика. Тоже очень крепкий негр, с проломленным носом и расплющенными ушами. Эрнест прошел в заднюю комнату, и Рэдрик последовал за ним, потому что теперь уже все трое хмырей стояли у выхода, а негр со шваброй оказался перед кулисами, ведущими на склад.

В задней комнате Эрнест отступил в сторону и, сгорбившись, сел на стул у стены, а из-за стола поднялся капитан Квотерблад, желтый и скорбный, а откуда-то слева выдвинулся громадный ооновец в нахлобученной на глаза каске, быстро взял Рэдрика за бока и провел огромными ладонями по его карманам. У правого бокового кармана он задержался, извлек кастет и легонько подтолкнул Рэдрика к капитану. Рэдрик подошел к столу и поставил перед капитаном Квотербладом портфель.

– Что же ты, зараза! – сказал он Эрнесту.

Эрнест уныло двинул бровями и пожал одним плечом. Все было ясно. В дверях уже стояли, ухмыляясь, оба негра, и больше дверей не было, а окно было закрыто и забрано снаружи основательной решеткой.

Капитан Квотерблад, с отвращением кривя лицо, обеими руками копался в портфеле, выкладывая на стол: «пустышки» малые – две штуки; «батарейки» – девять штук; «черные брызги» разных размеров – шестнадцать штук в полиэтиленовом пакете; «губки» прекрасной сохранности – две штуки; «газированной глины» – одна банка...

– В карманах есть что-нибудь? – тихо произнес капитан Квотерблад. – Выкладывайте...

– Гады, – сказал Рэдрик. – Зар-разы.

Он сунул руку за пазуху и швырнул на стол пачку банкнот. Банкноты полетели во все стороны.

– Ого! – произнес капитан Квотерблад. – Еще?

– Жабы вонючие! – заорал Рэдрик, выхватил из кармана вторую пачку и с размаху швырнул ее себе под ноги. – Жрите! Подавитесь!

– Очень интересно, – произнес капитан Квотерблад спокойно. – А теперь подбери все это.

– Редьку в глаз! – сказал ему Рэдрик, закладывая руки за спину. – Холуи твои подберут. Сам подберешь!

– Подбери деньги, сталкер, – не повышая голоса, сказал капитан Квотерблад, упираясь кулаками в стол и весь подавшись вперед.

Несколько секунд они молча глядели друг другу в глаза, потом Рэдрик, бормоча ругательства, опустился на корточки и неохотно принялся собирать деньги. Негры за спиной захихикали, а ооновец злорадно фыркнул.

– Не фыркай, ты! – сказал ему Рэдрик. – Сопля вылетит!

Он ползал уже на коленях, собирая бумажки по одной, все ближе подбираясь к темному медному кольцу, мирно лежащему в заросшей грязью выемке в паркете, поворачиваясь так, чтобы было удобно, он все выкрикивал и выкрикивал грязные ругательства, все, какие мог вспомнить, и еще те, которые придумывал на ходу, а когда настал момент, он замолчал, напрягся, ухватился за кольцо, изо всех сил рванул его вверх, и распахнувшаяся крышка люка еще не успела грохнуться об пол, а он уже нырнул вниз головой, вытянув напряженные руки, в сырую холодную тьму винного погреба.

Он упал на руки, перекатился через голову, вскочил и, согнувшись, бросился, ничего не видя, полагаясь только на память и на удачу, в узкий проход между штабелями ящиков, на ходу дергая, раскачивая эти штабеля и

слыша, как они со звоном и грохотом валятся в проход позади него, оскальзываясь, взбежал по невидимым ступенькам, всем телом вышиб обитую ржавой жестью дверь и оказался в гараже Эрнеста. Он весь трясся и тяжело дышал, перед глазами плыли кровавые пятна, сердце тяжелыми болезненными толчками било в самое горло, но он не остановился ни на секунду. Он сразу бросился в дальний угол и, обдирая руки, принялся разваливать гору хлама, под которой в стене гаража было выломано несколько досок. Затем он лег на живот и прополз через эту дыру, слыша, как с треском рвется что-то в его пиджаке, и уже во дворе, узком как колодец, присел между мусорными контейнерами, стянул пиджак, сорвал и бросил галстук, быстро оглядел себя, отряхнул брюки, выпрямился и, пробежав через двор, нырнул в низкий вонючий тоннель, ведущий в соседний такой же двор. На бегу он прислушался, но воя патрульных сирен слышно пока не было, и он побежал еще быстрее, распугивая шарахающихся ребятишек, ныряя под развешанное белье, пролезая в дыры в сгнивших заборах, стараясь поскорее выбраться из этого квартала, пока капитан Квотерблад не успел вызвать оцепление. Он прекрасно знал эти места. Во всех этих дворах, в подвалах, в заброшенных прачечных, в угольных складах он играл еще мальчишкой, везде у него здесь были знакомые и даже друзья, и при других обстоятельствах ему ничего не стоило бы спрятаться здесь и отсиживаться хоть целую неделю, но не для того он совершил «дерзкий побег из-под ареста» – из-под носа у капитана Квотерблада, разом заработав себе лишних двенадцать месяцев.

Ему здорово повезло. По Седьмой улице валило, горланя и пыля, очередное шествие какой-то лиги – человек двести длинноволосых дураков и стриженых дур, размахивающих дурацкими транспарантами, таких же растерзанных и неопрятных, как и он сам, и даже хуже, будто все они тоже только что продирались через лазы в заборах, опрокидывали на себя мусорные баки, да вдобавок еще предварительно провели бурную ночку на угольном складе. Он вынырнул из подворотни, с ходу врезался в эту толпу и наискосок, толкаясь, наступая на ноги, получая по уху и давая сдачи, продрался на другую сторону улицы и снова нырнул в подворотню – как раз в тот момент, когда впереди раздался знакомый отвратительный вой патрульных машин, и шествие остановилось, сжимаясь гармошкой. Но теперь он был уже в другом квартале, и капитан Квотерблад не мог знать, в каком именно.

Он вышел на свой гараж со стороны склада радиотоваров, и ему пришлось прождать некоторое время, пока рабочие загружали автокар огромными картонными коробками с телевизорами. Он устроился в чахлых

кустах сирени перед глухой стеной соседнего дома, отдышался немного и выкурил сигарету. Он жадно курил, присев на корточки, прислонившись спиной к жесткой штукатурке брандмауэра, время от времени прикладывая руку к щеке, чтобы унять нервный тик, и думал, думал, думал, а когда автокар с рабочими, гудя, укатил в подворотню, он засмеялся и негромко сказал ему вслед: «Спасибо вам, ребята, задержали дурака... дали подумать». С этого момента он начал действовать быстро, но без торопливости, ловко, продуманно, словно работал в Зоне.

Он проник в свой гараж через тайный лаз, бесшумно убрал старое сиденье, засунул руку в корзину, осторожно достал из мешка сверток и пристроил его за пазухой. Затем он снял с гвоздя старую потертую кожанку, нашел в углу замасленное кепи и обеими руками натянул его низко на лоб. Сквозь щели ворот в полутьму гаража падали узкие полосы солнечного света, полные сверкающих пылинок, во дворе весело и азартно визжали ребятишки, и, уже собираясь уходить, он вдруг узнал голос дочки. Тогда он приник глазом к самой широкой щели и некоторое время смотрел, как Мартышка, размахивая двумя воздушными шариками, бегает вокруг новых качелей, а три старухи-соседки с вязанием на коленях сидят тут же на скамеечке и смотрят на нее, неприязненно поджав губы. Обмениваются своими паршивыми мнениями, старые кочерыжки. А ребятишки – ничего, играют с ней как ни в чем не бывало, не зря же он к ним подлизывался как умел – и горку деревянную сделал для них, и кукольный домик, и качели... И скамейку эту, на которой расселись старые кочерыжки, тоже он сделал. Ладно, сказал он одними губами, оторвался от щели, последний раз оглядел гараж и нырнул в лаз.

На юго-западной окраине города, возле заброшенной бензоколонки, что в конце Горняцкой улицы, была будка телефона-автомата. Бог знает кто теперь здесь ею пользовался – вокруг были одни заколоченные дома, а дальше к югу расстилался необозримый пустырь бывшей городской свалки. Рэдрик сел в тени будки прямо на землю и засунул руку в щель под будкой. Он нащупал пыльную промасленную бумагу и рукоять пистолета, завернутого в эту бумагу, оцинкованная коробка с патронами тоже была на месте, и мешочек с «браслетами», и старый бумажник с поддельными документами – тайник был в порядке. Тогда он снял с себя кожанку и кепи и полез за пазуху. С минуту он сидел, взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой смертью внутри. И тут он почувствовал, как у него снова задергало щеку.

– Шухарт, – пробормотал он, не слыша своего голоса. – Что же ты, зараза, делаешь? Падаль ты, они же этой штукой всех нас передушат... – Он

прижал пальцами дергающуюся щеку, но это не помогло. – Гады, – сказал он про рабочих, грузивших телевизоры на автокар. – Попались же вы мне на дороге... Кинул бы ее, стерву, обратно в Зону, и концы в воду...

Он с тоской огляделся. Над потрескавшимся асфальтом дрожал горячий воздух, угрюмо глядели заколоченные окна, по пустырю бродили пылевые чертики. Он был один.

– Ладно, – сказал он решительно. – Каждый за себя, один Бог за всех. На наш век хватит...

Торопливо, чтобы не передумать снова, он засунул баллон в кепи, а кепи завернул в кожанку. Потом он встал на колени и, навалившись, слегка накренил будку. Толстый сверток лег на дно ямки, и еще осталось много свободного места. Он осторожно опустил будку, покачал ее двумя руками и поднялся, отряхивая ладони.

– И все, – сказал он. – И никаких.

Он забрался в раскаленную духоту будки, опустил монету и набрал номер.

– Гута, – сказал он. – Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я опять попался.

Ему было слышно, как она судорожно вздохнула, и он торопливо проговорил:

– Да ерундистика это все, месяцев шесть-восемь... и со свиданиями... Переживем. А без денег ты не будешь, деньги тебе пришлют... – Она все молчала. – Завтра утром тебя вызовут в комендатуру, там увидимся. Мартышку приведи.

– Обыска не будет? – спросила она глухо.

– А хоть бы и был. Дома все чисто. Ничего, держи хвост трубой... Уши торчком, хвост пистолетом. Взяла в мужья сталкера, теперь не жалуйся. Ну, до завтра... Имей в виду, я тебе не звонил. Целую в попку.

Он резко повесил трубку и несколько секунд стоял, изо всех сил зажмурившись, стиснув зубы так, что звенело в ушах. Потом он опять бросил монетку и набрал другой номер.

– Слушаю вас, – сказал Хрипатый.

– Говорит Шухарт, – сказал Рэдрик. – Слушайте внимательно и не перебивайте...

– Шухарт? – очень натурально удивился Хрипатый. – Какой Шухарт?

– Не перебивайте, я говорю! Я попался, бежал и сейчас иду сдаваться. Мне дадут года два с половиной или три. Жена остается без денег. Вы ее обеспечите. Чтобы она ни в чем не нуждалась, понятно? Понятно, я вас спрашиваю?

– Продолжайте, – сказал Хрипатый.

– Недалеко от того места, где мы с вами в первый раз встретились, есть телефонная будка. Там она одна, не ошибетесь. Фарфор лежит под ней. Хотите – берите, хотите – нет, но жена моя чтобы ни в чем не нуждалась. Нам с вами еще работать и работать. А если я вернусь и узнаю, что вы сыграли нечисто... Я вам не советую играть нечисто. Понятно?

– Я все понял, – сказал Хрипатый. – Спасибо. – Потом, помедлив немного, спросил: – Может быть, адвоката?

– Нет, – сказал Рэдрик. – Все деньги до последнего медяка – жене. С приветом.

Он повесил трубку, огляделся, глубоко засунул руки в карманы брюк и неторопливо пошел вверх по Горняцкой улице между пустыми, заколоченными домами.

3. РИЧАРД Г. НУНАН, 51 ГОД, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОСТАВЩИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ХАРМОНТСКОМ ФИЛИАЛЕ МИВК

Ричард Г. Нунан сидел за столом у себя в кабинете и рисовал чертиков в огромном блокноте для деловых заметок. При этом он сочувственно улыбался, кивал лысой головой и не слушал посетителя. Он просто ждал телефонного звонка, а посетитель, доктор Пильман, лениво делал ему выговор. Или воображал, что делает ему выговор. Или хотел заставить себя поверить, будто делает ему выговор.

– Мы все это учтем, Валентин, – сказал наконец Нунан, дорисовав десятого для ровного счета чертика и захлопнув блокнот. – В самом деле, безобразие...

Валентин протянул тонкую руку и аккуратно стряхнул пепел в пепельницу.

– И что же именно вы учтете? – вежливо осведомился он.

– А все, что вы сказали, – весело ответил Нунан, откидываясь в кресле. – До последнего слова.

– А что я сказал?

– Это несущественно, – произнес Нунан. – Что бы вы ни сказали, все будет учтено.

Валентин (доктор Валентин Пильман, лауреат Нобелевской премии и все такое прочее) сидел перед ним в глубоком кресле, маленький, изящный, аккуратный, на замшевой курточке – ни пятнышка, на поддернутых брюках – ни морщинки; ослепительная рубашка, строгий одноцветный галстук, сияющие ботинки, на тонких бледных губах – ехидная улыбочка, огромные черные очки скрывают глаза, над широким низким лбом – черные волосы жестким ежиком.

– По-моему, вам зря платят ваше фантастическое жалованье, – сказал он. – Мало того, Дик, по-моему, вы еще и саботажник.

– Чш-ш-ш! – произнес Нунан шепотом. – Ради бога, не так громко.

– В самом деле, – продолжал Валентин. – Я довольно давно слежу за вами: по-моему, вы совсем не работаете...

– Одну минутку! – прервал его Нунан и протестующе помахал розовым толстым пальцем. – Как это не работаю? Разве хоть одна

рекламация осталась без последствий?

– Не знаю, – сказал Валентин и снова стряхнул пепел. – Приходит хорошее оборудование, приходит плохое оборудование. Хорошее приходит чаще, а при чем здесь вы – не знаю.

– А вот если бы не я, – возразил Нунан, – хорошее приходило бы реже. Кроме того, вы, ученые, все время портите хорошее оборудование, а потом заявляете рекламации, и кто вас тогда покрывает? Вот, например, что вы сделали с «ищейкой»? Великолепный аппарат, блестяще показал себя в геологоразведке, устойчивый, автономный... А вы гоняли его в совершенно ненормальных режимах, запалили механизм, как скаковую лошадь...

– Напоили не вовремя и не задали овса... – заметил Валентин. – Конюх вы, Дик, а не промышленник!

– Конюх, – задумчиво повторил Нунан. – Это уже лучше. Вот несколько лет назад здесь работал доктор Панов, вы его, наверное, знали, он потом погиб... Так вот, он полагал, что мое призвание – разводить крокодилов.

– Я читал его работы, – сказал Валентин. – Очень серьезный и обстоятельный человек. На вашем месте я бы призадумался над его словами.

– Хорошо. Поразмыслю на досуге... Вы мне лучше скажите, чем вчера кончился пробный запуск СК-3?

– СК-3? – повторил Валентин, морща бледный лоб. – А... «Скоморох»! Ничего особенного. По маршруту прошел хорошо, принес несколько «браслетов» и какую-то пластинку неизвестного назначения... – Он помолчал. – И пряжку от подтяжек фирмы «Люкс».

– А что за пластинка?

– Сплав ванадия, пока трудно сказать точнее. Поведение нулевое.

– Почему тогда СК ее притащил?

– Спросите у фирмы. Это уже по вашей части.

Нунан задумчиво постучал карандашиком по блокноту.

– В конце концов, это же был пробный запуск, – проговорил он. – А может быть, пластинка разрядилась... Знаете, что я вам посоветую? Забросьте ее опять в Зону, а через денек-другой пошлите за ней «ищейку». Я помню, в позапрошлом году...

Зазвонил телефон, и Нунан, сразу забыв о Валентине, схватил трубку.

– Мистер Нунан? – спросила секретарша. – Вас снова господин Лемхен.

– Соединяйте.

Валентин поднялся, положил потухший окурок в пепельницу, в знак

прощания пошевелил у виска двумя пальцами и вышел – маленький, прямой, складный.

– Мистер Нунан? – раздался в трубке знакомый медлительный голос.

– Слушаю вас.

– Нелегко застать вас на рабочем месте, мистер Нунан.

– Пришла новая партия...

– Да, я уже знаю. Мистер Нунан, я приехал ненадолго. Есть несколько вопросов, которые необходимо обсудить при личной встрече. Имеются в виду последние контракты «Мицубиси Дэнси». Юридическая сторона.

– К вашим услугам.

– Тогда, если вы не возражаете, минут через тридцать в конторе нашего отделения. Вас устраивает?

– Вполне. Через тридцать минут.

Ричард Нунан положил трубку, поднялся и, потирая пухлые руки, прошелся по кабинету. Он даже запел какой-то модный шлягер, но тут же пустил петуха и добродушно засмеялся над собой. Затем он взял шляпу, перекинул через руку плащ и вышел в приемную.

– Детка, – сказал он секретарше, – меня понесло по клиентам. Оставайтесь командовать гарнизоном, удерживайте, как говорится, крепость, а я вам принесу шоколадку.

Секретарша расцвела. Нунан послал ей воздушный поцелуй и покатился по коридорам Института. Несколько раз его пытались поймать за полу – он увертывался, отшучивался, просил удерживать без него позиции, беречь почки, не напрягаться, и в конце концов, так никем и не уловленный, выкатился из здания, привычно взмахнув нераскрытым пропуском перед носом дежурного сержанта.

Над городом висели низкие тучи, парило, первые неуверенные капли черными звездочками расплывались на асфальте. Накинув плащ на голову и плечи, Нунан рысцой пробежал вдоль шеренги машин к своему «пежо», нырнул внутрь и, сорвав с головы плащ, бросил его на заднее сиденье. Из бокового кармана пиджака он извлек черную круглую палочку «этака», вставил ее в аккумуляторное гнездо и задвинул большим пальцем до щелчка. Потом, поерзав задом, он поудобнее устроился за рулем и нажал педаль. «Пежо» беззвучно выкатился на середину улицы и понесся к выходу из предзонника.

Дождь хлынул внезапно, разом, как будто в небесах опрокинули чан с водой. Мостовая сделалась скользкой, машину заносило на поворотах. Нунан запустил дворники и снизил скорость. Итак, рапорт получен, думал он. Сейчас нас будут хвалить. Что ж, я – за. Я люблю, когда меня хвалят.

Особенно когда хвалит сам господин Лемхен, через силу. Странное дело, почему это нам нравится, когда нас хвалят? Денег от этого не прибавится. Славы? Какая у нас может быть слава? «Он прославился: теперь о нем знали трое». Ну, скажем, четверо, если считать Бейлиса. Забавное существо человек!.. Похоже, мы любим похвалу как таковую. Как детишки – мороженое. Комплекс неполноценности это, вот что. Похвала тешит наши комплексы. И очень глупо. Как я могу подняться в собственных глазах? Что я – сам себя не знаю? Старого толстого Ричарда Г. Нунана? А кстати, что такое это «Г»? Вот тебе и на! И спросить не у кого... Не у господина же Лемхена спрашивать... А, вспомнил! Герберт. Ричард Герберт Нунан. Ну и льет...

Он вывернул на Центральный проспект и вдруг подумал: до чего сильно вырос городишко за последние годы!.. Экие небоскребы отгрохали... Вот еще один строят. Это что же у нас будет? А, луна-комплекс – лучшие в мире джазы, и варьете, и публичный дом на тысячу станков, все для нашего доблестного гарнизона и для наших храбрых туристов, особенно пожилых, и для благородных рыцарей науки... А окраины пустеют. И уже некуда возвращаться вставшим из могил покойникам.

– Восставшим из могил пути домой закрыты, – произнес он вслух, – поэтому они печальны и сердиты...

Да, хотел бы я знать, чем все это кончится. Между прочим, десять лет назад я совершенно точно знал, чем все это должно кончиться. Непреодолимые кордоны. Пояс пустоты шириной в пятьдесят километров. Ученые и солдаты, больше никого. Страшная язва на теле моей планеты заблокирована намертво... И ведь надо же, вроде бы и все так считали, не только я. Какие произносились речи, какие вносились законопроекты!.. А теперь вот уже даже и не вспомнишь, каким образом эта всеобщая стальная решимость расплылась вдруг киселем. «С одной стороны – нельзя не признать, но с другой стороны – нельзя не согласиться». А началось это, кажется, когда сталкеры вынесли из Зоны первые «этаки». Батарейки... Да, кажется, с этого и началось. Особенно когда открылось, что «этаки» размножаются. Язва оказалась не такой уж и язвой, и даже не язвой вовсе, а, напротив, сокровищницей... А теперь уже никто и не знает, что она такое – язва ли, сокровищница, адский соблазн, шкатулка Пандоры, черт, дьявол... Пользуются помаленьку. Двадцать лет корячатся, миллиарды ухлопали, а организованного грабежа наладить так и не смогли. Каждый делает свой маленький бизнес, а ученые лбы с важным видом вещают: с одной стороны – нельзя не признать, а с другой стороны – нельзя не

согласиться, поскольку объект такой-то, будучи облучен рентгеном под углом восемнадцать градусов, испускает квазитепловые электроны под углом двадцать два градуса... К дьяволу! Все равно до самого конца мне не дожить...

Машина катилась мимо особняка Стервятника Барбриджа. Во всем доме по случаю проливного дождя горел свет – видно было, как в окнах второго этажа, в комнатах красотки Дины, движутся танцующие пары. Не то спозаранку начали, не то со вчерашнего никак кончить не могут. Мода такая пошла по городу – сутками напролет. Крепкую мы вырастили молодежь, выносливую и упорную в своих намерениях...

Нунан остановил машину перед невзрачным зданием со скромной вывеской – «Юридическая контора Корш, Корш и Саймак». Он вынул и спрятал в карман «этак», снова натянул на голову плащ, подхватил шляпу и опрометью бросился в парадное – мимо швейцара, углубленного в газету, по лестнице, покрытой потертым ковром, застучал каблуками по темному коридору второго этажа, пропитанному специфическим запахом, природу которого он в свое время напрасно тщился выяснить, распахнул дверь в конце коридора и вошел в приемную. На месте секретарши сидел незнакомый, очень смуглый молодой человек. Он был без пиджака, рукава сорочки засучены. Он копался в потрохах некоего сложного электронного устройства, установленного на столике вместо пишущей машинки. Ричард Нунан повесил плащ и шляпу на гвоздик, обеими руками пригладил остатки волос за ушами и вопросительно взглянул на молодого человека. Тот кивнул. Тогда Нунан открыл дверь в кабинет.

Господин Лемхен грузно поднялся ему навстречу из большого кожаного кресла, стоящего у завешенного портьерой окна. Прямоугольное генеральское лицо его собралось в складки, означающие не то приветливую улыбку, не то скорбь по поводу дурной погоды, а может быть – с трудом обуздываемое желание чихнуть.

– Ну вот и вы, – медлительно проговорил он. – Входите, располагайтесь.

Нунан поискал взглядом, где бы расположиться, и не обнаружил ничего, кроме жесткого стула с прямой спинкой, упрятанного за стол. Тогда он присел на край стола. Веселое настроение его начало почему-то улетучиваться – он и сам не понимал еще, почему. Вдруг сделалось ясно, что хвалить его здесь не будут. Скорее наоборот. День гнева, философически подумал он и приготовился к худшему.

– Закуривайте, – предложил господин Лемхен, снова опускаясь в кресло.

– Спасибо, не курю.

Господин Лемхен покивал головой с таким видом, словно подтвердились самые дурные его предположения, соединил перед лицом кончики пальцев обеих рук и некоторое время внимательно разглядывал образовавшуюся фигуру.

– Полагаю, юридические дела фирмы «Мицубиси Дэнси» мы обсуждать с вами не будем, – проговорил он наконец.

Это была шутка. Ричард Нунан с готовностью улыбнулся и сказал:

– Как вам будет угодно!

Сидеть на столе было чертовски неудобно, ноги не доставали до полу, резало зад.

– С сожалением должен сообщить вам, Ричард, – сказал господин Лемхен, – что ваш рапорт произвел наверху чрезвычайно благоприятное впечатление.

– Гм... – произнес Нунан. Начинается, подумал он.

– Вас даже собирались представить к ордену, – продолжал господин Лемхен, – однако я предложил повременить. И правильно сделал. – Он наконец оторвался от созерцания фигуры из десяти пальцев и посмотрел исподлобья на Нунана. – Вы спросите меня, почему я проявил такую, казалось бы, чрезмерную осторожность.

– Наверное, у вас были к тому основания, – скучным голосом сказал Нунан.

– Да, были. Что получалось из вашего рапорта, Ричард? Группа «Метрополь» ликвидирована. Вашими усилиями. Группа «Зеленый цветочек» взята с поличным в полном составе. Блестящая работа. Тоже ваша. Группы «Варр», «Квазимодо», «Странствующие музыканты» и все прочие, я не помню их названий, самоликвидировались, осознав, что не сегодня-завтра их накроют. Это все на самом деле так и было, все подтверждается перекрестной информацией. Поле боя очистилось. Оно осталось за вами, Ричард. Противник в беспорядке отступил, понеся большие потери. Я верно изложил ситуацию?

– Во всяком случае, – осторожно сказал Нунан, – последние три месяца утечка материалов из Зоны через Хармонт прекратилась... По крайней мере, по моим сведениям, – добавил он.

– Противник отступил, не так ли?

– Ну, если вы настаиваете именно на этом выражении... Так.

– Не так! – сказал господин Лемхен. – Дело в том, что этот противник никогда не отступает. Я это знаю твердо. Поспешив с победным рапортом, Ричард, вы продемонстрировали незрелость. Именно поэтому я предложил

воздержаться от немедленного представления вас к награде.

Растак и растуда твои награды, думал Нунан, раскачивая ногой и угрюмо глядя на мелькающий носок ботинка. В сортир я твои растакие ордена вешал. Тоже мне моралист, воспитатель молодежи, я и без тебя знаю, с кем я здесь имею дело, нечего мне морали читать, какой растакой и перетакой у меня противник. Скажи просто и ясно: где, как и что я прошлепал... что эти сволочи откололи еще... где, как и какие нашли щели... И без предисловий, я тебе не приготовишка сопливый, мне уже за полста перевалило, и я тебе здесь не ради твоих перетаких орденов сижу...

– Что вы слышали о Золотом Шаре? – спросил вдруг господин Лемхен.

Господи, с раздражением подумал Нунан, Золотой-то Шар здесь при чем? Растак тебя и растуда с твоей манерой разговаривать...

– Золотой Шар есть легенда, – скучным голосом доложил он. – Мифическое сооружение в Зоне, имеющее форму и вид некоего золотого шара, предназначенное для исполнения человеческих желаний.

– Любых?

– В соответствии с каноническим текстом легенды – любых. Существуют, однако, варианты...

– Так, – произнес господин Лемхен. – А что вы слышали о «смерть-лампе»?

– Восемь лет назад, – скучным голосом затянул Нунан, – сталкер по имени Стефан Норман и по кличке Очкарик вынес из Зоны некое устройство, представляющее собою, насколько можно судить, нечто вроде системы излучателей, смертоносно действующих на земные организмы. Упомянутый Очкарик торговал этот агрегат Институту. В цене они не сошлись, Очкарик ушел в Зону и не вернулся. Где находится агрегат в настоящее время – неизвестно. В Институте до сих пор рвут на себе волосы. Известный вам Хью из «Метрополя» предлагал за этот агрегат любую сумму, какая уместится на листке чековой книжки.

– Все? – спросил господин Лемхен.

– Все, – ответил Нунан. Он демонстративно оглядывал комнату. Комната была скучная, смотреть было не на что.

– Так, – сказал Лемхен. – А что вы слышали о «рачьем глазе»?

– О каком глазе?

– О рачьем. Рак. Знаете? – Господин Лемхен постриг воздух двумя пальцами. – С клешнями.

– В первый раз слышу, – сказал Нунан, нахмурившись.

– Ну а что вы знаете о «гремучих салфетках»?

Нунан слез со стола и встал перед Лемхеном, засунув руки в карманы.

– Ничего не знаю, – сказал он. – А вы?

– К сожалению, я тоже ничего не знаю. Ни о «рачьем глазе», ни о «гремучих салфетках». А между тем они существуют.

– В моей Зоне? – спросил Нунан.

– Вы сядьте, сядьте, – сказал господин Лемхен, помавая ладонью. – Наш разговор только начинается. Сядьте.

Нунан обогнул стол и уселся на жесткий стул с высокой спинкой. Куда гнет? – лихорадочно думал он. Что еще за новости? Наверное, нашли что-нибудь в других Зонах, а он меня разыгрывает, скотина, так его и не так. Всегда он меня не любил, старый черт, не может забыть того стишка...

– Продолжим наш маленький экзамен, – объявил Лемхен, отогнул портьеру и выглянул в окно. – Льет, – сообщил он. – Люблю. – Он отпустил портьеру, откинулся в кресле и, глядя в потолок, спросил: – Как поживает старый Барбридж?

– Барбридж? Стервятник Барбридж под наблюдением. Калека, в средствах не нуждается. С Зоной не связан. Содержит четыре бара, танцкласс и организует пикники для офицеров гарнизона и туристов. Дочь, Дина, ведет рассеянный образ жизни. Сын, Артур, только что окончил юридический колледж.

Господин Лемхен удовлетворенно покивал.

– Отчетливо, – похвалил он. – А что поделывает Креон-Мальтиец?

– Один из немногих действующих сталкеров. Был связан с группой «Квазимодо», теперь сбывает хабар Институту, через меня. Я держу его на свободе: когда-нибудь кто-нибудь клюнет. Правда, последнее время он сильно пьет и, боюсь, долго не протянет.

– Контакты с Барбриджем?

– Ухаживает за Диной. Успеха не имеет.

– Очень хорошо, – сказал господин Лемхен. – А что слышно о Рыжем Шухарте?

– Месяц назад вышел из тюрьмы. В средствах не нуждается. Пытался эмигрировать, но у него... – Нунан помолчал. – Словом, у него семейные неприятности. Ему сейчас не до Зоны.

– Все?

– Все.

– Немного, – сказал господин Лемхен. – А как обстоят дела у Счастливчика Картера?

– Он уже много лет не сталкер. Торгует подержанными автомобилями, и потом у него мастерская по переоборудованию автомашин на питание от «этаков». Четверо детей, жена умерла год назад. Теща.

Лемхен покивал.

– Ну, кого из стариков я еще забыл? – добродушно осведомился он.

– Вы забыли Джонатана Майлза по прозвищу Кактус. Сейчас он в больнице, умирает от рака. И вы забыли Гуталина...

– Да-да, что Гуталин?

– Гуталин все тот же, – сказал Нунан. – У него группа из трех человек. Неделями пропадают в Зоне. Все, что находят, уничтожают на месте. А его общество Воинствующих Ангелов распалось.

– Почему?

– Ну, как вы помните, они занимались тем, что скупали хабар, и Гуталин относил его обратно в Зону. Дьяволово дьяволу. Теперь скупать стало нечего, а кроме того, новый директор филиала натравил на них полицию.

– Понимаю, – сказал господин Лемхен. – Ну а молодые?

– Что ж – молодые... Приходят и уходят, есть человек пять-шесть с кое-каким опытом, но последнее время им некому сбывать хабар, и они растерялись. Я их понемножку приручаю... Полагаю, шеф, что со сталкерством в моей Зоне практически покончено. Старики сошли, молодежь ничего не умеет, да и престиж ремесла уже не тот, что раньше. Идет техника, сталкеры-автоматы.

– Да-да, я слыхал об этом, – сказал господин Лемхен. – Однако эти автоматы не оправдывают пока и той энергии, которую потребляют. Или я ошибаюсь?

– Это вопрос времени. Скоро начнут оправдывать.

– Как скоро?

– Лет через пять-шесть...

Господин Лемхен снова покивал.

– Между прочим, вы, наверное, еще не знаете, противник тоже стал применять сталкеры-автоматы.

– В моей Зоне? – снова спросил Нунан, насторожившись.

– И в вашей тоже. У вас они базируются на Рексополис, перебрасывают оборудование на вертолетах через горы в Змеиное ущелье, на Черное озеро, к подножию Болдер-пика.

– Так ведь это же периферия, – сказал Нунан недоверчиво. – Там пусто, что они там могут найти?

– Мало, очень мало. Но находят. Впрочем, это я для справки, это вас не касается... Резюмируем. Сталкеров-профессионалов в Хармонте почти не осталось. Те, что остались, к Зоне больше отношения не имеют. Молодежь растеряна и находится в процессе приручения. Противник разбит,

отброшен, залег где-то и зализывает раны. Хабара нет, а когда он появляется, его некому сбывать. Незаконная утечка материалов из Хармонтской Зоны уже три месяца как прекратилась. Так?

Нунан молчал. Сейчас, думал он. Сейчас он мне врежет. Но где же у меня дыра? И здоровенная, видимо, пробоина. Ну, давай, давай, старая морковка!.. Не тяни душу...

– Не слышу ответа, – произнес господин Лемхен и приложил ладонь к морщинистому волосатому уху.

– Ладно, шеф, – мрачно сказал Нунан. – Хватит. Вы меня уже сварили и изжарили, подавайте на стол.

Господин Лемхен неопределенно хмыкнул.

– Вам даже нечего мне сказать, – проговорил он с неожиданной горечью. – Ушами вот хлопаете перед начальством, а каково же было мне, когда позавчера... – Он вдруг оборвал себя, поднялся и побрел по кабинету к сейфу. – Короче говоря, за последние два месяца, только по имеющимся сведениям, комплексы противника получили свыше шести тысяч единиц материала из различных Зон... – Он остановился около сейфа, погладил его по крашеному боку и резко повернулся к Нунану. – Не тешьте себя иллюзиями! – заорал он. – Отпечатки пальцев Барбриджа! Отпечатки пальцев Мальтийца! Отпечатки пальцев Носатого Бен-Галеви, о котором вы даже не сочли нужным мне упомянуть! Отпечатки пальцев Гундосого Гереша и Карлика Цмыга! Так-то вы приручаете вашу молодежь! «Браслеты»! «Иголки»! «Белые вертячки»! И мало того – какие-то «рачьи глаза», какие-то «сучьи погремушки», «гремучие салфетки», черт бы их подрал!

Он снова оборвал себя, вернулся в кресло, опять соединил пальцы и вежливо спросил:

– Что вы об этом думаете, Ричард?

Нунан вытащил носовой платок и вытер шею и затылок.

– Ничего не думаю, – просипел он честно. – Простите, шеф, я сейчас вообще... Дайте отдышаться... Барбридж! Можете подтереться моим послужным списком, но Барбридж не имеет никакого отношения к Зоне! Я знаю каждый его шаг! Он устраивает попойки и пикники на озерах, он зашибает хорошие деньги, и ему просто не нужно... Простите, я чепуху, конечно, говорю, но уверяю вас, я не теряю Барбриджа из виду с тех пор, как он вышел из больницы...

– Я вас больше не задерживаю, – сказал господин Лемхен. – Даю неделю сроку. Представьте соображения, каким образом материалы из вашей Зоны попадают в руки Барбриджа... и всей прочей сволочи. До

свидания!

Нунан поднялся, неловко кивнул профилю господина Лемхена и, продолжая вытирать платком обильно потеющую шею, выбрался в приемную. Смуглый молодой человек курил, задумчиво глядя в недра развороченной электроники. Он мельком посмотрел в сторону Нунана – глаза у него были пустые, обращенные внутрь.

Ричард Нунан кое-как нахлобучил шляпу, схватил плащ под мышку и пошел вон. Такого со мной, пожалуй, еще не бывало, беспорядочно думал он. Надо же – Носатый Бен-Галеви! Кличку уже успел заработать... Когда? Этакий шибздик, соплей перешибить можно... мальчишка... Нет, все это не то... Ах ты, сволочь безногая, Стервятник! Как же ты меня уел! Без штанов ведь пустил, грязными носками накормил... Как же это могло случиться? Этого же просто не могло случиться! Прямо как тогда, в Сингапуре, – мордой об стол, затылком об стену...

Он сел в автомобиль и некоторое время, ничего не соображая, шарил под щитком в поисках ключа зажигания. Со шляпы текло на колени, он снял ее и, не глядя, швырнул за спину. Дождь заливал переднее стекло, и Ричарду Нунану представлялось почему-то, что именно из-за этого он никак не может понять, что же делать дальше. Осознав это, он с размаху стукнул себя кулаком в лысый лоб. Полегчало. Сразу вспомнилось, что ключа зажигания нет и быть не может, а есть в кармане «этак». Вечный аккумулятор. И надо его вытащить из кармана, мать его сучью за ногу, и вставить в приемное гнездо, и тогда можно будет по крайней мере куда-нибудь поехать – подальше от этого дома, где из окна за ним наверняка наблюдает эта старая брюква...

Рука Нунана с «этаком» замерла на полпути. Так. С кого начать – я, по крайней мере, знаю. Вот с него и начну. Ох, как я с него начну! Никто ни с кого никогда так не начинал, как начну с него я сейчас. И с таким удовольствием... Он включил дворники и погнал машину вдоль бульвара, почти ничего не видя перед собой, но уже понемногу успокаиваясь. Ладно. Пусть как в Сингапуре. В конце концов в Сингапуре ведь все кончилось благополучно... Подумаешь, разок мордой об стол! Могло быть и хуже. Могло быть не мордой и не об стол, а обо что-нибудь с гвоздями... Господи, как просто все это можно было бы сделать! Сгрести в одну кучу всю эту сволочь, засадить лет на пятнадцать... или выслать к чертовой матери! В России вот о сталкерах и не слыхивали. Там вокруг Зоны действительно пустота, сто километров, никого лишнего, ни туристов этих вонючих, ни Барбриджей... Проще надо поступать, господа, проще! Никаких сложностей тут, ей-богу же, не требуется. Нечего тебе делать в Зоне – до

свиданья, на сто первый километр... Ладно, не будем отвлекаться. Где тут мой бардак? Не видно ни черта... Ага, вот он.

Время было неурочное, но заведение «Пять минут» сияло огнями, что твой «Метрополь». Отряхиваясь, как собака на берегу, Ричард Нунан вступил в ярко освещенный холл, провонявший табаком, парфюмерией и прокисшим шампанским. Старый Бенни, еще без ливреи, сидел за стойкой наискосок от входа и что-то жрал, держа вилку в кулаке. Перед ним, расположив среди пустых бокалов чудовищный бюст, возвышалась Мадам и, пригорюнясь, смотрела, как он ест. В холле еще даже не убирали после вчерашнего. Когда Нунан вошел, Мадам сейчас же повернула в его сторону широкое наштукатуренное лицо, сначала недовольное, но тут же расплывшееся в профессиональной улыбке.

– Хо! – пробасила она. – Никак сам господин Нунан! По девочкам соскучились?

Бенни продолжал жрать, он был глух как пень.

– Привет, старушка! – отозвался Нунан, подходя. – Зачем мне девочки, когда передо мной настоящая женщина?

Бенни наконец заметил его. Страшная маска, вся в синих и багровых шрамах, с натугой перекосилась в приветливой улыбке.

– Здравствуйте, хозяин! – прохрипел он. – Обсушиться зашли?

Нунан улыбнулся в ответ и сделал ручкой. Он не любил разговаривать с Бенни: все время приходилось орать.

– Где мой управляющий, ребята? – спросил он.

– У себя, – ответила Мадам. – Завтра налоги платить.

– Ох уж эти налоги! – сказал Нунан. – Ладно. Мадам, попрошу приготовить мое любимое, я скоро вернусь.

Бесшумно ступая по толстому синтетическому ковру, он прошел по коридору мимо задернутых портьерами стойл – на стене возле каждого стойла красовалось изображение какого-нибудь цветка, – свернул в неприметный тупичок и без стука открыл обшитую кожей дверь.

Мосол Катюша восседал за столом и рассматривал в зеркальце зловещую болячку на носу. Плевать ему было, что завтра налоги платить. На совершенно пустом столе перед ним стояла баночка ртутной мази и стакан с прозрачной жидкостью. Мосол Катюша поднял на Нунана налитые кровью глаза и вскочил, уронив зеркальце. Не говоря ни слова, Нунан опустился в кресло напротив и некоторое время молча рассматривал прохвоста и слушал, как тот невнятно бормочет что-то насчет проклятого дождя и ревматизма. Потом он сказал:

– Закрой-ка дверь на ключ, голубчик.

Мосол, плоскостопо бухая ножищами, подбежал к двери, щелкнул ключом и вернулся к столу. Он волосатой горой возвышался над Нунаном, преданно глядя ему в рот. Нунан все рассматривал его через прищуренные веки. Почему-то он вдруг вспомнил, что настоящее имя Мосла Катюши – Рафаэль. Мослом его прозвали за чудовищные костлявые кулаки, сизо-красные и голые, торчащие из густой шерсти, покрывавшей его руки, словно из манжет. Катюшей же он называл себя сам в полной уверенности, что это традиционное имя великих монгольских царей. Рафаэль. Ну что ж, Рафаэль, начнем.

– Как дела? – спросил он ласково.

– В полном порядке, босс, – поспешно ответствовал Рафаэль-Мосол.

– Тот скандал уладил в комендатуре?

– Сто пятьдесят монет выложил. Все довольны.

– Сто пятьдесят с тебя, – сказал Нунан. – Твоя вина, голубчик. Надо было следить.

Мосол сделал несчастное лицо и с покорностью развел огромные ладони.

– Паркет в холле надо бы перестелить, – сказал Нунан.

– Будет сделано.

Нунан помолчал, топорща губы.

– Хабар? – спросил он, понизив голос.

– Есть немножко, – тоже понизив голос, произнес Мосол.

– Покажи.

Мосол кинулся к сейфу, достал сверток, положил его на стол перед Нунаном и развернул. Нунан одним пальцем покопался в кучке «черных брызг», взял «браслет», оглядел его со всех сторон и положил обратно.

– Это все? – спросил он.

– Не несут, – виновато сказал Мосол.

– Не несут... – повторил Нунан.

Он тщательно прицелился и изо всех сил пнул носком ботинка Мослу в голень. Мосол охнул, пригнулся было, чтобы схватиться за ушибленное место, но тут же снова выпрямился и вытянул руки по швам. Тогда Нунан вскочил, словно его пырнули в зад, отшвырнул кресло, схватил Мосла за воротник сорочки и пошел на него, лягаясь, вращая глазами и шепча ругательства. Мосол, ахая и охая, задирая голову, как испуганная лошадь, пятился от него до тех пор, пока не рухнул на диван.

– На две стороны работаешь, стерва? – шипел Нунан прямо в его белые от ужаса глаза. – Стервятник в хабаре купается, а ты мне бусики в бумажечке подносишь?.. – Он развернулся и ударил Мосла по лицу,

стараясь зацепить нос с болячкой. – В тюрьме сгною! В навозе у меня жить будешь... Навоз жрать будешь... Жалеть будешь, что на свет родился! – Он снова с размаху ткнул кулаком в болячку. – Откуда у Барбриджа хабар? Почему ему несут, а тебе нет? Кто несет? Почему я ничего не знаю? Ты на кого работаешь, свинья волосатая? Говори!

Мосол беззвучно открывал и закрывал рот. Нунан отпустил его, вернулся в кресло и задрал ноги на стол.

– Ну? – сказал он.

Мосол с хлюпаньем втянул носом кровь и сказал:

– Ей-богу, босс... Чего вы? Какой у Стервятника хабар? Нет у него никакого хабара. Нынче ни у кого хабара нету...

– Ты что – спорить со мной будешь? – ласково спросил Нунан, снимая ноги со стола.

– Да нет, босс... ей-богу... – заторопился Мосол. – Мать-перемать! Какое там спорить! И в мыслях этого нету...

– Вышвырну я тебя, – мрачно произнес Нунан. – Потому что ты либо скурвился, либо работать не умеешь. На кой черт ты мне, такой-сякой, сдался? Я таких, как ты, на четвертак десяток наберу. Мне настоящий человек нужен при деле, а ты мне здесь только девчонок портишь да пиво жрешь.

– Погодите, босс, – рассудительно сказал Мосол, размазывая кровь по морде. – Что это вы сразу, с налету?.. Давайте все-таки разберемся... – Он осторожно потрогал болячку кончиками пальцев. – Хабара, говорите, много у Барбриджа? Не знаю. Извиняюсь, конечно, но это вам кто-то заливает. Ни у кого сейчас хабара нет. В Зону ведь одни сопляки ходят, так они же не возвращаются почти никогда. Нет, босс, в натуре, это вам кто-то заливает...

Нунан искоса следил за ним. Было похоже, что Мосол действительно ничего не знает. Да ему и невыгодно было врать – на Стервятнике много не заработаешь.

– Эти пикники его – выгодное дело? – спросил он.

– Пикники? Да не так чтобы очень. Лопатой не загребешь... Так ведь сейчас в городе выгодных дел не осталось...

– Где эти пикники устраиваются?

– Устраиваются где? Так, в разных местах. У Белой горы, на Горячих источниках бывают, на Радужных озерах...

– А какая клиентура?

– Клиентура какая? – Мосол снова потрогал болячку, посмотрел на пальцы и сказал доверительно: – Если вы, босс, хотите сами за это дело взяться, я бы вам не советовал. Против Стервятника вам здесь не посветит.

– Это почему же?

– У Стервятника клиентура: голубые каски – раз. – Мосол принялся отгибать пальцы. – Офицеры из комендатуры – два, туристы из «Метрополя», из «Белой Лилии», из «Пришельца»... это три. Потом у него уже реклама поставлена, местные ребята тоже к нему ходят... Ей-богу, босс, не стоит с этим связываться. За девочек он нам платит – не то чтобы богато...

– Местные тоже к нему ходят?

– Молодежь, в основном.

– Ну и что там, на пикниках, делается?

– Делается что? Едем туда на автобусах, так? Там уже палаточки, буфетик, музычка... Ну, и каждый развлекается как хочет. Офицеры больше с девочками, туристы прутся на Зону смотреть – ежели у Горячих источников, то до Зоны там рукой подать, прямо за Серной расщелиной... Стервятник туда им лошадиных костей накидал, вот они и смотрят в бинокли...

– А местные?

– Местные? Местным это, конечно, неинтересно... Так, развлекаются, кто как умеет...

– А Барбридж?

– Так а что – Барбридж? Как все, так и Барбридж...

– А ты?

– А что – я? Как все, так и я. Смотрю, чтобы девочек не обижали, и... это... ну, там... Ну, как все, в общем.

– И сколько это все продолжается?

– Когда как. Когда трое суток, а когда и всю неделю.

– И сколько это удовольствие стоит? – спросил Нунан, думая совсем о другом.

Мосол ответил что-то, Нунан его не слышал. Вот она, прореха, думал он. Несколько суток... Несколько ночей. В этих условиях просто невозможно проследить за Барбриджем, даже если ты специально задался этой целью, а не валяешься с девками и не сосешь пиво, как мой монгольский царь... И все-таки ничего не понятно. Он же безногий, а там расщелина... Нет, тут что-то не то...

– Кто из местных ездит постоянно?

– Из местных? Так я ж говорю – больше молодежь. Самые оторвы, какие есть в городе. Ну там Галеви, Ражба... Куренок Цапфа... этот... Цмыг... Ну, Мальтиец бывает. Теплая компания. Они это дело называют «воскресная школа». Что, говорят, посетим «воскресную школу»? Они там

в основном насчет пожилых туристок, неплохо зарабатывают. Прикатит какая-нибудь старуха из Европы...

– «Воскресная школа», – повторил Нунан.

Какая-то странная мысль появилась вдруг у него. Школа. Он поднялся.

– Ладно, – сказал он. – Бог с ними, с пикниками. Это не для нас. Но чтоб ты знал: у Стервятника есть хабар, а это уже – наше дело, голубчик. Это мы просто так оставить не можем. Ищи, Мосол, ищи, а то выгоню я тебя к чертовой матери. Откуда он берет хабар, кто ему доставляет, – выясни все и давай на двадцать процентов больше, чем он. Понял?

– Понял, босс. – Мосол уже тоже стоял, руки по швам, на измазанной морде – преданность.

– Да перестань мне портить девок, животное! – заорал вдруг Нунан и вышел.

В холле у стойки он неспешно распил свой аперитив, побеседовал с Мадам насчет падения нравов, намекнул, что в ближайшем будущем намерен расширить заведение, и, понизив голос для значительности, посоветовался, как быть с Бенни: стар становится мужик, слуха нет, реакция совсем не та, не поспевает, как раньше... Было уже шесть часов, хотелось есть, а в мозгу все сверлила, все крутилась неожиданная мыслишка, ни с чем не сообразная и в то же время многое объясняющая. Впрочем, и так уже кое-что объяснилось, исчез с этого дела раздражающий и пугающий налет мистики, осталась только досада на себя, что раньше не подумал о такой возможности, но главное-то было не в этом, главное было в этой мыслишке, которая все крутилась и крутилась и не давала покоя.

Попрощавшись с Мадам и пожав руку Бенни, Нунан поехал прямиком в «Боржч». Вся беда в том, что мы не замечаем, как проходят годы, думал он. Плевать на годы – мы не замечаем, как все меняется. Мы знаем, что все меняется, нас с детства учат, что все меняется, мы много раз видели своими глазами, как все меняется, и в то же время мы совершенно не способны заметить тот момент, когда происходит изменение, или ищем изменение не там, где следовало бы. Вот уже появились новые сталкеры – оснащенные кибернетикой. Старый сталкер был грязным, угрюмым человеком, который со звериным упорством, миллиметр за миллиметром, полз на брюхе по Зоне, зарабатывая себе куш. Новый сталкер – это франт при галстуке, инженер, сидит где-нибудь в километре от Зоны, в зубах сигаретка, возле локтя – стакан с бодрящей смесью, сидит себе и смотрит за экранами. Джентльмен на жалованье. Очень логичная картина. До того логичная, что все остальные возможности просто на ум не приходят. А ведь есть и другие возможности – «воскресная школа», например.

И вдруг, вроде бы ни с того ни с сего, он ощутил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря. Боже мой, подумал он. Ведь ничего же у нас не получится! Не удержать, не остановить! Никаких сил не хватит удержать в горшке эту квашню, подумал он с ужасом. Не потому, что мы плохо работаем. И не потому, что они хитрее и ловчее нас. Просто мир такой. Человек такой. Не было бы Посещения – было бы что-нибудь другое. Свинья грязи найдет...

В «Боржче» было много света и очень вкусно пахло. «Боржч» тоже изменился – ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует, и Рэдрик Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха, дорвалась: солидная постоянная клиентура, весь Институт сюда ходит обедать, да и старшие офицеры. Уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня.

В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел за чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел.

– Разрешите соседствовать? – спросил он.

Валентин поднял на него черные окуляры.

– А, – сказал он. – Прошу.

– Сейчас, только руки помою, – сказал Нунан, вспомнив вдруг болячку.

Здесь его хорошо знали. Когда он вернулся и сел напротив Валентина, на столе уже стояли маленькая жаровня с дымящимся шураско и высокая кружка пива – не холодного и не теплого, как он любил. Валентин отложил журнал и пригубил кофе.

– Слушайте, Валентин, – сказал Нунан, отрезая кусочек мяса и обмакивая его в соус. – Как вы думаете, чем все это кончится?

– Вы о чем?

– Посещение, Зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы – вся эта куча... Чем все это может кончиться?

Валентин долго смотрел на него слепыми черными стеклами. Потом он закурил сигарету и сказал:

– Для кого? Конкретизируйте.

– Ну, скажем, для человечества в целом.

– Это зависит от того, повезет нам или нет, – сказал Валентин. – Мы теперь знаем, что для человечества в целом Посещение прошло, в общем, бесследно. Для человечества все проходит бесследно. Конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы в конце концов вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет невезенье. Однако согласитесь, что такое всегда

грозило человечеству. – Он разогнал дым сигареты ладонью и усмехнулся: – Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом – слишком стационарная система, ее ничем не проймешь.

– Вы так думаете? – разочарованно произнес Нунан. – Что ж, может быть и так...

– Скажите по чести, Ричард, – явно развлекаясь, сказал Валентин. – Вот для вас, дельца, что изменилось с Посещением? Вот вы узнали, что во Вселенной есть еще по крайней мере один разум помимо человеческого. Ну и что?

– Да как вам сказать? – промямлил Нунан. Он уже жалел, что затеял этот разговор. Не о чем здесь было разговаривать. – Что для меня изменилось?.. Например, вот уже много лет я ощущаю некоторое неудобство, неуютность какую-то. Хорошо, они пришли и сразу ушли. А если они придут снова и им взбредет в голову остаться? Для меня, для дельца, это, знаете ли, не праздный вопрос: кто они, как они живут, что им нужно?.. В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? – Он оживился. – А если мы все окажемся ненужными? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Кто они, что им было нужно, вернутся или нет?..

– Ответы существуют, – сказал Валентин, усмехаясь. – Их даже очень много, выбирайте любой.

– А сами вы что считаете?

– Откровенно говоря, я никогда не позволял себе размышлять об этом серьезно. Для меня Посещение – это прежде всего уникальное событие, чреватое возможностью перепрыгнуть сразу через несколько ступенек в процессе познания. Что-то вроде путешествия в будущее технологии. Н-ну, как если бы в лабораторию к Исааку Ньютону попал современный квантовый генератор...

– Ньютон бы ничего не понял.

– Напрасно вы так думаете! Ньютон был очень проницательный человек.

– Да? Ну ладно, бог с ним, с Ньютоном. А как вы все-таки толкуете Посещение? Пусть даже несерьезно...

– Хорошо, я вам скажу. Только я должен предупредить вас, Ричард, что ваш вопрос находится в компетенции псевдонауки под названием ксенология. Ксенология – это некая неестественная помесь научной

фантастики с формальной логикой. Основой ее метода является порочный прием – навязывание инопланетному разуму человеческой психологии.

– Почему порочный? – сказал Нунан.

– А потому, что биологи в свое время уже обожглись, когда пытались перенести психологию человека на животных. Земных животных, заметьте.

– Позвольте, – сказал Нунан. – Это совсем другое дело. Ведь мы говорим о психологии РАЗУМНЫХ существ...

– Да. И все было бы очень хорошо, если бы мы знали, что такое разум.

– А разве мы не знаем? – удивился Нунан.

– Представьте себе, нет. Обычно исходят из очень плоского определения: разум есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Этакая, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который якобы все понимает, только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Они базируются на горестных наблюдениях за упомянутой деятельностью человека. Например: разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки.

– Да, это про нас, – согласился Нунан.

– К сожалению. Или, скажем, определение-гипотеза. Разум есть сложный инстинкт, не успевший еще сформироваться. Имеется в виду, что инстинктивная деятельность всегда целесообразна и естественна. Пройдет миллион лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем совершать ошибки, которые, вероятно, являются неотъемлемым свойством разума. И тогда, если во Вселенной что-нибудь изменится, мы благополучно вымрем, – опять же именно потому, что разучились совершать ошибки, то есть пробовать разные, не предусмотренные жесткой программой варианты.

– Как-то это все у вас получается... унизительно.

– Пожалуйста, тогда еще одно определение – очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира.

Нунан сморщился и замотал головой.

– Нет, – сказал он. – Это уж слишком... Это не про нас... Ну а как насчет того, что человек, в отличие от животных, существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал.

– Я тоже, – сказал Валентин. – Но вся беда в том, что человек, во всяком случае массовый человек, с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, у него такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять,

абсолютно ничего не узнавая... Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний. Несколько заученных формул плюс так называемая интуиция, так называемая практическая сметка и так называемый здравый смысл.

– Погодите, – сказал Нунан. Он допил пиво и со стуком поставил пустую кружку на стол. – Не отвлекайтесь. Давайте все-таки так. Человек встретился с инопланетным существом. Как они узнают друг о друге, что они оба разумны?

– Представления не имею, – сказал Валентин веселясь. – Все, что я читал по этому поводу, сводится к порочному кругу. Если они способны к контакту, значит, они разумны. И наоборот: если они разумны, они способны к контакту. И вообще: если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно. Такие дела, Ричард. Читали Воннегута?

– Вот тебе и на, – сказал Нунан. – А я-то думал, что у вас все уже разложено по полочкам...

– Разложить по полочкам и обезьяна может, – заметил Валентин.

– Нет, погодите, – сказал Нунан. Почему-то он чувствовал себя обманутым. – Но если вы таких простых вещей не знаете... Ладно, господь с ним, с разумом. Видно, здесь сам черт ногу сломит. Но насчет Посещения? Что вы все-таки думаете насчет Посещения?

– Пожалуйста, – сказал Валентин. – Представьте себе пикник...

Нунан вздрогнул:

– Как вы сказали?

– Пикник. Представьте себе: лес, проселок, лужайка. С проселка на лужайку съезжает машина, из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты... Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка. А утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи и масляные фильтры. Валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов осталась грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте... ну и, сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые, драные газеты, монетки, увядшие цветы с других полян...

– Я понял, – сказал Нунан. – Пикник на обочине.

– Именно. Пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете: вернутся они или нет.

– Дайте-ка мне закурить, – сказал Нунан. – Черт бы побрал вашу псевдонауку! Как-то я все это не так себе представлял.

– Это ваше право, – заметил Валентин.

– Значит, что же – они нас даже и не заметили?

– Почему?

– Ну, во всяком случае, не обратили на нас внимания...

– Знаете, я бы на вашем месте не огорчался, – посоветовал Валентин.

Нунан затянулся, закашлялся, бросил сигарету.

– Все равно, – сказал он упрямо. – Не может быть... Черт бы вас, ученых, подрал! Откуда это у вас такое пренебрежение к человеку? Что вы его все время стремитесь принизить?..

– Подождите, – сказал Валентин. – Послушайте. «Вы спросите меня: чем велик человек? – процитировал он. – Тем, что создал вторую природу? Что привел в движение силы почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет! Тем, что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть и далее».

Наступило молчание. Нунан думал.

– Может быть... – сказал он неуверенно. – Конечно, если с этой точки зрения...

– Да вы не огорчайтесь, – благодушно сказал Валентин. – Пикник – это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картинка... Так называемые серьезные ксенологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого Посещения не было, что Посещение еще только будет. Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который и будет означать реальную готовность к контакту. Как вам это?

– Это уже значительно лучше, – сказал Нунан. – Я вижу, среди ученых тоже попадаются порядочные люди.

– Или вот. Посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в Зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к «жестоким чудесам грядущего».

– Вот это я понимаю! – сказал Нунан. – По крайней мере, тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода.

Между прочим, ваш пикник эту возню не объясняет.

– Почему же не объясняет? – возразил Валентин. – Могла ведь какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка...

– Ну, это вы бросьте, – решительно сказал Нунан. – Ничего себе медвежонок – земля трясется... Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия! Эй, старуха! Два пива господам ксенологам!.. А все-таки приятно с вами побеседовать, – сказал он Валентину. – Этакое прочищение мозгов, словно английской соли насыпали под черепушку. А то вот работаешь-работаешь, а зачем, для чего, что будет, что случится, чем сердце успокоится...

Принесли пива. Нунан отхлебнул, глядя поверх пены, как Валентин с выражением брезгливого сомнения рассматривает свою кружку.

– Что, не нравится? – спросил он, облизывая губы.

– Да я, собственно, не пью, – нерешительно сказал Валентин.

– Ну да? – поразился Нунан.

– Черт возьми! – сказал Валентин. – Должен же в этом мире быть хоть один непьющий. – Он решительно отодвинул кружку. – Закажите мне лучше коньяку, раз так, – сказал он.

– Розалия! – немедленно рявкнул вконец развеселившийся Нунан.

Когда принесли коньяк, он сказал:

– И все-таки так нельзя. Я уж не говорю про ваш пикник – это вообще свинство, – но если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, все равно нехорошо. Я понимаю – «браслеты», «пустышки»... Но «ведьмин-то студень» зачем? «Комариные плеши», пух этот отвратительный...

– Простите, – сказал Валентин, выбирая ломтик лимона. – Я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши?

Нунан засмеялся.

– Это фольклор, – пояснил он. – Рабочий жаргон сталкеров. «Комариные плеши» – это области повышенной гравитации.

– А, гравиконцентраты... Направленная гравитация. Вот об этом я бы поговорил с удовольствием, но вы ничего не поймете.

– Почему же это я ничего не пойму? Я все-таки инженер...

– Потому что я сам не понимаю, – сказал Валентин. – У меня есть системы уравнений, но как их истолковать – я представления не имею... А «ведьмин студень» – это, вероятно, коллоидный газ?

– Он самый. Слыхали о катастрофе в Карригановских лабораториях?

– Слыхал кое-что, – неохотно отозвался Валентин.

– Эти идиоты поместили фарфоровый контейнер со «студнем» в

специальную камеру, предельно изолированную... То есть это они думали, что камера предельно изолирована, но когда они открыли контейнер манипуляторами, «студень» пошел через металл и пластик, как вода через промокашку, вырвался наружу, и все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в «студень». Погибло тридцать пять человек, больше ста изувечено, а все здание лаборатории приведено в полную негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Великолепное сооружение! А теперь «студень» стек в подвалы и нижние этажи... Вот вам и прелюдия к контакту.

Валентин весь сморщился.

– Да, я знаю все это, – сказал он. – Однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чем. Откуда они могли знать о существовании у нас военно-промышленных комплексов?

– А следовало бы знать! – назидательно ответил Нунан.

– А они сказали бы вам на это: следовало бы давным-давно уничтожить военно-промышленные комплексы.

– И то верно, – согласился Нунан. – Вот бы они этим и занялись, раз такие могучие.

– То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества?

– Гм, – сказал Нунан. – Так мы, конечно, можем зайти очень далеко. Не будем об этом. Вернемся лучше к началу разговора. Чем же все это кончится? Ну вот, например, вы, ученые. Надеетесь вы получить из Зоны что-нибудь фундаментальное, что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку, технологию, образ жизни?..

Валентин допил рюмку и пожал плечами:

– Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идет о таких серьезных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис. Если исходить из того, что мы уже получили, впереди целый спектр возможностей, и ничего определенного сказать нельзя.

– Розалия, еще коньяку! – крикнул Нунан. – Ну хорошо, попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили?

– Как это ни забавно, довольно мало. Мы обнаружили много чудес. В некоторых случаях мы научились даже использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним... Лабораторная обезьяна нажимает красную кнопку – получает банан, нажимает белую – апельсин, но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает. Возьмем, скажем, «этаки». Мы научились ими пользоваться. Мы открыли даже условия, при которых они размножаются делением. Но мы до сих пор

не сумели сделать ни одного «этака», не понимаем, как они устроены, и, судя по всему, разберемся во всем этом не скоро... Я бы сказал так. Есть объекты, которым мы нашли применение. Мы используем их, хотя почти наверняка не так, как их используют пришельцы. Я совершенно уверен, что в подавляющем большинстве случаев мы забиваем микроскопами гвозди. Но все-таки кое-что мы применяем: «этаки», «браслеты», стимулирующие жизненные процессы... различные типы квазибиологических масс, которые произвели такой переворот в медицине... Мы получили новые транквилизаторы, новые типы минеральных удобрений, переворот в агрономии... В общем, что я вам перечисляю! Вы знаете все это не хуже меня – «браслетик», я вижу, сами носите... Назовем эту группу объектов полезными. Можно сказать, что в какой-то степени человечество ими облагодетельствовано, хотя никогда не следует забывать, что в нашем эвклидовом мире всякая палка имеет два конца...

– Нежелательные применения? – вставил Нунан.

– Вот именно. Скажем, применение «этаков» в военной промышленности... Я не об этом. Действие каждого полезного объекта нами более или менее изучено, более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологией, но лет через пятьдесят мы сами научимся изготавливать эти королевские печати и тогда уж вволю будем колоть ими орехи. Сложнее обстоит дело с другой группой объектов – сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Например, магнитные ловушки разных типов. Мы понимаем, что это магнитная ловушка, Панов это очень остроумно доказал. Но мы не понимаем, где источник такого мощного магнитного поля, в чем причина его сверхустойчивости... ничего не понимаем. Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или К-23... Как вы их называете, эти черные красивые шарики, которые идут на украшения?

– «Черные брызги», – сказал Нунан.

– Вот-вот, «черные брызги»... Хорошее название... Ну, вы знаете про их свойства. Если пустить луч света в такой шарик, то свет выйдет из него с задержкой, причем эта задержка зависит от веса шарика, от размера, еще от некоторых параметров, и частота выходящего света всегда меньше частоты входящего... Что это такое? Почему? Есть безумная идея, будто эти ваши «черные брызги» – суть гигантские области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наше, и принявшего такую свернутую форму под воздействием нашего пространства... – Валентин вытащил сигарету и

закурил. – Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. Это свалившиеся с неба ответы на вопросы, которые мы еще не умеем задать. Упомянутый выше сэр Исаак, может быть, и не разобрался бы в лазере, но он, во всяком случае, понял бы, что такая вещь возможна, и это очень сильно повлияло бы на его научное мировоззрение. Я не буду вдаваться в подробности, но существование таких объектов, как магнитные ловушки, К-23, «белое кольцо», разом зачеркнуло целое поле недавно процветавших теорий и вызвало к жизни совершенно новые идеи. А ведь есть еще третья группа...

– Да, – сказал Нунан. – «Ведьмин студень» и прочее дерьмо...

– Нет-нет. Все это следует отнести либо к первой, либо ко второй группе. Я имею в виду объекты, о которых мы ничего не знаем или знаем только понаслышке, которых мы никогда не держали в руках. То, что уволокли у нас из-под носа сталкеры, – продали неизвестно кому, припрятали. То, о чем они молчат. Легенды и полулегенды: «машина желаний», «бродяга Дик», «веселые призраки»...

– Минуточку, минуточку, – сказал Нунан. – Это еще что такое? «Машина желаний» – понимаю...

Валентин засмеялся.

– Видите, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. «Бродяга Дик» – это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А «веселые призраки» – это некая опасная турбуленция, имеющая место в некоторых районах Зоны.

– Первый раз слышу, – сказал Нунан.

– Вы понимаете, Ричард, – сказал Валентин, – мы ковыряемся в Зоне два десятка лет, но мы не знаем и тысячной доли того, что она содержит. А если уж говорить о воздействии Зоны на человека... Вот, кстати, тут нам придется ввести в классификацию еще одну, четвертую группу. Уже не объектов, а воздействий. Эта группа изучена безобразно плохо, хотя фактов накопилось, на мой взгляд, более чем достаточно. И вы знаете, Ричард, я – физик и, следовательно, скептик. Но и меня иногда мороз продирает по коже, когда я думаю об этих фактах.

– Живые покойники... – пробормотал Нунан.

– Что? А... Нет – это загадочно, но не более того. Как бы это сказать... Это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с того ни с сего начинают происходить внефизические, внебиологические явления...

– А, вы имеете в виду эмигрантов...

– Вот именно. Математическая статистика, знаете ли, – это очень

точная наука, хотя она и имеет дело со случайными величинами. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная...

Валентин, по-видимому, слегка охмелел. Он стал говорить громче, щеки его порозовели, а брови над черными окулярами высоко задрались, сминая лоб в гармошку.

– Розалия! – гаркнул вдруг он. – Еще коньяку! Большую рюмку!

– Люблю непьющих, – с уважением сказал Нунан.

– Не отвлекайтесь! – сказал Валентин строго. – Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно.

Он поднял рюмку, разом отхлебнул половину и продолжал:

– Мы не знаем, что произошло с бедными хармонтцами в самый момент Посещения. Но вот один из них решил эмигрировать. Какой-нибудь обыкновеннейший обыватель. Парикмахер. Сын парикмахера и внук парикмахера. Он переезжает, скажем, в Детройт. Открывает парикмахерскую, и начинается чертов бред. Более девяноста процентов его клиентуры погибает на протяжении года: гибнут в автомобильных авариях, вываливаются из окон, вырезаются гангстерами и хулиганами, тонут на мелких местах и так далее, и так далее. Мало того. Число коммунальных катастроф в Детройте резко возрастает. В два раза чаще взрываются газовые колонки. В три с половиной раза чаще возникают пожары от неисправности электросети. В три раза увеличивается количество автомобильных аварий. В два раза возрастает смертность от эпидемий гриппа. Мало того. Возрастает количество стихийных бедствий в Детройте и его окрестностях. Откуда-то берутся смерчи и тайфуны, которых в этих местах не видывали с тысяча семьсот затертого года. Разверзаются хляби небесные, и озеро Онтарио, или Мичиган, или где там стоит Детройт, выходит из берегов... Ну и все в таком же роде. И такие катаклизмы происходят в любом городе, в любой местности, где селится эмигрант из района Посещения, и количество этих катаклизмов прямо пропорционально числу эмигрантов, поселившихся в данном месте. И заметьте, подобное действие оказывают только те эмигранты, которые пережили само Посещение. Родившиеся после Посещения на статистику несчастных случаев никакого влияния не оказывают. Вы прожили в Хармонте десять лет, но вы приехали сюда после Посещения, и вас без опаски можно селить хоть в Ватикане. Как объяснить такое? От чего нужно отказаться – от статистики? Или от здравого смысла? – Валентин схватил рюмку и залпом допил ее.

Ричард Нунан почесал за ухом.

– М-да, – сказал он. – Я вообще-то наслышан о таких вещах, но я,

честно говоря, всегда полагал, что все это, мягко выражаясь, несколько преувеличено... Просто понадобился предлог, чтобы запретить эмиграцию.

Валентин горько усмехнулся:

– Ничего себе предлог! Да кто же такому бреду поверит? Ну, придумали бы какие-нибудь эпидемии... опасность распространения вредных слухов... да мало ли что!

Он уперся локтями в стол и пригорюнился, опустив лицо в ладони.

– Я вам сочувствую, – сказал Нунан. – Действительно, с точки зрения нашей могучей позитивистской науки...

– Или, скажем, мутагенное воздействие Зоны, – прервал его Валентин. Он снял очки и уставился на Нунана черными подслеповатыми глазами. – Все люди, которые достаточно долго общаются с Зоной, подвергаются изменениям – как фенотипическим, так и генотипическим. Вы знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. Почему? Где мутагенный фактор? Радиации в Зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в Зоне хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. Что же мне в таких условиях – в колдовство начать верить? В дурной глаз?.. Слушайте, Ричард, давайте еще по рюмке. Я что-то разошелся, будь оно все неладно...

Ричард Нунан, ухмыляясь, потребовал еще рюмку коньяку для лауреата и кружку пива для себя. Потом он сказал:

– Так вот. Я вам, конечно, сочувствую в ваших метаниях. Но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники бьют по мозгам гораздо сильнее, чем данные статистики. Тем более что данных статистики я никогда не видел, а покойников и видел, и обонял предостаточно...

Валентин легкомысленно махнул рукой.

– А, покойники ваши... – сказал он. – Слушайте, Ричард, вам не стыдно? Вы же все-таки человек с образованием... Неужели не понятно, что, с точки зрения фундаментальных принципов, эти ваши покойники – нисколько не более и не менее удивительная вещь, чем вечные аккумуляторы. Просто «этаки» нарушают первый принцип термодинамики, а покойники – второй, вот и вся разница. Все мы в каком-то смысле пещерные люди – ничего страшнее призрака или вурдалака представить себе не можем. А между тем нарушение принципа причинности – гораздо более страшная вещь, чем целые стада привидений... и всяких там чудовищ Рубинштейна... или Валленштейна?

– Франкенштейна.

– Да, конечно, Франкенштейна. Мадам Шелли. Супруга поэта. Или

дочь. – Он вдруг засмеялся. – У этих ваших покойников есть одно любопытное свойство – автономная жизнеспособность. Можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить... то есть не ходить, конечно... в общем, жить. Отдельно. Без всяких физиологических растворов... Так вот, недавно доставили в Институт одного такого... невостребованного. Н-н-ну, препарировали его... Это мне лаборант Бойда рассказывал. Отделили правую руку для каких-то там надобностей, приходят на другое утро, а она дулю показывает... – Валентин захохотал. – А? И так до сих пор! То разожмет пальцы, то опять сложит. Как вы полагаете, что она этим хочет сказать?

– По-моему, символ довольно прозрачный... А не пора ли нам по домам, Валентин? – сказал Нунан, глядя на часы. – У меня есть еще одно важное дело.

– Пойдемте, – охотно согласился Валентин, тщетно пытаясь попасть лицом в оправу очков. – Ф-фу, напоили вы меня, Ричард... – Он взял очки в обе руки и старательно водрузил их на место. – У вас машина?

– Да, я вас завезу.

Они расплатились и направились к выходу. Валентин держался еще более прямо чем обычно и то и дело с размаху прикладывал палец к виску, приветствуя знакомых лаборантов, которые с любопытством и изумлением наблюдали за светилом мировой физики. У самого выхода, приветствуя расплывшегося в улыбке швейцара, он сшиб с себя очки, и все трое кинулись их ловить.

– Ф-фу, Ричард... – приговаривал Валентин, влезая в «пежо». – Вы меня без-бож-но напоили. Нельзя же так, черт возьми... Неудобно. У меня завтра эксперимент. Вы знаете, любопытная вещь...

И он принялся рассказывать о завтрашнем эксперименте, поминутно отвлекаясь на анекдоты и приговаривая: «Напоили... надо же! К чертям собачьим...» Нунан отвез его в научный городок, решительно пресек неожиданно вспыхнувшее у лауреата желание добавить («...и какой там к дьяволу эксперимент? Знаете, что я с этим вашим экспериментом сделаю? Я его отложу!..») и сдал с рук на руки жене, которая при виде своего супруга пришла в веселое негодование.

– ...Г-гости? – шумел супруг. – Кто? А, профессор Бойд? Превосходно! Сейчас мы с ним дернем. Но не рюмками, черт побери, а стаканами... Ричард! Где вы, Ричард!..

Это Нунан слышал, уже сбегая по лестнице. А ведь они тоже боятся, думал он, снова усаживаясь в «пежо». Боятся, боятся, высоколобые... Да так и должно быть. Они должны бояться даже больше, чем все мы, простые

обыватели, вместе взятые. Ведь мы просто ничего не понимаем, а они по крайней мере понимают, до какой степени ничего не понимают. Смотрят в эту бездонную пропасть и знают, что неизбежно им туда спускаться, – сердце заходится, но спускаться надо, а как спускаться, что там на дне и, главное, можно ли будет потом оттуда выбраться?.. А мы, грешные, смотрим, так сказать, в другую сторону. Слушай, а может быть, так и надо? Пусть оно идет все своим чередом, а мы уж проживем как-нибудь. Правильно он сказал: самый героический поступок человечества – это то, что оно выжило и намерено выжить дальше... А все-таки черт бы вас подрал, сказал он пришельцам. Не могли устроить свой пикник в другом месте. На Луне, например. Или на Марсе. Такая же вы равнодушная дрянь, как и все, хоть и научились сворачивать пространство. Пикник, видите ли, нам здесь устроили... Пикник...

Как же мне получше обойтись с моими пикниками, думал он, медленно ведя «пежо» по ярко освещенным мокрым улицам. Как бы мне половчее все это провернуть? По принципу наименьшего действия. Как в механике. На кой черт мне мой такой-сякой инженерный диплом, если я не могу придумать, как мне половчее ущучить этого безногого мерзавца...

Он остановил машину перед домом, где жил Рэдрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Потом он вынул «этак», вылез из машины и только тут обратил внимание, что дом выглядит нежилым. Почти все окна были темные, в скверике никого не было, и даже фонари там не горели. Это напомнило ему, ч т о он сейчас увидит, и он зябко поежился. Ему даже пришло в голову, что, может быть, имеет смысл вызвать Рэдрика по телефону и побеседовать с ним в машине или в какой-нибудь тихой пивнушке, но он отогнал эту мысль. По целому ряду причин. И кроме всего прочего, сказал он себе, давай-ка не будем уподобляться всем этим жалким сволочам, которые разбежались отсюда, как тараканы, ошпаренные кипятком.

Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно не метенной лестнице. Вокруг стояла нежилая тишина, многие двери, выходящие на лестничные площадки, были приотворены или даже распахнуты настежь – из темных прихожих тянуло затхлыми запахами сырости и пыли. Он остановился перед дверью квартиры Рэдрика, пригладил волосы за ушами, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Некоторое время за дверью было тихо, потом там скрипнули половицы, щелкнул замок, и дверь тихо приоткрылась. Шагов он так и не услышал.

На пороге стояла Мартышка, дочь Рэдрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет, и в первую секунду

Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев, но потом она отступила в глубь прихожей, и он увидел ее лицо. В горле у него мгновенно пересохло.

– Здравствуй, Мария, – сказал он, стараясь говорить как можно ласковее. – Как поживаешь, Мартышка?

Она не ответила. Она молчала и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него исподлобья. Похоже, она не узнавала его. Да и он, честно говоря, не узнавал ее. Зона, подумал он. Дрянь...

– Кто там? – спросила Гута, выглядывая из кухни. – Господи, Дик! Где вы пропадали? Вы знаете, Рэдрик вернулся!

Она поспешила к нему, на ходу вытирая руки полотенцем, переброшенным через плечо, – все такая же красивая, энергичная, сильная, только вот подтянуло ее как-то: лицо осунулось, и глаза были какие-то... лихорадочные, что ли?

Он поцеловал ее в щеку, отдал ей плащ и шляпу и сказал:

– Наслышаны, наслышаны... Все времени никак не мог выбрать – забежать. Дома он?

– Дома, – сказала Гута. – У него там один... Скоро уйдет, наверное, они давно уже сидят. Проходите, Дик...

Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом. Один. Неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый свет от абажура падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого дерева, ввалившийся безгубый рот, остановившиеся, без блеска, глаза. И сейчас же Нунан почувствовал запах. Он знал, что это игра воображения, запах бывал только первые дни, а потом исчезал напрочь, но Ричард Нунан чувствовал его как бы памятью – душный, тяжелый запах разрытой земли.

– А то пойдемте на кухню, – поспешно сказала Гута. – Я там ужин готовлю, заодно поболтаем.

– Да, конечно, – сказал Нунан бодро. – Столько не виделись!.. Вы еще не забыли, что именно я люблю выпить перед ужином?

Они прошли на кухню, Гута сразу же открыла холодильник, а Нунан уселся за стол и огляделся. Как всегда, здесь все было чисто, все блестело, над кастрюльками поднимался пар. Плита была новая, полуавтомат, значит, деньги в доме были.

– Ну как он? – спросил Нунан.

– Да все такой же, – ответила Гута. – Похудел в тюрьме, но сейчас уже отъелся.

– Рыжий?

– Еще бы!

– Злой?

– А как же! Это у него уж до самой смерти.

Гута поставила перед ним стакан «кровавой Мэри» – прозрачный слой русской водки словно бы висел над слоем томатного сока.

– Не много? – спросила она.

– В самый раз. – Нунан набрал в грудь воздуху и, зажмурившись, влил в себя смесь. Это было хорошо. Он вспомнил, что, по сути дела, за весь день впервые выпил нечто существенное. – Вот это другое дело, – сказал он. – Теперь можно жить.

– У вас все хорошо? – спросила Гута. – Что вы так долго не заходили?

– Проклятые дела, – сказал Нунан. – Каждую неделю собирался зайти или хотя бы позвонить, но сначала пришлось ехать в Рексополис, потом скандал один начался, потом мне говорят: «Рэдрик вернулся», – ладно, думаю, зачем им мешать... В общем, завертелся я, Гута. Я иногда спрашиваю себя: какого черта мы так крутимся? Чтобы заработать деньги? Но на кой черт нам деньги, если мы только и делаем, что крутимся?..

Гута звякнула крышками кастрюлек, взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить, и снова, второй раз в жизни, увидел, что у нее дрожат пальцы, как тогда, когда Рэдрика только что осудили и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег, – первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался – откуда, но он продолжал приходить, приносил Мартышке лакомства и игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Рэдрика, а потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал, наконец, выйдя из терпения, грозил: «Ведь Рыжий вернется, он вам все кости переломает...» – ничего не помогало.

– А как поживает ваша девушка? – спросила Гута.

– Которая?

– Ну, с которой вы заходили тогда... Беленькая такая...

– Какая же это моя девушка? Это моя стенографистка. Вышла замуж и уволилась.

– Жениться вам надо, Дик, – сказала Гута. – Хотите, невесту найду?

Нунан хотел было ответить, как обычно: «Мартышка вот подрастет...», но вовремя остановился. Сейчас бы это уже не прозвучало.

– Стенографистка мне нужна, а не жена, – проворчал он. – Бросайте вы

своего рыжего дьявола и идите ко мне в стенографистки. Вы же были отличной стенографисткой. Старый Гаррис вас до сих пор вспоминает.

– Еще бы, – сказала она. – Всю руку тогда об него отбила.

– Ах даже так? – Нунан сделал вид, что удивлен. – Ай да Гаррис!

– Господи! – сказала Гута. – Да он мне проходу не давал! Я только одного боялась, как бы Рэд не узнал.

Бесшумно вошла Мартышка – возникла в дверях, посмотрела на кастрюли, на Ричарда, потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо.

– Ну что, Мартышка, – сказал бодро Ричард Нунан. – Шоколадку хочешь?

Он полез в жилетный карман, вытащил шоколадный автомобильчик в прозрачном пакетике и протянул девочке. Она не пошевелилась. Гута взяла у него шоколадку и положила на стол. У нее вдруг побелели губы.

– Да, Гута, – бодро сказал Нунан. – А я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице. Во-первых, от Института все-таки далеко...

– Она уже почти ничего не понимает, – тихо сказала Гута, и он оборвал себя, взял в обе руки стакан и принялся бессмысленно вертеть его в пальцах. – Вы вот не спрашиваете, как мы живем, – продолжала она, – и правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик, нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь!

– У врача были? – спросил Нунан, не поднимая глаз.

– Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал...

Она замолчала. Он тоже молчал. Не о чем тут было говорить и не хотелось об этом думать, но его вдруг ударила жуткая мысль: это вторжение. Не пикник на обочине, не призыв к контакту – вторжение. Они не могут изменить нас, но они проникают в тела наших детей и изменяют их по своему образу и подобию. Ему стало зябко, но он тут же вспомнил, что уже читал о чем-то подобном, какой-то покетбук в яркой глянцевой обложке, и от этого воспоминания ему полегчало. Придумать можно все, что угодно. На самом деле никогда не бывает так, как придумывают.

– А один сказал, что она уже не человек, – проговорила Гута.

– Вздор, – глухо сказал Нунан. – Обратитесь к настоящему специалисту. Обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Устрою вам прием...

– Это к Мяснику? – Она нервно засмеялась. – Не надо, Дик, спасибо. Это он и сказал. Видно, судьба.

Когда Нунан снова осмелился поднять глаза, Мартышки уже не было, а

Гута сидела неподвижно, рот у нее был приоткрыт, глаза пустые, и на сигарете в ее пальцах нарос длинный кривой столбик серого пепла. Тогда он толкнул к ней по столу стакан и проговорил:

– Сделайте-ка мне еще одну порцию, детка... И себе сделайте. И выпьем.

Она уронила пепел, поискала глазами, куда бросить окурок, и бросила в мойку.

– За что? – проговорила она. – Вот я чего не понимаю! Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие все-таки в этом городе...

Нунан подумал, что она сейчас заплачет, но она не заплакала – открыла холодильник, достала водку и сок и сняла с полки второй стакан.

– Вы все-таки не отчаивайтесь, – сказал Нунан. – Нет на свете ничего такого, чего нельзя было бы исправить. И вы мне поверьте, Гута, у меня очень большие связи. Все, что смогу, я сделаю...

Сейчас он сам верил в то, что говорил, и уже перебирал в уме имена, клиники и города, и ему уже казалось, будто о подобных случаях он что-то где-то слышал, и вроде бы все кончилось благополучно, надо только сообразить, где это было и кто лечил, но тут он вспомнил, зачем он сюда пришел, и вспомнил господина Лемхена, и вспомнил, для чего он подружился с Гутой, и ему больше не захотелось думать ни о чем, и он отогнал от себя все связные мысли, сел поудобнее, расслабился и стал ждать, пока ему поднесут выпивку.

В это время в прихожей послышались шаркающие шаги, постукивание, и отвратительный, особенно сейчас, голос Стервятника Барбриджа прогундосил:

– Э, Рыжий! А к твоей бабе, видать, кто-то заглянул, – шляпа... Я б на твоем месте это дело так не оставил...

И голос Рэдрика:

– Береги протезы, Стервятник. И прикуси язык. Вон двери, уйти не забудь, мне ужинать пора.

И Барбридж:

– Тьфу ты, господи, пошутить уже нельзя!

И Рэдрик:

– Мы с тобой уже все отшутили. И точка. Мотай, мотай, не задерживай!

Щелкнул замок, и голоса стали тише – очевидно, оба вышли на лестничную площадку. Барбридж что-то сказал вполголоса, и Рэдрик ему ответил: «Все, все, поговорили!» Снова ворчанье Барбриджа и резкий голос Рэдрика: «Сказал – все!» Ахнула дверь, простучали быстрые шаги в

прихожей, и на пороге кухни появился Рэдрик Шухарт. Нунан поднялся ему навстречу, и они крепко пожали друг другу руки.

– Я так и знал, что это ты, – сказал Рэдрик, оглядывая Нунана быстрыми зеленоватыми глазами. – У-у, растолстел, толстяк! Все задницу в барах нагуливаешь... Эге! Да вы тут, я вижу, весело время проводите! Гута, старушка, сделай мне порцию, надо догонять...

– Да мы еще и не начали, – сказал Нунан. – Мы только собирались. От тебя разве убежишь!

Рэдрик резко засмеялся, ткнул Нунана кулаком в плечо.

– А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит! Я, брат, два года постился, мне, чтоб тебя догнать, цистерну вылакать надо... Пошли, пошли, что мы здесь на кухне! Гута, тащи ужин...

Он нырнул в холодильник и снова выпрямился, держа в каждой руке по две бутылки с разными наклейками.

– Гулять будем! – объявил он. – В честь лучшего друга Ричарда Нунана, который не покидает своих в беде! Хотя пользы ему от этого никакой. Эх, Гуталина нет, жалко...

– А ты позвони ему, – предложил Нунан.

Рэдрик помотал ярко-рыжей головой.

– Туда еще телефон не провели, куда ему сейчас звонить. Ну пошли, пошли...

Он первым вошел в гостиную и грохнул бутылки на стол.

– Гулять будем, папаня! – сказал он неподвижному старику. – Это вот Ричард Нунан, наш друг! Дик, а это папаня мой, Шухарт-старший...

Ричард Нунан, собравшись мысленно в непроницаемый комок, раздвинул рот до ушей, потряс в воздухе ладонью и сказал покойнику:

– Очень рад, мистер Шухарт. Как поживаете?.. Мы ведь знакомы, Рэд, – сказал он Шухарту-младшему, который копался в баре. – Мы один раз уже виделись, мельком, правда...

– Садись, – сказал ему Рэдрик, кивая на стул напротив старика. – Ты, если будешь с ним говорить, говори громче – он не слышит ни хрена.

Он расставил бокалы, быстро откупорил бутылки и сказал Нунану:

– Разливай. Папане немного, на самое донышко...

Нунан неторопливо принялся разливать. Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. А Нунан уже переключился на новую ситуацию. Это была игра, страшная и жалкая. Игру разыгрывал Рэдрик, и он включился в эту игру, как всю жизнь включался в чужие игры, и страшные, и жалкие, и стыдные, и дикие, и гораздо более опасные, чем эта. Рэдрик, подняв свой бокал,

произнес: «Ну что, понеслись?», и Нунан совершенно естественным образом взглянул на старика, а Рэдрик нетерпеливо позвякал своим бокалом о бокал Нунана и сказал: «Понеслись, понеслись, ты за него не беспокойся, он своего не упустит...», и тогда Нунан совершенно естественно кивнул, и они выпили.

Рэдрик крякнул и, блестя глазами, заговорил все в том же возбужденном, немного искусственном тоне:

– Все, браток! Больше меня тюрьма не увидит. Если бы ты знал, милый мой, до чего же дома хорошо! Деньги есть, я себе хороший коттеджик присмотрел, с садом будем, не хуже, чем у Стервятника... Ты знаешь, я ведь эмигрировать хотел, еще в тюрьме решил. Ради какой стервы я в этом вшивом городишке сижу? Да провались, думаю, все пропадом. Возвращаюсь – привет, запретили эмиграцию! Да что же мы – чумные какие-нибудь сделались за эти два года?..

Он говорил и говорил, а Нунан кивал, прихлебывая виски, вставлял сочувственные ругательства, риторические вопросы, потом принялся расспрашивать про коттедж – что за коттедж, где, за какую цену? – и они с Рэдриком поспорили. Нунан доказывал, что коттедж дорогой и в неудобном месте, он вытащил записную книжку, принялся листать ее и называть адреса заброшенных коттеджей, которые отдадут за бесценок, а ремонт обойдется всего ничего, особенно если подать заявление об эмиграции, получить от властей отказ и потребовать компенсацию.

– Ты, я вижу, уже и недвижимостью занялся, – сказал Рэдрик.

– А я всем понемножку занимаюсь, – ответил Нунан и подмигнул.

– Знаю, знаю, наслышан о твоих бардачных аферах!

Нунан сделал большие глаза, приложил палец к губам и кивнул в сторону кухни.

– Да ладно, все это знают, – сказал Рэдрик. – Деньги не пахнут. Теперь-то я это точно понял... Но Мосла ты себе подобрал в управляющие – я животики надорвал, когда услышал! Пустил, понимаешь, козла в огород... Он же псих, я его с детства знаю!

Тут старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил ее на стол рядом со своим бокалом. Рука была темная, с синеватым отливом, сведенные пальцы делали ее похожей на куриную лапу. Рэдрик замолчал и посмотрел на него. В лице его что-то дрогнуло, и Нунан с изумлением увидел на этой конопатой хищной физиономии самую настоящую, самую неподдельную любовь и нежность.

– Пейте, папаня, пейте, – ласково сказал Рэдрик. – Немножко можно,

пейте на здоровье... Ничего, – вполголоса сказал он Нунану, заговорщически подмигивая. – Он до этого стаканчика доберется, будь покоен...

Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бойда явились сюда за этим покойником. Лаборантов было двое, оба крепкие современные парни, спортсмены и все такое, и еще был врач из городской больницы и при нем двое санитаров, людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Потом один из лаборантов рассказывал, что «этот рыжий» сначала вроде не понял, о чем идет речь, впустил в квартиру, дал осмотреть отца, и, наверное, старика так бы и увезли, потому что Рэдрик, похоже, вообразил, будто папаню кладут в больницу на профилактику. Но эти болваны-санитары, которые в ходе предварительных переговоров торчали в прихожей и подглядывали за Гутой, как она моет в кухне окна, взялись, когда их позвали, за старика как за бревно – поволокли, уронили на пол. Рэдрик взбесился, и тут вылез вперед болван-врач и стал обстоятельно разъяснять, что, куда и зачем. Рэдрик послушал его минуту или две, а потом вдруг безо всякого предупреждения взорвался, как водородная бомба. Рассказывавший все это лаборант и сам не помнит, как он очутился на улице. Рыжий дьявол спустил по лестнице всех пятерых, причем ни одному из них не дал уйти самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетели из парадного, как ядра из пушки. Двое остались валяться на панели в беспамятстве, а остальных троих Рэдрик гнал по улице четыре квартала, после чего вернулся к институтской труповозке и выбил в ней все стекла – шофера в машине уже не было, он удрал по улице в противоположном направлении...

– ...Мне тут в одном баре новый коктейль показали, – говорил между тем Рэдрик, разливая виски. – «Ведьмин студень» называется, я тебе потом сделаю, когда поедим. Это, брат, такая вещь, что на пустое брюхо принимать опасно для жизни: руки-ноги отнимаются с одной порции... Ты как хочешь, Дик, а я тебя сегодня укачаю. И тебя укачаю, и сам укачаюсь... Старые добрые времена вспомним, «Боржч» вспомним... Бедняга-то Эрни до сих пор сидит, знаешь? – Он выпил, вытер губы тыльной стороной ладони и спросил небрежно: – А что там в Институте, за «ведьмин студень» еще не взялись? Я, знаешь ли, от науки слегка поотстал...

Нунан сразу понял, почему Рэдрик заводит разговор на эту тему. Он всплеснул руками и сказал:

– Что ты, дружище! С этим «студнем» знаешь какая штука случилась? Про Карригановские лаборатории слыхал? Есть такая частная лавочка...

Так вот, раздобыли они порцию «студня»...

Он рассказал про катастрофу, про скандал, что концов так и не нашли, откуда взялся «студень» – так и не выяснили, а Рэдрик слушал вроде бы рассеянно, цокал языком, качал головой, а потом решительно плеснул еще виски в бокалы и сказал:

– Так им и надо, паразитам, чтоб они все сдохли...

Они выпили. Рэдрик посмотрел на папаню – снова в его лице что-то дрогнуло. Он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведенным пальцам, и пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко.

– Вот так-то оно дело побыстрее пойдет, – сказал Рэдрик. – Гута! – заорал он. – Долго ты нас будешь голодом морить?.. Это она для тебя старается, – объяснил он Нунану. – Обязательно твой любимый салат готовит, с моллюсками, она их давно припасла, я видел... Ну а как вообще в Институте дела? Нашли что-нибудь новенькое? У вас там, говорят, теперь вовсю автоматы работают, да мало вырабатывают...

Нунан принялся рассказывать про институтские дела, и пока он говорил, у стола рядом со стариком неслышно возникла Мартышка, постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к покойнику и положила голову ему на плечо. И Нунан, продолжая болтать, подумал, глядя на эти два чудовищных порождения Зоны: Господи, да что же еще? Что же еще нужно с нами сделать, чтобы нас наконец проняло? Неужели этого вот – мало?.. Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать, а если и узнают, то поужасаются десять минут и снова вернутся на круги своя. Напьюсь, подумал он с остервенением. К черту Барбриджа, к черту Лемхена... Семью эту, богом проклятую, к черту. Напьюсь.

– Ты чего на них уставился? – негромко спросил Рэдрик. – Ты не беспокойся, это ей не вредно. Даже наоборот – говорят, от них здоровье исходит.

– Да, я знаю, – сказал Нунан и залпом осушил бокал.

Вошла Гута, деловито приказала Рэдрику расставлять тарелки и поставила на стол большую серебряную миску с любимым салатом Нунана. И тут старик, словно кто-то спохватился и дернул за ниточки, одним движением вскинул бокал к открывшемуся рту.

– Ну, ребята, – сказал Рэдрик восхищенным голосом, – теперь у нас пойдет гулянка на славу!

4. РЭДРИК ШУХАРТ, 31 ГОД

За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами, и Рэдрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, которые они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток «зеленки», обтекавшей холм и исчезавшей в овраге.

По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана, но Рэдрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы. И еще он знал, что, когда взойдет солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди – состав вагонеток, и вот тогда начнется самое дело.

Рэдрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет. Тяжелый, паразит, как я с ним поползу? Полтора километра на карачках... Ладно, не гунди, сталкер, знал, на что идешь. Пятьсот тысяч монет дожидаются в конце дороги, можно и попотеть. Пятьсот тысяч, лакомый ломоть, а? Хрен я им отдам меньше чем за пятьсот тысяч. И хрен я дам Стервятнику больше тридцати. А сопляку... а сопляку – ничего. Если старый гад хоть полправды сказал, то сопляку – ничего...

Он снова взглянул в спину Артуру и некоторое время прищурясь наблюдал, как тот легко шагает через две шпалы разом, широкоплечий, узкобедрый, и длинные вороные, как у сестры, волосы вздрагивают в такт шагам. Сам напросился, угрюмо подумал Рэдрик. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Прямо дрожал весь, слезы на глазах... «Возьмите меня, мистер Шухарт! Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами, они ведь все никуда не годятся! Отец... Но ведь он теперь не может!» Рэдрик усилием воли оборвал это воспоминание. Думать об этом было противно, и, может быть, поэтому он стал думать о сестре Артура, о том,

как он с этой Диной спал – и трезвый спал, и пьяный спал, и какое это каждый раз было разочарование. Просто уму непостижимо: такая роскошная баба, век бы с ней любился, а на самом деле – пустышка, обман, кукла неживая, а не женщина. Как, помнится, пуговицы на кофте у матери – янтарные такие, полупрозрачные, золотистые, так и хочется сунуть в рот и сосать в ожидании какой-то необычайной сладости, и он брал их в рот и сосал, и каждый раз страшно разочаровывался, и каждый раз забывал об этом разочаровании – даже не то чтобы забывал, а просто отказывался верить собственной памяти, стоило ему их снова увидеть.

А может быть, папахен его ко мне подослал, подумал он об Артуре. Вон у него какая пушка в заднем кармане... Нет, вряд ли. Стервятник меня знает. Стервятник знает, что со мной шутки плохи. И знает, какой я в Зоне. Нет, чепуха все это. Не первый он меня просил, не первый он слезы лил, другие и на колени становились... А пушки они все с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Неужели по последнему? Ох, по последнему, парень! Вот ведь что получается, Стервятник, по последнему. Да, папахен, узнал бы ты про эту его затею – так бы его костылями отделал, сыночка своего, в Зоне вымоленного... Он вдруг почувствовал, что впереди что-то есть – недалеко уже, метрах в тридцати-сорока.

– Стой, – сказал он Артуру.

Парень послушно замер на месте. Реакция у него была хорошая – он так и застыл с приподнятой ногой, а затем медленно и осторожно опустил ее на землю. Рэдрик остановился рядом с ним. Колея здесь заметно уходила вниз и совершенно скрывалась в тумане. И там, в тумане, что-то было. Что-то большое и неподвижное. Безопасное. Рэдрик осторожно потянул ноздрями воздух. Да. Безопасное.

– Вперед, – сказал он негромко, подождал, пока Артур сделает шаг, и двинулся за ним.

Краем глаза он видел лицо Артура, точеный его профиль, чистую кожу щеки и решительно поджатые губы под тончайшими усиками.

Они погрузились в туман по пояс, потом по шею, а еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки.

– Все, – сказал Рэдрик и стал стягивать рюкзак. – Садись, где стоишь. Перекур.

Артур помог ему стянуть рюкзак, а потом они сели рядышком на ржавый рельс, Рэдрик отстегнул один из клапанов, достал сверток с едой и термос с кофе и, пока Артур разворачивал сверток и устраивал бутерброды на рюкзаке, вытащил из-за пазухи флягу, отвинтил крышку и, прикрыв глаза, сделал несколько медленных глотков.

– Глотнешь? – предложил он, обтирая ладонью горлышко фляги. – Для храбрости...

Артур обиженно помотал головой.

– Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт, – сказал он. – Я лучше кофе, если разрешите. Сыро здесь очень, правда?

– Сыро, – согласился Рэдрик. Он спрятал флягу, выбрал бутерброд и принялся жевать. – Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья было – страшное дело...

Он замолчал и налил себе кофе. Кофе был горячий, густой, сладкий, пить его сейчас было даже приятнее, чем спиртное. От него пахло домом. Гутой. И не просто Гутой, а Гутой в халатике, прямо со сна, с еще сохранившимся рубцом от подушки на щеке. Зря я в это дело впутался, подумал он. Пятьсот тысяч... А на кой ляд мне эти пятьсот тысяч? Бар я на них покупать собираюсь, что ли? Деньги нужны, чтобы о них не думать. Это правильно. Это Дик верно сказал. Но я ведь о них и так не думаю последнее время. На кой мне ляд эти деньги? Дом есть, сад есть, без работы в Хармонте не останешься... Завел меня Стервятник, гнида вонючая, завел, как молоденького...

– Мистер Шухарт, – сказал вдруг Артур, глядя в сторону, – а вы серьезно верите, что эта штука исполняет желания?

– Чепуха! – рассеянно произнес Рэдрик и замер с поднесенным ко рту стаканчиком. – А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем?

Артур смущенно засмеялся, запустил пятерню в вороные волосы, подергал и сказал:

– Да вот догадался!.. Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль... Ну, во-первых, раньше отец все время бубнил про этот Золотой Шар, а последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам, а я ведь знаю – никакие вы не друзья, что бы там отец ни говорил... Потом, он странный какой-то стал последнее время... – Артур снова засмеялся и покрутил головой, что-то вспоминая. – А окончательно я все понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик... – Он похлопал ладонью по рюкзаку, где лежала туго свернутая оболочка воздушного шара. – Честно говоря, я вас тогда выследил, и, когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уж мне все стало окончательно ясно. По-моему, в Зоне, кроме Золотого Шара, ничего тяжелого больше не осталось. – Он откусил от бутерброда, пожевал и задумчиво проговорил с набитым ртом: – Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять, он же, наверное, гладкий...

Рэдрик все смотрел на него поверх стаканчика и думал, до чего же они

не похожи друг на друга, отец и сын. Ничего общего между ними не было. Ни лица, ни голоса, ни души. У Стервятника голос хриплый, заискивающий, подлый какой-то, но когда он об этом говорил, то говорил здорово. Нельзя его было не слушать. «Рыжий, – говорил он тогда, перегнувшись через стол. – Нас ведь двое осталось всего, да на двоих две ноги, и обе твои... Кому же, как не тебе? Это же, может, самое ценное, что в Зоне есть! Кому ж достанется, а? Неужто этим чистоплюям достанется, с ихними машинами? Ведь я его нашел, я! Сколько там наших по дороге полегло! А нашел я! Себе берег. И сейчас никому бы не отдал, да руки, видишь, коротки стали... Кроме тебя – некому. Сколько я разных молокососов натаскивал, целую школу, понимаешь, для них открыл, – не могут, кость не та... Ну ладно, ты не веришь. Не веришь – не надо. Тебе деньги. Дашь мне, сколько сам захочешь, я знаю, ты не обидишь... А я, может, ноги себе верну. Ноги верну, понимаешь ты? Зона ведь ноги у меня отобрала, так, может, Зона и отдаст?..»

– Что? – спросил Рэдрик, очнувшись.

– Я спросил, закурить можно, мистер Шухарт?

– Да, – сказал Рэдрик. – Кури, кури... Я тоже закурю.

Он залпом допил остаток кофе, вытащил сигарету и, разминая ее, уставился в редеющий туман. Псих, подумал он. Сумасшедший же. Ноги ему. Стервецу... гниде вшивой...

От всех этих разговоров копился в душе какой-то осадок, непонятно какой. И он не растворялся со временем, этот осадок, а, наоборот, все копился и копился. И непонятно было, что это такое, но оно мешало, словно он чем-то заразился от Стервятника, но не гадостью какой-нибудь, а наоборот... силой, что ли? Нет, не силой. А чем же тогда?.. Ну ладно, сказал он себе. Давай так: предположим, не дошел я сюда. Совсем уже собрался, рюкзак уложил, и тут что-то случилось... Сцапали меня, например. Плохо было бы? Определенно плохо. Почему плохо? Деньги пропали? Да нет, не в деньгах дело... Что добро это гадам достанется, Хрипатым да Костлявым? Правда, в этом что-то есть. Обидно. Но мне-то что до них? Все равно в конце концов все им достанется...

– Бр-р-р... – Артур передернул плечами. – До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок?

Рэдрик молча достал флягу и протянул ему. А ведь я не сразу согласился, подумал он вдруг. Двадцать раз я посылал Стервятника подальше, а на двадцать первый все-таки согласился. Как-то мне невмоготу стало совсем. И последний разговор у нас получился короткий и вполне деловой. «Здорово, Рыжий. Я вот карту принес. Может, все-таки

посмотришь?» А я посмотрел ему в глаза, а глаза у него как нарывы – желтые с черной точкой, и я сказал: «Давай». И все. Помню, что пьяный был тогда, целую неделю пил. На душе было гадостно... А ч-черт, не все ли равно! Пошел и пошел. Что я в этом копаюсь, как в дерьме прутиком! Боюсь я, что ли?..

Он вздрогнул. Длинный, тоскливый скрип донесся вдруг из тумана. Рэдрик вскочил, как подброшенный, и сейчас же, как подброшенный, вскочил Артур. Но уже снова было тихо, только шуршала, струясь по насыпи у них из-под ног, мелкая галька.

– Это, наверное, порода просела, – неуверенно, с трудом выговаривая слова, прошептал Артур. – Вагонетки – с породой... стоят давно...

Рэдрик смотрел прямо перед собой и ничего не видел. Он вспомнил. Это было ночью. Он проснулся от такого же звука, тоскливого и длинного, обмирая, как во сне. Только это был не сон. Это кричала Мартышка, сидя на своей постели у окна, а с другого конца дома откликался батя, очень похоже, так же длинно и скрипуче, только еще с каким-то клокотанием. И так они перекликались и перекликались в темноте – век, сто лет и еще сто лет. Гута проснулась тоже и взяла Рэдрика за руку, он чувствовал ее мгновенно покрывшееся испариной плечо, и так они лежали все эти сто лет и еще сто лет и слушали, а когда Мартышка замолчала и улеглась, он подождал еще немного, потом встал, спустился на кухню и жадно выпил полбутылки коньяку. С этой ночи он запил.

– ...Порода, – говорил Артур. – Она, знаете, проседает со временем. От сырости, от эрозии, от всяких таких причин...

Рэдрик посмотрел на его побледневшее лицо и снова сел. Сигарета его куда-то пропала из пальцев, он закурил новую. Артур постоял еще немного, опасливо вертя головой, потом тоже сел и сказал негромко:

– Я знаю, рассказывают, что в Зоне будто бы кто-то живет. Какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто Посещение застигло их тут, и они мутировали... приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт?

– Да, – сказал Рэдрик. – Только это не здесь. Это в горах. На северо-западе. Пастухи какие-то.

...Вот он чем меня заразил, думал он. Сумасшествием своим он меня заразил. Вот, значит, почему я сюда пошел. Вот что мне здесь надо... Какое-то странное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение это на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печенках, но только сейчас он о нем догадался, и все встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью, сумасшедшим

бредом выжившего из ума старика, обернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни, потому что только сейчас он понял: единственное на всем свете, что у него еще осталось, единственное, ради чего он жил последние месяцы, была надежда на чудо. Он, дурак, болван, отталкивал эту надежду, затаптывал ее, издевался над нею, пропивал ее, потому что он так привык, потому что никогда в жизни, с самого детства, он не рассчитывал ни на кого, кроме себя, и потому что с самого детства этот расчет на себя выражался у него в количестве зелененьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрызть из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда, и так было бы и дальше, если бы он в конце концов не оказался в такой яме, из которой его не вызволят никакие зелененькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда – уже не надежда, а уверенность в чуде – заполнила его до самой макушки, и он уже удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке... Он засмеялся и толкнул Артура в плечо.

– Что, сталкер, – сказал он. – Замарал подштанники? Привыкай, браток, не стесняйся, дома отстирают.

Артур удивленно посмотрел на него, неуверенно улыбаясь. А Рэдрик смял промасленную бумагу от бутербродов, зашвырнул ее под вагонетку и прилег на рюкзак, упершись локтем.

– Ну хорошо, – сказал он. – А предположим, например, что этот самый Золотой Шар действительно... Что б ты тогда пожелал?

– Значит, вы все-таки верите? – быстро спросил Артур.

– Это неважно – верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь.

Ему вдруг на самом деле стало интересно узнать, что может попросить у Золотого Шара такой вот парень, молокосос еще, вчерашний школьник, и он с веселым любопытством следил, как Артур хмурится, тревожит усики, вскидывает на него и снова прячет глаза.

– Ну, конечно, ноги отцу... – проговорил Артур наконец. – Чтобы дома было все хорошо...

– Врешь, врешь, – добродушно сказал Рэдрик. – Ты, браток, учти: Золотой Шар только сокровенные желания выполняет, только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю!

Артур Барбридж покраснел, снова вскинул на Рэдрика и тотчас же опустил глаза и совсем залился краской, даже слезы выступили. Рэдрик ухмыльнулся, глядя на него.

– Все понятно, – сказал он почти ласково. – Ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе... – И тут он вдруг вспомнил про пистолет и

подумал, что, пока есть время, надо учесть все, что можно учесть. – Что это у тебя в заднем кармане? – спросил он небрежно.

– Пистолет, – буркнул Артур и закусил губу.

– Зачем он тебе?

– Стрелять! – сказал Артур с вызовом.

– Брось, брось, – строго проговорил Рэдрик и сел прямо. – Давай его сюда. В Зоне стрелять не в кого. Давай.

Артур хотел что-то сказать, но промолчал, сунул руку за спину, вытащил армейский кольт и протянул Рэдрику, держа за ствол. Рэдрик взял пистолет за теплую рубчатую рукоятку, подбросил его, поймал и спросил:

– Платок у тебя есть какой-нибудь? Давай, я заверну...

Он взял у Артура носовой платок, чистенький, пахнущий одеколоном, завернул пистолет и положил сверток на шпалу.

– Пусть пока здесь полежит, – объяснил он. – Даст бог, вернемся сюда – возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется... Хотя от патрульных отстреливаться, браток...

Артур решительно помотал головой.

– Да мне не для этого, – сказал он с досадой. – Там только один патрон. Чтобы, если как с отцом...

– Во-он что... – протянул Рэдрик, рассматривая его в упор. – Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Обещаю... Гляди, рассвело!

Туман исчезал на глазах. На насыпи его уже не было вовсе, а внизу и вдали молочная мгла проседала и протаивала, сквозь нее прорастали округлые щетинистые вершины холмов, и между холмами кое-где виднелась уже рябая поверхность прокисшего болота, покрытая реденьким заморенным лозняком, а на горизонте, за холмами, ярко-желтым вспыхнули вершины гор, и небо над горами было ясное и голубое. Артур оглянулся через плечо и восхищенно вскрикнул. Рэдрик тоже оглянулся. На востоке горы казались черными, а над ними полыхало и переливалось знакомое изумрудное зарево – зеленая заря Зоны. Рэдрик поднялся и, расстегивая ремень, сказал:

– Облегчиться не собираешься? Смотри, потом негде будет и некогда...

Он зашел за вагонетку, присел на насыпи и, покряхтывая, смотрел, как быстро гаснет, затапливается розовым зеленое зарево, и оранжевая краюха солнца выползает из-за хребта, и сразу от холмов потянулись лиловатые тени – все стало резким, рельефным, все стало видно как на ладони, и прямо перед собой, метрах в двухстах, Рэдрик увидел вертолет. Вертолет упал, видно, в самый центр «комариной плеши», и весь фюзеляж его

расплющило в жестяной блин, только хвост остался цел, его слегка изогнуло, и он черным крючком торчал над прогалиной между холмами, и стабилизирующий винт остался цел – отчетливо поскрипывал, покачиваясь на легком ветерке. «Плешь», видимо, попалась мощная, даже пожара настоящего не получилось, и на расплющенной жестянке отчетливо выделялась красно-синяя эмблема королевских военно-воздушных сил, которую Рэдрик вот уже сколько лет и в глаза не видел и вроде бы даже позабыл, как она выглядит.

Справив нужду, Рэдрик вернулся к рюкзаку, достал карту и разложил ее на спекшейся груде породы в вагонетке. Самого карьера видно отсюда не было – его заслонял холм с почерневшим, обгорелым деревом на вершине. Этот холм предстояло обойти справа, по лощине между ним и другим холмом, который тоже был виден отсюда, совсем голый, с бурой каменной осыпью по всему склону.

Все ориентиры совпадали, но Рэдрик не испытывал удовлетворения. Многолетний инстинкт сталкера категорически протестовал против самой мысли, несуразной и противоестественной, – прокладывать тропу между двумя близкими возвышенностями. Ладно, подумал Рэдрик. Это мы еще посмотрим. На месте будет виднее. Тропа до этой лощины вела по болоту, по открытому ровному месту, которое казалось отсюда безопасным, но, приглядевшись, Рэдрик различил между сухими кочками какое-то темно-серое пятно. Он взглянул на карту. Там стоял крестик и корявыми буквами было написано: «Хлюст». Красный пунктир тропы шел правее крестика. Кличка была вроде бы знакомая, но кто такой этот Хлюст, как он выглядел и когда он был, Рэдрик вспомнить не мог. Вспомнилось ему почему-то только: дымный зал в «Боржче», какие-то пьяные свирепые хари, огромные красные лапы, сжимающие стаканы, громовой хохот, разинутые желтозубые пасти – фантастическое стадо титанов и гигантов, собравшихся на водопой, одно из самых ярких воспоминаний детства – первое посещение «Боржча». Что я тогда принес? «Пустышку», кажется. Прямо из Зоны, мокрый, голодный, ошалелый, с мешком через плечо, ввалился в этот кабак, грохнул мешок на стойку перед Эрнестом, злобно щерясь и озираясь, выдержал грохочущий залп издевательств, дождался, пока Эрнест – тогда еще молодой, всегда при галстуке бабочкой – отсчитал сколько-то там зелененьких... нет, тогда были еще не зелененькие, тогда были квадратные, королевские, с какой-то полуголой бабой в плаще и в венке... дождался, спрятал деньги в карман и неожиданно для себя самого цапнул со стойки тяжелую пивную кружку и с размаху хватил ею по ближайшей хохочущей пасти... Рэдрик ухмыльнулся и подумал: может, это и был Хлюст?

– Разве между холмами можно, господин Шухарт? – вполголоса спросил над ухом Артур. Он стоял рядом и тоже разглядывал карту.

– Там посмотрим, – сказал Рэдрик. Он все смотрел на карту. На карте было еще два крестика: один – на склоне холма с деревом, другой – на каменной осыпи. Пудель и Очкарик. Тропа проходила понизу между ними. – Там посмотрим, – повторил он, сложил карту и сунул ее в карман.

Он оглядел Артура и спросил:

– Как стул? – и, не дожидаясь ответа, приказал: – Подай мне на спину рюкзак... Пойдем как раньше, – сказал он, встряхивая рюкзак и прилаживая лямки поудобнее. – Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся, а уши держи нараспашку. Мой приказ – закон. Имей в виду, придется много ползти, грязи не вздумай бояться, если прикажу – мордой в грязь без разговоров... Да курточку свою застегни. Готов?

– Готов, – сказал Артур глухо. Он здорово нервничал. Румянца на щеках у него как не бывало.

– Первое направление – вот. – Рэдрик резко махнул ладонью в сторону ближайшего холма в сотне шагов от насыпи. – Ясно? Пошел.

Артур судорожно вздохнул и, перешагнув через рельс, стал боком спускаться с насыпи. Галька с шумом сыпалась за ним.

– Легче, легче, – сказал Рэдрик. – Спешить некуда.

Он стал осторожно спускаться следом, привычно регулируя инерцию тяжелого рюкзака мускулами ног. Краем глаза он все время следил за Артуром. Боится парень, думал он. И правильно боится. Предчувствует, наверное. Если у него чутье, как у папаши, то должен предчувствовать... Знал бы ты, Стервятник, как обернулось дело. Знал бы ты, Стервятник, что на этот раз я тебя послушаюсь. «...А вот здесь, Рыжий, тебе одному не пройти. Хочешь не хочешь, а придется тебе кого-нибудь с собой взять. Могу кого-нибудь из своих сопляков отдать, кого не жалко...» Уговорил. Первый раз в жизни согласился я на такое дело. Ну ничего, подумал он. Может быть, все-таки обойдется, все-таки я не Стервятник, может быть, словчим что-нибудь...

– Стоп! – приказал он Артуру.

Парнишка остановился по щиколотку в ржавой воде. Пока Рэдрик спускался к нему, трясина затянула его по колено.

– Камень видишь? – спросил Рэдрик. – Вон, под холмом лежит. Давай на него.

Артур двинулся вперед. Рэдрик отпустил его на десять шагов и пошел следом. Трясина под ногами чавкала и воняла. Это была мертвая трясина – ни мошкары, ни лягушек, даже лозняк здесь высох и сгнил. Рэдрик

привычно посматривал по сторонам, но пока все было вроде бы спокойно. Холм медленно приближался, наполз на низкое еще солнце, потом закрыл всю восточную часть неба. У камня Рэдрик оглянулся в сторону насыпи. Насыпь была ярко озарена солнцем, на ней стоял поезд из десятка вагонеток, часть вагонеток сорвалась с рельсов и лежала на боку, насыпь под ними была покрыта рыжими потеками высыпавшейся породы. А дальше, в сторону карьера, к северу от поезда, воздух над рельсами мутно дрожал и переливался, и время от времени в нем мгновенно вспыхивали и гасли маленькие радуги. Рэдрик посмотрел на это дрожание, сплюнул почти всухую и отвернулся.

– Дальше, – сказал он, и Артур повернул к нему напряженное лицо. – Вон тряпье, видишь? Да не туда смотришь! Вон там, правее...

– Да, – сказал Артур.

– Так вот, это был некий Хлюст. Давно был. Он не слушался старших и теперь лежит там специально для того, чтобы показывать умным людям дорогу. Возьми два пальца вправо от этого Хлюста... Взял? Засек точку? Ну, примерно там, где лозняк чуть погуще... Двигай туда. Пошел!

Теперь они шли параллельно насыпи. С каждым шагом воды под ногами становилось все меньше, и скоро они шагали уже по сухим пружинистым кочкам. А на карте здесь везде сплошное болото, подумал Рэдрик. Устарела карта. Давненько Барбридж здесь не бывал, вот она и устарела. Плохо. Оно, конечно, по сухому идти легче, но лучше уж, чтобы здесь было это болото... Ишь вышагивает, подумал он про Артура. Как по Центральному проспекту.

Артур, видимо, приободрился и шел теперь полным шагом. Одну руку он засунул в карман, а другой весело отмахивал, словно на прогулке. Тогда Рэдрик пошарил в кармане, выбрал гайку граммов на двадцать и, прицелившись, запустил ему в голову. Гайка попала Артуру точно в затылок. Парень ахнул, обхватил голову руками и, скорчившись, рухнул на сухую траву. Рэдрик остановился над ним.

– Вот так оно здесь и бывает, Арчи, – сказал он назидательно. – Это тебе не бульвар, ты здесь со мной не на шпацир вышел.

Артур медленно поднялся. Лицо у него было совершенно белое.

– Все понятно? – спросил Рэдрик.

Артур глотнул и покивал.

– Вот и хорошо. А в следующий раз надаю по зубам. Если жив останешься. Пошел!

А из паренька мог бы получиться сталкер, думал Рэдрик. Звали бы его, наверное, Красавчик. Красавчик Арчи. У нас был уже один Красавчик,

звали его Диксон, а теперь его зовут Суслик. Единственный сталкер, который попал в «мясорубку» и все-таки выжил. Повезло. Он-то, чудак, до сих пор думает, что это его Барбридж из «мясорубки» вытащил. Черта с два! Из «мясорубки» не вытащишь... Из Зоны он его выволок, это верно. Совершил Барбридж такой геройский поступок! Только попробовал бы он не выволочь! Эти его штучки тогда уже всем надоели, и ребята ему сказали в тот раз прямо: один лучше не возвращайся. А ведь как раз тогда Барбриджа и прозвали Стервятником, до этого он у нас в Битюгах ходил...

Рэдрик вдруг ощутил на левой щеке едва заметный ток воздуха и сейчас же, еще не успев ни о чем подумать, крикнул:

– Стой!

Он вытянул руку влево. Ток воздуха чувствовался там сильнее. Где-то между ними и насыпью разлеглась «комариная плешь», а может быть, она шла и по самой насыпи – не зря же свалились вагонетки. Артур стоял как вкопанный, он даже не обернулся.

– Возьми правее, – приказал Рэдрик. – Пошел.

Да, неплохой был бы сталкер... Кой черт, жалею я его, что ли? Этого еще не хватало. А меня кто-нибудь когда-нибудь жалел?.. Вообще-то да, жалели. Кирилл меня жалел. Дик Нунан меня жалеет. Правда, он, может быть, не столько меня жалеет, сколько к Гуте прислоняется, но, может быть, и жалеет, одно другому не помеха у порядочных людей... Только мне вот жалеть никого не приходится. У меня выбор: или – или... Он впервые с полной отчетливостью представил себе этот выбор: или этот паренек, или моя Мартышка. Тут и выбирать нечего, все ясно. Если только чудо возможно, – сказал какой-то скептический голос изнутри, и он с ужасом и ожесточением задавил в себе этот голос.

Они миновали груду серого тряпья. От Хлюста ничего не осталось, только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка – миноискатель. Было время, многие пользовались миноискателями, покупали втихаря у армейских интендантов, надеялись на эти штуки как на самого господа бога, а потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами. И как отрезало... Кто же все-таки был этот Хлюст? Стервятник его сюда привел, или он сам сюда пришел? И почему их всех тянуло к этому карьеру? Почему я об этом ничего не слыхал?.. Дьявол, припекает-то как! И это с утра, а что будет потом?

Артур, который шел шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Рэдрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно

бы с к р и п и т, как картофельная мука, и она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая, – она рассыпалась под сапогом, словно лохмотья копоти. И он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!»

Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой, и он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет, хотя и понимал, что они попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивая все тело, как простыня, смоченная кипятком, глаза залило потом, и Рэдрик запоздало крикнул Артуру: «Не шевелись! Терпи!» – и стал терпеть сам.

И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо-благородно, пропотели бы только, но не выдержал Артур. То ли не расслышал он, что ему крикнули, то ли перепугался сверх всякой меры, а может быть, разом припекло его еще сильнее, чем Рэдрика, – во всяком случае управлять собой он перестал и слепо, с каким-то горловым воплем, кинулся, пригнувшись, куда погнал его бессмысленный инстинкт – назад, как раз туда, куда бежать уж никак нельзя было. Рэдрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, лягнул Рэдрика свободной ногой в лицо, забился и задергался, но Рэдрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю, обеими руками держа за длинные волосы дергающуюся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по заду. Он смутно слышал стоны и мычание, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, жаба, лежи, убью...», а сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля, и уже полыхала на нем одежда, и трещала, вздуваясь пузырями и лопаясь, кожа на ногах и боках, и он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил...

Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать, что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку, и сообразил, что надо спешить, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них. Он сполз с Артура, который лежал совершенно неподвижно, зажал обе его ноги под мышкой и, помогая себе свободной рукой, пополз вперед, не спуская глаз с черты, за которой снова начиналась трава, – мертвая, сухая, колючая, но настоящая, – она казалась ему сейчас величайшим обиталищем жизни. Пепел скрипел на зубах, обожженное

лицо то и дело обдавало остатками жара, пот лил прямо в глаза – наверное, потому, что ни бровей, ни ресниц у него больше не было. Артур волочился следом, словно нарочно цепляясь своей проклятой курточкой, горела обваренная задница, а рюкзак при каждом движении поддавал в обгорелый затылок. От боли и духоты Рэдрик с ужасом подумал, что совсем обварился и теперь ему не дойти. От этого страха он сильнее заработал свободным локтем и коленками, выталкивая через пересохшую глотку самые гнусные ругательства, какие приходили ему в голову, а потом вдруг с какой-то сумасшедшей радостью вспомнил, что за пазухой у него лежит почти полная фляга, подружечка, милая моя, не выдаст, только бы доползти, ну еще немного, давай, Рэд, давай, Рыжий, вот так, вот так, ну еще немного, в бога, в ангелов, на Северном полюсе, под тридцатью одеялами, в пришельцев и в Стервятника душу...

Потом он долго лежал, погрузив лицо и руки в холодную ржавую воду, с наслаждением вдыхая провонявшую гнилью прохладу. Век бы так лежал, но он заставил себя подняться, стоя на коленях, сбросил рюкзак, на четвереньках подобрался к Артуру, который все еще неподвижно лежал шагах в тридцати от болота, и перевернул его на спину. Н-да, красивый был мальчик. Теперь эта смазливая мордашка казалась черно-серой маской из смеси запекшейся крови и пепла, и несколько секунд Рэдрик с тупым интересом разглядывал продольные борозды на этой маске – следы от кочек и камней. Потом он поднялся на ноги, взял Артура под мышки и потащил к воде. Артур хрипло дышал, время от времени постанывая. Рэдрик бросил его лицом в самую большую лужу и повалился рядом, снова переживая наслаждение от мокрой ледяной ласки. Артур забулькал, завозился, подтянул под себя руки и поднял голову. Глаза его были вытаращены, он ничего не соображал и жадно хватал ртом воздух, отплевываясь и кашляя. Потом взгляд его сделался осмысленным и остановился на Рэдрике.

– Ф-фу-у... – сказал он и помотал головой, разбрызгивая грязную воду. – Что это было, мистер Шухарт?

– Смерть это была, – невнятно произнес Рэдрик и закашлялся. Он ощупал лицо. Было больно. Нос распух, но брови и ресницы, как это ни странно, были на месте. И кожа на руках тоже оказалась цела, только покраснела малость. Надо думать, и задницу не до кости прожгло... Он пощупал – нет, явно не до кости, даже штаны целы. Просто как кипятком ошпарило...

Артур тоже осторожно трогал пальцами свое лицо. Теперь, когда страшную маску смыло водой, физиономия у него оказалась – тоже противу ожиданий – почти в порядке. Несколько царапин, ссадина на лбу,

рассечена нижняя губа, а так, в общем, ничего.

– Никогда о таком не слышал, – проговорил Артур и посмотрел назад.

Рэдрик тоже оглянулся. На сероватой испепеленной траве осталось много следов, и Рэдрик поразился, как, оказывается, короток был тот страшный, бесконечный путь, который он прополз, спасаясь от гибели. Каких-нибудь метров двадцать-тридцать, не больше, было всего от края до края выжженной проплешины, но он сослепу и от страха полз по ней каким-то диким зигзагом, как таракан по раскаленной сковороде, и спасибо еще, что полз, в общем, туда, куда надо, а ведь мог бы заползти на «комариную плешь» слева, а мог бы и вообще повернуть обратно... Нет, не мог бы, подумал он с ожесточением. Это молокосос какой-нибудь мог бы, а я тебе не молокосос, и если бы не этот дурак, то вообще ничего бы не случилось, обварил бы себе зад – вот и все неприятности.

Он посмотрел на Артура. Артур с фырканьем умывался, покряхтывал, задевая больные места. Рэдрик поднялся и, морщась от прикосновений задубевшей от жара одежды к обожженной коже, вышел на сухое место и нагнулся над рюкзаком. Вот рюкзаку досталось по-настоящему. Верхние клапаны просто-напросто обгорели, пузырьки в аптечке все полопались от жара к чертовой матери, и от жухлого пятна несло невыносимой медициной. Рэдрик отстегнул клапан, принялся выгребать осколки стекла и пластика, и тут Артур у него за спиной сказал:

– Спасибо вам, мистер Шухарт! Вытащили вы меня.

Рэдрик промолчал. Кой еще черт – спасибо! Сдался ты мне – спасать тебя.

– Я сам виноват, – сказал Артур. – Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать, но я здорово перепугался, а когда припекло – совсем голову потерял. Я очень боли боюсь, мистер Шухарт...

– Давай вставай, – сказал Рэдрик, не оборачиваясь. – Это все были цветочки... Вставай, чего разлегся!

Зашипев от боли в обожженных плечах, он вскинул на спину рюкзак, продел руки в лямки. Ощущение было такое, будто кожа на обожженных местах съежилась и покрылась болезненными морщинами. Боли он боится... С дерьмом тебя пополам вместе с твоей болью!.. Он огляделся. Ничего, с тропы не сошли. Теперь эти холмики с покойниками. Поганые холмики – стоят, гниды, торчат как стервячьи ягодицы, и эта лощинка между ними... Он невольно потянул носом воздух. Ах, сволочная лощинка, вот она-то самая погань и есть. Жаба.

– Лощинку между холмами видишь? – спросил он Артура.

– Вижу.

– Прямо на нее. Марш!

Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед, шлепая по лужам. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше, – согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской. Вот и еще одного я вытащил, подумал Рэдрик. Который же это будет? Пятый? Шестой? И теперь вот спрашивается: зачем? Что он мне – родной? Поручился я за него? Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся... Теперь-то, на ясную голову, я знаю: правильно я его тащил, мне без него не обойтись, он у меня как заложник за Мартышку. Я не человека вытащил, я миноискатель свой вытащил. Тральщик свой. Отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить, хотя про все забыл – и про отмычку забыл, и про Мартышку забыл... Что же это получается? Получается, что я и в самом деле добрый парень. Это мне и Гута твердит, и Кирилл-покойник внушал, и Ричард все время насчет этого долдонит... Тоже мне, нашли добряка! Ты это брось, сказал он себе. Тебе здесь эта доброта ни к чему! Думать надо, а потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз, понятно? Добряк... Мне его надо сберечь для «мясорубки», холодно и ясно подумал он. Здесь все можно пройти, кроме «мясорубки».

– Стой! – сказал он Артуру.

Лощина была перед ними, и Артур уже стоял, растерянно глядя на Рэдрика. Дно лощины было покрыто гнойно-зеленой, жирно отсвечивающей на солнце жижей. Над поверхностью ее курился легкий парок, между холмами он становился гуще, и в тридцати шагах уже ничего не было видно. И смрад. Черт знает что гнило там в этом месиве, но Рэдрику показалось, что сто тысяч разбитых тухлых яиц, вылитых на кучу из ста тысяч тухлых рыбьих голов и дохлых кошек, не могли бы смердеть так, как смердело здесь. «Запашок там будет, Рыжий, так ты не того... не дрейфь».

Артур издал горловой звук и попятился. Тогда Рэдрик стряхнул с себя оцепенение, торопливо вытащил из кармана сверток с ватой, пропитанной дезодоратором, заткнул ноздри тампонами и протянул вату Артуру.

– Спасибо, мистер Шухарт, – слабым голосом сказал Артур. – А как-нибудь поверху нельзя?..

Рэдрик молча взял его за волосы и повернул его голову в сторону кучи тряпья на каменной осыпи.

– Это был Очкарик, – сказал он. – А на левом холме – отсюда не видно – лежит Пудель. В том же виде. Понял? Вперед.

Жижа была теплая, липкая, как гной. Сначала они шли в рост, погрузившись по пояс, дно под ногами, к счастью, было каменистое и довольно ровное, но вскоре Рэдрик услышал знакомое жужжание с обеих сторон. На левом холме, освещенном солнцем, ничего не было видно, а на склоне справа, в тени, запрыгали бледные лиловатые огоньки.

– Пригнись! – скомандовал он сквозь зубы и пригнулся сам. – Ниже, дурак! – крикнул он.

Артур испуганно пригнулся, и в ту же секунду громовой разряд расколол воздух. Над самыми головами у них затряслась в бешеной пляске разветвленная молния, едва заметная на фоне неба. Артур присел и окунулся по плечи. Рэдрик, чувствуя, что уши ему заложило от грохота, повернул голову и увидел в тени ярко-алое, быстро тающее пятно среди каменного крошева, и сейчас же туда ударила вторая молния.

– Вперед! Вперед! – заорал он, не слыша себя.

Теперь они двигались на корточках, гусиным шагом, выставив наружу только головы, и при каждом разряде Рэдрик видел, как длинные волосы Артура встают дыбом, и чувствовал, как тысячи иголочек вонзаются в кожу лица. «Вперед! – монотонно повторял он. – Вперед!» Он уже ничего не слышал. Один раз Артур повернулся к нему в профиль, и он увидел вытаращенный ужасом глаз, скошенный на него, и белые прыгающие губы, и замазанную зеленью потную щеку. Потом молнии стали бить так низко, что им приходилось окунаться с головой. Зеленая слизь заклеивала рот, стало трудно дышать. Хватая ртом воздух, Рэдрик вырвал из носа тампоны и обнаружил вдруг, что смрад исчез, что воздух наполнен свежим, пронзительным запахом озона, а пар вокруг становился все гуще, или, может быть, это потемнело в глазах, и уже не видно было холмов ни справа, ни слева – ничего не было видно, кроме облепленной зеленой грязью головы Артура и желтого клубящегося пара вокруг.

Пройду, пройду, думал Рэдрик. Не в первый раз, всю жизнь так: сам в дерьме, а над головой молнии, иначе никогда и не было... И откуда здесь это дерьмо? Сколько дерьма... с ума сойти, сколько дерьма в одном месте, здесь дерьмо со всего света... Это Стервятник, подумал он яростно. Это Стервятник здесь прошел, это за ним осталось... Очкарик лег справа, Пудель лег слева, и все для того, чтобы Стервятник прошел между ними и оставил за собой всё свое дерьмо... Так тебе и надо, сказал он себе. Кто идет следом за Стервятником, тот всегда глотает дерьмо. Ты что, этого раньше не знал? Во всем мире так. Их слишком много, Стервятников, почему и не осталось ни одного чистого места, все загажено... Нунан – дурак: ты, мол, Рыжий, нарушитель равновесия, разрушитель порядка,

тебе, мол, Рыжий, при любом порядке плохо, и при плохом плохо, и при хорошем плохо, – из-за таких, как ты, никогда не будет царствия небесного на земле... Да что ты в этом понимаешь, толстяк? Когда это я видел хороший порядок? Когда это ты видел меня при хорошем порядке?.. Я всю свою жизнь только и вижу, как умирают Кириллы да Очкарики, а Стервятники проползают между ихними трупами, по ихним трупам, как черви, и гадят, и гадят, и гадят...

Он поскользнулся на повернувшемся под ногой камне, окунулся с головой, вынырнул, увидел совсем рядом перекошенное, с вытаращенными глазами лицо Артура и вдруг на мгновение похолодел: ему показалось, что он потерял направление. Но он не потерял направления. Он сейчас же понял, что идти надо вон туда, где из жижи торчит черная верхушка камня, – понял, хотя, кроме этой верхушки, ничего не было видно в желтом тумане.

– Стой! – заорал он. – Правее держи! Правее камня!

Он опять не услышал своего голоса и тогда догнал Артура, поймал его за плечо и стал показывать рукой: держи правее камня, голову вниз. Вы мне за это заплатите, подумал он. У камня Артур нырнул, и сейчас же молния с треском ударила в черную верхушку, только раскаленные крошки полетели. Вы мне за это заплатите, повторял он, погружаясь с головой и изо всех сил работая руками и ногами. В ушах гулко раскатился новый удар молнии. Я из вас всю душу вытрясу за это! Он мимолетно подумал: о ком это я? Не знаю. Но кто-то за это должен заплатить, кто-то мне за это заплатит! Подождите, дайте только добраться до Шара, до Шара мне дайте добраться, я это дерьмо вам в глотку вобью, я вам не Стервятник, я с вас спрошу по-своему...

Когда они выбрались на сухое место, на уже раскаленное солнцем каменное крошево, оглушенные, вывернутые наизнанку, шатаясь и цепляясь друг за друга, чтобы не упасть, Рэдрик увидел облупленный автофургон, просевший на осях, и смутно вспомнил, что здесь, возле этого фургона, можно отдышаться в тени. Они забрались в тень. Артур лег на спину и принялся вялыми пальцами расстегивать на себе куртку, а Рэдрик привалился рюкзаком к стенке фургона, кое-как вытер ладони о щебень и полез за пазуху.

– И мне... – проговорил Артур. – И мне, мистер Шухарт.

Рэдрик поразился, какой у этого мальчишки громкий голос, хлебнул, закрыл глаза, прислушиваясь, как горячая, всеочищающая струя проливается в глотку и растекается по груди, глотнул еще раз и протянул флягу Артуру. Все, подумал он вяло. Прошли. И это прошли. Теперь –

сумму прописью. Вы думаете, я забыл? Нет, я все помню. Думаете, я вам спасибо скажу, что вы меня живым оставили, не утопили в этом дерьме? Кол вам, а не спасибо. Теперь вам всем конец, понятно? Я ничего этого не оставлю. Теперь я решаю. Я, Рэдрик Шухарт, в здравом уме и трезвой памяти буду решать все и за всех. А вы, все прочие, стервятники, жабы, пришельцы, костлявые, квотерблады, паразиты, зелененькие, хрипатые, в галстучках, в мундирчиках, чистенькие, с портфелями, с речами, с благодеяниями, с работодательством, с вечными аккумуляторами, с вечными двигателями, с «комариными плешами», со светлыми обещаниями – хватит, поводили меня за нос, через всю мою жизнь волокли меня за нос, я все, дурак, хвастался, что, мол, как хочу, так и делаю, а вы только поддакивали, а сами, гады, перемигивались и волокли меня за нос, тянули, тащили, через дерьмо, через тюрьмы, через кабаки... Хватит! Он отстегнул ремни рюкзака и принял из рук Артура флягу.

– ...Никогда я не думал, – говорил Артур с кротким недоумением в голосе, – даже представить себе не мог... Я, конечно, знал – смерть, огонь... Но вот такое!.. Как же мы с вами обратно-то пойдем?

Рэдрик не слушал его. То, что говорит этот человечек, теперь не имеет никакого значения. Это и раньше не имело никакого значения, но раньше он все-таки был человеком. А теперь это... так, говорящая отмычка. Пусть говорит.

– Помыться бы... – Артур озабоченно озирался. – Хоть бы лицо сполоснуть.

Рэдрик рассеянно взглянул на него, увидел слипшиеся, свалявшиеся войлоком волосы, измазанное подсохшей слизью лицо со следами пальцев, и всего его, покрытого коркой потрескавшейся грязи, и не ощутил ни жалости, ни раздражения, ничего. Говорящая отмычка. Он отвернулся. Впереди расстилалось унылое, как заброшенная строительная площадка, пространство, засыпанное острой щебенкой, запорошенное белой пылью, залитое слепящим солнцем, нестерпимо белое, горячее, злое, мертвое. Дальний край карьера был уже виден отсюда – тоже ослепительно белый и кажущийся с этого расстояния совершенно ровным и отвесным, а ближний край отмечала россыпь крупных обломков, и спуск в карьер был там, где среди обломков красным пятном выделялась кабина экскаватора. Это был единственный ориентир. Надо было идти прямо на него, положившись на самое обыкновенное везенье.

Артур вдруг приподнялся, сунул руку под фургон и вытащил оттуда ржавую консервную банку.

– Взгляните-ка, мистер Шухарт, – сказал он, оживившись. – Ведь это,

наверное, отец оставил... Там и еще есть.

Рэдрик не ответил. Это ты зря, подумал он равнодушно. Лучше бы тебе сейчас про отца не вспоминать, лучше бы тебе сейчас вообще помалкивать. А впрочем, все равно... Он поднялся и зашипел от боли, потому что вся одежда приклеилась к телу, к обожженной коже, и теперь что-то там внутри мучительно рвалось, отдиралось, как засохший бинт от раны. Артур тоже поднялся и тоже зашипел и закряхтел и страдальчески посмотрел на Рэдрика – видно было, что ему очень хочется пожаловаться, но он не решается. Он только сказал сдавленным голосом:

– А нельзя мне сейчас еще разок глотнуть, мистер Шухарт?

Рэдрик спрятал за пазуху флягу, которую держал в руке, и сказал:

– Красное видишь между камнями?

– Вижу, – сказал Артур и судорожно перевел дух.

– Прямо на него. Пошел.

Артур со стоном потянулся, расправляя плечи, весь скривился и, озираясь, проговорил:

– Помыться бы хоть немножко... Приклеилось все.

Рэдрик молча ждал. Артур безнадежно посмотрел на него, покивал и двинулся было, но тут же остановился.

– Рюкзак, – сказал он. – Рюкзак забыли, мистер Шухарт.

– Марш! – приказал Рэдрик.

Ему не хотелось ни объяснять, ни лгать, да и ни к чему все это было. И так пойдет. Деваться ему некуда. Пойдет. И Артур пошел. Побрел, ссутулившись, волоча ноги, пытаясь отодрать с лица прочно присохшую дрянь, сделавшись маленьким, жалким, тощим, как мокрый бродячий котенок. Рэдрик двинулся следом, и, как только он вышел из тени, солнце опалило и ослепило его, и он прикрылся ладонью, жалея, что не прихватил темные очки.

От каждого шага взлетало облачко белой пыли, пыль садилась на ботинки, она воняла – вернее, это от Артура несло, идти за ним следом было невозможно, и не сразу Рэдрик понял, что воняет-то больше всего от него самого. Запах был мерзкий, но какой-то знакомый – это в городе так воняло в те дни, когда северный ветер нес по улицам дымы от завода. И от отца так же воняло, когда он возвращался домой, огромный, мрачный, с красными бешеными глазами, и Рэдрик торопился забраться куда-нибудь в дальний угол и оттуда смотрел боязливо, как отец сдирает с себя и швыряет в руки матери рабочую куртку, стаскивает с огромных ног огромные стоптанные башмаки, пихает их под вешалку, а сам в одних носках липко шлепает в ванную под душ и долго ухает там, с треском хлопая себя по

мокрым телесам, гремит тазами, что-то ворчит себе под нос, а потом ревет на весь дом: «Мария! Заснула?» Нужно было дождаться, пока он отмоется, сядет за стол, где уже стоит четвертинка, глубокая тарелка с густым супом и банка с кетчупом, дождаться, пока он опустошит четвертинку, дохлебает суп, рыгнет и примется за мясо с бобами, и вот тогда можно было выбираться на свет, залезать к нему на колени и спрашивать, какого мастера и какого инженера он утопил сегодня в купоросном масле...

Все вокруг было раскалено добела, и его мутило от сухой жестокой жары, от вони, от усталости, и неистово саднила обожженная, полопавшаяся на сгибах кожа, и ему казалось, что сквозь горячую муть, обволакивающую сознание, она пытается докричаться до него, умоляя о покое, о воде, о прохладе. Затертые до незнакомости воспоминания громоздились в отекшем мозгу, опрокидывали друг друга, заслоняли друг друга, смешивались друг с другом, вплетаясь в белый знойный мир, пляшущий перед полузакрытыми глазами, и все они были горькими, и все они смердели, и все они вызывали царапающую жалость или ненависть. Он пытался вмешаться в этот хаос, силился вызвать из прошлого какой-нибудь сладкий мираж, ощущение нежности или бодрости, он выдавливал из глубин памяти свежее смеющееся личико Гуты, еще девчонки, желанной и неприкосновенной, и оно появлялось было, но сразу же затекало ржавчиной, искажалось и превращалось в угрюмую, заросшую грубой бурой шерстью мордочку Мартышки; он силился вспомнить Кирилла, святого человека, его быстрые, уверенные движения, его смех, его голос, обещающий небывалые и прекрасные места и времена, и Кирилл появлялся перед ним, а потом ярко вспыхивала на солнце серебряная паутина, и вот уже нет Кирилла, а уставляются в лицо Рэдрику немигающие ангельские глазки Хрипатого Хью, и большая белая рука его взвешивает на ладони фарфоровый контейнер... Какие-то темные силы, ворочающиеся в его сознании, мгновенно сминали волевой барьер и гасили то немногое хорошее, что еще хранила его память, и уже казалось, что ничего хорошего не было вовсе, а только рыла, рыла, рыла...

И все это время он оставался сталкером. Не думая, не осознавая, не запоминая даже, он фиксировал словно бы спинным мозгом, что вот слева, на безопасном расстоянии, над грудой старых досок стоит «веселый призрак» – спокойный, выдохшийся, и плевать на него; а справа подул невнятный ветерок, и через несколько шагов обнаружилась ровная, как зеркало, «комариная плешь», многохвостая, будто морская звезда, – далеко, не страшно, – а в центре ее – расплющенная в тень птица, редкая штука, птицы над Зоной почти не летают; а вон рядом с тропой две брошенные

«пустышки» – видно, Стервятник бросил на обратном пути, страх сильнее жадности... Он все это видел, все учитывал, и стоило скрюченному Артуру хоть на шаг уклониться от направления, как рот Рэдрика сам собой раскрывался и хриплый предостерегающий оклик сам собой вылетал из глотки. Машину, думал он. Машину вы из меня сделали... А каменные обломки на краю карьера все приближались, и уже можно было разглядеть прихотливые узоры ржавчины на красной крыше кабины экскаватора.

Дурак ты, Барбридж, думал Рэдрик. Хитер, а дурак. Как же ты мне поверил, а? Ты же меня с таких вот пор знаешь, ты же меня лучше меня самого знать должен. Старый ты стал, вот что. Поглупел. Да и то сказать – всю жизнь с дураками дело имел... И тут он представил себе, какое рыло сделалось у Стервятника, когда тот узнал, что Артур-то, Арчи, красавчик, кровинушка... что в Зону с Рыжим за его, Стервятниковыми, ногами ушел не сопляк бесполезный, а родной сын, жизнь, гордость... И, представив себе это рыло, Рэдрик захохотал, а когда Артур испуганно оглянулся на него, он, продолжая хохотать, махнул ему рукой: марш, марш! И опять поползли по сознанию, как по экрану, рыла, рыла, рыла... Надо было менять все. Не одну жизнь и не две жизни, не одну судьбу и не две судьбы – каждый винтик этого смрадного мира надо было менять...

Артур остановился перед крутым съездом в карьер, остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Рэдрик подошел и остановился рядом. Но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур.

Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога, еще много лет назад разбитая гусеницами и колесами тяжелых грузовиков. Справа от нее поднимался белый, растрескавшийся от жары откос, а слева откос был полуразрушен, и среди камней и груд щебня там стоял, накренившись, экскаватор, ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как и следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно, только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали черные скрученные сосульки, похожие на толстые витые свечи, и множество черных клякс виднелось в пыли, словно там расплескали битум. Вот и все, что от них осталось, даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая клякса – это один человек, одно желание Стервятника. Вон та – это Стервятник живым и невредимым вернулся из подвала седьмого корпуса. Вон та, побольше, – это Стервятник без помех вытащил из Зоны «шевелящийся магнит». А вон та сосулька – это роскошная, не похожая ни на мать, ни на отца, всеми вожделенная шлюха Дина Барбридж. А вот это пятно – не похожий ни на мать, ни на отца Артур Барбридж, Арчи, красавчик, гордость...

– Дошли! – исступленно прохрипел Артур. – Мистер Шухарт, дошли ведь все-таки, а?

Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обоими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Колтун волос у него на макушке трясся и раскачивался смешно и нелепо, летели в разные стороны высохшие ошметки грязи. И только тогда Рэдрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно. С опаской. С затаенным страхом, что он окажется каким-нибудь не таким – разочарует, вызовет сомнение, сбросит с неба, на которое удалось вскарабкаться, захлебываясь в дерьме...

Он был не золотой, он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий, и он мутно отсвечивал на солнце. Он лежал под дальней стеной карьера, уютно устроившись среди куч слежавшейся породы, и даже отсюда было видно, какой он массивный и как тяжко придавил он свое ложе.

В нем не было ничего разочаровывающего или вызывающего сомнение, но не было ничего и внушающего надежду. Почему-то сразу в голову приходила мысль, что он, вероятно, полый и что на ощупь он должен быть очень горячим – солнце раскалило. Он явно не светился своим светом и он явно был не способен взлетать на воздух и плясать, как это часто случалось в легендах о нем. Он лежал там, где он упал. Может быть, вывалился из какого-нибудь огромного кармана или затерялся, закатился во время игры каких-то гигантов – он не был установлен здесь, он валялся, валялся точно так же, как все эти «пустышки», «браслеты», «батарейки» и прочий мусор, оставшийся от Посещения.

Но в то же время что-то в нем все-таки было, и чем дольше Рэдрик глядел на него, тем яснее он понимал, что смотреть на него приятно, что к нему хочется подойти, его хочется потрогать, погладить, и откуда-то вдруг всплыла мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, а еще лучше – прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, поразмыслить, повспоминать, а может быть, и просто подремать, отдыхая...

Артур вскочил, раздернул все «молнии» на своей куртке, сорвал ее с себя и с размаху швырнул под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая и размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая, выделывая ногами замысловатые па, вприпрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Рэдрика, он забыл о Рэдрике, он забыл обо всем – он шел выполнять свои желания, маленькие сокровенные желания краснеющего колледжера, мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных, молокососа, которого нещадно пороли, если по возвращении домой от него

хоть чуть-чуть пахло спиртным, из которого растили известного адвоката, а в перспективе – министра, а в самой далекой перспективе – сами понимаете, президента... Рэдрик, прищурив от слепящего света воспаленные глаза, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен, он знал, что сейчас произойдет, и он знал, что не будет смотреть на это, но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочался вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой.

А мальчишка все спускался, приплясывая, по крутому спуску, отбивая немыслимую чечетку, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков, и он что-то кричал во весь голос, очень звонко, и очень весело, и очень торжественно – как песню или как заклинание, – и Рэдрик подумал, что впервые за все время существования карьера по этой дороге спускались так – словно на праздник. И сначала он не слушал, что там выкрикивает эта говорящая отмычка, а потом как будто что-то включилось в нем, и он услышал:

– Счастье для всех!.. Даром!.. Сколько угодно счастья!.. Все собирайтесь сюда!.. Хватит всем!.. Никто не уйдет обиженный!.. Даром!.. Счастье! Даром!..

А потом он вдруг замолчал, словно огромная рука с размаху загнала ему кляп в рот. И Рэдрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, вздернула в воздух и медленно, с натугой скрутила, как хозяйки скручивают белье, выжимая воду. Рэдрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дергающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове, и он как-то перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге – без обычной радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками, и впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода.

Прошло некоторое время, и в голове стали появляться более или менее связные мысли. Ну вот и все, думал он нехотя. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти, но лучше, конечно, подождать еще немножко. «Мясорубки» бывают с фокусами. Все равно ведь подумать надо. Дело непривычное – думать, вот в чем беда. Что такое «думать»? Думать – это значит изгильнуться, сфинтить, сблефовать, обвести вокруг пальца, но ведь здесь все это не годится...

Ну ладно. Мартышка, отец... Расплатиться за все, душу из гадов

вынуть, пусть дерьма пожрут, как я жрал... Не то, не то это, Рыжий... То есть то, конечно, но что все это значит? Чего мне надо-то? Это же ругань, а не мысли. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия и, сразу перешагнув через множество разных рассуждений, которые еще предстояли, свирепо приказал себе: ты вот что, рыжая сволочь, ты отсюда не уйдешь, пока не додумаешься до дела, сдохнешь здесь рядом с этим шариком, сжаришься, сгниешь, падаль, но не уйдешь никуда...

Господи, да где же слова-то, мысли мои где? Он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу. Ведь за всю жизнь ни одной мысли у меня не было! Подожди, Кирилл ведь что-то говорил такое... Кирилл! Он лихорадочно копался в воспоминаниях, всплывали какие-то слова, знакомые и полузнакомые, но все это было не то, потому что не слова остались от Кирилла – остались какие-то смутные картины, очень добрые, но ведь совершенно неправдоподобные...

Подлость, подлость... И здесь они меня обвели, без языка оставили, гады... Шпана. Как был шпаной, так шпаной и состарился... Вот этого не должно быть! Ты, слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено! Человек рожден, чтобы мыслить (вот он, Кирилл, наконец-то!..). Только ведь я в это не верю. И раньше не верил, и сейчас не верю, и для чего человек рожден – не знаю. Родился – вот и рожден. Кормятся кто во что горазд. Пусть мы все будем здоровы, а они пускай все подохнут. Кто это – мы? Кто – они? Ничего же не понять. Мне хорошо – Барбриджу плохо, Барбриджу хорошо – Очкарику плохо, Хрипатому хорошо – всем плохо, и самому Хрипатому плохо, только он, дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя изгильнуться... Господи, это ж каша, каша! Я всю жизнь с капитаном Квотербладом воюю, а он всю жизнь с Хрипатым воевал и от меня, обалдуя, только одного лишь хотел – чтобы я сталкерство бросил. Но как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Работать идти? А не хочу я на вас работать, тошнит меня от вашей работы, можете вы это понять? Если человек работает, он всегда на кого-то работает, раб он – и больше ничего, а я всегда хотел сам, сам хотел быть, чтобы на всех поплевывать, на тоску ихнюю и скуку...

Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то – он сразу же забыл о ней. Теперь он сидел, закрыв глаза руками, и пытался уже не понять, не придумать, а хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть, но он опять видел только рыла, рыла, рыла... зелененькие, бутылки, кучи тряпья, которые когда-то были людьми, столбики цифр... Он знал, что все это надо уничтожить, и он желал это уничтожить, но он догадывался, что

если все это будет уничтожено, то не останется ничего – только ровная голая земля. От бессилия и отчаяния ему снова захотелось прислониться спиной и откинуть голову – он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер.

Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, задыхался от жары, и в то же время морозный озноб пробирал его, он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву: «Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой... всемогущий, всесильный, всепонимающий... разберись! Загляни в мою душу, я знаю – там есть все, что тебе надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, – ведь не может же быть, чтобы я хотел плохого!.. Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов – СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!»

ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ну и деревня! Сроду я таких деревень не видел и не знал даже, что такие деревни бывают. Дома круглые, бурые, без окон, торчат на сваях, как сторожевые вышки, а под ними чего только не навалено – горшки какие-то здоровенные, корыта, ржавые котлы, деревянные грабли, лопаты... Земля между домами – глина, и до того она выжжена и вытоптана, что даже блестит. И везде, куда ни поглядишь, – сети. Сухие. Что они здесь этими сетями ловят – я не знаю: справа болото, слева болото, воняет, как на помойке... Жуткая дыра. Тысячу лет они здесь гнили и, если бы не герцог, гнили бы еще тысячу лет. Север. Дичь. И жителей, конечно, никого не видать. То ли удрали, то ли угнали их, то ли они попрятались.

На площади около фактории дымила полевая кухня, снятая с колес. Здоровенный дикобраз – окорока поперек себя шире – в грязном белом фартуке поверх грязной серой формы ворочал в котле черпаком на длинной ручке. По-моему, от этого котла главным образом и воняло по деревне.

Мы подошли, и Гепард, задержавшись, спросил, где командир. Это животное даже не обернулось – буркнуло что-то в свое варево и ткнуло черпаком куда-то вдоль улицы. Поддал я ему носком сапога под крестец, он живо повернулся, увидел нашу форму и сразу встал как положено. Морда у него оказалась под стать окорокам, да еще не бритая целую неделю, у дикобраза.

– Так где у вас тут командир? – снова спрашивает Гепард, упершись тросточкой ему в жирную шею под двойным подбородком.

Дикобраз выкатил глаза, пошлепал губами и просипел:

– Виноват, господин старший наставник... Господин штаб-майор на позициях... Извольте вот по этой улице... прямо на окраине... Примите извинения, господин старший наставник...

Он еще что-то там сипел и булькал, а из-за угла фактории выволоклись два новых дикобраза – еще страшнее этого, совсем уж чучела огородные, без оружия, без головных уборов, – увидели нас и обомлели по стойке «смирно». Гепард только посмотрел на них, вздохнул да и зашагал дальше, постукивая тросточкой по голенищу.

Да, вовремя мы сюда подоспели. Эти дикобразы, они бы нам тут навоевали! Всего-то я только троих пока еще видел, но уже меня от них тошнит, и уже мне ясно, что такая вот, извините за выражение, воинская часть, из тыловой вши сколоченная, да еще наспех, да еще кое-как, все эти

полковые пекари, бригадные сапожники, писаря, интенданты, придурки, грыженосцы, слеподыры, орлы похоронных команд – все это ходячее удобрение, смазка для штыка. Имперские бронеходы прошли бы сквозь них и даже не заметили бы, что тут кто-то есть. Гуляючи.

Тут нас окликнули. Слева, между двумя домами, был натянут маскировочный тент и висела бело-зеленая тряпка на шесте. Медпункт. Еще двое дикобразов неторопливо копались в зеленых вьюках с медикаментами, а на циновках, брошенных прямо на землю, лежали раненые. Всего раненых было трое; один, с забинтованной головой, приподнявшись на локте, смотрел на нас. Когда мы обернулись, он снова позвал:

– Господин наставник! На минуточку, прошу вас!..

Мы подошли. Гепард опустился на корточки, а я остался стоять за его спиной. На раненом не было видно никаких знаков различия, был он в драном, обгоревшем маскировочном комбинезоне, расстегнутом на голой волосатой груди, но по лицу его, по бешеным глазам с опаленными ресницами я сразу понял, что уж это-то не дикобраз, ребята, нет, этот – из настоящих. И точно.

– Бригад-егерь барон Трэгг, – представился он. Будто гусеницы лязгнули. – Командир отдельного восемнадцатого отряда лесных егерей.

– Старший наставник Дигга, – сказал Гепард. – Слушаю тебя, брат-храбрец.

– Сигарету... – попросил барон каким-то сразу севшим голосом.

Пока Гепард доставал портсигар, он торопливо продолжал:

– Попал под огнемет, опалило, как свинью... Слава богу, болото рядом, забрался по самые брови... Но сигареты – в кашу... Спасибо...

Он затянулся, прикрыв глаза, и сейчас же надсадно закашлялся, весь посинел, задергался, из-под повязки на щеку выползла капля крови и застыла. Как смола. Гепард, не оборачиваясь, протянул ко мне через плечо руку и щелкнул пальцами. Я сорвал с пояса флягу, подал. Барон сделал несколько глотков, и ему вроде бы полегчало. Двое других раненых лежали неподвижно – то ли они спали, то ли уже отошли. Санитары глядели на нас боязливо. Не глядели даже, а так, поглядывали.

– Славно... – произнес барон Трэгг, возвращая флягу. – Сколько у тебя людей?

– Четыре десятка, – ответил Гепард. – Флягу оставь... Оставь себе.

– Сорок... Сорок Бойцовых Котов...

– Котят, – сказал Гепард. – К сожалению... Но мы сделаем все, что сумеем.

Барон смотрел на него из-под сгоревших бровей. В глазах у него была мука.

– Слушай, брат-храбрец, – сказал он. – У меня никого не осталось. Я отступаю от самого перевала, трое суток. Непрерывные бои. Крысоеды прут на бронеходах. Я сжег штук двадцать. Последние два – вчера... здесь, у самой околицы... увидишь. Этот штаб-майор... дурак и трус... старая рухлядь... Я его застрелить хотел, но ведь ни одного патрона не осталось. Представляешь? Ни одного патрона! Прятался в деревне со своими дикобразами и смотрел, как нас выжигают одного за другим... О чем это я? Да! Где бригада Гагрида? Рация вдребезги... Последнее: «Держитесь, бригада Гагрида на подходе...» Слушай, сигарету... И сообщи в штаб, что восемнадцатого отдельного больше нет.

Барон уже бредил. Бешеные глаза его затянулись мутью, язык едва ворочался. Он повалился на спину и все говорил, говорил, бормотал, хрипел, а скрюченные пальцы его беспокойно шарили вокруг, вцепляясь то в края циновки, то в комбинезон. Потом он вдруг затих на полуслове, и Гепард поднялся.

Он медленно вытащил сигарету, не сводя глаз с запрокинутого лица, щелкнул зажигалкой, потом наклонился и положил портсигар вместе с зажигалкой рядом с черными пальцами, и пальцы жадно вцепились в портсигар и сжали его, а Гепард, не говоря ни слова, повернулся, и мы двинулись дальше.

Я подумал, что это, пожалуй, милосердно – бригад-егерь потерял сознание как раз вовремя. А то пришлось бы услышать ему, что бригады Гагрида тоже уже нет. Накрыли ее этой ночью на рокаде бомбовым ковром – два часа мы расчищали шоссе от обломков машин и завалов уже холодеющего мяса, отгоняя сумасшедших, лезущих под грузовики, чтобы спрятаться. От самого Гагрида мы нашли только генеральскую фуражку, заскорузлую от крови... Меня холодом продрало, когда я все это вспомнил, и я невольно взглянул на небо и порадовался, какое оно низкое, серое и беспросветное.

Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся хлебалом вниз дохлый крысоед – все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки! У них ботинки хорошие, бронеходы да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, всем известно, никуда не годные. Шакалы.

– Как тебе нравится эта позиция, Гаг? – спросил Гепард.

Я огляделся. Ну и позиция! Я прямо глазам своим не поверил. Дикобразы отрыли себе окопы по обе стороны от дороги, посередине поляны между околицей и джунглями. Джунгли стеной стояли перед окопами шагах ну в пятидесяти, никак не больше. Можешь там накопить полк, можешь – бригаду, что хочешь, в окопах об этом не узнают, а когда узнают, то сделать уже все равно ничего не смогут. Окопы на левом фланге имели позади себя трясину. Окопы на правом фланге имели позади себя ровное поле, на котором раньше было что-то посеяно, а теперь все сгорело. Да-а-а...

– Не нравится мне эта позиция, – сказал я.

– Мне тоже, – сказал Гепард.

Еще бы! Здесь ведь была не только эта позиция. Здесь вдобавок еще были дикобразы. Было их тут штук сто, не меньше, и они бродили по этой своей позиции, как по базару. Одни, значит, собравшись кружками, палили костры. Другие просто стояли, засунув руки в рукава. А третьи бродили.

Возле окопов валялись винтовки, торчали пулеметы, бессмысленно задрав хоботы в низкое небо. Посередине дороги, увязнув в грязи по ступицы, ни к селу ни к городу пребывал ракетомет. На лафете сидел пожилой дикобраз – то ли часовой, то ли просто так присел, уставши бродить. Впрочем, вреда от него не было: сидел себе и ковырял щепочкой в ухе.

Кисло мне стало от всего этого. Эх, будь моя воля – полоснул бы я по всему этому базару из пулемета... Я с надеждой посмотрел на Гепарда, но Гепард молчал и только водил своим горбатым носом слева направо и справа налево.

Позади раздались рассерженные голоса, и я оглянулся. Под лестницей крайнего дома ссорились два дикобраза. Не поделили они между собой деревянное корыто – каждый тянул к себе, каждый изрыгал черную брань, и вот по этим я бы полоснул с особенным удовольствием. Гепард сказал мне:

– Приведи.

Я мигом подскочил к этим охламонам, стволом автомата дал по рукам одному, дал другому и, когда они уставились на меня, выронивши свое корыто, мотнул им головой в сторону Гепарда. Не пикнули даже. Их обоих сразу потом прошибло, как в бане. Утираясь на ходу рукавами, они бабьей трусцой подбежали к Гепарду и застыли в двух шагах перед ним неопрятными потными кучами.

Гепард неторопливо поднял трость, примерился, словно в бильярд

играл, и врезал – прямо по мордам, одному раз и другому раз, а потом посмотрел на них, на скотов, и только сказал:

– Командира ко мне. Быстро.

Нет, ребята. Все-таки Гепард явно не ожидал, что здесь будет до такой степени плохо. Конечно, хорошего ждать не приходилось. Уж если Бойцовых Котов бросают затыкать прорыв, то всякому ясно: дело дрянь. Но такое!.. У Гепарда даже кончик носа побелел.

Наконец появился ихний командир. Выбралась из-за домов, застегивая на ходу китель, длинная заспанная жердь в серых бакенбардах. Лет ему пятьдесят, не меньше. Нос красный, весь в прожилках, захватанное пальцами пенсне, какое носили штабные в ту войну, на длинном подбородке – мокрые крошки жевательного табака. Представился он нам штаб-майором и попытался перейти с Гепардом на «ты».

Куда там! Гепард такого морозу на него напустил, что он как-то даже ростом приуменьшился: сначала был на полголовы длиннее, а через минуту смотрю – змеиное молоко! – он уже снизу вверх на Гепарда смотрит, седенький такой старикашка среднего росточка.

В общем, выяснилось такое дело. Где противник и сколько его, штаб-майору неизвестно; задачей своей имеет штаб-майор удержать деревню до подхода подкреплений; боевая сила его состоит из ста шестнадцати солдат при восьми пулеметах и двух ракетометах; почти все солдаты – ограниченно годные, а после вчерашнего марш-броска двадцать семь из них лежат вон в тех домах – кто с потертостями, кто с грыжей, кто с чем...

– Послушайте, – сказал вдруг Гепард. – Что это у вас там делается?

Штаб-майор оборвал себя на середине фразы и посмотрел, куда указывала полированная тросточка. Ну и глазищи все-таки у нашего Гепарда! Только сейчас я заметил: в самом большом кружке около одного из костров среди серых курток наших дикобразов гнусно маячат полосатые комбинезоны имперской бронепехоты. Змеиное молоко! Раз, два, три... Четыре крысоеда у нашего костра, и эти свиньи с ними чуть ли не в обнимку. Курят. И еще гогочут чего-то...

– Это? – произнес штаб-майор и кроличьими своими глазами посмотрел на Гепарда. – Вы о пленных, господин старший наставник?

Гепард не ответил. Штаб-дикобраз снова нацепил пенсне и пустился в объяснения. Это, видите ли, пленные, но к нам они, видите ли, никакого отношения не имеют. Захвачены во вчерашнем бою егерями. Не имея средств транспорта, а также за недостатком личного состава для надлежащей охраны...

– Гаг, – произнес Гепард. – Отведи их и сдай Клещу. Только сначала

пусть допросит...

Я щелкнул затвором и пошел к костру. Покуривают, скоты, и лакают что-то из кружек. Морды у всех довольные, лоснятся. Надо же, мерзость какая... А этот, белобрысый, дикобраза по спине похлопывает, а дикобраз, дубина безмозглая, животное, рад-радехонек, ржет и головой мотает. Пьяные они, что ли?

Я подошел к ним вплотную. Дикобразы заметили меня еще издали, разом замолчали и принялись потихоньку расползаться кто куда. А у некоторых, видимо, ноги отнялись со страху: как сидели, так и сидят, выпучив глаза, только пасти раззявили. А полосатые – так те аж серые сделались: знают нашу эмблему крысоеды, наслышаны!

Я приказал им встать. Они встали. Нехотя. Я приказал им построиться. Построились, деваться некуда. Белобрысый принялся было что-то лопотать по-нашему – я ткнул его стволом между ребер, и он замолчал. Так они у меня и пошли – гуськом, понурившись, заложив руки за спину. Крысы. И запах-то от них какой-то крысиный... Двое – крепкие мужики, плечистые, а двое, видно, из последнего набора, хлипкие сопляки, чуть, может, постарше меня.

Я пленных ненавижу. Что это, понимаешь, за слизь такая – на войну пошел и в плен угодил? Нет, я понимаю, конечно: что с них взять, с крысоедов, а все-таки омерзительно, как хотите... Ну вот, пожалуйста: один сопляк согнулся пополам, и рвет его. Вперед, вперед, з-змеиное молоко! Второй начал. Тьфу! И как они, эти крысы, близкую смерть чувствуют – ведь как настоящие крысы. И сейчас ведь они ну на все готовы – предать, продать, в рабство пойти...

– Бегом марш! – гаркнул я по-ихнему.

Побежали. Медленно бегут, плохо. Белобрысый этот хромает. Тяжело раненный, значит, ногу в нужнике подвернул. Ничего, дохромаешь.

Добежали мы до того края деревни, а там и грузовики – ребята увидели нас, заорали, засвистели. Я выбрал лужу побольше, положил пленных хлебальниками в грязь и пошел к переднему грузовику, где Клещ. А Клещ уже мне навстречу выскакивает – морда веселая, усики под носом торчком, в зубах костяной мундштук по моде старшего курса.

– Ну, что скажешь, брат-смертник? – говорит он мне.

Я ему докладываю: так, мол, и так, такое, мол, положение, а пленных обязательно сначала допросить. И уже от себя:

– Про меня не забудь, Клещ, – говорю. – Все-таки я их сюда привел...

– Это ты насчет ошейника? – рассеянно спрашивает он, а сам озирается.

– Ну да! Привел-то их все-таки кто?

– Не вижу вот я – на чем. Не до леса же их вести...

– А на сваях?

– Можно, конечно, и на сваях... Только зачем? – Он посмотрел на меня. – А если без свай? Возьмешься?

Ну вот. Так я и знал. Вечно мне не везет. Что я – виноват, что ли, что моего ведомого при штабе оставили? А одному – как? У меня и сил не хватит. Буду до вечера корячиться да потом еще всю ночь отмываться.

– Ты же знаешь, – сказал я Клещу. – У меня же ведомого нет.

– А один? – спрашивает он. – Шнурок у тебя с собой?

Тут меня азарт разобрал.

– А подержишь? – спрашиваю.

А он на меня посмотрел, и у меня сердце сразу упало.

– Котенок... – говорит. – Ты здесь развлекаться будешь, а Гепард там один? А ну, бери три двойки и дуй к Гепарду! Быстро!

Делать было нечего. Не судьба, значит, не повезло. Посмотрел я на моих полосатиков в последний раз, закинул автомат за плечо да и гаркнул что было силы:

– Пер-рвая, вторая, третья двойки – ко мне!

Котята горохом посыпались с грузовика: Заяц с Петухом, Носатый с Крокодилом, Снайпер с этим... как его... не привык я еще к нему, его только-только из Пигганской школы к нам перевели – убил он там кого-то не того, вот его и к нам.

Я уж давно заметил, да никому не говорю: шлепнет Кот под горячую руку какого-нибудь штатского – сейчас приказ по части. Такого-то и такого-то по кличке такой-то за совершение уголовного преступления расстрелять. И ведь выведут на плац, поставят перед строем лучших друзей, дадут по нему залп, тело в грузовик забросят на предмет бесчестного захоронения, а потом слышишь – видели его ребята либо на операции, либо в другой части... И правильно, по-моему.

Ну, скомандовал я «бегом», и поскакали мы обратно к Гепарду. А Гепард там времени зря не теряет. Смотрю – навстречу нам жердина эта, штаб-майор, рысью пылит, а за ним колонна, штук пятьдесят дикобразов с лопатами и киркомотыгами, бухают сапожищами, потные, только пар от них идет. Это, значит, погнал их Гепард новую позицию копать, настоящую, для нас. Под домом напротив медчасти, смотрю, лопаты уже мелькают, и стоит ракетомет, и вообще движение в деревне, как на главном проспекте в день тезоименитства, – дикобразы так и мельтешат, и ни одного не видно, чтобы был с пустыми руками: либо с оружием, но таких мало, а

большинство волочат на себе ящики с боеприпасами и станки для пулеметов.

Гепард увидел нас – выразил удовольствие. Двойки Зайца и Снайпера с ходу послал в джунгли в передовой дозор, Носатого с Крокодилом оставил при себе для связи, а мне сказал:

– Гаг. Ты – лучший в отряде ракетометчик, и я на тебя надеюсь. Видишь этих тараканов? Бери их себе. Установишь ракетомет на той окраине, выбери позицию примерно там, где сейчас наши грузовики. Хорошенько замаскируйся, откроешь огонь, когда я зажгу деревню. Действуй, Кот.

Когда я все это услышал, я не то что поскакал, а прямо-таки полетел к своим тараканам. Эти тараканы мои вместе с ракетометом увязли в грязном ухабе посередине дороги и намеревались, видно, всю войну там провозиться. Еле лапами шевелят, грыженосцы. Ну, я одному по уху, другому пинок, третьего прикладом между лопаток, заорал так, что у самого в ушах зазвенело, – заработали мои тараканы по-настоящему, почти как люди. Ракетомет из ухаба на руках вынесли и – марш-марш – покатили по дороге, только колеса завизжали, только грязь полетела, и – в другой ухаб. Тут уж пришлось и мне впрячься. Нет, ребята, дикобразов тоже можно заставить работать, нужно только знать – как.

Значит, положение у меня было такое. Позицию я уже выбрал – вспомнились мне неподалеку от грузовиков густые такие рыжие кустики и плоская низинка за ними, где можно было легко врыться в землю так, что ни один дьявол со стороны джунглей не увидит. А я оттуда все буду видеть: и дорогу до самых джунглей, и всю деревенскую окраину, если попрут прямо через дома, и болото слева, если бронепехота оттуда сунется... И подумал я еще, что надо бы не забыть попросить у Клеща несколько двоек для прикрытия с этой стороны. Ракет у меня в лотках двадцать штук, если только эти писаря по дороге сюда их не повыбрасывали для облегчения ноши... ну, это мы сейчас посмотрим, а в любом случае, как только окопаемся, надо будет послать тараканов за пополнением. Страсть не люблю, когда в бою приходится экономить. Это уже тогда не бой, а я не знаю что... Времени хватит до сумерек, а когда они в сумерках попрут, вспыхнет эта дикая деревня, и будут они все у меня как на ладони – бей на выбор. Не пожалеешь, Гепард, что на меня понадеялся!..

Вот эту последнюю мысль я машинально додумал, уже лежа на спине, а в сером небе надо мной, как странные птицы, летели какие-то горящие клочья. Ни выстрела, ни взрыва я не услышал, а сейчас и вообще ничего не слышал. Оглох. Не знаю, сколько времени прошло, а потом я сел.

Из джунглей по четыре в ряд выползают бронеходы, плюют огнем и расходятся в боевой веер, а за ними выползает следующая четверка. Деревня горит. Над окопами впереди дым, ни души не видно. Походная кухня рядом с факторией перевернута, варево из нее разлилось бурым месивом, идет пар. Ракетомет мой тоже перевернут, а тараканы лежат в кювете кучей друг на друге. Одним словом, занял я удобную позицию, змеиное молоко!

Тут накрыло нас второй очередью. Снесло меня в кювет, перевернуло через голову, полон рот глины, глаза забило землей. Только на ноги поднялся – третья очередь. И пошло, и пошло...

Ракетомет мы все-таки на колеса поставили, скатили в кювет, и один бронеход я сжег. Тараканов стало уже двое, куда третий делся – неизвестно.

Потом – сразу, без перехода – я оказался на дороге. Впереди целая куча полосатиков – близко, совсем близко, рядом. На клинках у них кроваво отсвечивал огонь. Над ухом у меня оглушительно грохотал пулемет, в руке был нож, а у ног моих кто-то дергался, поддавая мне под коленки...

Потом я старательно, как на полигоне, наводил ракетомет в стальной щит, который надвигался на меня из дыма. Мне даже слышалась команда инструктора: «По бронепехоте... бронебойным...» И я никак не мог нажать на спуск, потому что в руке у меня опять был нож...

Потом вдруг наступила передышка. Были уже сумерки. Оказалось, что ракетомет мой цел, и сам я тоже цел, вокруг меня собралась целая куча дикобразов, человек десять. Все они курили, и кто-то сунул мне в руку флягу. Кто? Заяц? Не знаю... Помню, что на фоне пылающего дома шагах в тридцати чернела странная фигура: все сидели или лежали, а этот стоял, и было такое впечатление, будто он черный, но голый... Не было на нем одежды – ни шинели, ни куртки. Или не голый все-таки?.. «Заяц, кто это там торчит?» – «Не знаю, я не Заяц». – «А где Заяц?» – «Не знаю, ты пей, пей...»

Потом мы копали, торопились изо всех сил. Это было уже какое-то другое место. Деревня была уже теперь не сбоку, а впереди. То есть деревни больше не было вообще – груды головешек, зато на дороге горели бронеходы. Много. Несколько. Под ногами хлюпала болотная жижа... «Объявляю тебе благодарность, молодец, Кот...» – «Извините, Гепард, я что-то плохо соображаю. Где все наши? Почему только дикобразы?..» – «Все в порядке, Гаг, работай, работай, брат-храбрец, все целы, все восхищены тобой...»

...Ага! Влепил! Прямо в тупое рыло. Пятится, оседает на корму, выбрасывает в черное небо сноп искр. Бегут, бегут! «Кот, справа! Справа!

А-ап!..» Справа ничего не вижу, да и не смотрю. Разворачиваю туда ствол, и вдруг из черно-алой мути прямо в лицо ливень жидкого огня. Все сразу вспыхивает – и трупы, и земля, и ракетомет. И кусты какие-то. И я. Больно. Адская боль. Как барон Трэгг...

Лужу мне, лужу! Тут ведь лужа была! Они в ней лежали! Я их туда положил, змеиное молоко, а их в огонь надо было положить, в огонь! Нет лужи... Земля горела, земля дымилась, и кто-то вдруг с нечеловеческой силой вышиб ее у меня из-под ног...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Возле койки Гага сидели двое. Один – сухопарый, с широкими костлявыми плечами, с большими костлявыми лапами. Он сидел, закинув ногу на ногу, обхватив колено мосластыми пальцами. Был на нем серый свитер со свободным воротом, узкие синие брюки непонятного покроя, не форменные, и красные с серым плетеные сандалии. Лицо было острое, загорелое, с ласкающей сердце твердостью в чертах, светлые глаза с прищуром, седые волосы – беспорядочной, но в то же время какой-то аккуратной копной. Из угла в угол большого тонкогубого рта передвигалась соломинка.

Другой был добряк в белом халате. Лицо у него было румяное, молодое, без единой морщинки. Странное какое-то лицо. То есть не само лицо, а выражение. Как у святых на древних иконах. Он глядел на Гага из-под светлого чуба, свисающего на лоб, и улыбался как именинник. Очень был чем-то доволен. Он и заговорил первым.

– Как мы себя чувствуем? – осведомился он.

Гаг уперся ладонями в постель, согнул ноги в коленях и легко перенес зад в изголовье.

– Нормально... – сказал он с удивлением.

Ничего на нем не было, даже простыни. Он посмотрел на свои ноги, на знакомый шрам выше колена, потрогал грудь и сразу же нащупал пальцами то, чего раньше не было: два углубления под правым соском.

– Ого! – сказал он, не удержавшись.

– И еще одна в боку, – заметил добряк. – Выше, выше...

Гаг нащупал шрам в правом боку. Потом он быстро оглядел голые руки.

– Погодите... – пробормотал он. – Я же горел...

– Еще как! – вскричал румяный и руками показал – как. Получалось, что Гаг горел как бочка с бензином.

Сухопарый в свитере молчал, разглядывая Гага, и было в его взгляде что-то такое, отчего Гаг подтянулся и произнес:

– Благодарю вас, господин врач. Долго я был без памяти?

Румяный добряк почему-то перестал улыбаться.

– А что ты помнишь последнее? – спросил он почти вкрадчиво.

Гаг наморщился.

– Я подбил... Нет! Я горел. Огнемет, наверное. И я побежал искать

воду... – Он замолчал и снова ощупал шрамы на груди. – В этот момент меня, наверное, подстрелили... – сказал он неуверенно. – Потом... – Он замолчал и посмотрел на сухопарого. – Мы их задержали? Да?.. Где я? В каком госпитале?

Однако сухопарый не ответил, и снова заговорил добряк.

– Да как тебе сказать... – Как бы в затруднении, он с силой погладил себя по круглым коленям. – А ты сам как думаешь?

– Виноват... – сказал Гаг и спустил ноги с койки. – Неужели так много времени прошло? Полгода? Или год... Скажите мне прямо, – потребовал он.

– Да что время... – сказал румяный. – Времени-то прошло всего пять суток.

– Сколько?

– Пять суток, – повторил румяный. – Верно? – спросил он, обращаясь к сухопарому.

Тот молча кивнул. Гаг улыбнулся снисходительно.

– Ну хорошо, – сказал он. – Ну ладно. Вам, врачам, виднее. В конце концов, какая разница... Я бы хотел только знать, господин... – Он специально сделал паузу, глядя на сухопарого, но сухопарый никак не отреагировал. – Я бы хотел только знать положение на фронте и когда я смогу вернуться в строй...

Сухопарый молча передвигал соломинку из одного угла тонкогубого рта в другой.

– Я ведь могу надеяться снова попасть в свою группу... в столичную школу.

– Вряд ли, – сказал румяный.

Гаг только глянул на него и снова стал смотреть на сухопарого.

– Ведь я – Бойцовый Кот, – сказал он. – Третий курс... Имею благодарности. Имею одну личную благодарность его высочества...

Румяный замотал головой.

– Это несущественно, – сказал он. – Не в этом дело.

– Как это – не в этом дело? – сказал Гаг. – Я – Бойцовый Кот! Вы что, не знаете? Вот! – Он поднял правую руку и показал – опять-таки сухопарому – татуировку под мышкой. – Если вы попытаетесь запихнуть меня куда-нибудь каптером, вы ответите! Мне пожимал руку его высочество, лично! Его высочество пожаловал мне...

– Да нет, мы верим, верим, знаем! – замахал на него руками румяный, но Гаг оборвал его:

– Господин врач, я разговариваю не с вами! Я обращаюсь к господину офицеру!

Тут румяный почему-то вдруг фыркнул, закрыл лицо ладонями и захохотал тонким противным смехом. Гаг ошеломленно смотрел на него, потом перевел взгляд на сухопарого. Тот наконец заговорил:

– Не обращай внимания, Гаг. – Голос у него был глубокий, значительный, под стать лицу. – Однако ты действительно не представляешь своего положения. Мы не можем отправить тебя сейчас в столичную школу. Скорее всего, ты вообще никогда больше не попадешь в школу Бойцовых Котов...

Гаг открыл и снова закрыл рот. Румяный перестал хихикать.

– Но я же чувствую себя... – прошептал Гаг. – Я совершенно здоров. Или я калека? Скажите мне сразу, господин врач: я не калека?

– Нет-нет, – быстро сказал румяный. – Руки-ноги у тебя в полном порядке, а что касается психики... Кто такой был Ганг Гнук, ты помнишь?

– Так точно... Это был ученый. Утверждал множественность обитаемых миров... Имперские фанатики повесили его за ноги и расстреляли из арбалетов... – Гаг замялся. – Вот точной даты я не помню, виноват. Но это было до первого алайского восстания...

– Очень хорошо! – похвалил румяный. – А как относится к учению Ганга современная наука?

Гаг опять замялся.

– Не могу сказать точно... Причин отрицать нет. У нас в школе на занятиях практической астрономией прямо об этом не говорилось. Говорилось только, что Айгон, Пирра... ну и другие... Какга, например... такие же планеты, как наша... Да, правильно! На Айгоне есть атмосфера, открытая великим основоположником алайской науки Гриддом, так что там вполне может существовать жизнь...

Он перевел дух и с тревогой взглянул на сухопарого.

– Очень хорошо, – снова сказал румяный. – Ну, а как на других звездах?

– Что – на других звездах, прошу прощения?

– Вблизи других звезд может существовать жизнь?

Гага прошибла испарина.

– Н-нет... – произнес он. – Нет, поскольку там безвоздушное пространство. Не может.

– А если около какой-нибудь звезды есть планеты? – неумолимо налегал доктор.

– А! Тогда может, конечно. Если около звезды имеется планета с атмосферой, на ней вполне может быть жизнь.

Румяный с удовлетворением откинулся на спинку кресла и посмотрел

на сухопарого. Тогда сухопарый вынул соломинку изо рта и поглядел Гагу прямо в душу.

– Ты ведь Бойцовый Кот, Гаг? – сказал он.

– Так точно! – Гаг приосанился.

– А Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе, – в голосе сухопарого зазвенел уставной металл, – способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью, так?

– И обратить ее, – подхватил Гаг, – к чести и славе его высочества герцога и его дома!

Сухопарый кивнул.

– Созвездие Жука знаешь?

– Так точно! Эклиптикальное созвездие из двенадцати ярких звезд, видимое в летнее время года. Первая Жука является...

– Стоп. Седьмую Жука знаешь?

– Так точно. Оранжевая звезда...

– ...около которой, – прервал его сухопарый, подняв мосластый палец, – имеется планетная система, неизвестная пока алайской астрономии. На одной из этих планет имеется атмосфера. Много миллиардов лет назад на ней возникла жизнь. Более того, на ней существует цивилизация разумных существ, значительно опередившая цивилизацию Гиганды. Ты на этой планете, Гаг.

Воцарилось молчание. Гаг, весь подобравшись, ждал продолжения. Сухопарый и врач пристально глядели на него. Молчание затягивалось. Наконец Гаг не выдержал.

– Я понял, господин офицер, – доложил он. – Продолжайте, пожалуйста.

Врач крякнул, а сухопарый мигнул несколько раз подряд.

– А-а, – сказал он спокойно. – Он решил, что мы продолжаем испытание психики и теперь даем ему вводную, – пояснил он врачу. – Это не вводная, Гаг. Это на самом деле так и есть. Я работал на вашей планете, на Гиганде, в северных джунглях герцогства. Случайно я оказался около тебя во время боя. Ты лежал на земле и горел, к тому же ты был смертельно ранен. Я перенес тебя на свой звездолет... это такой специальный аппарат для путешествия между звезд... и доставил сюда. Здесь мы тебя вылечили. Это все не вводная, Гаг. Я не офицер и, конечно, не алаец. Я – землянин.

Гаг в задумчивости пригладил волосы.

– Предполагается, господин офицер, что я знаю ваш язык и условия жизни на этой планете. Или нет?

Снова наступило молчание. Потом сухопарый сказал, усмехнувшись:

– Ты, кажется, вообразил себя на занятиях по диверсионно-разведывательной подготовке...

Гаг тоже позволил себе улыбнуться.

– Не совсем так, господин офицер.

– А как же?

– Я полагаю... я надеюсь, что командование удостаивает меня пройти спецпроверку для того, чтобы принять новое, весьма ответственное назначение. Я горжусь, господин офицер. Приложу все усилия, чтобы оправдать...

– Послушай, – сказал вдруг румяный врач, поворачиваясь к сухопарому. – А может быть, так и оставить? Создать условия ничего не стоит. Ты ведь говоришь, что понадобится всего три-четыре месяца!

Сухопарый помотал головой и принялся что-то говорить румяному на непонятном языке. Гаг с нарочито рассеянным видом осматривался. Помещение было необычное. Прямоугольная комната, гладкие кремовые стены, потолок расчерчен в шахматную клетку, причем каждая клетка светится изнутри красным, оранжевым, голубым, зеленым. Окон нет. Дверей тоже что-то не заметно. У изголовья постели в стене какие-то кнопки, над кнопками – длинные прозрачные окошечки, которые светятся ровным, очень чистым зеленым светом. Пол черный, матовый... и кресла, в которых сидят эти двое, словно бы растут из пола, а может быть, составляют с ним одно целое. Гаг незаметно погладил пол босой ступней. Прикосновение было приятное, словно к мягкому теплому животному...

– Ладно, – сказал наконец сухопарый. – Одевайся, Гаг. Я тебе кое-что покажу... Где его одежда?

Румяный, поколебавшись еще секунду, наклонился куда-то вбок и вытащил словно бы из стены плоский прозрачный пакет. Держа его в опущенной руке, он снова заговорил с сухопарым и говорил довольно долго, а сухопарый только все энергичнее крутил головой и в конце концов отобрал пакет у румяного и бросил его Гагу на колени.

– Одевайся, – приказал он снова.

Гаг осторожно осмотрел пакет со всех сторон. Пакет был из какого-то прозрачного материала, бархатистого на ощупь, а внутри было что-то очень чистое, мягкое, легкое, белое с голубым. И вдруг пакет сам собой распался, рассыпался тающими в воздухе серебристыми искрами, и на постель упали, разворачиваясь, короткие голубые штаны, белая с голубым куртка и еще что-то.

Гаг с каменным лицом принялся одеваться. Румяный вдруг сказал громко:

– Но, может быть, мне все-таки пойти с вами?
– Не надо, – сказал сухопарый.
Румяный всплеснул белыми мягкими руками:
– Ну что у тебя за манера, Корней! Что это за порывы интуиции! Ведь, казалось бы, все расписали, обо всем договорились...
– Как видишь, не обо всем.
Гаг натянул совершенно невесомые сандалии, удивительно ладно пришедшиеся по ноге. Он встал, сдвинул пятки и наклонил голову.
– Я готов, господин офицер.
Сухопарый оглядел его.
– Как, нравится тебе это? – спросил он.
Гаг дернул плечом.
– Конечно, я предпочел бы форму...
– Обойдешься без формы, – проворчал сухопарый, поднимаясь.
– Слушаюсь, – сказал Гаг.
– Поблагодари врача, – сказал сухопарый.
Гаг отчетливым движением повернулся к румяному с лицом святого, снова сдвинул пятки и снова наклонил голову.
– Позвольте поблагодарить вас, господин врач, – сказал он.
Тот вяло махнул рукой.
– Иди уж... Кот...
Сухопарый уже уходил, направляясь прямо в глухую стену.
– До свидания, господин врач, – сказал Гаг весело. – Надеюсь, здесь мы больше не увидимся, а услышите вы обо мне только хорошее.
– Ох, надеюсь... – откликнулся румяный с явным сомнением.
Но Гаг больше не стал с ним разговаривать. Он догнал сухопарого как раз в тот момент, когда в стене перед ними не распахнулась, а как-то просто вдруг появилась прямоугольная дверь, и они ступили в коридор, тоже кремовый, тоже пустой, тоже без окон и дверей и тоже непонятно как освещенный.
– Что ты сейчас рассчитываешь увидеть? – спросил сухопарый.
Он шагал широко, вымахивая голенастыми ногами, но ступни ставил с какой-то особой мягкостью, живо напомнившей Гагу неподражаемую походку Гепарда.
– Не могу знать, господин офицер, – ответил Гаг.
– Зови меня Корней, – сказал сухопарый.
– Понял, господин Корней.
– Просто – Корней...
– Так точно... Корней.

Коридор незаметно превратился в лестницу, которая вела вниз по плавной широкой спирали.

– Значит, ты не против того, чтобы оказаться на другой планете?

– Постараюсь справиться, Корней.

Они почти бежали вниз по ступенькам.

– Сейчас мы находимся в госпитале, – говорил Корней. – За его стенами ты увидишь много неожиданного, даже пугающего. Но учти, здесь ты в полной безопасности. Какие бы странные вещи ты ни увидел, они не могут угрожать тебе и не могут причинить вреда. Ты меня понимаешь?

– Да, Корней, – сказал Гаг и снова позволил себе улыбнуться.

– Постарайся сам разобраться, что к чему, – продолжал Корней. – Если чего-нибудь не понимаешь – обязательно спрашивай. Ответам можешь верить. Здесь не врут.

– Слушаюсь... – ответствовал Гаг с самым серьезным видом.

Тут бесконечная лестница кончилась, и они вылетели в обширный светлый зал с прозрачной передней стеной, за которой было полно зелени, желтел песок дорожек, поблескивали на солнце непонятные металлические конструкции. Несколько человек в ярких и, прямо скажем, легкомысленных нарядах беседовали о чем-то посреди зала. И голоса у них были под стать нарядам – развязные, громкие до неприличия. И вдруг они разом замолчали, как будто их кто-то выключил. Гаг обнаружил, что все они смотрят на него... Нет, не на него. На Корнея. Улыбки сползали с лиц, лица застывали, взгляды опускались – и вот уже никто больше не смотрит на Корнея, вообще никто больше не смотрит в их сторону, а Корней знай себе вышагивает мимо них в полной тишине, словно ничего этого не заметив.

Он остановился перед прозрачной стеной и положил Гагу руку на плечо.

– Как тебе это нравится? – спросил он.

Огромные, во много обхватов, морщинистые стволы, клубы, облака, целые тучи ослепительной, пронзительной зелени над ними, желтые ровные дорожки, а вдоль них – темно-зеленый кустарник, непроницаемо густой, пестрящий яркими, неправдоподобно лиловыми цветами, и вдруг из пятнистой от солнца тени на песчаную площадку выступил поразительный, совершенно невозможный зверь, состоящий как бы только из ног и шеи, остановился, повернул маленькую голову и взглянул на Гага огромными бархатистыми глазами.

– Колоссально... – прошептал Гаг. Голос у него сорвался. – Великолепно сделано!

– Доброжираф, – непонятно и в то же время вроде бы и понятно

пояснил Корней.

– Для человека опасен? – деловито осведомился Гаг.

– Я же тебе сказал: здесь нет ничего ни опасного, ни угрожающего.

– Я понимаю: здесь – нет. А там?

Корней покусал губу.

– Здесь – это и есть там, – сказал он.

Но Гаг уже не слышал его. Он потрясенно смотрел, как по песчаной дорожке мимо зеброжирафа, совсем рядом с ним, идет человек. Он увидел, как зеброжираф склонил бесконечную шею, будто пестрый шлагбаум опустился, а человек, не останавливаясь, потрепал животное по холке и пошел дальше, мимо сооружения из скрученного шипастого металла, мимо радужных перьев, повисших прямо в воздухе, поднялся по нескольким плоским ступеням и сквозь прозрачную стену вошел в зал.

– Между прочим, это тоже инопланетянин, – сказал Корней вполголоса. – Его здесь вылечили, и скоро он вернется на свою планету.

Гаг сглотнул всухую, провожая выздоровевшего инопланетянина глазами. У того были странные уши. То есть, строго говоря, ушей почти не было, а голый череп неприятно поражал обилием каких-то бугров и узловатых гребенчатых выступов. Гаг снова глотнул и посмотрел на зеброжирафа.

– Разве... – начал он и замолчал.

– Да?

– Прошу прощения, Корней... Я думал... Я думал... это все... Ну, вот это все, за стеной...

– Нет, это не кино, – с оттенком нетерпения в голосе сказал Корней. – И не вольера. Это все на самом деле, и так здесь везде. Хочешь погладить его? – спросил он вдруг.

Гаг весь напрягся.

– Слушаюсь, – сказал он осипшим голосом.

– Да нет, если не хочешь – не надо. Просто ты должен понять...

Корней вдруг оборвал себя. Гаг поднял на него глаза. Корней смотрел поверх его головы в глубь зала, где снова уже раздавались голоса и смех, и лицо его неожиданно и странно изменилось. Новое выражение появилось на нем – смесь тоски, боли и ожидания. Гагу уже приходилось видеть такие лица, но он не успел вспомнить, где и когда. Он обернулся.

На той стороне зала у самой стены стояла женщина. Гаг даже не успел ее толком рассмотреть – через мгновение она исчезла. Но она была в красном, у нее были угольно-черные волосы и яркие, кажется синие, глаза на белом лице. Неподвижный язык красного пламени на кремовом фоне

стены. И сразу – ничего. А Корней сказал спокойно:

– Ну что ж, пошли...

Лицо у него было прежнее, как будто ничего не произошло. Они шли вдоль прозрачной стены, и Корней говорил:

– Сейчас мы очутимся совсем в другом месте. Очутимся, понимаешь? Не перелетим, не переедем в другое место, а просто очутимся там, имей в виду...

Позади громко захохотали в несколько голосов. Гаг, вспыхнув ушами, оглянулся. Нет, смеялись не над ним. На них вообще никто не смотрел.

– Заходи, – сказал Корней.

Это была круглая будка вроде телефонной, только стенки у нее были не прозрачные, а матовые. В будку вела дверь, и оттуда тянуло запахом, какой бывает после сильной грозы. Гаг несмело шагнул внутрь, Корней втиснулся следом, и дверной проем исчез.

– Я потом объясню тебе, как это делается, – говорил Корней. Он неторопливо нажимал клавиши на небольшом пульте, встроенном в стену. Такие пульты Гаг видел на арифметических машинах в бухгалтерии школы. – Вот я набираю шифр, – продолжал Корней. – Набрал... Видишь зеленый огонек? Это означает, что шифр имеет смысл, а финиш свободен. Теперь отправляемся... Вот эта красная кнопка...

Корней нажал на красную кнопку. Чтобы не упасть, Гаг вцепился в его свитер. Пол словно исчез на мгновение, а потом появился снова, и за матовыми стенками вдруг стало светлее.

– Все, – сказал Корней. – Выходи.

Зала не было. Был широкий, ярко освещенный коридор. Пожилая женщина в блестящей, как ртуть, накидке посторонилась, давая им дорогу, сурово смерила взглядом Гага, глянула на Корнея – лицо ее вдруг дрогнуло, она торопливо нырнула в будку, и дверь за нею исчезла.

– Прямо, – сказал Корней.

Гаг пошел прямо. Только сделав несколько шагов, он тихонько перевел дух.

– Один миг – и мы в двадцати километрах, – сказал Корней у него за спиной.

– Потрясающе... – отозвался Гаг. – Я не знал, что мы умеем такие вещи...

– Ну, положим, вы еще не умеете... – возразил Корней. – Сюда, направо.

– Нет, я имел в виду – в принципе... Я понимаю, все засекречено, но для армии...

– Проходи, проходи. – Корней мягко подтолкнул его в спину.

– Для армии такая штука незаменима... Для армии, для разведки...

– Так, – произнес Корней. – Сейчас мы находимся в гостинице. Это мой номер. Я тут жил, пока тебя лечили.

Гаг осмотрелся. Комната была велика и совершенно пуста. Никаких следов мебели. Вместо передней стены – голубое небо, остальные стены разноцветные, пол белый, потолок, как и в госпитале, в разноцветную клетку.

– Давай побеседуем, – сказал Корней и сел.

Он должен был упасть своим сухопарым задом на этот белый пол. Но пол вспучился навстречу его падающему телу, как бы обтек его и превратился в кресло. Этого кресла только что не было. Оно просто мгновенно выросло. Прямо из пола. Прямо на глазах. Корней закинул ногу на ногу, привычно обхватил мосластыми пальцами колено.

– Мы тут много спорили, Гаг, – проговорил он, – как с тобой быть. Что тебе рассказать, что от тебя скрыть. Как сделать, чтобы ты, упаси бог, не свихнулся...

Гаг облизал пересохшие губы.

– Я...

– Предлагалось, например, оставить тебя на эти три-четыре месяца в бессознательном состоянии. Предлагалось загипнотизировать тебя. Много разной чепухи предлагалось. Я был против. И вот почему. Во-первых, я верю в тебя. Ты – сильный, тренированный мальчик, я видел тебя в бою и знаю, что ты можешь выдержать многое. Во-вторых, для всех будет лучше, если ты увидишь наш мир... пусть даже только кусочек нашего мира. Ну, а в-третьих, я тебе честно скажу: ты мне можешь понадобиться.

Гаг молчал. Ноги у него одеревенели, заложенные за спину руки он стиснул изо всей силы, до боли. Корней вдруг подался вперед и сказал, словно заклиная:

– Ничего страшного с тобой не произошло. Ничего страшного с тобой не случится. Ты в полной безопасности. Ты просто совершаешь путешествие, Гаг. Ты в гостях, понимаешь?

– Нет, – сказал Гаг хрипло.

Он повернулся и пошел прямо в голубое небо. Остановился. Глянул. Стиснутые кулаки его побелели. Он сделал шаг назад, другой, третий и пятился до тех пор, пока не уперся лопатками.

– Значит... я уже там? – сказал он хрипло.

– Значит, ты уже здесь, – сказал Корней.

– Какое же у меня задание?.. – сказал Гаг.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Одним словом, ребята, влип я, как ни один еще Бойцовый Кот, наверное, до меня не влипал. Вот сижу я сейчас на роскошной лужайке по шею в мягкой травке-муравке. Вокруг меня – благодать, чистый курорт на озере Заггута, только самого озера нет. Деревья – никогда таких не видел: листья зеленые-зеленые, мягкие, шелковистые, а на ветвях висят здоровенные плоды – груши называются – объеденье, и ешь сколько влезет. Слева от меня роща, а прямо передо мной дом. Корней говорит, что сам его своими руками построил. Может быть, не знаю. Знаю только, что когда меня назначили в караул у охотничьего домика его высочества, так там тоже был дом – роскошный дом, и строили его ба-альшие головы, но куда ему до этого. Перед домом бассейн, вода чистая, как увидишь – пить хочется, купаться страшно. А вокруг – степь. Там я еще не был. И пока неохота. Не до степи мне сейчас. Мне бы сейчас понять, на каком языке я думаю, змеиное молоко! Ведь сроду я никаких языков, кроме родного алайского, не знал. Военный разговорник – это, натурально, не в счет: всякие там «руки вверх», «ложись», «кто командир» и прочее. А теперь вот никак не могу понять, какой же язык мне родной – этот самый ихний русский или алайский. Корней говорит, что этот русский в количестве двадцати пяти тысяч слов и разных там идиом в меня запихнули за одну ночь, пока я спал после операции. Не знаю. Идиома... Как это будет по-алайски? Не знаю.

Нет, я ведь сначала что подумал? Спецлаборатория. Такие у нас есть, я знаю. Корней – офицер нашей разведки. Очень похож. И готовят они меня для какого-то особой важности задания. Может быть, интересы его высочества распространились на другой материк. А может быть, черт подери, и на другую планету. Почему бы и нет? Что я знаю?

Я даже, дурак, сначала думал, что вокруг все – декорация. А потом день здесь живу, другой – нет, ребята, не получается. Город этот – декорация? Синие эти громады, что на горизонте время от времени появляются, – декорация? А жратва? Показать ребятам эту жратву – не поверят, не бывает такой жратвы. Берешь тюбик, вроде бы с зубной пастой, выдавливаешь на тарелку, и на тебе – запузырилось, зашипело, и тут надо схватить другой тюбик, его давить, и ахнуть ты не успел, как на тарелке перед тобой – здоровенный ломоть поджаренного мяса, весь золотистый, дух от него... э, что там говорить! Это, ребята, не декорация. Это мясо. Или,

скажем, ночное небо: все созвездия перекошены. И Луна. Тоже декорация? Честно говоря, она-то на декорацию как раз очень похожа. Особенно когда высоко. Но на восходе – смотреть же страшно! Огромная, разбухшая, красная, лезет из-за деревьев... Который я уже здесь день, пятый, что ли, а до сих пор меня от этого зрелища просто в дрожь бросает.

Вот и получается, что дело дрянь. Могучие они здесь, стервецы, могучие, простым глазом видно. И против них, против всей их мощи я здесь один. И ведь никто же у нас про них ничего не знает, вот что самое страшное. Ходят они по нашей Гиганде, как у себя дома, знают про нас все, а мы про них – ничего. С чем они к нам пришли, что им у нас надо? Страшно... Как представишь себе всю ихнюю чертовщину – все эти мгновенные скачки на сотни километров без самолетов, без машин, без железных дорог... эти их здания выше облаков, невозможные, невероятные, как дурной сон... комнаты-самобранки, еда прямо из воздуха, врачи-чудодеи... А сегодня утром – приснилось мне, что ли? – Корней прямо из бассейна без ничего, в одних плавках, взмыл в небо, как птица, развернулся над садом и пропал за деревьями...

Я как это вспомнил, продрало меня до самых печенок. Вскочил, пробежался по лужайке, грушу сожрал, чтобы успокоиться. А ведь я здесь всего-то-навсего пятый день! Что я за пять дней мог здесь увидеть? Вот хоть эта лужайка. У меня окно прямо на нее выходит. И вот давеча просыпаюсь ночью от какого-то хриплого мяуканья. Кошки дерутся, что ли? Но уже знаю, что не кошки. Подкрался к окну, выглянул. Стоит. Прямо посреди лужайки. Что – не понимаю. Вроде треугольное, огромное, белое. Пока я глаза протирал, смотрю – тает в воздухе. Как привидение, честное слово. Они у них так и называются: «призраки». Я наутро у Корнея спросил, а он говорит: это, говорит, наши звездолеты класса «призрак» для перелетов средней дальности, двадцать световых лет и ближе. Представляете? Двадцать световых лет – это у них средняя дальность! А до Гиганды, между прочим, всего восемнадцать...

Не-ет, от нас им только одно может понадобиться: рабы. Кто-то же у них здесь должен работать, кто-то же эту ихнюю благодать обеспечивает... Вот Корней мне все твердит: учись, присматривайся, читай, через три-четыре месяца, мол, домой вернешься, начнешь строить новую жизнь, то, се, войне, говорит, через три-четыре месяца конец, мы, говорит, этой войной занялись и в самое ближайшее время с ней покончим. Тут-то я его и поймал. Кто же, говорю, в этой войне победит? А никто не победит, отвечает. Будет мир, и все. Та-ак... Все понятно. Это, значит, чтобы мы материал зря не переводили. Чтобы все было тихо-мирно, без всяких там

возмущений, восстаний, кровопролития. Вроде как пастухи не дают быкам драться и калечиться. Кто у нас им опасен – тех уберут, кто нужен – тех купят, и пойдут они набивать трюмы своих «призраков» алайцами и крысоедами вперемешку...

Корней вот, правда... Ничего не могу с собой поделать: нравится он мне. Башкой понимаю, что иначе быть не может, что только такого человека они и могли ко мне приставить. Башкой понимаю, а ненавидеть его не могу. Наваждение какое-то. Верю ему как дурак. Слушаю его, уши развесив. А сам ведь знаю, что вот-вот начнет он мне внушать и доказывать, как ихний мир прекрасен, а наш – плох, и что наш мир надо бы переделать по образцу ихнего, и что я им в этом деле должен помочь, как парень умный, волевой, сильный, вполне пригодный для настоящей жизни...

Да чего там, он уже и начал понемногу. Ведь всех великих людей, на кого мы молимся, он уже обгадить успел. И фельдмаршала Брагга, и Одноглазого Лиса, великого шефа разведки, и про его высочество намекнул было, но тут я его, конечно, враз оборвал... Всем от него досталось. Даже имперцам – это, значит, чтобы показать, какие они здесь беспристрастные. И только про одного он говорил хорошо – про Гепарда. Похоже, он его знал лично. И ценил. В этом человеке, говорит, погиб великий педагог. Здесь, говорит, ему бы цены не было... Ладно.

Хотел я остановиться, но не успел – стал думать о Гепарде. Эх, Гепард... Ну ладно, ребята погибли, Заяц, Носатый... Клещ с ракетой под мышкой под бронеход бросился... пусть. На то нас родили на свет. А вот Гепард... Отца ведь я почти не помню, мать – ну что мать? А вот тебя я никогда не забуду. Я ведь слабый в школу пришел – голод, кошатину жрал, самого чуть не съели, отец с фронта пришел без рук, без ног, пользы от него никакой, все на водку променивал... А в казарме что? В казарме тоже не сахар, пайки сами знаете какие. И кто мне свои консервы отдавал? Стоишь ночью дневальным, жрать хочется – аж зубы скрипят; вдруг появится как из-под земли, рапорт выслушает, буркнет что-то, сунет в руку ломоть хлеба с кониной – свой ведь ломоть хлеба с кониной, по тыловой норме, – и нет его... А как в марш-броске он меня двадцать километров на загривке тащил, когда я от слабости свалился? Ребята ведь должны были тащить, и они бы и рады, да сами падали через каждые десять шагов. А по инструкции как? Не может идти – не может служить. Валяй домой, под вонючую лестницу, за кошками охотиться...

Да, не забуду я тебя, Гепард. Погиб ты, как нас учил погибать, так и сам погиб. Ну, а раз уж я уцелел, значит, и жить я теперь должен, твоей памяти не посрамив. А как жить? Влип я, Гепард. Ох и влип же я! Где ты

там сейчас? Вразуми, подскажи...

Ведь они меня здесь купить хотят. Перво-наперво спасли мне жизнь. Вылечили, как новенького сделали, даже ни одного зуба дырявого не осталось – новые выросли, что ли? Дальше. Кормят на убой, знают, бродяги, как у нас со жратвой туго. Ласковые слова говорят, симпатичного человека приставили...

Тут он меня позвал: обедать пора.

Уселись мы за столом в гостиной, взяли эти самые тюбики, навертели себе еды. Корней что-то странное соорудил – целый клубок прозрачных желтоватых нитей – что-то вроде дохлого болотного ежа, – все это залил коричневым соусом, сверху лежат кусочки и ломтики то ли мяса, то ли рыбы, и пахнет... не знаю даже – чем, но крепко пахнет. Ел он почему-то палочками. Зажал две палочки между пальцами, тарелку к самому подбородку поднес и пошел кидать все это в рот. Кидает, а сам мне подмигивает. Хорошее у него, значит, настроение. Ну, а у меня от всех моих мыслей, да и от груш, наверное, аппетита почти не осталось. Сделал себе мяса. Вареного. Хотел тушеного, а получилось вареное. Ладно, есть можно, и на том спасибо.

– Хорошо я сегодня поработал, – сообщил Корней, уплетая своего ежа. – А ты что поделывал?

– Да так. Ничего особенного. Купался. В траве сидел.

– В степь ходил?

– Нет.

– Зря. Я же тебе говорю: там для тебя много интересного.

– Я схожу. Потом.

Корней доел ежа и снова взялся за тюбики.

– Придумал, где бы тебе хотелось побывать?

– Нет. То есть да.

– Ну?

Что бы мне ему такое-этакое соврать? Никуда мне сейчас не хотелось, мне бы здесь, с этим домом разобраться, и я ляпнул:

– На Луне...

Он посмотрел на меня с удивлением.

– А за чем же дело стало? Нуль-кабина – в саду, справочник по шифрам я тебе дал... Набирай номер и отправляйся.

Нужна мне эта Луна!..

– И отправлюсь, – сказал я. – Галоши вот только надену...

Сам не знаю, откуда эта присловка у меня взялась. Идиома, наверное, какая-нибудь. Засадили они мне ее в мозги, и теперь она время от времени

у меня выскакивает.

– Что-что? – спросил Корней, подняв брови.

Я промолчал. Теперь вот на Луну надо. Раз сказал, значит придется. А чего я там не видел? Вообще-то, конечно, не мешает посмотреть... Подумал я, сколько мне еще здесь надо посмотреть, и в глазах у меня потемнело. И ведь это только посмотреть! А надо еще запомнить, уложить в башке все это кирпичик к кирпичику, а в башке и так все перемешалось, будто я сто лет уже здесь болтаюсь, и все эти сто лет днем и ночью мне показывают какое-то сумасшедшее кино без начала и конца. Он ведь ничего от меня не скрывает. Нуль-транспортировка? Пожалуйста! Объясняет про нуль-транспортировку. И вроде бы понятно объясняет, модели показывает. Модели понимаю, а как работает нуль-кабина – нет, хоть кол на голове теши. Изгибание пространства, понял? Или, скажем, про эту пищу из тюбиков. Три часа мне объяснял, а что осталось в голове? Субмолекулярное сжатие. Ну, еще расширение. Субмолекулярное сжатие – это, конечно, хорошо и даже прекрасно. Химия. А вот откуда кусок жареного мяса берется?

– Ну что загрустил? – спросил Корней, утираясь салфеткой. – Трудно?

– Башка болит, – сказал я со злостью.

Он хмыкнул и принялся прибирать со стола. Я, конечно, как положено, сунулся ему помогать, только тут у них и одному делать нечего. Всего и приборки-то: в середине стола лючок открыть и все туда спихнуть, а уж закрывать и не надо, само закроется.

– Пойдем кино посмотрим, – сказал он. – Один мой знакомый отличную ленту сделал. В старинном стиле, плоскую, черно-белую. Тебе понравится.

– Про что? – спросил я вяло. Никаких кино мне не хотелось. Не до кино мне было. И так вокруг сплошное кино. В бредовом стиле. Цветное и выпуклое.

– Про войну тоже есть, – сказал он. – Правда, действие там происходит в средние века...

Короче, пришлось мне тут же сесть и смотреть это кино. Куролесица какая-то. Про любовь. Любят там друг друга двое аристократов, а родители против. Есть там, конечно, пара мест, где дерутся, но все на мечах. Снято, правда, здорово, у нас так не умеют. Один там другого ткнул мечом, так уж без обману: лезвие из спины на три пальца вылезло и даже вроде дымится... Вот им еще, например, зачем рабы нужны. Замутило меня от этой мысли, еле я дотерпел до конца. Вдобавок курить хотелось дико. Корней, как и Гепард, курение не одобряет. Предложил даже излечить от этой привычки,

да я не согласился: всего-то от меня изначального одно это, может быть, и осталось... В общем, попросил я разрешения пойти к себе. Почитать, говорю. Про Луну. Поверил. Отпустил.

И вошел я в свою комнату, будто домой вернулся. Я ее сразу, как приехал, для себя переоборудовал. Тоже, между прочим, намучился. Корней мне, конечно, все объяснил, но я, конечно, ничего толком не понял. Стою посреди комнаты и ору, как псих: «Стул! Хочу стул!» Только потом понемногу приспособился. Здесь, оказывается, орать не надо, а надо только тихонечко представить себе этот стул во всех подробностях. Вот я и представил. Даже кожаная обивка на сиденье продрана, а потом аккуратно заштопана. Это когда Заяц, помню, после похода сразу сел, а потом встал и зацепился за обивку крючком от кошки. Ну, и все остальное я устроил как у Гепарда в его комнатушке: койка железная с зеленым шерстяным покрывалом, тумбочка, железный ящик для оружия, столик с лампой, два стула и шкаф для одежды. Дверь сделал как у людей, стены – в два цвета, оранжевый и белый, цвета его высочества. Вместо прозрачной стены сделал одно окно. Под потолком лампу подвесил с жестяным абажуром...

Конечно, все это декорация: ни жести, ни железа, ни дерева – ничего этого на самом деле здесь нет. И оружия у меня, конечно, никакого в железном ящике нет – лежит там один мой единственный автоматный патрон, который у меня в кармане куртки завалялся. И на тумбочке ничего нет. У Гепарда стояла фотография женщины с ребенком – рассказывали, что жены с дочерью, сам он об этом никогда не говорил. Я тоже хотел поставить фотографию. Гепарда. Каким я его в последний раз видел. Но ничего у меня из этого не вышло. Наверное, Корней правильно объяснил, что для этого надо быть художником или там скульптором.

Но в общем мне моя конурка нравится. Я здесь отдыхаю душой, а то в других комнатах как в чистом поле, все насквозь простреливается. Правда, нравится она здесь только мне. Корней посмотрел, ничего не сказал, но, по-моему, он остался недоволен. Да это еще полбеды. Хотите верьте, хотите нет, но эта моя комната сама себе не нравится. Или самому дому. Или, змеиное молоко, той невидимой силе, которая всем здесь управляет. Чуть отвлечешься, глядь – стула нет. Или лампы под потолком. Или железный ящик в такую нишу превратится, в которой они свои микрокниги держат.

Вот и сейчас. Смотрю – нет тумбочки. То есть тумбочка есть, но не моя тумбочка, не Гепарда, да и не тумбочка вовсе. Шут знает что – какое-то полупрозрачное сооружение. Слава богу, хоть сигареты в нем остались как были. Родимые мои, самодельные. Ну, сел я на свой любимый стул, закурил сигаретку и это самое сооружение изничтожил. Честно скажу – с

удовольствием. А тумбочку вернул на место. И даже номер вспомнил: 0064. Не знаю уж, что этот номер значит.

Ну, сижу я, курю, смотрю на свою тумбочку. На душе стало поспокойнее, в комнате моей приятный полумрак, окно узкое, отстреливаться из него хорошо в случае чего. Было бы чем. И стал я думать: что бы это мне на тумбочку положить? Думал-думал и надумал. Снял я с шеи медальон, открыл крышечку и вынул портрет ее высочества. Обрастил я его рамкой, как сумел, пристроил посередине, закурил новую сигаретку, сижу и смотрю на прекрасное лицо Девы Тысячи Сердец. Все мы, Бойцовые Коты, до самой нашей смерти ее рыцари и защитники. Все, что есть в нас хорошего, принадлежит ей. Нежность наша, доброта наша, жалость наша – все это у нас от нее, для нее и во имя ее.

Сидел я так, сидел и вдруг спохватился: да в каком же это виде я перед нею нахожусь? Рубашка, штанишки, голоручка-голоножка... Тьфу! Я подскочил так, что даже стул упал, распахнул шкаф, сдернул с себя всю эту бело-синюю дрянь и натянул свое родимое – боевую маскировочную куртку и маскировочные штаны. Сандалии долой, на ноги – тяжелые рыжие сапоги с короткими голенищами. Подпоясался ремнем, аж дыхание сперло. Жалко, берета нет – видимо, совсем берет сгорел, в пыль, даже эти не сумели восстановить. А может, я его сам потерял в той суматохе... Погляделся я в зеркало. Вот это другое дело: не мальчишка сопливый, а Бойцовый Кот – пуговицы горят, Черный Зверь на эмблеме зубы скалит в вечной ярости, пряжка ремня точно на пупе, как влитая. Эх, берета нет!..

И тут я вдруг заметил, что ору я Марш Боевых Котят, ору во весь голос, до хрипа, и на глазах у меня слезы. Допел до конца, глаза вытер и начал сначала, уже вполголоса, просто для удовольствия, от самой первой строчки, от которой всегда сердце чуточку щемит: «Багровым заревом затянут горизонт», и до самой последней, развеселой: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Мы там еще один куплет сочинили сами, но такой куплет в трезвом виде, да еще имея перед глазами портрет Девы, исполнять никак невозможно. Гепард, помню, Крокодила за уши при всех оттаскал за этот куплет...

Змеиное молоко! Опять! Опять эта лампа в какой-то дурацкий светильник превратилась. Ну что ты будешь с ней делать... Попробовал я этот светильник обратно в лампу превратить, а потом плюнул и изничтожил совсем. Отчаяние меня взяло. Ну где мне с ними справиться, когда я с собственной комнатой справиться не могу! С домом этим проклятущим... Поднял я стул и снова уселся. Дом. Как хотите, ребята, а с домом этим все неладно. Казалось бы, проще простого: стоит двухэтажный

дом, рядом роща, вокруг на двадцать пять километров голая степь, как доска, в доме двое – я и Корней. Все. Так вот, ребята, оказывается, не все.

Во-первых – голоса. Говорит кто-то, и не один, и не радио какое-нибудь. По всему дому голоса. И не то чтобы ночью – среди бела дня. Кто говорит, с кем говорит, о чем говорит – ничего не понятно. Причем, заметьте, Корнея в доме в это время нет. Тоже, между прочим, вопрос: куда он девается... Хотя, кажется, на этот вопрос я ответ нашел. Страху набрался, но нашел. А было так. Позавчера сижу я у окна и наблюдаю за нуль-кабиной. Она наискосок, в конце песчаной дорожки, шагах в пятидесяти. Потом слышу – в глубине дома вроде бы хлопнула дверь, и сразу же – тишина, и чувствую я, что опять остался в доме один. Так, думаю, значит, он не через нуль-кабину уходит. И тут меня как обухом по голове ударило: дверь! Где же это, кроме моей комнаты, в нашем доме двери, которые хлопать могут?

Выскочил я из комнаты, спустился на первый этаж. Сунулся туда, сюда – коридор какой-то светлый, окно вдоль стены... ну, это как всегда у них. И вдруг слышу – шаги. Не знаю, что меня остановило. Притаился, стою не дышу. Коридор пустой, в дальнем конце дверь, обыкновенная, крашеная... Как я ее раньше не замечал – не понимаю. Как я коридора этого раньше не замечал – тоже не понимаю. Ну, это ладно. Главное – шаги. Несколько человек. Ближе, ближе, и вот – у меня даже сердце сжалось – прямо из стены на середине коридора выходят один за другим трое. Змеиное молоко! Имперские парашютисты, в полном боевом, в этих своих разрисованных комбинезонах, автомат под мышкой, топорик на заду... Я сразу лег. Один ведь, и ничего нет – голые руки. Оглянутся – пропал. Не оглянулись. Протопали в дальний конец коридора к той самой двери, и нет их. Дверь хлопнула, как от сквозняка, и все. Ну, ребята... Как дунул я обратно к себе в комнату – и только там опомнился...

До сих пор не понимаю, что бы это могло значить. То есть ясно теперь, как Корней из дома исчезает. Через эту самую дверь. Но вот откуда здесь крысоеды взялись, да еще в полном боевом?.. И что это за дверь?

Бросил я окурок на пол, посмотрел, как пол его в себя втягивает, и поднялся. Страшновато, конечно, но надо же когда-нибудь начинать. А если начинать, то с этой двери. В саду на лужайке с грушей за щекой оно, конечно, приятнее... или, скажем, марши распевать, запершись в комнате... Высунул я за дверь голову и прислушался. Тихо. Но Корней – у себя. Может, это даже и лучше. В случае чего заору благим матом – выручит. Спустился я в тот коридор, иду на цыпочках, даже руки расставил. До этой двери я целую вечность добирался. Пройду десять шагов, остановлюсь,

послушаю – и дальше. Добрался. Дверь как дверь. Никелированная ручка. Приложил ухо – ничего не слыхать. Нажал плечом. Не открывается. Взялся за ручку, потянул. Опять не открывается. Интересно. Вытер я со лба пот, оглянулся. Никого. Снова взялся за ручку, снова потянул, и тут стала дверь открываться. Со страху или от неожиданности я ее, проклятущую, опять захлопнул. В башке у меня пустота, и только одна мыслишка там прыгает, как горошина в бензобаке: не лезь, дурак, не суйся, тебя не трогают, и ты не трогай... И тут из меня и эту последнюю мыслишку вышибло.

Смотрю: прямо на стене сбоку от двери меленькими аккуратными буковками написано по-алайски «значит». То есть там вообще-то много чего было написано, всего в количестве шести строчек, но все остальное была математика, причем такая математика, что я в ней одни только плюсы и минусы разбирал. Так это выглядело: четыре строчки этой самой математики, потом слово «значит», подчеркнутое двумя чертами, а потом еще две строчки формул, обведенные жирной рамкой, на ней у него грифель раскрошился, у того, кто писал. Вот так-так... В бедной голове моей, в пустом моем бензобаке, такая тут толкотня поднялась, что я и про дверь забыл. Выходит, я не один тут, есть еще алайцы? Кто? Где? Почему я вас не видел до сих пор? Зачем вы это написали? Знак подаете? Кому? Мне? Так я же математики не знаю... Или эту математику вы развели только для отвода глаз? Ничего я не успел в этот раз додумать, потому что услыхал, как меня зовет Корней. Я как полоумный сорвался с места и на цыпочках взлетел к себе. Кое-как бухнулся на стул, закурил и схватил какую-то книжку. Корней внизу гаркнул еще пару раз, а потом слышу – стучит в дверь.

Это у него, между прочим, правильно: хоть он и в своем доме, но никогда не войдет без стука. Это мне нравится. Мы к Гепарду тоже всегда стучали. Но сейчас-то мне было не до этого. «Войдите», – говорю и делаю на лице наивозможнейшую задумчивость, будто я так зачитался, что ничего не вижу и не слышу.

Он вошел, остановился на пороге, прислонился к косяку и смотрит. По лицу ничего не понять. Тут я сделал вид, что спохватился, и притушил окурок. Тогда он заговорил.

– Ну, как Луна? – спрашивает.

Я молчу. Сказать мне нечего. В таких вот случаях мне всегда кажется, что он костерить меня начнет, но этого никогда не бывает. Так вот и сейчас.

– Пойдем-ка, – говорит. – Я тебе кое-что покажу. А потом, может быть, и на Луну смотаемся.

Опять эта Луна! Она мне скоро плешь переест, наверное, эта Луна.

– Слушаюсь, – говорю. И на всякий случай спрашиваю: – Прикажете переодеться?

– А тебе в этом не жарко? – спрашивает он.

Я только усмехнулся. Не смог удержаться. Вот так вопросик!

– Ну, извини, – говорит он, словно мои мысли подслушал. – Пошли.

И повел он меня, куда раньше никогда не водил. Не-ет, ребята, я с этим домом никогда не разберусь. Я даже и не знал, что в этом доме такое есть. В гостиной он ткнулся в стену рядом с книжной нишей – и открылась дверца, а за дверцей оказалась лестница вниз, в подпол. Оказывается, у этого дома еще целый этаж есть, под землей, такой же роскошный и освещен как бы дневным светом, но это не для жилья. У него там что-то вроде музея. Огромная комната, и чего там только нет!

– Понимаешь, Гаг, – говорит он мне с каким-то странным выражением – с грустью, что ли? – Я ведь раньше работал космозоологом, исследовал жизнь на других планетах. Ах, какое это было чудесное время! Сколько миров я повидал, и в каждом новом мире полно диковинных тайн – всей человеческой истории не хватит, наверное, чтобы эти тайны разгадать до конца... Вот посмотри-ка! – Он схватил меня за рукав и поволок в угол, где на черной лакированной подставке был растопырен какой-то странный скелет величиной с собаку. – Видишь, у него два позвоночника. Зверь с Нистагмы. Когда мы взяли первый экземпляр, то подумали сначала, что это какое-то уродство. Потом другой такой же, третий... Выяснилось, что на Нистагме обитает целый новый бранч животного мира – двухордовые. Их нет больше нигде... да и на Нистагме только один вид. Откуда он взялся? Почему? Пятьдесят лет с тех пор прошло – никто эту задачу так и не решил... Или вот это...

И пошел, и пошел. Таскал он меня от скелета к скелету, руками размахивал, голос возвышал – я таким его еще не видывал. Здорово, наверное, он любил эту свою космозоологию. Или связаны были у него с ней какие-то особенные воспоминания.

Не знаю. Из того, что он мне говорил, я, конечно, мало что понял и мало что запомнил, да, в общем, и не особенно старался. Какое мне до всего этого дело? Забавно было только на него смотреть, а уж эти зверюги!.. У него их, наверное, штук сто. Либо скелеты, либо целиком, словно бы вплавленные в такие здоровенные прозрачные глыбы (как я понимаю – для особой сохранности), либо просто чучела, как в охотничьем домике у его высочества, а то – одни только головы или шкуры.

Вот во втором зале у него – мы как туда вошли, я даже попятился – вся стена справа завешена одной шкурой. Змеиное молоко! Длиной метров

двадцать, в поперечнике метра три, а то и все четыре, аж на потолок краем залезает. И вся эта шкура покрыта не то пластинами, не то чешуей, и каждая чешуища – с хорошее блюдо, и каждая сияет чистейшим изумрудным светом с красными огоньками, так что вся зала от этой шкуры кажется будто зеленоватой. Я обалдел, глаз не могу оторвать от этого сияния. Это же надо, что на свете бывает! А головка маленькая, в мой кулак, и глаз не видно, а в рот палец не просунешь – как это оно питало свою тушу, непонятно...

Потом смотрю – в конце зала вроде бы еще одна дверь. В темное помещение. Подошли поближе – да, ребята, это, оказывается, не дверь. Это, оказывается, пасть раскрытая. Ей-богу, дверь. И даже не в комнату дверь, а, скажем, в гараж. Или, может быть, в ангар. Называется эта зверюга – тахорг, и добывают ее на планете Пандора. А Корней мимо нее рассеянно этак прошел, как будто это черепаха какая-нибудь или, например, лягушка. А голова ведь – с два вагона хороших, в пасти всю нашу школу разместить можно. Это какое же должно быть тулово при такой голове! И каково его добывать было! Из ракетомета, наверное...

Ну, чего там еще было? Ну, там всякие птицы, насекомые громадные... Нога мне запомнилась. Стоит посередине зала нога. Тоже залита в этот прозрачный материал. Ну, страшная нога, конечно. Выше меня ростом, узловатая, как старое дерево, когти – восемь штук, такие у дракона Гугу изображают, каждый коготь как сабля... Ладно. Замечательно что? Оказывается, кроме такой вот ноги или, скажем, хвоста, ни в одном музее ничего от этого зверя нет. Обитает он на планете Яйла, и сколько лет за ним ни охотятся, а целиком добыть так и не сумели. Пули его не берут, газы его не берут, из любой ловушки он уходит, мертвыми их вообще никогда не видали, а добывают вот так – по частям. У них, оказывается, поврежденные части запросто отваливаются, некоторое время еще как бы живут – скребутся там или дергаются, – ну, потом, конечно, замирают... Да, нога. Я перед этой ногой стоял с раззявленной пастью, что твой тахорг. Велик все-таки Создатель...

Ну, ходим мы вот так, ходим, Корней рассказывает, горячится, а мне уже все это малость надоело, и стал я снова думать о своем. Сначала об этой надписи в коридоре, как мне с ней быть и какие я из нее выводы должен сделать, а потом меня снова чего-то свернуло на Корнея. Почему это, думаю, он один живет? Богатый ведь человек, самостоятельный. Где у него жена, где дети? Вообще-то какая-то женщина у него есть. Первый раз я ее еще в госпитале видел, они там через весь зал перемигивались. А потом она и сюда к нему приходила. То есть как она приходила, я не видел,

но вот как он ее провожал, до самой нуль-кабины довел, – это у меня все на глазах было. Только у него с нею настоящего счастья нет. Он ей: «Я жду тебя каждый день, каждый час, всегда». А она ему: «Ненавижу, мол, каждый день, каждый час...» – или что-то в этом роде. Видали? А чего тогда приходила, спрашивается? Только расстроила человека до последней степени. Она в эту кабину – фр-р-р! – и как не было, а он стоит, бедняга, и на лице у него опять эта тоска с болью пополам, как тогда в госпитале, и я наконец вспомнил, у кого такие лица видел: у смертельно раненных, когда они кровью истекают... Нет, у него в личной жизни неудача, я уж на что посторонний человек – простым глазом вижу... Может, он потому и работает днем и ночью, чтобы отвлечься. И бзик этот зоологический у него из-за этого... Отпустит он меня когда-нибудь из этого подпола, или так и будем здесь всю жизнь ходить? Нет, не отпускает. Опять чего-то объяснять начал. Половину-то хоть мы осмотрели? Пожалуй, осмотрели...

Да-а, жило вот все это зверье, поживало за тыщи световых лет от этого места. Горя не знало, хотя имело, конечно, свои заботы и хлопоты. Пришли, сунули в мешок и – в этот музей. С научной целью. И мы вот тоже – живем, сражаемся, историю делаем, врагов ненавидим, себя не жалеем, а они смотрят на нас и уже готовят мешок. С научной целью. Или еще с какой-нибудь. Какая нам, в конце концов, разница? И может быть, стоять нам всем в таких вот подвалах, а они будут около нас руками размахивать и спорить: почему мы такие, и откуда взялись, и зачем. И до того мне вдруг родными сделались все эти зверюги... Ну, не родными, конечно, а как бы это сказать... Вот, говорят, во время наводнений или там, скажем, когда пожар в джунглях, хищники с травоядными спасаются плечо к плечу и становятся как бы даже друзьями, даже помогают друг другу, я слыхал. Вот и у меня такое же появилось чувство. И, как на грех, именно в этот момент я увидел скелет.

Стоит в уголку скромно, без особенной какой-нибудь подсветки, невелик росточком – пониже меня. Человек. Череп, руки, ноги. Что я, скелетов человеческих не видел? Ну, может, грудная клетка пошире, ручки такие маленькие, между пальчиками вроде бы перепонки, и ножки кривоватые. Все равно – человек.

Наверное, что-то с моим лицом тут сделалось, потому что Корней вдруг остановился, посмотрел пристально на меня, потом на скелет, потом опять на меня.

– Ты что? – спрашивает. – Не понимаешь что-нибудь?

Я молчу, уставился на этот скелет, а на Корнея стараюсь не глядеть. Я ведь как ждал чего-нибудь такого. А Корней говорит спокойно:

– Да-а, это тот самый знаменитый псевдохомо, тоже знаменитая загадка природы. Ты уже где-нибудь прочитал про него?

– Нет, – сказал я, а сам думаю: сейчас он мне все объяснит. Он очень хорошо мне все объяснит. Да вот стоит ли верить?

– Это удивительная история, – сказал Корней, – и в некотором роде трагическая. Понимаешь, эти существа должны были оказаться разумными. По всем законам, какие нам известны, должны. – Тут он развел руками. – Но – не оказались. Скелет – чепуха, я тебе потом фотографии покажу. Страшно! В прошлом веке научная группа на Магоре открыла этих псевдохомо. Долго пытались вступить с ними в контакт, наблюдали их в естественных условиях, исследовали и пришли к выводу, что это животные. Звучало это парадоксом, но факт есть факт: животные. Соответственно, с ними и обращались как с животными: держали в зверинце, при необходимости забивали, анатомировали, препарировали, брали скелеты и черепа для коллекций. Как-никак ситуация в научном смысле уникальная. Животное обязано быть человеком, но человеком не является. И вот еще несколько лет спустя на Магоре обнаруживают пустой город. Мощнейшая цивилизация. Совершенно не похожая ни на нашу земную, ни на вашу – невиданная, совершенно фантастической фактуры, но несомненная. Представляешь, какой это был ужас? Из первооткрывателей один сошел с ума, другой застрелился... И только еще через двадцать лет нашли! Оказалось: да, есть на планете разум. Но совершенно нечеловеческий. До такой степени не похож ни на нас, ни на вас, ни, скажем, на леонидян, что наука просто не могла даже предположить возможность такого феномена... Да... Это была трагедия. – Он вдруг как-то поскучнел и пошел из зала, словно забыв обо мне, но на пороге остановился и сказал, глядя на скелет в углу: – А сейчас есть гипотеза, что это вот – искусственные существа. Понимаешь, магоряне их создали сами, смоделировали, что ли. Но для чего? Мы ведь так и не сумели найти с магорянами общего языка... – Тут он посмотрел на меня, хлопнул по плечу и сказал: – Вот так-то, брат-храбрец. А ты говоришь – космозоология...

Не знаю уж, правду он мне рассказал или выдумал все, чтобы мозги мне окончательно замутить, но только охота размахивать руками и излагать мне про всякие загадки природы у него после этого пропала. Пошли мы из музея вон. Он молчит, я тоже, в душе у меня какой-то курятник нечищеный, и таким манером пришли мы к нему в кабинет. Он уселся в свое кресло перед экранами, вынул из воздуха бокал со своей любимой шипучкой, стал тянуть через соломинку, а сам смотрит как бы сквозь меня. В кабинете у него, кроме этих экранов и ненормального количества книг, ничего, в

общем-то, и нет. Даже стола у него нет, до сих пор не могу понять, что он делает, когда ему какую-нибудь бумагу надо, скажем, подписать. И нет у него в кабинете ни картин, ни фотографий, ни украшений каких-нибудь. А ведь он богатый человек, мог бы себе позволить. Я бы на его месте, если, скажем, наличности не хватает, шкуру бы эту изумрудную загнал, слуг бы нанял, статуй бы везде расставил, ковры бы навесил – знай наших... Правда, что с него взять – холостяк. А может быть, ему и по должности не положено роскошествовать. Что я о его должности знаю? Ничего. То-то он музей в подвале держит...

– Слушай, Гаг, – говорит он вдруг, – а ведь тебе, наверное, скучно здесь, а?

Застал он меня этим вопросом врасплох. Кто его знает, как тут надо отвечать. Да и вообще – откуда я знаю, скучно мне здесь или нет? Тоскливо – это да. Неуютно – да. Места себе не нахожу – да. А скучно?.. Вот человеку в окопе под обстрелом – скучно? Ему, ребята, скучать некогда. И мне здесь скучать пока некогда.

– Никак нет, – говорю. – Я свое положение понимаю.

– Ну и как же ты его понимаешь?

– Всецело нахожусь в вашем распоряжении.

Он усмехнулся.

– В моем распоряжении... Ладно, не будем об этом. Я, как видишь, не могу уделять тебе все свое время. Да ты, по-моему, к этому и не стремишься особенно. Стараешься держаться от меня подальше...

– Никак нет, – возражаю я вежливо. – Никогда не забуду, что вы мой спаситель.

– Спаситель? Гм... До спасения еще далеко. А вот не хочешь ли ты познакомиться с одним интересным субъектом?

У меня сердце екнуло.

– Как прикажете, – говорю.

Он подумал.

– Пожалуй, прикажу, – сказал он, поднимаясь. – Пожалуй, это будет полезно.

И с этими непонятными словами подошел он к дальней стене, что-то там сделал, и стена раскрылась. Я глянул и попятился. Что стены у них здесь поминутно раскрываются и закрываются – к этому я уже привык, и это мне уже надоело. Но ведь я что думал? Думал, он меня с этим математиком хочет познакомить, а там – змеиное молоко! – стоит там, ребята, этакий долдон в два с половиной метра ростом, плечищи, ручищи, шеи нет совсем, а морда закрыта как бы забралом, частой такой матовой

решеткой, а по сторонам головищи торчат то ли фары, то ли уши. Я честно скажу: не будь я в мундире, я бы удрал без памяти. Честно. Я бы и в мундире удрал, да ноги отнялись. А тут этот долдон вдобавок еще произносит густым басом:

– Привет, Корней.

– Привет, Драмба, – говорит ему Корней. – Выходи.

Тот выходит. И опять – чего я ожидал? Что от его шагов весь дом затрясется. Чудище ведь, статуя! А он вышел, как по воздуху выплыл. Ни звука, ни шороха – только что стоял в нише, а теперь стоит посередине комнаты и эти свои уши-фары на меня навел. Я чувствую: за лопатками у меня стена, и отступать дальше некуда. А Корней смеется, бродяга, и говорит:

– Да ты не трусь, не трусь, Бойцовый Кот! Это же робот! Машина!

Спасибо, думаю. Легче мне стало оттого, что это машина, как же!

– Таких мы теперь больше не делаем, – говорит Корней, поглаживая долдона по локтю и сдувая с него какие-то там пылинки. – А вот мой отец с такими хаживал и на Яйлу, и на Пандору. Помнишь Пандору, Драмба?

– Я все помню, Корней, – басит долдон.

– Ну вот, познакомьтесь, – говорит Корней. – Это – Гаг, парень из преисподней. На Земле новичок, ничего здесь не знает. Переходишь в его распоряжение.

– Жду ваших приказаний, Гаг, – басит долдон и как бы в знак приветствия поднимает широченную свою ладонь под самый потолок.

В общем, все кончилось благополучно. А глубокой ночью, когда дом спал, я прокрался в тот самый коридор и под математическими формулами написал: «Кто ты, друг?»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда они вышли к заброшенной дороге, солнце уже поднялось высоко над степью. Роса высохла, жесткая короткая трава шуршала и похрустывала под ногами. Мириады кузнечиков звенели и кричали вокруг, острый горький запах поднимался от нагретой земли.

Дорога была странная. Совершенно прямая, она выходила из-за мутно-синего горизонта, рассекала круг земли напополам и уходила снова за мутно-синий горизонт, туда, где круглые сутки, днем и ночью, что-то очень далекое и большое невнятно вспыхивало, мерцало, двигалось, вспучивалось и опадало. Дорога была широкая, она матово отсвечивала на солнце, и полотно ее как бы лежало поверх степи массивной, в несколько сантиметров толщиной, закругленной на краях полосой какого-то плотного, но не твердого материала. Гаг ступил на нее и, удивляясь неожиданной упругости, несколько раз легонько подпрыгнул на месте. Это, конечно, не был бетон, но это не был и прогретый солнцем асфальт. Что-то вроде очень плотной резины. От этой резины шла прохлада, а не душный зной раскаленного покрытия. И на поверхности дороги не было видно никаких следов, даже пыли не было на ней. Гаг наклонился и провел рукой по гладкой, почти скользкой поверхности. Посмотрел на ладонь. Ладонь осталась чистой.

– Она сильно усохла за последние восемьдесят лет, – прогудел Драмба. – Когда я видел ее в последний раз, ее ширина была больше двадцати метров. И тогда она еще двигалась.

Гаг соскочил на землю.

– Двигалась? Как двигалась?

– Это была самодвижущаяся дорога. Тогда было много таких дорог. Они опоясывали весь Земной шар, и они текли – по краям медленнее, в центре очень быстро.

– У вас не было автомобилей? – спросил Гаг.

– Были. Я не могу вам сказать, почему люди увлеклись созданием таких дорог. Я имею только косвенную информацию. Это было связано с очищением среды. Самодвижущиеся дороги очищали. Они убирали из атмосферы, из воды, из земли все лишнее, все вредное.

– А почему она сейчас не движется? – спросил Гаг. – Ты не можешь ее включить?

– Нет. Дороги управлялись из специальных центров. Самый близкий

был довольно далеко отсюда. Но, наверное, этих центров больше нет. Стали не нужны. Я вижу, все очень изменилось. Раньше на этой дороге были толпы людей. Теперь никого нет. Раньше в этом небе в несколько горизонтов шли, шли, шли потоками летательные аппараты. Теперь в небе пусто. Раньше по обе стороны от дороги стояла пшеница в мой рост. Теперь это степь.

Гаг слушал, приоткрыв рот.

– Раньше через мои рецепторы, – продолжал Драмба монотонным голосом, – во всем диапазоне ежесекундно проходили сотни радиоимпульсов. Теперь я не ощущаю ничего, кроме атмосферных разрядов. Сначала мне показалось даже, что я заболел. Но теперь я знаю: я прежний. Изменился мир.

– Может быть, мир заболел? – спросил Гаг живо.

– Не понимаю, – сказал Драмба.

Гаг отвернулся и стал смотреть туда, где горизонт вспыхивал и шевелился. «Черта с два, – угрюмо подумал он. – Как же, заболеют они!»

– А там что? – спросил он.

– Там Антонов, – ответил Драмба. – Это город. Восемьдесят лет назад его не было видно отсюда. Это был сельскохозяйственный город.

– А сейчас?

– Не знаю. Я все время вызываю информаторий, но мне никто не отвечает. Изменились средства связи, Гаг. Все изменилось.

Гаг смотрел на загадочное мерцание, и вдруг из-за горизонта возникло что-то невероятно огромное, похожее на косой парус невообразимых размеров, почти такое же серо-голубое, как небо, может быть – чуть темнее, медленно и величественно описало дугу, словно стрелка часов прошла по циферблату, и снова скрылось, растворилось в туманной дымке. Гаг перевел дух.

– Видел? – спросил он шепотом.

– Видел, – сказал Драмба удрученно. – Не знаю, что это такое. Раньше такого не было.

Гаг зябко передернул плечами.

– Толку от тебя... – проворчал он. – Ладно, пошли домой.

– Вы хотели посетить ракетодром, – напомнил Драмба.

– Господин! – резко сказал Гаг.

– Не понимаю...

– Когда обращаешься ко мне, изволь добавлять «господин»!

– Понял, господин.

Некоторое время они шли молча. Кузнечики сухими брызгами

разлетались из-под ног. Гаг искоса поглядывал на бесшумного колосса, который плавно покачивался рядом с ним. Он вдруг заметил, что около Драмбы, совсем как давеча около дороги, держится своя атмосфера – свежести и прохлады. Да и сделан был Драмба из чего-то похожего: такой же плотно-упругий, и так же матово отсвечивали кисти его рук, торчащие из рукавов синего комбинезона. И еще Гаг заметил, что Драмба все время держится так, чтобы быть между ним и солнцем.

– Ну-ка расскажи еще раз про себя, – приказал Гаг.

Драмба повторил, что он – робот-андроид номер такой-то из экспериментальной серии экспедиционных роботов, сконструирован тогда-то (около ста лет назад – ничего себе старикашечка!), задействован тогда-то. Работал в таких-то экспедициях, на Яйле претерпел серьезную аварию, был частично разрушен; реконструирован и модернизирован тогда-то, но больше в экспедициях не участвовал...

– В прошлый раз ты говорил, что пять лет простоял в музее, – прервал его Гаг.

– Шесть лет, господин. В Музее истории открытий в Любеке.

– Ладно, – проворчал Гаг. – А потом восемьдесят лет ты торчал в этой нише у Корнея...

– Семьдесят девять, господин.

– Ладно-ладно, нечего меня поправлять... – Гаг помолчал. – Скучно, наверное, было стоять?

– Я не знаю, что такое «скучно», господин.

– Ну а что ты там делал?

– Стоял, ждал приказаний, господин.

– Приказаний... Но ты хоть рад сейчас, что тебя выпустили?

– Не понимаю вопроса, господин.

– Экая дубина... Впрочем, это никого не интересует. Ты мне лучше вот что скажи. Чем ты отличаешься от людей?

– Я всем отличаюсь от людей, господин. Химией, принципом системы управления и контроля, назначением.

– Ну и какое у тебя, у дубины, назначение?

– Выполнять все приказания, которые я способен выполнить.

– Хе!.. А у людей какое назначение?

– У людей нет назначения, господин.

– Долдон ты, парень! Деревня. Что бы ты понимал в настоящих людях?

– Не понимаю вопроса, господин.

– А я тебя ни о чем и не спрашиваю пока.

Драмба промолчал.

Они шагали через степь, все больше уклоняясь от прямой дороги к дому, потому что Гагу стало вдруг интересно посмотреть, что за сооружение торчит на небольшом холме справа. Солнце было уже высоко, над степью дрожал раскаленный воздух, душный острый запах травы и земли все усиливался.

– Значит, ты готов выполнить любое мое приказание? – спросил Гаг.

– Да, господин. Если это в моих силах.

– Ну, хорошо... А если я прикажу тебе одно, а... м-м-м... кто-нибудь еще – совсем противоположное? Тогда что?

– Не понял, кто отдает второе приказание.

– Ну... м-м-м... Да все равно кто.

– Это не все равно, господин.

– Ну, например, Корней...

– Я выполню приказ Корнея, господин.

Некоторое время Гаг молчал. «Ах ты, скотина, – думал он. – Дрянь этакая».

– А почему? – спросил он наконец.

– Корней старше, господин. Индекс социальной значимости у него гораздо выше.

– Что еще за индекс?

– На нем больше ответственности перед обществом.

– А ты откуда знаешь?

– Уровень информированности у него значительно выше.

– Ну и что же?

– Чем выше уровень информированности, тем больше ответственности.

«Ловко, – подумал Гаг. – Не придерешься. Все верно. Я здесь как дитя малое. Ну, мы еще посмотрим...»

– Да, Корней – великий человек, – сказал он. – Мне до него, конечно, далеко. Он все видит, все знает. Вот мы сейчас идем с тобой, болтаем, а он небось каждое наше слово слышит. Чуть что не так, он нам задаст...

Драмба молчал. Шут его знает, что происходило в его ушастой башке. Морды, можно сказать, нет, глаз нет – ничего не понять. И голос все время одинаковый...

– Правильно я говорю?

– Нет, господин.

– Как так – нет? По-твоему, Корней может чего-нибудь не знать?

– Да, господин. Он задает вопросы.

– Сейчас, что ли?
– Нет, господин. Сейчас у меня с ним нет связи.
– Что же он, по-твоему, не слышит, что ты сейчас говоришь? Или что я тебе говорю? Да он, если хочешь знать, даже наши мысли слышит! Не то что разговоры...
– Понял вас, господин.
Гаг посмотрел на Драмбу с ненавистью.
– Что ты понял, раздолбай?
– Понял, что Корней располагает аппаратурой для восприятия мыслей.
– Кто тебе сказал?
– Вы, господин.
Гаг остановился и плюнул в сердцах. Драмба тоже сейчас же остановился. Эх, садануть бы ему промеж ушей, да ведь не достанешь. Это надо же, какая дубина! Или притворяется? Спокойнее, Кот, спокойнее! Хладнокровие и выдержка.
– А до меня ты этого не знал, что ли?
– Нет, господин. Я ничего не знал о существовании такой аппаратуры.
– Так ты что же, дикобраз, хочешь сказать, что такой великий человек, как Корней, не видит нас сейчас и не слышит?
– Прошу уточнить: аппаратура для восприятия мыслей существует?
– Откуда я знаю? Да и не нужно аппаратуры! Ты ведь умеешь передавать изображение, звук...
– Да, господин.
– Передаешь?
– Нет, господин.
– Почему?
– Не имею приказа, господин.
– Хе... Приказа не имеешь, – проворчал Гаг. – Ну, чего встал? Пошли!
Некоторое время они шли молча. Потом Гаг сказал:
– Слушай, ты! Кто такой Корней?
– Не понимаю вопроса, господин.
– Ну... какая у него должность? Чем он занимается?
– Не знаю, господин.
Гаг снова остановился.
– То есть как это не знаешь?
– Не имею информации.
– Он же твой хозяин! Ты не знаешь, кто твой хозяин?
– Знаю.
– Кто?

– Корней.

Гаг стиснул зубы.

– Странно как-то у тебя получается, Драмба, дружок, – сказал он вкрадчиво. – Корней – твой хозяин, ты у него восемьдесят лет в доме и ничего о нем не знаешь?

– Не так, господин. Мой первый хозяин – Ян, отец Корнея. Ян передал меня Корнею. Это было тридцать лет назад, когда Ян удалился, а Корней выстроил дом на месте лагеря Яна. С тех пор Корней мой хозяин, но я с ним никогда не работал и потому не знаю, чем он занимается.

– Угу... – произнес Гаг и двинулся дальше. – Значит, ты про него вообще ничего не знаешь?

– Это не так. Я знаю про него очень много.

– Рассказывай, – потребовал Гаг.

– Корней Янович. Рост – сто девяносто два сантиметра, вес по косвенным данным – около девяноста килограммов, возраст по косвенным данным – около шестидесяти лет, индекс социальной значимости по косвенным данным – около ноль девять...

– Подожди, – ошеломленно сказал Гаг. – Заткнись на минутку. Ты о деле говори, что ты мне бубнишь!

– Не понял приказа, господин, – немедленно откликнулся Драмба.

– Н-ну... например, женат или нет, какое образование... дети... Понял?

– Сведений о жене Корнея не имею. Об образовании – тоже. – Робот сделал паузу. – Имею информацию о сыне: Андрей, около двадцати пяти лет.

– О жене ничего не знаешь, а о сыне, выходит, знаешь?

– Да, господин. Одиннадцать лет назад получил приказ перейти в распоряжение подростка, по косвенным сведениям четырнадцати лет, которого Корней называл «сын» и «Андрей». Находился в его распоряжении четыре часа.

– А потом?

– Не понял вопроса, господин.

– Потом ты его видел когда-нибудь?

– Нет, господин.

– Поня-атно, – задумчиво произнес Гаг. – Ну и чем вы с ним занимались эти четыре часа?

– Мы разговаривали. Андрей расспрашивал меня о Корнее.

Гаг споткнулся.

– Что ты ему сказал?

– Все, что знал: рост, вес. Потом он меня прервал. Потребовал, чтобы я

рассказал ему о работе Яна на других планетах.

Да-а. Такие, значит, дела. Ну, это нас не касается. Но какова дубина! Уж о доме его и спрашивать нечего, ясно, что ничего не знает. Все планы мои разрушил, бродяга... Зачем же все-таки Корней мне его подсунул? Неужели я ошибаюсь? Вот дьявол, как же мне его проверить? Мне ведь шагу нельзя будет ступить, если я его не проверю!

– Напоминаю, – подал голос Драмба, – что вы намеревались отправиться домой.

– Ну, намеревался. А в чем дело?

– Мы все больше уклоняемся от оптимального курса, господин.

– Тебя не спросили, – сказал Гаг. – Я хочу посмотреть, что это там за штука на холме...

– Это обелиск, господин. Памятник над братской могилой.

– Кому? – с живостью спросил Гаг.

– Героям последней войны. Сто лет назад археологи обнаружили в этом холме братскую могилу.

Посмотрим, подумал Гаг и ускорил шаг. Дерзкая и даже страшная мысль пришла ему в голову. Рискованно, подумал он. Ох, сорвут мне башку! А за что? Откуда мне знать, что к чему? Я здесь человек новый, ничего этого не понимаю и не знаю... Да и не выйдет, наверное, ничего. Но уж если выйдет... Если выйдет – тогда верняк. Ладно, попробуем.

Холм был невысокий, метров двадцать – двадцать пять, и еще на столько же возвышалась над ним гранитная плита, отполированная до глади с одной стороны и грубо стесанная со всех остальных. На полированной поверхности вырезана была надпись – старинными буквами, которых Гаг не знал. Гаг обошел обелиск и вернулся в тень. Сел.

– Рядовой Драмба! – сказал он негромко.

Робот повернул к нему ушастую голову.

– Когда я говорю «рядовой Драмба», – по-прежнему негромко произнес Гаг, – надо отвечать: «Слушаю, господин капрал».

– Понял, господин.

– Не господин, а господин капрал! – заорал Гаг и вскочил на ноги. – Господин капрал, понял? Корыто деревенское!

– Понял, господин капрал.

– Не понял, а так точно!

– Так точно, господин капрал!

Гаг подошел к нему вплотную, подбоченился и снизу вверх уставился в непроницаемую матовую решетку.

– Я из тебя сделаю солдата, дружок, – произнес он ласково-зловещим

голосом. – Как стоишь, бродяга? Смир-рна!

– Не понял, господин капрал, – монотонно прогудел Драмба.

– По команде «смирно» надлежит сомкнуть пятки и развернуть носки, выпятив грудь как можно дальше вперед, прижав ладони к бедрам и оттопырив локти... Вот так. Неплохо... Рядовой Драмба, вольно! По команде «вольно» надлежит отставить ногу и заложить руки за спину. Так. Уши твои мне не нравятся. Уши можешь опустить?

– Не понял, господин капрал.

– Вот эти штуки свои, которые торчат, можешь опустить по команде «вольно»?

– Так точно, господин капрал. Могу. Но буду хуже видеть.

– Ничего, потерпишь... А ну-ка, попробуем... Рядовой Драмба, смирно! Вольно! Смирно! Вольно!..

Гаг вернулся в тень обелиска и сел. Да, таких бы солдат хотя бы взвод. На лету схватывает. Он представил себе взвод таких вот драмб на позиции у той деревушки. Облизнул сухие губы. Да, такого дьявола, наверное, ракетой не прошибешь. Я только вот чего все-таки не понимаю: думает этот долдон или нет?

– Рядовой Драмба! – гаркнул он.

– Слушаю, господин капрал.

– О чем думаешь, рядовой Драмба?

– Ожидаю приказания, господин капрал.

– Молодец! Вольно!

Гаг вытер пальцами капельки пота, выступившие на верхней губе, и сказал:

– Отныне ты есть солдат его высочества герцога Алайского. Я – твой командир. Все мои приказания для тебя закон. Никаких рассуждений, никаких вопросов, никакой болтовни! Ты обязан с восторгом думать о той минуте, когда наступит счастливый миг сложить голову во славу его высочества...

Болван, наверное, половины не понимает, ну да ладно. Важно вбить ему в башку основы. Дурь из него вышибить. А понимает он там или не понимает – дело десятое.

– Все, чему тебя учили раньше, забудь. Я твой учитель! Я твой отец и твоя мать. Только мои приказы должны выполняться, только мои слова могут быть для тебя приказом. Все, о чем я говорю с тобой, все, что я тебе приказываю, есть военная тайна. Что такое тайна – знаешь?

– Нет, господин капрал.

– Гм... Тайна – это то, о чем должны знать только я и ты. И его

высочество, разумеется.

Крутовато я взял, подумал он. Рано. Деревня ведь. Ну ладно, там видно будет. Надо его сейчас погонять. Пусть с него семь потов сойдет, с бродяги.

– Смир-рна! – скомандовал он. – Рядовой Драмба, тридцать кругов вокруг холма – бегом марш!

И рядовой Драмба побежал. Бежал он легко и как-то странно, не по уставу и вообще не по-людски – не бежал даже, а летел огромными скачками, надолго зависая в воздухе, и при этом по-прежнему держал ладони прижатыми к бедрам. Гаг, приоткрыв рот, следил за ним. Ну и ну! Это было похоже на сон. Совершенно бесшумный полубег-полулет, ни топота, ни хриплого дыхания, и не оступится ведь ни разу, а там же кочки, камни, норы... и ведь поставь ему на голову котелок с водой – не расплескает ни капли! Какой солдат! Нет, ребята, какой солдат!

– Быстрее! – гаркнул он. – Шевелись, тараканья немочь!

Драмба сменил аллюр. Гаг замигал: у Драмбы исчезли ноги. Вместо ног под совершенно вертикальным туловищем видно было теперь только туманное мерцание, как у пропеллера на больших оборотах. Земля не выдерживала, за гигантом потянулась, темнея и углубляясь на глазах, взрытая борозда, и появился звук – шелестящий свист рассекаемого воздуха и дробный шорох оседающей земли. Гаг еле успевал поворачивать голову. И вдруг все кончилось. Драмба снова стоял перед ним по стойке «смирно» – неподвижный, огромный, дышащий прохладой. Будто и не бежал вовсе.

Да-а, подумал Гаг. С такого, пожалуй, сгонишь пот... Но в разум-то я его привел или нет? Ладно, рискнем. Он посмотрел на обелиск. Гадко это, вот что. Солдаты ведь лежат... Герои. За что они там дрались, с кем дрались – этого я толком не понял, но как они дрались – я видел. Дай бог нам всем так драться в наш последний час. Ох, не зря Корней показал мне эти фильмы. Ох, не зря... В душе у Гага шевельнулся суеверный ужас. Неужели этот лукавый Корней еще тогда предвидел такую вот мою минуту? Да нет, ерунда, ничего он не мог предвидеть, не господь же он бог все-таки... Просто хотел тоненько мне намекнуть, с чьими потомками я имею дело... А они здесь лежат. Сколько веков уже они здесь лежат, и никто их не тревожил. Будь они живы – не допустили бы, шуганули бы меня отсюда... Ну ладно, а если бы это были крысоеды? Нет, пожалуй, все равно гадко... И потом, что за ерунда: крысоеды – трусы, вонючки. А это же солдаты были, я же своими глазами видел! Тьфу, пропасть, даже тошнит... А если бы здесь Гепард стоял рядом? Доложил бы я ему свое решение – что

бы он мне сказал? Не знаю. Знаю только, что его бы тоже замутило. Тут бы всякого замутило, если он, конечно, человек, а не мешок с навозом. Да только мало ли от чего солдата мутит? Кишки с шоссе соскребать – тоже мутило... Нет, Кот, кишки – это другое дело. Здесь – символ! Честь!

Он посмотрел на Драмбу. Драмба стоял по стойке «смирно», равнодушно поводя глазами-ушами. А что мне остается-то? Мыслишка-то правильная! Гаденькая – не спорю. Скользкая. Другому и в другое время я бы за такую мыслишку сам по рылу бы дал. А мне деваться некуда. Мне такой случай, может, никогда больше не представится. Сразу все проверю. И этого дурака проверю, и насчет наблюдения... Тут в том-то все и дело, что гадко. Тут бы никто не удержался, сразу бы за руку меня схватил, если бы мог. Ладно, хватит слюни распускать. Я это не для собственного удовольствия затеваю. Я не паразит какой-нибудь. Я – солдат и делаю свое солдатское дело как умею. Простите меня, братья-храбрецы. Если можете.

– Рядовой Драмба! – произнес он дребезжащим голосом.

– Слушаю, господин капрал.

– Приказ! Повалить этот камень! Выполняй!

Он отскочил в сторону, не чуя под собой ног. Если бы здесь был окоп, он прыгнул бы в окоп.

– Живо! – завизжал он, срывая голос.

Когда он разжмурился, Драмба уже стоял, наклонившись, перед обелиском. Огромные руки-лопаты скользнули по граниту и погрузились в пересохшую землю. Гигантские плечи зашевелились. Это длилось секунду. Робот замер, и Гаг вдруг с ужасом увидел, что его могучие ноги как бы оплывают, укорачиваются на глазах, превращаясь в короткие, толстые, расплющенные внизу тумбы. А потом холм дрогнул. Послышался пронзительный скрип, и обелиск едва заметно накренился. И тогда Гаг не выдержал.

– Стой! – заорал он. – Отставить!

Он кричал еще что-то, уже не слыша самого себя, ругаясь по-русски и по-алайски, никакой нужды не было в этом крике, и он уже понимал это и все-таки кричал, а Драмба стоял перед ним по стойке «смирно», монотонно повторяя: «Слушаю, господин капрал, слушаю, господин капрал...»

Потом он опомнился. Саднило в глотке, все тело болело. Спотыкаясь, он обошел обелиск кругом, трогая гранит дрожащими пальцами. Все было как прежде, только у основания, под непонятной надписью, зияли две глубокие дыры, и он принялся судорожно забивать в них землю каблуками.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Всю ночь я не мог заснуть. Крутился, вертелся, курил, в сад высовывался для прохлаждения. Нервы, видимо, разгулялись после всего. Драмба торчал в углу и светился в темноте. В конце концов я его выгнал – просто так, чтобы злость сорвать. В голову лезла всякая чушь, картинки всякие, не относящиеся к делу. А тут еще эта койка подлая – я ее засек, что она норовит все время превратиться в этакое мягкое ложе, на каких здесь все, наверное, спят, да еще, подлюга, посягает меня укачивать. Как младенца.

Вообще-то не в том беда, что я заснуть не мог, – я по трое суток могу не спать, и ничего со мной не делается. А главное, что я думать не мог по-человечески. Ничего не соображал. Добился я вчера своего или не добился? Могу я Драмбе теперь доверять или нет? Не знаю. Следит за мной Корней или нет? Опять же не знаю. Вчера после ужина заглянул я к нему в кабинет. Сидит он перед своими экранами, на каждом экране – по рылу, а то и по два, и он со всеми этими рылами разговаривает. Меня как ножом ткнули. Представил я себе, как бешусь там на холме, истерику закатываю, а он сидит себе здесь в прохладе, смотрит на все это через экран и хихикает. Да еще, может быть, Драмбе радирует: валяй, мол, разрешаю... Нет, про себя я точно знаю, что я бы так не мог. Чтобы на моих глазах оскверняли святыню моего народа, а я бы при этом хихикал и на экранчик смотрел – нет, у меня бы так не получилось. Я вам не крысоед.

Но ведь и Корней вроде бы не крысоед! Я всяких крысоедов насмотрелся, и алайских наших, и имперских, а такого видеть не приходилось. А с другой стороны, что я о нем знаю? Мягко стелет, сладко кормит... больше ведь ничего. А если у него такое задание, сказано ему: любой, мол, ценой... Не знаю, не знаю. Давеча, когда я вернулся, он меня сначала встретил как всегда, потом присмотрелся, насторожился и принялся расспрашивать, что да как. Отец родной, да и только. Я ему опять соврал, что башка болит. От степных запахов. Но он, по-моему, мне не поверил. Виду не подал, конечно, но не поверил. А я весь вечер за ним следил: будет он Драмбу допрашивать или нет. Нет, не допрашивал. Даже не поглядел на него... Ох, ребята, бедная моя голова! Хоть ложись на спинку, и пусть несет, куда несет.

Так промаялся я до самого рассвета. Ложился, вскакивал, кружил по комнате, опять ложился, в окно высовывался, башку в сад свешивал, и в

конце концов меня, видно, сморило – задремал я, положив ухо на подоконник. Проснулся весь в поту и сразу услышал это самое хриплое мяуканье – мррряу-мрряу-мрряу, – словно самого дьявола ангелы небесные душат голыми руками в преисподней, и мне в лицо из сада фукнуло горячим, как бы шипучим ветром. Я еще глаз как следует не разлепил, а уже сижу на полу, рукой шарю автомат и высматриваю поверх подоконника, как из-за бруствера. И в этот раз я все увидел, как это у них делается, с самого начала и до самого конца.

Над моей круглой поляной, правей бассейна, загорелась в сумерках яркая точка, и потек от нее вниз и в стороны словно бы жидкий лиловый свет, еще прозрачный, еще кусты сквозь него видно, а он все течет, течет и вот уже заполнил здоровенный такой конус вроде химической банки в четыре метра высотой, заполнил и тут же стал отвердевать, остывать, меркнуть, и вот уже стоит на поляне ихний звездолет класса «призрак», каким я его увидел в первый раз. И тишина. Первобытная. Даже птицы замолчали. Над поляной – рассветное серо-голубое небо, вокруг поляны – черные кусты и деревья, а посередине поляны – это серебристое чудище, и никак я не могу понять, то ли оно живое, то ли оно вещь.

Потом что-то слабо треснуло, раскрылась в нем черная пасть, звякнуло, зашипело, и выбрался оттуда человек. То есть это я сначала подумал, что человек: руки у него были, ноги. Голова. Весь он был какой-то черноватый, что ли... либо закоптило его, либо обгорел... и весь он был обвешан оружием. Я такого оружия, ребята, никогда не видывал, но с первого взгляда мне ясно стало, что это именно оружие. Оно свисало у него с обоих плеч и с пояса и лязгало и брякало на каждом шагу. По сторонам он не глядел, а двинулся прямо к крыльцу, как в собственный дом, и шагал как-то странно, но я не сразу понял, в чем тут дело, потому что глаз не мог оторвать от его лица. Оно у него тоже было черноватое, обгорелое, блестело и отсвечивало, и вдруг он поднял обе руки и принялся его с себя сдирать, как маску, – да это, видно, и была маска, потому что он в две секунды с нею управился и с размаху шмякнул ее оземь. И тут меня прошибло потом в другой раз, потому что под этим черноватым, обгорелым, липким и лакированным у него оказалось второе лицо, уже не человеческое – белое, как камень, безносое, безгубое, а глаза – как плошки и светятся. Я на это лицо только взглянул и сразу понял: не могу. Стал глядеть ему на ноги – еще хуже. У него ведь почему такая странная походка была? Он по этой густой траве, по твердой земле шел, как мы с вами шли бы по зыбучему песку или, скажем, по трясине – на каждом шагу проваливался по щиколотку, а то и глубже. Не держала его земля,

подавалась...

У крыльца он приостановился на секунду и разом стряхнул с себя всю свою амуницию. Залязгала она, загрохотала, а он шагнул в дверь – и снова тишина. И пусто. Как в бреду. И звездолета уже нет, словно и не было никогда. Только черные дыры от поляны до дома да груда невиданного оружия у крыльца. Все.

Очень мне захотелось протереть глаза, ущипнуть себя за ляжку и все такое, но я этого делать не стал. Я ведь Бойцовый Кот, ребята. Я весь этот бред от себя отмел. Не впервой. Я только главное оставил: оружие! Впервые я здесь увидел оружие. Я даже одеваться не стал – как был, в одних трусах, махнул через подоконник со второго этажа.

Роса была обильная, ноги мои моментально стали мокрые выше колен, и продрал меня озноб – то ли от этой сырости, то ли, опять же, от нервов. Около крыльца я присел на корточки и прислушался. Тихо, по-нормальному тихо, по-утреннему. Птички завозились, сверчок какой-то заскрипел. Мне до этого дела не было, я ждал голоса услышать. Нет, не слышно голосов. В этом доме ведь всегда так: не должно быть голосов – галдят, бормочут, переругиваются, причем кто – неизвестно, потому что Корнея в доме нет, шляется где-то, беса тешит. А вот когда, как сейчас, должны люди – или даже пусть не совсем люди, – но должны же они здороваться, друг друга по спинам хлопать, восклицать что-нибудь приветственное! Нет, тут у них будет тишина. Могила. Ладно.

И вот сижу я на корточках и смотрю на эти штучки, которые передо мной лежат, даже на вид тяжеленные, гладкие, масленые, надежные. Никогда я таких не видел ни на картинках, ни в кино. Большой, видно, убойной силы аппараты, да вот беда, непонятно, с какой стороны к ним подступиться, за какое место их брать и на что в них нажимать. И даже прикасаться к ним как-то боязно: того и гляди – ахнет, костей не соберешь.

В общем, я растерялся, и это было плохо, потому что на самом-то деле мне следовало бы сразу ухватить что-нибудь и рвать когти. Ну, Гаг, давай! Давай быстро! Вот эту коротышку: ствол есть, вместо дула, правда, стекляшка какая-то, зато и рукоятка вроде бы есть, два плоских магазина по сторонам ствола торчат... Все. Нет у меня больше времени. Потом разберусь. Протянул я руку и осторожно взялся за рукоятку. И тут произошла со мной странная вещь.

Взялся я, значит, за рукоятку. Рубчатая такая, теплая. Пальцы сомкнул. Тяну на себя. Осторожно, чтобы не брякнуло. Тяжесть даже почувствовал. А в кулаке – ничего. Сижу, как пьяный, гляжу на пустой кулак, а машинка эта как лежала на ступеньке, так и лежит. Я сгоряча ее хвать поперек – и

опять под пальцами металл, твердое, тяжелое. Рванул на себя – опять ничего.

И захотелось мне тут заорать во весь голос. Еле сдержался. Посмотрел на ладонь – ладонь в масле. Вытер ее о траву, поднялся. Разочарование, конечно, страшное. Все у них учтено, все рассчитано и предусмотрено, у гадов. Перешагнул я через эту груду бесполезного для меня железа и пошел в дом. Вижу: в холле, в углу, торчит Драмба. Зашевелил своими ушами, уставился, а мне на него и смотреть было противно. И уже хотел я подняться к себе, как вдруг подумал: а что, если... В конце концов, не все ли равно, у кого в руках будет машинка, у меня или у этого долдона?

– Рядовой Драмба, – сказал я негромко.

– Слушаю, господин капрал, – отозвался он как положено.

– А ну-ка, иди за мной.

Вышли мы обратно на крыльцо. Оружие лежит, никуда не делось.

– Подай мне вот эту, крайнюю, – говорю. – Только осторожно.

– Не понял, господин капрал, – гудит эта дубина.

– Чего ты не понял?

– Не понял, что именно приказано подать.

Провались ты! Мне-то откуда знать, как это называется?

– Как называются эти предметы? – спрашиваю.

Драмба заработал ушами и рапортует:

– Трава, господин капрал. Ступени...

– А на ступенях? – спрашиваю я и чувствую, что меня мороз по коже начинает продирать.

– На ступенях пыль, господин капрал.

– А еще?

Впервые Драмба промедлил с ответом. Долго молчал. У него, видно, тоже шестеренка за шестеренку зашла, как и у меня.

– Еще на ступеньках имеются: господин капрал, рядовой Драмба, четыре муравья... – Он снова помедлил. – А также всевозможные микроорганизмы.

Он их не видел! Понимаете? Не видел! Микроорганизмы он видел, а железяки эти метровой длины видеть ему было не положено. Ему их видеть не положено, а мне – брать. Все, все предусмотрели! И тут я с досады, не сообразив, маханул босой ногой по самой здоровенной железяке, что на крыльце валялась. Взвыл я, палец отшиб начисто, ноготь сломал. А железяка как лежала, так и осталась лежать. Все. Это уже было последней каплей. Захромал я к себе, зубами скриплю, чуть не плачу, кулаки стиснул. Пришел, повалился на койку, и взяло меня отчаяние, какого не испытывал я

аж с того дня, когда пришел на побывку домой и увидел, что не то что дома моего – всего квартала нет, одни горелые кирпичи громоздятся и душит гарью. Почудилось мне в эти черные минуты, что никуда я не годен, ничего я не могу здесь сделать, в этом сытом и лукавом мире, где каждый мой шаг рассчитан и предусмотрен на сто лет вперед. И вполне может быть, что каждое мое действие, какое я еще только собираюсь совершить, они уже знают, как пресечь и обратить себе на пользу.

И чтобы разогнать мрак, я стал вспоминать самое светлое, самое счастливое, что было в моей жизни, и вспомнил тот морозный ясный день, столбы дыма, которые поднимались в зеленое небо, и треск пламени, пожирающего развалины, серый от сажи снег на площади, окоченевшие трупы, изуродованный ракетомет в огромной воронке... а герцог идет вдоль нашей шеренги, мы еще не успели остыть, глаза еще заливает пот, ствол автомата обжигает пальцы, а он идет, тяжело опираясь на руку адъютанта, и снег скрипит под его мягкими красными сапожками, и каждому из нас он внимательно заглядывает в глаза и говорит негромко слова благодарности и одобрения. А потом он остановился. Прямо передо мной. И Гепард, которого я не видел, – я никого не видел, кроме герцога, – назвал мое имя, и герцог положил мне руку на плечо и некоторое время смотрел мне прямо в глаза, и лицо у него было желтое от усталости, иссеченное глубокими морщинами, а вовсе не гладкое, как на портретах, веки красные и воспаленные, и мерно двигалась тяжелая, плохо выбритая челюсть. И все еще держа свою правую руку у меня на плече, он поднял левую и щелкнул пальцами, и адъютант поспешно вложил в эти пальцы черный кубик, а я все еще не верил своему счастью, не мог поверить, но герцог произнес низким хриплым голосом: «Открой пасть, Котенок...» – и я зажмурился и открыл рот изо всех сил, почувствовал на языке шершавое и сухое и стал жевать. Волосы встали дыбом у меня под каской, из глаз покатились слезы. Это был личный его высочества жевательный табак пополам с известью и сушеной горчицей, а герцог хлопал меня по плечу и говорил растроганно: «О эти сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!..»

И тут я поймал вдруг себя на том, что улыбаюсь во всю морду. Не-ет, господа, еще не все кончено. Верные, непобедимые сопляки не подведут. Не подводили там, не подведут и здесь. Повернулся я на бок и заснул, чем и кончилось это мое приключение.

Это кончилось, зато другие начались, потому что тихий наш домик вдруг зашевелился. Раньше было как? Позавтракаем мы с Корнеем, потреплемся минут двадцать о том о сем, и все, до самого обеда я один. Хочешь – спи, хочешь – книжки читай, хочешь – голоса в доме слушай. А

тут – не знаю, то ли кто-то этот ихний гадючник разворошил, то ли у них передышка какая кончилась, но только стало в нашем домике тесно.

А началось все с того, что отправился я в тот коридор посмотреть, как там моя переписка. Честно говоря, ничего нового я увидеть не ожидал, однако смотрю – хо! – отозвался мой математик. Прямо под моим вопросом теми же аккуратными меленькими буковками было выведено: «Твои друзья в аду». Вот тебе и на! Что же это получается? «Кто ты, друг?» – «Твои друзья в аду». Значит, их тут несколько... Почему же не пишут, кто они? Боятся? И почему в аду? Нормальному человеку тут, конечно, несладко приходится, но – в аду... Я посмотрел на эту крашеную дверь. Может быть, там тюрьма? Или что-нибудь похуже? Что же вы, ребята, толком ничего не сумели написать? Не-ет, этот коридорчик надо взять под наблюдение. Но это потом, а что мне сейчас написать? Чтобы они сразу все про меня поняли... Ч-черт, математики этой я не знаю. Может быть, у них в этой формуле все зашифровано. Напишу-ка я им, кто я есть, чтобы они знали, с кем имеют дело и на что я годен. Напишу я им... Я достал припасенный огрызок карандаша и нацарапал печатными буквами: «Бойцовый Кот нигде не пропадет». Очень мне понравилось, как я это придумал. Любому ясно, что я – Кот, что я бодр и готов к действию. Парашютистов этих я в гробу видал, ничего они мне здесь не сделают. А если это ловушка и затеял эту переписку Корней – что ж, пожалуйста, ничего такого я не написал.

Ладно. За коридорчиком этим мы понаблюдаем. А сейчас пришла пора посмотреть, что же у них за этой дверью. Недолго думая, взялся я за ручку и потянул ее на себя. Открылась. Я думал – там комната какая-нибудь будет, или коридор, или лестница... ну что у людей за дверями бывает? Так вот, там ничего этого не было. Камера там была. Три на три. Стены черные, матовые. В стене напротив торчит круглая красная кнопка. И все. Ничего больше в этой камере не было. Я когда эту камеру увидел, мне сразу расхотелось в нее заходить. Да ну их, думаю, к шутам, чего я в этом склепе не видел? Кнопок красных я не видел, что ли?

Стою я в нерешительности и вдруг слышу сзади – голоса. Близко. Можно сказать, рядом. Ну, думаю, кажется, влип. Захлопнул дверь, зубы стиснул, оборачиваюсь. Переднему по горлу и – в сад, думаю, а там ищи меня, свищи...

Но оказалось, что это не парашютисты. Выворачивает в коридор из-за угла какой-то человек с тележкой, с этакой платформой на колесиках. Я засунул руки в карманы и этакой ленивой походочкой двинулся навстречу. Коридор широкий, разминемся спокойно. А он уже близко со своей тележкой. Глянул на него – змеиное молоко! – черный! Мне сперва даже

показалось, что у него вообще головы нет, потом, конечно, присмотрелся и вижу: есть голова. Но черная. То есть вся черная! Не только волосы, но и щеки, уши, лоб, а губы красные, толстые, белки глаз так и сверкают, и зубы тоже. Это с какой же планеты его занесло сюда такого? Я прижался к стене, уступая дорогу изо всех сил, – проходи, мол, не задерживайся, только не трогай... Не тут-то было. Конечно же, он вместе со своей тележкой останавливается около меня, ослепляет меня своими белками и зубами и хриплым нутряным голосом произносит:

– По-моему, это типичный алаец...

Я сглотнул, киваю.

– Так точно, – говорю. – Алаец я.

И он начинает говорить со мной по-алайски, но уже не хриплым басом, а приятным таким, нормальным голосом – тенором или, я не знаю там, баритоном.

– Ты, – говорит, – наверное, Гаг. Бойцовый Кот.

– Так точно, – говорю.

– Ты, – спрашивает, – из Центра сейчас?

Ну что я ему отвечу?

– Н-никак нет, – говорю. – Я сам по себе...

Я уже разглядел его и вижу, что человек как человек. Ну, черный... Ну и что? У нас на островах голубые живут, и никто им в нос не тычет. Одет нормально, как все здесь одеваются, – рубашка навыпуск, короткие штаны. Только черный. Весь.

– Ты, может быть, Корнея ищешь? – спрашивает он.

Участливо так спрашивает. Совсем как Корней.

– Вид у тебя какой-то взъерошенный, – говорит.

– Да нет, – отвечаю я с досадой. – Это я вспотел просто. Жарко тут у вас...

– А-а... Так ты бы мундир свой снял, что ты в нем преешь... А Корнея ты пока лучше не ищи, Корней сейчас занят до предела...

Чисто так говорит по-алайски, между прочим, грамотно, и выговор у него такой столичный, с придыханием. Стильно говорит. Ну, объясняет он мне что-то про Корнея, где сейчас Корней и чем он занимается, а я все поглядываю на его тележку и, честно вам скажу, ребята, ничего уже не слышу, что он там мне говорит.

Значит, так. Ну, тележка – она тележка и есть, не в тележке дело. А вот на этой тележке лежит у него громадный, вроде бы кожаный мешок. Кожаный и снаружи как бы маслом облитый, коричневый такой, вроде как куртка бронеходчика. Сверху он, значит, гладкий, без единой морщинки, а

внизу весь какой-то смятый, весь в бороздах и складках. И вот там, в этих самых бороздах и складках, я еще в самом начале заприметил какое-то движение. Сначала думал – показалось. Потом... В общем, там был глаз. Оторвите мне руки-ноги – глаз! Какая-то складка там раздвинулась тихонько, и глянул на меня большой круглый темный глаз. Печальный такой и внимательный. Нет, ребята, зря я в этот коридор сегодня пошел. Оно, конечно, Бойцовый Кот есть боевая единица сама в себе и так далее, но все-таки о таких встречах в уставе ничего не говорится...

Стою я, держусь за стенку и знай себе долблю: «Так точно... Так точно...» А сам думаю: увези ты это от меня, в самом деле, ну чего ты здесь встал? И понял мой черный, понял, что мне надобно передохнуть. Говорит хриплым басом:

– Привыкай, алаец, привыкай... Пойдемте, Джонатан!

А потом по-алайски нормальным голосом:

– Ну, будь здоров, брат-храбрец... Эк тебя скрутило. Да не трусь ты, не трусь, Бойцовый Кот! Это ведь не джунгли...

– Так точно, – сказал я в сто сорок восьмой раз.

Блеснул он своими белками и зубами на прощанье и двинулся с тележкой дальше по коридору. Поглядел я ему вслед – змеиное молоко! – тележка-то катится сама по себе, а он рядом с ней вышагивает сам по себе, совсем отдельно, и уже раздаются опять голоса: один, значит, хриплый бас, а другой – нормальный, но говорят они уже оба на каком-то неизвестном языке. И на лопатках у этого черного надпись полукругом: ГИГАНДА. Хороша встреча, а? Еще одна такая встреча, и я в собственные сапоги прятаться начну. «Привыкай, алаец, привыкай». Не знаю, может быть, я когда-нибудь и привыкну, но в ближайшие полста лет вы меня в этот коридор пряником не заманите... Досмотрел я, как они в этот склеп втиснулись, захлопнули за собой дверь, да и пошел от этого поганого места. Держась за стену.

С этого самого дня стало у нас в домике тесновато. Валят валом. Через нуль-кабину прибывают по двое, по трое. По ночам и особенно под утро от «призраков» в саду сплошной мяв стоит. Некоторые вываливаются прямо из чистого неба – один в бассейн угодил, когда я утром купался, тоже устроил мне переживание. И все они к Корнею, и все они галдят на разных языках, и у всех у них дела, и у всех срочные. В холл выйдешь – галдят. В столовую придешь пищу принять – сидят по двое, по трое, кушают и опять же галдят, причем одни поели – другие откуда-то приходят... Я на это просто смотреть не мог: сколько они хозяйского добра даром переводят, хоть бы с собой приносили, что ли... Неужели не понимают, что на всех не

напасешься? Совести у людей нет, вот что я вам скажу. Правда, надо им все-таки отдать справедливость. Все-таки мешков среди них с глазами я больше не заметил. Были среди них, конечно, довольно жуткие экземпляры, но чтобы совсем уж мешок – нет, таких больше не было. И на том спасибо. Я день терпел, два терпел, а потом от этого нашествия, честно скажу, ребята, просто сбежал. Возьмешь с утра Драмбу – и на пруды километров за пятнадцать от этого постоялого двора. Я там пруды нашел, роскошное место, камыши, прохлада, уток видимо-невидимо...

Конечно, может быть, я поступил неправильно, смалодушничал. Наверное, я должен был там среди них ториться, подслушивать там, подсматривать, мотать на ус. Но ведь, ребята, я же старался. Сядешь где-нибудь в уголке в гостиной, рот раскроешь, уши развесишь – ни черта не понять. Галдят на непонятных языках, чертят какие-то кривые, мотают друг у друга перед носом какие-то рулоны голубой бумаги со значками, один раз даже карту империи вывесили, битый час по ней пальцами ползали... уж, казалось бы, чего проще – карта, а так я и не понял, чего они друг от друга добивались, чего не поделили... Одно я, ребята, понял: что-то у нас там происходит или вот-вот должно произойти. Потому весь этот гадючник и зашевелился.

Короче говоря, решил я предоставить инициативу противнику. Разобраться в обстановке я не умею, помешать им никак не могу, и остается мне рассуждать примерно так: раз они меня здесь держат – значит я им зачем-то нужен, а раз я им нужен, то что бы они там ни затевали, а рано или поздно ко мне обратятся. Вот тогда мы и посмотрим, как действовать. А пока будем на пруды ходить, Драмбу муштровать и ждать – может, что-нибудь подвернется.

И, между прочим, подвернулось.

Как-то раз иду я на завтрак. Смотрю – за столом Корней. И притом один. Я последние дни Корнея редко видел, да и то вокруг него всегда народ толокся. А тут сидит один, молоко пьет. Ну, поприветствовал я его, сажусь напротив. И странно мне как-то стало – соскучился я по нему, что ли? Тут все дело, наверное, было в его лице. Хорошее у него все-таки лицо. Есть в нем что-то очень мужественное и в то же время, наоборот, детское, что ли? В общем, лицо человека безо всяких тайных умыслов. Такому и не хочется верить, а веришь. Разговариваем мы с ним, а я все время себе напоминаю: осторожно, Кот, другом он тебе быть никак не может, не с чего ему быть твоим другом, а раз он не друг – значит, враг... И тут он вдруг говорит ни с того ни с сего:

– А почему ты, Гаг, мне вопросов не задаешь никогда?

Вот тебе и на – вопросов я ему не задаю. А где мне ему вопросы задавать, когда я целыми днями его не вижу? И что-то мне так горько стало и ужасно захотелось сказать ему прямо: «А чтобы вранья поменьше слушать, друг лукавый». Но я, конечно, этого не сказал. Пробормотал только:

– Почему же не задаю? Задаю...

– Понимаешь, – говорит он, и тон у него такой, будто он передо мной извиняется, – я ведь не могу тебе длинные лекции читать. Во-первых, у меня времени на это нет, сам видишь. И хотел бы с тобой побольше времени проводить, да не могу. А во-вторых, лекции – это, по-моему, скучища. Какой интерес выслушивать ответы на вопросы, которых ты не задавал? Или ты, может, иначе считаешь?

Я растерялся, замычал что-то самому мне непонятное, и тут вваливаются в столовую двое, а за ними еще и третий. Сияют все трое, как начищенные медные чайники. И будто все втроем несут крошечную круглую коробочку и с этой коробочкой – прямиком к Корнею.

– Она? – говорит Корней, поднимаясь им навстречу.

– Она, – отвечают они чуть ли не хором и тут же замолкают.

Я давно заметил, что при Корнее они не галдят. При Корнее они держатся как положено. Корней, видно, шутить не любит.

Да. Уплетаю я какую-то вроде бы рыбу, запиваю горячим пойлом, а Корней эту коробочку берет двумя пальцами, открывает ее осторожно и вытягивает из нее узкую красную ленту. Эти трое дышать перестали. В столовой тишина, и слышно только, как галдят в гостиной. Корней эту красную ленточку рассмотрел внимательно – просто так и на свет, – а потом сказал негромко:

– Молодцы. Размножьте и раздайте.

И пошел из столовой. Только у самой двери спохватился, повернулся ко мне и сказал:

– Извини, Гаг. Ничего не могу поделать.

Я только плечом дернул – мне-то что... пожалуйста! Ну, из этих троих двое поскакали за Корнеем, а третий остался и стал аккуратно укладывать эту красную ленточку обратно в коробочку. Я сижу злой, не люблю пищу принимать при посторонних. Но он на меня вроде бы и внимания не обращает. Он идет через всю столовую в угол, где у Корнея стоит какой-то шкаф не шкаф, сундук не сундук... ящик, в общем, поставленный на попа. Я этот ящик сто раз видел и никогда на него внимания не обращал. А он подходит к этому ящику и сдвигает кверху какую-то шторку, и в стенке ящика образуется ярко освещенная ниша. В эту нишу он кладет свою

коробочку и шторку опускает. Раздается короткое гудение, на ящике вспыхивает желтый глаз. Этот тип снова поднимает шторку... и тут, ребята, я есть перестал. Потому что смотрю – а в нише уже две коробочки. Этот тип опять опускает шторку – опять загудело, опять загорелся желтый глаз, поднимает он шторку – четыре коробочки. И пошел, и пошел... Я сижу и только глазами хлопаю, а он – шторку вверх, шторку вниз, гудок, желтый глаз, шторку вверх, шторку вниз... И через минуту у него этих коробочек набралась полная ниша. Выгреб он их оттуда, распихал по карманам, подмигнул мне и выскочил вон.

Ничего я опять не понял. Да здесь никакой нормальный человек бы не понял. Но одно я понял: это надо же, какая машина! Я встал – и к ящику. Осмотрел его со всех сторон, даже попробовал сзади заглянуть, но голова не пролезла, только ухо прищемил. Ладно. А шторка поднята, и ниша эта так светом и сияет мне в глаза. Змеиное молоко! Я огляделся и хвать со стола мятую салфетку... Скатал ее в шарик между ладонями и бросил в нишу – издали бросил на всякий случай, мало ли что. Нет, все нормально. Лежит себе бумажка, ничего ей не делается. Тогда я осторожненько взялся за эту шторку и потянул ее вниз. Шторка легко двинулась, прямо-таки сама пошла. Щелк! И, как следует быть, загудело, зажглась желтая лампа. Ну, Кот! Потянул я шторку вверх. Точно. Два бумажных шарика. Я их оттуда вилкой осторожно выгреб, смотрю – одинаковые. То есть точь-в-точь! Отличить совершенно невозможно. Я их и так смотрел, и этак, и на просвет – даже, дурак, понюхал... Одинаковые.

Что же это получается? Золотой бы мне сейчас, я бы в миллионах ходил. Стал я рыскать по карманам. Ну, не золотой, думаю, так хотя бы грош медный... Нет гроша. И тут нашариваю я свой единственный патрон. Унитарный патрон калибра восемь и одна десятая. Нет, даже в этот момент я еще не соображал, что здесь к чему. Просто подумал: раз уж денег нет, так хоть патронов наделаю, они тоже денег стоят. И только когда в нише передо мной шестнадцать штучек медью засверкало, только тогда до меня наконец дошло: шестнадцать патронов – да ведь это же обойма! Полный магазин, ребята!

Стою я перед этим ящиком, смотрю на свои патрончики, и такие интересные мыслишки в голове у меня бродят, что я тут же спохватился и поглядел вокруг, не подслушивает ли кто и не подсматривает ли. Хорошую они машину здесь себе придумали, ничего не скажешь. Полезная машина. Много я у них всякого повидал, но вот такую полезную вещь всего второй раз вижу. (Первая – это Драмба, конечно.) Ну что ж, спасибо. Собрал я патрончики свои, ссыпал их в карман куртки, оттянули они мне карман, и

почувствовал я, ребята, будто забрезжило наконец что-то передо мной вдали.

Машинкой этой я потом не раз еще пользовался. Запас патронов потихоньку пополнял; пуговица у меня оторвалась – я и пуговиц форменных на всякий случай два комплекта наделал; ну еще кое-чего по мелочам. Сначала я берегся, а потом совсем обнаглел: они тут же за столом кушают и галдят, а я стою себе у ящика и знай себе шторкой щелкаю. И хоть бы кто внимание обратил! Беспечный народ, ума не приложу, как это они собираются нашей планетой управлять при такой своей беспечности. Их же у нас перочинными ножиками резать будут. Ведь я здесь прямо у них на глазах мог бы всю их секретную документацию скопировать. Была бы документация... Они ведь на меня ну совсем никакого внимания не обращали. Хочешь подслушивать – подслушивай, хочешь подсматривать – подсматривай... Так, который-нибудь взглянет рассеянно, улыбнется тебе и – снова галдеть. Обидно даже, змеиное молоко! Все-таки я – Бойцовый Кот его высочества, не шпана какая-нибудь мелкая, передо мной такие вот шпаки с тротуара сходили и шляпу еще снимали... Правда, не каждый день снимали, а только в дни тезоименитства, но все равно. Так и хотелось мне встать как-нибудь в дверях и гаркнуть по-гепардовски: «Смир-рна! Глаза на меня, тараканья немочь!» То-то забегали бы! Потом я, конечно, запретил себе на эти темы думать. Я свое достоинство унижать права не имею. Даже в мыслях. Пусть все идет как идет. Мне одному их всех по стойке «смирно» все равно не переставить. Да и нет передо мной такой задачи...

Корней мой в эти дни совсем извелся. Мало того, что ему этот галдеж нужно было регулировать, так свалились на него еще и личные неприятности. Всего я, конечно, не знаю, но вот однажды вернулся я под вечер с прудов – усталый, потный, ноги гудят, – искупался и завалился в траву под кустами, где меня никто не видит, а я всех вижу. То есть видеть-то особенно было некого – которые оставались, те все сидели в кабинете у Корнея, было у них там очередное совещание, – а в саду было пусто. И тут дверь нуль-кабины раскрывается, и выходит из нее человек, какого я до сих пор здесь никогда не видел. Во-первых, одежда на нем. Которые наши – они все больше в комбинезонах или в пестрых таких рубашках с надписями на спине. А этот – не знаю даже, как определить. Что-то такое строгое на нем, внушительное. Материальчик серый, понял? – стильный, и сразу видно, что не каждому такой по карману. Аристократ. Во-вторых, лицо. Здесь я объяснить уж совсем не умею. Ну, волосы черные, глаза синие – не в этом дело. Напомнил он мне чем-то того румяного доктора, который меня выходил, хотя этот был совсем не румяный и уж никак не добряк.

Выражение одинаковое, что ли?.. У наших такого выражения я не видел, наши либо веселые, либо озабоченные, а этот... нет, не знаю, как сказать.

В общем, вышел он из кабины, прошагал этак решительно мимо меня и – в дом. Слышу: галдеж в кабинете разом стих. Кто же это такой к нам пожаловал, думаю. Высшее начальство? В штатском? И стало мне ужасно интересно. Вот, думаю, взять бы такого. Заложником. Большое дело можно было бы провернуть... И стал я себе представлять во всех подробностях, как я это дело проворачиваю, – фантазия, значит, у меня разыгралась. Потом спохватился. В кабинете уже опять галдят, и тут на крыльцо выходят двое – Корней и этот самый аристократ. Спускаются и медленно идут по дорожке обратно к нуль-кабине. Молчат. У аристократа лицо замкнутое, рот сжат в линейку, голову несет высоко. Генерал, хоть и молод. А Корней мой голову повесил, глядит под ноги и губы кусает. Расстроен.

Я только успел подумать, что и на Корнея здесь, видно, нашлась управа, как они останавливаются совсем недалеко от меня, и Корней говорит:

– Ну что ж... Спасибо, что пришел.

Аристократ молчит. Только плечами слегка повел, а сам смотрит в сторону.

– Ты знаешь, я всегда рад видеть тебя, – говорит Корней. – Пусть даже вот так, на скорую руку. Я ведь понимаю, ты очень занят...

– Не надо, – говорит аристократ с досадой. – Не надо. Давай лучше прощаться.

– Давай, – говорит Корней.

И с такой покорностью он это сказал, что мне даже страшно стало.

– И вот что, – говорит аристократ. Жестко так говорит, неприятно. – Меня теперь долго не будет. Мать остается одна. Я требую: перестань ее мучить. Раньше я об этом не говорил, потому что раньше я был рядом и... Одним словом, сделай что хочешь, но перестань ее мучить!

Корней что-то сказал, почти прошептал – так тихо, что я не уловил его слов.

– Можешь! – говорит аристократ с напором. – Можешь уехать, можешь исчезнуть... Все эти... все эти твои занятия... С какой стати они ценнее, чем ее счастье?

– Это совсем разные вещи, – говорит Корней с каким-то тихим отчаянием. – Ты просто не понимаешь, Андрей...

Я чуть не подскочил в кустах. Ну ясно же – никакой это не начальник и не генерал. Это же его сын, они же даже похожи!

– Я не могу уехать, – продолжает Корней. – Я не могу исчезнуть. Это

ничего не изменит. Ты воображаешь, что с глаз долой – из сердца вон. Это не так. Постарайся понять: сделать ничего невозможно. Это судьба. Понимаешь? Судьба.

Этот самый Андрей задрал голову, посмотрел на отца надменно, словно плюнуть в него хотел, но вдруг аристократическое лицо его жалко задрожало – вот-вот заревет, он как-то нелепо махнул рукой и, ничего не сказав, со всех ног пустился к нуль-кабине.

– Береги себя! – крикнул ему вслед Корней, но того уже не было.

Тогда Корней повернулся и пошел к дому. На крыльце он постоял некоторое время – не меньше минуты, наверное, стоял, словно собирался с силами и с мыслями, – потом расправил плечи и только после этого шагнул через порог.

Такие вот пироги! Насели на человека. И жена эта, и сын – оба хороши. И чего насели? Непонятно же, чего им от него надо. Ладно, не мое это дело. Жалко только его. Я бы, конечно, на его месте накидал бы этому сыночку пачек, чтобы знал свое место и не встревал, но только на Корнея это не похоже. То есть не похоже, чтобы он кому-нибудь мог пачек накидать... вернее, пачек-то он накидать мог бы, по-моему, кому угодно, силищи и ловкости он неимоверной. Видел я, как они однажды возились возле бассейна – Корней, а против него трое его этих... ну, офицеров, что ли... Как он их кидал! Это же смотреть было приятно. Так что насчет пачек вы будьте спокойны. Но тут дело в том, что без крайней надобности он никому пачек кидать не станет... не то что пачек, резкого слова от него не услышишь... Хотя, с другой стороны, конечно, был один случай... Как-то раз сунулся я к нему в кабинет – не помню уже зачем. То ли книжку какую-то взять, то ли ленту для проектора. Одним словом, дождь был в тот день. Сунулся и попал вдруг в полную темноту. Я даже засомневался. Не было еще такого, чтобы я в этом доме среди бела дня попадал в темное помещение. Может, меня по ошибке в какую-нибудь кладовку занесло? И вдруг оттуда, из темноты, голос Корнея:

– Прогоните еще раз с самого начала...

Тогда я шагнул вперед. Стена за мной затянулась, и стало совсем уж темно, как в ночном тире. Я вытянул перед собой руки, чтоб не треснуться обо что-нибудь, двух шажков не сделал – запутался пальцами в какой-то материи. Я даже вздрогнул от неожиданности. Что еще за материя? Откуда она здесь, в кабинете? Никогда ее здесь раньше не было. И вдруг слышу голоса, и как я эти голоса услышал, так о материи и думать позабыл, и замер, и дышать перестал.

Я сразу понял, что говорят по-имперски. Я это ихнее хурли-мурли где

хочешь узнаю, сипение это писклявое. Говорили двое: один – нормальный крысоед, так бы и полоснул его из автомата, а второй... вы, ребята, не поверите, я сначала сам не поверил. Второй был Корней. Ну точно – его голос. Только говорил он, во-первых, по-имперски, а во-вторых, на таких басах, каких я до сих пор не то что от Корнея – вообще на этой планете ни от кого не слыхивал. Это, ребята, был настоящий допрос, вот что это было. Я этих допросов навидался, знаю, как там разговаривают. Тут ошибки быть не может. Корней ему этак свирепо: гррум-ттрум-бррум! А тот, поганец трусливый, ему в ответ жалобно: хурли-мурли, хурли-мурли... Сердце мое возрадовалось, честное слово.

Понимал вот, к сожалению, я только с пятого на десятое, да и то, что понимал, до меня как-то не доходило по-настоящему. Получалось вроде, что этот крысоед – не простой солдат или, скажем, горожанин, а какая-то большая шишка. Может, маршал, а может, и министр. И речь шла у них все время о корпусах и об армиях, а также о положении в столице. То есть это я вывел потому, что слова «корпус», «армия», «столица» мне знакомы, а они то и дело повторялись. И еще мне было понятно, что Корней все время нажимает, а крысоед хоть и юлит, хоть и подхалимничает, но чего-то не договаривает, полосатик, крутит, гадина. Корней гремел все яростнее, крысоед пищал все жалобнее, и лично мне было совершенно ясно, что вот именно сейчас и следовало бы влепить как следует, – я даже весь вперед подался, касаясь носом ткани, отделяющей меня от допросной, чтобы ничего не пропустить, когда эта сволочь завизжит и начнет выкладывать, чего от него добиваются. Но крысоед вдруг совсем замолчал – в обморок закатился, что ли? – а Корней сказал обыкновенным голосом, по-русски:

– Очень неплохо. Вольдемар, вы свободны. Теперь попробуем подвести итоги. Во-первых...

Так я, ребята, и не узнал, что там было во-первых. Засветили мне вдруг в лоб с такой силой, что стало мне светло в этом мраке, и очнулся я, ребята, уже в гостиной. Сижу на полу, глазами хлопаю, а надо мной стоит, потирая плечо, этот самый Вольдемар, здоровенный дядька, башка под самый потолок, лицо у него растерянное и расстроенное, смотрит он на меня из-под потолка и говорит – то ли укоризненно, то ли виновато:

– Ну что же ты, голубчик? Что же ты там торчал в темноте? Откуда же мне было знать? Ты уж извини меня, пожалуйста... Не ушибся?

Я потрогал осторожно свою переносицу – есть у меня там теперь переносица или ее уже вовсе нету, – кое-как поднялся и говорю:

– Нет, – говорю. – Не ушибся. Меня ушибли – это было.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда Драмба закончил ход сообщения к корректировочному пункту, Гаг остановил его, спрыгнул в траншею и прошелся по позиции. Отрыто было на славу. Траншея полного профиля с чуть скошенными наружу идеально ровными стенками, с плотно утрамбованным дном, без всякой там рыхлой землицы и другого мусора, все в точности по наставлению, вела к огневой – идеально круглой яме диаметром в два метра, от которой отходили в тыл крытые бревнами блиндажи для боеприпасов и для расчета. Гаг посмотрел на часы. Позиция была полностью отрыта за два часа десять минут. И какая позиция! Такой могла гордиться его высочества Инженерная академия. Гаг оглянулся на Драмбу. Рядовой Драмба возвышался над ним и над краем траншеи. Огромные ладони его были прижаты к бедрам, локти оттопырены, уши опущены, грудь колесом, и от него, смешиваясь с запахом разрытой земли, исходила атмосфера свежести и прохлады.

– Молодец, – сказал Гаг негромко.

– Слуга его высочества, господин капрал! – гаркнул робот.

– Чего нам теперь еще не хватает?

– Банки бодрящего и соленой рыбки, господин капрал!

Гаг ухмыльнулся.

– Да, – сказал он. – Я из тебя сделал солдата, из разгильдяя.

Он взялся за край траншеи и одним движением перебросил тело на траву, потом поднялся, отряхнул колени и еще раз осмотрел позицию – теперь уже сверху. Да, позиция была на славу.

Солнце поднялось высоко, от росы не осталось и следа, луна бледным безвредным куском тающего сахара висела над западным горизонтом, над туманными очертаниями города-чудовища. Вокруг мириадами кузнечиков стрекотала степь, ровная, рыже-зеленая, на всем своем протяжении одинаковая и пустая, как океан. Однообразие ее нарушало лишь облачко зелени вдали, в котором краснела черепичная крыша Корнеева дома. Стрекочущая, напоенная пряными запахами степь вокруг, чистое серо-голубое небо над нею, а в центре – он, Гаг. И ему хорошо.

Хорошо, потому что все далеко. Далеко отсюда непостижимый Корней, бесконечно добрый, бесконечно терпеливый, снисходительный, внимательный, неуклонно, миллиметр за миллиметром вдавливающий в душу любовь к себе, и в то же время бесконечно опасный, словно бомба огромной силы, грозящая взорваться в самый неожиданный момент и

разнести в клочья Вселенную Гага. Далеко отсюда лукавый дом, набитый невиданными и невозможными механизмами, невиданными и невозможными существами вперемешку с такими же, как Корней, людьми-ловушками, шумно кипящей беспорядочной деятельностью без всякой видимой разумной цели, а потому такой же непостижимый и отчаянно опасный для Вселенной Гага. Далеко отсюда весь этот лукавый обманный мир, где у людей есть все, чего они только могут пожелать, а потому желания их извращены, цели потусторонни и средства уже ничем не напоминают человеческие. И еще хорошо, потому что здесь удается хоть ненадолго забыть о гложущей непосильной ответственности, обо всех этих задачах, которые ноют, как язва, в воспаленной душе – неотложные, необходимые и совершенно неразрешимые. А здесь – все так просто и легко...

– Ого! – произнес Корней. – Вот это да!

Гаг подскочил на месте и обернулся. Корней стоял по ту сторону траншеи, с веселым изумлением оглядывая позицию.

– Да ты фортификатор, – сказал он. – Что это у тебя такое?

Гаг помолчал, но деваться было некуда.

– Позиция, – неохотно буркнул он. – Для тяжелой мортиры.

Корней был поражен.

– Для чего, для чего?

– Для тяжелой мортиры.

– Гм... А где ты возьмешь мортиру?

Гаг молчал, глядя на него исподлобья.

– Ну ладно, это меня, в конце концов, не касается, – сказал Корней, подождав. – Извини, если помешал... Я тут получил кое-какие известия и поспешил, чтобы поделиться с тобой. Дело в том, что ваша война кончилась.

– Какая война? – тупо спросил Гаг.

– Ваша. Война герцогства Алайского с империей.

– Уже? – тихо проговорил Гаг. – Вы же говорили – четыре месяца.

Корней развел руки.

– Ну, извини, – сказал он. – Ошибся. Все мы ошиблись. Но это, знаешь ли, добрая ошибка. Согласись, что мы ошиблись в нужную сторону... Управились за месяц.

Гаг облизнул губы, поднял голову, снова опустил.

– Кто... – Он замолчал.

Корней ждал, спокойно глядя на него. Тогда Гаг снова поднял голову и, глядя прямо ему в глаза, сказал:

– Я хочу знать, кто победил.

Корней очень долго молчал, по лицу его ничего нельзя было разобрать. Гаг сел – не держали ноги. Рядом из траншеи торчала голова Драмбы. Гаг бессмысленно уставился на нее.

– Я ведь уже объяснял тебе, – сказал наконец Корней. – Никто не победил. Вернее, все победили.

Гаг процедил сквозь зубы:

– Объясняли... Мало ли что вы мне объясняли. Я этого не понимаю. У кого осталось устье Тары? Это, может быть, вам все равно, у кого оно осталось, а нам не все равно!

Корней медленно покачал головой.

– Вам тоже все равно, – устало сказал он. – Армий там больше нет – только гражданское население...

– Ага! – сказал Гаг. – Значит, крысоедов оттуда выбили?

– Да нет же... – Корней страдальчески сморщился. – Армий вообще больше не существует, понимаешь? Из устья Тары никто никого не выбивал. Просто и алайцы, и имперцы побросали оружие и разошлись по домам.

– Это невозможно, – сказал Гаг спокойно. – Я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете, Корней. Я вам не верю. Я вообще не понимаю, чего вам от меня надо. Зачем вы меня здесь держите? Если я вам не нужен – отпустите. А если нужен – говорите прямо...

Корней закряхтел и с силой ударил себя по бедру.

– Значит, так, – сказал он. – Ничего нового по этой части я тебе сообщить не могу. Вижу, что тебе здесь не нравится. Знаю, что ты стремишься домой. Но тебе придется еще потерпеть. Сейчас у тебя на родине слишком тяжело. Разруха. Голод. Эпидемии. А сейчас еще и политическая неразбериха... Герцог, как и следовало ожидать, плюнул на все и бежал, как последний трус. Бросил на произвол судьбы не только страну...

– Не говорите плохо о герцоге, – хрипло прорычал Гаг.

– Герцога больше нет, – холодно сказал Корней. – Герцог Алайский низложен. Впрочем, можешь утешиться: императору тоже не повезло. Расстрелян в собственном дворце...

Гаг криво ухмыльнулся и снова окаменел лицом.

– Пустите меня домой, – сказал он. – Вы не имеете права меня здесь держать. Я не военнопленный и не раб.

– Давай-ка так, – сказал Корней. – Давай не будем ссориться. Ты плохо себе представляешь, что там у вас делается. А там такие, как ты, сколотили

банды, им все хочется поставить скелет на ноги, а этого, кроме них, никто уже не хочет. За ними охотятся, как за бешеными псами, и они обречены. Если тебя сейчас отправить домой, ты, конечно же, примкнешь к такой банде, и тогда тебе конец. И дело, между прочим, не только в тебе, дело еще и в тех людях, которых ты успеешь убить и замучить. Ты опасен. И для себя, и для других. Вот так, если откровенно.

Оказывается, Корней мог быть и таким. Перед Гагом стоял боец, и хватка у этого бойца была железная, и бил он в самую точку. Ну что ж, за откровенность спасибо. Значит, теперь так и будем: ты мне сказал, но я тебе тоже сейчас скажу. Хватит строить из себя мальчика в штанишках. Надоело.

– Значит, боитесь, что я там буду опасен, – сказал Гаг. Он уже больше не мог и не хотел сдерживаться. – Что ж, воля ваша. Только смотрите, как бы я ЗДЕСЬ не стал опасен!

Они стояли по сторонам траншеи, лицом к лицу, и сначала Гаг торжествовал, что ему удалось вызвать это холодное свечение в обычно добрых до отвращения глазах великого лукавца, а потом вдруг с изумлением и негодованием обнаружил, что свечение это исчезло, и снова у него, сатаны, улыбочка, и глаза снова прищурились по-отечески, змеиное молоко! И вдруг Корней фыркнул, захохотал, поперхнулся, закашлялся, снова захохотал и закричал, разведя руки:

– Кот! Ну кот и кот! Дикий... Ду-умай! – сказал он Гагу и постучал себя по темени. – Думай! Мозгами шевелить надо! Неужели ты зря здесь пятую неделю торчишь?

Тогда Гаг резко повернулся и пошел в степь.

– Думай! – в последний раз донеслось до него.

Он шел, не глядя под ноги, проваливаясь в сурчиные норы, спотыкаясь, царапая лодыжки колючками. Он ничего не видел и не слышал вокруг, перед глазами его стояло иссеченное морщинами землистое лицо с безмерно усталыми, покрасневшими глазами, и в ушах звучал хрипловатый голос: «Сопляки! Мои верные, непобедимые сопляки!» И этот человек, последний родной человек, оставшийся в живых, сейчас где-то спасался, прятался, томился, а его гнали, охотились за ним, как за бешеным волком, вонючие орды обманутых, купленных, осатаневших от страха дикобразов. Чернь, сброд, отбросы – без чести, без славы, без совести... Вранье, вранье, не может этого быть! Лесные егеря, гвардия, десантники. Голубые Драконы... что, они тоже продались? Тоже бросили? Да ведь у них же ничего не было, кроме Него! Они ведь жили только для Него. Они умирали за Него! Нет, нет, ложь, чушь... Они взяли его в стальное кольцо,

ощетинились штыками, стволами, огнеметами... это же лучшие бойцы в мире, они разгонят и раздавят взбесившуюся солдатню... О, как они будут их гнать, жечь, втаптывать в грязь... А я – я сижу здесь. Кот! Поганый щенок, а не Кот! Подобрали бедненького, залечили лапку, ленточкой украсили, а он знай себе машет хвостиком, молочко тепленькое лакает и все приговаривает «так точно» да «слушаюсь»...

Он споткнулся и упал всем телом в колючую, сухую траву и остался лежать, закрыв голову от нестерпимого стыда. Но ведь один же! Один против всей этой махины! И ребята, друзья мои в этом лукавом аду, замолчали, который день не откликаются, ни строчки, ни буквы – может, их и в живых уже нет... а может, сдались? Неужели же я ничего не могу?

Он трясся как в лихорадке под палящим солнцем, в мозгу возникали, кружились, проносились совершенно невозможные, немыслимые способы борьбы, побега, освобождения... Весь ужас был в том, что Корней, конечно же, сказал правду. Недаром работала его машина, недаром съехались, сползлись, слетелись сюда все эти чудища с неведомых миров – сделали свое дело, разорили страну, загубили все лучшее, что в ней было, разоружили, обезглавили...

Он не услышал, как подошел Драмба, но потной спине под раскаленной рубашкой стало прохладно, когда тень робота упала на него, и ему стало легче. Все-таки он был не совсем один. Он еще долго лежал ничком, а солнце двигалось по небу, и Драмба бесшумно двигался возле, оберегая его от зноя. Потом он сел. Голые ноги были исполосованы колючками. На колено вспрыгнул кузнечик, бессмысленно уставился зелеными капельками глаз. Гаг брезгливо смахнул его и замер, разглядывая руку. Костяшки пальцев были ободраны.

– Когда это я? – произнес он вслух.

– Не могу знать, господин капрал, – сейчас же откликнулся Драмба.

Гаг осмотрел другую руку. Тоже в крови. Землю-матушку, значит, молотил. Родительницу всех этих... ловкачей. Хорош Кот. Только истерики мне и не хватало. Он оглянулся в сторону дома. Зеленое облачко едва виднелось на горизонте.

– Много лишнего я сегодня наболтал, вот что... – сказал он медленно. – Дикобраз ты, а не Кот. Выдрать тебя некому. Угрожать вздумал, сопляк... То-то Корней закатился...

Он посмотрел на робота.

– Рядовой Драмба! Что делал Корней, когда я ушел?

– Приказал мне следовать за вами, господин капрал.

Гаг усмехнулся с горечью.

– А ты, конечно, подчинился... – Он поднялся, подошел к роботу вплотную. – Сколько тебя учить, дубина, – прошипел он яростно. – Кому ты подчиняешься? Кто твой непосредственный начальник?

– Капрал Гаг, Бойцовый Кот его высочества, – отчеканил Драмба.

– Так как же ты, дикобраз безмозглый, можешь подчиняться кому-то еще?

Драмба помедлил, потом сказал:

– Виноват, господин капрал.

– Э-эх... – произнес Гаг безнадежно. – Ладно, бери меня на плечи. Домой.

Дом встретил его непривычной тишиной. Дом был пуст. Улетели стервятники. На падаль. Гаг прежде всего искупался в бассейне, смыл кровь и пыль, тщательно причесался перед зеркалом и, переодевшись в свежее, решительно зашагал в столовую. К обеду он опоздал, Корней уже допивал свой сок. Он с нарочитым безразличием глянул на Гага и снова опустил взгляд в папку, лежащую перед ним. Гаг подошел к столу, кашлянул и проговорил стиснутым голосом:

– Я вел себя неправильно, Корней. (Корней кивнул, не поднимая глаз.) Я прошу у вас прощения.

Говорить было невыносимо трудно, язык едва ворочался. Пришлось остановиться на секунду и крепко стиснуть челюсти, чтобы привести себя в порядок.

– Конечно же, я... я буду все делать так, как вы приказываете. Я был не прав.

Корней вздохнул и отодвинул от себя папку.

– Я принимаю твои извинения... – Он побарабанил пальцами по столу. – Да. Принимаю. Правда, к сожалению, я виноват больше тебя. Да ты садись, ешь...

Гаг сел, не сводя с него настороженного взгляда.

– Видишь ли, ты еще молод, тебе многое можно простить. Но я! – Корней потряс в воздухе растопыренными пальцами. – Старый дурень! Все-таки в моем возрасте и с моим опытом пора бы уже знать, что есть люди, которые могут выдержать удар судьбы, а есть люди, которые ломаются. Первым рассказывают правду, вторым рассказывают сказки. Так что ты тоже прости меня, Гаг. Давай-ка постараемся забыть эту историю. – И он снова взялся за свои бумаги.

Гаг ел какое-то месиво из мяса и овощей, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, словно вату жевал. Уши его пылали. Чушь какая-то опять получалась. Больше всего хотелось заорать и ударить кулаком по столу.

Хватит строить из меня щенка! Хватит! Меня ударами судьбы не сломишь, понятно? Мы не из ржавого железа!.. Надо же, как повернул, опять я кругом дурак... Гаг плеснул себе в стакан из оплетенной бутыли с кокосовым молоком. Вообще-то говоря, я и на самом деле дурак. Он со мной как с мужчиной, а я как баба. Вот и получается – щенок и дурак. Не хочу об этом думать. Не надо мне твоей правды, не надо мне твоих сказок. То есть за правду тебе, конечно, спасибо – я теперь хоть понял, что ждать больше нечего, что пора дело делать.

Корней поднялся, взял папку под мышку и ушел. Лицо у него было удрученное. Гаг, жуя и прихлебывая, поглядел в сад. На песчаную дорожку из густой травы выбрался большой кот рыжей масти, в зубах у него трепыхалось что-то пернатое. Кот угрюмо повел дикими глазами вправо, влево и заструился к дому – должно быть, под крыльцо. Давай, давай, работай, брат-храбрец, подумал Гаг. Мне бы как-нибудь до вечера дотянуть, а там можно будет и делом заняться. Он вскочил, сбросил посуду в лючок и, пройдя по дому на цыпочках, направился в тот самый коридор. Надписей не прибавилось. Друзья в аду молчали. Ладно. Значит, придется все-таки в одиночку. Драмба... Нет. На рядового Драмбу надежды плохи. Жалко, конечно. Солдат бесценный. Но веры ему настоящей нет. Лучше уж без него. Пусть только сделает то, что надо, а потом я его... откомандирую.

Он вернулся в свою комнату, лег на койку, заложил руки за голову.

– Рядовой Драмба! – позвал он.

Драмба вошел и остановился у двери.

– Продолжай, – приказал Гаг.

Драмба привычно загудел прямо с середины фразы:

– ...никакого другого выхода. Врач, однако, был против. Он аргументировал свой протест, во-первых, тем, что существо, не принадлежащее к бранчу гуманоидных сапиенсов, не может быть объектом контакта без посредника...

– Пропусти, – сонно сказал Гаг.

– Слушаюсь, господин капрал, – отозвался Драмба и, помолчав, продолжал, на этот раз – с начала фразы: – На контакт вышли: Эварист Козак, командир корабля, Фаина Каминска, старший ксенолог группы, ксенологи...

– Пропусти! – раздраженно сказал Гаг. – Что там было дальше?

Внутри Драмбы заурчало, и он принялся рассказывать, как в зоне контакта вспыхнул неожиданно пожар, контакт был прерван, из-за стены огня раздались вдруг выстрелы, штурман группы семи-гуманоид Кварр погиб, и тело его не было обнаружено, Эварист Козак, командир корабля,

получил тяжелое проникающее ранение в область живота, сопровождавшееся разрывом брюшины и множественными повреждениями желудка, печени, поджелудочной железы...

Гаг заснул.

Он проснулся словно от удара мокрым полотенцем по лицу: где-то рядом разговаривали по-алайски. Сердце колотилось как бешеное, трещала голова. Но это был не сон и не бред.

– ...Я обратил внимание на то, что большинство его работ написано в Гигне, – говорил незнакомый ломающийся голос. – Может быть, это вам поможет?

– Гигна... – отозвался голос Корнея. – Позволь. Где это?

– Это курортное местечко... западный берег Заггуты. Знаете, озеро такое...

– Знаю. Ты думаешь...

– По-видимому, он часто там работал... Жил, наверное, у какого-нибудь мецената...

Гаг бесшумно скатился с койки и подкрался к окну.

На крыльце Корней разговаривал с каким-то парнем лет шестнадцати, худым, белобрысым, с большими бледными глазами, как у куклы, – явным и очевидным алайцем с юга.

Гаг вцепился пальцами в подоконник.

– Это любопытно, – задумчиво сказал Корней. Он похлопал парня по плечу. – Это идея, ты молодчина, Данг. А наши разини прозевали...

– Его надо обязательно найти, Корней! – Парень прижал кулаки к узкой груди. – Вы же сами говорили, что даже ваши ученые заинтересовались, и теперь я понимаю – почему... Он на вашем уровне! Он даже выше кое в чем... Вы просто обязаны его найти!

Корней тяжело вздохнул.

– Мы сделаем все, что сможем, голубчик... но знал бы ты, как это трудно! Ты ведь представления не имеешь, что там у вас сейчас делается...

– Имею, – коротко сказал парень.

Они помолчали.

– Лучше бы вы меня там оставили, а его вытащили, – тихо проговорил парень, глядя в сторону.

– На тебя нам повезло наткнуться, а на него – нет, – так же тихо отозвался Корней. Он снова взял парня за плечо. – Мы сделаем все, что в наших силах.

Парень кивнул.

– Хорошо.

Корней снова вздохнул.

– Ну ладно... Значит, ты прямо в Обнинск?

– Да.

– Тебе там больше понравится. По крайней мере, там у тебя будут квалифицированные собеседники. Не такие дремучие прагматики, как я.

Парень слабо улыбнулся, и они пожали друг другу руки – по-алайски, крест-накрест.

– Что ж, – сказал Корней. – Нуль-кабиной ты теперь пользоваться умеешь...

Они вдруг разом засмеялись, вспомнив, по-видимому, какую-то историю, связанную с нуль-кабиной.

– Да, – сказал парень. – Этому я научился... Умею... Но вы знаете, Корней, мы решили пробежаться до Антонова. Ребята обещали показать мне что-то в степи...

– А где они? – Корней огляделся.

– Сейчас подойдут, наверное. Мы условились, что я пойду вперед, а они меня нагонят... Вы идите, Корней, я и так вас задержал. Спасибо вам большое...

Они вдруг обнялись – Гаг даже вздрогнул от неожиданности, – а затем Корней слегка оттолкнул парня и быстро ушел в дом. Парень спустился с крыльца и пошел по песчаной дорожке, и тут Гаг увидел, что он сильно хромает, припадая на правую ногу. Эта нога у него была явно короче и тоньше левой.

Несколько секунд Гаг смотрел ему вслед, а потом рывком перебросил тело через подоконник, пал на четвереньки и сразу же нырнул в кусты. Он неслышно следовал за этим Дангом, уже испытывая к нему безотчетную неприязнь, то брезгливое отвращение, которое он всегда чувствовал к людям увечным, ущербным и вообще бесполезным. Но этот Данг был алаец, причем, судя по имени и по выговору, – южный алаец, а значит, алаец первого сорта, и, как бы там ни было, поговорить с ним было необходимо. Потому что это был все-таки шанс.

Гаг настиг его уже в степи, выждав момент, когда дом до самой крыши скрылся за деревьями.

– Эй, друг! – негромко сказал он по-алайски.

Данг стремительно обернулся. Он даже пошатнулся на покалеченной ноге. Кукольные глаза его раскрылись еще шире, и он попятился. Все краски сбежали с его тощего лица.

– Ты кто такой? – пробормотал он. – Ты... этот... Бойцовый Кот?

– Да, – сказал Гаг. – Я – Бойцовый Кот. Меня зовут Гаг. С кем имею

честь?

– Данг, – отозвался тот, помолчав. – Извини, я спешу...

Он повернулся и, хромая еще сильнее, чем раньше, пошел прочь прежней дорогой. Гаг нагнал его и схватил за руку повыше локтя.

– Подожди... Ты что, разговаривать не хочешь? – удивленно проговорил он. – Почему?

– Я спешу.

– Да брось ты, успеешь!.. Вот так картинка! Встретились в этом аду два алайца – и чтобы не поговорить? Что это с тобой? Одурел совсем, что ли?

Данг попытался высвободить руку, но куда там! Он был совсем хилый, этот недоносок из южан.

Гаг ничего не понимал.

– Слушай, друг... – начал он с наивозможной проникновенностью.

– В аду твои друзья! – сквозь зубы процедил Данг, глядя на него с явной ненавистью.

От неожиданности Гаг выпустил его руку. На мгновение он даже потерял дар речи. В аду твои друзья... Твои друзья в аду... Твои друзья – в аду! Он даже задохнулся от бешенства и унижения.

– Ах ты... – сказал он. – Ах ты, продажная шкура!

Задавить, на куски разодрать тварюгу...

– Сам ты барабанная шкура! – прошипел Данг сквозь зубы. – Палач недобитый, убийца.

Гаг, не размахиваясь, ударил его под ложечку, и, когда хиляк согнулся пополам, Гаг, не теряя драгоценного времени, с размаху ахнул кулаком по белобрысому затылку, подставив колено под лицо. Он стоял над ним, опустив руки, глядел, как он корчится, захлебываясь кровью, в сухой траве, и думал: вот тебе и союзничек, вот тебе и друг в аду... Во рту у него была горечь, и ему хотелось плакать. Он присел на корточки, приподнял голову Данга и повернул к себе его залитое кровью лицо.

– Дрянь... – прохрипел Данг и всхлипнул. – Палач... Даже сюда...

– Зачем это? – произнес сумрачный голос.

Гаг поднял глаза. Над ним стояли двое – какие-то незнакомые из местных, тоже совсем молодые. Гаг осторожно опустил голову южанина на траву и поднялся.

– Зачем... – пробормотал он. – Откуда я знаю – зачем?

Он повернулся и пошел к дому.

Ломая кусты и топча клумбы, он напрямик прошел к крыльцу, поднялся к себе, упал ничком на койку и так пролежал до самого вечера.

Корней звал его ужинать – он не пошел. Бубнили голоса в доме, слышалась музыка, потом стало тихо. Отругались воробьи, устраиваясь на ночь в зарослях плюща, завели бесконечные песни цикады, в комнате становилось все темнее и темнее. И когда стало совсем темно, Гаг поднялся, поманил за собой Драмбу и прокрался в сад. Он прошел в самый дальний угол сада, в густые заросли сирени, уселся там прямо на теплую траву и сказал негромко:

– Рядовой Драмба. Слушай внимательно мои вопросы. Вопрос первый. По металлу работать умеешь?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

За завтраком Корней не сказал мне ни слова, даже не поглядел на меня. Будто меня за столом и нет вовсе. Я, натурально, поджался, жду, что будет, и на душе, надо сказать, гадостно донельзя. Все время то ли вымыться хочется, то ли сдохнуть вообще. Ну, поел я кое-как, поднялся к себе, натянул форму – не помогает. Вроде бы даже еще хуже стало. Взял портрет ее высочества – выскользнул он у меня из рук, закатился под койку, я и искать не стал. Сел перед окошком, локти на подоконник поставил, гляжу в сад – ничего не вижу, ничего не хочу. Домой хочу. Просто домой, где все не так, как здесь. Что за судьба у меня собачья? Ничего ведь в жизни не видел. То есть видел, конечно, много, другому столько и не приснится, сколько я наяву видел, а вот радости – никакой. Стал вспоминать, как герцог меня табаком одарил, – бросил, не помогает. Вместо его лица все выплывает этот хиляк, тощая его физия, вся в кровище. А вместо его голоса – совсем другой голос, и он все повторяет: «Зачем это? Зачем это?» Откуда я знаю – зачем?

Потом вдруг распахнулась дверь, вошел Корней – как туча, глаза – молнии, – ни слова не говоря, швырнул мне чуть ли не в лицо пачку каких-то листов (это Корней-то! Швырнул!) и, опять ничего не сказав, повернулся и ушел. И дверью грохнул. Я чуть не завыл от тоски, пнул эти листки ногой, по всей комнате они разлетелись. Стал снова в сад глядеть – черно перед глазами, не могу. Подобрал листок, что поближе, стал читать. Потом другой, потом третий... Потом собрал все, сложил по порядку, стал читать снова.

Это все были отчеты. Корнеевы люди, которые, как я понимаю, были заброшены к нам, работали там у нас: кто дворником, кто парикмахером, а кто и генералом. И вот они, значит, докладывали Корнею о своих наблюдениях. Чистая работа, ничего не скажешь. Профессионалы.

Ну, было там про этого парнишку, про Данга. Жил он, как и я, в столице и даже недалеко от меня, напротив зоопарка. Отца у него убили еще во время первого Тарского инцидента. Он был ученый, ловил в устье Тары каких-то своих научных рыб, ну, там его ненароком и шлепнули. Остался он один с матерью. Как и я. Только мать его была интеллигентная и пошла в учительницы, музыку преподавала. А он, между прочим, сам тоже был парень с головой. Премии всякие в школе хватал, главным образом – по математике. У него способности были большие, вроде как у

меня к технике, только больше. Когда началась эта война, он чуть ли не в самую первую бомбежку попал под бомбу, ребра ему поломало, правую ногу навеки изуродовало.

И пока я, значит, брал Арихаду, подавлял бунты и ходил в десант в устье Тары, он круглосуточно лежал дома. Я не в укор ему говорю, он там намучился, может быть, еще больше меня: в ихний дом попало две бомбы, его газами отравило, дом весь потом выселили, остались они вдвоем с матерью в этой руине – не знаю уж, почему мать не захотела переезжать. И вот, значит, мать его каждый день уходила на работу, уже теперь не в музыкальную школу, а на патронный завод. Иногда на сутки уходила, иногда на двое. Оставит ему кое-какую еду, суп в ватник завернет, чтобы он мог дотянуться, – сам он с постели почти что и не вставал – и уйдет. Ну вот она однажды ушла, да и не пришла. Неизвестно, что с нею сталось. Этот Данг совсем уже загибался, когда на него случайно вышел Корнеев разведчик. В общем, жуткая, конечно, история. Прямо посреди столицы погибал от голода и холода парень, причем большой математический талант, даже огромный, и всем на него было наплевать. Так бы и подох, как собака под забором, если б не этот тип. Ну, он раз к нему пришел, два пришел, еду ему носит. А парень возьми его и расколи! Тот только рот разинул. А Данг ему вроде ультиматума: или вы меня отсюда к себе возьмете, в ваш мир то есть, или я повешусь. Вон, говорит, петелька висит, видите? Ну, Корней дал, конечно, распоряжение... Такая вот история.

Там еще много чего было. Но главным образом, конечно, о власть имущих. Было там и о герцоге, и об Одноглазом Лисе, и о господине фельдмаршале Брагге, обо всех там было. Как они политику делают, как они развлекаются в свободное время... Я то и дело читать бросал, ногти грыз, чтобы успокоиться. И об ее высочестве тоже было. Оказывается, гофмаршалом во дворце служил тоже человек Корнея, так что сомневаться не приходится. Это же не то что для меня материалы подбирались. Это ведь Корней их из какого-то дела надергал, прямо с мясом выдирал. Ну, ладно.

Сложил я эти листики аккуратной стопочкой, подровнял, взвесил на руке и опять по комнате пустил. Вообще-то, если говорить честно, оставалось мне одно: пуля в лоб. Хребет они мне переломили, вот что. Добились своего. Весь мир в глазах перевернули вверх тормашками. Как жить – не знаю. Зачем жить – не понимаю. Как теперь Корнею в глаза смотреть – и вовсе не ведаю. Эх, думаю, разбегусь я сейчас по комнате, руки по швам и – в окошко, башкой вниз. И всему конец, хоть всего-то второй этаж. Но тут как раз приперся Драмба, требует очередной чертеж. Отвлек он меня. А когда ушел, стал я уже рассуждать поспокойнее. Целый

час сидел, ногти грыз, а потом пошел и искупался. И странное вдруг у меня облегчение наступило. Словно какой-то пузырь болезненный у меня в душе надувался, надувался, а теперь вот лопнул. Словно я с какими-то долгами рассчитался. Словно я этим отчаянием своим какую-то вину перед кем-то искупил. Не знаю перед кем. И не знаю какую. И в голове у меня только одно: домой, ребята! По домам! Все мои долги, какие еще остались, – все они там, дома.

За обедом Корней мне говорит, не глядя, сурово, неприветливо:

– Прочитал?

– Да.

– Понял?

– Да.

На этом наш разговор и кончился.

После обеда заглянул я к Драмбе. Вкалывает мой рядовой вовсю, только стружка летит. Весь в опилках, в горячем масле, руки так и ходят. Одно удовольствие было на него смотреть. Быстро у него это дело продвигалось – просто на диво. А мне теперь оставалось только одно: ждать.

Ну, ждать пришлось мне недолго, дня два. Когда машинка была готова, я ее сложил в мешок, отнес к прудам, собрал там и опробовал с молитвою. Ничего машинка, молотит. Плюется, но все-таки получилась она получше, чем у наших повстанцев, которые делали свои сморкалки вообще из обрезков водопроводных труб. Ну, вернулся я, сунул ее вместе с мешком в железный ящик. Готов.

И вот в тот же вечер (я уже спать нацеливался) открывается дверь, и стоит у меня на пороге эта женщина. Слава богу, я еще не разделся – сидел на койке в форме и снимал сапоги. Правый снял, но только это за левый взялся, смотрю – она. Я ничего даже подумать не успел, только взглянул и, как был в одном сапоге, вскочил перед нею и вытянулся. Красивая она была, ребята, даже страшно – никогда я у нас таких не видел, да и не увижу, наверное, никогда.

– Простите, – говорит она, улыбаясь. – Я не знала, что здесь вы. Я ищу Корнея.

А я молчу, как болван деревянный, и только глазами ее ем, но почти ничего не вижу. Обалдел. Она обвела взглядом комнату, потом снова на меня посмотрела – пристально, внимательно, уже без улыбки, – ну, видит, что от меня толку добиться невозможно, кивнула и вышла, и дверь за собой тихонько прикрыла. И верите ли, ребята, мне показалось, что после ее ухода в комнате сразу стало темнее.

Долго я стоял вот так, в одном сапоге. Все мысли у меня спутались, ничегошеньки я не соображал. Не знаю уж, в чем тут дело: то ли освещение было какое-то особенное в ту минуту, а может быть, и сама эта минута была для меня особенной, но я потом полночи все крутился и не мог в себя прийти. Вспоминал, как она стояла, как глядела, что говорила. Сообразил, конечно, что она мне неправду сказала, что вовсе она не Корнея искала (нашла, где искать!), а зашла она сюда специально, на меня посмотреть.

Ну, это ладно. Другая мысль меня в тоску смертную вогнала: понял я, что довелось мне увидеть в эту минуту малую частичку настоящего большого мира этих людей. Корней ведь меня в этот мир не пустил, и правильно, наверное, сделал. Я бы в этом мире руки на себя наложил, потому что это невозможно: видеть такое ежеминутно и знать, что никогда ты таким, как они, не будешь и никогда у тебя такого, как у них, не будет, а ты среди них, как сказано в священной книге, есть и до конца дней своих останешься «безобразен, мерзок и затхл»... В общем, плохо я спал в эту ночь, ребята, можно сказать, что и вовсе не спал. А едва рассвело, я выбрался в сад и залег в кустах на обычном своем наблюдательном пункте. Захотелось мне увидеть ее еще раз, разобраться, понять, чем же она меня вчера так ударила. Ведь видел же я ее и раньше, из этих самых кустов и видел...

И вот когда они шли по дорожке к нуль-кабине, рядом, но не касаясь друг друга, я смотрел на нее и чуть не плакал. Ничего опять я в ней не видел. Ну, красивая женщина, спору нет, – и все. Вся она словно погасла. Словно из нее душу живую вынули. В синих глазах у нее была пустота, и около рта появились морщинки.

Они прошли мимо меня молча, и только у самой кабины она, остановившись, проговорила:

– Ты знаешь, у него глаза убийцы...

– Он и есть убийца, – тихо ответил Корней. – Профессионал...

– Бедный ты мой, – сказала она и погладила его ладонью по щеке. – Если бы только я могла с тобой остаться... но я правда не могу. Мне здесь тошно...

Я не стал дальше слушать. Ведь это они про меня говорили. Прокрался я к себе в комнату, посмотрел в зеркало. Глаза как глаза. Не знаю, чего ей надо. А Корней правильно ей сказал: профессионал. Тут стесняться нечего. Чему меня научили, то я и умею... И я всю эту историю от себя отмел. У вас свое, у меня свое. Мое дело сейчас – ждать и дождаться.

Как я оставшиеся три дня провел – не знаю. Ел, спал, купался. Опять

спал. С Корнеем мы почти не разговаривали. И не то чтобы он меня не простил за тот случай или всякое там, нет. Просто он занят был по горло. Теперь уж до последнего предела. Даже осунулся. Народ к нам снова зачастил, так и прут. Не поверите – дирижабль прилетел, целые сутки висел над садом, а к вечеру как посыпались из него, как посыпались... Но вот что удивительно – за все это время ни одного «призрака». Я уже давно заметил: «призраки» у них здесь прибывают либо поздним вечером, либо рано утром, не знаю уж почему. Так что днем я как в тумане был, ни на что внимания не обращал, а как солнце сядет, звезды высыпят, так я у окна с машинкой на коленях. А «призраков» нет, хоть ты лопни. Я жду, а их нет. Я уж, честно говоря, тревожиться начал. Что это, думаю, специально? И тут он все на сто лет вперед рассчитал?

За все это время только одно интересное событие и произошло. В последний день. Дрыхну это я перед ночной своей вахтой, и вдруг будит меня Корней.

– Что это ты среди бела дня завалился? – спрашивает он меня недовольно, но недовольство это, я вижу, какое-то ненастоящее.

– Жарко, – говорю. – Сморило.

Сморозил, конечно, спросонья. Как раз весь этот день дождик с самого утра моросил.

– Ох, распустил я тебя, – говорит он. – Ох, распустил. У меня руки не доходят, а ты пользуешься... Пойдем! Ты мне нужен.

Вот это номер, думаю. Понадобился. Ну, конечно, вскакиваю, постель привел в порядок, берусь за сандалии, и тут он мне преподносит.

– Нет, – говорит. – Это оставь. Надень форму. И оправься как следует... причешись. Вахлак вахлаком, смотреть стыдно...

Ну, ребята, думаю, моря горят, леса текут, мышка в камне утонула. Форму ему. И разобрало меня любопытство, сил нет. Облачаюсь, затягиваюсь до упора, причесался. Каблуками щелкнул. Слуга вашего превосходительства. Он осмотрел меня с головы до ног, усмехнулся чему-то, и пошли мы через весь дом к нему в кабинет. Он входит первым, отступает на шаг в сторону и четко по-алайски произносит:

– Разрешите, господин старший бронемастер, представить вам. Бойцовый Кот его высочества, курсант третьего курса Особой столичной школы Гаг.

Гляжу – и в глазах у меня потемнение, а в ногах дрожание. Прямо передо мной, как привидение, сидит, развалясь в кресле, офицер-бронеходчик. Голубой Дракон, «Огонь на колесах» в натуральную величину, в походной форме при всех знаках различия. Сидит, нога на ногу,

ботинки сияют, шипами оскалились, коричневая кожаная куртка с подпалинами, с плеча свисает голубой шнур – тот еще волк, значит... и морда как у волка, горелая пересаженная кожа лоснится, голова бритая наголо, с коричневыми пятнами от ожогов, глаза как смотровые щели, без ресниц... Ладони у меня, ребята, сами собой уперлись в бедра, а каблуки так щелкнули, как никогда еще здесь не щелкали.

– Вольно, курсант, – произносит он сиплым голосом, берет из пепельницы сигаретку и затягивается, не отрывая от меня своих смотровых щелей.

Я опустил руки.

– Несколько вопросов, курсант, – сказал он и положил сигаретку обратно на край пепельницы.

– Слушаю вас, господин старший бронемастер!

Это не я говорю, это мой рот сам собой отбарабанивает. А я в это время думаю: что же это такое, ребята? Что же это происходит? Ничего не соображаю. А он говорит, невнятно так, сглатывая слова, я эту ихнюю манеру знаю:

– Слышал, что его высочество удостоил тебя... а-а... жевательным табаком из собственной руки.

– Так точно, господин старший бронемастер!

– Это за какие же... а-а... подвиги?

– Удостоен как представитель курса после взятия Арихады, господин старший бронемастер!

Лицо у него равнодушное, мертвое. Что ему Арихада? Опять взял сигаретку, осмотрел тлеющий кончик, вернул в пепельницу.

– Значит, был удостоен... Раз так, значит... а-а... нес впоследствии караульную службу в ставке его высочества...

– Неделю, господин старший бронемастер, – сказал мой рот, а голова моя подумала: ну, чего пристал? Чего тебе от меня надо?

Он вдруг весь подался вперед.

– Маршала Нагон-Гига в ставке видел?

– Так точно, видел, господин старший бронемастер!

Змеиное молоко! Экий барин горелый выискался! Я с самим генералом Фраггой разговаривал, не тебе чета, и тот со второго моего ответа позволил и приказал: без званий. А этому, видно, как музыка: «Господин старший бронемастер». Новопроизведенный, что ли? А может, из холопов выслужился... опомниться не может.

– Если бы сейчас маршала встретил, узнал бы его?

Ну и вопросик! Маршал – он был такой низенький, грузный, глаза у

него все слезились. Но это от насморка. Если бы у него глаза не было или, скажем, уха... а так – маршал как маршал. Ничего особенного. В ставке их много, Фрагга был еще из боевых...

– Не могу знать, – сказал я.

Он снова откинулся на спинку кресла и снова взялся за сигаретку. Не нравилась ему эта сигаретка. Он ее больше в руках держал да обнюхивал, чем затягивался. Ну и не курил бы... вон бычок какой здоровенный, а я мох курю...

Он подобрал под себя свои голенастые ноги, поднялся, прошел к окну и стал спиною ко мне со своей сигареткой – только голубой дымок поднимается из-за плеча. Думает. Мыслитель.

– Ну хорошо, – говорит совсем уже невнятно, и получается у него «нухшо». – А нет ли у тебя... а-а... курсант, старшего брата у нас в Голубых бронеходцах?

Даже морду не повернул. Так, ухо немножко в мою сторону преклонил. А у меня, между прочим, три брата было... могли бы быть, да все в грудном возрасте померли. И такая меня злоба вдруг взяла, на все вместе разом.

– Какие у меня, змеиное молоко, братья? – говорю. – Откуда у нас братья? Мы сами-то еле живы...

Он мигом ко мне повернулся, словно его шилом ткнули. Уставился. Ну чисто бронеход! А я вроде бы в окопе сижу... У меня по старой памяти кожа на спине съежилась, а потом думаю: идите вы все с вашими взорами, тоже мне – старший бронемастер драной армии... Сам небось драпал, все бросил, аж сюда додрапал, от своих же небось солдат спасался... И отставляю я нагло правую ногу, а руки завожу за спину и гляжу ему прямо в смотровые щели.

Полминуты он, наверное, молчал, а потом негромко просипел:

– Как стоишь, курсант?

Я хотел сплюнуть, но удержался, конечно, и говорю:

– А что? Стою как стою, с ног не падаю.

И тут он двинулся на меня через всю комнату. Медленно, страшно. И не знаю я, чем бы это все кончилось, но тут Корней из своего угла, где он все это время сидел с бумажками, подает вдруг голос:

– Бронемастер, друг мой, полегче... не заезжайте...

И все. По опаленной морде прошла какая-то судорога, и господин старший бронемастер, не дойдя до меня, свернул к своему креслу. Готов. Скис Голубой Дракон. Это тебе не комендатура. И ухмыльнулся я всем своим одеревенелым лицом как только мог нагло. А сам думаю: ну, а если

бы Корнея не было? Вышел бы Корней на минуту? Ударил бы он меня, и я бы его убил. Точно, убил бы. Руками.

Он повалился в свое кресло, придавил наконец в пепельнице эту сигаретку и говорит Корнею:

– Все-таки у вас здесь очень жарко, господин Корней... Я бы не отказался от чего-нибудь... а-а... освежающего.

– Соку? – предлагает Корней.

– Соку? А-а... нет. Если можно, чего-нибудь покрепче.

– Вина?

– Пожалуй.

На меня он больше не смотрит. Игнорирует. Берет у Корнея бокал и запускает в него свой обгорелый нос. Сосет. А я обалдел. То есть как это? Нет, конечно, всякое бывает... тем более разгром... разложение... Да нет! Это же Голубой Дракон! Настоящий! И вдруг у меня как пелена с глаз упала. Шнурок... вино... Змеиное молоко, да это же все липа!

Корней говорит:

– Ты не выпьешь, Гаг?

– Нет, – говорю. – Не выпью. И сам не выпью, и этому не советую... господину старшему бронемастеру.

И такое меня веселье злое разобрало, я чуть не расхохотался. Они оба на меня вылупились. А я подошел к этому горелому барину, отобрал у него бокал и говорю – мягко так, отечески поучаю:

– Голубые Драконы, – говорю, – вина не пьют. Они вообще спиртного не пьют. У них, господин старший бронемастер, зарок: ни капли спиртного, пока хоть одна полосатая крыса оскверняет своим дыханием атмосферу Вселенной. Это раз. А теперь шнурочек... – Берусь я за этот знак боевой доблести, отстегиваю от пуговицы куртки и аккуратненько пускаю его вдоль рукава. – Шнурок доблести только по уставу вам положено пристегивать к третьей пуговице сверху. Никакой настоящий Дракон его не пристегивает. На гауптвахтах сидят, но не пристегивают. Это, значит, два.

Ах, какое я наслаждение испытывал. Как мне было легко и прекрасно! Оглядел я еще раз их, как они меня слушают, будто я сам пророк Гагура, вещающий из ямы истину господню, да и пошел себе на выход. На пороге я остановился и напоследок добавил:

– А при разговоре с младшим по чину, господин старший бронемастер, не велите себя все время величать полным титулом. Ошибки здесь большой, конечно, нет, только уважать вас не будут. Это не фронтовик, скажут, это тыловая крыса в форме фронтовика. И лицо обгорелое вам не поможет. Мало ли где люди обгорают...

И пошел. Сел у окошка, ручки на коленях сложил – хорошо мне так, спокойно, как будто я большое дело сделал. Сижу, перебираю в голове, как все это было. Как Корней сначала только глазами хлопал, а потом подобрался весь, каждое мое слово ловит, шею вытянув, а у этого фальшивого бронемастера даже варежка открылась от внимания... Но, конечно, я не долго так себя тешил, потому что очень скоро пришло мне в голову, что на самом-то деле получилась какая-то чушь, получилось, что они засылают к нам шпиона, а я этому помогаю. Консультирую, значит. Как последняя купленная дрянь. Обрадовался, дурак! Разоблачил! Взяли бы его там, поставили бы к стенке, и делу конец... Какому делу? Вот тут-то все и начинается. Корней ведь тоже у нас сидел, и, наверное, не один год. Уцелел. А мог бы и не уцелеть. Что ж, хорошо бы это было, а? Корней ведь. Я уж не говорю о том, что гнили бы мои кости сейчас в джунглях... Не-ет, это все не так просто. Я ведь почему завелся? Меня этот Дракон завел. Мне ж на него смотреть тошно было. Раньше небось не тошнило, раньше пал бы я перед ним на колени, перед братом-храбрецом, сапоги бы ему чистил с гордостью, хвастался бы потом... Знаешь, я кому сапоги чистил? Старшему бронемастеру! Со шнуром!.. Нет-нет, разобраться надо, разобраться...

Сидел я аж до самых сумерек и все разбирался, а потом пришел Корней, руку мне положил на плечо, прямо как тому... Дангу.

– Ну, – говорит, – дружище, спасибо тебе. Я так и чувствовал, что ты что-нибудь заметишь. Понимаешь, мы его в большой спешке готовили... Человека одного спасти надо. Большого вашего ученого. Есть подозрение, что он скрывается на западном берегу озера Заггута, а там сейчас бронечасть окопалась, и никому туда проходу нет. Только своих принимают. Так что считай: ты сегодня двух человек спас. Двух хороших людей. Одного вашего и одного нашего.

Ладно. Много он мне еще всякого наговорил. Прямо медом по сердцу. Я уж не знал, куда глаза девать, потому что, когда я их, значит, консультировал, у меня, натурально, и в мыслях не было кого-нибудь спасать. Просто от злорадства у меня все это получилось.

– Когда же он отбывает? – спрашиваю. Просто так спросил – поток Корнеева красноречия немножко притормозить.

– Утром, – отвечает. – В пять утра.

И тут до меня дошло. Эге, думаю. Вот и дождался.

– Отсюда? – спрашиваю. Уже не просто так.

– Да, – отвечает он. – С этой поляны.

Так.

– Угу, – говорю. – Надо бы мне его проводить, посмотреть напоследок.

Может, еще чего замечу...

Корней засмеялся, снова потрепал меня по плечу.

– Как хочешь, – говорит. – Но лучше бы тебе поспать. Ты что-то последнее время совсем от режима отбился. Пойдем ужинать, и ложись-ка ты спать.

Ну, пошли мы ужинать. За ужином Корней был веселый, давно я его таким не видел. Рассказывал разные смешные истории из тех времен, когда работал он у нас в столице курьером в одном банке, как его гангстеры вербовали и что из этого вышло. Спросил он меня, где Драмба, почему его последние дни не видно. Я ему по-честному сказал, что Драмба у меня строит укрепрайон около прудов.

– Укрепрайон – это хорошо, – говорит он серьезно. – Значит, в крайнем случае будет где отсидеться. Погоди, я освобожусь, мы еще настоящую военную игру устроим, все равно ребят нужно будет тренировать...

Ну, поговорили мы про муштровку, про маневры; я смотрю, какой он ласковый да приветливый, а сам думаю: попросить его, что ли, еще разок? Добром. Отпусти, мол, меня домой, а? Нет, не отпустит. Он меня до тех пор не отпустит, пока точно не убедится, что я безопасен. А как его убедить, что я уже и так безопасен, когда я и сам не знаю этого?..

Расстались мы. Пожелал он мне спокойного сна, и пошел я к себе. Спать я, конечно, не стал. Так, прилег немножко, подремал вполглаза. А в три часа уже поднялся, стал готовиться. Готовился я так, как ни в какой поиск никогда еще не готовился. Жизнь моя должна была решиться этим утром, ребята. В четыре часа я уже был в саду и сидел в засаде. Время, как всегда в таких случаях, еле ползло. Но я был совершенно спокоен. Никакого мандража, ничего. Я просто знал, что должен эту игру выиграть и что по-другому быть просто не может. А время... Что ж, медленно там или быстро, а оно в конце концов всегда проходит.

Ровно в пять, только роса выпала, раздалось у меня над самым ухом знакомое хриплое мяуканье, ударило по кустам горячим ветром, зажегся над поляной первый огонь, и вот – он уже стоит. Рядом. Так близко я его еще никогда не видел. Огромный, теплый, живой, и бока у него, оказывается, вроде бы даже шерстью покрыты и заметно шевелятся, пульсируют, дышат... Черт знает, что за машина. Не бывает таких машин.

Я переменил позицию, чтобы быть поближе к дорожке. Смотрю – идут. Впереди мой Голубой Дракон, шнурок у него болтается как положено, в руке стек, это они хорошо додумались: у них ведь если шнурок заслужил, то обязательно и стек, я и сам об этом позабыл. В порядке мой Дракон. Корней шагает за ним следом, и оба они молчат – видно, все уже сказано,

остается только руки пожать или, как у них здесь принято, обняться и на дорогу благословить.

Я подождал, пока подошли они к «призраку» вплотную, чвакнул, раскрываясь, люк, – и тут я вышел из кустов и наставил на них свою машинку.

– Стоять не шевелясь!

Они разом повернулись ко мне и застыли. Я стоял на полусогнутых, приподняв ствол автомата, – это на тот случай, если кто-нибудь из них вдруг прыгнет на меня через все десять метров, которые нас разделяют, и тогда я встречу его в воздухе.

– Я хочу домой, Корней, – сказал я. – И вы меня сейчас туда заберете. Без всяких разговоров и без всяких отсрочек...

В рассветных сумерках лица их были очень спокойны, и ничего на них не было, кроме внимания и ожидания, что я еще скажу. И краем сознания я отметил, что Корней остался Корнеем, а Голубой Дракон не сбросил маску, остался Голубым Драконом, и оба они были опасны. Ох, как они были опасны!

– Или мы туда отправимся вместе, – сказал я, – или туда не отправится никто. Я вас тут обоих положу и сам лягу.

Сказал и замолчал. Жду. Нечего мне больше сказать. Они тоже молчат. Потом Голубой Дракон чуть поворачивает голову к Корнею и говорит:

– Этот мальчишка... а-а... совершенно забылся. Может быть, мне взять его с собой? Мне же нужен... а-а... денщик...

– Он не годится в денщики, – сказал Корней, и на лице его ни с того ни с сего вдруг появилось то самое выражение предсмертной тоски: как в госпитале.

Я даже растерялся.

– Мне надо домой! – сказал я. Будто прощения просил.

Но Корней уже был прежним.

– Кот, – сказал он. – Эх ты, котяра... гроза мышей!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Гаг продрался через последние заросли и вышел к дороге. Он оглянулся. Ничего уже нельзя было разобрать за путаницей гнилых ветвей. Лил проливной дождь. Смрадом несло из кювета, где в глиняной жиже кисли кучи какого-то зловещего черного тряпья. Шагах в двадцати, на той стороне дороги, торчал, завалившись бортом в трясину, обгорелый бронеход – медный ствол огнемета нелепо целился в низкие тучи. Гаг перепрыгнул через кювет и по обочине зашагал к городу. Дороги как таковой не было. Была река жидкой глины, и по этой жиже навстречу, из города, поминутно увязая, тащились запряженные изнемогающими волами расхлябанные телеги на огромных деревянных колесах, и закутанные до глаз женщины, поминутно оскальзываясь, плача и скверно ругаясь, неистово молотили волов по ребристым бокам, а на телегах, погребенные среди мокрых узлов, среди торчащих ножками стульев и столов, жались друг к другу бледные золотушные ребятишки, как обезьяны под дождем, – их было много, десятки на каждой телеге, и не было в этом плачевном обозе ни одного мужчины...

На сапогах уже налипло по пуду грязи, дождь пропитал куртку, лил за воротник, струился по лицу. Гаг шагал и шагал, а навстречу тянулись беженцы, сгибались под мокрыми тюками и ободранными чемоданами, толкали перед собой тележки с жалкой поклажей, молча, выбиваясь из последних сил, давно, без остановок. И какой-то старик со сломанным костылем на коленях сидел прямо в грязи и монотонно повторял без всякой надежды: «Возьмите, ради бога... Возьмите, ради бога...» И на покосившемся телеграфном столбе висел какой-то чернолицый человек со скрученными за спиной руками...

Он был дома.

Он миновал застрявший в грязи военный санитарный автофургон. Водитель в грязном солдатском балахоне, в засаленной шапке блином, приоткрыв дверцу, надсадно орал что-то неслышное за ревом двигателя, а у заднего борта в струях грязи, летящих из-под буксующих колес, бестолково и беспомощно суетились двое – маленький военврач с бакенбардами и молоденькая женщина в форме, видимо медсестра. Проходя мимо, Гаг мельком подумал, что только этот автомобиль направляется в город навстречу общему потоку, да и он вот застрял...

– Молодой человек! – услышал он. – Стойте! Я вам приказываю!

Он остановился и повернул голову. Военврач, оскальзываясь, нелепо размахивая руками, бежал к нему, а следом кабаном пер водитель, совершенно озверелый, красно-лиловый, квадратный, с прижатыми к бокам огромными кулаками.

– Немедленно извольте нам помочь! – фальцетом закричал врач, подбегая. Весь он был залит коричневой жижей, и непонятно было, что он мог видеть сквозь заляпанные стекляшки своего пенсне. – Немедленно! Я не позволяю вам отказываться!

Гаг молча смотрел на него.

– Поймите, там чума! – кричал врач, тыча грязной рукой в сторону города. – Я везу сыворотку! Почему никто не хочет мне помочь?

Что в нем было? Старенький, немощный, грязный... А Гаг почему-то вдруг увидел перед собой залитые солнцем комнаты, огромных, красивых, чистых людей в комбинезонах и пестрых рубашках и как вспыхивают огни «призраков» над круглой поляной... Это было словно наваждение.

– Р-разговаривать с ним, с заразой! – прохрипел водитель, отодвигая врача. Страшно сопя, он ухватил автомат за ствол, выдернул его у Гага из-под мышки и с хрюканьем зашвырнул в лес. – Вырядился, субчик, змеиное молоко... А ну!

Он с размаху влепил Гагу затрещину, и доктор сразу же закричал:

– Прекратите! Немедленно прекратите!

Гаг покачнулся, но устоял. Он даже не взглянул на водителя. Он все глядел на врача и медленно стирал с лица след удара. А врач уже тащил его за рукав.

– Прошу вас, прошу... – бормотал он. – У меня двадцать тысяч ампул. Прошу вас понять... Двадцать тысяч! Сегодня еще не поздно...

Да нет, это был алаец. Обыкновенный алаец-южанин... Наваждение. Они подошли к машине. Водитель, бурча и клокоча, полез в кабину, гаркнул оттуда: «Давай!» – и сейчас же заревел двигатель, и Гаг, встав между девушкой и врачом, изо всех сил уперся плечом в борт, воняющий мокрым железом. Завывал двигатель, грязь летела фонтаном, а он все нажимал, толкал, давил и думал: «Дома. Дома...»

Б. Стругацкий

КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ

1969 – 1973 гг.

«ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

Нам давно хотелось написать детектив. Мы оба были большими любителями этого вида литературы, причем АН, свободно владевший английским, был вдобавок еще и большим знатоком – знатоком творчества Рекса Стаута, Эрла Гарднера, Дэшила Хеммета, Джона Ле Карре и других мастеров, в те годы мало известных массовому русскому читателю.

Разговоры на тему «а хорошо бы нам написать с тобой этакий заковыристый, многоходовый, с нетривиальной концовкой...» велись на протяжении многих лет, но снова и снова кончались ничем. Нам был совершенно ясен фундаментальный, можно сказать – первородный, имманентный порок любого, даже самого наизабойнейшего детектива... Вернее, два таких порока: убогость криминального мотива, во-первых, и неизбежность скучной, разочаровывающе унылой, убивающей всякую достоверность изложения, суконной объяснительной части, во-вторых. Все мыслимые мотивы преступления нетрудно было пересчитать по пальцам: деньги, ревность, страх разоблачения, месть, психопатия... А в конце – как бы увлекательны ни были описываемые перипетии расследования, – неизбежно наступающий спад интереса, как только становится ясно: кто, почему и зачем.

В каком-то смысле образцом, – если не для подражания, то во всяком случае для любования и восхищения, – стал для нас детективный роман Фридриха Дюренматта «Обещание» (с подзаголовком «Отходная детективному жанру»). Требовалось что-то вроде этого, нечто парадоксальное, с неожиданным и трагическим поворотом в самом конце, когда интерес читателя по всем законам детектива должен падать, – ЕЩЕ ОДНА ОТХОДНАЯ ДЕТЕКТИВНОМУ ЖАНРУ виделась нам, как желанный итог наших беспорядочных обсуждений, яростных дискуссий и поисков по возможности головоломного подхода, приема, сюжетного кульбита. По крайней мере несколько лет – без всякого, впрочем, надрыва, в охотку и даже с наслаждением – ломали мы голову над всеми этими проблемами, а вышли на их решение совершенно для себя неожиданно, в результате очередного (умеренной силы) творческого кризиса, случившегося с нами в середине 1968 почти сразу после окончания работы над «Обитаемым островом».

Собственно, кризис вызван был не столько творческими, сколько чисто внешними обстоятельствами. Вполне очевидно стало, что никакое сколько-

нибудь серьезное произведение опубликовано в ближайшее время быть не может. Мы уже начали тогда работать над «Градом обреченным», но это была работа в стол – важная, увлекательная, желанная, благородная, – но абсолютно бесперспективная в практическом, «низменном» смысле этого слова – в обозримом будущем она не могла принести нам ни копейки. («Все это очень бла-ародно, – цитировали мы друг другу дона Сэра, – но совершенно непонятно, как там насчет бабок?..» Мы заставляли себя быть циничными. Наступило время, когда надо было либо продавать себя, либо бросать литературу совсем, либо становиться циниками, то есть учиться писать ХОРОШО, но ради денег.)

В дневнике сохранились следы наших мучительных поисков темы, достаточно увлекательной для того, чтобы писать книгу было интересно, и в то же время достаточно «проходной», способной усыпить или обмануть бдительность идеологических церберов.

«Люди и боги» – видимо, повесть о прямом контакте со сверхцивилизацией, изучающей человечество на предмет выяснения его разумности-неразумности. Повесть о трагедии человечества, обнаружившего себя вдруг объектом научного исследования. Повесть о Великом Шоке, о котором мы не раз упоминали и раньше, и впоследствии, но о котором так и не собрались написать.

> 14.12.68. «Арк приехал в Лрд. Раздумали ЛиБ, задумали «Кракена»...» Тоже старая наша тема – столкновение людей с гигантским, древним, почти вечным головоногим, обладающим способностью прямого воздействия на человеческий мозг. К этому моменту был хорошо разработан и отчасти даже и написан сюжет с Кракеном, попавшим в московский научно-исследовательский институт, где он превратил всех сотрудников в ледяных эгоцентриков, не знающих пощады в достижении своих вполне низменных целей. В новом «Кракене» события должны были развиваться на некоем морском побережье, где рыбаки стали вдруг видеть один и тот же сон и декламировать друг другу классику (к собственному своему изумлению). Героями там должны были быть: Петер Глебски – книгоноша, Цвирик – учитель, прапорщик Рашба – из погранвойск, Хинкус – переводчик, девушка Гута, а также: бабка Мирл, Мозес, Исхак, Иозеф, Герош, Цмыг, Шухат, Згут и другие. Не правда ли, много знакомых имен? Но дальше имен дело у нас с новым «Кракеном» так и не пошло.

16.12.68. «Раздумали «Кракена». Задумали «Скучные пустяки». «Это вовлечение бога в скучные пустяки подавляло меня...» М. Горький («В людях»)...» От этого замысла осталась тщательно нарисованная карта, где имеет место какой-то завод, рабочий поселок при нем, городок с банями, железнодорожная ветка, ведущая через реку... Совершенно не помню, что это был за сюжет, при чем здесь скучные пустяки и кто такие эти тщательно выписанные в столбик «Гуннар Богессен, Алек (Александр) Пеккала, Барн (Барнстокр) Луарвик и Кайса Сневарски...»

Впрочем, сохранилась запись: «Повесть вот о чем: «Допустив, что мы можем все, ч т о мы собираемся делать с этим нашим всемогуществом?» (Жан Ростан) – из статьи Пьеретты Сартен». Кто такая Пьеретта Сартен? Не помню. Какой Жан Ростан имеется в виду? Могу только догадываться. Отрывистые же фразы: «Они ищут атмосферу счастья. М. б., желания исполняют человекообразные роботы (блаженные люди; черные люди; вонючие люди)?» – отрывистые эти фразы – материал, явно недостаточный, чтобы восстановить в памяти хотя бы отдельные звенья сюжетной цепочки. Видимо, этой цепочки, как чего-то целого, просто никогда не существовало.

11.01.69. «Прибыли в Комарово. Долго, мучительно думали. Придумали: человек, живущий вторично и заново; человек, приглашенный на работу в космический синдикат – все отвергли. Остановились временно на ВНИВ».

«Человек, приглашенный в космический синдикат» – полагаю, это был какой-то совсем уж тупиковый сюжет, от которого в памяти не осталось совершенно ничего. Ни единого воспоминания. И никакой зацепки.

«Человек, живущий вторично...» – зародыш весьма плодотворной и богатой сюжетообразующей идеи, из которой много лет спустя образовалась повесть «Подробности жизни Никиты Воронцова» С. Ярославцева.

А ВНИВ означает «В наше интересное время» – самое первое название фантастического детектива об инспекторе полиции Петере Глебски.

Писался наш детектив легко и азартно. Дьявольски увлекательно было вычерчивать планы гостиницы, определять, где кто живет, тщательнейшим образом расписывать «time-table» – таблицу, определяющую, кто где находился в каждый момент времени и что именно поделывал...

Достоверность изложения – один из трех китов фантастики и, несомненно, Большая Черепаха детектива. Черновик мы закончили в два захода, чистовик – в один. 19 апреля 1969 повесть была готова, а уже в июне с чувством исполненного долга и со спокойной совестью (будущее обеспечено по крайней мере на год вперед) мы вернулись к работе над «Градом».

Нельзя, впрочем, сказать, что мы были вполне довольны результатом. Мы задумывали наш детектив как некий литературный эксперимент. Читатель, по нашему замыслу, должен был сначала воспринимать происходящее в повести как обыкновенное «убийство в закрытой комнате», и лишь в конце, когда в традиционном детективе обычно происходит всеобщее разъяснение, сопровождающееся естественным провалом интереса, у нас сюжет должен был совершить внезапный кульбит: прекращается одна история, и начинается совершенно другая – интересная совсем по-своему, с другой смысловой начинкой, с другой проблемой, по сути, даже с другими героями...

Так вот, замысел был хорош, но эксперимент не удался. Мы это почувствовали сразу же, едва поставив последнюю точку, но уже ничего не могли поделать. Не переписывать же все заново. И, главное, дело было не в том, что авторы плохо постарались или схалтурили. Дело, видимо, было в том, что нельзя нарушать вековые каноны таким образом, как это позволили себе АБС. Эксперимент не удался, потому что он и не мог удаться. Никогда. Ни при каких стараниях-ухищрениях. И нам оставалось только утешаться мыслью, что чтение все равно получилось у нас увлекательное, не хуже (а может быть и лучше), чем у многих и многих других.

Утешившись этим соображением, мы изменили у нашего детектива название – теперь повесть называлась «Дело об убийстве. Еще одна отходная детективному жанру» – и понесли его по редакциям. Здесь нас ожидал новый неприятный сюрприз. Мы-то воображали, что написали добротную, проходную, сугубо развлекательную повестуху с моралью, и повестуху эту главные редакторы станут у нас рвать из рук, опережая друг друга – ан не тут-то было! Мы забыли, в какое время живем. Мы как-то не учли, что сама фамилия наша вызывает сейчас у главных упомянутых выше редакторов душеспасительную оторопь и чисто инстинктивное желание отмежеваться – отказаться от сотрудничества, не думая и по возможности даже не читая. Что они и делали.

Выяснилось, что мы перехватили с аполитичностью и асоциальностью. Выяснилось, что главным редакторам не хватает в

повести борьбы – борьбы классов, борьбы за мир, борьбы идей, вообще хоть какой-нибудь борьбы. Борения инспектора Глебски с самим собой борьбой не считались, их было недостаточно. Повесть лежала в «Неве», в «Авроре», в «Строительном рабочем», повесть была переработана в сценарий и в этом виде лежала на Ленфильме – и везде начальство ныло по поводу аполитичности-асоциальности и просило (на редкость дружно!) ввести в повесть ну хотя бы неонацистов вместо вульгарных гангстеров. Нам очень не хотелось этого делать. Не то чтобы мы любили неонацистов больше, чем бандитов, но от неонацистов (обманувших лопуха-пришельца Мозеса) явственно пованивало, как нам казалось, дурной политической ангажированностью и конъюнктуркой, в то время как гангстеры – они и есть гангстеры, и в Африке они гангстеры, и в Америке, и в Европе, и сегодня, и вчера, и завтра, – что с них взять, такова реальная жизнь, и никакой политической конъюнктуры.

В конце концов, уже имея дело с журналом «Юность», мы все-таки сдались и с отвращением переделали гангстеров на неонацистов. «Нате, ешьте». В благодарность за послушание «Юность» потребовала еще изменить и название. Нам было уже все равно. Так появился «Отель У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» (без всякого теперь уж подзаголовка) – провалившийся эксперимент профессиональных фантастов, попытавшихся написать детектив нового типа.

(В дальнейшем, выпуская повесть в Детгизе, мы сумели вернуть в текст гангстеров, но зато попали под яростную антиалкогольную кампанию – шла очередная бескомпромиссная борьба за искоренение в детской литературе «взрослостей» вообще и каких бы то ни было алкоголических мотивов в частности. Как результат такой борьбы инспектор Глебски в этом варианте повести пьет черный кофе болезненно огромными кружками, – теми самыми, которыми в оригинале он пил горячий глинтвейн.)

«МАЛЫШ»

Был задуман 22 февраля 1970 года под названием «Операция МАУГЛИ».

«На планете, населенной негуманоидным пассивным племенем (вырождающимся после биологической войны), разбился звездолет с супружеской парой и ребенком. Ребенка спасают аборигены. Через десяток лет прибывает новая экспедиция, обнаруживает человеческие следы, а аборигенов принимает за животных. В поисках невольно разрушают дома и пр. Возникает конфликт. Маугли отзывается, как <обычно> привык защищать своих медлительных отчимов от диких зверей. Его захватывают. Дальше – на Землю. Приключения на Земле...» И так далее. Появляется Горбовский со своей внучкой, тайно переправляется на остров, где живут аборигены, и улаживает все конфликты ко всеобщему удовлетворению. Deus ex machina.

Замысел, как видите, достаточно сильно отличается от последующей его реализации, но какие-то (фундаментальные) позиции определились у нас уже в самом первом разработанном плане, и в том числе образ Малыша: «...У Маугли могучая способность к звукоподражанию, сразу все запоминает, слова и интонации, так его отчимы заманивают быстрых зверей. Обмазан слизью, которая обладает способностью менять цвет под цвет фона – мимикрия...»

Впрочем, все это были только наметки. Писать повесть мы начали гораздо позже, в июне 1970, причем вначале основательно перелопатили сюжет: медлительные вымирающие аборигены превратились у нас в могучую цивилизацию «гетероморфов», населяющую подземные пустоты мрачных и загадочных «Морщинистых островов»; неловкие действия ничего не понимающих в ситуации землян (вернее, их кибернетических ловчих) приводят к конфликту, в который, разумеется, вмешивается Малыш... маленькая, но беспощадная война... разъяснение всех недоразумений... земляне уходят. По этому, новому, плану мы даже начали работать и написали целых восемь страниц, но уже на другой день: «...Думаем заново. Написанное похерили».

Словом, «Малыш» дался нам нелегко – по крайней мере, на этапе разработки сюжета. Писался он, впрочем, бойко, в хорошем темпе, без каких-либо новых задержек и перебоев, – энергично, гладко, но как-то невесело. Ощущение даром растрачиваемого времени не покидало нас, и

если бы не то обстоятельство, что эту повесть ждал от нас Детгиз (в полном соответствии с ранее заключенным договором), мы, может быть, и не стали бы эту работу доводить до конца.

А может быть, и стали бы. Нам нравился Малыш, у нас хорошо получился Вандерхузе с его бакенбардами и верблюжьим взглядом вдоль и поверх собственного носа, да и Комов был там на месте, не говоря уж о любимом нашем Горбовском, которого мы здесь с удовольствием воскресили из мертвых раз и впредь навсегда. И тем не менее мысль о том, что мы пишем повесть, которую можно было бы и не писать – сегодня, здесь и сейчас, – попортила нам немало крови, и, я помню это совершенно отчетливо, окончив чистовик в начале ноября 1970-го, мы чувствовали себя совершенно неудовлетворенными и почему-то – дьявольски уставшими. Наверное, это была реакция – расплата за ощущение НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ своего труда.

Разумеется, ощущение это посещало не только авторов. Очень уважаемый нами критик Рафаил Нудельман, большой в те времена поклонник творчества АБС, задумчиво сказал как-то по поводу «Малыша»: «Может быть, чем писать такое, лучше вообще не писать ничего?..» Я, помнится, довольно резко ему возразил. Он, помнится, не стал особенно спорить. Каждый остался при своем мнении.

Мы уже не могли не писать. Мы прекрасно понимали, что имеет в виду Нудель, мы и сами мучились мыслью о том, что выпуская «нейтральные», внеполитические вещи, мы как бы занимаемся коллаборационизмом и против собственной воли поддерживаем – молчанием своим, внеполитичностью, добровольной своей самоустраненностью – этот поганый режим. Но мы уже не могли не писать. Нам казалось (как нашему герою Виктору Баневу из «Гадких лебедей»), что если мы перестанем писать вообще – это будет ИХ победа: «замолчали, заткнулись, перестали бренчать...» А так мы все-таки сохраняли хоть мизерную, но все-таки возможность сказать то, что говорить было при прочих равных условиях не разрешено, да и негде, – вроде той фразы в «Малыше» про «фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают». На эту фразу, разумеется, мало кто из читателей и внимание-то обратил, но для нас она звучала как лозунг, как вызов и даже, в каком-то смысле, как оправдание всех наших действий.

Словом, мы невысоко ценили нашего «Малыша», но, иногда перечитывая его, признавались друг другу (в манере Вандерхузе): «А ведь недурно написано, ей-богу, как ты полагаешь?» – и были при этом совершенно честны перед собою: написано было и в самом деле недурно. В

своем роде, конечно.

И опять же не одни только авторы придерживались такой точки зрения. Ведь недаром эта повестушка и инсценирована была, причем вполне прилично, и экранизирована (довольно, впрочем, посредственно), и переиздавалась многократно как дома, так и за рубежом. В начале 72-го мы даже подумывали, не написать ли нам продолжение: «Малыш рассказывает» – операция «Ковчег» глазами Малыша. А сейчас я иногда думаю (не без горечи), что именно в силу своей аполитичности, антиконъюнктурности и отстраненности эта повесть, вполне возможно, переживет все другие наши работы, которыми мы так некогда гордились и которые считали главными и «вечными».

«ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ»

История написания этой повести (в отличие, между прочим, от истории ее опубликования) не содержит ничего занимательного или, скажем, поучительного. Задумана повесть была в феврале 1970, когда мы съехались в ДТ «Комарово», чтобы писать «Град обреченный», и между делом, во время вечерних прогулок по пустынным заснеженным улочкам дачного поселка, придумали там несколько новых сюжетов, в том числе сюжеты будущего «Малыша» и будущего «Пикника».

Самая первая запись выглядит так:

> «...Обезьяна и консервная банка. Через 30 лет после посещения пришельцев, остатки хлама, брошенного ими – предмет охоты и поисков, исследований и несчастий. Рост суеверий, департамент, пытающийся взять власть на основе владения ими, организация, стремящаяся к уничтожению их (знание, взятое с неба, бесполезно и вредно; любая находка может принести лишь дурное применение). Старатели, почитаемые за колдунов. Падение авторитета науки. Брошенные биосистемы (почти разряженная батарейка), ожившие мертвецы самых разных эпох...»

Там же и тогда же появляется утвержденное и окончательное название – «Пикник на обочине», – но понятия «сталкер» еще нет и в помине, есть «старатели». Почти год спустя, в январе 1971, опять же в Комарове мы разрабатываем очень подробный, тщательно детализированный план повести, но и в этом плане, буквально накануне того дня, когда мы перестали, наконец, придумывать сюжет и начали его писать, даже тогда в наших разработках нет слова «сталкер». Будущие сталкеры называются пока еще «трапперами»: «траппер Рэдрик Шухарт», «девушка траппера Гута», «братишка траппера Сэдвик»... Видимо, сам термин «сталкер» возник у нас в процессе работы над самыми первыми страницами текста. Что же касается «старателей» и «трапперов», то они нам не нравились изначально, это я помню хорошо.

«Сталкер» – одно из немногих придуманных АБС слов, сделавшееся общеупотребительным. Словечко «кибер» тоже привилось, но, главным образом, в среде фэнов, а вот «сталкер» пошел и вширь, и вглубь, правда, я

полагаю, в первую очередь все-таки благодаря фильму Тарковского. Но ведь и Тарковский не зря же взял его на вооружение – видимо, словечко получилось у нас и в самом деле точное, звонкое и емкое. Происходит оно от английского to stalk, что означает, в частности, «подкрадываться», «идти крадучись». Между прочим, произносится это слово, как «стоок», и правильнее было бы говорить не «сталкер», а «стокер», но мы-то взяли его отнюдь не из словаря, а из романа Киплинга, в старом, еще дореволюционном, русском переводе называвшегося «Отчаянная компания» (или что-то вроде этого) – о развеселых английских школярах конца XIX – начала XX века и об их предводителе, хулиганистом и хитроумном юнце по прозвищу Сталки. АН в младые годы свои, еще будучи курсантом ВИЯКа, получил от меня в подарок случайно купленную на развале книжку Киплинга «Stalky & Co», прочел ее, восхитился и тогда же сделал черновой перевод под названием «Сталки и компания», сделавшийся для меня одной из самых любимых книг школьной и студенческой поры. Так что, придумывая слово «сталкер», мы несомненно имели в виду именно проныру Сталки, жесткого и даже жестокого сорванца, отнюдь не лишенного, впрочем, и своеобразного мальчишеского благородства, и великодушия. При этом мы и думать не думали, что он на самом деле не Сталки, а, скорее всего, Стоки.

Повесть написана была без каких-либо задержек или кризисов всего в три захода: 19 января 1971 года начали черновик, а 3 ноября того же года закончили чистовик. В промежутке мы занимались самыми разнообразными, как правило, дурацкими, делами – писали жалобы в «Правительствующий Сенат» (то есть в Секретариат Московского отделения Союза писателей), отвечали на письма (что, сидя рядом, мы делали достаточно редко), сочиняли заявку на полнометражный научно-популярный фильм «Встреча миров» (о контактах с иным Разумом), написали три киноминиатюры для «Фитиля» (или для чего-нибудь в том же роде), придумали сюжет для телефильма «Выбор пал на Рыбкина», разработали в первом приближении сюжет новой повести «Странные события на рифе Октопус» и тэ дэ, и тэ пэ – никакого продолжения и окончательного завершения все эти пробы пера не получили, и никакого отношения к дальнейшим событиям они не имеют.

Замечательно, что «Пикник» сравнительно легко и без каких-либо существенных проблем прошел в ленинградской «Авроре», пострадав при этом разве что в редактуре, да и то не так уж чтобы существенно. Пришлось, конечно, почистить рукопись от разнообразных «дерьм» и «сволочей», но это все были привычные, милые авторскому сердцу

пустячки, ни одной принципиальной позиции авторы не уступили, и журнальный вариант появился в конце лета 1972 года, почти не изуродованным.

Эпопея «Пикника» в издательстве «Молодая Гвардия» в это время еще только начинается. Собственно, эпопея эта, строго говоря, началась вместе с 1971 годом, когда повести «Пикник» на бумаге еще не существовало и в заявке на сборник эта повесть предлагалась только лишь в виде самого общего замысла. Предполагаемый сборник назывался «Неназначенные встречи», посвящался проблеме контакта человечества с иным разумом во Вселенной и состоял из трех повестей, двух готовых – «Дело об убийстве» и «Малыш» – и одной находящейся в работе.

Неприятности начались сразу же.

> 16.03.71 – АН: «...начальство прочитало сборник, но мнется и ничего определенного не сказало. По его требованию сборник дали на рецензию некоему доктору исторических наук (?) Маркову – на том основании, что он очень любит фантастику. <...> Затем рукопись с этой рецензией пойдет снова к Авраменке <тогдашняя заместительница главного редактора> (вероятно, для того, чтобы дать ей возможность переоценить имеющуюся, но содержащуюся в тайне оценку?), а затем уже пойдет к Осипову <главный редактор>, а только тогда мы узнаем свою судьбу. Бляди. Л-литературоведы».
>
> 16.04.71 – АН: «Был я в МолГв у Белы. Она сказала, что ничего нам не отломится. Авраменко просила ее открыть это нам как-нибудь дипломатично: мол, нет бумаги, да договорный портфель полон, то-сё, но она мне прямо сказала, что на каких-то верхах дирекции предложили до поры до времени со Стругацкими дела не иметь никакого. <...> Вот навалился класс-гегемон!»

А ведь «Пикник» еще даже не написан, и речь идет, по сути, о повестях, никогда не вызывавших Большого Идеологического Раздражения, о повестушках совершенно невинных и даже аполитичных. Просто начальство не хочет иметь дело с «этими Стругацкими» вообще, и это общее нежелание вдобавок накладывается на тяжелую внутрииздательскую ситуацию: именно в это время происходит там смена власти и начинается выкорчевывание всего лучшего, что создала тамошняя редакция НФ литературы при Сергее Георгиевиче Жемайтисе и Беле Григорьевне

Клюевой, заботами и трудами которых расцвела отечественная фантастика Второго поколения...

В начале 80-х мы с АН самым серьезным образом обдумывали затею собрать, упорядочить и распространить хотя бы в Самиздате «Историю одной публикации» (или «Как это делается») – коллекцию подлинных документов (писем, рецензий, жалоб, заявлений, авторских воплей и стонов в письменном виде), касающихся истории прохождения в печати сборника «Неназначенные встречи», гвоздевой повестью которого стал «Пикник». БН даже начал в свое время систематическую работу по сортировке и подбору имеющихся материалов да забросил вскорости: дохлое это было дело, кропотливый, неблагодарный и бесперспективный труд, да и нескромность ощущалась какая-то во всей этой затее – кто мы, в конце концов, были такие, чтобы именно на своем примере иллюстрировать формы функционирования идеологической машины 70-х годов, – в особенности, на фоне судеб Солженицына, Владимова, Войновича и многих, многих других достойнейших из достойных.

Затея была заброшена, но мы вновь вернулись к ней уже после начала перестройки, когда наступили новые и даже новейшие времена, когда возникла реальная возможность не просто пустить по рукам некое собрание материалов, но опубликовать его по всем правилам, с поучительными комментариями и ядовитыми характеристиками действующих лиц, многие из которых в те времена еще сохраняли свои посты и способны были влиять на литературные процессы. К работе подключились неутомимые «людены» – Вадим Казаков со товарищи. БН передал им все материалы, сборник был в значительной степени подготовлен, но довольно скоро выяснилось, что издать его реальной возможности нет – ни у кого не оказалось денег на подобное издание, которое вряд ли могло представлять коммерческий интерес. Кроме того, события неслись вскачь: путч, уход АН, распад Союза, демократическая, хоть и «бархатная», но несомненная революция – затея буквально на протяжении нескольких месяцев потеряла даже самую минимальную актуальность.

И вот сейчас я сижу за столом, смотрю на три довольно толстые папки, лежащие передо мною, и испытываю разочарование пополам с растерянностью и с заметной примесью недоумения. В папках – наши письма в издательство «Молодая Гвардия» (редакторам, завредакции, главному редактору, директору издательства), жалобы в ЦК ВЛКСМ, слезницы в отдел культуры ЦК КПСС и в отдел печати и пропаганды ЦК КПСС, заявления в ВААП (Всесоюзное Агенство по авторским правам), и,

разумеется, ответы из всех этих инстанций, и наши письма друг другу – гора бумаги, по самым скромным подсчетам двести с лишним документов, – и я представления не имею, что со всем этим сейчас делать.

Первоначально я предвкушал, как расскажу здесь историю опубликования «Пикника», назову некогда ненавистные нам имена, вдоволь поиздеваюсь над трусами, дураками, доносчиками и подлецами, поражу воображение читателя нелепостью, идиотизмом и злобностью мира, из которого мы все родом – и буду при этом ироничен и назидателен, нарочито объективен и беспощаден, добродушен и язвителен одновременно. И вот теперь я сижу, гляжу на эти папки и понимаю, что я безнадежно опоздал и никому не нужен – ни с иронией своей, ни с великодушием, ни с перегоревшей своей ненавистью. Канули в прошлое некогда могущественные организации, владевшие почти неограниченным правом разрешать и вязать – канули в прошлое и забыты до такой степени, что пришлось бы скучно и занудно объяснять нынешнему читателю, кто есть кто, почему в отдел культуры ЦК жаловаться не имело смысла, а надобно было жаловаться именно в отдел печати и пропаганды, и кто такие были Альберт Андреевич Беляев, Петр Нилыч Демичев и Михаил Васильевич Зимянин, – а ведь это были тигры и даже слоны советской идеологической фауны, вершители судеб, «роководители» и «роконосцы»! Кто их помнит сегодня и кому интересны теперь те из них, кто еще пока числится среди живых? А что же тогда говорить о малых сих, – о визгливом сонме мелких чиновников от идеологии, об идеологических бесах, имя коим легион, вред от коих был неизмерим и неисчислим, злобность и гнусность коих требует (как любили писать в XIX веке) пера, более опытного, мощного и острого, нежели мое! Я даже упоминать их здесь не хочу – пусть сгинут в прошлом, как ночная нечисть, и навсегда...

Если бы мне вздумалось все-таки опубликовать здесь хотя бы простой перечень всех относящихся к делу документов с краткой их характеристикой, перечень этот выглядел бы примерно так:

....

30.04.75 А->Б (у редакции «серьезные сомнения» по поводу ПнО)

5.06.75 Письмо АБС Медведеву с просьбой о редзаключении

25.06.75 Письмо Зиберова с объяснением задержки

8.07.75 Редзаключение Медведева и Зиберова

21.07.75 Ответ АБС на редзаключение

23.08.75 Б->А (сборник обработан и отослан в редакцию еще

в июле)

1.09.75 Уведомление Зиберова о получении рукописи

5.11.75 Письмо Медведева с отказом «Пикнику»

17.11.75 Письмо АБС Медведеву с аргументацией против отказа

17.11.75 Письмо БН Медведеву с выражением недоумения

8.01.76 Письмо АБС Полещуку с жалобой на Медведева

24.01.76 Уведомление Паршина о получении письма в ЦК ВЛКСМ

20.02.76 Письмо Паршина о принятых мерах

10.03.76 Б->А (проект писем Паршину и Синельникову)

24.03.76 Письмо АБС Паршину с напоминанием

24.03.76 Письмо АБС Синельникову с напоминанием

30.03.76 Письмо Паршина о принятых мерах

5.04.76 А->Б (предложение составить письмо в высшие инстанции)

12.04.76 Письмо Медведева с отказом «Пикнику»

....

И так далее, в этом же духе. Кому это сегодня нужно, и кто это сегодня станет читать?

Но если не об этом, то о чем же остается тогда писать? Как без этого суконно-скучного перечня и уныло-злобного комментария к нему рассказать историю публикации «Пикника» – историю в известном смысле даже загадочную. Ибо повесть эта, наверное, не лишена была каких-то недостатков, но ведь в то же время не лишена она была и очевидных достоинств: она была безусловно увлекательна, способна произвести на читателя достаточно сильное впечатление (вдохновила же она такого замечательного читателя, как Андрей Тарковский, на создание выдающегося фильма); и притом она безусловно не содержала в себе НИКАКИХ нападок на существующий строй, а наоборот, вроде бы лежала в русле господствующей антибуржуазной идеологии... Так почему же тогда, по каким таким загадочным – мистическим? инфернальным? – причинам обречена она оказалась на прохождение через издательство в течение ВОСЬМИ с лишним лет!

Сначала издательство вообще не хотело заключать договор на сборник; потом заключило, но почему-то восстало против повести «Дело об убийстве»; затем вроде бы согласилось заменить «Дело об убийстве» на апробированную ранее повесть «Трудно быть богом», но зато решительно

восстало против «Пикника»... Даже вкратце невозможно здесь изложить историю этой борьбы – получается слишком длинно: как-никак восемь лет все-таки. Тут были и неожиданные отказы от собственных требований (вдруг ни с того, ни с сего: долой «Трудно быть богом»!..), и пяти– или даже шестикратные перезаключения договора, и даже внезапные попытки вообще разорвать все и всяческие отношения (вплоть до суда!), но главное, и все время, и неуклонно, и неизменно, из года в год, из разговора в разговор, из письма в письмо: убрать из «Пикника» оживших покойников; изменить лексику Рэдрика Шухарта; вставить слово «советский», когда речь идет о Кирилле Панове; убрать мрачность, безысходность, грубость, жестокость...

Сохранился замечательный документ: постраничные замечания редакции по языку повести «Пикник на обочине». Замечания располагаются на восемнадцати (!) страницах и разбиты по разделам: «Замечания, связанные с аморальным поведением героев»; «Замечания, связанные с физическим насилием»; «Замечания по вульгаризмам и жаргонным выражениям». Не могу позволить себе не привести оттуда несколько выдержек. Причем обратите внимание: я ни в коем случае не подбираю цитат, не ищу глупостей специально, я даю все подряд.

> «ЗАМЕЧАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С АМОРАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ГЕРОЕВ
>
> <всего 93 замечания, приводятся первые десять>
>
> должен зад свой толстый задрать – с. 21
>
> уж я на зубах пойду, не то что на руках – с. 21
>
> да на карачках – с. 32
>
> вытащил флягу, отвинтил крышечку и присосался, как клоп – с. 25
>
> высосал флягу досуха – с. 35
>
> одного последнего глотка, конечно, не хватило – с. 35
>
> Напьюсь сегодня как зюзя. Ричарда бы ободрать, вот что! Надо же, стервец, как играет – с. 38
>
> А мне выпить хочется – никакого терпежу нет – с. 42
>
> С удовольствием бы опрокинул с тобой стаканчик в честь такого знакомства – с. 42
>
> ...не говоря лишнего слова, наливает мне на четыре пальца крепкого. Я взгромоздился на табурет, глотнул, зажмурился, головой помотал и опять глотнул – с. 43...»

«ЗАМЕЧАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ФИЗИЧЕСКИМ НАСИЛИЕМ

<всего 36 замечаний, приводятся последние десять>

цапнул со стола тяжелую пивную кружку и с размаху хватил ею по ближайшей хохочущей пасти – с. 179

Тогда Рэдрик пошарил в кармане, выбрал гайку граммов на двадцать и, прицелившись, запустил ему в голову. Гайка попала Артуру прямо в затылок. Парень ахнул <и т. д.> – с. 182

А в следующий раз надаю по зубам – с. 182

лягнул Рэдрика свободной ногой в лицо, забился и задергался <и т. д.> – с. 185

судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил – с. 185

Теперь эта смазливая мордашка казалась черно-серой маской из смеси запекшейся крови и пепла <и т. д.> – с. 185

Рэдрик бросил его лицом в самую большую лужу – с. 186

душу из гадов вынуть, пусть дряни пожрут, как я жрал – с. 202

он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу – с. 202...»

«ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВУЛЬГАРИЗМАМ И ЖАРГОННЫМ ВЫРАЖЕНИЯМ

<всего 251 замечание, приводится произвольный десяток из середины>

и вдруг принялся ругаться бессильно и злобно, черными, грязными словами, брызгая слюной... – с. 72

– Надевай зубы и пойдем – с. 72

Мясник выругался – с. 74

Сволочь ты... Стервятник – с. 74

гад – с. 76

жрать охота – сил нет! – с. 77

Мартышка безмятежно дрыхла – с. 77

грязен он был как черт – с. 78

Кой черт! – с. 82

бибикнул на какого-то африканца – с. 85...»

«Разумеется <сообщалось в сопроводительном письме редакции>, мы выписали только те выражения и слова, которые,

> на наш взгляд, нуждаются либо в устранении, либо в замене. Эти замечания продиктованы прежде всего тем, что Ваша книга предназначена для молодежи и подростков, для комсомольцев, которые видят в советской литературе учебник нравственности, путеводитель по жизни».

Помню, получивши в руки этот блистательный документ, я кинулся прямиком к своим стеллажам и радостно извлек на свет божий любимого нашего и непревзойденного Ярослава Гашека. С каким невероятным наслаждением я прочитал оттуда:

> «Жизнь – это не школа для обучения светским манерам. Каждый говорит как умеет. Церемониймейстер доктор Гут говорит совсем иначе, чем хозяин трактира «У чаши» Паливец. А наш роман не пособие для салонных шаркунов и не научная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе...» «Правильно было когда-то сказано, что человек, получивший здоровое воспитание, может читать все. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова. Несколько лет назад я читал рецензию на одну повесть. Критик выходил из себя по поводу того, что автор написал: «Он высморкался и вытер нос». Это, мол, идет вразрез со всем тем эстетическим и возвышенным, что должна давать народу литература. Это только один, притом не самый яркий пример того, какие ослы рождаются под луной...»

Ах, как было бы сладостно процитировать все это господам из «Молодой Гвардии»! И добавить кое-что от себя в том же самом духе. Но, увы, это было совершенно бессмысленно и, может быть даже, тактически неправильно. Кроме того, как стало нам ясно много-много лет спустя, мы совершенно неправильно понимали мотивы и психологию всех этих людей.

Мы ведь искренне полагали тогда, что редакторы наши просто боятся начальства и не хотят подставляться, публикуя очередное сомнительное произведение в высшей степени сомнительных авторов. И мы все время, во всех письмах наших и заявлениях, всячески проповедовали то, что казалось нам абсолютно очевидным: в повести нет ничего криминального, она вполне идеологически выдержана и безусловно в этом смысле неопасна. А

что мир в ней изображен грубый, жестокий и бесперспективный, так он и должен быть таким – мир «загнивающего капитализма и торжествующей буржуазной идеологии».

Нам и в голову не приходило, что дело тут совсем не в идеологии. Они, эти образцово-показательные «ослы, рожденные под луной», и НА САМОМ ДЕЛЕ ТАК ДУМАЛИ: что язык должен быть по возможности бесцветен, гладок, отлакирован и уж ни в коем случае не груб; что фантастика должна быть обязательно фантастична и уж во всяком случае не должна соприкасаться с грубой, зримой и жестокой реальностью; что читателя вообще надо оберегать от реальности – пусть он живет мечтами, грезами и красивыми бесплотными идеями... Герои произведения не должны «ходить» – они должны «выступать»; не «говорить» – но «произносить»; ни в коем случае не «орать» – а только лишь «восклицать»!.. Это была такая специфическая эстетика, вполне самодостаточное представление о литературе вообще и о фантастике в частности – такое специфическое мировоззрение, если угодно. Довольно распространенное, между прочим, и вполне безобидное, при условии только, что носитель этого мировоззрения не имеет возможности влиять на литературный процесс.

> (Впрочем, судя по письму БН от 4.08.77: «...С Медведевым поступлено так: а). Сделано 53 стилистических поправки из списка «Вульгаризмов» – объяснено в письме, что это делается из уважения к требованиям ЦКмола; б). Вставлено толкование покойников как киборгов для исследования землян, а Шара – как некоего бионического устройства, улавливающего биотоки простых желаний – объяснено в письме, что это делается, дабы отвязаться; в). Написано далее в письме, что прочие требования редакции (связанные с насилием и пр.) являются идеологической ошибкой, ибо приводят к лакировке капдействительности. Все отослано с уведомлением и, судя по уведомлению, получено в МолГв 26 июля с. г. В жопу, в жопу...»)

Это был самый разгар битвы. Многое и многое еще было впереди: очередные пароксизмы редакционной бдительности, попытки вообще разорвать с авторами договор, жалобы наши и слезницы в ВААП, ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС... Сборник «Неназначенные встречи» вышел в свет осенью 1980 года, изуродованный, замордованный и жалкий. От первоначального варианта остался в нем только «Малыш» – «Дело об

убийстве» потерялось на полях сражений еще лет пять тому назад, а «Пикник» был так заредактирован, что ни читать его, ни даже просто перелистывать авторам не хотелось.

Авторы победили. Это был один из редчайших случаев в истории советского книгоиздательства: Издательство не хотело выпускать книгу, но Автор заставил его сделать это. Знатоки считали, что такое попросту невозможно. Оказалось – возможно. Восемь лет. Четырнадцать писем в «большой» и «малый» ЦК. Двести унизительных исправлений текста. Не поддающееся никакому учету количество на пустяки растраченной нервной энергии... Да, авторы победили, ничего не скажешь. Но это была Пиррова победа.

Впрочем, «Пикник» был и остается по сей день популярнейшей из повестей АБС – во всяком случае, за рубежом. Тридцать восемь изданий в двадцати странах (по данным на конец 1997), в том числе: в Болгарии (4 издания), ГДР (4), США (4), в Польше (3), в Чехословакии (3), Италии (2), Финляндии (2), ФРГ (2), Югославии (2) и т. д. Рейтинг повести в России тоже достаточно высок, хотя и уступает, скажем, рейтингу «Понедельника». Повесть все еще продолжает жить и, может быть, даже доживет до XXI века.

Разумеется, текст «Пикника», приводимый здесь, полностью восстановлен и приведен к авторскому варианту. Но сборник «Неназначенные встречи» мне и сегодня неприятно даже просто брать в руки, не то что читать.

«ПАРЕНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

Начало семидесятых было для АБС временем лихорадочных попыток приспособиться к новым условиям существования. Начиналось новое, совсем пока еще непривычное время – время опалы, явно обозначившейся и уже несомненной, – то знаменательное десятилетие «тощих коров», на протяжении которого нам не удалось выпустить НИ ОДНОЙ новой книги – только парочка переизданий вышла у нас за все эти десять лет. Издатели более не рисковали (и не хотели) иметь с нами дело. Новые повести удавалось, правда, время от времени печатать в журналах – ленинградская «Аврора» и московский журнал «Знание – сила» выручали как могли, но это было – всё, и жить на это было невозможно. Начались судорожные и беспорядочные попытки прорваться в кино, хотя бы в мультипликационное или даже научно-популярное, в театр, хотя бы и в кукольный, ну куда-нибудь. Это – тема отдельного разговора, не слишком, впрочем, интересного, ибо практически все потуги наши окончились тогда ничем.

Неважно обстояли дела и с новыми сюжетами. После «Пикника» мы вчерне закончили «Град обреченный» и теперь мучились проблемой выбора. В марте 1973 у нас было намечено пять сюжетов, разной степени готовности и привлекательности.

«События на рифе Октопус». Еще один, третий, кажется, вариант «Кракена» – о гигантском древнем головоногом, умеющем вызывать у людей «снижение уровня мотивации поступков», когда человек становится способен убить своего ближайшего друга за неловкую шутку, показавшуюся обидной.

«Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах». Дневник человека, которого принимают за пришельца, хотя он всего-навсего талантливый фокусник-любитель. Он пишет в дневнике некий роман о мире, где установленная кем-то (и зачем-то) машина отлавливает и забрасывает в будущее произвольно выбранных людей – некая появляющаяся где попало и потом без следа исчезающая телефонная будка, глотающая абонентов телефонной сети. Герой пишет обо всем этом, как о собственной судьбе.

«Новосел». Комическая история про молодого рабочего, только что справившего новоселье. Отделкой квартиры у него занимаются исключительно бывшие интеллигенты – циклевщик, грузчик, водопроводчик, – сплошь кандидаты наук. «Все застревают в квартире:

циклевщик защемил палец в паркете, грузчика заставили шкафами, водопроводчик хлебнул вместо спирта эликсиру и стал невидимым. И еще домовой. И строитель, замурованный в вентиляционной шахте. И приходит девица...» (Собственно, сюжета как такового нет – есть набор картинок, и не более того.)

«Июль с пришельцем». История о пришельце, который со своим кораблем вперся в детскую нашего героя. Пришелец – законченный осел, ничего не знает, ничего не может и ничего не понимает. Совершенно жалкая личность, к тому же еще и запуганная до судорог своими властями. «Запах духов. Милиция (из-за соседней квартиры). Дворник. Соседи. Гости. Подозрения. Проблема питания. Мучения без всякой научной пользы». (Все это вполне неопределенно, опять же картинки, но никак не связная фабула.)

«Мальчик из преисподней». Мальчик с другой планеты, «его спасают, когда он ранен; держат в интернате; он увлекает ребят на свою планету, и там – убийство».

В дневнике целая страница посвящена подробному математическому исследованию: какой из этих сюжетов более других подходит для немедленного взятия в работу. По десятибалльной системе определяются: степень разработанности сюжета; вероятность будущего опубликования; пригодность для Детгиза; желание этот сюжет писать; способность (готовность) писать; общественная потребность в данной повести, а также (по десятибалльной шкале) «повесть может получиться на .... баллов». Затем определяется для каждого сюжета некое среднее взвешенное и получается в результате, что писать нам надобно в первую очередь «Июль с пришельцем» – вывод, в высшей степени озадачивающий и разочаровывающий.

На самом деле, писать мы решили все-таки «Мальчика из преисподней», но далеко не сразу, а восемь месяцев спустя, в октябре 1973-го. Причем начиналась эта повесть как сценарий, который мы разрабатывали сначала для Мосфильма, потом для Одесской киностудии, – разработали, написали (сценарий назывался «Бойцовый Кот возвращается в преисподнюю»), получили аванс и одобрительные отзывы, но, в конце концов, все оказалось напрасно: фильм запретили. (Говорилось что-то о пресловутом и надоевшем уже «экспорте революции», а тогдашний глава Госкино в разговоре с Тарковским соизволил даже предостеречь его: «Имейте в виду, что Стругацкие сложные люди... В детском сценарии «Бойцовый Кот» они протаскивают сионистскую идею о том, что все евреи должны вернуться к себе на родину и воевать за ее интересы».)

Ну, запретили и запретили. И ладно. Ничуточки не жалко. Мне этот сценарий никогда не был по душе (как и подавляющее большинство наших сценариев), да и АН был от него не в восторге. Впрочем, время, на него потраченное, не пропало зря: повесть писалась легко и даже не без вдохновения, хотя нового в ней было для нас – чуть.

На протяжении многих лет главным возбуждающим к активности и вдохновляющим элементом в нашей работе было сознание того, что мы пишем каждый раз нечто ранее не писанное – если не по идее своей, то значит по форме, если не в мировом масштабе, то хотя бы в пространстве отечественной литературы, или хотя бы в рамках личного писательского опыта. Это ощущение НОВИЗНЫ было для нас, может быть, главным движителем творческого процесса, без новизны не было азарта, без азарта само желание писать увядало, как цветочек без поливки.

В «Малыше» был новый образ – космический Маугли. В «Пикнике» – совершенно новая ситуация – человечество на обочине межзвездной трассы; кроме того, в «Пикнике» был Рэдрик Шухарт – герой для Стругацких невиданный и восхитительно незнакомый. В «Мальчике из преисподней» нового, на самом деле, не было для авторов ничего. Суть сюжета стопроцентно содержалась в давнем образе, порожденном воображением Руматы Эсторского: гадкий паук Вага Колесо, оказавшийся вдруг в мире Полудня. Сами по себе приключения Гага, Бойцового Кота, не были, да и не могли быть настолько увлекательны, чтобы стоило тратить на них время и «цветы своей селезенки»... Правда, небезынтересен был сам Гаг – порождение очень хорошо нам знакомого мира, фигура характерная и, если подумать, отнюдь не простая. Думать за Гага, вживаться в Гага, смотреть на мир Полудня глазами Гага – оказалось интересно в достаточной мере, чтобы получить от работы над (заказной, по сути) повестью известное удовлетворение. И название, к которому мы в конце концов, естественным образом пришли – «Парень из преисподней», – так живо напоминавшее нам о знаменитом некогда фильме, показалось нам удачным, уместным и достаточно точным.

Много лет с тех пор прошло, много бумаги исписано, много миров придумано, а Гаг и до сих пор остается одним из любимых моих героев – загадочным человеком, о котором я до сих пор не способен сказать: хороший он или плохой. Среди друзей своих я никак не хотел бы его увидеть, но ведь и среди врагов – тоже!